

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЫЦИНА
УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО

Е. Л. Березович

РУССКАЯ ЛЕКСИКА
НА ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ФОНЕ:
СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Университет Дмитрия Пожарского
Москва
2014

УДК 81+82.3
ББК 39; 398; 81
Б 48

*Подготовлено к печати и издано по решению Ученого совета
Университета Дмитрия Пожарского*

Ответственный редактор:
доктор филологических наук *С. М. Толстая*

Рецензенты:
доктор филологических наук *Ж. Ж. Варбот*
доктор филологических наук *Т. А. Гридина*

Березович, Е. Л.
Б 48 Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция / Е. Л. Березович. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014. — 488 с.

ISBN 978-5-91244-133-2

В монографии рассматриваются различные аспекты семантико-мотивационной реконструкции лексических единиц, предполагающей восстановление всего комплекса факторов (собственно языковых, ментальных, культурно-прагматических), способствовавших формированию и развитию значения слова. Объектом анализа стала русская лексика (преимущественно общенародная и диалектная), которая изучается на фоне инославянской, а также с привлечением данных германских, романских, финно-угорских, тюркских и других языков. К рассмотрению широко привлекаются факты фразеологии и ономастики. Анализируются значимые в концептуальном и аксиологическом плане словесные объединения — лексико-фразеологические гнезда с вершинными словами «ад», «рай», «русский», терминология родства, речевой деятельности, обозначения инородцев и др. Автор уделяет внимание и лексике современного русского литературного языка, фиксируя те семантические изменения, которые отражают переход от «советских» ценностей к «постперестроечным».

Книга адресована специалистам разного профиля — этимологам, этнолингвистам, диалектологам, фольклористам, а также всем тем, кто интересуется традиционной духовной культурой славян.

УДК 81+82.3
ББК 39; 398; 81

ISBN 978-5-91244-133-2

© Березович Е. Л., 2014
© Русский Фонд Содействия
Образованию и Науке, 2014

Содержание

Введение. О семантико-мотивационной реконструкции лексики.....	5
РАЗДЕЛ I. СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛОВА.....	31
1.1. Русский <i>ад</i> на иноязычном фоне.....	35
1.2. Образ рая в русской языковой традиции	63
1.3. Славянские соматизмы «кожа» и «шкура» и их вторичные значения.....	77
1.4. «Русский»: взгляд изнутри и извне.....	110
1.4.1. «Русский» в русских народных говорах	110
1.4.2. «Русская» пища в зеркале иностранных языков.....	135
1.5. Из полевых блокнотов: этимолого-мотивационные заметки	157
1.5.1. <i>Ущер</i>	158
1.5.2. <i>Потекесы</i>	161
1.5.3. <i>Шаторина</i>	163
1.5.4. <i>Садиться не в свои сани</i>	165
РАЗДЕЛ II. МОТИВИРУЮЩИЕ КОДЫ И СИСТЕМНАЯ МЕТАФОРА.....	174
2.1. «Инородческий» код в славянских языках.....	182
2.1.1. Славянская ксенонимия и типология семантико-мотивационных параллелей	182
2.1.2. «Культурно-историческая» мотивация в сфере славянской ксенонимии.....	199
2.1.3. Этнические стереотипы и проблема лингвокультурных связей.....	208
2.2. Метафора родства в славянских языках	220
2.2.1. Микросистемы на основе терминов родства	220
2.2.1.1. Обозначения пальцев	233
2.2.1.2. Названия рыболовных снастей.....	240
2.2.1.3. Лексика речного ландшафта.....	244
2.2.1.4. Обозначения речных льдин	253
2.2.1.5. Наименования печи	257
2.2.1.6. Некоторые итоги и перспективы изучения метафорических микросистем.....	259
2.2.2. Термины некровного или аномального (нарушенного) родства	263
2.2.2.1 «Соломенная вдова».....	285
РАЗДЕЛ III. СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НОМИНАЦИИ.....	303
3.1. Речевая деятельность в зеркале языка и текста.....	307
3.1.1. «Производственная» метафора речевой деятельности	307
3.1.2. «Тканевая» метафора речевой деятельности (<i>в соавторстве с Е. Д. Бондаренко</i>)	324
3.1.3. Метафоры непристойной речи	340
3.1.4. Языковое испытание в народной культуре (<i>в соавторстве с Е. Д. Бондаренко</i>)	345

3.2. Названия некачественной пищи (<i>в соавторстве с К. В. Осиповой</i>).....	359
3.2.1. Пустой суп и некрепкий чай.....	359
3.2.2. <i>Рататуй</i> и <i>таратор</i>	375
3.3. Об одном из способов «измерения» скорости действия в языке (<i>в соавторстве с Е. О. Борисовой</i>)	384
РАЗДЕЛ IV. СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В ТОПОНИМИИ	397
4.1. «Несистемные» топонимы.....	399
4.2. Лингвостатистика и семантическая реконструкция	400
4.3. Семантическая «сочетаемость» топонимов.....	404
4.4. Многозначные топонимические лексемы	408
4.5. Прагматика номинативной деятельности.....	412
4.6. Сопоставление топонимии и апеллятивной лексики	416
РАЗДЕЛ V. ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ В СВЕТЕ ЛЕКСИКИ	422
5.1. Русская аксиологическая лексика второй половины XX — начала XXI в.: от «советских» ценностей к «постперестроечным»	423
5.2. <i>Романтика</i> (<i>в соавторстве с Л. А. Феоктистовой</i>).....	436
5.3. <i>Самолюбие</i>	441
ЛИТЕРАТУРА	456
СОКРАЩЕНИЯ	486

Введение

О СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИКИ

Рассуждая о системности языка, приходится делать оговорку о том, что его ярусы различаются по характеру системной организации: жестко «спаянная» фонетика обычно противопоставляется лексике — рыхлой, пестрой, откликающейся на многочисленные сигналы внеязыковой действительности, которая постоянно требует создания новых слов и деактуализации старых. Наибольшей пестротой отличается диалектная лексика, предстающая перед нами в калейдоскопическом множестве территориальных лексиконов, лишь частично пересекающихся в своих фрагментах. Это создает впечатление разрозненности диалектной лексики в синхронии, которое усугубляется при ее диахронном рассмотрении: разнородность лексического состава говоров вызвана сложнейшим сочетанием исторических и лингвистических факторов, набор которых индивидуален для каждого диалекта (раздробленность / централизация земель, история заселения края, миграций племен и народов, характер этнических и языковых контактов, особенности взаимодействия говора с другими формами существования национального языка — главным образом, литературным языком, и т. д.). Сказанное в максимальной степени характерно для лексики русских народных говоров, которая имеет самую большую в мире «зону покрытия», отражает широчайший диапазон реалий окружающей действительности — от терминологии оленеводства на севере до названий бахчевых культур на юге, содержит заимствования и субстратные включения из языков самых разных групп и семей и т. п. Многие диалектные слова, фразеологизмы и ономастические единицы (особенно факты самого масштабного разряда ономастики — топонимии) кажутся «темными» и изолированными в мозаичной стихии собственных говоров — и для их интерпретации очень важно вписать их в различные словесные ряды и гнезда (как в рамках

одного говора, так и на междиалектном и даже межъязыковом уровне). Это позволит продемонстрировать прочность и разветвленность смысловых связей «темных» лексических единиц с другими словами и фраземами — и тем самым прояснить их мотивацию.

Так, вологодская лексема *соломенница* ‘женщина, которую бросил муж’ выглядит непрозрачной в плане мотивации (несмотря на то, что очевидна производность от слова *солома*). Поиск параллелей выводит прежде всего на рус. литер. *соломенная вдова* ‘женщина, чей муж временно отсутствует’ (у данного выражения есть параллели и в других славянских языках, а также в германских, балтийских, финно-угорских и др.), однако эта фразема не имеет однозначного мотивационного прочтения. Расширять ряды слов, связанных (ассоциирующихся) в смысловом или образном плане с *соломенницей* и *соломенной вдовой*, можно в разных направлениях. Во-первых, помимо «соломенного» образа, в славянских, романо-германских, финно-угорских, тюркских языках есть и другие способы «оязыковления» смысла ‘один из супругов, временно оставленный другим’: «временная вдова», «летняя вдова», «зеленая вдова», «мартовский вдовец» и пр.; логично предполагать, что в основу выражений такого типа положены признаки («временный», «переменчивый», «ассоциирующийся с летом» и др.), значимые для всего комплекса представлений о «соломенных вдовах». Во-вторых, в русских говорах функционируют многочисленные варианты сочетания «соломенная вдова» («вдовец») — как по линии структуры, так и в плане семантики: влг., костр. *соломенная вдова* ‘старая дева’, мордов. *солома* ‘один из супругов, временно оставленный другим’, карел. *гнилая солома* ‘о неверном муже’, арх., влг., яросл. *соломенник* ‘старый холостяк’, костр. *соломенная честь* ‘женщина, родившая вне брака’ и др. Таким образом, через образ соломы передаются представления о самых разных матримониальных аномалиях. В-третьих, в русских говорах и в других языках и диалектах Европы можно найти лексические единицы, основанные на иных «растительных» образах (травы, волокна, отрепьев и др.), с помощью которых воплощаются те же значения «неполноценного» родства: рус. пск. *волохняный жених* ‘вдовец, который собирается жениться’, англ. *grass widow* («травяная вдова») ‘женщина, чей муж временно отсутствует’, ‘женщина, родившая вне брака’, коми *пыш жöник* («конопляный жених») ‘вдовец’ и пр. В-четвертых, есть многочисленные лексические единицы, образованные от обозначений соломы, но не связанные с матримониальной темой: в их мотивировках отражены признаки «ложный», «непостоянный», «неценный», «бесплодный» и т. п. Наконец, «соломенные вдовы» обнаруживают смысловые переключки со знаками внеязыковых культурных кодов: в сфере славянских и романо-германских ритуалов используются разнообразие соломенные символы (в том числе куклы), выражающие осуждение, порицание тех, кто нарушает нормы в матримониальной сфере. Подробнее о «соломенной» лексике и ее мотивировках см. в параграфе 2.2.2.1 настоящей книги. Итак, вологодская лексема *соломенница*

оказывается не изолированным носителем «темного» образа, а одним из узлов словесной сети, за хитросплетениями которой стоит четкая и достаточно жесткая логика смысловых отношений.

Восстановление звеньев сети и обнаружение ее структуры помогает выяснить мотивацию слова, через которое мы «вошли» в эту сеть, а также других связанных с ним лексических единиц, и выявить отраженные в этих словах представления людей об определенных фрагментах окружающей действительности. Комплекс аналитических процедур, который для этого применяется, в этой книге назван **семантико-мотивационной реконструкцией**. Ее объектом станет русская лексика, рассматриваемая в контексте лексики других славянских языков (а в некоторых случаях — и в более широких межъязыковых сопоставлениях).

Остановимся подробнее на понятии семантико-мотивационной реконструкции.

Слово *реконструкция* обычно ассоциируется с существенной исторической глубиной, древностью. В лексикологии употребителен термин *семантическая реконструкция*, под которым чаще всего понимают одну из составляющих этимологического анализа, позволяющую восстановить исходный (первичный) смысл слова, который, как правило, скрыт от носителей языка толщей времени и не представлен в синхронной речевой практике.

В одном из своих докладов, сделанном более 30 лет назад, О. Н. Трубачев отметил, что «реконструкция лексических значений <разрядка автора цитаты> решительно отстает в своей методике. Ее роль пассивна и вспомогательна, о ней вспоминают, когда “что-то не так”» [Трубачев 2004/1: 109]. За последние десятилетия в этой области был накоплен существенный новый опыт, но кардинальный сдвиг, по всей видимости, не произошел. Сетования ученых продолжаются — и признание семантической реконструкции самой слабой стороной этимологического анализа стало, по мнению Ж. Ж. Варбот, уже традицией [Варбот 2012: 69].

Одна из причин такого положения в том, что история значений слов с трудом поддается систематизации вследствие слиянности судеб слов и вещей (точнее, их ментальных репрезентаций), а также яркой индивидуальности семантического пути слова — гораздо более выраженной, нежели путь фонетический или словообразовательный¹. При семантической реконструкции важную роль играет способность этимолога «переступить пределы очевидного и высоко вероятного в области лексических соответствий и работать в рискованной сфере гипотетического» [Malkiel 1962: 200]. Здесь чаще всего проявляются существующие

¹ Ср.: «Реконструкция семантики не может основываться на построении рядов соответствий между семантическими компонентами слов в родственных языках: поскольку этих компонентов очень много, семантическая позиция гораздо сложнее и менее частотна, чем фонетическая» [Дыбо 1991: 7].

вне схем и алгоритмов, неформализуемые черты этимологического поиска, которые остроумно описал Я. Малкель: «творческая, артистическая составляющая», особая роль «озарения, внезапного понимания, “Einfall”» — мгновенного и непредсказуемого, и даже «приступы полностью безрассудного импрессионизма, беспорядочно играющего теми элементами рационализма, которые до сих пор придавали этимологии научно-респектабельный вид» [Там же: 201, 202, 203].

Чтобы снизить риск непроверяемой гипотетичности и преодолеть «безрассудный импрессионизм»², следует максимально систематизировать материал, подвергаемый семантической реконструкции. В свете этого исключительно важным признается создание семасиологического словаря (т. е. словаря семантических переходов) на материале широкого круга языков [Трубачев 2004/1: 316] (идею составления такого словаря одним из первых предложил И. Шрепфер на Лондонском лингвистическом конгрессе в 1952 г., см. [Schröpher 1956]). Речь идет, как правило, о древних переходах вроде «рождать(ся) → знать (человека)», «таять → молчать», «поить, совершать возлияния → петь», «скот ↔ имущество» и др. [Трубачев 2004/1: 316–317]. Ценность подобного словаря в том, что он помог бы верифицировать этимологические гипотезы: «...решение вопросов семантической реконструкции может стать доказательным только после проведения большой предварительной работы по созданию вспомогательных справочных изданий» [Меркулова 1988: 7]. О трудах славянских этимологов (Я. Розвадовского, О. Н. Трубачева, Э. Гавловой, Г. Поповской-Таборской, Х. Карликовой), обосновывающих необходимость создания такого словаря и разрабатывающих некоторые его принципы, см. в [Jakubowicz 2010: 71–82; Толстая 2012: 336–337]. Попытка создания фрагмента словаря (на материале славянских прилагательных, обозначающих физические и психические характеристики человека) представлена в [Jakubowicz 2010]³. Словарь призван сделать направленной и надежной одну из наиболее употребительных процедур семантического анализа в этимологии — «подбор семантических параллелей к предполагаемому развитию значений анализируемого слова» [Варбот 2012: 69]. С его помощью можно было бы преодолеть «спорадичность» и «точечность» процедуры подбора параллелей: сегодня этимология обращается к ним «не систематически, а, так сказать,okkaзионально, по мере необходимости и в пределах решения конкретной этимологической

² Конечно, его преодоление не отрицает значимой роли интуиции, «интеллектуальной вспышки» в этимологическом поиске, когда «этимология конкретного слова не проектируется, а “прозревается” во внезапном синтезе» [Журавлев 2010: 5].

³ Помимо собственно словарного жанра, предпринимались также попытки создания семантических указателей, представляющих собой списки моделей смыслового развития слов, анализируемых в той или иной книге. Ср. семантический указатель к монографии «Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков», куда вошли модели типа ‘ветка’ → ‘мотовило’, ‘грубый’ → ‘беременная’, ‘вредить’ ← ‘тереть, растирать’, ‘рубец’ → ‘жаба’ и др. [Очерки 2005: 357–366].

задачи; сама же “грамматика” (закономерности, регулярности) семантических отношений не входит в ее задачи» [Толстая 2003: 549].

В то же время опыт последних десятилетий «семантического бума» в лингвистике убеждает в том, что учет семантических переходов может играть далеко не только роль «лопаты этимолога». Их исследование значимо и в типологическом плане: семантическая типология «ставит своей целью изучение семантической структуры слова (словообразовательного или этимологического гнезда <...>), возможных для них сочетаний смыслов, типов изменений смыслов (семантические переходы) в рамках данного слова или гнезда слов» [Толстая 2013: 142]⁴. Семантическая типология разрабатывается в пространстве как близкородственных языков, так и языков, связанных отношениями дальнего родства (ср., к примеру, работу Г. М. Яворской, где рассматриваются типологические параллели на материале английских и русских прилагательных со значением физических характеристик человека [Яворская 1992: 47–95]), а также неродственных языков. В настоящее время готовится фундамент, позволяющий вести широкое семантико-типологическое исследование лексического материала разных языков мира, ср. проект «Типология семантических переходов в языках мира», в рамках которого создается «Каталог семантических переходов»⁵.

За семантическим переходом стоит работа человеческого сознания, которое осваивает мир, раздвигая категориальные рамки лексического значения, сопоставляя разные явления действительности и прослеживая связи между ними. По этой причине семантическая типология становится основанием для выводов в области когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики.

Изучение закономерностей семантического развития слов должно способствовать объединению позиций разных областей семантики — синхронной vs диахронной, «монолингвальной» vs контрастивной vs типологической, призванных построить общую теорию смыслопорождения в лексической системе языка. О важности сближения подходов к диахронной и синхронной интерпретации слов писал В. Н. Топоров: «Нас интересует этимология слова, возникшего, положим,

⁴ Понимаемая таким образом семантическая типология разграничивается с лексической, предполагающей «изучение того, как средствами лексики “обеспечивается” и членится то или иное денотативное поле (область действительности и соответствующая понятийная область), какие свойства и отношения реальных объектов оказываются релевантными для их номинации» [Там же]. О лексической типологии см. также в [Бонч-Осмоловская, Рахилина, Резникова 2009; AQUAMOTION 2007; Brown 2001; Koch 2001; Кортјевскаја-Тамм 2008 и др.]. Подходы семантической и лексической типологии могут быть совмещены в *лексико-семантической типологии*, см. в [Дыбо 1991; Толстой 1963; 1966; Толстая 2013].

⁵ Проект разрабатывается сотрудниками Института языкознания РАН; см. публикации, в которых содержится обоснование и некоторые шаги в области его реализации [Зализняк Анна А. 2006: 392–417; 2013: 387–430; Грунтов 2007; Рыско 2008; Zalizniak Anna A., Ganenkov 2008; Zalizniak Anna A. et al 2012 и др.].

в третьем тысячелетии до новой эры, и мы довольно категорично предлагаем свое решение. Но ведь если мысленно представить, что некая “машина времени” перенесет нас в ту отдаленную эпоху и ее язык станет нашим родным языком, мы все-таки не сможем выяснить многие этимологические вопросы, связанные с данным словом, поскольку у нас нет пока средств анализа этимологии в синхронном плане. <...> Поэтому хотелось бы прежде всего подчеркнуть первостепенную важность синхронического подхода к этимологии, предполагающего выяснение мотивированности данного слова внутри каждой из систем, пересечение которых и образует это слово <разрядка автора цитаты>» [Топоров 2004: 30]. При таком сближении в сфере диахронной семантики должны применяться инструменты системно-структурного анализа, ср. формулировку задач семантической реконструкции применительно к многозначным словам праславянского происхождения, предложенную С. М. Толстой: «выявить логику развития праславянского слова, определить импульсы и механизмы, лежащие в основе семантических процессов (метафорические и метонимические переносы, семантическая иррадиация, конкуренция и взаимодействие семантических моделей, внешнее влияние, калькирование и т. п.), структурировать набор значений и раскрыть (“объяснить”) его внутреннюю иерархию, наконец, отделить “ типовые ” сочетания значений, связанные с явлением регулярной (категориальной) многозначности, от “ индивидуальных ” случаев совмещения разных значений в рамках одной лексической единицы» [Толстая 2008: 13–14]. Эти задачи могут быть решены с помощью специальных исследований, «которые опирались бы не на голый перечень значений, приводимых в этимологическом словаре и сформулированных к тому же обычно в самом общем виде, а на по возможности подробный анализ контекстов (тем самым и стоящих за ними реальных ситуаций) и особенностей употребления слова в каждом языке» [Там же: 14]. Сходные положения (о необходимости учитывать многозначность реконструируемых слов, их синтагматические связи и т. п.) формулирует М. Якубович [Якубович 2012: 175].

Анализ употреблений слов поможет уменьшить долю умозрительных построений в области диахронической семантики. Нехватка знаний о реальном развитии значения провоцирует специалистов на создание сугубо логических цепочек развития значений (с не засвидетельствованными в языковой практике промежуточными звеньями) или на логическое конструирование фрейма — структуры знаний, информации об определенном фрагменте человеческого опыта: «Дело, однако, в том, что объективное современное знание лексического значения и энциклопедическое, экстралингвистическое знание предмета, также часто включаемое в понятие фрейм, не обязательно соответствуют значению слова и пониманию предмета носителями языка в момент возникновения слова» [Варбот 2012: 73]. Необходима верификация логических конструкторов, проверка

их внутри языковой системы — и здесь как раз должны помочь семантические параллели, контекстные связи слова и пр. Об этом предупреждал шестьдесят лет назад Э. Бенвенист, одним из первых сформулировавший принципы семантической реконструкции и призывавший «освободиться от ложных “очевидных истин”, от ссылок на “универсальные” семантические категории, от смешения данных, подлежащих исследованию, с данными языка исследователя» [Бенвенист 1974: 349].

Вышесказанное свидетельствует о том, что семантическая реконструкция становится, по сути, отдельной областью лингвистических исследований, в рамках которой решается задача восстановления всего комплекса факторов (собственно языковых, ментальных, культурно-прагматических), способствовавших формированию и развитию значения слова, ср. трактовку исторической реконструкции как «моделирования ситуации порождения и последующей жизни слова» [Варбот 2012: 73]. Иначе говоря, при широком понимании семантической реконструкции она подразумевает «восстановление семантической структуры слова (или группы слов), его семантических связей с другими словами и его семантических изменений независимо от языковой перспективы, применительно к любому этапу его развития» [Толстая 2013: 141].

Семантическая реконструкция иногда требуется и для тех смыслов, которые отдалены от нас не толщей веков, а двумя-тремя десятилетиями или еще более коротким временным интервалом. «Современный» пример: в 1980-е гг. имя «Романтик» мог получить, допустим, студенческий строительный отряд, который прокладывал дорогу в тайге; клуб для детей, занимавшихся изготовлением моделей парусников, и т. д. Среди «претендентов» на это имя никак не мог быть пляжный лежак, который, однако, получил его в первое десятилетие века нынешнего (подробнее см. параграф 5.2 настоящей книги). Между этими номинациями смысловая пропасть, созданная тем ускоренным семантическим временем, в котором живет язык в эпоху общественных катаклизмов. Для того чтобы понять, как сложилась номинативная ситуация в том и в другом случае, необходимо изучить массу контекстных употреблений слов *романтик*, *романтика*, *романтический*, принадлежащих к указанным временным срезам, определить особенности сочетаемости *романтики*, охарактеризовать ее «предметное поле» и т. п. Эти процедуры можно считать семантической реконструкцией (и если исследователи старшего возраста могут контролировать процесс восстановления значений слова «изнутри», потому что в обоих случаях находятся «в контексте», то для молодых ученых эта процедура мало чем отличается от задачи семантической реконструкции слов, относящихся к глубокой древности).

Если включать в задачи реконструкции прослеживание всей семантической жизни лексической единицы, то последняя может рассматриваться как звено в цепочке смыслопорождения, которое вбирает в себя мотивирующие смыслы

от производящей основы — и вместе с тем передает свой мотивационный потенциал собственным дериватам, ср. положение С. М. Толстой о «правой» и «левой» мотивации как двух измерений слова: слово одновременно выступает как мотивированное («левая» мотивация) и как мотивирующее («правая» мотивация) [Толстая 2008: 192]. Иными словами, слово является частью непрерывного деривационно-мотивационного процесса (термин Н. Д. Голева, см. [Голев 1989]), ведет себя как реципиент для «входящих» мотивационных моделей и как донор для «исходящих». В том случае, если левая или правая мотивация затемнены, для предполагаемой мотивирующей основы или дериватов подбираются параллели, что позволяет говорить о реализации двух встречных исследовательских программ — ономаσιологической (от смысла к слову) и семасиологической (от слова к смыслу).

Отсюда обоснование термина *семантико-мотивационная реконструкция*: в нем акцентируется неразрывная связь семасиологической и ономаσιологической сторон анализа, учет ситуации номинации, способствовавшей возникновению лексической единицы и предопределяющей семантическое развитие. Иными словами, введение в состав термина компонента *мотивационный* напоминает о значимости ономаσιолого-мотивологической составляющей исследования. Внутри одной семантической модели могут действовать разные мотивационные модели. Так, на базе этнонимов нередко образуются наименования растений, в основу которых могут быть положены различные мотивационные признаки — даже в том случае, когда мы имеем дело с одним и тем же производящим словом. К примеру, растение тамарикс, среди названий которого рус. *жидовник* и *жидовинник*, чеш. *židovín(n)ík*, произрастает (в числе других мест) на Синае и в Аравии. По легенде, высохший сладкий сок одного из видов тамарикса (*Tamarix mannifera*) представляет собой манну, которой питались евреи во время скитаний по пустыне [Анненков 1878: 347–348; Rystonová 2007: 546; Machek 1954: 70–71; Колосова 2009: 113], ср. также другие названия тамарикса — *божье дерево*, *калмыцкий ладан* [Анненков 1878: 348]. Можно предположить, что в названиях *жидовник* и *židovín(n)ík* отражена указанная легенда. В то же время от этнонима *жид* образуются и такие фитонимы, как костр. *жидовка* ‘осог’, влг. *жидовское кресло* ‘бодяк болотный’, которые реализуют широкую модель номинации сорных колючих растений (чертополоха, репейника, осоки и т. п.) с помощью этнонимов: рус. казан., нижегор., сарат. *мордовник*, симб. *бусурманская трава*, серб. *турек*, болг. *черкезки тръни*, словац. *ruský trň* («русская колючка»), англ. *Gipsy* («цыган»), *Russian thistle* («русский чертополох»), карел. *ruoččihein'ä* («шведская (финская) трава»), фин. *lapinsara* («саамская осока») и т. п. Эти фитонимы не дают представления о месте произрастания трав, но воплощают оценочные признаки «дикий», «вредный», «неприятный» (см. параграф 2.1.1, с. 182–183). Таким образом, если бы игнорировалась мотивация, можно было бы построить для *жидовника* и *жидовки* ошибочный ряд параллелей.

Расстановка акцентов, о которых говорилось выше, предполагает учет мотивологической составляющей и в определении семантической параллели. Последней дается такая дефиниция: «Воспроизведение некоторого семантического перехода в другом слове называется семантической параллелью» [Зализняк Анна А. 2006: 399; 2013: 393]. При этом «под “семантическим переходом” понимается факт совмещения, в пределах одного слова, двух разных значений — в форме либо синхронной полисемии, либо диахронической семантической эволюции» [Зализняк Анна А. 2009: 107]. Эти определения могут быть приняты только при условии, что под «фактом совмещения значений» подразумевается и логика связи между ними, а «воспроизведение перехода» есть в то же самое время воспроизведение этой логики. Разумеется, мотивация (явление, в значительной мере определяемое факторами «надъязыковыми» — ментальными и культурными) далеко не всегда может быть восстановлена (и нередко такое восстановление носит сугубо гипотетический или же ошибочный характер). Реконструкция мотивации может быть проведена после того, как переходы и параллели обнаружены «статично» — как пары словесных «точек», между которыми когда-то проходили (или проходят сейчас — возможно, по новой траектории) смысловые линии. Необходимо попытаться прорисовать эти линии, отсюда понимание **семантических (семантико-мотивационных) параллелей** как лексических рядов, демонстрирующих сходные модели смыслового развития слов, в рамках которых воспроизводится как собственно переход значения, так и его мотивация⁶.

Итак, ключевым для нашего исследования является понятие семантико-мотивационной реконструкции. В книге рассматриваются преимущественно такие лексические единицы, которые являются результатом вторичной номинации или ее источником (но могут быть и тем, и другим) — и, соответственно, имеют семантическую мотивированность или сообщают ее другим словам. Изучаемые факты в своем большинстве не ставят перед нами сугубо этимологические проблемы, предполагающие собственно корневую реконструкцию, учет фонетико-словообразовательных закономерностей и пр. Проблемы состоят главным образом в реконструкции мотивировки и обнаружении историко-культурного контекста, стоящего за словом. Такая реконструкция, как правило, невозможна для отдельного, рассматриваемого вне системных связей, изолированного слова; его необходимо поместить в мотивационный ряд.

Какие лексико-семантические **объекты** подвергаются анализу?

Изучая семантико-мотивационный потенциал какого-либо слова, следует возможно более полно собрать комплекс лексических и фразеологических единиц,

⁶О понятии *семантической параллели* и близких понятиях см. также в [Гак 2010: 132; Толстая 2008: 99–101; Handke 1989; Jakubowicz 2010: 32–33, 71–87; Karlíková 2008: 85; Popowska-Taborska 1989: 24; Wilkins 1996: 267; Zalizniak Anna A. et al. 2012: 634 и др.].

для которых данная лексема является мотивирующей. Полученное объединение слов можно условно назвать **семантико-деривационным комплексом** (или **деривационно-фразеологическим гнездом**)⁷. В этот комплекс входят лексемы, возникшие в результате собственно семантической деривации (понимаемой как порождение одного лексического значения от другого) и семантико-словообразовательной деривации на основе вершинного слова, а также фразеологизмы с его участием. Например, при реконструкции семантики слова *ад* выявляются его смысловые «восприемники», среди которых семантические дериваты вроде диал. *ад* ‘глотка, рот’, семантико-словообразовательные — *адать* ‘много и с жадностью есть’, устойчивые сочетания — *ад живоглотный* и пр.; в них проявлен мотив пожирания, имеющий особую значимость в картине «русского ада» (см. параграф 1.1, с. 39–47). Семантические дериваты воплощают в себе ту часть выразительного в вербальной форме знания о явлениях действительности, которая наиболее устойчива, верифицирована системой языка и даже в известной мере создана ею — в процессах разного рода внутриязыковых притяжений и сближений. В семантических дериватах часто высвечиваются смысловые компоненты, незаметные в исходном значении слова (так, упомянутый выше мотив пожирания в образе ада не учитывается в словарной дефиниции соответствующей лексемы), но тем не менее значимые для говорящего, который использует их в ходе интеллектуального «скачка», сопровождающего рождение вторичных значений. Это объясняет наше обращение к **деривационной семантике** слова — комплексу значений его семантических и семантико-словообразовательных дериватов⁸. Важная информация кроется и во **фразеологической семантике** слова, проявляющейся в тех смысловых связях, которые устанавливаются у слова в составе идиоматических сочетаний, устойчивых сравнений и пр. Фразеологические конструкции — чуткий барометр семантических сдвигов. При включении слова в состав фразеологизма его смысловой состав приходит в движение, одни смыслы укрупняются и акцентируются, другие отходят на второй план. К примеру, выражения вроде рус. *яроsl.*

⁷ Ср. термин *лексико-фразеологический комплекс*, который используется в работах А. Р. Поповой [Попова 2012; 2013]. Такой комплекс «является общим итогом реализации креативного потенциала лексемы и представляет собой упорядоченную совокупность всех лексических и фразеологических единиц, непосредственно или опосредованно восходящих к базовой лексеме» [Попова 2013: 10]. В этот комплекс входят результаты не только семантической и семантико-словообразовательной деривации, но и собственно словообразовательной, которые не фиксируют сдвигов исходной семантики. Для нас же значимы именно сдвиги, переосмысления первичного значения слова, поэтому мы предпочитаем термин *семантико-деривационный комплекс*.

⁸ По сути, *деривационная семантика* в этом понимании может быть названа *ассоциативно-деривационной*. Ср. положение Д. Н. Шмелева о том, что в результате семантической деривации значения слов, обладающих полисемией, нередко объединяются на базе ассоциативных признаков, которые могут не проявляться эксплицитно в первичном значении слова. Такие лексические единицы связаны ассоциативно-деривационными отношениями со своими основами [Шмелев 1977: 335]. Понятие *ассоциативно-деривационной семантики* использовано в диссертации А. В. Тихомировой [Тихомирова 2013].

кожу морщить 'капризничать', волгоград. *шкура свербит у кого* 'о сильном желании, нетерпении', блр. *кожа лопаецца, трэскаецца* 'о несдерживаемом самовольстве' свидетельствуют о том, что в семантике слов *шкура* и *кожа* скрыто присутствует и может актуализироваться представление о коже как «проводнике» сильных желаний, эмоций. «Барьерная» символика кожи, находящейся между внутренним миром человека и окружающей действительностью, здесь не отражена. Такая символика проявлена в болг. *топя се в кожата си* («таять / топиться в своей коже») 'страдать, мучиться, сердиться молча, не показывая своих чувств', рус. костр. *топить в коже* 'скрывать чувства' и др. (подробнее см. параграф 1.3 настоящей книги).

Пути развития значений изучаемого слова иногда легко прочитываются и просчитываются, а иногда переход бывает необычным, нетривиальным (о понятии нетривиального семантического перехода см., к примеру, в [Булах 2005: 245–254; Коган, Militarev 2003]). Среди нетривиальных переходов чаще всего встречаются метафорические или же совмещающие метафору с другими способами развития значений (преимущественно с метонимией). К примеру, нетривиальной можно считать метафору «инородец» → «укладка снопов». Представляется, что она реализуется в следующих фактах: рус. онеж. *латыш* 'небольшая копенка (сена)', новг., твер. *литвин* 'скирда овса', блр. гродн. *літоўка* 'длинная скирда сена', полес. *ляшок* 'укладка из десяти снопов', словац. *петес* 'кладка снопов на поле, уложенных конусом' (подробнее см. 2.1.3). Именно метафорическая лексика составляет солидную часть материала, рассматриваемого в этой книге. Для реконструкции пути семантического развития будут привлекаться семантико-мотивационные параллели, о которых говорилось выше.

Чем менее тривиален переход, тем менее предсказуема та зона, где может быть найдена параллель, и тем более масштабный поиск параллелей должен быть проведен (даже если в круг задач исследователя входит работа только с одним словом). Так, для словац. диал. *mad'arská choroba* («венгерская болезнь») 'рахит' параллель непредсказуемо, на первый взгляд, обнаруживается в рус. влг. *зырянская болезнь* 'то же' (см. параграф 2.1.1, с. 191). Можно предположить, что эти сочетания мотивированы не историческими факторами (например, указанием на то место, где реально был очаг заболевания), а имеют в своей основе негативно-оценочные суждения о том, что болезни свойственны инородцам или насылаются ими (при этом выбор конкретной этнонимической «оболочки» для обозначений рахита определяется тем, в каком этническом окружении проживает народ, в языке которого возникли названия, какие этнические образы для него особенно актуальны — образ венгров для словаков, образ коми-зырян для жителей Вологодской области). Для нахождения таких параллелей, играющих решающую роль в семантической реконструкции этнонимических наименований, нужно «опережающее» систематическое изучение закономерностей деривации на основе этнонимов (возможно и встречное направление поиска — изучение моделей

номинации рахита и других сходных с ним болезней). В этом и в подобных случаях целесообразна **групповая семантико-мотивационная реконструкция**, предполагающая изучение семантико-деривационных комплексов, вершинные слова которых объединены различными системными отношениями — синонимическими, гипо-гиперонимическими, антонимическими и др.

Семантико-деривационные комплексы раскрывают семантическую перспективу вершинного слова. Но у лексической единицы, как говорилось выше, есть не только «перспективное» правое мотивационное измерение, но и «ретроспективное» левое (в рамках которого устанавливается связь с мотивирующим словом). По отношению к левой мотивации тоже могут быть подобраны семантико-мотивационные параллели, причем их учет особенно значим, поскольку здесь обычно требуется более глубокий уровень реконструкции. К примеру, названия пустых (без мяса, сметаны и др.) супов могут быть образованы от глаголов со значениями ‘бить, ударять, драть; лущить, шелушить’: «параллельную» мотивацию, по всей видимости, имеют рус. простореч. *кондёр* (от *драть* с приставкой *ко-* и вставным *н*) и костр. *лощёнка* (от диал. *лощить*, продолжающего праслав. **loščiti*, среди значений которого — ‘драть, бить, наносить удары’); подробнее см. 3.2.1, с. 363–364.

Если взять какое-либо лексико-семантическое поле и раздвинуть его границы, учитывая мотивационное «прошлое» и «будущее» его элементов, то мы получим новое лексическое объединение, которое можно было бы условно назвать **семантико-мотивационным полем**⁹. Иначе говоря, в семантико-мотивационное поле входят единицы определенного лексико-семантического поля, выделенного на синхронных основаниях, а также те лексемы и фраземы, которые связаны с ними отношениями семантической мотивации — как «правой», так и «левой». К примеру, в состав лексико-семантического поля, объединяющего слова со значением некровного и «аномального» (нарушенного) родства, входят обозначения мачехи, пасынка, вдовы, сироты и др. Если расширить это поле до семантико-мотивационного, то следует учесть способность его слов выступать и донорами, источниками мотивационных отношений, и реципиентами, поскольку они принимают мотивационные импульсы от других лексических единиц. Донорами они будут для карел. *вдовица* ‘рыба черного цвета’, печор. *мачехина береста* ‘березовая кора, вновь выросшая на ободранном месте ствола’, амур. *сироты плачут, заплачут* ‘о дожде при солнце, затяжном дожде’ и т. п. Реципиентные отношения связывают перм. *старый подовинник* ‘старый холостяк’ со словом *подовинник*,

⁹ Попытка обозначить лексико-семантическое объединение такого плана — один из откликов на «запрос» современной семантики сблизить синхронный и диахронный ракурсы анализа лексической системности (ср., например, важную работу Ж. Ж. Варбот «Этимологические гнезда и лексико-семантические поля в синхронии и диахронии» [Варбот 2012: 145–153]). В этом русле лежит, к примеру, понятие *этимолого-семантического поля*, которое предложил В. Г. Гак. Под таким полем понимается лексическое объединение, «охватывающее все слова языка, этимон которых связан с определенным понятием» [Гак 2010: 335].

обозначающим большое и толстое бревно для растопки овина (ср. болг. *огорел, опален пън* 'о холостых и бездетных') или же арх. *пукиша* 'вдова, к которой по ночам является умерший муж' с *пукиша* 'сова'. Мотивационные признаки или образы, проявившиеся «слева», легшие в основу одних слов исходного (синхронно выделенного) лексического поля, могут повторяться и «справа», т. е. реализовываться в дериватах на основе других слов этого же поля. Это одно из проявлений единства семантико-мотивационного поля. Например, членов семьи, потерявших своих родственников (сирот, пасынков, вдов), сравнивают с битой посудой или черепками от нее — тем самым выражается идея нецелостности семьи, распавшейся на осколки. В основу слов, называющих этих «неполноценных» родственников, могут быть положены обозначения разбитой посуды: рус. костр. *острепёток* 'сирота', влг. *оскрепетина* 'вдова' (ср. влг., костр. *оск(т)репёток* 'черепок посуды'), олон. *битый горшок* 'о вдове'; и наоборот — от слов, обозначающих родственников, образуются наименования черепков: костр. *сиротки*, ср.-урал. *пасынки* 'черепки разбитой посуды' (см. параграф 2.2.2).

Таким образом, семантико-мотивационные поля тоже будут изучаться в книге, при этом основное внимание будет уделяться «правой» части поля («левая» часть нередко требует глубокой собственно этимологической реконструкции).

В ходе семантико-мотивационной реконструкции используются и учитываются различные вспомогательные **приемы и установки анализа**. Назовем те из них, которые особо значимы для предпринимаемого нами исследования.

- В ряде случаев, когда мы имеем дело с обширными деривационно-фразеологическими комплексами, материал группируется по смысловому принципу. Это можно сделать разными способами. Можно выстроить тематические сферы первичных или вторичных значений (в зависимости от направления поиска: если исследователь идет от реципиентной области к донорской, и ему важно систематизировать последнюю, то следует выделять сферы первичных значений, если наоборот — то вторичных). Например, при изучении лексики речевой деятельности, в основе которой названия производственных процессов, выделяются сферы первичных значений: «Плетение, прядение, ткачество, шитье», «Столярное, плотницкое дело, строительство», «Приготовление пищи», «Обмолот и обработка зерна» и пр. В этих сферах «стартуют» метафорические номинации типа омск. *верёвки вить* 'говорить вздор, наговаривать', помор. *говорить как с топора валить* 'о чем-л. сказанном необдуманно, грубо и некстати', арх. *колобы печь* 'острить, насмехаться, зубоскалить' и т. п. (подробнее см. параграф 3.1.1). Выявление этих сфер, оценка их наполнения лексическим материалом, а также выделение тематических лакун помогают понять особенности восприятия речевой деятельности. К примеру, высокая активность «ткаческой» метафоры связана с тем, что образы тканья хорошо передают представления о линейности речи и быстром наращивании ее «объема». При этом закономерна низкая активность земледельческих образов (несмотря

на первостепенную роль земледелия в крестьянской жизни): в народном восприятии речь предстает как спонтанный процесс, поэтому она не «кодируется» с помощью обозначений тех видов деятельности, которые дают «отложенный», не сразу проявляющийся результат.

Пример систематизации по обратному принципу (тематическая группировка не донорских, а реципиентных значений): при исследовании лексики из области родственных отношений, образованной от слова *солома* (см. об этом выше, а также в параграфе 2.2.2.1), проведена систематизация значений «соломенных» лексем: 'жена, не живущая с мужем (муж, не живущий с женой)', 'разведенная женщина или мужчина', 'старая дева или старый холостяк', 'нечестная невеста', 'распутная женщина', 'ребенок, рожденный вне брака' и др. Такая систематизация помогает увидеть, что в народном сознании сходным образом концептуализируются самые разные матримониальные аномалии (от старой девы до распутной женщины).

Материал может быть сгруппирован и по основным мотивационным признакам, лежащим в основе семантической деривации и фразеологизации. Так, в ходе изучения деривационно-фразеологических комплексов с вершинными словами со значением 'ад, преисподняя', представленных в славянских и романо-германских языках, лексические факты были распределены по таким мотивационным линиям: «то, что пожирает», «то, где царят шум, беспорядок, сутолока (→ ссоры, скандалы, распри)», «то, где горят (грешники)», «то, что является углублением, отверстием». При этом русский язык делает акцент на мотиве пожирания, но практически не осваивает мотивацию «то, что является углублением, отверстием» <мотив «углубления, отверстия»>, а в романо-германских языках распределение мотивационных приоритетов противоположное (см. параграф 1.1).

Нередко при проведении определенного исследования приходится совмещать отмеченные способы смысловой группировки.

- Поиск семантико-мотивационных параллелей, как уже говорилось, должен быть направленным, для чего следует провести анализ отношений в лексической системе, который учитывает первичные значения изучаемых слов и вместе с тем «проектирует» их вторичные значения. В отношении точного и полного параллелизма обычно вступают номинативные дублиеты или синонимы. К примеру, *шуба* в русских говорах имеет (среди прочих) значение 'шерстяной покров животных и изготовленный из него материал' и тем самым является синонимом слова *шерсть*. Соответственно фраземы *шубный язык* и *шерстяной язык*, которые обозначают разные виды неполноценной и ненормативной речи, служат самыми точными параллелями друг для друга, совпадающими практически во всем смысловом спектре. Можно ожидать, что параллели (более или менее точные) есть и среди других лексических единиц, которые характеризуют речь и образованы от наименований различных материалов и тканей. И действительно, такие параллели обнаруживаются, при этом более точные совпадения значений

из речевой сферы фиксируются у тех лексических единиц, в основе которых лежат названия тканей, близких шерсти (ср. *суконный язык* литер. ‘невыразительный, бледный, шаблонный язык’, диал. ‘картавый, шепелявый язык’ и др., *байковый язык* ‘арго «мазуриков»’), в то время как обозначения тканей и материалов с иной фактурой (*бархат, плюш, велюр, вата* и др.) порождают неточные параллели (сочетания *бархатный* или *ватный голос* служат для характеристики скорее внешней стороны речи, нежели ее содержания). «Антонимом» же *шерстяному языку* становится *шелковый язык*. Подробнее см. параграф 3.1.2.

Задача «проектирования» вторичных значений у предполагаемых параллелей поначалу видится достаточно простой: чем больше признаков объединяет первичную семантику слов, тем более полным должно быть сходство вторичных значений, поэтому подбор параллелей представляется как прорисовка своеобразных концентрических кругов — сначала самые близкие лексемы, чьи первичные значения отстоят на наименьшее расстояние, затем все более отдаленные. Но за кажущейся простотой кроется существенная трудность: как известно (и это уже подчеркивалось выше), вторичная семантика нередко основывается на тех признаках, которые не формулируются явно в составе первоначального значения. Так, переносные употребления славянских слов, обозначающих кожу, оказываются сходными («синонимичными») с переносными употреблениями тех соматизмов, которые называют органы, не имеющие точной локализации в теле человека, «распространенные» по всему организму, — кости, кровь, жилы, собственно тело (см. параграф 1.3, с. 100–110). Этот признак не выделяется в словарных дефинициях соответствующих слов.

Поиск параллелей должен базироваться на ономаσιологическом фундаменте: важно выделить свойства названной словом реалии (точнее, составляющие наивного понятия о реалии), концептуализированные в языке (проявляющиеся во внутренней форме слова, в деривационно-фразеологических связях и пр.), затем подбирать другие реалии, имеющие сходные свойства (вызывающие сходное восприятие), и искать называющие их лексические единицы, которые могут исходно принадлежать как к одному, так и к различным лексико-семантическим полям, ср. параллелизм семантического развития слов *люди // народ // русский*, обозначений инородцев // «неполноценных» родственников и т. п.

• Семантико-мотивационная реконструкция, как говорилось выше, нередко имеет типологический ракурс. В данной монографии реализуется как семантико-типологический подход, так и лексико-типологический. В рамках первого подхода выявляется семантическая структура деривационно-фразеологических гнезд. Второй предполагает изучение лексических репрезентантов и способов репрезентации определенного смысла, т. е. экспликацию «номинационной решетки», под которой понимается «способ расчленения явлений действительности лексическими средствами языка» [Дыбо 1991: 7]). Типологические исследования проводятся на междialeктном уровне (в пределах русского языка) и межъязыковом

(в масштабе славянских языков, реже — славянских и романо-германских, с эпизодическим привлечением фактов балтийских, финно-угорских и тюркских языков). Так, подходы лексико-семантической типологии используются при сопоставительном анализе деривационной семантики межъязыковых лексических эквивалентов со значением ‘ад, преисподняя’ в славянских и романо-германских языках (параграф 1.1). Изучаются способы лексического воплощения этой семантики (рус. *ад*, укр. *пекло*, польск. *piekło*, итал. *inferno*, англ. *hell*, ср. также словац., чеш. диал. *sitno*, серб. диал. *јама*, литов. *prągaras* и др.), при этом в рамках четырех разноязычных деривационно-фразеологических гнезд (условно «ад», «пекло», «inferno», «hell») выделяются основные мотивационные признаки, рассматриваются причины, обусловившие проявленность или не проявленность этих признаков в каждом гнезде, а также неравномерную активность.

Типологический подход применяется и к самим параллелям: предлагается типология семантико-мотивационных параллелей (см. параграф 2.1.1), призванная не только сделать более направленными их поиск и оценку, но и приблизиться к решению вопроса о происхождении параллелей (контактном или типологическом).

- Избрав для анализа определенный семантико-деривационный комплекс, необходимо «прощупать» лексическое пространство вокруг вершинного слова для того, чтобы найти те единицы, которые близки ему по форме и значению — и могут стать участниками различных вторичных взаимодействий — паронимической аттракции, контаминации, включения в рифмованные формулы и пр. (например, в русском языке активно взаимодействуют слова, производные от двух синхронных омонимов: *рай*¹ ‘terminum sacrum’ и *рай*² костр., нижегор., яросл. ‘шумный, долгий или отдаленный гул, раскаты’, см. параграф 1.2). Эти взаимодействия давно перестали считаться спорадической неожиданностью: «Существование контаминации между семьями, сходными по форме и значению, является скорее правилом, чем исключением; диффузия (в пространстве) и устаревание (во времени) вызывает нестабильность, ускоряющую темп контаминации» [Malkiel 1954: 274]; о закономерном характере процессов вторичных притяжений см. также в [Варбот 2012: 130–136]. В ходе таких взаимодействий первичная «семантическая программа» слова может быть пополнена новыми мотивами или вообще пересоздана. Особо пристального внимания заслуживают аттракционные процессы в тех случаях, когда изучаемые слова имеют краткую, «неуникальную» или богатую в плане фоновимблики звуковую оболочку.

- При восстановлении мотивационно-номинативной ситуации, в которой родилось изучаемое слово, важно учитывать прагматический контекст, особенности взаимодействия субъекта номинации и реалии, характер использования реалии, точку зрения говорящего. Например, в русских и чешских говорах есть названия одной и той же пары растений, в которых фигурируют производные от этнонимов. Растение борщевик рассеченный пригодно

в пищу, — соответственно, русские и чехи считают его «своим», используя в составе названия автоэтнонимы: сиб. *русская пучка*, чеш. *anjelička česká*. Дягиль низбегающий является диким, «неокультуренным» — отсюда его названия: сиб. *нерусская пучка*, чеш. *anjelička ruská*. Таким образом, сходные по внешнему виду растения с компонентом «русский» имеют разную мотивацию — в зависимости от точки зрения народа-номинатора (см. 1.4.1, с. 122).

• Кроме учета факторов лингвопрагматики, большое значение имеет в о с т а н о в л е н и е к у л ь т у р н о г о к о н т е к с т а, в котором родилось или живет изучаемое слово. В настоящей книге изучается главным образом материал народной языковой традиции, который целесообразно рассматривать на фоне фольклорных текстов, верований, ритуалов, бытовых практик и пр. Так, выражение *сидиться не в свои сани* может получить мотивационную интерпретацию, если учесть функцию саней как знака символического языка культуры. Учитывая роль, которую играют сани на всех этапах свадебного обряда, присутствие их образа в свадебном фольклоре, можно подтвердить и развить предположение о том, что в изучаемом фразеологизме отражена ситуация несвоевременного выхода замуж или женитьбы (невеста опережает старшую сестру, жених — старшего брата), подробнее см. параграф 1.5.4.

Есть и многие другие факторы и приемы анализа (например, использование лингвостатистики, контекстного, дистрибутивного анализа и пр.), перечислять которые здесь нецелесообразно, их использование будет прокомментировано по ходу изложения материала. Более важно сформулировать принцип отбора тем, изучаемых в книге.

Монография объединяет разные темы, но практически во всех случаях семантико-мотивационная реконструкция становится для нас не только инструментом для прояснения мотивации какого-то слова или группы слов, но и основанием для выводов **этнолингвистического плана**, наблюдений над спецификой народной символической картины мира, ср. положение О. Н. Трубачева о том, что семантическая реконструкция должна быть признана одним из «общекультурно важных направлений» [Трубачев 2004/1: 144–145]. Показательно, что термин *семантическая реконструкция* используется в метаязыке «широкой» этнолингвистики, оперирующей как языковыми единицами, так и данными других субстанциональных кодов культуры¹⁰: под ним понимается именно процедура восстановления ситуации, в которой появились элементы символического языка культуры и которая оказалась отраженной в объединяющих их мотивах (ср., в частности, название одной из работ А. В. Гуры — «К семантической реконструкции славянской свадьбы: основные мотивы» [Гура 2003]).

¹⁰ Данный термин используется здесь в том смысле, в котором его ввела С. М. Толстая: *субстанциональные коды* определяются на основании общности плана выражения — материальной, субстанциональной природы знаков, составляющих код [Толстая 2008: 334].

Рассуждая о роли семантико-мотивационных штудий в реконструкции традиционной языковой картины мира, позволим себе следующее «лирическое отступление». Более двух десятилетий назад, когда исследования по языковой картине мира захлестнули отечественное языкознание (и многие другие мировые лингвистические школы), отчетливо проявлялась тенденция к «делингвизации» лингвистики: языковой картине мира зачастую навязывались те якобы формирующие ее идеи, которые «вынимались» из трудов философов, социологов, политологов и др., ср.: «Мы выбираем некоторые слова, подбираем для них некоторые удачные контексты и затем радуемся, когда полученные результаты подтверждают известные стереотипы» [Шайкевич 2005: 14]. Уровень этих исследований, ставших очень популярными и практически массовыми, иногда оказывался низким — и это немудрено при размывании предметного поля науки, нехватке собственно лингвистического инструментария и пр. Неудовлетворенность таким положением привела к тому, что в настоящее время темпы роста количества работ о языковой картине мира существенно снизились, они стали реже попадать на страницы центральных лингвистических журналов — и довольно отчетливо стали звучать голоса противников «лобового» извлечения этнокультурной информации из языковых данных (см., например, [Павлова 2012]) или же тех, кто предлагал «объявить мораторий на термины *языковая картина мира* и *картина мира* до лучших времен, а пока заняться неспешной работой на материале разных языков» [Шайкевич 2005: 19].

Продуктивный выход из этой ситуации видится в том, чтобы трактовать языковую картину мира не столько на внеязыковой основе (особенно если этой основой объявляются такие чрезвычайно субъективные материи, как национальный характер), сколько искать для нее внутрисистемные координаты. С этих позиций предлагается понимать языковую картину мира как структуру лексико-семантических полей и значений слов и шире — считать, что этот термин объединяет «не только типологическое изучение лексико-семантических полей, но и прочие компоненты: типы мотиваций, структуры полисемии отдельных слов, метафорическую сочетаемость, грамматическую категоризацию» [Руссо 2012: 162]. Соглашаясь в целом с этим подходом, отметим все же, что языковая картина мира не может равняться структуре всех компонентов плана содержания языка, а, скорее, является и н т е р п р е т а ц и е й этой структуры. По крайней мере, исследователь может представить ее именно в виде какого-либо интерпретационного конструкта — например, когнитивной дефиниции [Барминский 2005: 55–67], ономаσιологического портрета [Березович, Рут 2000; Березович, Гулик 2002; Еремина 2003: 215–220; Тихомирова 2013: 24–212], этнолингвистического портрета [Кривошапова 2007: 119–213] и др. (это, разумеется, далеко не все варианты, а те, которые ближе по исследовательскому подходу автору настоящей книги). Нет смысла походя рассматривать здесь такой важный и глобальный вопрос — и, возвращаясь к проблематике монографии, стоит заключить:

семантико-мотивационная реконструкция, выявляющая все то, что перечислено М. М. Руссо, по сути, и есть наиболее продуктивный и последовательный путь к экспликации языковой картины мира.

Сказанное повлияло на **выбор тем**, рассматриваемых в книге. Изучается жизнь в языке важнейших культурных концептов — «ад» и «рай»; устройство семантических полей, отражающих традиционные представления о человеке биологическом («части тела»), социальном («семья», «язык», «свой и чужой этнос»), трудящемся («скорость действий») и др. Рассматриваются и слова, выражающие «новые» ценности социально-нравственного плана: *компромиссы*, *самодостаточность*, *романтика* и др. Принимается во внимание не только концептуальная значимость лексико-семантических полей, но и те собственно лингвистические возможности, которые эти поля предоставляют для семантико-мотивационной реконструкции: древность, исконный характер большинства лексических единиц, разветвленность и сложность внутреннего устройства поля, наличие богатых ассоциативно-деривационных и фразеологических связей и др. Разумеется, выбор отдельных лексических единиц для анализа определяется и их этимологической или мотивологической ценностью: отбирались «темные» слова и фразеологизмы, которые либо не рассматривались (насколько нам известно) в литературе (например, рус. простореч. *рататуй* ‘пустой суп’, костр. *шаторина* ‘соринка’, *потекесы* ‘неудачная выпечка, хлеб’, влг., вят., костр. *нерусимый* ‘нелюдимый, замкнутый’, ср.-урал. *бортевицик* ‘зять’, укр. *пасиночок* ‘полоска’, костр. ручей *Победной* и мн. др.), либо имеют спорные трактовки (блр. *кума* ‘яма, где крутит воду’, словац. архаич., чеш. диал. *sitno* ‘ад, преисподняя’, польск. *litewniczka* ‘божья коровка’, рус. *байковый язык*, *садиться не в свои сани*, новг., твер. *литвин* ‘скирда овса’, ворон. *усыночек* ‘маленький заливчик’, *Поклонные горы* в топонимии и др.). Есть случаи, когда не предлагается принципиально новое этимологическое или мотивационное решение, но высказываются соображения, являющиеся дополнительным аргументом в полемике или же позволяющие более полно представить контекст, в котором возник языковой факт (рус. *рай*, *демянова уха*, серб. *пўница* ‘теща’, болг. *таратор* ‘холодный суп’ и др.). Подробнее о причинах выбора тем и особенностях работы с языковым материалом см. во вводных замечаниях к разделам книги.

Охарактеризуем **материал**, который анализируется в монографии. Основной массив лексических данных принадлежит русской языковой традиции. Это русская диалектная и общенародная лексика — как апеллятивная, так и проприальная. Среди источников этого материала следует назвать не только диалектные словари (по всем группам говоров), но и полевые картотеки. В первую очередь речь идет о картотеках Топонимической экспедиции Уральского федерального университета (ТЭ УрФУ) по территории Русского Севера (Архангельская и Вологодская области), Костромской и Ярославской областей, Среднего Урала и Западной Сибири. Полевые работы экспедиции ведутся на протяжении более

чем 50 лет (1960–2014). В картотеках представлены ономастические данные (главным образом топонимия, а также прозвищная антропонимия, хрононимия, этнонимия и др.), нарицательные лексемы и фразеологизмы, сведения этнографического характера. Данные, извлеченные из полевых картотек, преимущественно являются новыми, впервые вводимыми в научный оборот (частично опубликованы только материалы по диалектной лексике Архангельской и Вологодской областей, которые легли в основу продолжающегося Словаря говоров Русского Севера [СГРС]). Многие лексические факты, рассматриваемые в книге, были найдены или «прочувствованы» в ходе работы в экспедиции, здесь же выдвигались и проверялись мотивационные гипотезы, проводился поиск параллелей, выявлялся культурный контекст и пр. Пусть полевой материал не может лидировать количественно в общей массе, он, без сомнения, стал вдохновляющим импульсом для целого ряда сюжетов (особенно речь идет о записях 2007–2014 гг., сделанных на востоке Архангельской области, западе Вологодской и на восточном Вологодско-Костромском пограничье). Из неопубликованных материалов следует назвать также данные картотеки Словаря русских народных говоров (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург), Архангельского областного словаря (Московский государственный университет). Изучаются и другие лексикографические источники по русскому языку: словари литературного языка, жаргонов, этимологические, исторические, тематические и т. д.

Русский материал анализируется на широком с л а в я н с к о м ф о н е. Используются диалектная и литературная лексика всех славянских языков, но преобладают восточно- и западнославянские данные. Для сбора славянских данных, помимо диалектных, литературных, этимологических, исторических словарей, также привлекались неопубликованные источники: материалы по топонимии и диалектной лексике чешского языка, хранящиеся в архиве отдела диалектологии Института чешского языка Академии наук Чешской Республики [Dial-Brno], а также картотека Словаря польских говоров [KSGP].

Славянские данные представлены в книге неравномерно. В наибольшей степени ими насыщены самые обширные разделы — I и II; в разделе III они систематически используются только в части сюжетов; в разделе V привлекаются эпизодически, а в разделе IV не фигурируют.

В ряде случаев с типологической или этимологической целью анализируются факты неславянских языков — в первую очередь, германских и романских. Реже учитываются балтийские, греческие, финно-угорские, тюркские материалы.

Этнолингвистические задачи исследования предопределили также обращение к фольклорно-этнографическим трудам, выполненным на русском и славянском материале.

Для изучения контекстных смыслов и семантических связей слов были использованы фразеологические словари, паремиологические сборники, словарные иллюстрации, корпуса русского и польского языков, а также интернет-сайты.

Наконец, следует выделить еще один источник материала. К анализу привлекались факты разговорной речи русского, инославянских, реже германо-романских языков, которые были получены при опросе коллег-филологов — как отечественных, так и зарубежных. Это слова и выражения, не засвидетельствованные в лексикографических источниках, но функционировавшие в какой-либо отрезок времени в городском просторечии или различных жаргонах. Они не попадали в словари по разным причинам — одни из-за «неполиткорректного» характера, другие из-за неопределенного положения на оси «имя нарицательное — имя собственное» и т. п. При разработке некоторых тем, затрагиваемых в монографии (к примеру, при изучении языковых образов инородцев или представлений иностранцев о «русской» пище), такой материал заполняет существенные лакуны — и коллеги охотно и компетентно примеряют на себя роль «информантов».

Структура книги и компоновка разделов определяется как особенностями процедуры анализа, так и характером материала.

В разделе I «СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛОВА» анализ разворачивается от отдельных слов, репрезентирующих значимые концепты народной культуры. Каждое из этих слов является вершиной обширного деривационно-фразеологического комплекса. Ставится задача «собрать» этот комплекс, выявить мотивацию лексем и фразеологизмов с затемненной внутренней формой (с опорой на «прозрачные» лексические единицы), определить основные мотивационные линии, организующие структуру всего комплекса, охарактеризовать концептуальное наполнение вершинных слов. Рассматриваются термины народной религии — *ад* и *рай*, при этом семантика русского *ада* сопоставляется с эквивалентами в других славянских, германских и романских языках, а *рай* изучается преимущественно в русской традиции (на славянском фоне). Исследуются вторичные значения соматизмов «кожа» и «шкура» в славянских языках. Изучается слово «русский», деривационная семантика которого препарируется «изнутри», при взгляде со стороны русской языковой традиции, и «извне» — со стороны иностранных языков. Наконец, даются этимолого-мотивологические комментарии к некоторым словам и выражениям, собранным во время полевой работы на восточном Вологодско-Костромском пограничье.

Если в разделе I отправной точкой анализа являются отдельные слова, то в следующих двух разделах объект исследования «укрупняется»: это целые лексические области, которые в процессе смыслопорождения движутся навстречу друг другу. Одна из них является донорской, отдающей словесный материал для выражения определенных смыслов, а другая — реципиентной, ищущей адекватного лексического воплощения. Взаимодействие этих областей наилучшим образом проявляется при формировании вторичных значений слов — метафорических (главным образом), метонимических и др.

В разделе II «МОТИВИРУЮЩИЕ КОДЫ И СИСТЕМНАЯ МЕТАФОРА» изучается донорская (мотивирующая) область вторичной номинации, главным образом

метафорической. В центре нашего внимания два глобальных мотивирующих кода, дающих в славянских языках множество производных значений, которые в ряде случаев имеют типологический характер и подтверждаются инославянскими данными. Это «инородческий» код (составленный этнонимами) и «семейный» (представленный терминологией родства). Анализ лексических единиц, в основу которых положены названные коды, ведется с позиций групповой семантико-мотивационной реконструкции. Изучается внутренняя организация донорских лексических групп, особенности ее влияния на вторичные значения, закономерности формирования рядов мотивационных параллелей, специфика культурно-исторической мотивации в сфере производной лексики и др.

В разделе III «СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НОМИНАЦИИ» меняется отправная точка анализа лексического материала: он разворачивается от реципиентной области номинации, области значений, которые могут воплощаться разными лексическими способами, посредством различных мотивирующих кодов. Значительное место в этом разделе уделено метаязыковым сюжетам: изучаются пути формирования слов, обозначающих разные проявления речевой деятельности — как «обычной», так и аномальной: непристойной брани, аргю «мазуриков» (*байкового языка* и др.); особое внимание уделяется лексическим единицам, сложившимся на основе «тканевого» и «производственного» кодов (терминологии ремесел, трудовых процессов). «Производственная» лексика рассматривается и как «поставщик» материала для воплощения представлений о скорости действий или передвижения. Кроме того, изучается лексическое поле, «обслуживающее» блок значений, связанных с некачественной пищей (постным супом, пустым чаем и др.).

Таким образом, первые три раздела книги построены так, что в каждом из них оказывается представленным определенное направление исследовательского поиска в ходе семантико-мотивационной реконструкции. При этом в данных разделах нет компоновки материала по принципу его единства — в смысле лингвистического статуса или тематики. Такой принцип компоновки реализуется в разделе IV (в котором изучаются имена собственные — топонимы) и V (где исследуется аксиологическая лексика, преимущественно современная).

В разделе IV «СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В ТОПОНИМИИ» формулируется комплекс современных задач семантико-мотивационной реконструкции в преломлении к такому участку лексикона, как система народных географических названий. Речь идет не о «штучной» работе с лексически темными фактами, а о системной интерпретации топонимических рядов и полей. Основное внимание уделяется реконструкции семантического объема и прагматических особенностей слов общенародного лексикона (особенно многозначных) с учетом данных топонимии; рассматриваются вопросы интерпретации специфических моделей топонимической номинации, не имеющих

аналогов в сфере апеллятивной лексики, а также анализируются семантические «следствия» взаимопереходов собственных и нарицательных имен. Уделяется внимание приемам анализа, которые имеют свои особенности при работе с топонимическими данными (например, приемам лингвостатистики). Исследование основано на материале, собранном в полевых условиях на Русском Севере, в Поволжье, на Среднем Урале.

Раздел V «Динамика ценностей в свете лексики» отличается от предшествующих разделов своим материалом: здесь анализируется преимущественно не диалектная, а русская литературная лексика ценностей. По отношению к ней не ставятся вопросы этимологического свойства. Делаются попытки восстановить тот прагматический и социокультурный контекст, который способствует семантическим изменениям изучаемых слов (*самолюбие, романтика, принципиальность, компромисс* и др.). Сдвиги эти, казалось бы, малозаметны (произошли за ничтожно короткий для языка период — с 70–80-х гг. XX в. до начала XXI в., отразившись, тем самым, в лексиконе нынешних «отцов» и «детей»), но весьма существенны, поскольку фиксируют переход от «советских» ценностей к «постперестроечным».

* * *

Ниже оговариваются **принципы подачи** языкового материала, принятые в книге.

При подаче материала паспортизация не дается для языковых фактов, извлеченных из словарей русского литературного языка, одностомных толковых словарей иностранных литературных языков или двуязычных словарей (и не являющихся устаревшими, редкими и пр.). Источники для них указываются лишь в тех случаях, когда анализируются тонкости словарной дефиниции или если из словаря берется литературный контекст. Не паспортизируются также широко известные жаргонные и просторечные единицы русского языка (которые, как правило, представлены в Интернете и могут быть проверены с помощью стандартных поисковых запросов). В подавляющем большинстве случаев в книге анализируются диалектные лексические единицы, которые снабжаются паспортизирующими справками (то же относится к литературным, жаргонным и просторечным словам, имеющим низкую степень известности). Используются социолингвистические пометы: «литер.», «простореч.», «жарг.». Для русских диалектных слов и фразеологизмов приводятся географические пометы. Широко распространенные диалектизмы (зафиксированные как в северном, так и в южном наречии) подаются с пометой «диал. шир. распр.». При повторном использовании одного и того же языкового факта в пределах одного раздела книги документирующая справка может опускаться. Для иноязычного материала указание на язык чаще всего дается без социолингвистических и лингвогеографических уточнений.

Ономастический материал (в первую очередь данные топонимии), как правило, извлечен из одного источника — картотек ТЭ УрФУ. При подаче такого материала ссылка на источник не приводится (кроме случаев, когда единицы, выбранные из картотек ТЭ, стоят в ряду фактов из других источников), но в угловых скобках указывается административный район (см. список сокращений), в котором сделана запись. В том случае, когда запись снабжена мотивационным контекстом (объяснением названия, которое дает информант), отмечается также название населенного пункта внутри административного района. При ономастических единицах, извлеченных из других источников, паспортизирующая справка приводится.

Следует оговорить также особенности подачи контекстов из художественной литературы и публицистики. Если контекст выбирается из какого-либо лексикографического источника, то паспортизируется соответствующий словарь. Если контексты найдены в Национальном корпусе русского языка [НКРЯ], то документирующая помета опускается (при этом даются указания на автора текста, а при необходимости — на время создания произведения). В иных случаях действуют особо оговариваемые правила паспортизации.

* * *

В заключение выполню важный и радостный долг — сказать слова благодарности тем, кто помог выходу этой книги в свет.

То, что здесь сделано, во многом вдохновлено семантическими и этнолингвистическими идеями и трудами С. М. Толстой; с ней обсуждались практически все сюжеты — от этапа замысла до создания текста. Горячая благодарность ей за многолетнее терпеливое пестование автора этой книги, а также за научное редактирование текста монографии.

Большое спасибо моим соратникам и друзьям — членам кафедры русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета, прежде всего моему дорогому учителю — М. Э. Рут. К сожалению, не увидит книги мой научный руководитель А. К. Матвеев, с которым обсуждались некоторые проблемы, рассматриваемые в монографии. Благодарю за консультации (в первую очередь по вопросам русско-финно-угорского контактирования) Т. Н. Дмитриеву, Н. В. Кабинину, О. В. Мищенко, О. А. Теуш. Важную помощь в работе оказали участники проблемной группы «Язык и мир», на заседаниях которой обсуждались части этой книги. Это в первую очередь мои аспиранты, дипломники и курсовики, в числе которых О. В. Атрошенко, Е. О. Борисова, Ю. Б. Воронцова, Н. В. Галинова, Д. П. Гулик, А. А. Едалина, М. А. Еремина, Е. Д. Казакова (Бондаренко), Ю. А. Кривошапова, В. С. Кучко, Т. В. Леонтьева, А. А. Макарова, С. С. Михалищева, А. В. Петкевич, Л. Ю. Пугачева, К. В. Пьянкова (Осипова), И. В. Родионова, Н. А. Сеница, К. М. Старикова, О. Д. Сурикова, А. В. Тихомирова, Л. А. Феоктистова, Е. В. Шабалина и др. Многие категории и приемы

анализа обсуждались с ними и при работе над кандидатскими диссертациями [Атрошенко 2012; Галинова 2000; Еремина 2003; Кривошапова 2007; Леонтьева 2003; Макарова 2012; Пьянкова 2008; Родионова 2000; Тихомирова 2013; Феоктистова 2003; Шабалина 2011].

Некоторые из кафедральных коллег стали моими соавторами: совместно с К. В. Пьянковой (Осиповой) написан параграф 3.2, с Е. Д. Казаковой (Бондаренко) — 3.1.2, 3.1.4, с Е. О. Борисовой — 3.3; с Л. А. Феоктистовой — 5.2. Кроме того, в состав параграфа 1.3 в качестве фрагмента вошел (в переработанном виде) текст статьи, написанной в соавторстве с И. А. Седаковой. Большое спасибо консультантам и соавторам.

Неоценима поддержка А. А. Макаровой, помогавшей в технической обработке и редактировании текста. Горячая благодарность и О. Д. Суриковой за участие в технической работе. Спасибо Е. О. Борисовой, С. С. Михалищевой, К. В. Пьянковой (Осиповой), Л. А. Феоктистовой, Е. В. Шабалиной за помощь в переводе иноязычных выражений.

Книга не могла бы состояться без труда десятков сотрудников Топонимической экспедиции УрФУ, на протяжении более чем полувека собиравших оригинальный топонимический, лексический и этнографический материал, небольшая часть которого осмыслиется в настоящем исследовании.

Очень важной для автора была возможность познакомиться с материалами словарей и неопубликованных картотек в Институте чешского языка Академии наук Чешской Республики (Брно, Прага), Институте сербского языка Сербской академии наук и искусств (Белград), Институте славистики Польской академии наук (Краков), Университете Марии Кюри-Склодовской (Люблин). Большое спасибо администрации этих учреждений, а также коллегам М. Белетич, Я. Влаич-Попович, М. Гарвалику, Х. Карликовой, А. Кравчик-Тырпа, С. Небжеговской-Бартминьской, И. Оконевой, М. Якубович, И. Янышковой. Приношу благодарность С. А. Мызникову, В. Б. Колосовой (Санкт-Петербург) и И. Б. Качинской (Москва) за возможность проверить некоторые факты и дополнить материал по картотекам Словаря русских народных говоров и Архангельского областного словаря.

От души благодарю коллег из разных городов и стран, которые помогали в сборе языкового материала, поиске литературы, консультировали автора по поводу интерпретации тех или иных фактов и участвовали в обсуждении отдельных сюжетов книги: Т. А. Агапкину, М. В. Ахметову, О. В. Белову, М. М. Валенцову, Ж. Ж. Варбот, Ф. Р. Минлоса, И. А. Седакову, О. В. Чёху, Е. И. Якушкину (Москва); А. Е. Аникина (Новосибирск); Н. П. Антропова, Т. В. Володину (Минск); Е. Бартминьского, С. Небжеговску-Бартминьску (Люблин); М. Белетич, А. Лому, Л. Раденковича, А. А. Тарасьева (Белград); Т. Н. Бунчук (Сыктывкар); Н. Б. Вахтина (Санкт-Петербург); А. Гудавичюса (Шауляй); Г. И. Кабакову (Париж); К. Келли (Оксфорд); Л. Киршбаум, И. В. Киселеву (Вена); А. Кравчик-Тырпа,

М. Якубович (Краков); Л. Кралика (Братислава); А. Н. Кушкову (Чапел Хилл); О. В. Меркулову (Запорожье); Д. Мирич, Д. Попович (Нови Сад); О. Младенову (Калгари); И. И. Муллонен (Петрозаводск); П. Неedly (Прага); М. Рачеву (София); З. Рудник-Карватову (Варшава); Д. В. Спиридонова (Екатеринбург); К. М. Старикову (Лондон); С. Торкара (Любляна); А. В. Юдина (Гент); И. Янышкову (Брно).

Раздел I

СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛОВА

В данном разделе отправным пунктом семантико-мотивационного анализа стали **отдельные лексические единицы**. Этот объект исследования кажется «точечным», но на самом деле таковым не является, поскольку за каждым из выбранных слов стоит обширный семантико-деривационный комплекс, раскрывающий его смысловое наполнение. Анализируемые лексемы репрезентируют значимые концепты народной культуры — из сферы народной религии, соматики, национальных отношений. Для упорядочения семантико-деривационных комплексов и определения логики их внутренней организации в ходе анализа выявляются основные мотивы, которые реализуются в семантических дериватах и фразеологизмах, а также тематические сферы вторичных значений. Используются и другие исследовательские процедуры, причем в каждом случае оказывается востребованным их особое сочетание. Ниже представлен краткий обзор проблематики главы, проясняющий логику выбора тех или иных инструментов анализа.

Каждое из слов, являющихся вершинами изучаемых деривационно-фразеологических гнезд, вступает в антонимические, синонимические и другие отношения в рамках лексической системы русского языка и имеет соответствия за его пределами, — и это учитывается в ходе работы.

В параграфах 1.1, 1.2 для анализа избраны слова, образующие **антонимическую пару**. Это важнейшие термины народной религии — **ад** и **рай**. Деривационно-фразеологические гнезда с этими вершинами задают исследователю не только собственно семантические, но и этимологические вопросы. Дело в том, что вершинные лексемы в силу их древности, концептуальной значимости и «лапидарности» звукового облика вступали в многочисленные взаимодействия с близкими в формальном и смысловом отношении словами, — и эти вторичные связи оказали на них существенное влияние. Поэтому определение состава данных

гнезд представляет собой нетривиальную задачу, попытка решения которой представлена ниже. По отношению к *раю* проблеме составляет не только «правая» мотивация (*рай* как мотивирующее слово), но и «левая» (мотивация самого *рая*); соображения по этому поводу мы тоже постарались сформулировать. Поскольку оба слова обозначают сакральные локусы и имеют локативную составляющую семантики в качестве базовой, они могут выступать в качестве производящих основ для образных топонимов, — соответственно к анализу привлекаются «адские» и «райские» географические названия. Наконец, принадлежность этих слов к *terrina sacra* требует пристального внимания к культурному контексту, специфика и динамика которого неминуемо отражается в их семантическом пространстве (к примеру, ассоциативно-деривационная семантика слова *ад* в севернорусских говорах, возможно, испытала на себе воздействие традиций иконописи). В то же время для *ада* и *рая* выбраны несколько разные процедуры анализа.

Слово *ад*, являющееся греческим заимствованием, из всех славянских языков распространено только в русском, а его дериваты наиболее активны в севернорусских говорах. В других родственных языках концепт ада выражается иными лексическими средствами. Отсюда специфические возможности изучения семантики русского *ада* и его иноязычных соответствий. С одной стороны, различие лексических средств выражения концепта при исходном единстве идейного фонда христианской религии, питающего семантику этих лексем, создает весьма благоприятные предпосылки для семантико-типологического анализа: русский *ад* сопоставляется с эквивалентами в инославянских, германских и романских языках, причем в ходе сопоставления определяются сходства и различия на уровне мотивов, проявляющихся в семантическом пространстве разноязычных обозначений ада. С другой стороны, своеобразие внешнего облика слова *ад*, как говорилось выше, обуславливает его высокую контаминационную активность. Это определяет необходимость рассмотрения данной лексемы как элемента морфосемантического поля¹, «пересоздающего» ее значение. Таким образом, смысловое пространство слова получает особую рельефность на фоне семантики его эквивалентов в других языках, а также в его системных связях в родном языке.

В отличие от *ада*, слово *рай* является исконным². При рассмотрении его гнезда в русских народных говорах привлекается славянский контекст, в некоторых случаях — романские и германские данные. Выявляются тематические сферы

¹ «Вся совокупность лексических связей, определяющих возникновение слова, которую принято называть морфосемантическим полем, включает в себя, помимо генетических (словообразовательно-этимологических отношений), также отношения омонимии, паронимии, синонимии, антонимии, контекстуальные связи, и весьма вероятно, что этот перечень следует считать открытым» [Варбот 2012: 130–131].

² При этом в романо-германских языках обозначения *рая* заимствованные: «Нельзя не высказать своего удивления по поводу того, что столь глубокое различие между Западом и Востоком до сих пор, насколько я знаю, не привлекло внимания» [Трубачев 2002: 421].

вторичных значений, определяются мотивы, реализующиеся в значениях дериватов *рая* и соответствующей фразеологии, рассматриваются процессы аттракции с участием этого слова, — все это позволяет представить языковой «портрет» *рая* и предложить уточнение первичной мотивации данной лексемы.

В параграфе 1.3 изучается пара слов, объединенных отношениями синонимии (гипонимии): *кожа* и *шкура* в славянских языках. По отношению к ним и к их дериватам собственно этимологические задачи практически не стоят — и на первый план выходят другие проблемы. Сама реалья (кожные покровы) имеет уникальный статус: она является «пограничной», обращенной как к внутренним органам человеческого тела, так и вовне. По этой причине значения некоторых дериватов славянских «кож» и «шкур», отражающие разные грани образа, поначалу кажутся противоречащими друг другу. Кроме того, среди производных «кож» и «шкур» есть темные в мотивационном отношении слова (к примеру, рус. влг. *кожа* 'любовник') или же лексемы, по отношению к которым можно предложить несколько мотивационных версий (рус. литер. *шкура* 'эгоист', укр., блр. диал. *шкура* 'скупец'). Задача исследования в данном случае — представить многоплановый языковой образ и найти «нерв», определяющий его диалектику и не позволяющий ему рассыпаться. Для этого устанавливаются тематические сферы вторичных значений, выявляются основные мотивационные признаки, реализуемые в дериватах из разных сфер, описываются текстовые партнеры «кожи» и «шкуры» в рамках фразеологии (из которых наиболее показательны предикаты). Особое внимание уделяется системным отношениям «кожи» и «шкуры» с другими соматизмами, в том числе — «синонимии» переносных употреблений соматизмов: при всей уникальности реалии ее обозначения образуют ряды с другими соматизмами, — и логика компоновки этих рядов (к примеру, связи «кожи» с «костями», «мясом», «телом» и др.) проясняет закономерности строения языкового образа кожи и далее — языковой концептуализации других соматических объектов.

В параграфе 1.4 рассматривается слово *русский*, у которого нет антонимов или синонимов, — и для углубления этнолингвистического аспекта исследования сделана попытка рассмотреть ассоциативно-деривационную и фразеологическую семантику данного слова «изнутри», со стороны русской языковой традиции, и «извне» — со стороны инославянских языков (а также романо-германских и эпизодически — других языков Европы). Интерес представляет не столько констатация всех различий между результатами «внутреннего» и «внешнего» анализа (а priori ясно, что в данном случае такие различия неизбежны), сколько определение их последствий для методики семантико-мотивационной реконструкции. К примеру, одно из таких последствий состоит в том, что факты, представляющие собой семантико-мотивационные параллели «извне», иногда не являются таковыми «изнутри»: так, в разговорной стихии германских языков сочетания «русская баня» и «турецкая баня» могут семантически уравниваться (англ. *Russian bath* =

Turkish bath, нем. *russisches Bad = türkisches Bad*), в то время как в русском языке они противопоставлены друг другу. Анализ с внутренней позиции разворачивается как изучение семантико-деривационного комплекса слов с корнем *рус-/рос-* в русских народных говорах и просторечии. Специфика такого анализа состоит в учете факторов прагматики: в изучаемом комплексе дает о себе знать смена фокуса эмпатии, «плавающая» точка зрения того, кто говорит на русском языке и пытается найти типичные проявления «русскости», вследствие чего семантика дериватов отражает амплитуду варьирования «местное — общерусское», «личное — общественное», «деревенское — городское» и пр. Эта особенность заставляет считать, что *русский*, наряду с такими лексическими единицами, как *люди*, *народ* и др., является словом «нетривиального дейксиса». В ходе исследования проводятся наблюдения над процессами аттракции: дериваты изучаемого гнезда обладают высокой контаминационной активностью, вследствие чего определение границ гнезда становится непростой задачей. Ее решению способствует выделение тематических блоков вторичных значений, а также мотивационных признаков, лежащих в основе дериватов.

Что касается изучения производных от этнонима «русский» или топонима «Русь, Россия» с внешних позиций, то оно ограничено (вследствие необъятности материала) одной тематической группой лексики — обозначениями пищи. Эта группа оказалась вполне показательной: в значениях «пищевых» слов оказываются своеобразно преломленными стереотипные представления не только о питании русских, но и об их образе жизни, национальной психологии и т. п. Рассматриваются общие механизмы номинации, позволяющие приписать извне объектам номинации свойство «русскости», ставится вопрос об объективности / субъективности информации, отраженной в наименованиях «русской пищи», о причинах появления названий, несущих высокий заряд субъективности. При этом сопоставляются значения иноязычных названий «русской пищи» и их русских эквивалентов (если таковые имеются; если нет — комментируются причины их отсутствия). Подробно анализируется семантика обозначений блюд или продуктов, имеющих внутреннюю форму «русская селедка», «русский чай», «русские яйца», «русский соус», «русский салат», «русский бутерброд (сэндвич)».

Раздел завершается параграфом 1.5, где рассматриваются уже не такие «громкие» слова, как предыдущие, а впервые вводимые в научный оборот лексические единицы или же такие, которые требуют нового мотивационного прочтения. По отношению к ним семантико-мотивационная реконструкция выступает не в широком, а в узком смысле: как восстановление первоначального значения слова и его мотивации. Избранные для анализа факты объединены тем, что они записаны Топонимической экспедицией Уральского университета на территории восточного Вологодско-Костромского пограничья (записи 2009–2013 гг.). Изучаются три русских диалектных слова (*ущер* ‘промежуток между чем-либо; пропасть’, ‘труп’; *потекесы* ‘неудачная выпечка, хлеб’; *шаторина* ‘соринка’), а также

общенародный фразеологизм *садиться не в свои сани*. Анализ осуществляется с опорой на семантико-мотивационные параллели и этнокультурный контекст бытования лексических единиц.

1.1. РУССКИЙ АД НА ИНОЯЗЫЧНОМ ФОНЕ

Появившись в русском языке с принятием христианства, грецизм *ад* (через ст.-слав. *адъ* из ср.-греч. *ἀδης* < *ᾗδης* ‘преисподняя, ад’ < *Ἄδης* ‘Аид, бог преисподней’ [Аникин РЭС 1: 97]) пустил на русской почве корни, став основой обширного деривационного гнезда. Формирование этого гнезда, его семантическая организация интересны как в этнолингвистическом плане (особенности рецепции христианской идеологии, ее диалога с идеологией языческой), так и в системно-лингвистическом (логика взаимодействия заимствованного *terminum sacrum* с принимающей языковой системой), а также в типологическом. Раскроем подробнее последний аспект.

Значение ‘ад, преисподняя’ выражается в языках европейских народов, принявших христианство, с помощью слов с разной внутренней формой, ср., например, греч. *ᾗδης*, *Ἄδης* — этимологически, возможно, «невидимое»; новогреч. *κόλασις* «наказание»; лат. *inferna* «принадлежащее нижнему миру» → итал. *inferno*, франц. *enfer*, исп. *infierno*; гот. *halja*, др.-норв. *hel*, др.-в.-нем. *hella*, нем. *hölle*, др.-англ. *hel*, англ. *hell* «место, где прячутся» [Buck 1949: 1485–1486].

В отличие от названных выше языков, в которых для выражения понятия «преисподняя» используются исконные лексемы, славянские языки прибегают к заимствованиям — грецизму *ад* и континуантам **ръкъль*. Праслав. **ръкъль* ‘смола’ является, по всей видимости, древнейшим заимствованием из нар.-лат. *picula* ‘то же’ (через посредство др.-в.-нем. или др.-н.-нем.), которое восходит к и.-е. **pik-* ‘то же’. Значение ‘преисподняя’ появилось в западнославянских языках с принятием христианства как калька со ср.-в.-нем. *pech* ‘смола’ → ‘ад’, а затем распространилось на славянской территории. Связь значений в ср.-в.-нем. объясняется представлением о том, что грешники горят в аду в кипящей смоле. Продолжения **ръкъль* испытывают аттракцию к континуантам **pekti* ‘печь, жечь’ (этимологическая трактовка излагается по [Czarnecki 2007]; ср. также [Machek 1968: 441–442; Фасмер 3: 226; Boguś 2005: 428; ЕСУМ 4: 328–329; ЭСБМ 9: 14] и др.).

Ад фиксируется в русской, украинской (с пометой «устаревшее»), болгарской, македонской и сербской литературных традициях, но только русская языковая стихия допускает мощное гнездовое развитие этого слова в говорах (особенно севернорусских)³. В западнославянских языках этот грецизм не представлен, они

³ В украинском и южнославянских языках случаи проникновения слова *ад* в говоры фиксируются, но весьма редко (см., например, в [ЕРСJ 1: 61; Хобзей 2002: 22–23]).

отдали предпочтение «пеклу» (здесь и далее для краткости мы будем называть продолжения **ркълъ* в разных славянских языках словом «пекло»); кроме того, *пекло*, параллельно с *адом*, фиксируется в южнославянских и восточнославянских языках и активно проникает в говоры (в том числе южнорусские): укр. *пекло*, блр. *пекла*, серб. *пѣкао*, болг. *пѣкъл*, макед. *пекол*, словен. *pekèl*, польск. *piekło*, кашуб. *řekło*, чеш., словац. *peklo*, в.-луж. *pjekło*, н.-луж. *pjakło* и др.

Пекло представлено и в русском литературном языке. Это слово появилось довольно поздно: оно не отмечается в Словаре древнерусского языка XI—XIV вв., а первые фиксации датируются XVII в., при этом в контекстах проскальзывает чуждость лексемы для сознания носителей языка, ср. «А по латынски *адъ* наричется *пекльъ*» [СлРЯ XI—XVII 14: 186]. В то же время в старобелорусском языке — в языковой стихии, более тесно связанной с католическими текстами, — слово фиксируется раньше, в XV в. (1489) [ГСБМ 24: 66]. Интересны контексты, дифференцирующие *пекло* и *ад*, ср. укр. «Абовѣмъ *пекло* ся розумѣть, што палить и печеть, а *адъ*... розумѣтся мѣстце невидимое или мѣстце темностей и низких пропастей, до которыхъ Христось обожженною душею, души отъ *ада* высвобожаючи, зступиль» (1603) [СУМ XVI—XVII 1: 76].

В современном русском литературном языке *пекло* расходится семантически с *адом* — это скорее не собственно преисподняя, а именно «горячая часть» преисподней, полыхающий в ней огонь. Думается, из всех литературных словарей наиболее точен «Словарь русского языка» (М., 1981–1984), который, в отличие от ряда других источников, считает ‘ад, адский огонь’ не самостоятельным значением слова *пекло*, а оттенком значения ‘сильный огонь, сильный жар’ (иные значения этого слова — ‘сильный зной, жара’, ‘место, где происходит жаркий бой, горячие споры’) [СлРЯ 3: 38]. Русское *пекло* практически не дает деривации, употребляется весьма редко и в «несвободных» контекстах (как правило, в связи с чертом⁴) — и, таким образом, существенно уступает *аду* как способ выражения понятия «преисподняя».

Кроме основных обозначений понятия «преисподняя» в славянских и других европейских языках, в их литературных вариантах встречаются многочисленные дополнительные наименования, как однословные (например, рус. *преисподняя*, чеш. *podsvětí*), так и двухсловные перифразы (к примеру, рус. *царство теней*, польск. *królestwo cieni*). Есть также обозначения ада, которые воспринимаются как прецедентные имена собственные, отсылающие к образам *Ауда* и *Тартара* (*Hades*, *Tartarus*). Ближе к ним и слово *Gehenna* ‘геенна’, восходящее в конечном счете к др.-евр. *Gēhinnōm* «долина, юдоль сына Хиннома» [Черных 1: 184].

⁴Ср.: «Раз, за какую вину, ей богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла» <Н. В. Гоголь>; «Хоть к черту в пекло, хоть к крокодилу в зубы, только чтоб не здесь оставаться» <А. П. Чехов>; «Да попадись такой козырь умелому человеку — он под отстающий колхоз у самого черта пекло выпросит» <Г. Николаева> [ССРЛЯ 9: 362].

Особый интерес представляют диалектные способы выражения указанного понятия, реестр которых, кажется, полностью не выявлен, ср. серб. диал. *јама* [СД 1: 94], словац. архаич., чеш. диал. *sitno* [SSJ 4: 82; PSJČ 5: 248] (о последнем слове подробнее см. ниже) и др.

Представив кратко тот фон, на котором функционирует рус. *ад*, подойдем к обоснованию задач настоящей работы. Главная задача — охарактеризовать **семантическое своеобразие деривационно-фразеологического гнезда рус. *ад***. Внимание к деривационной семантике — результатам собственно семантической и семантико-словообразовательной деривации — объясняется тем, что семантические дериваты воплощают в себе наиболее устойчивую часть существующего в вербальной форме знания об *аде*. Помимо семантической деривации, языковой концепт может выражаться также во фразеологии, устойчивых сравнениях, эпитетах и т. п. — ср. рус. диал. *как ад жрать* ‘о человеке, который ест жадно и много’ (такие факты тоже привлекаются нами к рассмотрению — в тех случаях, когда они выражают те же смысловые линии, что и семантическая деривация). Далее следуют свободные текстовые связи, которые не отличаются регулярностью и устойчивой воспроизводимостью — и здесь мы уже вступаем в зону текстовой реализации концепта. Между системно-языковой и текстовой проекциями концепта, естественно, нет жесткой границы, они имеют общий источник и значительную часть общих смыслов, однако есть и различия: так, элементы системы языка участвуют во внутриязыковых сближениях, которые способны внести нюансы в их концептуальное наполнение, в то время как семантика слова в тексте имеет несколько иную детерминацию, зависит от жанрового задания и т. д. Концепт *ада* репрезентирует себя в огромном количестве проявлений — системно-языковых, текстовых и даже внеязыковых (к примеру, относящихся к сфере живописи, иконографии). Все они, конечно, не могут рассматриваться в рамках одной работы. Ограничив анализ деривационной семантикой, поставив задачу рассмотреть ее специфику как сферы реализации концепта, мы, разумеется, не можем не обращаться по мере необходимости к другим сферам — в том числе внеязыковым (иконаграфии *ада*). Деривационное гнездо бывает непросто очертить: для корневой идентификации ряда лексических фактов требуется семантическая реконструкция разной степени глубины (так, при атрибуции слов как производных от деэтимологизированного и «короткого» *ада* мы сталкиваемся с затруднениями семантико-мотивационного и лингвогенетического плана) — отсюда потребность прибегать к разнообразным «поддержкам», особенно «культурным». Таким образом, пытаясь не потерять основную линию исследования — изучение закономерностей функционирования деривационной семантики на базе *ада*, — мы время от времени «открываем окно» в другие сферы реализации концепта преисподней для того, чтобы выделить сам объект изучения и глубже понять его устройство.

Отсюда вытекает, что данная работа ни в коей мере не претендует на полноту описания концепта «Ад» в русском языке и культуре; здесь лишь представлена

попытка выделить одну из сфер реализации концепта, рассматривая ее в ряде случаев на фоне других.

Будет изучаться в первую очередь народная языковая традиция — диалектные и общенародные данные, реже просторечные. Эти данные особо интересны, если учесть, что, как говорилось выше, русские (в первую очередь, севернорусские) говоры — единственный участок славянской территории, который «привержен» *аду* и не поддался «увлечению» континуантами **ръкъль*. Факты книжной традиции привлекаются к анализу в том случае, если они в смысловом отношении соответствуют (не противоречат) общенародным и диалектным. Выбор народного языка обусловлен нашим желанием увидеть самостоятельный (разумеется, эта самостоятельность весьма относительна) путь русского *ада* в языковой системе, который, несмотря на влияние «интернациональной» книжной традиции и взаимодействие с ней, обнаруживает индивидуальные способы внедрения слова в национальный лексикон, реагирования на смысловые и формальные импульсы, идущие от «принимающей стороны».

Эта задача будет совмещаться с задачей сравнительно-типологической (сопоставление деривационной семантики гнезда *ад* и его межъязыковых лексических эквивалентов), решение которой, помимо собственных типологических нужд, поможет более выпукло представить специфику изучаемого русского гнезда.

Из гнезд межъязыковых лексических эквивалентов *ада* для анализа было выбрано в первую очередь гнездо слав. **ръкъль*, особенно его западно- и восточнославянские составляющие (в южнославянских языках это гнездо, кажется, не так активно в деривационном отношении). Менее регулярно будут рассматриваться дериваты неславянских наименований преисподней — прежде всего образованные на базе основных слов для изучаемого понятия в романо-германских языках: англ. *hell*, нем. *hölle*, итал., порт. *inferno*, франц. *enfer*, исп. *infierno* (гнезда германских корней далее будут условно называться *гнезда «hell»*, гнезда романских — *гнезда «inferno»*). Эпизодически анализируются другие корни, выражающие в различных европейских языках значение ‘ад’.

Смысловые сферы, в которых функционируют дериваты лексемы *ад* и ее эквивалентов в изучаемых языках, разнообразны, и количество языковых фактов очень велико. Многие значения и фразеологические обороты полностью сходны во всех привлеченных для анализа языках: «адский» ‘сильный, интенсивный’, «адские муки», «тьма ада», «адский камень» ‘ляпис (порошок, применяемый как прижигающее средство)’ и др. В центр нашего внимания попадет не вся «адская» лексика, а лишь та, в которой отражены следующие мотивационные признаки (т. е. представления о свойствах ада), лежащие в основе семантической деривации или обыгрываемые во фразеологизмах: 1) то, что пожирает; 2) то, где царят шум, беспорядок, сутолока (→ ссоры, скандалы, распри); 3) то, где горят (грешники); 4) то, что является углублением, отверстием.

Выбор именно этой лексики обусловлен тем, что в ней наиболее явственно ощутимы различия в языковой картине преисподней в разных языках. Различия выражаются в образовании уникальных значений в каком-либо из изучаемых языков (в первую очередь, в русском), в разной активности (степени выраженности) отдельных элементов деривационной семантики, в реализации разных путей формирования значений.

ТО, ЧТО ПОЖИРАЕТ

Данный признак очень активен в деривационном пространстве рус. *ад*. О возможности трактовки ряда русских диалектных слов как дериватов лексемы *ад*, реализующих признак пожирания, говорилось в литературе [Аникин РЭС 1: 97; Журавлев 2005: 386–388; Успенский 1982: 58; Черепанова 2005: 75 и др.], однако в разработке этой проблемы остались спорные и неизученные моменты, позволяющие обратиться к ней вновь.

Прежде чем перейти к диалектному материалу, укажем на существование культурного фона, который значим для понимания изучаемой лексики. Представление о пожирании адом грешников является, разумеется, общехристианским. Действие пожирания «опредметилось» в книжной традиции в образе адских челюстей, зева, чрева и пр., ср., например, церк.-слав. ритор. *челюсти (уста) ада, адская гортань (зѣв)* ‘символическое обозначение смерти, гибели’ [СлРЯ XVIII 1: 24, 28–29], ст.-слав. ... *тоу въ чрѣвѣ адьстѣѣмъ лежитъ ѿна* (Супр.) [SJS 1: 17], укр. *во адѣ чрева носити (щю)* ‘иметь пристрастие к чему-л.’ [СУМ XVI—XVII 1: 76].

Другой вариант опредмечивания — ассоциация ада со змеем, червем: др.-рус. *чървь* ‘в образных выражениях — геенна, ад’ [Срезневский 3: 272], укр. «Змії великій w(т)стѣпникъ: Адъ ро(з)зѣвлѣючій пащекѣ <пасть> свою» [СУМ XVI—XVII 1: 76].

Об актуальности идеи «адского пожирания» и для русской народной традиции говорит тот факт, что в диалектах (Русский Север, Поволжье, часть среднерусских говоров) сформировалось огромное количество дериватов слова *ад*, реализующих эту идею (дополнительно могут проявляться также признаки зияющего (разинутого) отверстия и источника крика, шума).

Наиболее ярко такая мотивационная база отражена в словах со значением ‘глотка, рот’: башк. (рус.), влг., вят., костр., перм., яросл. *ад* (мн. *ады*) [СРНГ 1: 203; Дилакторский 2006: 7; ОСВГ 1: 22; СГРС 1: 13; СРГБаш: 17; ФСПГ: 212; ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 44], влг. *адало, адина* [СГРС 1: 13], вят. *адище, адище* [СРНГ 1: 207; ОСВГ 1: 23]. Образ глотки лежит в русле обытовления представленный об аде, типичного для русской народной рецепции религиозных концептов, но у такого обытовления есть обратная сторона — деэтимологизация соответствующих слов, которые в синхронной системе говоров могут восприниматься как немотивированные.

Образ глотки находит в севернорусских говорах дальнейшее «акциональное» развитие в обозначениях ненасытного человека, обжоры (→ нахлебника) и собственно действия пожирания⁵.

Жадный до еды, ненасытный человек (животное), обжора; пьяница, пропойца; нахлебник: влг., вят., иван., костр., сев.-двин., тамб., яросл. *ад* (мн. *ады*): «Экой ведь ад некрытой», «Ад, говорят, не может наесться, адушко. Ад не тот, что на том свете, а в том смысле, что много жрёт», «Ой ад ненаедной, накормить не можём тебя» (костр.), «Ад ты ненасытный, насопеться не мог», «Опился, ад живоглотной!» (вят.) [СРНГ 1: 203–204; ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 44; ОСВГ 1: 22; ЛКТЭ]; яросл. *как ад* (*жрать*) ‘о человеке, который ест жадно и много’ [Ховрина 1998: 44], костр., яросл. *ад бездённый* [СРНГ 1: 204; Ховрина 1998: 44], костр. *ад змеиный* [ЛКТЭ], костр. *ад кромешный*: «Ну и ад кромешный! Это у кого аппетит хороший, а хозяину жалко еды. У нас мама всё раньше: “Ну вы каки ады кромешные”» [Там же]; иван., самар., сев.-двин., яросл. *ад* ‘о домашних животных. Говорится о домашних голодных животных, которые тотчас съедят, что им предложат, и кричат и просят еще. Это слово как порицание их жадности’: самар. «Ах вы ады живоглотные!» [СРНГ 1: 204]; яросл. *ады* ‘едоки, нахлебники (о детях)’ [ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 44], сев.-двин. *адик* ‘об обжоре, пьянице’ [СРНГ 1: 207]; влг. *адина* [СВГ 1: 15], *адина-жадина* [СГРС 1: 13], *адвище* [СВГ 1: 15], влг., вят., костр. *адище* [ЛКТЭ; СРНГ 1: 207; Дилакторский 2006: 7], *адище*: «Адишшо, сколь иссопел, адишшо ненасытное» (костр.) [ОСВГ 1: 23; СРНГ 1: 207; ЛКТЭ]; костр. *адуй* ‘обжора, особенно тот, кто пьет много чая, воды’: «Ой ты, адина, адуи, адушко, обадался-то», «Провались ты, адуи, сколько тебе надо»⁶; костр. *адушко* ‘обжора; пропойца, пьяница’ [ЛКТЭ].

Много и с жадностью есть или пить, «жрать»; пьянствовать: влг., костр. *адать* [СГРС 1: 13; ЛКТЭ], арх., влг., вят., костр., яросл. *адать* [СГРС 1: 13; СРНГ 1: 206; ОСВГ 1: 22–23; ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 46], перм. *адгать* [СПГ 1: 8], влг. *адить* [КСГРС], яросл. *адить* [СРНГ 1: 207; Ховрина 1998: 46], костр., перм. *адовать*, яросл. *адовать* (без уд.) [ЯОС 1: 20; СПГ 1: 8; Ховрина 1998: 46; ЛКТЭ], вят. *адовать* ‘пьянствовать’ [ОСВГ 1: 23], арх. *садать*, *содать* ‘много съесть, «сожрать»’ [КСГРС].

Возникает вопрос: действительно ли все перечисленные выше факты могут быть квалифицированы как дериваты *ада*? Как будет показано ниже, некоторые из названных слов имеют и альтернативные этимологические трактовки, связывающие их с другими этимонами. Чтобы укрепить «адскую» версию, следует привести аргументы культурологического характера, которые выводят нас из плоскости анализа слова в плоскость изучения культурного концепта. Такой

⁵ Другая линия развития образа связана с номинацией кричащих людей и крика (см. далее рубрику «То, где царят шум, беспорядок, сутолока»).

⁶ Ср. также костр. *адуй объелся* ‘о человеке с расстройством желудка’ [ЛКТЭ].

выход, повторимся, оправдан необходимостью мотивационно обосновать принадлежность названных выше слов к одному гнезду.

Итак, идея пожирания многогранно и разносторонне поддерживается **культурной традицией**. Вот некоторые формы проявления этой поддержки, наиболее близкие народной языковой стихии.

А п о к р и ф ы («Хождение Богородицы по мукам», «Слово о сошествии Иоанна Крестителя во ад» и др.), д у х о в н ы е с т и х и. Ср. апокрифические контексты: «**виде вѣща на дрѹго мастѹ чилакъ де висн за ѡзико, и червее го идѡха**» [Лавров 1899: 146], «И увидѣ Святая, гдѣ лежаху на пламени огнемь и ядыше ихъ червь не усыпая» [БЛДР 3: 312], «И видѣ другия жены во огни лежаща и различная змия ядыху ихъ» [Там же: 314] и др. Считается, что к апокрифическому источнику восходит представление ада в виде огромной змеи, отмеченное, в частности, в болгарской традиции (*ада несата*) [Гура 1997: 281].

Важно, что в апокрифах Ад может одушевляться, ему приписываются диалоги с Дьяволом («Сотоной»): «И рече Адъ ко Дияволу: “Дияволѣ, слыши, а ты, Давид, глаголи”» [БЛДР 3: 256], «Адъ же озревся и рече Сотоне: “О Велзаулѣ окаяннѣ, добру запретитель”» [Там же: 260], «И штвѣщавъ адъ глаза дияволу <...> азъ тыгда съгноихъ тѣло лазорево зѣло» [УС XII—XIII: 364] и др. Так подчеркивается «субъектность» ада, его способность совершать самостоятельные действия.

Мотив «адского пожирания» звучит и в текстах духовных стихов: «А чародеи отыдут в тяжкий смрад: И ясти их будут змеи лютые; Сребролюбцам место — неусыпный червь; А мраз зело лют будет немилостивым...» [Бессонов 1863: 503]; «Готова вам есть мука вечная, Огонь-пламень неугасимый И место темное, и черви лютые» [Стихи духовные: 229] и т. п.⁷

И к о н о п и с ь. При общехристианской распространенности сюжета «Страшного суда» в иконографии и живописи (ад нередко изображался в виде пасти зверя, змея, дьявола)⁸, в России этот сюжет был особо популярным, как следует из искусствоведческой литературы, в северно- и среднерусской иконографии — в Ярославской, Костромской, Вологодской, Московской школах иконописи, т. е. фактически в той зоне, где слово *ад* получает значение пожирания. На этой территории, особенно на Русском Севере, данный сюжет регулярно разрабатывался в храмовой росписи. К примеру, композиция «Страшный суд» вологодского Софийского собора — самая большая фреска на этот сюжет в России. Введение сюжета в канон расписывания церковью связано с византийской традицией (см. об этом в [Покровский 1887: 285]), а эта традиция лучше всего «законсервировалась» на Русском Севере, в то время как на юге и западе России в иконописи сказывались

⁷ Анализ подобных контекстов из апокрифов и духовных стихов осуществлялся, в частности, А. Н. Соболевым, который прослеживает связь между характером адской пытки (например, пытка пожиранием) и категориями грешников [Соболев 1913: 182–186].

⁸ Об этом есть обширная литература, ср. хотя бы [МНМ 1: 39].

западноевропейские влияния. Русский изобразительный канон — по сравнению с западноевропейским — был более императивным и стандартизированным.

Стоит отметить, что в русской иконописи есть и некоторые новации, усиливающие представления о «змеиности» ада: кроме «обычного» змея (пасти ада), на иконах нередко изображался и так называемый «змей мытарств», встречающийся в составе русских «Страшных судов» с конца XV в.⁹ Его хвост тянется из пасти геенны огненной, а голова упирается в стопу молящегося Адама. На тело змея нанизаны кольца мытарств с обозначениями грехов (об этом см., например, в [Алексеев 1998; Бережная 2003: 456–460; Goldfrank 1995]). Трактовки происхождения и символики «змея мытарств» разноречивы¹⁰, но в контексте нашей работы важен не столько «план содержания», сколько «план выражения»: «змей мытарств» изображался чаще всего в самом центре иконы¹¹, занимал в ее композиции существенное место и сразу приковывал к себе внимание, — а именно это наиболее значимо для наивного восприятия и создания «картинки ада» в народном сознании.

Народная гравюра, лубок. Сюжет Страшного суда с участием змея был весьма активен и в народной гравюре, ср. описание типичной картины: «...изливается в адову пасть огненная река; из этой же пасти исходит громадный змей, извивающийся по всей картинке» [Ровинский 1900: 292].

Несмотря на столь мощную культурную поддержку и на прозрачность, казалось бы, связей между значениями 'преисподняя' и 'пожирать' (и оживление этих связей в сочетаниях вроде *ад змеиный*, *ад ненасытный* и *ад живоглотный*), приведенные выше русские диалектные слова относятся к спорным в этимологическом отношении. А. Е. Аникин указывает на возможное финно-угорское происхождение глаголов *ádatъ*, *адáтъ*, *садáтъ*, *содáтъ* [Аникин РЭС 1: 97].

⁹ «Змей мытарств» встречается еще на иконах, созданных на территории современных Карпат; эти иконы называют «украинскими», «карпатскими» или «русинскими» [Бережная 2003: 479–480]. В то же время этот образ считается преимущественно русским нововведением, поскольку на русских иконах змей изображается последовательно, а на карпатских используются и другие способы художественного воплощения мытарств [Там же: 458].

¹⁰ Так, А. А. Алексеев считает, что функция змея — пожирать грешников, чьи грехи нельзя искупить, и ввергать их в геенну [Алексеев 1998: 17]; Л. В. Нерсисян (к которому присоединяется Л. А. Бережная) видит в образе змея символ ветхозаветного Антихриста-искусителя; Я. Клоциньска полагает, что змей символизирует очищение души по пути в рай (см. [Бережная 2003: 456–457]); по мнению Д. Гольдфранка, в вопросе о символике змея остается много загадочного, но идея змея на иконе, возможно, принадлежит Иосифу Волоцкому и поддерживается хилиастическими настроениями на Руси в конце XV в. [Goldfrank 1995: 199] и т. д.

¹¹ При этом со временем изображение змея мытарств играло все большую роль в композиции иконы. Как показывают Д. И. Антонов и М. Р. Майзульс, большинство инноваций (имевших место в XVI—XVIII вв.) в иконописном изображении Страшного суда происходило не в верхней части икон, «где восседает Христос с ангелами, а в середине (где течет огненный поток, извивается змей мытарств и стоят ряды грешников и иноверцев), внизу — в геенне огненной и клеймах с адскими муками...» [Антонов, Майзульс 2011: 307].

А. К. Матвеев конкретизирует это положение, квалифицируя глаголы как коми заимствования, ср. коми-з. *adžny* ‘много или жадно есть, «жрать»’, *аджны* ‘жрать’, диал. *адавны*, коми-п. *адáвны*, сев. *адáльны* ‘жрать, сожрать’ [МФУЗ 1: 24]. У коми слов нет удовлетворительной этимологии: сравнение с фин. *ahmia* ‘жадно есть, пожирать’, производным от *ahma* ‘росомаха’, различные специалисты по финно-угорской этимологии считают спорным. Версия о коми заимствовании, по мнению А. К. Матвеева, поддерживается географией слов: три смежных района на юго-востоке Архангельской области [Там же]. Однако вышедшие в последние годы словари и недавние полевые сборы расширяют наши представления о географии лексем (см. выше). Фиксация формы *адать* и др. в таких говорах, как, скажем, ярославские, несколько ослабляет позиции коми версии (хотя здесь можно найти контраргумент: слово могло проникнуть в русские говоры из какого-то вымершего диалекта коми языка [Там же]). Смущает и то, что в случае принятия коми версии придется допустить гетерогенное происхождение всего блока наименований глотки, обжоры и действия пожирания (а также связанных с ними семантически обозначений крикунов и крика, особенно глаголов типа *адáть* ‘кричать’, см. ниже): для лексем со значением ‘глотка’, ‘обжора’, отмеченных, к примеру, в тамбовских, ивановских, башкирских говорах, коми источник все-таки маловероятен.

Нам представляется, что все русские диалектные слова, приведенные выше, можно считать производными от *ад* ‘преисподняя’. Что касается происхождения коми лексем, то этим вопросом надо заниматься специально. Отметим только, что в говорах коми, кроме глаголов типа *адавны*, *адалны* и др., есть слово *ад* ‘жадина’ и выражения *ад горш*, *ад ом* («адово горло») ‘о жадных’ [ССКЗД: 9; КРК: 24], которые прозрачно связаны с коми *ад* ‘преисподняя’, являющимся русским заимствованием. Более того, коми словообразование допускает и отыменное (от коми *ад*) происхождение глаголов типа *адавны* (в то время как формы с аффрикатой типа *аджны* вообще могут иметь другую этимологию). Данные глаголы, вероятно, представляют собой результаты семантического калькирования на основе русской модели ‘преисподняя’ → ‘глотка’ → ‘есть, жрать’.

На базе семантики пожирания в русских говорах развиваются значения жадности и скупоности.

Жадный человек: костр., перм., сев.-двин., яросл. *ад* [СРНГ 1: 204; СПГ 1: 8; ЛКТЭ; ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 44], яросл., костр. *ад кромешный* ‘жадный до всего’, *ад несытый* ‘алчный’ [ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 44], костр. *ад недополнен* ‘о жадном человеке’: «Христос сказал: “Катите ему бочку золота — ад недополнен у него”. Это в аду ему места не хватает» [ЛКТЭ], сев.-двин. *адён* ‘жаден’, влг. *áдея*, влг., сарат. *адíда* ‘о скупой, неряшливой женщине, скряге’, сев.-двин. *áдик* [СРНГ 1: 206–207], костр. *áдина*: «Адина-жадина, лишь бы сграбастать чего» [ЛКТЭ], перм. *адíна* [СПГ 1: 8], яросл. *адíще* [ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 45], костр. *адовát* ‘скупой, скаредный’ [СРНГ 1: 208], костр. *адовátый* ‘жадный’,

яросл. *адўцый* ‘очень жадный’ [ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 45], костр. *адўй* [ЛКТЭ]. Ср. болг. диал. *ад несит* ‘человек ненасытный, жадный по отношению к деньгам, имуществу’: «Грабительско око, вълче гърло — ад несит» [Младенов 1951: 58].

Быть жадным, с каредным: костр., яросл. *адаць, адаць* [ЛКТЭ; ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 45], влг. *адить*, яросл. *адить* ‘копить’ [ДО: 1], яросл. *адить* ‘присваивать себе чужое добро’, ‘неумеренно употреблять что-л.’ [Ховрина 1998: 46], костр. *адовать* [ЛКТЭ].

Ср. также близкие значения: твер. *ада накопить* ‘разбогатеть’ [Селигер 1: 15], костр., яросл. *адить* ‘завидовать’ [Ховрина 1998: 46].

Семантика жадности и скупости формируется и поддерживается не только благодаря закономерному развитию значений ‘пожирать’ → ‘быть жадным’. Важно также то, что жадность, стяжательство, стремление к обогащению в народной картине мира греховны. О первостепенной роли жадности в перечне пороков, «составленном» русским народом, говорит, к примеру, тот факт, что в ходе переработки представлений о библейских «злодеях» в народном сознании им в первую очередь приписывается скупость, которая могла отсутствовать как дифференцирующая черта в прецедентном тексте: так, в русских говорах фиксируются слова *иода, аман, аред, асмодей, ирод*, которые получают значение ‘скупой человек’, ‘скряга’ (подробнее см. [Березович 2007: 49]).

В то же время значительный вклад в формирование семантики жадного поведения и собственно жадности, скупости сыграли внутриязыковые факторы — **процессы аттракции и явление семантического параллелизма**.

Наиболее ощутима аттракция *ад* ↔ *жад-*, которая проявляется собственно в семантике вышеприведенных слов (‘есть с жадностью’), в рифме *адина-жадина*, в контекстах типа влг. «Адина, вот жадный-то» [КСГРС] и др.

Можно говорить также об аттракции *ад* ↔ *гад* (ср., к примеру, перм. «Работать-то гад, а пить-то ад» [СПГ 1: 8], костр. «Он жрать как ад, а работать как гад» [ЛКТЭ]), осуществляемой на основе общего экспрессивного фона обеих корней, их фонетического сходства, а также «пищевых» значений дериватов *гад-* (ср. якут. (рус.) *гад* ‘о плохом, невкусном кушанье’, влг., ворон., новг., орл., пск., *гадить*, диал. шир. распр. *гадовать* ‘извергать рвоту’ [СРНГ 6: 90–91]). Связь *ад* ↔ *гад-*, несомненно, имеет дополнительную поддержку в представлениях об аде как змее, черве.

Активность процессов аттракции в изучаемом блоке значений подтверждает также калуж., тульск. *ад* ‘яд’ [СРНГ 1: 204] < *яд* (< **ѣдь*) вследствие контаминации с *ад* [Аникин РЭС 1: 97].

Отметим и притяжение к экспрессивному просторечному *дуть* ‘пить много и с жадностью’, которое, по-видимому, проявляется в костр. *адўй* ‘тот, кто пьет много чая, воды’ [ЛКТЭ].

Особо следует выделить группу слов, связанных, как и *ад*, с прецедентными культурными текстами (библейской традицией) и имеющих в известной степени

сходный с *адам* коннотативный фон (в результате параллельного смыслового развития). Такой параллелизм более четко прорисовывает, усиливает в сознании носителей языка линии и связи, наличествующие в семантике каждого из слов, и может катализировать процессы аттракции.

Во-первых, следует отметить семантический параллелизм и возможное притяжение слов *ад* и *áред*. Лексема *áред*¹² имеет в русских говорах богатый набор значений, среди которых диал. шир. распр. ‘чрезвычайно скупой человек, скряга; жадный, алчный человек’, влг. ‘жадный на еду человек, обжора’, арх., влг., карел. ‘очень трудолюбивый, жадный на работу человек’ [СРНГ 1: 271–272; СРГК 1: 21; АОС 1: 73; СГРС 1: 21; ЛКТЭ] и др.; ср. факты, обнаруживающие сближение *ада* и *аред*: влг. *адов áред* ‘обжора’ [КСГРС], костр. «Аред, всё ему надо, всё гребёт, ад-от», «Аред всё загребает. Ад, аред, ашпид, ахид — всё похожие слова, всё грехи называют» [ЛКТЭ]. Последний контекст демонстрирует также возможность притяжения *ад* ↔ *аспид* (*ашпид*) и *ад* ↔ *ахид*, см. ниже.

Во-вторых, сходные отношения обнаруживаются для слов *ад* и *аспид*¹³. Кроме приведенного выше контекста ср. рус. костр. *адский áспид* ‘злой человек, мучитель’ [ЛКТЭ], а также влг., дон., костр., курск., яросл. *áспид, áшпид* ‘скупой человек, скряга’, влг., калуж., Киров., костр., оренб., пск., смол. *áспид* ‘злой, вредный человек’ [СРНГ 1: 286; ЛКТЭ; ПОС 1: 73], костр. *аспид* ‘кровососущее насекомое’ [ЛКТЭ] и др. Возможности аттракции демонстрирует также укр. *адъ аспидный* ‘злоба’ [СУМ XVI—XVII 1: 76].

В-третьих, можно говорить о параллельном семантическом развитии (и в некоторых случаях, возможно, аттракции) слов *ад* и *ахид*¹⁴. Ср. *áхид, áхид* яросл., нижегор. ‘голодный, ненасытный человек’, влад., вят., казан., костр., моск., нижегор., перм. ‘жадный человек, скряга’, ‘злой человек, ненавистник’ [СРНГ 1: 296; ЛКТЭ], костр. *áхидом (áшпидом) накинуться* ‘накинуться на кого-л. агрессивно’ [ЛКТЭ] и др.

Сказанное позволяет предложить новое этимологическое решение для коми (рус.) *ахид* ‘пасть’: «Кинься собаке в ахид» [МРС: 91, № 343]. О. А. Черепанова

¹² Рус. диал. *аред* восходит к библейскому имени *Иаред* [Аникин РЭС 1: 271–272].

¹³ Рус. *аспид* восходит к греч. *ἀσπίδα, ἄσπις* ‘ядовитая змея’. Это слово в славянской книжности имело следующие значения: ‘аспид, вид ядовитой змеи’, ‘мифический двуногий змей’, ‘мифическое существо, имеющее черты змеи, человека, василиска и птицы’ и др.; перен. ‘обозначение иудеев, не принявших спасительного божественного слова’, ‘обозначение дьявола, сокрушенного силой Христа’ и др. В иконографии аспид изображается как существо с птичьей головой и змеевидным телом, как дракон и др. [Белова 2000: 58–60].

¹⁴ Рус. диал. *áхид*, как и литер. *ехидна*, восходит к греч. *ἐχίδνα* ‘ядовитая змея’, ‘ящерица’, ‘черепаха’, ‘еж’. В славянской книжности самое распространенное значение слова *ехидна* — ‘мифическое существо, наполовину человек, наполовину крокодил, со змеиным хвостом’. Ср. также символические значения: ‘обозначение дьявола, опустошающего человеческие души’, ‘обозначение человека, воздающего злом за зло, дающего волю злым делам и помыслам’ и др. В иконографии ехидны изображаются, в частности, как полулюди со змеиными хвостами и когтями; иногда — как два крылатых существа, одно из которых заглатывает другое [Белова 2000: 111–113].

предполагает, что это слово связано по происхождению с манс. *axt*, *ax* ‘протока’, ‘речка’, ‘канавка’ или якут. *айах* ‘рот, пасть’ [Черепанова 2005: 75]. Думается, не стоит искать финно-угорские или тюркские истоки слова *axid*. Это слово — как в значении ‘пасть’, так и ‘обжора’, ‘скряга’ и др. — явно связано по происхождению с гречизмами *ехидна*, *ехид* и т. п. (ср., кстати, близкие по значению к *axidu* диалектные слова на *ехид*-: б. м. *ехід*, влг. *ехідник* ‘злой, ехидный человек’, курск., твер. *ехіда* ‘злая, ехидная женщина’, арх. *ехідный* ‘непослушный, упрямый’ и др. [СРНГ 9: 47]). Фонетически данная реконструкция прозрачна (здесь отражение перехода *e* → *o*, ср. *Елена* — *Алёна* и пр.; отметим также, что слово *ехинь* ‘морской еж’ в книжности фиксируется в варианте *ахиднь* [Белова 2000: 113]). Значение ‘пасть’ содержит отсылку к «звериному» (точнее, змеиному) образу, запечатленному в исходном значении *ехидны* и ее греческого прототипа. Набор значений слов *axid* (*ехид*) повторяет семантический спектр слова *ad* — тем самым, эти слова этимологически поддерживают друг друга.

Таким образом, процессы аттракции и явление семантического параллелизма можно считать значимым фактором, способствующим «творению» семантической структуры корневого гнезда *ad*-.

Рассмотрим связь значений ‘пожирание’ ↔ ‘преисподняя’ в типологическом плане. Семантика пожирания, насколько нам удалось установить, отсутствует в деривационном гнезде славянского «пекла», а также в гнездах «hell» и «inferno». «Пекло» участвует в выражении идеи пожирания только на уровне текстовых связей — в выражениях типа польск. «*Bodaj to piekło pochłonęło!*» («Чтоб его ад поглотил!») [НКРР 2: 865]. Семантика жадности (и далее — зависти) реализуется в еще более «слабых» контекстах: словац. «*Za peniaze pôjde i do pekla*» («За деньги пойдет в ад») [Záturecký 2005: 278], чеш. «*Závist je peklo věčné!*» («Зависть есть ад вечный») [PSJČ 4/1: 175]. Выражения такого же плана фиксируются с участием слов из гнезд «hell» и «inferno».

В то же время рассматриваемая связь значений проявляется в деривационных связях некоторых других обозначений преисподней в индоевропейских языках. Эта связь основана на двух признаках (свойствах), приписываемых денотатам: акциональном (пожирание) и предметном (отверстие, провал). Она является двусторонней (хотя более регулярен переход в направлении ‘преисподняя’ → ‘глотка’); возможна также соотносительность данных значений в рамках одного корневого гнезда вне семантических переходов.

Наиболее яркий пример рассматриваемых семантических связей дает литовский язык: для литов. *prāgaras* ‘обжора’, ‘преисподняя’ (< *gėrti* ‘пить’, «жрать») восстанавливается этимологическое значение «“разевание” для проглатывания» [Smoczyński 2007: 480; Pokorný 1: 475]. Ср. также подборку примеров, приводимых А. Ф. Журавлевым: рус. *пропасть*, употребляемое также для обозначения ада, родственно *пасть* ‘рот, зев’ (оба слова производны от глагола *пасть*, *паду*); польск. *czelusia* (ср. рус. *челюсть*) → ‘пропасть, бездна’; греч. *χάος* ‘пропасть,

тьма', 'подземное царство', 'первобытный мрак' соотносительно с глаг. *χάσκω* 'зевать, зиять, раскрывать рот' и родственно рус. *зевать, зиять*; греч. *βάραθρον* 'пропасть' (перен. 'гибель, смерть') родственно глаг. *βιβρώσκω* 'съесть, пожирать' [Журавлев 2005: 387–388].

Итак, можно выделить первое существенное различие в деривационной семантике основных гнезд, рассматриваемых нами (*ад*, «пекло», «hell», «inferno»): только в гнезде *ад* эта семантика формируется с активным участием признака пожирания, который не проявляет себя в остальных трех гнездах (опорные слова этих гнезд участвуют в выражении идеи пожирания лишь на уровне текстовых связей).

ТО, ГДЕ ЦАРЯТ ШУМ, БЕСПОРЯДОК, СУТОЛОКА (→ ССОРЫ, СКАНДАЛЫ, РАСПРИ)

Ад известен *адским шумом* (*грохотом*), что отражено как русской литературной традицией (ср. литер. *ад* 'переносно и образно: о невыносимом шуме, суматохе, грохоте и т. п.', эпитеты к слову *ад* — *бушующий, грохочущий*), так и говорами, в которых на базе слова *ад* образуются обозначения действий по «производству» к р и к а, шума (вгл., вят., яросл. *адать*, яросл. *адить, адеть, адовать* 'кричать, ругаться' [СРНГ 1: 206; ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 45; ОСВГ 1: 23; СГРС 1: 13], вгл. *адам дурить* 'о громко кричащем человеке' [СВГ 2: 65]), а также к р и к у н а (вгл., вят., яросл. *ад* 'о громком голосе; о крикуне, плаксе' [СРНГ 1: 203; ЯОС 1: 20; ОСВГ 1: 22; Ховрина 1998: 44], вгл. *адина* 'крикливый человек' [СГРС 1: 13], яросл. *адок* 'то же' [ЯОС 1: 20; Ховрина 1998: 44–45]). Диалектные лексемы можно весьма уверенно связывать с рассмотренным выше *ад* 'горло, глотка': такая связь особо ощутима в перм. *драть ад*: «Мимо иду этта-ка, а у их в избе ув да ряв, ребятишки сбежались да и дерут ад-от» [ФСПГ: 387]. Слияние звуковых и «пищевых» функций глотки отражено в факте контаминации *ад* ↔ *едок*, которая чувствуется в *адок* 'крикун'¹⁵.

Адский шум «слышен» и в гнезде «пекло» (ср. польск. *piekło* 'шум, крики', *piekło tam, jak w piekle wrzask, trzask* («как в пекле крик, треск»), чеш. *pekelný hluk* 'адский шум', серб. *nàkao*, хорв. *pàklenā vika* («адский крик») [Matešić 1982: 739], макед. *неколна врева* («адская суматоха») 'крик, шум' [РМЖ 2: 148] и т. п.), а также в гнездах западноевропейских эквивалентов *ада* (англ. *hell*, итал. *inferno*, исп. *infierno* и др. 'место, где стоит шум и гвалт, режущие ухо звуки', англ. *hell of a noise*, нем. *Höllennärm*, исп. *un ruido infernal* 'адский шум', франц. *mener un*

¹⁵ Возможно, к числу фактов аттракции *ад* ↔ *гад*-, о которой говорилось выше, следует причислить также вгл. *гадить* 'кричать, ругать' [СРНГ 6: 91]. Значение 'кричать' может быть и результатом независимого семантического развития *гадить*, но версия относительно аттракции имеет право на существование, поскольку это значение единично фиксируется именно в той зоне, где многократно засвидетельствовано *адить* 'кричать'.

tapage d'enfer («поднять шум ада») ‘поднять жуткий шум’, итал. *fare un / l'inferno* («сделать ад») ‘страшно шуметь’ и т. п.).

Тесно связанной с признаком шума оказывается идея беспорядка, сутолоки, суматохи, которая тоже реализуется в гнезде рус. *ад* (рус. твер. *áдея* ‘беспорядок, шум, сутолока’ [СРНГ 1: 207], пск. *ад* ‘то же’ [ПОС 1: 51]), и далее — ссор, скандалов, распрей, которые разворачиваются, как правило, в семье. Эта идея соединяет в себе перцептивные свойства ада и социальные характеристики его обитателей: рус. литер. *ад* ‘переносно и образно для обозначения места или положения, пребывание в котором несносно, мучительно’: «В пичугинской семье воцарился кромешный ад» <Д. Н. Мамин-Сибиряк>; «Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли — вырваться из ада теткина дома» <А. И. Герцен> [ССРЛЯ 1: 50], мордов. (рус.) *ад аримéиный* ‘невыносимая обстановка; ад кромешный’ [СРГМ 1: 7], костр. *адина* ‘брань, ругань, скандал’, ‘место, где спорили из-за земли’ [ЛКТЭ], смол. *ад разворотить (разорить)* ‘наделать много шуму, поставить всех на ноги, выйдя из себя, рассердившись’ [ССГ 1: 64], байк. *ад воротить* ‘разрушать, разбойничать’ [СГБС 1: 203–204], смол. *ад разорить* ‘выйдя из себя, страшно рассердившись, наделать много шуму, поднять всех на ноги’ [СРНГ 1: 204] и др. Ср. также название поля *Адина*: «Спорили из-за его, адина такая шла» <Пав, Березовка> [ТКТЭ].

Семантико-деривационная линия в гнезде *ада*, связанная с криком, имеет параллель в гнезде прецедентного библейского топонима *Содом*, ср. арх., влд., влг., костр., куйбыш., мурман., нижегор., перм., сев.-двин. *содом* ‘шум, ссора, ругань’, <в сравн.> влг. *дом как содом*, влг., костр. *содомить*, р. Урал *содомничать* ‘ссориться, браниться’, нижегор., р. Урал *содомник* ‘крикливый, сварливый, бранчливый, склонный к ссорам человек’, костр. *содомщина* ‘ссора, брань, суматоха’ и др. [СРНГ 39: 211–212; ЛКТЭ; КСГРС]. В. И. Даль определяет *ад* в рассматриваемых значениях через *содом*: *ад* ‘невыносимое житье, ссора в доме, крик, брань, драка, с о д о м’ [Даль, 1: 6]. Дериваты от *Содома* представлены и в русской топонимии, при этом для них реконструируется мотивационное значение «место (земельное угодье), из-за которого спорят» (см. [Березович 2000: 282–283]). К приведенным в указанном источнике фактам можно добавить еще два: пок. *Содомы*: «Содомили из-за земли» <Пав, Доровица>; пок. *Содомная Кулига*: «Содом мужики устроили, делили поле» <Лен, Яренск> [ТКТЭ]. На этом фоне возникает возможность аттракции *ад* ↔ *содом*, которая усматривается в костр. *адомить* ‘ссориться’: «Соседи шумкие у нас, всё адомят, адомят», *адомник* ‘крикливый человек’ [ЛКТЭ]. Помимо фонетической и смысловой близости, рассматриваемая аттракция может «подогреваться» библейским культурным фоном, объединяющим *ад* и *содом*.

В гнезде «пекло» семантика беспорядка, ссор, скандалов находит более детальную в словообразовательном плане разработку, чем в гнезде *ада*.

Ссоры, распри: укр. *пекло* ‘беспорядок, шум, гам’ [СУМ 6: 111], польск. *piekło* ‘сутолока, беспорядок’, ‘ссора, скандал’ [SW 4: 147], *dom jak piekło* [NKPP 3: 866], кашуб. *pekelko* ‘раздоры, несогласие в семье’ [Sychta 4: 248], словац. *máš peklo v dome* («у тебя ад дома») ‘имеешь неприятности’ [SSJ 3: 51], диал. *peklo* ‘неприятная ситуация, неприятности, ссора’ [SSN 2: 766], серб. *nakao* ‘место, где часто случаются скандалы’ [PCXKJ 4: 306], диал. (воевод.) *nakao* ‘ад’, ‘мучительная ситуация, тяжелая, невыносимая обстановка в семье и др.’ [PCГВ 6: 123], словен. *doma je bil pekel* [SSKJ 3: 558] и др.

Ссориться, браниться: блр. диал. *пекліцца* ‘суетиться, хлопотать’ [ЭСБМ 9: 15], словац. *robit’ peklo* («устраивать ад») ‘устраивать ссоры, распри’ [SSJ 3: 51], диал. *peklit’ sa* ‘ссориться’, ‘сердиться на кого-л.’ [SSN 2: 766], словен. *delati komu pekel* [SSKJ 3: 558], польск. *robić piekło, pieklować, pieklić się* ‘устраивать скандалы’ [SJPD 6: 314–315], чеш. диал. *míti peklo s kým* ‘иметь напряженные отношения, неприятности, скандалы с кем-то’ [PSJČ 4/1: 175] и т. д.

Скандалист, вздорный человек: польск. *piekielnica* ‘сварливая, злая женщина’, *piekelnik* ‘человек, любящий ссориться, скандалист, буян’ [SJPD 6: 313–314], чеш. валаш. *peklonoš* ‘человек, который сеет распри между людьми’ [Kazmír 2007], словац. *Švekra — pol pekla* («Свекровь — половина ада») [Záturecký 2005: 70] и т. п.

Думается, тяготение дериватов «пекла» к семантике ссор, скандалов «подогревается» тем, что в них дополнительно актуализируется идея печения, горения (как на базе внутренних смысловых ресурсов, так и в ходе притяжения к продолжениям **pekti*): эта идея мотивирует многие «скандальные» слова, ср. рус. *здать жару*, *дать горячих* и пр.

Возможно, в контексте этих мотивов следует рассматривать темное в этимологическом отношении словац. архаич., чеш. диал. *sitno* [SSJ 4: 82; PSJČ 5: 248]. Относительно происхождения этого слова высказывались различные версии. Рассмотрим последнюю (насколько нам известно) версию, которую предложил недавно М. Пуканец¹⁶. *Sitno* как название ада, вероятно, восходит к названию горы *Sitno* (с остатками древнего замка) в южной части средней Словакии. В языческом прошлом гора могла связываться с культом Перуна, поэтому это место стало объектом интенсивной христианизации. На горе находится колодец, которому

¹⁶ Согласно другой версии, слово *sitno* представляет собой адъективное производное от названия болотного растения (напоминающего камыш) *sítie, sitina* ‘ситник’ (это континуант праслав. **sityь, *sita*). В этом случае **sityno* — ‘место покрытое ситником’ → ‘озеро, болото, топь и т. п.’ → ‘ад, преисподняя’. Аргументом в пользу данной версии является наличие целого ряда топонимов, производных от названия этого растения, т. е. активное участие модели в образовании наименований мест [Majtán 2001]. Если принять эту гипотезу, то мы получим еще одно подтверждение того, что ландшафт ада может представляться как болото (см. далее). Впрочем, данная версия Майтана в целом выглядит менее убедительной, чем решение Пуканца (к которому мы предлагаем некоторые коррективы).

приписывалось сакральное происхождение. Первые христиане могли дать ему имя с библейскими аллюзиями — *Sitna*, в честь упоминаемого в книге Бытия колодца *Citna*. Дальнейшее семантическое развитие: ‘колодец’ → ‘отверстие в земле’ → ‘ад, преисподняя’ [Pukanec 2005].

Представляется, что в эту версию можно внести некоторые коррективы. Вспомним библейский прецедент — колодец *Citna*: «И копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодезь имя: Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодезь; спорили также и о нем; и он нарек ему имя: Ситна» [Быт. 26: 19–21]. Ср.: «*Citna* (враждебность, вражда) — название колодца, так наименованного вследствие того, что пастухи Исаака спорили здесь с пастухами филистимскими» [БЭ: 652]. По мнению М. Пуканца, семантика древнееврейского названия колодца (которую он трактует как «обвинение») может указывать на то, что на горе Ситна поклонялись Перуну — богу права, справедливости, имущества, верховной власти [Pukanec 2005: 273]. Кажется, можно переставить акценты: если трактовать древнееврейское название в соответствии с текстом Бытия — «объект тяжб, споров», — то оно находит смысловые переключки с образом *Sodom*, представлявшегося в русской народной традиции как место (объект) тяжб (в том числе земельных споров), и *ada*, который тоже воспринимается как место разворачивания ссор, скандалов и собственно самих ссор. Напомним особо рус. костр. *adiina* ‘место, где спорили из-за земли’. В свете этого следует предположить, что словац. и чеш. *sitno* — деонимизированное слово, содержащее отсылку к библейскому названию колодца *Citna*, который стал символом (земельных) споров. Отсюда вполне вероятно следующее звено семантического развития: место скандалов → ад. Дополнительная смысловая поддержка для образа ада должна быть усмотрена собственно в свойствах колодца = ямы, провала. Если принять эту версию, то словац., чеш. *sitno* следует рассматривать не как производное от словацкого топонима *Sitno*, а как параллельное образование.

Что касается гнезд «hell» и «inferno», то в их пространстве значения крика, скандалов и др. фиксируются, но не являются особо частотными и активными, ср., к примеру, англ. диал. *hell-cat* («адская кошка») ‘сварливая женщина, мегера’ [EDD 3: 135], англ. *give smb. hell*, нем. *die Hölle heiß machen (heizen)* ‘бранить кого-л., ругать кого-л. на чем свет стоит’ [АВВУУ Lingvo x 5], исп. *armar un infierno* ‘затянуть ссору’ [ИРФС: 337].

О закономерности появления рассматриваемых значений в «адской» лексике говорят также, к примеру, литовские данные, ср. *pragarioti* (< *prāgaras* ‘ад’) ‘«верещать», кричать» [Smoczyński 2007: 480].

ТО, ГДЕ ГОРЯТ (ГРЕШНИКИ)

Признак горения (и, соответственно, огня, жара) — доминантный в представлениях об аде. Однако в деривации на основе рус. *ad* этот признак

не актуализируется, а проявляется лишь в контекстных связях, ср., например, устойчивые сочетания *адский огонь*, *адова (адская) жара*, проклятия вроде «Чтоб ты в аду сгорел!», переносные выражения вроде рус. дон. *кипеть как в аду (котле)* ‘много и тяжело работать’ [БТДК: 216] и др. Аналогичные сочетания есть во всех без исключения славянских и романо-германских языках, ср. некоторые из них: укр. *огонь пекельний*, *пекельна спека*, блр. *пьякельны агонь*, «Каб яго душа ў пеклі гарэла!», польск. *ogień piekielny* ‘адский огонь», также перен. гангрена’ [SW 4: 146], *pójsć za kogo w ogień piekielny* («пойти за кого-л. в адский огонь») ‘быть готовым все для кого-л. сделать, понести жертвы’ [SJPD 6: 314], серб. *врућина* <жара> *као у паклу*, хорв. *oganj pakleni*, макед. *неколен оган*, *неколни горештини*, словац. «Posielal ho do horúceho rekla» («Послал его в горячий ад»), франц. *feu d'enfer*, нем. *Höllengefeuer* и мн. др.

Как можно заранее предполагать, у континуантов **рѣкъль* признак огня и горения не только эксплуатируется на уровне контекстных связей, но и имеет более глубокое внутрисистемное закрепление. Об этом говорит этимологическое значение корня, отсылающее к смоле (кипящей), а также факт контаминации «пекла» и дериватов **pekti*. В русском литературном языке эта контаминация особо ощутима в словах с «температурными» значениями, о которых говорилось выше: *пекло* ‘сильный огонь, сильный жар’, ‘сильный зной, жара’, а также перен. ‘место, где происходит жаркий бой, горячие споры’. Здесь идея «печения» выходит на первый план, а связь с понятием преисподней затушевана (и проявляется только на этимологическом уровне). В других языках, где «пекло» ассоциируется в первую очередь с адом, эта связь ощутима на синхронном уровне в обозначениях жары: укр. *як у пеклі* ‘о жаре, духоте’, серб. *пѣкао* ‘сильный зной, жара’, чеш. «Slunce pálí jako v peklu» («Солнце палит, как в аду») и др.

Другая линия реализации признака горения связана с образом п е ч и, ср. рус. орл. *пѣкло* ‘огонь в печи’, *пекло* ‘горячие угли’ [СРНГ 25: 318], укр. полес. *пикóлок* ‘небольшая обогревательная печь’ [Аркушин 2: 50], блр. *пьякóлак* ‘камелек’ [ЭСБМ 10: 292], польск. диал. *piekto* ‘топка печи’ [Malec 2000: 283] и др. При этом большинство дериватов «пекла», связанных с печью, обозначают не непосредственно печной огонь или топку, а разного рода углубления, отверстия, «уголки», имеющиеся в «печном пространстве»: польск. *piekielko* ‘припечек, карниз перед отверстием печи’, ‘запечек, место между печью и стеной’, *piekielek* ‘то же’ [SW 4: 146], чеш. *pekelec* ‘возвышенное место за печью, запечек’ [PSJČ 4/1: 173], диал. *pekto* ‘углубление перед печью’, ‘помещение под стекловарной печью, куда падал пепел (прибежище бедноты зимой)’, *pekélko* ‘углубление перед печью’, ‘пространство между стеной и печью’ [Kazmír 2007], словац. диал. *pekliska*, *piekielko*, *pekto* ‘углубление в полу перед отверстием печи’, *pekelec* ‘узкое пространство между печью и стеной’, ‘ниша на печи’, ‘отверстие на конфорке плиты’ [SSN 2: 766], блр. диал. *пьякóлак* ‘выступ у печи’ [СПЗБ 4: 213], ‘шесток печи; углубление в боковой части шестка, куда сгребают угли’, *пьякóлка* ‘ямка на шестке печи,

куда сгребают пепел’, ‘карниз над печью’ [ЭСБМ 10: 292], укр. *níkolok* ‘выступ у печи над плитой’ [ЕСУМ 4: 403], рус. смол. *пекóлка* ‘углубление в наружной стене печи, куда кладут вещи для просушки’, ‘боковой выступ у русской печи’, перм. ‘место в печи, куда сгребают горячие угли’, смол. *пекóлок* ‘карниз, выступ наверху русской печи’, забайк. *пéкло* ‘углубление в шестке русской печи, куда сгребаются угли’ [СРНГ 25: 318–319] и т. д. Эти слова (одни больше, другие меньше) демонстрируют постепенный уход от семантики жара — и выход на первый план признака углубления, отверстия, ямы, который является ведущим в восприятии ада как пространства (см. ниже). Они имеют общий ареал — западнославянские языки, украинский, белорусский и пограничные русские смоленские говоры (о забайкальском и пермском диалектизмах см. ниже).

Источником этих значений этимологические словари признают нем. диал. *hölle* («ад») ‘в крестьянских домах: узкое пространство между печью и стеной со скамейкой’ [DUDEN-8 4: 1854]. Думается, что семантика немецкого слова объясняется не только актуализацией признака углубления, но и аттракцией нем. *hölle* ‘ад’ к омофону — *höhle* ‘пещера, полость’. Нем. *hölle* стало основой семантического калькирования (‘ад’ → ‘место за печью’) для чеш. *pekýlko*, *pekelec*, *pekýlec*, *pekýlek*, морав. *pekélko* и пр. [Machek 1968: 442]. Украинские и белорусские формы признаются западнославянскими (польскими) заимствованиями [ЭСБМ 10: 292; ЕСУМ 4: 403]; очевидно, то же можно сказать о смол. *пекóлка*, *пекóлок*. Что касается забайк. *пéкло* и перм. *пекóлка*, то эти слова могли сформироваться вне западнославянского влияния.

Значение ‘печь’ проявляется также на базе англ. *hell* ‘ад’, ср. спец. *hell* ‘печь для сжигания отходов лесопильного производства’ [ABBYY Lingvo x 5], диал. *hell* ‘печь для обжига кирпича’ [EDD 3: 136]. Любопытный штрих в развитие образа «адской печи» вносит англ. диал. *purgatory* («чистилище»), *purgatory hole* («дыра чистилища») ‘отверстие под камином (очагом), покрытое решеткой, через которую может падать зола (пепел); решетка, покрывающая это отверстие’ [OED-1989: purgatory].

Рассматриваемые значения фигурируют и в романских языках: каталон. *infern*, кастильск. *infernillo* ‘переносной очажок, работающий на спирте или другом жидком топливе, который служит для разогревания небольших сосудов, особенно с питанием для больных’ [DCVB: 657], исп. *infernillo* ‘спиртовка для разогревания лекарственных отваров’ [DLE: 744]. Кажется, к значению ‘печь’ здесь добавляется идея «греховности»: эти приспособления работают на спирту.

Таким образом, признак горения практически не представлен в деривации на основе рус. *ад*, но активно проявляет себя в дериватах от «пекла». При этом наблюдаются сложные «флуктуации» производной семантики, совмещающей признак горения с признаком углубления, отверстия, который проникает в семантическое пространство «пекла» под влиянием германских языков. Менее активно (но вполне определенно) данный признак ощущается в гнездах «hell» и «inferno».

ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ УГЛУБЛЕНИЕМ, ОТВЕРСТИЕМ; ТО, ЧТО НАХОДИТСЯ ВНИЗУ

В признаке углубления преломляется представление о пропасти ада, которое реализуется во всех анализируемых языках. Этот признак воплощен в различных значениях дериватов слов, обозначающих преисподнюю (к примеру, он играет определенную роль, — правда, второстепенную — в формировании рассмотренного выше значения ‘глотка, рот’, для которого более важен признак пожирания). Наиболее крупными являются две группы значений: предметные и ландшафтные.

Предметные значения. Обозначения разного рода предметов — бытовых приспособлений, орудий труда — не представлены в семантическом пространстве рус. *ад*.

В то же время предметная семантика активно функционирует в гнезде **рѣкъль*. Напомним «печные» значения (углубления в разных участках пространства печи), которые были рассмотрены выше, а также приведем примеры из других тематических сфер: польск. *piekielko* ‘углубление перед ткацким станком, где скапливается пух от хлопка, предназначенного для изготовления ваты’, ‘выдвижной ящик, запертый на ключ, куда через щель аптекари бросают деньги, полученные за обслуживание клиентов’, ‘ящик, в который складывают поврежденные литеры’ [SW 4: 146–147], диал. *piekło* ‘место под молотилкой, где скапливается мякина’ [KSGP], словац. диал. *peklo* ‘углубление под ногами ткача, чтоб подножья при нажатии ногой могли опуститься на нижнее положение’, ‘яма под большим колесом молотилки, которая приводится в движение конской тягой’ [SSN 2: 766], чеш. диал. *peklo* ‘углубление под ногами ткача’ [Kazmír 2007], морав. *peklice* ‘висячий замо́к’ [Bartoš 2: 285] и др.

В некоторых случаях (когда речь идет о хранилище для поврежденных литер, углублениях, где скапливаются отходы при молотье или при производстве хлопка) к мотиву нижнего положения добавляется мотив негодности. В названиях закрытого на ключ ящика и висячего замка проявляются признаки «замкнутости» и «потаенности» (см. также ниже романские примеры). Интересен мотив «ключей ада». Он проскальзывает также в русском выражении *ключи ада* (*ключи бездны*), которое В. И. Даль приводит с пояснением «у скопцов: известн. части» [Даль₂ 1: 6]. Вообще, ключи чаще упоминаются в связи с раем (ср. народное представление о том, что ворота в рай запираются на ключ [СД 4: 399]), но стремление носителей традиции «огородить» ад, «замкнуть» его пространство приводит к появлению также «адовых ключей».

Любопытную вариацию рассматриваемой семантики дает польск. диал. *piekielnica* ‘нижняя юбка (красного цвета)’ [KSGP]. Здесь признак нижнего положения сочетается с признаком красного цвета, содержащим отсылку к «огненности» ада, а также, возможно, с признаком греховности (нижняя юбка прикрывает «срамные» части тела).

«Предметные» реализации признаков нижнего положения и углубления, отверстия еще более активны в германских языках, при этом некоторые факты являются источниками калькирования в западнославянские. Ср. значения, где к идее углубления добавляется идея негодности: нем. *Hölle* ‘круглое отверстие в портняжном столе (для обрезков ткани)’ [ABBYU Lingvo x 5], англ. *hell* ‘место под рабочим столом портного, куда падают лоскутки и кусочки ткани, обрезанные при кройке одежды, которые становятся дополнительным заработком (чаевыми) портного’, ‘место, куда типографщики бросают отходы при производстве (бракованные литеры)’, ‘простейшее вместилище для отходов’ [OED-1989: *hell*]. Если в германских данных ощутим признак отверстия, то в романских словах он оказывается заглушенным, а на первый план выходит идея негодности: итал. *inferno* ‘место, где хранятся отходы от оливкового масла, используемые для розжига и в производстве мыла’ [Battaglia 7: 921], порт. *inferno* ‘цистерна или яма, куда сливаются отходы при производстве оливкового масла’ [Freire 1954: 2966], исп. *infierno* ‘то же’ [DLE: 744] и т. д.

В романских языках есть группа значений, где признак углубления заменяется близким по смыслу признаком нижнего положения, к которому может добавляться идея «потаенности», секретности: каталон. *infern, infernet* ‘нижний карман жакета или другой домашней одежды’ [DCVB: 657–658], исп. *inferno* ‘потайное отделение (бумажника, портфеля)’ [ABBYU Lingvo x 5], итал. *inferno* ‘чулан, укромный уголок, тайник’, ‘в публичных библиотеках: место, где хранится порнографическая литература’ [Battaglia 7: 921], каталон. *infernet* ‘отделение в библиотеке, где хранятся запрещенные книги’ [DCVB: 658], франц. *enfer* ‘то же’ [Robert 3: 975] (в значениях, связанных с библиотекой, проявлен также мотив «греховности», который явственно представлен, к примеру, в исп. *inferno* ‘трапезная, где едят скоромное (в монастыре)’ [ABBYU Lingvo x 5]).

В «низведении» ада до подобных бытовых смыслов в германских языках важную роль сыграли внутриязыковые аттракции: нем. *hölle*, как говорилось выше, «притягивается» к *höhle* ‘пещера, полость’, а англ. *hell* — к *hole* ‘дыра’, *hollow* ‘дыра; полость, впадина’, ср. наиболее очевидное проявление такой аттракции в англ. *hellhole* ‘адская бездна’ [ABBYU Lingvo x 5], диал. *hell* ‘дыра; полость, впадина’, *hell-hole, hell’s hole* ‘притон со скандальной репутацией’, ‘темный уголок, который, как предполагается, посещают привидения’ [EDD 3: 135–136], а также в топониме *Hell Hole* [Алпатов 2007: 140].

Романские лексемы тоже имеют внутриязыковую специфику: признак нижнего положения актуализируется в них во многом за счет прояснения внутренней формы (ср., к примеру, итал. *infero* ‘адский’, ‘нижний’).

Ландшафтные значения. В русской языковой традиции образ пропасти ада находит определенную и яркую ландшафтную конкретизацию: пропасть становится б о л о т о м, ср. влг. *ad* ‘сильная непроходимая грязь’ [Дилякторский 2006: 7], яросл. *áдина* ‘низкое болотистое место’ [ЯОС 1: 20], прииртыш., томск.

áдина ‘топкое заболоченное место’: «Из адины трудно выбраться» (прииртыш.), «Топкое место, вот и говорят: ад кромешный, “адина” значит. — На болоте топось така! Как в таку адину лезть? Страшно, опасно» (томск.) [СРСГСП 1: 16; СРГС 1: 25], влг. *áдово дно* ‘топкое, вязкое, труднопроходимое место’: «Овыдень за морошкой ходила по берегу, в тако адово дно попала — еле прошла»; «За Смирницким — как в адово дно, в пендус <кочковатое болото> не заедешь» [СРГС 1: 13]. Думается, севернорусский и сибирский «болотный» образ преисподней имеет национальный колорит, отражая типичный ландшафт территории, в говорах которой функционируют дериваты слова *ад*.

Что касается ландшафтного образа «пекла», то оно может представляться как озеро (словац. диал. *prepadňi sa do jazerňiho pekla!* («Пропади ты в озерный ад!») [SSN 2: 766]) или котловина, овраг, яма (кашуб. *pekkelko* ‘долина, ложбина, котловина’ [Sychta 4: 248], словац. диал. *peklisko* ‘впадина, углубление, овраг’ [SSN 2: 766], польск. *piekło* ‘ямка в игре’ [Karłowicz 4: 88], хорв. *pàklen* (прилаг.) ‘о глубине (яме, канаве, пропасти)’: «Zli će pasti u ponore dno paklenich crnih jama» («Злые упадут на глубину дна адских черных ям») [RHSJ 9: 575]). При этом «пекло» практически не дает семантику б о л о т а, хотя ср. укр. диал. *пекло* ‘яма в болоте, трясина’ [ЕСУМ 4: 329]. По мнению авторов ЕСУМ, это результат сближения укр. диал. *пелька* ‘то же’ с *пекло* ‘преисподняя’ [Там же]¹⁷. Отмечаются сербские факты, реализующие обратный переход (‘яма’ ↔ ‘ад’): диал. *јама* ‘тот свет, ад’ [СД 1: 94], а также выражение *јадова јама*, в котором отражена аттракция *ад* ↔ *јад* ‘горе; беда’ [ЕРСЈ 1: 61].

В романо-германских языках фиксируются значения ямы, канавы, котлована, ущелья (с текущей по нему рекой): итал. *inferno* ‘маленький колодец, яма, канава’ [Battaglia 7: 921], порт. *inferno* ‘котлован (омут) под колесом водяной мельницы’ [Freire 1954: 2966], англ. диал. *hell-kettle* («адский котел») ‘яма, полная воды’, *hellbeck* («адский ручеек») ‘речушка, ручеек, вытекающий из пещерообразной впадины’, *hell-dyke* («адский ров») ‘темное ущелье’ [EDD 3: 135]. Ср. немецкий топоним *Höllental* («адская долина»), означающий узкую долину р. Шварца в Нижней Австрии, которая имеет мрачный вид [АВВУУ Lingvo x 5].

Подобные значения развиваются и на основе семантики ‘чистилище’: англ. (амер.) *purgatory* («чистилище») ‘пещера’, ‘узкое глубокое ущелье или овраг с вертикальными или крутыми берегами; также ручей, текущий по такому ущелью. Обычно как географическое название’ [OED-1989: purgatory].

Дериваты «чистилища» дают также значение ‘болото’, которое не развивается, кажется, на основе слов, называющих ад, ср. англ. (амер.) диал. *purgatory* («чистилище») ‘болото, особенно такое, которое трудно пересечь’ [Там же]. Ср. и название американского болота *Little Hell* («маленький ад») [Копач 2004: 109].

¹⁷ Дополнительную устойчивость этим связям придает тот факт, что в разговорном стиле украинского литературного языка слово *пелька* имеет значение ‘глотка’.

Специфика романо-германских языков в отражении ландшафта ада состоит, во-первых, в более пристальном внимании к прецедентной адской «топографии» (образ реки, вытекающей из ущелья), во-вторых, в акцентировании признаков впадины и темного цвета (ср., кстати, англ. *hell* 'часть здания и др., которая за ее мрачность и дискомфорт сравнивается с адом' [OED-1989: hell]). Эти акценты определяются, возможно, особой ролью библейских текстов в культурном сознании народа, а также актуализацией связей в языковой системе (притяжением к словам со значениями 'дыра, провал').

* * *

В представленном выше материале, иллюстрирующем особенности реализации основных мотивационных признаков в «адской» лексике и фразеологии, фигурировали главным образом те единицы, которые принадлежат апеллятивному фонду лексикона. Отражены ли выделенные признаки в топонимии? Изложим некоторые выборочные и предварительные наблюдения над топонимическим материалом, сопоставляя русские географические названия с основой *ад-* с чешскими и польскими (чеш. *pekl-*, польск. *piekl-*)¹⁸.

В русской топонимии, как и в приведенной выше географической терминологии, ощутима «болотность» ада. На территории Русского Севера фиксируется 9 названий, образованных от основы *ад*, при этом 7 из них обозначают болота или заболоченные места: покос на болоте *Ад*, заболоченный ручей *Адовая Курья*, болота *Адово* (2), *Адово Болото* (2) [ТКТЭ]. Все «болотные» топонимы отмечены в Архангельской области, в ландшафте которой болота играют огромную роль. Эти названия воспринимаются с изрядной долей экспрессии, — и в объяснениях информантов проявляются следующие дополнительные смысловые компоненты, мотивирующие топонимы: 'м р а ч н о е , т е м н о е м е с т о' — «Темное болото, страшное, как в аду» <Леш, Родома>, «Мрачное, страшное оно» <Леш, Вожгора>, «Топкое место, глухое» <Лен, Лена>; 'о п а с н о е м е с т о' — «Там очень много растет морошки, ходили туда — и много несчастных случаев было. Там было как ад» <Вил, Вилегодск>; 'о т д а л е н н о е м е с т о' — «Ад — самая дальняя пожня, 30 километров от деревни, там самый дальний сюземок, на болотине косили» <Прим, Лопшеньга>. Топоним *Ад* (мотивировка которого дана в последнем из вышеприведенных контекстов) включен в семантическую микросистему

¹⁸ Осуществить масштабное сопоставление географических названий всех языков, о которых идет речь в этой работе, невозможно из-за недоступности соответствующих топонимических данных. Поэтому предпринимаемое сравнение носит пилотажный характер. Материалы по русской топонимии извлечены из полевых картотек Топонимической экспедиции Уральского университета [ТКТЭ], по чешской — из архива отдела диалектологии Института чешского языка Академии наук Чешской Республики [Dial-Brno], а также работы И. Люттерера [Lutterer 1968], по польской — из исследования М. Малец [Maliec 2000]. В ходе дальнейшего изложения иллюстративные контексты из [ТКТЭ] и [Dial-Brno] подаются без указания на источник.

Ад — *Проклятые* — *Молебское*, ср.: «Сначала Молебское — там молятся, в Проклятые потом идешь, потом Ад», «На Ад пойдешь — у Молебского помолишься — так старики смеялись» <Прим, Лопшеньга>. Показательна проявляющаяся здесь связь *ада* и *проклятого места*. Соотнесенность *Ад* — *Молебское* актуализирует не ощущаемое в других случаях религиозное звучание топонима.

В целом основу *ад* в русской топонимии следует признать раритетной. 9 топонимов Русского Севера обнаружались среди 800 тыс. географических названий этой территории, зафиксированных Топонимической экспедицией Уральского университета; в других регионах, обследованных экспедицией (Верхнее Поволжье, Средний Урал, отдельные зоны Западной Сибири), данная топонимическая основа, кажется, не отмечена. «Райские» названия встречаются в русской топонимии примерно в два раза чаще; о них подробнее см. в параграфе 1.2.

Интересно, что западнославянская топонимия дает совсем иное соотношение: количество названий с основой «ад» в два-три раза превышает количество «райских» топонимов. Так, чешская основа *pekl-* лидирует «со счетом» 52: 22; польская *piekl-* — 73: 22 [Lutterer 1968: 211; Malec 2000: 280–281]. Чтобы объяснить это, обратимся к семантике западнославянских топонимов.

Если русская «адская» топонимия жестко привязана к болотам, то польские и чешские названия ландшафтно разнообразны. Среди наименований с основой *piekl-/pekl-* встречаются ойконимы: «адским» может быть назван населенный пункт, находящийся в отдалении от других, или же такой, где есть какое-нибудь «заведение» с сомнительной репутацией (например, корчма, где происходят скандалы и потасовки) [Malec 2000: 283; Lutterer 1968: 212]. Вне ойконимии тоже фиксируются названия социально опасных объектов, ср., к примеру, чешский лес *Peklo*: «Там орудовали разбойники» <Корытна>. Среди «адских» топонимов, связанных с деятельностью человека, выделяются и названия, в которых звучит тема непосильного, «адского» труда, ср. в чешской топонимии: поле *Peklo* (к нему ведет дорога *Pekelnica*): «Там очень тяжело работали» <Полешовице>; поле *Pěklo*: «Слово *pěklo* означает ‘каменоломня’. Там когда-то была каменоломня — и очень тяжелая работа» <Дольни Блудовице>; ур. *Peklo*: «Каменоломня. Холод, настоящий ад» <Кашава>; лес *Pekelce*: «Лес был труднодоступный, каменистая почва — и была там очень тяжелая работа» <Штепанов>.

Чаще всего названия с основой *piekl-/pekl-* получают труднодоступные и опасные места, не заселенные людьми. Это отмечается и для польской топонимии (см. в [Malec 2000: 283]), и для чешской. Приведем примеры чешских полевых записей, дающих представления об «адских» объектах, среди которых: скалистые, каменистые, гористые урочища (нередко поросшие лесом), ср. скала *Pejčochovo Peklo*: «Скалистое место с нависшими скалами, в лесу, где был хозяин по имени Пейчоха» <Волевчице>; поле *Peklo*: «Поле около нависших скал» <Рантиржов>; пастб. *Pekelná Hora*: «Эта гора

с острыми скалами, покрыта лесом. Непроходимое место» <Скрие>; лес *U Pekla*: «Это лесистая возвышенность, там глина и камень» <Ждар над Сазавой>; лес *U Pekla*: «Каменистая почва, глина. Затопленное место» <Ольши над Ославой>; поле *Peklo*: «Поле названо так, потому что по соседству находятся изрезанные скалы» <Ихлава>; лес *Peklovisko*: «Лес с каменистой почвой, неровным ямистым рельефом» <Остравице>; овраги, ямы, провалы в земле; иногда ущелья, как правило, мрачные: овр. *Pěklo*: «Овраг, похоже на ад» <Градиште>; овр. *Peklo*: «Здесь узкий овраг с неплодородной почвой, посреди ручей. По всему пространству разбросаны крупные камни, в нескольких местах глубокие гранитные массивы. Поэтому, вероятно, возникло название *Peklo*» <Тршебич>; овр. *Pekelec*: «Глубокий овраг в лесу, мрачное место» <Луков>; бол. *Peklo*: «Там трясина. Когда возили древесину, возчики в этом месте проваливались вместе с телегой» <Бжецлав>; овр. *Pekelná zmola* («Адский Овраг»): «Здесь глинистая почва. Считают, что название дано потому, что это мрачное ущелье» <Свитава> и т. п. В названиях, обозначающих известняковые карьеры и штольни, тема провала соединена с темой тяжелого труда: сырая низина *Řekelko*: «Ручей там пропадает в земле, отсюда имя. Недалеко известняковый карьер. Как говорят местные жители, “провал в ад”» <Тршинец>; поле *Na pekle*: «В этом месте провалившиеся штольни» <Шумперк>. Среди «адских» мест еще болота, глубокие озера, сырые низины, пустоши и т. п. [Malec 2000: 282–283; Lutterer 1968: 212–215]. Некоторые названия на *pekl-* давались шумным мельницам в глубоких долинах [Lutterer 1968: 212]: в образе ада, как мы видели выше, устойчив мотив адского шума.

Особенности ландшафта могут расставлять некоторые акценты в топонимии такого рода: к примеру, на чешской территории скопление названий на *pekl-* обнаруживается в Крконошских горах, где много «уединенных», не освоенных мест, темных впадин и т. д. [Lutterer 1968: 215].

С «адскими» географическими объектами, по поверьям, нередко оказываются связанными сверхъестественные события: так, озерко *Pieklo* в окрестностях Лодзи появилось в том месте, где провалилась дорога, по которой ехали родители с ребенком, чтобы его крестить, — теперь в этом месте слышится плач ребенка; в другом польском озере *Pieklo* жил дьявол, которого баба прогнала с помощью святой воды, — и он переселился в соседнее болото; около третьего озера *Piekielek* «пугало» [SSSL I/2: 357, 376, 430]; селение *Peklo* под Крконошскими горами названо так потому, что в долине разбросаны камни, а это приписывалось деятельности дьявола [Lutterer 1968: 215]; поле *Pekla* в районе восточно-моравского Кромержа располагалось у болота, в котором, по мнению информантов, обитала нечистая сила: болото испускало газы, там были видны блуждающие огоньки, часто тонул скот [Dial-Brno] и др.

Другие возможности трактовки западнославянских топонимов открывают специфический мотивационный поворот, который изначально связан с темой ада,

но в конечном счете уводит от нее. В изучаемой топонимической группе в ряде случаев звучат мотивы огня, жара (тепла) или смолы. «Пеклом» могут называться поля или склоны, расположенные на солнцепеке, ср. в чешской топонимии: поле *Pekelec*: «Поле у леса, всегда освещалось солнцем. Там просто адская жара» <Маршовице>; ур. *Peklove*: «Летом жарко, как в аду» <Болешин>; ур. *V Pekle*: «Летом там жарко, как в аду» <Либхост>; ур. *Pekliska*: «Сушили на солнце кирпичи» <Велке Хоштице>; поле *Peklo*, *Pekliska*: «Здесь “адская погода”: летом жарко, а зимой очень холодно» <Кунчице>¹⁹. Кроме того, названия на *piekl-/pekl-* прилагаются к местам, где выгорел лес, к урочищам, связанным с производством смолы (наиболее вероятно это по отношению к топонимам с основой *piekl-* в Бескидах) [Malec 2000: 283–284], а также к заветренным теплым местам (такая мотивация особо подходит для форм типа чеш. *Pekelec*, польск. *Piekielek*, которые точно соответствуют апеллятиву со значением ‘запечье, теплое место, где можно сидеть в холодное время’, ср., к примеру, название места за деревней *Na Pekelci* в юго-восточной Моравии: «Всегда тепло летом» <Влчкова>). При этом негативные коннотации исчезают и оценка становится вполне позитивной [Lutterer 1968: 216], более того — топонимы такого типа начинают выражать те же смыслы, что и «райские» названия (в пространственном образе рая важны смысловые компоненты «теплого» и «укромного» места, см. параграф 1.2).

Сказанное проясняет причины относительной частотности основы *piekl-/pekl-* в западнославянской топонимии: эта основа значительно шире по своему мотивационному потенциалу, чем русская *ад-*. Однако раритетность русских «адских» топонимов не находит пока удовлетворительного объяснения: мотивационные возможности, остающиеся «на счету» таких названий, на первый взгляд, вполне достаточны для обеспечения им частотности (опасные, труднодоступные, «глухие», неосвоенные места на русской территории представлены в избытке). Можно предложить следующую версию. Осваивая «негативный» ландшафт через призму образов народной религии, носитель русской топонимии пытается домыслить «субъекта», «деятеля» — того, кто вырыл ямы, соорудил каменные завалы и пр. [Березович 2000: 347]; не случайна активность топоосновы *черт-*, которая только в топонимии Русского Севера дает около 270 реализаций [ТКТЭ]. Особенно важна «фигура деятеля» именно на Русском Севере, где чрезвычайно популярна идея «демона (хозяина) места» (и, соответственно, локативная модель номинации демонологических персонажей), которая поддерживается, очевидно, финно-угорским влиянием. При этом в русском языке значения ‘черт’ и ‘ад, преисподняя’ лексически разведены (и *ад* на лексическом уровне остается локусом без субъекта), в то время как в других славянских языках связь локуса и субъекта

¹⁹ Стоит отметить, что в мотивировках «адских» топонимов отражается воздействие ада практически на все перцептивные каналы: помимо температурных ощущений представлены зрительные, слуховые и даже обонятельные. Ср. название лесной делянки *Peklo* в чешском Злинском крае: «Жгли древесный уголь. Люди говорили, что там запах, как в аду» <Лучка>.

зафиксирована словообразовательно, ср. польск. *piekielnik*, чеш. *pekelník*, *pekelec*, словац. *pekelník*, серб. *пакленѝк*, блр. *пьякельник* и др. ‘черт, дьявол’²⁰.

* * *

Подведем итоги. Мы рассмотрели ту часть значений, проявляющихся в гнезде русского *ада* и в гнездах его межъязыковых эквивалентов, которая обнаруживает определенную специфику в рамках отдельного языка или группы языков. Наиболее существенные различия можно представить в таблице:

Мотивационные признаки	Ад	Пекло	HELL	INFERNO
тот (то), что пожирает	++	— (признак проявляется только на уровне контекстных связей)		
шум, беспорядок	значения ‘шум’, ‘грохот’, ‘беспорядок’			
↓ ссоры, скандалы, распри	+ (на основе значения ‘глотка, рот’)	++ (отчасти на основе семантики печения)	признак проявляется относительно редко	
там, где горят (грешники) жара, огонь, высокая температура	— (признак проявляется только на уровне контекстных связей)	++	— (признак проявляется только на уровне контекстных связей)	
печь, пространство печи	—	++ (часть значений — германские кальки)	+ (с акцентом на признаке углубления в пространстве печи)	+ (с акцентом на «греховности» горючего — спирта)
углубление, отверстие; то, что внизу предметы	—	+ (часть значений — германские кальки)	+ (с акцентом на признаке отверстия)	+ (с акцентом на признаке нижнего положения и «потаенности»)
ландшафт	+ (‘болото’)	+ (‘яма, котловина, овраг’)		

²⁰ В данный ряд можно включить также отмеченное в смоленских говорах русского языка (1890) фольк. *пекельник* ‘черт, помощник черта’ [СРНГ 25: 317], однако эта фиксация является единичной.

Как видим, специфические (или особо акцентированные) смыслы русского *ада* представляют его в первую очередь как нечто пожирающее, ненасытное, порождающее шум, скандалы и распри, в ландшафтном регистре подобное болоту. Специфика деривационного гнезда **рькъль* в разных славянских языках создается главным образом подчеркиванием идеи горения, печения. В германских языках особо выделяется идея углубления, отверстия; в романских — идея нижнего положения.

Таким образом, изучение особенностей деривационной семантики слов со значением ‘ад’ в европейских языках обнаруживает некоторое «напряжение» между типологическим аспектом исследования и системно-функциональным. Наличие единого культурного источника, продуцирующего представления о преисподней, должно, казалось бы, обеспечить сходные пути смыслового развития «адской» лексики, однако есть целый ряд специфических для разных европейских языков факторов, создающих различия в картине ада, которая рисуется средствами деривационной семантики разных лексем, номинирующих преисподнюю. Перечислим их:

- заимствованный или исконный характер лексем, от чего зависит, в частности, степень «живости» внутренней формы слов в сознании носителей языка и ее влияние на деривационную семантику. Так, в некоторых языках группы «inferno» прозрачны связи между значениями ‘адский’ и ‘нижний’, определяющие участие семы ‘низ’ в развитии значений;

- внутриязыковые притяжения (процессы контаминации, паронимической аттракции). Этот фактор действует во всех изучаемых языках, однако в русском процессы аттракции особо активны. Отсутствие этимологических связей в рамках русского языка, а главное — минимальный план выражения, представленный всего двумя звуками, побуждают слово *ад*, стоящее как бы «на семи ветрах» языковой системы, «прислоняться» ко многим близким в звуковом и смысловом плане лексическим единицам — *жад-*, *гад-*, *яд-*, *аред*, *астид*, *ахид* и др.²¹;

- логика организации, смысловые доминанты тех семантических полей в каждом языке, куда попадают дериваты «ада». Так, в семантическом поле отрицательных характеристик человека в русских диалектах выделяются обозначения такого порока, как жадность. Именно эта смысловая доминанта существенно «подстраивает» под себя негативно-социальную семантику дериватов *ада*, способствуя разнообразному воплощению в них семы ‘жадный’;

- особенности распространения религиозной традиции и ее текстового фонда. К примеру, дериваты «пекла» в западнославянских языках (а затем в украинском и белорусском) обнаруживают сильное немецкое влияние, определяемое

²¹ За пределами данной работы (из-за ограниченности ее задач) осталось рассмотрение других проявлений контаминационной активности *ада* (возможны притяжения к словам *чад*, *зад*, диал. *адат* ‘обычай’ и др.).

общностью католической традиции. В то же время русская языковая стихия (особенно севернорусская) в минимальной степени подвержена католическому влиянию, что резко уменьшает шансы *некла* вытеснить *ад*;

- характер и степень взаимодействия народной языковой стихии с другими формами народной культуры. Так, на территории Русского Севера, где активны дериваты слова *ад*, отмечался высокий уровень владения книжной культурой и ее сохранности (в частности, в связи с деятельностью монастырей, традициями старообрядчества и др.), а также особая роль «адских» сюжетов («Страшного суда») в практике иконописи, складывающаяся из византийского влияния и собственных новаций, внесенных в практику художественного воплощения этого сюжета (изображение в центре икон «змея мытарств»).

Мотивы, проявляющиеся в деривационной семантике слова *ад*, — это лишь часть богатейшего, многомерного и сложно устроенного концепта «Ад, преисподняя». Проведенный анализ позволяет сделать шаг в постижении этого устройства, еще раз демонстрируя, что каждая из сфер реализации концепта (системно-языковая, текстовая, внеязыковая — а эти сферы имеют и дальнейшее внутреннее членение) обладает своими акцентами, своими способами нюансировки и интерпретации смыслов. Образующие концепт мотивы не имеют симметричной реализации ни в указанных сферах, ни в разных культурно-языковых традициях. Область семантической деривации, если рассматривать ее как одну из сфер экспликации концепта, обнаруживает, в числе прочего, заметное влияние факторов языковой техники на функционирование концепта, позволяющее говорить даже о его «пересоздании»: ярким тому подтверждением являются контексты вроде костр. «А кто всю жисть адал <много ел> и жадовал <жадничал>, первым в ад пойдет» [ЛКТЭ]. Сказанное лишний раз показывает, что нельзя уравнивать между собой различные области проявления концептов²².

И последнее замечание. Рассмотренный материал помогает понять, почему русская языковая традиция (особенно севернорусская) отдает предпочтение *аду* как выразителю семантики ‘преисподняя’ перед *неклом* (хотя вопрос о причинах подобных предпочтений — и в этом, и в других случаях — не может быть решен полностью, ибо языковой выбор — явление слишком многофакторное и прихотливое, нередко подчиненное случайным перипетиям языкового развития и иррациональным для нас «желаниям» самого языка). На этот выбор оказало влияние сложное переплетение как внутриязыковых, так и культурных обстоятельств, перечисленных выше.

²² В 1990-е гг. у нас было распространено такое уравнивание: «здание» концепта строилось из философских произведений, текстов «высокой поэзии», русских поговорок и диалектной лексики, причем каждая из этих областей подавалась так, будто она лишь «повторяет» то, что «сказано» другими.

1.2. ОБРАЗ РАЯ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ

«Запоют девки — рай идет в этом Райке...»

(из полевых записей в Ярославской области)

Слово *рай* принадлежит к числу сакральных терминов с высокой ценностной нагрузкой, что обуславливает его непосредственную зависимость от мировоззренческих изменений, особенно такого «геологического сдвига», как переход от язычества к христианству. При этом слово сохраняется в языке с праславянской эпохи, переплавляя мощные идеологические «потрясения» в некий целостный, хотя, разумеется, неоднородный смысловой комплекс. Кроме экстралингвистических факторов, семантика *рая* и его производных испытывает существенное влияние факторов внутрилингвистического порядка: изучаемое слово, фонетически яркое, но краткое и созвучное ряду других лексических единиц, обладает высокими контаминационными возможностями, свойством притяжения к «соседям» по языковой системе, причем процессы притяжения влияют на содержание представлений о рае. При изучении языкового образа рая кажется бесполезным попытаться отделить (разумеется, в высшей степени условно!) «книжные» представления о нем, отраженные в литературной форме существования языка, от «народных», традиционных. В настоящей работе мы обратимся к русскому народному образу рая, запечатленному в диалектной лексике и фразеологии, частично общенародном языке, а также в народной топонимии. В ряде случаев к анализу будут привлекаться сходные с русскими факты инославянских и романо-германских языков.

В языковых представлениях о рае выделяется несколько аспектов:

- пространство рая;
- «чувственный» (перцептивный) рай;
- смерть человека и рай;
- культурная символика.

Кратко опишем эти аспекты.

ПРОСТРАНСТВО РАЯ

Рай — «укромное местечко». Рай воспринимается как отдельное, выделенное, нередко огороженное пространство, ср., например, забайк. *ра́йник*, *раёк* ‘огороженное место, где держат телят’: «Раек рядом со двором, маеты с телятами нету» [Элиасов 1980: 350; СРНГ 33: 251], костр. *раёк* ‘огороженный участок леса, предназначенный для вырубki’ [ЛКТЭ]. Райское пространство, как правило, небольшое и укромное, это именно «местечко». Не случайно среди дериватов слова *рай* активно функционирует уменьш.-ласкат. *раёк* (ср. выразительный фрагмент из басни И. А. Крылова: «Лягушка на гору весной / Переселилась; / Нашла

там тинистый в лощинке уголок, / И завела домок / Под кустиком, в тени, меж травки, как раёк» [ССРЛЯ 12: 85]). Подобные уменьшительные формы знакомы и другим славянским языкам: укр. *райок*, польск. *raik*, чеш. *rajek* и др. (ср. чеш. «Slastně dumalo se v tomto skrytém rájku» («Приятно было размышлять в том укромном раю») [PSJČ 4/2: 607]). Любопытно, что в результате калькирования некоторых значений франц. *paradis* или итал. *paradiso* (об этом ниже) в русском языке — при точной передаче заимствованной семантики — может использоваться уменьшительная форма, не употребляющаяся в романских языках (хотя семантика «укромного места» романским языкам знакома, ср. франц. *paradis* ‘бассейн в порту для укрытия судов’ [АВВУУ Lingvo x 5]). Об «укромности» рая говорит и устойчивое сочетание *райский уголок*²³, которое, возможно, калькирует соответствующие романские обороты, ср. франц. *petit coin de paradis*²⁴. «Укромность» рая проявляется также в том, что это пространство мыслится защищенным от ветра, ср. мотивировки к чешским топонимам: лес *Fabišův Raj*: «Красивое место, солнечное, укрытое от ветра. Издавна называется раем» <Бжезнице>; поле *Do Raju*: «Поле защищено от ветра, отсюда название» <Яблунков> [Dial-Brno].

Подобная пространственная трактовка рая фиксируется и вне системы языка: в славянских народных верованиях рай иногда предстает как огороженное, замкнутое пространство, обнесенное высокой стеной, что сближает его с городом, ср. также представления о том, что люди в раю живут в клетушках, малюсеньких комнатках (укр. черниг.) [Белова, Толстая 2009: 399], небольших избах (тамб.) [Махрачева, Ипполитова 2013: 102].

Рай находится наверху. Признак верхнего расположения лежит в основе устар. *раёк* ‘галерка, верхний ярус в зрительном зале театра’ [ССРЛЯ 12: 84]. Значение ‘галерка’ калькирует франц. *paradis* ‘верхний балкон (в театре)’, отмеченное во французском языке с 1606 г.; французское слово мотивировано не только признаком собственно верхнего расположения²⁵, но и тем, что в этой части сцены в мистериях изображался рай [NLI 6: 665; см. также ЕСУМ 5: 18; Кипарский 1956: 136 и др.]. Кроме того, семантика театрального *райка* может поддерживаться оценочным признаком, важным для комплекса представлений о рае: сверху лучше видно театральное действие, ср. польск. «Utrzymuje, że z raju

²³ Это сочетание активно используется не только в нарицательной лексике, но и в ономастике, причем в настоящее время больше всего — как именование заведений туристической индустрии разных стран, ср. названия отелей в России («Райский уголок»), Польше («Rajski Zakątek»), Чешской Республике («Rajský Kout») и др.

²⁴ Ср. припев песенки Ж. Брассенса «Зонтик»: «Un petit coin de parapluie / Contre un coin de paradis / Elle avait quelque chose d'un ange / Un petit coin de paradis / Contre un coin de parapluie / J'y perdais pas au change, pardi» («Меняю уголок под зонтиком / На райский уголок. / В ней было что-то от ангела. / Райский уголок на / Уголок под зонтиком. / Выгодный обмен, еще бы!»). На этот текст обратила наше внимание Г. И. Кабакова, за что приносим ей сердечную благодарность.

²⁵ Кстати, релевантность признака верхнего расположения поддерживается итал. *stare in paradiso* ‘жить на самой верхотуре’ [АВВУУ Lingvo x 5].

najlepiej widać, bo kto z góry patrzy, wszystko widzi» («Утверждаю, что из рая лучше всего видно, потому что кто сверху смотрит, всё видит») [SW 5: 467]²⁶.

Ландшафтный облик рая. Вопрос о ландшафтном рае представляет особый интерес, поскольку тесно связан с этимологией слова *рай*, вызывающей острые споры. До недавнего времени в этимологической литературе чаще всего встречалась версия об иранском заимствовании со значением ‘богатство, счастье’ [Фасмер 3: 435–436; БЕР 5: 163–164 и др.], однако в последние пятнадцать лет все больше сторонников находит гипотеза, наиболее подробно разработанная О. Н. Трубачевым (вслед за Калимой, Копечным, Кипарским и др.), которая вписывает *рай* в глагольное индоевропейское гнездо **rei-/*roi-/*rōi-* ‘течь’, куда входит и слав. **rěka* ‘река’ [Трубачев 2002: 190, 417, 421; Трубачев 2004/2: 477–478] (сочувственно относятся к этой идее и развивают ее также [Журавлев 2005: 287–291; Snoj 2003: 600; ЭСБМ 11: 66–69 и др.]). В этом случае *рай* — «связанный с течением = заречный, находящийся за рекой (водой)». Расширяя смысловые рамки, заданные собственно внутренней формой слова, следует трактовать *рай* как потусторонний мир, заречный «тот свет», куда отправлялись души умерших — вне зависимости от того, «праведные» они или нет [Трубачев 2002: 421]. Данная версия выглядит особенно убедительной с учетом культурного контекста — широко распространенных как в индоевропейских традициях, так и за их пределами воззрений о смерти как преодолении водного пространства, о нахождении страны мертвых за рекой или морем [МНМ 1: 453; Седакова О. 2004: 52–53; Журавлев 2005: 290, 921 и мн. др.]. М. Малец (вслед за Г. Риттер) вписывает пару **rajь < *rojiti* в ряд **gajь < *gojiti*, **krajь < *krojiti*²⁷, указывая, что в семантике всех трех слов есть сема «выделенного участка земной поверхности»; при этом «гай» предполагает локализацию в лесу, а «рай» — за водой или за горой [Malec 2000: 282].

При всей привлекательности и обоснованности «водной» версии несколько смущает то обстоятельство, что мы располагаем скудными с о б с т в е н н о я з ы к о в ы м и подтверждениями «заречности» («водности») рая. О. Н. Трубачев приводит (кроме предполагаемого родства *рай* и *река*) единственный пример из А. Н. Афанасьева о связи представлений о рае и водных источниках у славян:

²⁶Признак верхнего расположения выделяется еще в одном лексическом факте, принадлежащем к совсем иной тематической сфере. В жаргоне врачей-ортопедов, объясняющих больным особенности распределения нагрузки при движении после операции на суставы, сочетание *идти в рай* означает ‘подниматься вверх по лестнице, начиная движение со здоровой ноги’ (в отличие от сочетания *идти в ад* ‘спускаться вниз по лестнице, начиная движение с больной ноги’) [ЛЗА].

²⁷Между этими словами могут устанавливаться вторичные связи на основе формальной и смысловой близости: рус. новг. *как в раю на краю* ‘об удаленном, далеко от соблазнов и всего плохого месте’, тульск. *в нашем краю словно в раю: и рябины, и луку не оберешься (не приешь)* ‘о достатке простой пищи где-л.’ [БСРС: 561], ср. кашуб. *krāj-rāj* ‘вдоль и поперек’, а также поговорку «Śukāł bałki po sałim raju, a na ostatku naląz ja v kraju» («Искал невесту по всему раю, а напоследок нашел ее в крае») [Sychna 2: 233].

«Два братца <ведра> пошли в рай купаться» (вариант «в воду») [Трубачев 2002: 190].

В поисках решения вопроса о ландшафтном *рае* (и особенно — связан ли он с водой) естественно обратиться к данным топонимии, где можно предполагать наличие метафорических названий, образованных от интересующей нас основы. Обнаружилось, что изучаемая основа весьма редко служит производящей для топонимов. В топонимическом массиве Русского Севера и Поволжья (Архангельская, Вологодская, частично Ярославская и Костромская области) встретилось 19 «райских» названий, причем 13 обозначают поля, луга и урочища, 3 — населенные пункты, 2 — ручьи, 1 — озеро [ТКТЭ]. Топонимы с основой *рай-* имеют, как правило, прозрачные мотивировки, обозначая красивые, удобные для использования и ценные в хозяйственном отношении объекты, например: пок. *Рай* (*В Раю*): «Уж там очень хорошо, избушки на берегу, место красивое, родник там недалеко» <Нянд, Лужная>; д. *Рай* (официально *Чернухинская*): «Хорошая в природных отношениях» <Вил, Меньшая>; д. *Рай* (рядом д. *Ерусалим*): «Здесь был Екатерининский почтовый тракт, ездили вельможи. Один из вельмож просто произнёс: “Оттого что здесь изобилие пушнины, прекрасные леса, луга, он сказал, да у вас здесь рай, вот от этого и пошло”», «Раньше рассказывали: ехал богатый купец, устал — остановился в деревне. Его напоили, угостили, спать положили. Он отдохнул хорошо. Утром встал: “Ну, — говорит, — как в раю побывал”. Мужики как услышали, приколотили вывеску “Рай”. Так вот и получился Рай» <Вох, Вохма, Лапшино>; ур. *Раёк*: «Место красивое, вот и Раек» <В-Т, Горка>; руч. *Раёк*: «Не замерзает никогда ручеёк, интересный такой», «Там было место интересное, красивое, как прохладой тянет», «Дивно воды там, не пересыхает он», «Место это меж горами, там меньше ветер гуляет, из-за этого и названо» <В-Уст, Анциферово, Мителёво, Первомайское>; ур. *Раёк*: «Грибы росли хорошо, рай там был» <Шексн, Мушкино>; ур. *Рай* (*Райская Согра*): «Рай назвали, потому что и сенокос, и озеро с рыбой, и речка — все рядом» <Шенк, Шахановская>; пок. *Раёк*: «Меж горками он, место красивое. Запоют девки — рай²⁸ идет в этом Райке» <Некр, Искробол>.

Подобная мелиоративная семантика отражена и в микросистеме смежных названий д. *Хорошая* — хут. *Рай-Место* <Меж>. Приведем примеры некоторых других названий, зафиксированных без мотивирующих контекстов: г. *Раёк*, поле *Райское Поле* <Холм>, покос *Раеположенский* <Нянд>, пок. *Рай*, отмель на оз. *Рай* <Кир>, оз. *Райские* <Он>, руч. *Рай-Поток* <Буй>.

Райские названия, по всей видимости, могут иметь не только реальные, но и «благопожелательные» (дезидеративные) мотивировки, за которыми стоит стремление говорящего наделить объект желаемыми свойствами.

²⁸ В этом контексте фиксируется народно-этимологическое притяжение названия *Раёк* и апеллатива *рай* ‘эхо, отзвук’, которое подробнее будет рассмотрено ниже.

Ср. свидетельство Е. М. Поспелова о том, что первый компонент ойконима *Рай-Семеновское* (во второй половине XVIII в. это была пышная усадьба Нащокиных в Московской губернии) — типичное название для помещичьих усадеб [Поспелов 1979: 128]. Возможно, сходным образом мотивированы *райские* названия, зафиксированные Географическо-статистическим словарем Российской империи П. Семенова: все 7 имеющихся в словаре топонимов являются обозначениями населенных пунктов (слобода *Рай-Александровка* в Харьковской губернии, села *Райгородок* в Астраханской губернии, *Райгород* в Киевской губернии, *Райское* в Пензенской губернии и др. [Семенов 4: 270–271]), а именно в ойконимии — наиболее искусственном из всех топонимических разрядов — можно ожидать появления редких для народной топонимии дезидеративов. Интересно и то, что во всех *райских* поселениях, названия которых отражены в этом словаре, есть церкви: это, возможно, имеет непосредственную связь с соответствующими топонимами.

Сходная картина обнаруживается в топонимиконах других славянских стран. Например, в польской топонимии зафиксировано 22 названия, образованных от основы «рай» (*Rajsko, Rajgród, Rajec, Rajskie, Rajewo* и др.), при этом 20 топонимов обозначают части населенных пунктов, а 2 — целиком населенные пункты. Основная мотивировка названий — «райское (т. е. положительно оцениваемое) место» [Malec 2000: 280–281]. В чешской топонимии основа «рай» тоже представлена в 22 наименованиях (*Rájov, Ráj, Rajec, Rajsko* и т. д.), среди которых преобладают обозначения населенных пунктов [Lutterer 1968: 211]²⁹.

Таким образом, топонимия не «высказывается» в пользу «водности» рая (в западнославянском материале обозначения водных объектов, кажется, не встречаются; русские ручьи *Раёк* и *Рай-Поток* — единичные названия среди нескольких сотен тысяч топонимов Русского Севера и Поволжья, отмеченных в [ТКТЭ]). Очевидно, подобными данными владел М. Фасмер, который использовал их в качестве аргумента про и в связи слов *рай* и *река*: «... в русск. гидронимии не сохранилось никаких следов употребления *рай* в знач. ‘река, течение’» [Фасмер 3: 436]. Вот как реагирует на это О. Н. Трубачев: «Их <следов. — Е. Б.> и не нужно было ожидать, во-первых, учитывая... что **rajь* — не река, а производное от такого названия, а во-вторых, потому что перевод слова **rajь* в *termina sacra* мог уже тем самым повлечь запрет на первичные апеллативные употребления» [Трубачев 2002: 190]. Авторы ЭСБМ, комментируя данное высказывание О. Н. Трубачева, замечают, что в дохристианских славянских верованиях нет однозначной связи между раем и рекой: рай может соотноситься с понятием ‘край моря’ и ‘край

²⁹ Как говорилось выше (см. параграф 1.1, с. 57), в чешской и польской топонимии «адские» топонимы встречаются гораздо чаще «райских» (у чехов соотношение 52: 22, у поляков — 73: 22). В русской топонимии обратное соотношение: на 19 «райских» топонимов на территории Русского Севера и Поволжья приходится 6 «адовых» [ТКТЭ]. Отчасти это связано с сугубо внутрilingвистическими причинами: основа *pekl-* (чеш.), *piekl-* (польск.) в большей степени «вписывается» в систему топонимической номинации, чем *ad-*, поскольку является многозначной (см. 1.1).

неба, горизонта' (это подтверждается, согласно Безлаю, также скандинавскими, сирийскими и другими верованиями). Таким образом, скорее речь идет о понятии водного простора [ЭСБМ 11: 67]. Хотелось бы присоединиться к этому мнению, напомнив, что семантика **reĭ-/*roĭ-/*rōĭ-* связана не только собственно с течением, но вообще с реющим движением, парением (подробнее об этом см. ниже). Быть может, следует сделать еще один шаг в обсуждении этимологии слова *рай* — и, отказавшись от упоминания реки («место за рекой»), сделать акцент на способе передвижения души в рай («реянии» — полете, плавании)? Тогда **рай** — «место, куда реют души умерших». Ср. костромской фразеологизм *реет душа в рай* 'о чувстве радости, удовольствия' [ЛКТЭ]³⁰, в котором отражена своеобразная *figura etymologica*. Эта идея высказывается здесь лишь только в качестве полемических «дрожей», реплики в споре, достаточного доказательного материала еще не собрано.

Такая мотивировка, действительно, снимает необходимость в непереносном присутствии основы *рай* в гидронимии и вообще при обозначении собственно воды³¹.

Заканчивая описание райского ландшафта, отметим, что в языковой традиции можно усмотреть и рефлексы представлений о **райских садах**. Они проявляются в названиях деревьев и других растений, образованных от корня *рай-*. Это обозначения душистых и красивых древесных пород — тополей (чаще всего пирамидального тополя), сирени, клещевины: *райское дерево* (*рай-дерево*) дон. 'растение *Ricinus communis* L., клещевина'³²; «Рай-дерево цветет маленькими беленькими цветочками, а листья большие, как гусиная лапка», таврич. 'растение *Populus nigra* L., сем. ивовых, тополь черный, осокорь', б. м. 'растение *Populus balsamifera* L., сем. ивовых, тополь бальзамический', *рай-дерево* ворон. 'вид пирамидального тополя', б. м. 'растение *Populus laurifolia* L., сем. ивовых, осокорь, пахучий тополь', курск. 'растение *Syringa* L., сем. масличных, сирень' [СРНГ 34: 85–87; Анненков 1878: 267], р. Урал *раёк*, *райна*, *раинка* 'пирамидальный тополь': «Рости-ка, моя раинка, Век ты без верха. Живи ты, моя родная мамынька, Век ты без меня»; «Раёк садовой» [Малеча 3: 505; СРДГ 3: 81; СРНГ 33: 251] и др.

³⁰ Интересно также орловское выражение *рай летают* (*полетели*) 'о тихой, спокойной обстановке в доме, квартире' [СОГ 12: 76].

³¹ Говоря про «райские» обозначения воды, приведем еще один факт: в игре в «классики» *раем* называлась одна из последних клеток, которая имеет также параллельное обозначение *вода* (а клетка рядом обозначалась как *ад // огонь*) <Екатеринбург> [ЛЗА]. Думается, что параллелизм *рай // вода* в данном случае не может служить аргументом в пользу исконной «водности» *рая*. Скорее, здесь «водность» *рая* производна от «огненности» *ада* (в «огне ада» сгорают набранные участниками игры баллы). Ср. франц. *paradis / enfer* (при игре в классики) (URL: www/ac-grenoble.fr/patrimoine-education-promenade/jeu/activite/regles/marelle.htm).

³² Это растение, из которого добывают касторовое масло, носит также название *христова пальма*, которое является переводом франц. *Le Palma Christi* [Анненков 1878: 299].

Не обходится образ рая без **райских яблок**: б. м. *райская яблоня* ‘вид низкорослой мелкоплодной яблони’, дон. *ра́ички* ‘сорт мелких, райских яблок’, кирг. (рус.) *ра́йка* ‘сорт мелкоплодной яблони’ [СРНГ 34: 87, 84, 86]; ср. также контекст «Посредине — на золотой перине, а ты на краю — в яблочном раю» [Малеча 3: 505].

Показательно, что «райское дерево» не является «жестким» ботаническим термином. На разных территориях это могут быть различные растения, главное — чтоб они радовали глаз, вкус и обоняние. Ср. польск. *rajówka* ‘разновидность имбиря’ [SW 5: 468], *rajskie drzewo* ‘растение Eхsocarіa agallocha’ и др. [SW 5: 468–469], болг. *райско дърво* ‘небольшое дерево, похожее на персик, которое цветет пышно и красиво, но не дает плодов’, *райско дръвче* ‘цветок, который цветет в мае’ [БЕР 5: 163–164], укр. *рай дерево* ‘растение клещевина’ [Анненков 1878: 299], серб. *rajско drwo* ‘растение Aloe’ [Там же: 25], хорв. *rajski muhar* ‘растение из семейства Muscicapide’ [RHSJ 13: 9] и др.

Отметим, что «садовые» мотивы распространены только в южных говорах России (это понятно, поскольку культура садов является преимущественно южной) и не играют основополагающей роли³³ в создании русского языкового образа рая³⁴.

«ЧУВСТВЕННЫЙ» РАЙ

«Чувственный» аспект образа рая разработан в языке подробнее и выразительнее, чем пространственный (ландшафтный). Можно сказать, что рай — универсальный «объект чувствования», он воспринимается едва ли не всеми органами чувств: и зрением, и слухом, и обонянием, и вкусом, и даже тактильно — через температурные ощущения.

«Зрительный» рай — **многоцветный и яркий**. Рай раскрашен в буквальном смысле слова в радужные цвета, ср., к примеру, диал. шир. распр. *ра́йдуга* (*ра́й-дуга*) ‘радуга’: «Ой, какая райдуга на небе красивая» (моск.); «Какая райдуга яркая, дождя боле не будет» (эст.); «Радугу райдугой называли, дуга с рая. Райдуга така голуба, дождя больше, знать, не будет» (новг.) [СРНГ 34: 85; СРГК 5: 439; Даль₂ 4: 56; Опыт: 188; КСГРС и др.], ср. также орл. *райская дуга* ‘радуга’: «Красным, синим и зеленым Разукрашена она. По-над речкой, по-над бором Зажглась райская дуга» [СОГ 12: 76]. Несмотря на то, что это слово — результат

³³ Кстати, это может служить аргументом против версии А. Б. Страхова о том, что в слове **rajъ* надо видеть деинтегрированную форму, родственную *рости / расти* и т. п. [Страхов 2003: 115].

³⁴ Более активен образ райского сада в фольклоре. В ряде фольклорных жанров райский сад размещается на небе, но в свадебных причитаниях, к примеру, он «спускается» на землю: раем невеста называет свой сад. Ср.: «Мне в саду-ту не хаживать, / Да мне в раю-ту не сиживать» [РСв: 59]; «Ты прощай, мой прекрасной рай, дак / Оставайсе, зеленой сад / ... / Ты прощай да оставайсе, / Моё притомно мистечико! Дак / Больше мне, молодёшеньке, дак / Мне-ка здись-то не сеживать!» [Ефименкова 1980: 227] и др.

вторичного сближения *рай* ↔ *радуга*, его появление весьма симптоматично и основано, в первую очередь, на признаках многоцветности, яркости. Возможность такого сближения подкрепляется народными представлениями о том, что радуга — это мост между земным миром и раем [Белова 2009: 387]. Семантическая близость *радуги* и *рая* проявляется также в том, что они развивают изо-семантические переносные значения, ср. *раёк* ‘ра д у ж н а я оболочка глаза, р а д у ж к а’ [ССРЛЯ 12: 84].

Выделенный мотив развивается также в следующих словах: забайк. *райсбора* ‘сборка, оборочка подола юбки из мягкой ткани’: «Любят, чтоб райсборы цветастыми были: вся красота в юбке, когда райсбора красивая» [Элиасов 1980: 350], *рай* ‘всякое граненое стеклышко, показывающее предметы в р а д у ж н ы х цветах, стеклянная призма’ [Даль₂ 4: 56], арх. *райкí* ‘разноцветные картинки, открытки, кусочки бумаги, фантики’: «Из райков всяких домичек склеила», «Нарежут детишки райков, друг с другом составляют» [КСГРС].

Последние два слова дают ключ к пониманию устар. *раёк* ‘ящик с увеличительными стеклами для рассматривания картинок, показ которых (на ярмарках XVIII—XX вв.) сопровождался особыми пояснениями; кукольный театр’ [ССРЛЯ 12: 84; Даль₂ 4: 56]³⁵. Помимо идеи многоцветности, в основе этих значений лежит метонимический перенос «содержание зрелища» → «арена, где разворачивается зрелище», ср. гипотезу А. Н. Веселовского, согласно которой название *раёк* произошло от разыгрываемого в кукольном театре «райского действия», т. е. показа сцен с Адамом и Евой при помощи разрисованных неподвижных фигур. Постепенно «райское действие» было вытеснено комическими эпизодами, картинами светского содержания (излагается по [Некрылова 1988: 55–56]). *Раёк* ‘ящик с увеличительными стеклами... кукольный театр’ дается в «Словаре современного русского литературного языка» как омоним по отношению к другому театральному *райку* (со значением ‘галерка’), о котором речь шла выше. Несомненно производность обоих слов от *рай*, но возникает вопрос, связаны ли эти лексемы отношениями семантической выводимости. Думается, на этот вопрос следует ответить отрицательно: рассматриваемые слова появились параллельно. Мотивировку «кукольного» *райка* мы только что обсудили, а *раёк* ‘галерка’ калькирует французский источник.

«Слуховой» рай — наполненный звуками. Вопрос о роли звуковых признаков в языковом образе *рая* непрост. Дело в том, что в русском языке есть два *рая*, которые в синхронной языковой системе омонимичны — *рай*¹ ‘terminum sacrum’ и *рай*² костр., нижегор., яросл. ‘шумный, долгий или отдаленный гул,

³⁵ По мнению А. А. Пичхадзе, на основе этого значения *райка* появились другие: *раёк* ‘вертеп, кукольный театр; ящик с передвижными картинами, на которые смотрят сквозь толстое стекло’ > ‘граненое стеклышко, призма, сквозь которую видятся радужные цвета’ > ‘радужная оболочка глаза’ [Пичхадзе 2003: 190].

раскаты': «В горах от грома рай стоит» (костр.); влг., костр., нижегор., новосиб., яросл. 'отголосок, отзвук, эхо': «Чу, какой рай-от» (яросл.), «Охотники гончих закинули — рай лесом идет» (костр.) [СРНГ 34: 84; ЛКТЭ]³⁶. По мнению М. Фасмера, «звуковой» *рай* не связан по происхождению с «сакральным» и может быть соотнесен с церк.-слав. *parь* 'звук', укр. *papiz*, чеш. *raroh*, словац. *rároh*, польск. *raróg*, в.-луж. *raroh* 'вид ястреба', далее с литов. *rojóti, rojóju* 'тревожно каркать', *rieju, rieti* 'кричать, ругаться' и т. п. [Фасмер 3: 436]. Эта версия не выглядит достаточно убедительной ни с формальной, ни со смысловой стороны. Авторы ЭСБМ поддерживают ее лишь частично: они сравнивают рус. *рай* 'отдаленный гул' с церк.-слав. *parь* 'гул', подключают в это же гнездо блр. *райкаць* 'квакать', квалифицируя все эти факты как звукоподражания. Исходную звуковую семантику считают неспециализированной, а сопоставление с названиями птиц, приводимое Фасмером, не принимают [ЭСБМ 11: 71].

В то же время были попытки отождествить «сакральным» и «звуковой» *рай*: такова версия Будимира (ее упоминает, не обсуждая, О. Н. Трубачев в своих комментариях к словарю М. Фасмера [Фасмер 3: 436]).

Хочется предложить следующее решение. «Сакральным» и «звуковой» *рай*, как представляется, действительно связаны этимологически, но эта связь не «выводная», а параллельная, предполагающая независимое (хотя и с последующими сближениями) развитие на базе одного корня. Как говорилось выше, для гнезда глагольной лексики **rej-/*roj-/*rōi-*, к которому принадлежит **rajь*, восстанавливается исходное значение 'течь' [Трубачев 2002: 190]. Очевидно, идея «течения» могла быть перенесенной на передвижение в другой среде — особенно «парение» в воздухе (или же исходно течение и парение воспринимались синкретично), давая семантику плавного распространения движения — буквально «р е ю щ е г о». Сам литературный глагол *реять* 'летать плавно и легко; парить' принадлежит к гнезду **rej-*, ср. также значения родственных слов в говорах: арх. *ходить реями* 'лабиринт (о судне)', *лететь реей* 'о птицах: парить в воздухе' [КСГРС], *реять* смол. 'струиться, течь (о крови)', новг. 'лабиринт (о судне)', пск. *реяться* 'идти навстречу, пробираться, напирать на кого-л.', 'бегать' [СРНГ 35: 92], пск. *рóиться* 'идти на лодке под парусом (против ветра)' [СРНГ 35: 167] и др. Подобным образом — плавно, волнообразно — распространяется звук. Поэтому «звуковой» *рай* вполне естественным образом можно «вписать» в гнездо **rej-/*roj-/*rōi-*; в смысловом плане такое решение можно считать особенно уместным, если учесть, что *рай* — это не столько звук, сколько о т з в у к, гул, эхо, т. е. такие звуковые явления, которые осмысливаются наиболее динамично (а их обозначения сочетаются с «пространственными» глаголами *идти, стоять* и др.). Значит, оба

³⁶ Ср. также *райко* заурал., нижегор., яросл. 'гулко, звучно, отдаваясь эхом': «В пустых покаях всегда райко» (яросл.); яросл. 'шумно': «Было райко, и кто шумел, разобрать было нельзя»; нижегор. 'эхо, отголосок', *райкий* 'звучный, гулкий, отголосистый': «Райкое место, райкая зала» [СРНГ 34: 86].

рая «сепаратно» появились в гнезде **rōj-*, однако судьбы этих слов после рождения не раз пересекаются и скрещиваются. Виной тому — не только формальное тождество лексем, но и смысловая поддержка для идеи звука в комплексе представлений о рае: например, в русских духовных стихах пение — неперменный атрибут рая; земное пение считается «о т з в у к о м» <так! — Е. Б.> рая, признаком святости и праведной жизни [Белова, Толстая 2009: 397]. О широком распространении подобных представлений свидетельствует устойчивое выражение *райское* (*ангельское*) *пение*. Притяжение двух *раев*, думается, чаще всего происходит имплицитно, однако в некоторых случаях оно «выходит на поверхность», ср. приведенный выше ярославский контекст «Запоют девки — рай идет в этом Райке», а также новосибирское выражение *рай идёт* ‘очень хорошо, весело’ с контекстом «Так девки поют, только рай идёт» [СРНГ: 459]. Думается, данная дефиниция неточна — и контекст предполагает именно «звуковое» веселье, обнаруживающее как раз сближение двух *раев*.

Укажем, наконец, что версию о производности «звукового» *рая* от **rōj-* не следует считать единственно возможной. Можно предполагать и собственно звуковую (звукоподражательную) мотивировку, но вряд ли стоит привлекать церк.-слав. *рарь* ‘звук’, а также словесные изображения кваканья и криков птиц. Фонетический комплекс *рай* весьма выразителен и может мотивировать «сам себя», ср. звукоизобразительное *грай*, а также ворон., липец. *рай-рай* ‘музыкальный инструмент (гармоника, балалайка, гитара)’ [СРНГ 34: 84]. Эта версия выглядит вполне оправданной, хотя чуть более слабой, чем предыдущая. В любом случае *рай* звуковой и *рай* сакральный взаимодействуют друг с другом как формально, так и семантически.

«Тепловой» рай. О восприятии рая как «теплого места» говорят такие факты, как арх. *райский* ‘теплый, находящийся на пригреваемом солнцем месте’: «В райском месте быстрее вырастает» [КСГРС], костр. *раёк* ‘место, где тепло’: «Окол печки такой раёк, быстрее забродит» [ЛКТЭ]³⁷. Думается, что на основе признака тепла произошла народно-этимологическая трансформация слова *рей* ‘рига, овин’, распространенного в западных говорах России и русских говорах Прибалтики [СРНГ 35: 43], которое, «притянувшись» к *раю*, дает *рай* ‘овин, рига’ [Даль, 4: 56].

В плане семантических параллелей интересно отметить, что признак «теплый» отчетливо выступает и в семантике рус. влг. *выре́ц* ‘рассадник, парник’. Это слово, по мнению В. А. Меркуловой, соотносится с вост.-слав. *вырей* (*ирей*, *ирий*) ‘теплые страны’, ‘южные края, куда птицы улетают зимой, сказочная страна’³⁸; при этом для *вырец* реконструируется исходное значение ‘теплица’ [Меркулова 1993: 196].

³⁷ О том, что в раю царит тепло, свидетельствуют также польск. *ciepło jak w niebie* ‘тепло, как в раю’ [Бартминский, Небжеговская 1999: 65], чеш. *je teplo (teploučko) jako v ráji* ‘то же’ [ČRFS: 432] и др.

³⁸ Вопрос о происхождении самого слова *вырей* (*ирей*) весьма спорен; среди имеющих версий есть такие, которые свидетельствуют в пользу родства **rajъ* и **jъ-гъjъ* (обсуждение вопроса см. в [Фасмер 2: 137–138; ЭСБМ 11: 68; Трубачев 2002: 190; ЭССЯ 8: 237 и др.]).

Признак тепла «рифмуется» с признаком «укромности» рая, о котором речь шла выше. Небольшое укромное местечко обычно как раз бывает теплым.

«Обонятельное» и «вкусовое» ощущение рая в русском лексическом материале, кажется, не отражается³⁹, но соответствующие мотивы представлены в образах райских деревьев (садов, яблок), о которых речь шла выше.

Перцептивные «впечатления» о рае, которые мы описали по отдельности, предстают целостно в **общей позитивной оценке рая**, в идеях удобства, благополучия, «приятности», удовольствия, блаженства, счастья, связанных с раем. Языковых фактов, отражающих эту идею, очень много; приведем лишь некоторые: курск. *израительный* ‘погожий, прекрасный (о дне)’: «Израительная погода» [СРНГ 12: 167]; ряз. *раёк* ‘хорошо, удобно’: «Щас раек — дрова близко, а то без дров намучился» [СРНГ 33: 251]; орл. *раї летают (полетели)* ‘о тихой, спокойной обстановке в доме, квартире’: «Биз ниво-ть у доми раи литають: никто ни ругайтца, усё спакойна», «Гальяк уехалъ, так домъ прямя раи литають», «Всё, вчира сын с нивескъй атсилили, типерь домъ раи литають» [СОГ 12: 76]⁴⁰; пск. *раї Христов* ‘хорошо, приятно (о благополучной жизни)’: «Сичас рай Христов народу жить» [СППП: 65]; р. Урал *раї* ‘счастливая жизнь’: «Лето-то от рая, а зима от муки» [Малеча 3: 505]; ряз. *какой раї* ‘как хорошо’: «Я б на печку легла — какой раї, а не влезу», «То бывало — какой раї, получишь деньги и все», «В Москве — какой раї, ни скотины, пошел в магазин, купил»; ворон. *раї открылся* ‘началась счастливая жизнь’: «А счас уж раї открылся, жить стало хорошо»; влад. *раї* ‘удача, счастье’: «Рай такой шолде <старой, неопрятной женщине> хорошего жениха найти»; ряз. *раї* ‘о чем-л. приятном, легком’: «Весной-то — раї, в одной рубашке можно бегать, вымыл ее и иди. Вот раї-то: перемоешь, и высушишь, и одевай» [СРНГ 34: 84] и др.

Как видим, рай — в широком смысле категория состояния; соединяя грамматику с наивной психологией, можно сказать, что это категория состояния души.

«Райское состояние души», блаженство нередко связывается с представлением об особой близости к Богу, что, в свою очередь, порождает значение **аномальности**, а затем — **интеллектуальной неполноценности**⁴¹, ср. арх., влг. *раич* ‘юродивый, межеумок, полудурок, ненормальный, дурак’, *райка* ‘дура’ [КСГРС]. К этому же ряду можно отнести пск., твер. *райтъ* ‘ходить, искать чего-то без сознания’, а также производное от него пск., твер. *райха* ‘тот, кто раит’ [ДО: 228]⁴², поскольку здесь речь идет о пребывании в некоторой прострации,

³⁹ Ср. польск. «Słyszeli po trzy dni u grobu anielskie śpiwanie i wonią rajską» [SW 5: 469], *niebo w গেৰীе* ‘об очень приятном вкусе чего-л.’ [Бартминский, Небжеговская 1999: 65].

⁴⁰ Орл. *раї летают* употребляется также в тех случаях, когда ребенка укладывают спать: это пожелание спокойного, крепкого, целительного сна [сообщено В. Н. Гришановой].

⁴¹ Ср. устойчивые английские сочетания *fool's paradise, live in a fool's paradise* [ABBYY Lingvo x 5].

⁴² Заметим, что второе значение пск., твер. *райха* — ‘скородел’ [ДО: 228] — является результатом дальнейшего развития негативных коннотаций.

предполагающей отрешенность от земного и обращенность к небесному. Подобного рода переходы широко известны, ср. литер. *блаженный* ‘юродивый; глуповатый, чудаковатый’, влад. *Аноха-праведник* ‘о простофиле, дураке, глупце’, сиб. *Аноху строить* ‘представляться простофилей, дураком, глупцом’ [СРНГ 1: 260–261], арх. *преподобный* ‘глуповатый, чудаковатый, блаженный’ [СРНГ 31: 88], арх. *богорáдный* ‘то же’, курск., орл., пск., смол., твер. *божевольный* ‘одержимый припадками, помешанный, сумасшедший, безумный’, ряз. *божий человек* ‘юродивый, придурковатый, идиот’ [СРНГ 3: 42, 62, 64] и пр.

Здесь обрисован путь от «блаженства» к «сумасшествию» через опосредующее звено, связанное с «богоизбранничеством». Такой переход возможен и на базе «собственных ресурсов» идеи блаженства, связанной с весельем, дальше, возможно, с утратой интеллектуального контроля над поведением (ср. распространённый переход ‘веселиться’ → ‘шалить, чудить’ → ‘вести себя странно; проявлять признаки сумасшествия’).

Таким образом, канонический образ рая как блаженного состояния души весьма негативно осмысливается народным сознанием, сменяясь представлением о неадекватности отражения человеком реальной действительности, а отсюда — о его интеллектуальной неполноценности.

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА И РАЙ

Исследователи славянской народной культуры весьма уверенно говорят о том, что в дохристианских воззрениях рай — это мир мертвых без деления на «хороших» и «плохих». На языковом уровне подтверждением тому служат, к примеру, южнославянские обозначения покойников: словен., хорв. *rajni* ‘умерший, покойный’, *rajnik, rajnica* ‘покойник, покойница’ [Белова, Толстая 2009: 307], хорв. диал. *rajnik* ‘ребенок, который рано умер’, *rajnica* ‘девочка, которая умерла до достижения семилетнего возраста’ [Šimunović 2006: 484]. Возможно, семантическим дериватом **rajь* является и болг. диал. *рай* ‘гроб’, которое БЕР дает с пометой «неясно» [БЕР 6: 164]. В русском языковом материале отражением темы смерти можно считать влг. *рай искать* ‘испытывать предсмертную агонию’: «Отошла от его, а вернулась — он уже рай ищет, бьётся весь», арх. *зараить* ‘начать испытывать агонию’: «Зараила, через три минуты душа отлетела» [КСГРС]. Интересен костромской фразеологизм *пойти раем* ‘умереть мгновенной смертью или умереть во сне’: «Которы не видали смерти, про тех говорят, что пойдут раем. Умер — пошёл раем. А которы петаются перед смертью, про тех не говорят»; «Мучился, петался — скажут, умёр. А если не мучился, дак пошёл раем» [ЛКТЭ]. В смысловом наполнении этого фразеологизма слышен отзвук христианских представлений (во сне или мгновенно умирают праведники).

В целом собственно тема смерти редка для «райской» лексики; гораздо чаще в языке отражается тема путешествия души в рай. Некоторые языковые

факты такого рода были поданы выше; приведем еще ряд фразеологизмов: перм. *душа в рай бегаёт* ‘кто-л. испытывает приятные чувства’: «Намерзлись, в тепло залегли, дак прямо душа в рай бегаёт» [ФСПГ: 111]; *в рай на семи лошадях* ‘к чему-л. благоприятному’: «Он метит на председателево место, хочёт в рай на семи лошадях. Не выйдёт» [Там же: 198]; карел. *в рай не съездить (на ком-н.)* ‘не получить помощи от кого-н.; не иметь проку’: «Один старик говорил: “На мне в рай не съездишь”» [СРГК 5: 438]; простореч. *понеслась душа в рай* ‘о чувстве удовольствия’ и др.

КУЛЬТУРНАЯ СИМВОЛИКА

Особую группу составляют «райские» слова, несущие символическую нагрузку в контексте разного рода обрядов.

В календарной обрядности тема рая возникает в связи с Новым годом и Рождеством: вят. *рай* ‘обрядовая песня, которая хором поется накануне Нового года (в ней говорится о рае и Адаме)’, вят. *ра́йщик* ‘тот, кто колядует, колядовщик’ [СРНГ 34: 84, 87]. Помимо непосредственной «сюжетной» связи с раем (о котором поется в песне), в этих словах, по всей видимости, отражены обобщенные мелиоративные коннотации, широко представленные в вербальном оформлении новогодней обрядности (ср. слова с корнем *весел-*, *щедр-*, *бог-/бож-*, *рад-* и др.). Лексика такого рода способствует магическому моделированию счастливого года. Ср. также польск. *rajskie drzewko* (= *Boże drzewko*) ‘рождественская елка’ [SW 5: 469].

«Райская» тема звучит и в лексике родинного обряда: ставроп. *рай* ‘обряд, совершаемый на второй день после крестин, когда гости, сидящие за столом, обвязываются лентой’ [СРНГ 34: 84], арх. *райкі* ‘пожелания ребенку при первом купании’ [КСГРС], ср. также укр. харьк. *ходить в рай* ‘обычай обмывания рук роженицы на второй день после крестин (после чего участники, кроме роженицы, идут в шинок угощаться за счет бабки)’ [ЭСБМ 11: 69]⁴³. Если новогодняя обрядность моделирует благополучное течение одного года, то родинная — всей жизни человека. Благопожелательные и охранные интенции пронизывают весь родинный текст, особенно обрядность после рождения ребенка (см. об этом в [Седакова 2007б: 399–447]). К примеру, при купании белорусы пели песни с пожеланием ребенку стать счастливым и богатым [Там же: 405], — очевидно, такие же пожелания содержались в архангельских *райках*. Обычай обвязывания лентой гостей после крестин в ставропольском обряде *рай* находит переключки с обрядностью семейских Забайкалья: на сороковой день после рождения ребенка «обычно в это время происходили крестины. — Е. Б.> повитуха приносит пояс и подпоясывает

⁴³ Ср. харьковское поверье о том, что очистившиеся от скверны после обмывания рук повитуха и роженица считаются достойными войти «в рай», т. е. приступить к праздничному застолью [Кабакова 2009а: 83].

им ребенка со словами: «Как шнур длинен, так жить тебе долго! И как шнур белой, так быть и тебе, р а я в и д а т ь и в горестях не бывать!» [СД 4: 84].

К описываемой группе примыкает также собственно церковная терминология, ср. пенз. *райские двери* ‘царские врата в алтаре’ [СРНГ 34: 86]. Появление этого выражения мотивировано параллелизмом *райских* и *царских врат* в народных верованиях: считалось, что врата рая открываются на Пасху — и души отправляются на землю к своим близким; в это же время — в течение Светлой недели — в церкви открыты царские врата [Белова, Толстая 2009: 399]. Отметим, что определенную роль здесь может сыграть аттракция *райский* — *царский*.

* * *

Итак, здесь описан смысловой комплекс, который представлен в фактах левой и правой мотивации, связанных с русским словом *рай* (т. е. в этимологическом значении *рая* и в мотивационных значениях его дериватов, а также во фразеологизмах, включающих изучаемое слово) и некоторыми его иноязычными соответствиями. При своей многоплановости языковая концепция рая весьма целостна: выделенные аспекты соединены многими перекрестными связями, которые мы старались отмечать в ходе изложения. Специфическая черта языковой концепции рая — особая роль лингвокреативных факторов при формировании отдельных смысловых блоков: ср. внутрignetовые контаминации *рай*¹ ↔ *рай*², а также аттракции *рай-* ↔ *рад-*, *рай-* ↔ *цар-*. Список притяжений этим не исчерпывается, ср. притяжения в духе «нового времени»: *раёк* ↔ *ларёк* (рус. одесск. *раёк* ‘ларёк’: «У раёк хлеп привизли» [СРГО 2: 133]) и даже *рай* ↔ *рай-* — в «советских» аббревиатурах от *район* (арх. «В райпо <магазинах районных потребительских обществ. — Е. Б.> всего есть, как в раю» [КСГРС]). «Райская» тема — как к этому ни относиться — открыта в пространстве времени и языка.

1.3. СЛАВЯНСКИЕ СОМАТИЗМЫ «КОЖА» И «ШКУРА» И ИХ ВТОРИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ*

Соматизмы — древнейшая и неизменно актуальная часть лексикона, обладающая богатой и разветвленной семантической деривацией и фразеологией. В этой работе мы обратимся к «кожам» и «шкурам» — деривационно-фразеологическим гнездам, образованным на основе слав. **kož-* и **skor-*⁴⁴, но будем рассматривать не столько собственно соматизмы, сколько совокупность их вторичных значений, а также фразеологию с их участием.

К анализу привлекаются данные разных славянских языков — общенародная и диалектная лексика и фразеология. В качестве дополнительного материала используются некоторые этнографические и фольклорные факты.

Изучаемые корни имеют следующие этимологические значения: праслав. **kož-* «козья шкура» [ЭССЯ 12: 35–36], **skor-* «кора, кожа, оболочка», с возможной конкретизацией — «невыделанная шкура, кора, снятая, соответственно, с животного или растения», что подтверждается дальнейшими этимологическими связями праслав. **skor-*, ведущими к и.-е. *(s)ker-* ‘резать’ [Machek 1968: 547; Snoj 2003: 663; Boryś 2005: 553; ЭСБМ 12: 167]. При анализе производных **kož-* и **skor-* необходима существенная оговорка: в отдельных славянских языках разнятся представленность данных корней (так, в болгарском отсутствуют дериваты **skor-*, в украинском редко дериваты **kož-*) и объем их значений. При этом дериваты обладают общей базовой семьей «оболочка»,

* В текст этого параграфа включен (в переработанном виде) фрагмент статьи, написанной в соавторстве с И. А. Седаковой [Березович, Седакова 2012].

⁴⁴ Несмотря на неослабевающий интерес исследователей к соматической лексике, к «телесным» концептам, «кожа» не входит, кажется, в круг хорошо изученных тем. Из известных нам работ отметим содержательную статью И. В. Утехина «Представления русских о коже», которая основана главным образом на материале паремиологии и фразеологии, не ограниченном определенными корнями [Утехин 1999]. Есть исследования, в которых образы кожи и шкуры изучаются преимущественно на внеязыковых данных. Так, А. В. Гура, автор статьи «Шкура» в словаре «Славянские древности», оперирует славянскими фактами этнографического и фольклорного характера [Гура 2012б]. Подобная работа, выполненная на болгарском материале, представлена в [МЧТ: 62–67]. В энциклопедии «Българска народна медицина» нет статьи «Кожа», но есть статья «Шкура»; при этом значительное внимание в данном издании уделяется высыпаниям и другим кожным заболеваниям человека, которым посвящены отдельные статьи [ЕБНМ]. В исследованиях заговорной традиции также анализируется концепт кожи: например, в монографии Т. А. Агапкиной определяются мотивы заговоров, возникшие на основе представлений о причинах и сущности кожных заболеваний (чистота — нечистота, цвет, цветение, множественность и др.) [Агапкина 2010: 400–441]. Образность, передающая восприятие кожных болезней, изучается и в книге Т. В. Володиной, где, помимо данных фольклора, обряда и верований, рассматриваются языковые факты [Володина 2009: 271–281].

которая конкретизируется в различных направлениях: «кожура», «скорлупа», «шкурка», «кора», «пенка на молоке» и др.⁴⁵

В данной работе рассматриваются производные **kož-* и **skor-*, продолжающие три исходных значения: 1) кожа человека; 2) шкура животного; 3) кожа и шкура как материал. Особое внимание будет уделено первому значению; третье значение, по сути, не является соматическим — и факты, возникшие на его основе, не должны учитываться в настоящем исследовании, однако в некоторых случаях их трудно отличить от результатов семантической деривации на базе второго значения.

Вторичные смыслы, появившиеся на основе этих значений в двух анализируемых гнездах, во многом совпадают, хотя есть и показательные различия. В тех языках, где представлены оба корня (например, в русском), продолжения **skor-* более экспрессивны и чаще используются в выражениях с негативной семантикой — из-за прозрачной связи с представлениями о животных, дикой природе (в противовес человеку и культуре), а также вследствие фоновимблической выразительности корня (в варианте с начальным *š*). В таких языках рассматриваемое смысловое пространство включает в себя также отношения между продолжениями **kož-* и **skor-* (эти отношения являются отдельным объектом изучения, который в полном объеме не может быть проанализирован в настоящей работе). В тех же языках, где присутствуют дериваты одного корня, наблюдаются иные системные отношения. Так, в болгарском языке, где для обозначения и кожи, и шкуры фиксируются только дериваты **kož-*, на месте рус. *шкура* появляется *кожица* с уменьшительно-ласкательным суффиксом: *спасявам кожицата си* («спасать свою шкуру»), *пазя кожицата си* («беречь свою шкуру»), *кожицата ѝче ти одера* («шкуру с тебя спущу») [БРФС: 272].

Следует сделать несколько вводных замечаний о **соматическом статусе** кожи и шкуры.

В наивных представлениях коже не приписывается ясно сформулированная доминантная функция (имеющаяся у рук, зубов, глаз, ушей и пр.), поэтому ее нельзя отнести к тем частям тела, которые Н. Д. Арутюнова называет функциональными (нога, хвост, палец, нос, рука и др.), — в отличие от топографических органов («пространств»): бок, спина, темя, щека и др. [Арутюнова 1999: 16]⁴⁶. Однако кожу трудно объединить и с последними, поскольку у нее есть пространство — и даже трехмерное («внутри» нее находится тело): в коже «не помещаются», в нее «входят», «влезают», из нее «выходят» (примеры см. ниже). При этом она не имеет определенного места, локуса на «карте» организма. Важнейшим свойством кожи, получающим многоплановое развитие в словообразовании и фразеологии, оказывается то, что она покрывает все тело, выступает в роли «контейнера» для него, цельной оболочки, т. е. не является в буквальном

⁴⁵ Дистрибуция континуантов **kož-* и **skor-* (особенно с учетом **kor-*) в современных славянских языках — отдельная большая и важная тема, которая требует специального анализа.

⁴⁶ О топографических семах в значениях соматизмов говорит и А. Тырпа [Турпа 2005: 40].

смысле «частью тела», ср.: «Кожа уникальна прежде всего в том отношении, что она покрывает все тело целиком, являясь, таким образом, самым большим органом, границей организма и мира» [Утехин 1999: 99]; аналогичное суждение высказывается в [Тугра 2005: 61]. Отсюда метонимические обозначения человека и животного, ср. рус. костр. *кожица* 'о младенце (в том числе некрещеном), о маленьком ребенке': «Кожица ешшо, не крестили, по имени не называют, а кожицей», «На работу не ходит, кожица у ёй, маленькая совсем» [ЛКТЭ], арх. *шкура* 'медведь' [КСГРС]⁴⁷. Стоит вспомнить, что свойство метонимического развития значений вообще присуще словам, имеющим исходную семантику «контейнера» (как увидим в дальнейшем, метонимия может «перетекать» в метафору, ср., к примеру, рус. простореч. *шкура* 'стяжатель').

В наивной анатомии, в отличие от научной, не учитываются или слабо проявлены некоторые свойства кожи, — например, ее участие в дыхании и других обменных процессах. Сказанное не означает, что наивное сознание не приписывает коже каких-либо формальных или функциональных признаков (о значимости этих групп признаков для семиотического описания частей тела см. в [Крейдлин, Переверзева 2009]). Они, безусловно, есть: к формальным относится, например, текстура, цвет и «качество» кожи, к функциональным — «чувствование» (осязание), ведь кожа — основной орган для этого чувства. Способность кожи к осязанию наделяет ее информационными функциями, выполняемыми «теми соматическими объектами, которые передают человеку сведения о внешнем мире и осуществляют их первичную обработку» [Аркадьев, Крейдлин 2011: 47]. Информация, однако, идет в двух направлениях: через кожу внутрь и через кожу вовне: кожа служит «передатчиком» событий внешнего окружения человека для его внутреннего мира, — и наоборот, она сигнализирует об изменениях, происходящих внутри (ср. *побледнеть, покраснеть, позеленеть*, отражающие изменение цвета кожи вследствие испытываемых чувств).

Функции кожи как соматического объекта определяются как нефизиологические биологически обусловленные: биологическая обусловленность состоит в том, что они определяются устройством организма человека; нефизиологичность — в том, что выполнение функций в принципе подконтрольно воле человека [Аркадьев, Крейдлин 2011: 45–46]. Однако, как мы увидим далее, в наивном языковом сознании «действия» кожи далеко не всегда контролируются волей, зачастую неподотчетны и инстинктивны.

Будучи «футляром» для того, что содержится внутри человека (его сущность, эмоции и др.), кожа или шкура служат границей между внешним и внутренним, чужим и своим. Кожа непроницаема и проницаема, отделяема и неотделима

⁴⁷ Показательна также традиция счета животных, в том числе убитых, «по шкурам» и «по козам», ср. арх. *кожа* 'убитый на промысле морской зверь': «— Каков промысел? — А по десяти кож попало на лодку» [СРНГ 14: 49].

от человека или животного. Она защищает и охраняет — но и подвержена повреждениям, ранима. Кожа скрывает, прячет многие человеческие проявления, но вместе с тем и демонстрирует, обнаруживает их. Она принадлежит как природе, так и культуре, — тогда, когда выделяется, становится материалом⁴⁸.

Эти предварительные рассуждения показывают, что многие свойства и функции кожи могут быть представлены в виде оппозиций, в которых ей приписываются противоположные смыслы — в зависимости от смены оценки и точки зрения говорящего. Из основной оппозиции — обращенности кожи вовне (к окружающему миру) и внутрь (к самому человеку, как телесному, так и духовному) — проистекает амбивалентность значений и оценок, обнаруживаемая у производных **kož-* и **skor-*, а также в соответствующей фразеологии. Такая амбивалентность составляет «нерв» изучаемого языкового образа, что мы и постараемся показать в данной работе.

В ходе дальнейшего изложения принимаются во внимание:

- основные тематические сферы вторичных значений (в том числе культурной семантики): «Существо и существование человека»; «Физический мир человека»; «Психоземotionalный мир человека»; «Отношения между людьми и черты характера»;

- предикаты, с которыми сочетаются «кожа» и «шкура» в составе фразеологизмов;

- системные отношения с другими соматизмами (это, в первую очередь, «нетопографические» соматизмы, как и «кожа», — «кровь», «кости», «тело» и др.).

Эти параметры описания отражены в композиции работы. Они выделены на разных основаниях, являются взаимопроникающими и не носят классифицирующего характера. Основной массив материала сконцентрирован в разделе «Тематические сферы вторичных значений». По мере представления тематических сфер указываются и некоторые предикаты «кожи» / «шкуры», а также отдельные корреляции с другими соматизмами. В разделах, непосредственно посвященных предикатам и системным отношениям, соответствующий материал проанализирован более подробно, а также выделены закономерности формирования различных смысловых связей изучаемых слов.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ВТОРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Ниже дается краткая характеристика наиболее значимых смысловых сфер, в которых проявляются вторичные значения «шкурной» лексики.

СУЩЕСТВО И СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Кожа — своеобразный двойник человека, она способна выражать его **натуру**, **сущность** (не случайно «выйти из кожи» = «выйти из себя», а «залезть в чужую шкуру» = «понять другого человека»),

⁴⁸ Вообще, в «шкурной» лексике и фразеологии чувствуется след охотничьих и скотоводческих традиций, практики обработки шкур и пр.; признаки тягучести / способности лопаться, прочности и пр., реализуемые во вторичных значениях, проявляют восприятие кожи и шкуры именно как материала.

подробнее см. далее), ср. польск. *pokazywać prawdziwą skórę* («показать настоящую кожу») ‘обнаруживать свою истинную натуру’, *znać człowieka po skórze* («знать человека по коже») ‘каков человек есть, можно понять сразу — по внешности, «поверхности»’ [Skoopka 2: 128–129]. В данном случае к о ж а — аналог л и ц а (в значении ‘индивидуальный облик, отличительные черты кого-, чего-л.’), ср. рус. литер. *показать истинное лицо*. Но если предикат «менять лицо» имеет в языке негативную оценку⁴⁹, то смена кожи воспринимается неоднозначно⁵⁰. С одной стороны, такое восприятие может быть нейтральным: рус. «В одной коже, в одном перье — века не изживешь» [Снегирев 1995: 552], ср. также блр. диал. *векаваць у адной шкуры, звекаваць у адной шкуры* ‘(про)жить без перемен’: «Разве ён збіраецца векаваць у адной шкуры, ета яму не удалца»; «Як ты ні старайся, дык у адной шкуры не звякуеш, назнаеш у жызнi і белого і серого» [Юрчанка 2002]. С другой стороны, смена кожи может расцениваться негативно — если учесть, что при такой смене меняется главным образом внешнее, а не внутреннее (рус. перм. *шкуру переверотить* ‘скрыть или изменить свои взгляды, убеждения’⁵¹: «Кто были раньше, те же у власти и сидят; шкуру переверотили и сидят» [ФСПГ: 257]), и этот процесс по отношению к людям, а не животным, может расцениваться как «хамелеонство», ср. польск. «Człowiek nie zrzuca swojej skóry jak wąż» («Человек не сбрасывает свою кожу, как змея») [НКРР 3: 220]⁵².

Сущность человеческая не только обнаруживается кожей, но и концентрируется в н у т р и, прячется п о д ней, ср. серб. *под кожом* ‘в природе человека’ [РСХКНЈ 9: 712]. То, что под кожей, обнаруживает истинную сущность человека — нередко неприглядную, ср. польск. диал. «Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą»

⁴⁹ Об этом говорит, к примеру, слово *лицемер*, которое ведет происхождение из церковнославянского языка, ср. ст.-слав. *лицемѣрь*. По одной из версий, первоначально это сложение *лице* и *мѣнь* (рус. *мена*) ‘меняющий лицо’; сближение второго компонента с *мѣра*, *мѣрими* вторично; другая версия допускает влияние греч. *prosōpolēptēs* ‘лицеприятный’ < *prósōpon* ‘лицо’ + *lēptēs*, прил. от *lambánō* ‘брать’, т. е. ‘принимающий лицо кого-н. другого’ [ТСлРЯ 2007: 411].

⁵⁰ В некоторых случаях такую смену следует рассматривать в контексте оппозиции «человеческое — животное». Если для многих животных смена кожи (шкуры) — обязательный сезонный процесс, то для человека он невозможен. Кроме того, смена кожи на шкуру (превращение человека в волка, медведя, ср. также *волколак*) — одно из основных проявлений оборотничества, т. е. реализации оппозиции «человеческое — демоническое».

⁵¹ Дефиниция словаря здесь, думается, не совсем точна: речь идет именно о формальном изменении, не меняющем сущности.

⁵² Показательно, что авторы многих статей по поводу «ребрендинга» партии «Единая Россия», которые появились в Интернете в конце 2011 — начале 2012 г., вставляли в свои тексты в том или ином виде строчку «Только змеи сбрасывают кожи», отсылающую — в соответствии с современной модой на игру с цитатами — к стихотворению «Память» Николая Гумилева: «Только змеи сбрасывают кожи, Чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, Мы меняем души, не тела». Есть и другие поэтические тексты, где представлен образ «неснимаемой» кожи, отражающей духовный мир личности, ср. замечательные строки А. Кушнера: «Крепко тесное объятье. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать. Словно с пальцев отпечатки, С нас — его черты и складки, Пригладевшись, можно взять».

[Тугра 2005: 62]. «Под кожей» — как правило, означает «в крови», ср. рус. литер. *это в крови (у кого-л.)* ‘о том, что присуще, свойственно кому-л., обнаруживает его натуру, характер’. Получается, что образ кожи по отношению к такому смыслу, как «натура, сущность человека», проявляет амбивалентность, выражая и тот, и другой полюс оппозиции «**внешнее** — **внутреннее**». Кожа является той границей, пересечение которой, согласно языковым данным, означает раскрытие, снятие покрова.

Язык трактует кожу также как «**образ**» человека, его «**отпечаток**», который воплощает сущность человека, ср. рус. перм. «Раньше люди-те не фотографировались, говорили: *чёрт кожу снимает*. Грешно считали шибко» [ФСПГ: 407]⁵³.

«Сползание» кожи в сторону внешнего (в оппозиции с внутренним) проявляется в том, что иногда она символизирует именно **материальную сторону** человеческой жизни: чеш. диал. *napravit si kůži* («разгладить свою кожу») ‘улучшить свое материальное положение, состояние’ [Zaogálek 1963: 198], серб. *кожа* ‘имущество’: «Све <се> више прибожавао због своје властите коже» («Более всего он опасался за свою кожу») [РСХКJ 2: 767]. Эта грань символики в наибольшей степени присуща «шкурам», что объясняется различием кожи человека (отсутствие на теле волосяного покрова) и шкуры животного⁵⁴. Шкура может восприниматься как мех — со всеми «культурными последствиями»: вывороченная шкура, мех («волосатость») символизирует **богатство**⁵⁵.

В то же время у шкуры имеется и символика **бедности**, ср. рус. яросл. *остаться при шкуре* ‘обеднеть, остаться ни с чем’: «Работы нет, всё изжили, денег не осталось ничего, остались при шкуре», «Всё спустил, — ну, скажут, остался при шкуре» [ЛКТЭ].

Образы кожи и шкуры связаны также с оппозицией «**свое** — **чужое**». При этом «кожа» чаще соотносится со «своим» (ею «чувствуют», «испытывают» что-л.), а «шкура» — с «чужим» (ср. фиксируемые в разных языках выражения с внутренней формой «быть в чьей-то шкуре», «в чужую шкуру не влезешь», «волк

⁵³ Фотографирование воспринимается здесь как снятие кожи — и при таком восприятии фотоснимок связан с человеком не условной, а безусловной связью. Эта связь подобна той, что в сказках соединяет лягушачью шкурку и царевну-лягушку: если уничтожение шкурки может повредить царевне, то фотографирование — человеку. Вообще, негативное отношение к фотографированию нередко проявлялось в народной традиции. К примеру, у южновятских старообрядцев был на него запрет, так как при фотографировании «крещение спадает» [МСЮВ: 244].

⁵⁴ При этом народная культура может признавать «преемственность» человеческой кожи и шкур животных: так, славянам известны фольклорные тексты о том, что первые люди (Адам и Ева) были покрыты, как животные, шкурой, которая их защищала от холода и других воздействий внешней среды [Гура 2012б].

⁵⁵ Многочисленные примеры использования шкуры как символа богатства фиксируются в сфере обрядности: на шкурах сидят молодожены на свадьбе; в шкурах родители жениха встречали молодых после венчания с пожеланием богатства новобрачным; на овечьей шкуре просили посидеть детей, пришедших колядовать, — чтобы водились овцы (перм.), и т. п. [Гура 2012б]. На Русском Севере считали, что если при гадании на жениха девушку поглядят *шкурной рукой* (т. е. чем-то меховым), это предвещает богатого жениха [КСГРС].

в овечьей шкуре» и т. п.). Развитие этой смысловой линии приводит к тому, что шкура обретает символику «иног», «другого». С учетом «животных» смыслов, присущих шкуре, следует интерпретировать семантику рязения, неизменным атрибутом которого являются шкуры [Гура 2012б].

К оппозиции «человеческое — животное», как говорилось выше, может добавиться оппозиция «человеческое — демоническое». Кожа имеет «демонические» ассоциации: во фразеологии и паремииологии частым контекстным партнером «кожи» / «шкуры» является «черт»⁵⁶. Черту приписывается способность воздействовать на кожу человека или шкуру животных. Он сдирает кожу: рус. иркут., томск., юж.-сиб. *кожедёр* 'леший, черт' [СРНГ 14: 51], пск. *черт на шкуру не берет* 'об озорном, шаловливом ребенке' [СПП: 80]; пишет на коже: новг. *(что) черт на коже пишет* 'о находчивом человеке' [НОС 12: 54], пск. *как черт на воловьей шкуре пишет* 'быстро, хорошо вспоминается' [ПОС 14: 296]⁵⁷; залезает под кожу: болг. *влиза ми дявол(а) под кожата* («черт влезает под кожу») 'становиться своевольным, совершать неразумные, дурные поступки' [ФРБЕ 1: 171] и др.⁵⁸

Неповрежденная кожа (шкура) может метонимически обозначать живого человека, откуда связь с символикой **жизни**: во всех славянских языках слова со значениями 'кожа', 'шкура' входят в состав фразеологизмов с внутренней формой «спасти свою шкуру (т. е. себя, свою жизнь)», «трястись за свою шкуру» и др.,

⁵⁶ «Демонические» ассоциации шкур прослеживаются и во внеязыковых формах народной культуры. Так, на Русском Севере, в Верхнем Поволжье отмечены представления о том, что на шкурах ездят сезонные духи, которые накануне Рождества или Нового года выходят из воды на землю, а после Крещения уходят обратно в реки и проруби (*шуликуны, кулешменцы* и т. п., см. о них в [Березович, Виноградова 2012; Синица 2010]). Ср. контексты: арх. «Вон шалыхины на коже едут, заберут тебя!», влг. «Шуликины на кожах едут! Кожи дерут с удавленников, топлеников да» [КСГРС]; костр. «Кулешменцы в святки издят на бычьих шкурах. Которы быки не забиты, а сами сдохли, тех шкуры сымают и издят» [Синица 2010: 44]. Шкура (кожа) необходима и для установления контакта с нечистой силой, — так, при гаданиях нужно усесться на шкуру: «Слушать ходили. Возьмут кожу телячью, да и сядут на кожу. Зацертят там. Хвоста-то не зацртили, да их давай цёрт волоцить» <Калитинка Каргопольск. р-на Архангельск. обл.> [БДКА]. Ср. также арх. *шкурничать* 'гадать в святки при помощи шкуры животного': «Любили в девках шкурничать. Сядешь на шкуру волчью, собачью — что приведётся — и загадываешь жениха. Раз сидим — вдруг за хвост потянуло, мы и дёрнули», арх. *шкурница* 'девушка, гадающая в святки при помощи шкуры животного': «Собралось нас семеро шкурниц, сели на крестах» [КСГРС].

⁵⁷ Проявляющийся во фразеологии мотив чертовых «писаний» на коже находит развитие в фольклоре — в сюжете заключения договоров с чертом на коже. Герою одной из русских быличек — мужику, который хотел наложить на себя руки — старик в деревне объясняет: «Пошла бы твоя кожа им на бумагу. Пишут они на той бумаге договоры тех, что продают чертям свои души, и подписывают своей кровью, выпущенной из надреза на правом мизинце» [Максимов 1994: 16].

⁵⁸ В языке не только отражается воздействие черта на кожу человека и шкуры животных, но и маркируется кожа самого черта: рус. простореч. *чертова кожа* 'прочная, обычно черная хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая усиленным сатиновым переплетением, молескин', новг. *бесова кожа* 'прочная блестящая ткань, обычно черного или белого цвета' [Селигер 3: 59], дон. *сдирок с чёртовой шкуры* 'бран. необузданный человек' [БТДК: 478], болг. *дяволска кожа и за тълпан не чини* («чертова кожа и для барабана не годится») [Геров 2: 382].

ср. также чеш. *jde mi o kůži* («речь идет о коже») ‘это может стоить ему жизни’ [ČRFS: 264], словац. *prísť o kožu* («лишиться кожи») ‘лишиться жизни’ [SSJ 1: 758], серб. *изнети читаву, целу, здраву кожу* («унести (сохранить) целую кожу») ‘выйти из опасной ситуации живым и здоровым’: «Тај је све то на своје очи видио и једва циелу кожу изнио» («Он видел все своими глазами и едва целой кожу вынес») [РСХКНЈ 9: 711–712], болг. *отървавам (си), отърва (си) кожата* («спасти свою кожу») ‘остаться в живых’ [ФРБЕ 2: 92]. Ср. также серб. *платити својом кожом* («заплатить своей кожей») ‘расплатиться своей жизнью, своим положением, имуществом’ [РСХКЈ 2: 768]. В составе аналогичных оборотов функционируют г о л о в а и з а д; менее регулярно — т е л о (рус. азерб. *спасти свою телу* ‘спасти свою жизнь’ [СРНГ 44: 12]).

Этапы человеческой жизни понимаются как смена оболочек, и приближение смерти воспринимается как пребывание человека в «последней шкуре»: кашуб. *v ostatně skóře chōzęc* («в последней шкуре ходить») ‘быть близким к смерти’ [Sychta 5: 55]. Ряд фразеологизмов позволяет увидеть связь кожи и с символикой **смерти**⁵⁹. Как и слово «тело», «кожа» может развивать значение ‘труп, мертвец’, отраженное, по всей видимости, в кашуб. *za skórą pic* («за кожу пить») ‘пить водку во время поминок за умершего’ [Там же: 56]⁶⁰. Для символики смерти можно предположить еще один источник: очевидно, она отражает практику сдирания шкур с животных, которых иногда специально *забивают на шкуру*, ср. мордов. (рус.) *подарить шкуру* ‘издохнуть (о животных)’: «Каровь-гъ уш стара сталь, самь время её здавать, а то пьдарит шкуру» [СРГМ 2: 842], костр. *подарить кожей* ‘то же’: «Первый год водилися <с коровой>, врачи были, всё делали. Второй год нам сказали: “Или держите, могот быть, а могот и не быть. Парез опять — могот кожей подарить”» [ЛКТЭ]. Аналогичное выражение употребляется и по отношению к человеку: влг. *кожей подарить* ‘умереть’: «Перепились, думала, кожей все подарят» [Дилакторский 2006: 199], влг. *кожа в казну* ‘о смерти человека, которого считают дурным, никудышным’: «Который злой человек умёр — и кожа в казну» [КСГРС], чеш. простореч. *dát kůžku* («дать шкурку») ‘умереть’ [Zaorálek 1963: 199]. Шкуры часто вешали для просушки на изгородь — и эта ситуация тоже отражена во фразеологизмах со значением смерти, прекращения чего-л.: рус. пск. *шубу на кол* ‘умереть’ [СППП: 82], читин. *и шкуру на огород* ‘и концы в воду’: «Ох ти мне! Опять эта Танька <...> Лучче б маленька померла, я бы по-

⁵⁹ Ср. также близкую семантику исчезновения: рус. пск. *из кожи (с кожей) в яму* ‘о человеке, ушедшем надолго, исчезнувшем’ [СППП: 45], влг. *с кожи пропасть* ‘бесследно исчезнуть’ [СРГМ 2: 385], укр. надднепр. *пропасти с кожей* ‘бесследно исчезнуть’ [Чабаненко 2: 184].

⁶⁰ Согласно описанию Б. Сыхты, кашубский поминальный обычай *przepicie skóre* («пропивание кожи») исполнялся в доме или корчме. Главную роль во время поминок играли напитки — сладкий кофе и особенно водка. В зависимости от качества и количества поданных напитков о покойнике говорили: «*Ńebošček miał cenką... c’wardá / grěbá skóra*» («Покойник имел тонкую... толстую / грубую кожу»). «Тонкая кожа» означала скудное угощение, «толстая / грубая» — обильное [Sychta 5: 56].

плакала — и все, и шкуру на огород» [Пашенко 1: 162]⁶¹. До конца не ясен еще один «смертный» *фразеологизм*: пск. *пора в кожу* ‘пора умирать’: «Беда теперь, пора и ф кожу, пожыль и ланно» [ПОС 14: 295–296] (*«пора быть завернутым в кожу»? *«пора превратиться в кожу = останки, прах»?). Символика смерти есть и у других регулярных партнеров «кожи»: при осмыслении физического естества человека вне жизни духа у них неминуемо появляется значение ‘мертвое тело, труп’. В наибольшей степени это характерно для тела и костей, которые имеют указанную семантику во всех славянских языках; реже в этой функции выступают м я с о и к р о в ь: рус. жарг. *мясо* ‘расчлененный труп’ [БСРЖ: 366], серб. *меса* ‘мертвые тела, трупы’ [РСХКНЈ 12: 422], польск. *krew* ‘о человеке убитом’ [SW 2: 547].

Отсюда появляется значение ‘те, кого насильственно **обрекли на смерть** (обычно **солдаты**)’, которое в языках многих народов Европы (и шире) выражается в идиоме «пушечное мясо», ср. укр. *гарматне* (редк. *воєнне*) *м’ясо*, блр. *гарматнае мяса*, польск. *mięso armatnie*, серб. *топовско месо*, а также итал. *carne da cannone* и т. д. Считается, что это выражение получило широкое распространение благодаря шекспировскому «Генриху IV». В то же время сходные смыслы могут быть выражены с помощью «мяса», «костей» и «шкуры» типологически независимым образом: рус. жарг. *мясо* ‘солдаты некавалифицированных родов войск’ [БСРЖ: 366], пск. *на костях идти* ‘воевать с большими потерями’ [ПОС 15: 340], челяб. стар. *мослы* ‘бранно по отношению к солдатам’ [СРНГ 18: 286], чеш. диал. *kost* ‘солдат, посылаемый на смерть’ [Dial-Brno], рус. *шкура* р. Урал ‘сверхсрочнослужащий в царской армии’ [Малеча 4: 491], жарг. воен. ‘сверхсрочник’ [Коровушкин 2000: 334]⁶².

Посылаемые на смерть люди воспринимаются сходно с животными, идущими на бойню, становящимися добычей хищников и др. Это отражается в метонимическом назывании животных по тому «продукту», который из них изготавливается, — обычно мясу или шкуре, ср., к примеру, рус. арх. *кожа* ‘убитый на промысле морской зверь’ [СРНГ 14: 49], *шкура* ‘медведь’ [КСГРС], кашуб. *mqso* ‘шутл. заяц’ [Sychta 3: 153], словац. диал. *mašo* ‘боров, свинья’ [SSJ 2: 105] и мн. др. Эта метонимическая модель часто получает переосмысление в бранных формулах по отношению к животным, которые широко представлены в славянских языках и имеют внутреннюю форму вроде «гнилая / гадова / пропащая шкура», «собачье / волчье / воронье мясо» и пр. (такие инвективы прочитываются в духе «чтоб ты стал добычей ворон», «ты — порождение волков» и пр.). Подобные **бранные формулы** с участием к о ж и, м я с а, к о с т е й и др.

⁶¹ Ср. также перм. *ребячьих кож нет на огороде* ‘о том, что от родительского воздействия ребенку не будет хуже’: «“Ой, у меня она вся изревелась”. — “Ничего, ребячьих кож нет на огороде”. Дескать, не заревётся, не умрёт, легче будет» [СРГЮП 1: 394]. По всей видимости, это выражение можно понимать так: родители наказывают ребенка, но это должно пойти ему на пользу, поскольку от наказаний дети не умирают, о чем говорит отсутствие детских кож, висящих на изгороди.

⁶² Ср. также словен. *meso* ‘люди без прав и свобод’ [SSKJ 2: 751].

употребительны и **по отношению к людям**. В антропономинации эту модель скорее следует рассматривать как вторичную, «наведенную» практикой зоономинации (где она распространена значительно шире), но это не исключает возможности появления части таких выражений именно по отношению к человеку. Ср. рус. влг. *гнилая кожа* [СРГК 2: 385], костр. *волчья кость* [КСГРС], польск. *psia kość*, *psia krew*, диал. *psie mięso* («собачья кость, собачья кровь, собачье мясо») [KSGP], серб. *бадањ (гомилa) меса* («кадка (куча) мяса») [РСХКНЈ 12: 423] и пр.

Физический мир человека. Кожа может пониматься как тело, ср. белорусскую частушку: «Раней дзеўкі з кожи лезлі, Кабы плацце паказаць. А цяпер із плацця лезуць, Кабы кожу паказаць» [сообщено Т. В. Володиной]. Если у ко ж и «телесное» значение выражено косвенно, то у м я с а и к о с т е й — более очевидно: рус. *мясо* ‘человеческое тело, плоть’, словен. *mesó*, серб. *mесо* ‘то же’, *кост* ‘человеческое тело, человек’, польск. *kość* ‘тело’. Вероятно, дело в том, что кожа только задает контуры тела, в то время как в его восприятии важна объемность, которую обеспечивают образы костей и мяса.

Кожа служит индикатором **состояния здоровья**: серб. *бити (налазити се, остати) у зложожи, не бити у добројожи* ‘плохо себя чувствовать, быть больным’ [РСХКНЈ 9: 711], словен. *je v dobri / slabi koži* («он в доброй / дурной коже») ‘о том, кто чувствует себя здоровым / больным’ [SSKJ 2: 463]. Многочисленные внутренние болезни проявляются именно на коже, и сама кожа «страдает» разными недугами. Перечень кожных заболеваний велик, многие из них ассоциируются с представлениями о чистоте — нечистоте и о возможности передачи заболевания при контакте и прикосновении к коже.

Эпитет «кожаный» характеризует здорового человека: рус. брян. *как кожаной* ‘о физически крепком, здоровом человеке’ [БСПС: 267]. Кожа концентрирует **физические силы**: чеш. *mít tuhoun kůži* («иметь тугую кожу») ‘быть живучим’ [Zaorálek 1963: 198], морав. диал. *ten má tvrdú skůru* («у него крепкая шкура») ‘он живуч’ [Bartoš 2: 381]; ср. и противоположный образ — «жидкой», «тонкой», «раскатанной» кожи: рус. костр. *жидкокожий* ‘вялый, слабый, болезненный’ [ЛКТЭ], костр. *шкурка тоненька* ‘о нехватке сил, здоровья’ [ЛКТЭ], чеш. *mandlovat si kůži* («раскатать кожу») ‘лодырничать, лениться’ [Zaorálek 1963: 198]. Изменение кожи симптоматично: в народных верованиях появление пятен на коже больного человека может предвещать смерть⁶³.

⁶³ Есть и другие верования, основанные на оценке состояния кожи: неизменный и ненарушаемый кожный покров считается нормой, является «человеческим», а нарушение его целостности свидетельствует об аномалии и принадлежности «демоническому», поэтому незаживающие раны, тяжелые кожные болезни нередко расцениваются как знак греховности человека или следствие его контактов с демонами [МЧТ: 218–219]. Наоборот, необходимо нарушить целостность кожи в тех случаях, когда, по поверьям, покойник может превратиться в «ходячего» (и обрести человеческий облик) или вампира: так, болгары Софийского края считают, что нужно проколоть кожу трупа иглой или даже надрезать ему пятки — и тогда покойник не будет ходить по ночам. Подобная идея лежит

Символика физического здоровья может выражаться и другими соматизмами: *кость* (рус. олон. *в кость* 'впрок, на крепкое здоровье' [СРНГ 15: 87–88], словац. «Kde niet kosti, nieto sily») («Если нет кости, нет силы») [Záturecký 2005: 82], чеш. *pokud mám zdravé kosti* («пока у меня здоровые кости») 'пока я физически здоров' [PSJČ 2: 303]), *тело / плоть* (рус. карел. *тела хватит* 'о жизненной силе кого-н.' : «Тела у матери хватит, пока глаза не закроются», мурман. *тело взять на ход* 'набрать силу, окрепнуть' [СРГК 6: 447]; арх., вят. *тэльный* 'крепкий, сильный, мускулистый, здоровый' : «У крестьян при выборе невесты родители жениха желают главным образом, чтобы невеста была здорова, тельна, работяща» [СРНГ 44: 16–17]; томск. *во плотé* 'в расцвете сил' [СРНГ 27: 156]), *кровь / жила* (слав., роман., герм. «кровь с молоком», рус. литер. *полнокровный* 'человек цветущего вида, здоровый' = смол. *кровоо́льный* [ССГ 5: 109], литер. *двужилный* 'здоровый, выносливый', укр. *жила тонка* 'о том, кто недостаточно физически силен'), *брюхо / кишка* (рус. разг. *кишка тонка* 'у кого-л. не хватает сил, способностей, чтоб сделать что-л.', курск., прикам. *брюхо тонковато* 'то же' [БСРП: 62]).

Кожа проявляет и другие грани физического облика и состояния человека. *Цвет кожи* является **расовым признаком** (в «языке» народной культуры аномальный цвет кожи характеризует инородца, см. [Белова 2005: 52–54]). Кожа — одна из немногих частей тела, способных характеризовать **возраст** человека, ср. *младенческая* — *старческая (дряблая) кожа*, рус. печор. *кожа волочится, а гулять хочется* 'о некрасивом или старом человеке, жаждущем любви' : «Старый уж, кожа повесла, кожа волочится, а гулять хочется» [ФСНП 1: 351].

Кожа «работает» на создание эталона **красоты**: рус. яросл. *кóжистый* 'хорошо сложенный (о фигуре)' [ЛКТЭ], хорв. *koža* 'о телесной красоте' : «Evo su one, ke se kožom prij' dićanu» («Вот это те, кто прежде кожей гордились») [RHSJ 5: 424]. Гладкая, ровная, чистая кожа, «кровь с молоком» — обязательные эстетические составляющие образа привлекательного человека, преимущественно женщины, ср. рус. литер. *ни кожи ни рожги*. Во внеязыковых формах культуры фиксируются ритуальные действия по «моделированию» цвета и «качества» кожи младенца (купание в молоке, вине и пр.) [Седакова 2001; Седакова И. 2004]⁶⁴.

в основе известного способа уничтожения вампира — протыкания его туловища осиновым колом. Здесь отражаются также представления о том, что у вампира есть только кожа и студенистая кровь [БолгМ: 43; Софийски край 1993: 223, примеч. 79].

⁶⁴ О коже как «носителе» (и даже «создателе») телесной красоты высказался средневековый монах Одон Клунийский: «Телесная красота заключается всего-навсего в коже. Ибо, если бы мы увидели то, что под нею, — подобно тому как беотийская рысь, как о том говорили, способна была видеть человека насквозь, — уже от одного взгляда на женщину нас бы тошнило. Привлекательность ее составляется из слизи и крови, из влаги и желчи. Попробуйте только помыслить о том, что находится у нее в глубине ноздрей, в гортани и чреве: одни нечистоты. И как не станем мы касаться руками слизи и экскрементов, то неужто может возникнуть у нас желание заключить в объятия сне вместилище нечистот и отбросов?» [цит. по: Хейзинга 1988: 152–153].

Будучи оболочкой, «футляром» человека, кожа задает рамки его **конституции**. Худой человек (животное) — тот, у кого «одна кожа»: рус. волгоград. *осталась одна кожа* ‘кто-л. сильно похудел, истощал’ [СВолгО 3: 100], блр. диал. *адна шкура* [СБНФ: 21], ср. также рус. тобол. *кóжанка* ‘о сухощавой женщине’ [СРНГ 14: 50], яросл. *кожевіна* ‘худая, тощая лошадь, кляча’ [ЯОС 5: 44], смол. *кожін* ‘о небольшом тщедушном человеке’ [ССГ 5: 47], блр. *шкура* ‘худая и дурная собою женщина’ [Насовіч 1983: 712], болг. троян. *умрял си ф кожътъ* («умер в коже») ‘сильно исхудал’ [Ковачев, Тотевски 1998: 128]. Для описания худого человека используются также образы *к о с т е й* (скелета), *р е б е р*, *ж и л*. Во всех славянских языках (и шире — во многих индоевропейских) встречается оборот с внутренней формой «кожа да кости». В эту формулу могут быть подставлены обозначения других частей тела из вышеперечисленных, ср., к примеру, рус. перм. *кость да жила* = *кость да кожа* ‘худой, тощий человек, животное’ [ФСПГ: 174], печор. *кости да жилы* ‘то же’ [ФСНП 1: 359]. Широко распространены и другие способы указания на худого человека, среди которых можно назвать фразеосочетания по модели «<остался (осталась, остались)> один (одна, одни) + часть тела (кости, ребра, скелет, кожа)», ср. блр. *адны (адна) рэбра, косці, шкура* [СБНФ: 131], а также отсоматические прилагательные вроде *костлявый* или *жилистый*.

Что касается символики толщины и упитанности, то ее несут (помимо наиболее очевидных в этом случае *с а л а*, *ж и р а* и *ж и в о т а / б р ю х а*) следующие соматизмы: *т е л о* (рус. арх., влг., мурман., новг., орл., перм., печор., свердл., смол., якут. *тэльный* ‘упитанный (о животных); полный, тучный (о человеке)’ [СРНГ 44: 17; СПГ 2: 436; СРГК 6: 448; СРГС 5: 41], арх., ряз. *тельный* ‘упитанный, дородный (о человеке)’ [СРНГ 44: 16], кемер., томск. *наводитъ тело* ‘крепнуть, полнеть, поправляться’ [ФСРГС: 116], иркут. *тело не потерять* ‘сохранить упитанность’ [Там же: 149], укр. *вбиватися (вбитися) в тіло (в сало)* ‘поправляться, полнеть’ [ФСУМ 1: 70]); *м я с о* (рус. разг. *мясистый* ‘толстый, полный (о человеке или частях тела’, простореч. *мясá* ‘полное тело, телеса’, калин. *мясный* ‘толстый, тучный’ [СРНГ 19: 88], влг., ленингр. *мясной* ‘упитанный, полный, толстый’ [СРГК 3: 286], смол. *мясёнистый* ‘упитанный, жирный (о животных)’ [ССГ 6: 127]); *т р е б у х а* (мурман. *требуха* ‘грузное, жирное тело человека’ [СРГК 6: 503], смол. *требушастый* ‘крупный, упитанный (о животном)’ [ССГ 10: 199]) и др. Эта символика утверждается и «от противного»: польск. *spadać z ciała* («спадать с тела») ‘худеть’ [Skorupka 1: 139], серб. *спасти с меса (у меса)* ‘стать слабым, болезненным и др.’ [РСХКНЈ 12: 423]. *К о ж а* в этом случае выступает синонимом *т е л а*: рус. разг. *входить (войти) в тело* ‘полнеть, прибавлять в весе’ = рус. приказ. *входить в кожу* [БСРП: 295], костр. *войти в кожу* [ЛКТЭ]. Толстый человек «не влезает» в кожу, она на нем «трещит»: рус. перм. *в шкуру не лезть* ‘сильно располнеть, растолстеть’ [СПГ 1: 470], башк. *в кожу не лезет* ‘о толстом человеке’ [СРГБаш: 154], волгоград. *не протолпиться в кожу к кому-л.* ‘кто-л.

очень тучен, чрезмерно упитан» [СВолГО 6: 142], укр. *не втовпиться в шкуру* «об очень толстом человеке» [ФСУМ 1: 965], *гладкий, аж з шкури преця (аж шкура тріскаєця, тріщить)* [Номис 1993: 384] и др.

Таким образом, кожа символически присоединяется то к костям и жилам, то к мясу и телу. В этом проявляется ее «пограничность» — и, следовательно, возможность рассмотрения ее с разных точек зрения — как пустой оболочки (отсюда худоба) и как заместителя тела (отсюда толщина).

«Плотское» рассмотрение человека, «приравнивание» его к телу может обернуться гиперболизацией телесного начала, что приводит к появлению значения «**проститутка**»: рус. бран. *шкура* «распутная женщина, проститутка» [Даль₂ 4: 639], жарг. молод. *кожа* «ирон. проститутка» [БСРЖ: 266]⁶⁵. Этот смысл закономерно выражается и словом т е л о: польск. диал. *cialo* «проститутка» [SGP 4: 245]. В эту модель могут окказионально встраиваться и другие соматизмы (к примеру, т р е б у х а), ср. перебранку двух проституток в романе Л. Н. Толстого «Воскресенье»: «— Осторожная шкура! — От такой слышу. — Разварная требуха! — Я требуха? Каторжная, душегубка! — закричала рыжая». Очевидно, подобная логика, основанная на представлении о теле как предмете потребления, реализуется в жаргонных обозначениях девушек и женщин: рус. *кожа* «девушка», *шкура* «женщина; девушка» [БСРЖ: 266, 694], *мясо с дыркой* «девушка» [БСПП: 422]. В случае шкуры здесь может проявляться еще дополнительная мотивация — «подстилка».

Через состояние кожи передаются реакции человека на физические проявления внешнего мира, прежде всего **температурные ощущения**. При этом кожа реагирует не на жар, а на холод (разумеется, язык описывает и воздействие на организм высокой температуры, ср., к примеру, *раскраснеться от жары*, но, кажется, такого рода воздействие не отражено непосредственно в «кожной» фразеологии⁶⁶). С *морозом (мурашками) по коже* далее связывается чувство страха: рус. перм. *кожу сдирает* «мороз по коже»: «Как вспомнишь старую жись, так кожу сдирает» [ФСПП: 328], новг. *кожу отсочáет* «говорят при ощущении озноба, когда чувствуется, что кожу как будто отдирает» [СРНГ 14: 50], арх. *кожу отодралó* «о сильном испуге»: «Тут мужик и догадался, что это чёрт был, так ему кожу-то и отодрало, хотя раньше-то ничего не боялся» [КСГРС], сиб. *шкуру ерошить* «о неприятном чувстве страха и т. д.» [СРГС 5: 352], блр. *мароз на скуру стайць, мароз на шкуры ходзіць* (у кого) «об ознобе, вызванном ощущением страха» [СБНФ: 144], болг. *мравки лаят по кожата ми* («муравьи ползают по коже») «о чувстве озноба» [ФРБЕ 1: 596], макед. *кожата ми се наежи*

⁶⁵ Ср. также франц. *peau de chien* («шкура собаки») «проститутка» [АВВУУ Lingvo x 5].

⁶⁶ Можно сказать *кожа горит* (о раздражении, жжении вследствие температурного воздействия, аллергии и пр.), но сочетания такого рода не обладают высокой степенью устойчивости (такой, какая есть у конструкций типа *мороз по коже*).

от *страв* («съежиться от страха (о коже)») [PMJ 1: 337]⁶⁷ и др. Помимо кожи, наиболее восприимчивы к морозу кости (ср. многочисленные сочетания вроде *промерзнуть до костей*); что касается чувства страха, то к коже и костям чаще всего присоединяются к р о в ь и с п и н а, ср. распространенные обороты вроде «кровь стынет в жилах», «мурашки по спине» и др.

Наконец, к сфере «Человек физический» относится семантика **физических истязаний, побоев**, которая универсально реализуется в соматической фразеологии с участием многих обозначений частей тела, в том числе «кожи» и «шкуры».

Психэмоциональный мир человека. Кожа соотносится с понятием нормального (ненормального) состояния души, ср. чеш. *nebyt v své kůži* («не быть в своей коже») ‘не находить покоя, быть не в себе’ [Trávníček 1952: 798]. Через органы тела человек постигает окружающую действительность, причем для наивной антропологии интересней всего те ситуации, когда способность такого постижения приписывается не специализированному для этих целей органу. Кожа способна испытывать **сильные эмоции** (коми (рус.) *кожа валом встаёт* ‘говорится о крайнем изумлении, негодовании, страхе и т. д.’: «Так они там живут в интернатах, бедны дети, так кожа валом стаёт» [ФСК: 102], укр. *аж шкура болить* ‘о сильных страданиях, переживаниях’ [ФСУМ 2: 964–965]), **интуитивные ощущения и подспудные предчувствия**, что выражается оборотом *кожей чувствовать* (*чують, почуять*), польск. *czuć, przeczuwać co przez skórę* («чувствовать, предчувствовать что-л. через кожу») ‘почувствовать инстинктивно’ [Skorupka 2: 128] и др. Способностью интуитивного чувствования наделяются, наряду с кожей, с е р д ц е (д у ш а), н у т р о (в н у т р е н н о с т и), с п и н а и др., что подтверждается контекстуально: «И не “сдается” мне совсем, а и кожей и внутренностями — всем чувствую...» <М. Салтыков-Щедрин>, «Подспудно — спиной, кожей, сердцем — люди это чувствуют всегда» <Л. Петрушевская>, «Он животом, кожей, раньше говорили — фибрами души, чувствовал, что поддержка с этой стороны полностью корежит то, что он хотел сказать» <М. Анчаров>, «Мир Вы воспринимаете накожно: это не меньше чем: душевно. Через кожу (ощупь, пять чувств) Вы воспринимаете и чужие души, и это, может быть, верней» <М. Цветаева>. Несмотря на то, что спектр «кожных» чувств разнообразен, в нем просматривается некоторая специализация.

Во-первых, с кожей нередко связываются предчувствие неприятностей и тревога: «Но я ощущала какую-то тревогу... я кожей чувствовала: что-то не так!»

⁶⁷Переход от описаний физических ощущений (холода) к ощущениям эмоциональным (страх, ужас) с использованием образа кожи (сердца) распространен в славянских языках и культурах. Среди многочисленных выражений, которые имеют оба значения, рус. печор. *иней по коже идёт* ‘кто-л. сильно замерз’, ‘кто-л. испытывает страх, негодование и т. п.’ [ФСНП 1: 292], *до гусиной кожи* ‘до появления пупырышек на коже’: «Продрог до гусиной кожи», «До гусиной кожи страху натерпелся» [Там же: 210]. Очевидно, это отражение архаических индоевропейских воззрений, ср. сближение праслав. **straxъ* с литов. *stregti, stregiu* ‘оцепенеть, превратиться в лед’ [Фасмер 3: 772]. Подробнее об этом см. в [Седакова 2010б]. Подобная связь значений обнаруживается и в гнезде слав. **stud-/styd-* (ср. рус. *стужа, стыд*), а также в ряде других гнезд, рассмотренных в [Якубович 2003: 188–191].

<Т. Тарасова>, «Главное, всей шкурой чувствую — в воздухе пахнет жареным, я этот запах за километр узнаю» <Ф. Искандер>, «Я кожей чувствую, как весь мир наливается какой-то жутью» <Н. Подольский>, «Я начал понимать и как бы кожей ощущать, что в российской жизни нарождается что-то неладное, совсем иное, чем задумывалось в начале Перестройки» <А. Яковлев>; во-вторых, предчувствие телесного наказания или телесной близости: «Сквозь этот бред слов Даша всей кожей чувствовала рядом с собой тяжелую закипающую страсть» <А. Н. Толстой>, «Варю вдруг кинуло в жар, лицо ее запыхало, и Хомяков откровенно любовался им; она кожей чувствовала это и цвела, хорошела под этим уверенным мужским взглядом» <Б. Васильев>. Это подтверждается и данными других языков, ср. польск. *czuć, poczuć coś przez skórę* 'чувствовать что-л. интуитивно; иметь недобрые предчувствия' [SFWP: 743–744]. Сходным образом (в смысле способности ощущать тревогу, опасность) ведут себя н у т р о и з а д: рус. простореч. *нутром чуют* 'предчувствовать что-л. (как правило, недобро)', жарг. *задницей чуют* 'предчувствовать что-л.' [БСРП: 241]; ср. контексты: «Я нутром, кожей чувствую, что меня постигла неудача» <Г. Щербакова>, «Сейчас бес нутром чуял: с хозяином неладно» <М. Гиголашвили>, «Ефим Карпович одним местом, называемым в народе задницей, почувствовал, что находится на грани провала» <А. Ростовский>. В такой тактике выбора «синонимов» ощутимо большее тяготение кожи к первому полюсу символической оппозиции тела и духа.

Кожа символизирует также **сильные желания**, от которых она «лопается», «трещит», «горит», «воет»⁶⁸. Это, как правило, неуправляемые и «плотские» желания, не относящиеся к числу «высоких порывов» (позыв вступить в драку, самовольство, сексуальное возбуждение и т. д.): рус. волгоград. *кожа горит у кого-л.* 'кто-л. испытывает сильное желание' [СВолгО 3: 100], *шкура свербит у кого* 'о сильном желании, нетерпении' [Там же], *шкурочка трещит* 'о каком-л. сильном желании' [БСРП: 754], укр. *аж шкура болить (горить, тріщити)* 'кто-л. имеет сильное желание': «До бійки аж труситися шкура» [ФСУМ 2: 964–965], блр. *кожа лопаецца, трэскаецца* 'о несдерживаемом самовольстве': «Кожа на мальчиках лопае, нада харошый рэмень, каб пачасаць» [Юрчанка 2002]. Желания такого рода можно испытывать также к о с т я м и и б р ю х о м: рус. печор. *кость воет, кости воют* 'очень хочется чего-то': «На пакостны дела у Петры нынь сильнее прежнего кость воет» [ФСНП 1: 359], иркут., краснояр. *кость воет* 'о сильном желании сделать что-л.': «Вот кость воет идти опять на всю ночь» [ФСРГС: 97], б. м. *брюхом захотелось* 'о причудливом и настойчивом желании' [СРНГ 3: 224]. Самый активный орган «по части» желаний и страстей — это к р о в ь, но «горение» крови может передавать не только «низкие» страсти, но и «высокие» (творческое волнение, жажда свободы и пр.).

⁶⁸ Эти же предикаты используются для обозначения физиологических проявлений, например, чувства голода: рус. терек. *кожа лопается* 'сильно хочется есть' [СРНГ 14: 49], укр. *аж шкура болить* 'о чувстве голода': «Істи хочеться, аж шкура болить» [ФСУМ 2: 964–965].

Вместе с тем, коже может быть присуща и функция «ограничителя» **неумеренных желаний** (а последние воплощаются в образе жира): блр. *loy šкуру pad' yдае* 'проявляет норы, «с жиром бесится»' [СБНФ: 140].

Отметим, что символика «невысоких» желаний связана с представлением о коже как носителе **грехов** (нередко в антитезе душе, духу), ср. чеш. диал. *kůže* 'телесные грехи' [Dial-Brno], ст.-словац. *kože* 'телесные грехи': «s. spowed, pry ktereĝ hrjssnicy swe stare kože zwliecty maĝu» («святая исповедь, при которой грешники должны снять свою старую кожу») 'избавиться от грехов, очиститься от них' [HSSJ 2: 120]. Кожа несет ответственность за «грехи» других частей тела: словац. «Hrešila hlava — koža trp! Hrešili ústa — koža trp! Hrešilo brucho — koža trp!» («Согрешила голова — терпи, кожа! Согрешили уста — терпи, кожа! Согрешило брюхо — терпи, кожа!») [Záturecký 2005: 282]. Отвечать за грехи могут также тело и кости: польск. «Cierp ciało, kiedyś grzeszyć chciało» («Терпи, тело, если хотело грешить») [Skorupka 1: 139], словац. «Hriechy mladosti kára boh na staré kosti» («За грехи молодости карает бог старые кости») [SSJ 1: 751].

Символика сильных желаний близка и символике **каприза, шалостей, баловства**: рус. яросл. *кожу морщитъ* 'капризничать' [ЛКТЭ], перм. *кожеломитъся* 'баловаться, шалить, активно двигаясь', 'дурачиться' [СПГ 1: 400; СРГЮП 1: 394]. Близкие смыслы выражаются с помощью следующих соматизмов: к о с т ь (пск. *костопыжиться* 'упрямиться, капризничать, упорствуя в чем-н.' [ПОС 15: 333], курган., свердл. *костоломитъся* 'вести себя капризно, жеманно' [СРНГ 15: 78]), н у т р о (влг. *нутрится* 'капризничать, сердиться' [СРНГ 21: 320]), з а д (жарг. *морщитъ жопу* 'капризничать, привередничать' [БСРП: 235]), х р е б е т (чеш. диал. *svrbí ho hřbet* («у него чешется хребет»)) 'о ком-то шаловливым, буйном' [Zaogálek 1963: 124]), к р о в ь (костр., ср.-урал. *кровь брызгает в ком-л.* 'кто-то капризничает' [ЛКТЭ]).

Кожа может символизировать и «сознательную», собственно **волевою** сторону психоэмоциональной жизни человека, будучи связанной с обозначением **усилий, напряжения**: рус. литер. *лезть из (своей, собственной) шкуры (вон), из кожи лезть (вон)* 'стараться изо всех сил, усердствовать', иркут. *из кожи вылупаться* 'сильно напрягаться, стараться, выполняя какую-л. работу' [СРНГ 14: 49], печор. *кожа лопнет* 'кто-л. очень добросовестно работает': «Нынче-то так не роят, чтобы аж кожа лопнет, нынче через пень-колоду» [ФСНП 1: 352], укр. «Из шкури виринае — так робить!» [Номис 1993: 444], болг. *излиза си из кожата* («вылезать из кожи») 'напрягаться, стараться сделать что-л.' [Младенов 1951/1: 1043] и др. Ср. англ. *to leather* 'много, напряженно работать' [АВВУУ Lingvo x 5]. Идея напряжения, усилий выражается и другими нетопографическими соматизмами: к о с т ь (рус. мордов. *кость за кость заходит* 'о тяжелой, непосильной работе' [БСРП: 321], польск. «Kość a żyła, to je siła» («Кость и жила — это сила») [KSGP]), к р о в ь / ж и л а (рус. орл. *кровей не хватает* 'недостаточно сил для осуществления чего-л.' [БСРП: 330], влг. *через жилу* 'с большим трудом,

через силу' [СГРС 3: 369], простореч. *жіліться* 'делать усилия, напрягаться', укр. *з усіх жил* 'с максимальным напряжением', *нап'ясти жили* 'поднатужиться'), к и ш к и / у т р о б а (рус. простореч. *рвать кишки* 'выполнять тяжелую работу, надрываться', пск. *надрывать / надорвать утробу* 'терять здоровье от тяжелой работы' [БСРП: 691]). К ним подключаются обозначения органов зоны с п и н ы: рус. простореч. *гнуть (ломать) спину, горбатиться*, печор. *спину рвать* 'тяжело работать' [ФСПГ 2: 306], смол. *хребтіться* 'надрываться на работе' [ССГ 11: 70], укр. *ламати хребта* 'выполнять тяжелую, изнурительную работу', чеш. *pilně hřbetem hýbat* («усердно работать (двигать) спиной») 'то же' [Zaorálek 1963: 124].

Кроме того, кожа позволяет накапливать **опыт** и **знания**: болг. *вадена кожа* («дубленая кожа») 'об очень хитром, практичном и опытном человеке' [ФРБЕ 1: 112], словац. *mat' hrošiu kožu* («иметь кожу бегемота») 'много перенести, испытать' [SSJ 1: 758], ср. также представленные во всех славянских языках выражения с внутренней формой «испытать что-л. на собственной шкуре».

Вместе с тем кожа может не пропускать или скрывать, поглощать чувства и другие проявления духовной жизни человека: болг. *топя се в кожата си* («таять / топиться в своей коже») 'страдать, мучиться, сердиться молча, не показывая своих чувств' [ФРБЕ 2: 400], рус. костр. *топить в коже* 'скрывать чувства': «Всё в коже топит, будто его не касается» [ЛКТЭ], перм. *ум ушёл в кожу* 'утрапилась память' [ФСПГ: 385].

Наконец, с помощью образа шкуры может быть обозначена **направленность интересов личности**, что выражается сочетанием *шкурный интерес*, которое вступает в сложные смысловые отношения с *кровным интересом* (подробнее об этом — в рубрике «Системные отношения “кожи” и “шкуры” с другими соматизмами»).

Отношения между людьми и черты характера. Через кожу передается внешнее **сходство людей** друг с другом: болг. *одрал на бащата кожата* («содрал кожу с отца») 'как две капли воды похож', *одрал съм кожата на някого* 'чаще всего о сходстве с отцом' [ФРБЕ 2: 19–20], польск. *jakby z matki zdjął skórę* («будто с матери снял кожу») [НКРР 2: 406], рус. перм. *кожа да (и) рожа* 'вылитый в кого-л., очень похожий' [СПГ 1: 400].

В этих фразеологизмах речь идет о сходстве, проявляющемся, как правило, между родственниками. Кажется, такая символика для кожи неслучайна. Есть примеры, свидетельствующие о способности кожи косвенно⁶⁹ указывать

⁶⁹ Основная нагрузка в плане символизации родства падает на обозначения внутренних органов — кость, мясо, плоть, кровь / жила и др. Вторичные соматические значения такого рода подробно и глубоко проанализированы в [Бжелтић 1999], где выделены три основных линии семантики родства: 'кровное родство', 'происхождение, порода, род', 'потомок, родившееся дитя', ср. серб. *месо* 'потомок, кровный родственник, родственник вообще', *кост* 'происхождение, порода; родное дитя', др.-рус. *кость* 'род, племя', ст.-слав. *пѣать* 'кровное родство', о.-слав. «кровь» 'родственные связи', болг. диал. *жилъ* 'происхождение, род', макед. диал. *жилка* 'род, поколение' и мн. др. [Там же: 49–51, 54].

на родственные отношения между людьми. К примеру, русскую паремию *кожа коже сноровит* В. И. Даль сопровождает комментарием: «свой своему, кровному» [Даль, 2: 130]. В образе кожи мотив родства проявляется и «от противного» — в выражениях типа рус. екатеринб. *седьмая кожа не вороть* (*невывороченная*) ‘шутливая поговорка о дальнем родстве’ [СРНГ 14: 50], костр. *девятая кожа* ‘о дальних родственниках’ [ЛКТЭ]. Степени родства изображаются в данном случае как «слои» кожи. Ср. образные аналоги с другими соматизмами: рус. *девятое колено*, серб. *девето (десето) колено*, *девета крв*, *девета капља (кап) крви* («девятая капля крови») [Бјелетић 1999: 51, 57], польск. диал. *piąta kość od tyłku* («пятая кость от зада»), *krewny jak piąte żebro od rzyci* («родственник, как пятое ребро от задницы»), *krew — piąta woda po marchwi* («кровь — пятая вода от моркови») [Тугра 2005: 65, 119] и пр.

Определенную структурную и смысловую близость к выражению *кожа коже сноровит* имеет рус. костр. *кожа к коже* (*гулять, жить*) ‘иметь близкие отношения (о парне с девушкой)’: «Парень с девушкой как сойдутся, — ну, скажут, они уж кожа к коже живут» [ЛКТЭ]. Эти выражения вписываются в ряд фразеологизмов по модели «часть тела (X) + часть тела (Y)», которые обозначают разные формы контактов между людьми, символизируемых положением соответствующих органов⁷⁰. «Кровь», «кость», «плоть» дают в этом смысле отношения кровного родства, «производности» людей друг от друга, ср. выражения «плоть (от) плоти», «кость (от) кости», «кровь (от) крови», которые фиксируются во многих славянских языках и восходят к библейскому источнику [Бјелетић 1999: 49]. У «кожи» свои акценты: в выражениях *кожа коже сноровит*, *кожа к коже* реализуется скорее идея близости, причем близости разной степени (в том числе родства). Очень показательны отношения *к о ж и* и *к р о в и*, которые то имеют сходные вторичные значения в изучаемой сфере, то противопоставлены друг другу. Это антитеза внутреннего и внешнего: кровное родство неотделимо от человека, в то время как «кожные» связи приобретаются им в течение жизни, ср. рус. арх. *кожа* ‘близкая подруга’: «Ниночка мне кожа была, не своя, не кровная, а кожа» [СГРС 5: 207]. Очевидно, ключ к интерпретации этого слова в том, что друзья близки, но это внешний, «кожный» контакт; ср. также итал. *amici per la pelle* («друзья через кожу») ‘закадычные друзья, друзья на всю жизнь’ [АВВУУ Lingvo x 5].

В то же время есть и рус. влг. *кожа* ‘любовник’: «Я нажила себе кожу» [Дилакторский 2006: 199]. Сходные значения фиксируются в современном молодежном дискурсе, где употребительно выражение *вторая кожа* (*ты моя вторая*

⁷⁰ Это может быть положение «навстречу» (*лицом к лицу*, *нос к носу*, *глаза в глаза*, *лбами* и пр.), «рядом, близко, вместе» (*плечом к плечу*, *бок о бок*, *рука об руку*), «спиной, отвернувшись, прекратив контакт» (простореч. *зад об зад* ‘о прекращении супружеских отношений’, вульг.-простореч. *жопы об жопу* (*и врозь*) ‘о резком прекращении супружеских или дружеских отношений’) и др.

кожа) ‘о любовнике, любовнице’, ср. тексты, извлеченные из молодежных сайтов Интернета: «А знаете, а ведь люблю же. Люблю до дрожи на коже. Всем своим существом. Ты — моя вторая кожа» <автор неизвестен>; «Моя любовь — вторая кожа. <...> Быть не может У человека кожи две! Как быть сердце не может пара! Её опять, в который раз, Я после нового удара Сдираю, не зажмурив глаз» <Катя Плетнева>. Смысл любовной близости выражается и в жарг. *подкожный* ‘любимый, сокровенный, интимный’: «Это подкожное дело <о любви>» [БСРЖ: 446]. Подобные образы есть и в других языках, ср. франц. *avoir qn dans la peau* («иметь кого-л. в коже») ‘очень любить кого-л.’ [АВВУУ Lingvo x 5], исп. «Segunda piel» («Вторая кожа») — название фильма о любви, англ. «I’ve got you under my skin» («Ты у меня под кожей») — название песни в исполнении Ф. Синатры (в русском переводе «Ты моя любовь») и др. Интересно, что значение ‘любимый человек’ может выражать и *к о с т ь*, ср. чеш. экспр. разг. *kost, kůstka* ‘красивая девушка, молодая женщина; о любимой женщине, любовнице’: «Každě pořádně voják, když si odbude svoje věci a srovná si dle předpisu kavalec, jde se vohlídnout po nějaký kosti» («Каждый порядочный военный, выполнив все, что надо, и заправив, согласно предписаниям, свою казарменную койку, отправляется на поиски любовницы») [SSJČ 1: 1041; PSJČ 2: 304]; рус. орл. ласк. *венчальная косточка* ‘ласковое обращение супругов друг к другу’ [БСРП: 319], кемер. *милая косточка* ‘ласковое обращение к кому-л.’ [ФСРГС: 97]. Глубина чувства образно передается через проникновение внутрь любимого человека и «присвоение» его, ср. *моя душа / сердце*. Возможно, эти образы навеяны ветхозаветным «И будут двое одна плоть»⁷¹.

Итак, в образе кожи вновь проявляется амбивалентность. С одной стороны, кожа противопоставляется крови как внешнее внутреннему — и тогда первая символизирует дружеские связи, а вторая — родственные (кожа тоже может «заходить» на территорию родства, но у нее это проявлено гораздо слабее). С другой стороны, кожа может выражать символику любви, предполагающей соединение личных пространств людей.

В зависимость от толщины кожи ставятся **способность человека к сочувствию, сопереживанию** и сила эмоционального реагирования (имеются в виду эмоции, проявляющиеся в человеческом контакте), которые во многих славянских языках обозначаются словами с внутренней формой «толстокожий» — «тонкокожий». Уточнение «кожа на лице (щеках)» развивает значение **бесстыдства**: черногор. *кожа ми је на образу тврда као ђон (као у вола)* («у него кожа на щеках (лице) грубая, как подошва (как у вола)») [Карацић 1965: 150].

⁷¹ «И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» [Быт. 2: 24].

Через «кожу» кодируются и некоторые социально значимые негативные черты характера человека — **хитрость**, **лицемерие** (укр. надднепр. *кожа* ‘злой, жестокий и лицемерный человек’ [Чабаненко 2: 184]), **пронирыльность** (чеш. *kůže* ‘о человеке пронирыльным, продувном’ [PSJČ 2: 464]), **высокомерие** (чеш. *koženy* ‘чопорный’ [ČRS: 227]), **скудость**, **стяжательство**, **эгоизм** (рус. литер. *шкура*, *шкурник* ‘человек, который заботится только о себе, не думая о других’, смол. *шкур-рат* ‘о непорядочном человеке’ [ССГ 11: 147], укр. полес. *шкура* ‘скупец’ [Аркушин 2: 269], блр. диал. *шкура* ‘то же’ [КСЧ: 311]). Символику скудости и скряжничества, кроме ш к у р ы, имеет ж и л а (подробнее об этом ниже, см. «Системные отношения “кожи” и “шкуры” с другими соматизмами»).

ПРЕДИКАТЫ «КОЖИ» И «ШКУРЫ»

Текстовые партнеры «кожи» и «шкуры» в рамках фразеологии разнообразны (атрибутивы, локусы и др.), но наиболее показательными представляются предикаты. Так, в атрибутивных конструкциях смысловая нагрузка нередко перетягивается с «кожи» на атрибутив (это происходит, скажем, во фразеологизмах, где фигурирует кожа животных — змеи, бегемота и пр.⁷²), — в то время как в предикативных сочетаниях «кожа» более самостоятельна в смысловом плане.

Особенно частотны предикаты **драть**, **брать**, **лунить**, **снимать**, **стягивать**, **спускать**, **жарить** ‘хлестать’ и т. п., которые рисуют картину сдираания с человека кожи или ударов, битья для передачи идеи наказания⁷³ (рус. простореч. *шкуру содрать (спустить) с кого-л.* ‘сурово наказать кого-л.’, волгоград. *жарить шкуру* ‘бить, строго наказывать кого-л.’ [БСРП: 754], укр. *тягти шкуру з кого* ‘бить, наказывать кого-н.’ [ФСУМ 2: 907], блр. *сем шкур здзерці (зняць, сагнаць, садраць, спусціць) з каго* [СБНФ: 238], болг. *ще му одера кожата* ‘я его побью’ [Младенов 1951/1: 1043]), а также идей грабительства, эксплуатации (рус. брян., калуж. *кожелу́п* ‘разбойник, грабитель, вор’ [СРНГ 14: 51], чеш. диал. *stáhnout, odřít, sědřit s někoho (za živa) kůži* («стянуть, ободрать, содрать с кого-л. (живого) кожу») ‘использовать кого-л.’ [Trávníček 1952: 798], словац. *stiahol by z nahého kožu* («стянул бы с голого кожу») ‘о настойчивом человеке’ [Záturecký 2005: 277], болг. *одирам, одера (дера, съдирам, смъквам, свличам) кожата от гърба на някого* («сдирать шкуру с чьей-л. спины») ‘грабить, эксплуатировать’ [ФРБЕ 2: 19; 1: 254; БРФС: 271])⁷⁴.

⁷²То же характерно и для символики шкуры животного в языке народной культуры: принадлежность определенному животному определяет магические и прочие свойства шкуры [Гура 2012б].

⁷³Проклятия и угрозы с этими мотивами весьма распространены у славян, ср. рус. «Я с тебя шкуру спущу!» = болг. «Кожичата ти ще одера!» [БРФС: 273], польск. «Choćby cię ze skóry obdzierali, nie mów!» («Пусть бы с тебя кожу сдирали, замолчи!») [НКРР 3: 211]; в проклятиях мотив снятия кожи может логически развиваться, ср. болг. «Кожата му със слама да напълнят, та на гредата да я окачат!» («Чтоб его кожу соломой набили и на столб повесили!») [Геров 2: 382].

⁷⁴При подаче иллюстративного материала мы разделили примеры с семантикой битья и эксплуатации, но в ряде случаев одни и те же глагольные фразеологизмы являются многозначными, воплощают обе идеи.

Для описания воздействия на кожу используются и другие предикаты, создающие переносные значения, которые соотносятся с жизненным опытом, отношениями между людьми, поведением и пр.: **дубить** (рус. простореч. *дублёная шкура (у кого)* 'о человеке, невосприимчивом к неприятностям, ударам судьбы' [БСРП: 754]), **выворачивать** (перм. *невороченая шкура* 'о человеке, не испытывавшем трудностей, не имеющем жизненного опыта' [БСРП: 754]), **сушить** (польск. *suszyć komu skórę* («сушить кому-то кожу») 'докучать кому-л., назойливо приставать к кому-то' [Skorupka 2: 128]). На коже можно **писать** (рус. твер. *писать на кожу* 'заставлять, вынуждать делать что-л.' [Селигер 3: 59], за кожу — **заливать сало** (дон. *заливать (залить) за кожу (шкуру) сало кому-л.* 'обижать кого-л.' [СРДГ 2: 8], укр. *заливати (залити, залляти, налити) за шкуру сала кому* 'причинять кому-л. большое горе, страдания' [ФСУМ 1: 310]), под кожу — **залезать** (примеры см. далее).

Кожа может выступать и как активный «деятель», нередко направляемый сильными желаниями. Это проявляется в сочетаниях со следующими предикатами: **играть** (рус. читин. *шкура играет на ком-л.* 'об излишне бойком человеке' [Пашенко 1: 72], блр. *шкура іграець на кім* 'о чрезмерной подвижности, бойкости': «Мы сразу замечілі, што ны вас лішніга шкура іграець» [Юрчанка 1977: 198]), **говорить** (рус. кубан. *аж шкура говорить* 'страстное желание сделать что-л.' [Ткаченко 1998: 53], укр. *аж (і) шкура говорить на кому* 'о ком-л. чрезвычайно оживленном, энергичном' [ФСУМ 2: 964]), **ходить** (рус. волгоград. *шкура ходит (у кого)* 'о подвижном, непоседливом человеке' [БСРП: 754]), **гореть, кипеть** (волгоград. *кожа горит у кого-л.* 'кто-л. голоден, сильно хочет есть', 'кто-л. испытывает сильное желание' [СВолгО 3: 100], блр. диал. *шкура гарыць на кім* 'о том, кто плохо себя ведет, самовольничает от избытка сил и энергии' [СБНФ: 303], укр. *так шкура і закипить на кому* 'кто-н. будет побит' [ФСУМ 1: 965]), **цепенеть** (польск. *skóra na kimś cierpnie* («шкура на ком-л. цепенеет») 'его охватывает страх, ужас' [Skorupka 2: 128]) и т. п.

Кажется, субъектная и объектная (соответственно активная и пассивная) роли в составе предикативных конструкций представлены у «кожи» в равной степени.

Рассмотрим подробнее некоторые предикативные конструкции с участием «кожи» («шкур»), которые содержат сходные (идентичные) образы, но при этом передают различные смыслы. Показателен в плане специфической энантиосемии образ **выхода из кожи**.

С одной стороны, «выйти, вылезти, выскочить из кожи, не вмещаться в ней» = прикладывать к чему-либо особые, сверхчеловеческие усилия (рус. арх. *выходить из кожи вон* 'очень интенсивно что-н. делать, очень стараться' [АОС 8: 370], болг. *не можеш да излезеш от кожата си* («из кожи вылезти нельзя») 'выше головы не прыгнешь (о невозможности приложить к чему-л. чрезмерные усилия)' [БРФС: 271]), а также испытывать сильные эмоции («Ledwie z wielkiej rosiechy nie wyskoczą ze skóry») («От большой радости едва не выскакивают

из кожи») [НКРР 3: 214]), быть в аномальном физическом состоянии или иметь сильные физиологические потребности (рус. влг. *из кожи выскакивать* ‘биться в припадке эпилепсии’ [КСГРС], укр. «Як з шкури не вискочив, так хотів пити») [Номис 1993: 544]), проявлять повышенную активность, вплоть до нарушения норм поведения (рус. новг. *в коже места нету (не вместиться) кому* ‘кто-л. энергичен, непоседлив’ [Сергеева 2004: 83], перм. *кожеломиться* ‘баловаться, шалить, активно двигаясь’ [СПГ 1: 400], ‘дурачиться’ [СРГЮП 1: 394], словац. *ide z kože vyskočiť* («буквально из шкуры выскакивать») ‘об очень нетерпеливом человеке’, диал. *nevprace, nevmetí sa do kože* («не вмещается, не влезает в кожу») ‘о том, кто ходит на голове, сумасбродничает’ [SSJ 1: 758]). В большинстве случаев «выход из кожи» равноценен «выходу из себя», т. е. впаданию в состояние раздражения, озлобления, волнения и др.: польск. «Tak się zgniewał, o mało że ze skóry nie wyskoczył» («Так разозлился, чуть было из кожи не выскочил») [НКРР 3: 214], кашуб. *věskočěc ze skórě* («выскочить из кожи») ‘о человеке разозленном’ [Sychta 5: 55], болг. *излизам, изляза (изскоквам, изскокна) от (из, вън, от извън) кожата си* («выходить, выпрыгивать из кожи») ‘выходить из себя, сердиться, злиться’ [ФРБЕ 1: 412], *не мога да се побера в кожата си, не се побирам / побера в кожата си* («не помещаться в своей коже») ‘выводить из себя; волноваться (не мочь успокоиться)’ [Там же: 707–708], чеш. *div nevyletěly z kůže* («как только из кожи не вылетел») ‘о том, кто рассержен’ [Trávníček 1952: 798] и др. Кожа, таким образом, выступает сдерживающим началом, является «рамкой», ограничивающей буйство человеческой природы⁷⁵. Не случайно «покрытый кожей» человек честен и порядочен: новг. *кожей крыт* ‘честный, порядочный, добрый’: «Теперь редкие мужики кожей крыты. Больше всего норовят за жёнкиной спиной прожить»; «Сколько лет с ним жила, думала, кожей крыт, а потом и начал чудить: и зарплату заначивал, и к чужим бабам ходил» [Сергеева 2004: 71].

С другой стороны, «выйти из кожи» = занять взвешенную, зрелую позицию по отношению к себе и своей жизни: пск. *выйти со своей кожи* ‘взглянуть на себя со стороны, объективно оценить себя’: «Вйти со сваей кожи, посмотреть на сваю рожу, а патом толковать» [ПОС 5: 170], перм. *из кожи вылупиться* ‘созреть; определиться в жизни’: «У меня уже двое из кожи вылупились, уехали, я и не знаю, чё там делают в городе-то» [ФСПГ: 69], костр. *из кожи выйти* ‘выйти из родительского контроля, опеки, начать жить самостоятельно’: «Нынче-то до тридцати лет из кожи выйти не могут, всё как маленькие» [ЛКТЭ].

Итак, кожа определяет для человека рамки **самообладания**, но вместе с тем иногда мешает трезвому **самоопределению**, которое возможно лишь при выходе из нее.

⁷⁵ Ср. также блр. *шкуру на сабе не чуць* ‘быть распушенными, хулиганить (о детях)’: «У Анюты збалованыя дзеці. Крыцаць, бегаюць, абзываюцца, а маці патурая, а яны шкуры на сабе ні чуоць» [СБНФ: 304].

Другой вариант энантиосемии дает метафора *входит в кожу*: костр. *войти в кожу* ‘поправиться, потолстеть’: «Худенька кака была, а нынче в кожу вошла, поправилась» [ЛКТЭ] = приказ. *не входит в кожу* ‘располнеть’: «Тожно в кожу не входит, ядрёная стала. Эко озойно место была, маленька, худенька, а теперя в кожу не входит» [ФСПГ: 62], печор. *в кожу не входит (не влезает)* ‘об очень полном человеке’ [СРГНП 1: 321], пск. *нет места в коже кому* ‘то же’ [ПОС 14: 295] и др. Здесь образы противоположны, а лексические значения идентичны. Это объясняется различиями в оценке полноты: она может оцениваться как некая физическая норма (*входит в кожу* — то же, что *входит в тело*, набирать «жизненные соки») или же как аномалия.

По-разному оценивается и близость людей, кодируемая с помощью образа кожи. Так, *узнать кого-л. через кожу, проникнуть кому-л. под кожу* = значит обрести близкого человека — и тогда оценка скорее положительна: серб. *podvuћи se (увући се) под кожу некому* («залезть кому-л. под кожу») ‘стать очень близким, дорогим кому-л.’ [РСХКНЈ 9: 712], хорв. *uz kožu* («у кожи») ‘очень близко (быть к кому-л.)’ [RHSJ 5:424], кашуб. *poznac p̣ṛez skòṛq* («узнать через кожу») ‘изучить, узнать кого-л. «насквозь»’ [Sychta 5: 55], польск. диал. *Y pozna X-a przez skórę* («Y узнал X через кожу / кожей») ‘Y знает X-а глубоко, досконально’ [Турга 2005: 62]; ср. также выше о «кожной» символике любви.

В то же время проникновение под кожу (с вариациями образа — «заглядывание под кожу», «лежание у кого-то на коже» и др.) может восприниматься как нарушение личного пространства, что дает негативную оценку разной степени интенсивности (от легкой насмешки до порицания) — в зависимости от глубины вторжения. Это воплощается в следующих значениях: **подольщаться** к кому-либо (рус. костр. *заползать под кожу кому-л.* ‘подлизываться, подольщаться к кому-л.’ [ЛКТЭ], болг. *влизам някому под кожата* ‘подлизываться’ [Младенов 1951/1: 1043]), **докучать** кому-либо (польск. *zależć komu za skórę, za dziesiątką skórę* («залезть кому-л. под кожу, под десятую кожу») ‘досаждать, докучать кому-то’ [Skorupka 2: 128], чеш. *jít na kůže někomu* («“идти”, наступать на кожу кому-л.») ‘донимать кого-л.’ [Zaorálek 1963: 198], в.-луж. *na kožu lězc̣ někomu* ‘приставать к кому-л.’ [ВЛРС: 94]); вести **бестактные расспросы** (рус. литер. *лезть под кожу* ‘бестактно спрашивая, задевать больные места’); **узнавать** чьи-либо **намерения** (серб. *завирити коме под кожу* («заглянуть под кожу кому-л.») ‘узнать чьи-л. скрытые намерения’ [РСХКЈ 2: 768]); **обременять** кого-либо (в.-луж. *na koži ležec̣ někomu* («лежать у кого-то на коже») ‘висеть у кого-н. на шее’ [ВЛРС: 94]); **манипулировать** кем-либо (болг. *навирам се/ навра се под кожата* («пробираться под кожу») ‘манипулировать кем-то’ [ФРБЕ 1: 611]); **создавать препятствия** кому-либо (в.-луж. *na kožu lězc̣ někomu* ‘становиться поперек дороги, ставить палки в колеса’ [Zeman 1967: 172]). Выражения с аналогичным смыслом могут быть созданы и на основе других соматизмов: к о с т ь (рус. ворон., ряз. *лезть в кость* ‘стараться быть приятным, обходительным, угождать’ [СРНГ 16: 339],

волгоград. *сидеть в костях, вьесться в кости* ‘сильно надоест кому-л.’ [БСРП: 320–321]), *ребро* (пск. *пройти сквозь ребра* ‘измучить, утомить кого-л., надоест кому-л.’ [СППП: 65]), *зад* (пск. *лезть в жопу кому* ‘лебезить, заискивать перед кем-л.’ [ПОС 10: 270]), польск. «*Bez mydła lezie w dupę*» («Без мыла лезет в задницу») [НКРР 2: 298]), *пузо* (рус. калуж. *пузо лизать* ‘подхалимствуя, лстить кому-л.’ [СРНГ 33: 114–115]), *кишки* / *утроба* (волгоград. *отъест утробу кому* ‘сильно надоест, утомить кого-л.’ [БСРП: 691]), простореч. *вымотать все кишки у кого-л., повытеребить кишки* ‘то же’) и т. д.

СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ «КОЖИ» И «ШКУРЫ» С ДРУГИМИ СОМАТИЗМАМИ

Системные отношения избранных для анализа соматизмов рассматривались в синтагматическом и парадигматическом аспектах. В первом случае имеются в виду отношения между соматизмами **в одном контексте**. Дополняя друг друга, они создают целостный образ: рус. костр. *кожей и рожей (похожи)* ‘о людях, похожих по характеру и внешности’ [ЛКТЭ], печор. *была бы брюшина сыта да кожа не бита* ‘о хорошей жизни’ [ФСНП 1: 60], серб. *бити крвав под кожом* («быть с кровью под кожей») ‘быть как остальные люди, иметь людские слабости’ [РСХКНЈ 9: 711], словен. *biti krvav pod kožo* ‘быть склонным к проявлению страстей, плотским наслаждениям’ [SSKJ 2: 463] и др. Особенно устойчиво у славян сочетание «кожа да кости», использующееся для описания истощенного и слабого человека: рус. волгоград. *лишь кожей мослы накрыты* [СВолгО 3: 372], блр. диал. *мэтэр шкуры, кілограм косты* [Емельянович 2001: 305], чеш. *být a kost a kůže* [Trávníček 1952: 798], болг. *едва му кожата костите държи* («кожа с трудом кости держит») ‘в чем душа держится (об очень слабом человеке)’ [Младенов 1951/1: 1043], словен. *sama kost in koža ga je* ‘об очень худом человеке’ [SSKJ 2: 462] и т. п. Кроме того, *кожа* нередко взаимодействует с *рожей* (лицом): здесь значим и формальный фактор (рифма), и содержательный (рожа дополняет кожу, которая в выражениях типа рус. *ни кожи ни рожи* играет роль тела, туловища).

Что касается **парадигматических** отношений, то они проявляются в том, что соматические лексемы, в том числе «кожа» и «шкура», могут давать одинаковые, сходные или противопоставленные вторичные значения, реализуемые в семантических, семантико-словообразовательных дериватах и фразеологии. Такой семантический параллелизм говорит об общности коннотативного фона слов в их первичных значениях, а значит, о сходстве в восприятии соответствующих реалий. Отношения такого рода наиболее трудны для обнаружения. Они выстраиваются в рамках одного языка и — в более сложных комбинациях — в межъязыковых славянских параллелях. Так, чеш. «коже» могут соответствовать рус. «кости» (рус. *промокнуть до костей* = чеш. *promoukut (až) na kůži* («промокнуть до кожи») [Trávníček 1952: 798]), болг. «коже» — рус. «тело» (рус. *Своя рубашка ближе к телу* = болг. *Ризата си е по-близо до кожата* («Своя рубашка ближе к коже»))

[Геров 2: 382]), а рус. «коже» — серб. «жилы» (*из кожи вон лезть* = *упињати се из петних жила* («напрягать жилы в пятках»)) ‘напрячься во всю мочь’ [Иванович, Петранович 1976: 226]).

При этом соматизмы могут быть символически **противопоставлены** друг другу, ср. рус. костр. *кожаные зубы* ‘о деснах, оставшихся на месте выпавших зубов’ [ЛКТЭ]⁷⁶ — фольк. *костяные зубы* ‘о постоянных зубах — в противопоставлении молочным’ (ср. широко распространенные приговоры вроде «Мышка, мышка, вот тебе зуб репяной, дай мне костяной!», которые произносят, когда дети теряют молочные зубы). В эту систему входит еще «мясо», ср. карел. *мясные зубы* ‘молочные зубы’: «Первые зубки-то — зубы мясные, а настоящие — костяные» [СРНГ 19: 88].

Значительно чаще встречаются «синонимия» переносных употреблений соматизмов. Отмечается следующая закономерность: вторичные значения, сходные с «кожей», развивают в первую очередь те соматизмы, которые, как и она, не являются обозначениями топографических соматических объектов, имеющих четкую локализацию. «Нетопографические» соматические объекты «распространены» по всему организму человека. Это *кожа / шкура, тело, плоть, мясо, кости, кровь, жилы*; к ним примыкает *нутро / утроба* (в наивной анатомии данный орган имеет «размытую» локализацию). Реже обнаруживается сходство переносных употреблений «кожи» и тех топографических соматизмов, которые являются обозначениями «обширных» участков тела и организма человека — тех, что связаны собственно с туловищем: *спина (хребет, ребра), зад, живот / брюхо, кишки / желудка*. За пределами этого перечня случаи «синонимии» переносных употреблений единичны.

«Синонимия» определяется тем, что соответствующие соматизмы могут метонимически замещать человека (животное). Не случайно отмечаются взаимопереходы их значений или же проявления древней нерасчлененности семантики: рус. арх. *плоть* ‘кожа на голове’ [СРНГ 27: 156], *тело* сиб. ‘мясо, мышцы’ [СРГС 5: 40], р. Урал ‘кожа человека’ [СРНГ 44: 12], перм. *харовина* ‘шкура животного’ → ‘тело человека (обычно задняя часть тела)’ [АС 6: 98], укр. полес. *тіло* ‘то же’: «Шкура на худоби, а в л’удини т’іло» [Аркушин 2: 201], серб.-хорв. *пљт*, диал. *pelt*, польск. *plec* ‘кожа’, словен. *pôlt* ‘кожа на живом теле’, словац. *plet* ‘шкура’ [ЭСБМ 9: 213], польск. диал. *ciało* ‘о наружной поверхности тела, коже’, ‘мясистая» часть организма человека (в оппозиции кости и крови): «Їчовієк је с ђаца, крѣји, коści і скури» («Человек <состоит> из тела, крови, костей и кожи») [SGP 4: 244–245] и т. п.

Изучаемые вторичные значения связаны с первичными отношениями семантической мотивированности, поэтому критерием «синонимии» переносных

⁷⁶Ср. также сочетание *кожезубые рыбы*, которое В. И. Даль сопровождает комментарием «вернее беззубые» [Даль, 2: 131].

употреблений выступает сходство как на уровне семем, так и на уровне мотивационных моделей. Структурного сходства может не наблюдаться. К примеру, символика физического напряжения, усилий выражается с помощью таких единиц, как укр. *з усіх жил* 'с максимальным напряжением', мордов. (рус.) *кость за кость заходит* 'о тяжелой, непосильной работе', простореч. *жіліться* 'делать усилия, напрягаться', чеш. *pilně hřbetem hýbat* 'выполнять тяжелую, изнурительную работу', болг. *излиза си из кожата* 'напрягаться, стараться сделать что-л.' и др. (подробнее см. выше). Хотя здесь нет структурного сходства, мотивационно эти факты близки: усилие, тяжелый труд связывается с напряжением соответствующих органов, что и выражается во вторичных значениях «кожи», «костей», «хребта», «жил» и др.

В тех случаях, когда налицо не только мотивационное, но и структурное тождество, можно говорить об отношениях вариантности (особенно если факты фиксируются в одном языковом идиоме). Это могут быть цельнооформленные лексемы (рус. литер. *мясистый* = арх., ряз. *тельністый* 'толстый, упитанный' [СРНГ 44: 16]) или же фразеологизмы: укр. *в одну шкуру* (= *душу*) 'назойливо, очень требовательно': «Всі <кріпаки> в одну шкуру затялися: — Не хочемо наділів! До слушного часу підождемо!...» <П. Мирний> [ФСУМ 2: 965], *тягти жили з кого-н.* = *тягти шкуру з кого-н.* 'сильно эксплуатировать кого-л.' [ФСУМ 2: 906–907], польск. *skóra go świerzbi* = *plecy świerzbią* = *świerzbi go grzbiet* («кожа у него чешется = спина чешется = чешется у него хребет / спина») 'кто-л. провоцирует наказание, битье' [НКРР 3: 217; 1: 756], *dalby, by miał pod skórą / pod sercem* («дал бы, если б имел под кожей / под сердцем») 'о щедром человеке' [НКРР 1: 403], словен. *bati se za svôjo kožo* (= *glavo*) 'бояться за свою жизнь' [Keber 2011: 388].

Дадим краткую характеристику тематических сфер, где встречаются ряды соматизмов, в число которых входит «кожа» («шкура»), а также конкретных значений, вариативно воплощаемых с участием различных соматических наименований (соответствующий иллюстративный материал был подробнее представлен выше, в рубрике «Тематические сферы вторичных значений»). Ряды отсоматических переносных употреблений чаще всего встречаются в смысловых сферах, содержащих характеристики физической жизни человека, его психики и социальных отношений.

Наиболее подробно представлены сферы «Существо и существование человека», «Физический мир человека», где преобладают лексические факты, основанные на метонимии (с возможным дальнейшим метафорическим переносом). Разработанность этих сфер (по сравнению с социальной и психической) ожидаема: метонимические переносы более регулярны и системны, чем метафорические. Кроме того, в символике кожи отражено в первую очередь ее «плотское» начало (в этом существенное отличие «кожи» от «крови», которая дает множество переносных значений в сферах психической и социальной жизни человека). В рамках этих сфер находят лексическое выражение следующие

смыслы: существо и существование человека; тело; мертвое тело, труп; те, кого насильственно обрекли на смерть; общая негативная характеристика человека (реализуемая в бранных формулах); проститутка; толстый человек \neq худой человек; физическое здоровье, жизненные силы; физическое напряжение, усилия; температурные ощущения; физические истязания, побои. При описании физического мира человека чаще всего параллельно с «кожей» упоминаются «кости»: в наивных представлениях о мире именно эта пара органов создает человеческую «конструкцию». Далее по частотности следуют слова, обозначающие органы, которые дают «наполнение» конструкции, — «мясо» и «тело».

В сфере «Отношения между людьми и черты характера» представлена вторичная семантика родственных связей, отношений любви и дружбы; негативного воздействия людей друг на друга (лесть, подхалимаж, приставание, докучание); отношений, складывающихся на имущественной основе (скупости). Эта сфера весьма разнородна. Представления о родственных и семейных связях воплощаются в рядах соматизмов, обозначающих «естество» человека («кость», «мясо», «плоть», «кровь», «жила», косвенно — «кожа»). Идея негативного воздействия людей друг на друга выражается в рядах, составленных названиями внутренних органов, а также тех соматических объектов, с которыми связано напряжение, усилие («утроба», «кишки», «жилы», «ребра», «кожа» и др.).

Что касается сферы «Психоэмоциональный мир человека», то здесь мы встречаем выражаемую рядами соматизмов символику сильных желаний; капризов, шалостей, баловства; интуитивных ощущений и подспудных предчувствий; направленности личностных интересов. В сфере психики не представлены сугубо плотские «мясо» и «тело», — а среди партнеров «кожи» по синонимическому ряду чаще всего фигурирует «кровь» (и другие обозначения внутренних соматических объектов — «нутро», «сердце», «кость» и т. д.). Именно они становятся «проводниками» желаний, интересов личности и пр.

Смысловое сходство отсоматических дериватов и фразеологизмов может иметь сложный рисунок — от контекстной «синонимии» до «антонимии». Показательны отношения между значениями одноструктурных сочетаний *кровный интерес* и *шкурный интерес*, которые характеризуют направленность интересов личности. Стоит рассмотреть подробнее семантику этих русских фразеологизмов, поскольку она с особой выразительностью фиксирует сходство и различия в организации соответствующих соматических образов.

Кровный и *шкурный интерес* имеют общий смысловой компонент значения: 'сильная, активная личностная мотивация по отношению к чему-л.'. Прозрачная соматическая метафора дает здесь признак активности проявления интереса, которому приписывается неотделимость от самого человеческого естества. В некоторых случаях изучаемые сочетания могут друг друга логически заменять: и то, и другое допустимо в контекстах, где речь идет об интересах, направленных на сохранение собственной жизни и благополучия. Ср.: «Часто они диктовались

непосредственными, шкурными интересами наиболее пострадавших от большевизма социальных групп» <Н. Устрялов>, «Другое дело — ударить по непосредственным, по шкурным интересам солдата, по его личной безопасности» <Н. Суханов>; «Здесь переплелись в один крепкий узел кровные интересы миллионов тружеников, а эта вечно голодная стая хищников справляла свой безобразный шабаш, не желая ничего знать, кроме своей наживы и барыша» <Д. Мамин-Сибиряк>.

Но при наличии общего логического ядра изучаемые сочетания имеют существенные различия (вплоть до контекстной антонимии) в плане объектов, на которые направлен интерес, и ситуаций его проявления.

Кровный интерес во многих контекстах характеризует духовный мир человека. Это очень важная идея, сплетенная с чувствами, реализуемая со страстью, азартом, неудержимостью, связанная с категориями судьбы, смысла жизни, моральных принципов: «Ты понимаешь: для других пятилетний план завода, а для него — пятилетие его собственной жизни, его судьба, его кровный интерес; тут вся его цель, и страсть, и масштабы его, и азарт, и размах — что хочешь» <В. Панова>; «На душе было тяжело: все спорили горячо и страстно, вопросы спора, видимо, имели для них жизненный, кровный интерес» <В. Вересаев>; «К научной работе, как и вообще ко всякой истинно творческой деятельности, нельзя приступать при отсутствии кровного интереса, при отсутствии запала» <Я. Кожевников>; «Павел Витальевич человек довольно мягкий (пока не коснется принципа или его кровных интересов)» <А. Слаповский>; «Здесь и там загораются огни разнообразных идей и ценностей, сплетенных с живыми чувствами, насыщенных кровными интересами» <Н. Устрялов> и др. Азарт и запал, сопровождающие реализацию *кровного интереса*, производны от кипучей, бурлящей природы крови. *Кровный интерес* перекликается, к примеру, с влг. *кровь замучила* ‘заинтересовало что-н., любопытство замучило’ [СРГК 3: 22]. *Кровный интерес* — это всегда личностный мотив, но нередко он при этом является социально (гражданственно) значимым: «У всякого мужчины... есть родина, и в этой родине есть какой-нибудь кровный интерес, в соприкосновении с которым он чувствует себя семьянином, гражданином, человеком» <М. Салтыков-Щедрин>; «Его отличают активная гражданская позиция, кровная заинтересованность во всех государственных и общественных делах, инициативное, творческое отношение к труду...» <Л. Овруцкий>. В ряде контекстов *кровные интересы* объединяют группу, класс лиц: «Несомненно, что фальсификацией этих вещей нарушаются самые кровные интересы значительной доли общества» <Ф. Эрисман>. Нередко это низшие слои общества, те, кого принято называть словом *народ*. *Кровные интересы* иногда связываются с мотивами государственной политики: «Все это настолько близкие России вопросы, они настолько задевают наши кровные интересы, что не могут быть предметом решения одних только финляндцев» <П. Столыпин>. Сказанное объясняет, почему сочетание *кровный интерес* нередко выступает во множественном

числе, — в отличие от *шкурного интереса*, для которого в современном русском языке такие ситуации раритетны.

Шкурный интерес направлен на свою жизнь и благополучие. В контекстах это сочетание нередко «партнерствует» со словами *личный* и *непосредственный*: «Составляя из букв слова, а из слов эту статью... я меньше всего думал об удовлетворении своих личных, шкурных интересов» <М. Кастет>. Шкурный интерес может быть связан с физическим миром человека, в ряде контекстов это своего рода «телесный» интерес — страх, боязнь телесного наказания: «...зажмуриваюсь и по-стариковски повисаю в естественном ожидании, что и этот нападёт сейчас за осквернение... и тут попутно возникает шкурный интерес, по какому месту нападёт?» <Л. Леонов>. *Шкурный интерес* нередко понимается как материальная заинтересованность (ср. выше о вымогательстве, скупости, отражающейся в словах *шкура*, *шкурник*): «В ход, таким образом, пошел принцип конкуренции и материального, шкурного интереса» <Л. Петрушевская>. При этом он может иметь антисоциальную, антиобщественную направленность: «Можно бы проникнуться, в какую ты существуешь эпоху и куда идут массы, а свой шкурный интерес отложить в сторону» <В. Панова>; «В конечном счете судебная система сама способна разобраться, что в интересах государства, а что отражает шкурный интерес коррумпированного бюрократа или предпринимателя» <Д. Медведев>. Антиобщественная природа *шкурного интереса*, направленность в ущерб другим активна, с ним тесно связано шкурническое поведение, грабеж и пр.: «Именно они, вкупе с остальной шпаной, его грабят, мордуют и морозят — в своих шкурных интересах» <«Лебедь» (Бостон), 2003>. *Шкурный интерес* нередко сопровождается проявлением худших моральных качеств, цинизмом, бездуховностью, противопоставлен идейности, справедливости, глубинному, «интеллигентскому» интересу: «А там, оказалось на поверку, — ничтожество и гниль... один шкурный интерес и ни капли мужества или величия души» <Ф. Крюков>; «А вот тут-то и проявился истинный патриотизм, не казенно-барабанный, за которым часто стоит шкурный интерес, а настоящий, глубинный, интеллигентский» <Б. Егоров>. В советское время *шкурный интерес* оценивался крайне негативно из-за того, что материальное благополучие, бездуховность и эксплуатация масс были ярчайшими антиценностями. Сейчас, в момент наступления общества потребления, иногда заметны попытки сделать это выражение нейтральным или позитивным по смыслу. Ср. передачу на «Четвертом канале» ТВ (Екатеринбург) под названием «Шкурный интерес» (с подзаголовком «Передача для введливых потребителей»).

Таким образом, зона смысловых различий (вплоть до «антонимии») *шкурного* и *кровного интересов* оказывается более широкой, нежели зона «синонимии» значений этих сочетаний.

Приведенный выше пример показывает, что семантические отношения между отсоматическими дериватами могут выстраиваться достаточно сложно.

Мотивационный рисунок у отсоматических производных, имеющих одно и то же значение, тоже может существенно различаться. Рассмотрим слова со значением 'скряга, скупец'. В плане выражения этой семантики весьма активны ж и л а и ш к у р а. «Жила» — именно накопитель и скряга: рус. простореч. *жила* 'скупой, прижимистый человек, скряга', свердл., хакас. *жильной, жильный* 'скупой' [СРНГ 9: 177; СРГСУ 1: 160], смол. *жильина* 'плут, любитель присваивать чужую собственность' [СРНГ 9: 174], укр. полес. *жила* 'скупец' [Аркушин 2: 269]. «Шкура», кроме скряжничества, еще и эгоист, вымогатель, эксплуататор: рус. простореч. *шкура, шкурник* 'о том, кто заботится о своих личных интересах в ущерб другим, добивается чего-л. путем вымогательства и т. п.', 'стяжатель', 'скупец', укр. полес. *шкура* 'скупец', блр. минск. *шкура* 'то же' («шкурный» материал подробнее представлен выше, в рубрике «Отношения между людьми и черты характера»). Отмечен и «скряжнический» фразеологизм с участием *кожи* (рус. иркут. *шуба лежит, а кожа дрожит* 'об очень скупом, жадном человеке' [ФСРГС: 221]); ср. также слова с этой семантикой, образованные от *кожуры*: рус. костр. *кожурина* 'скряга' [ЛКТЭ], пск., твер. *кожури́ться* 'скупиться, скряжничать' [СРНГ 14: 54; Даль, 2: 131].

Как формируется семантика скупости на основе «жилы» и «шкуры»? В случае «жилы» значение скряжничества появляется на основе идеи натяжения, вытягивания, ср. реконструкцию И. П. Петлевой, которая, ориентируясь на предположение В. И. Даля, производит *жила* 'скупец' (< 'стяжатель') от *жильить*, первоначально 'тянуть, вытягивать, натягивать (жилы)', затем 'отжиливать, присваивать себе что неправо'; сходная идея заложена во внутренней форме слова *стяжатель* (см. [Петлева 1972: 211]). По аналогичной модели, очевидно, образовано польск. *żyła* 'эксплуататор, стяжатель' ← *żyłować* 'эксплуатировать' (< 'жиловать (мясо)') [SW 8: 735]. Стоит отметить, что для *жилы* возможна дополнительная «подпитка» со стороны глагола *жить*: *жила* — тот, кто *наживается*.

Очевидно, в гнезде *жил-* следует рассматривать рус. перм. *кожильиться* 'скупиться, скряжничать' [СПГ 1: 400; СРНГ 14: 52]. Значение 'скупиться' у этого глагола появилось в результате семантического развития на основе первоначального 'напрягаться (натягивать жилы)', ср. влг., вят., горьк., иркут., костр., краснояр., моск., перм., свердл., сев.-двин., сиб., ср.-урал., тобол., томск., тюмен., урал., яросл. *кожильиться* 'прилагать большие усилия, напрягаться, делая, выполняя что-л.' [СРНГ 14: 52], алт. *кажилиться* 'напрягаться', *кажильиться* алт., иркут., новосиб., томск., хакас. 'с трудом, усилием делать что-л., напрягаться', тыв. 'выполнять тяжелую физическую работу' [СРНГ 12: 305; СРГС 2: 82; ИЭРГА 4: 259]. *Кожильиться* и *кажилиться* — образования с архаичным префиксом *ко-/ка-* от простореч. *жилиться* 'делать усилия, напрягаться' [ИЭРГА 4: 260]⁷⁷.

⁷⁷ Неясно кунгур., перм. *кожальиться* 'скупиться' [СРНГ 14: 50], но это слово можно считать, очевидно, результатом либо дестимологизации, либо контаминации с производными от *кожи*.

Сюда же перм. *кожіла* ‘скупой человек, скряга’: «Какой он кожила! Одну редьку ес, на свечку богу гроша не пошлёт!» [СРНГ 14: 52].

По всей видимости, к этому гнезду относится и темное кунгур., перм. *искожіл* ‘о скупом человеке’ [СРНГ 12: 216] с дополнительной приставкой *ис-*. О возможности участия этой приставки в подобных словах говорит влг. *ізжилъ* ‘скряга, скупец, жидомор’ [Даль, 2: 22] (с комментарием Даля: *жилить, жила*); ср. также влг., новг. *изжилы́ться* ‘через силу пытаться поднять, вырвать и т. п. что-л.’ [СРНГ 12: 134].

Что касается «шкуры», то здесь в поиске мотивации значения скряжничества следует исходить из нескольких возможностей. Во-первых, это значение могло появиться через идею сдирания, скупки шкур: *шкуродер* ‘тот, кто забивает животных’ — ‘эксплуататор’, ‘стяжатель, скряга’; *шкурник* ‘устар. скупщик шкур животных’; ср. также арх., влг., мурман. *шкúрить* ‘снимать шкуру с животного, свежевать’ → ленингр. ‘держатъ кого-л. в строгости, в повиновении’ [СРГК 6: 885]. Кстати, семантика ‘скряга’ есть и у пск., твер. *кожемяка* [СРНГ 14: 52]: тут скорее не перенос с общенар. *кожемяка* ‘мастер, выделяющий сыромятные кожи’, а шутливая ремотивация этого слова (или параллельное образование на базе тех же корней): «тот, кто мнет кожу другим». Вот еще пример аналогичного развития значений: *кожелу́п* курск., моск., орл. ‘человек, занимающийся сниманием кож с убитых животных; живодер’ → брян., калуж. ‘разбойник, грабитель, вор’ [СРНГ 14: 51]. Таким образом, следует трактовать слово *шкура* ‘стяжатель, скупец’ как результат обратного словообразования от *шкúрить*. О релевантности этой модели говорят и неславянские данные. Так, англ. (амер. сленг) *skin* ‘скряга’ [АВВУУ Lingvo x 5], по всей видимости, есть результат обратного словообразования от глагола *to skin* ‘сдирать кожу, снимать шкуру (с животного)’, ‘обворовать’, ‘истощать, обеднять (что-л.)’ [OED-1989/9: 146; АВВУУ Lingvo x 5]; ср. также англ. диал. *to skin* ‘жестоко избивать’, ‘вымогать, взыскивать с кого-л.’, ‘доводить до нищеты’ [EDD 5: 476–477]⁷⁸.

Во-вторых, для *шкура* ‘стяжатель, скупец’ мотивирующим мог быть признак стягивания, морщениа, присущий коже, шкуре, коже. Во многих славянских и, шире, индоевропейских языках «кожа» сочетается с глаголом «стягивать» — и данная сочетаемость двунаправленна: «кто-то стягивает кожу с других», «безл. у кого-то стягивает кожу». Стягивание близко сжиманию, огрублению, отвердению. Эти признаки приписываются коже: рус. смол. *кожа́новатый* ‘загрубевший, твердый, как кожа’ [СРНГ 14: 51], *ко́жистый* ‘на кожу похожий; толстокожий’, *кожанéть* ‘кожуреть, скорузнуть, становиться кожистым’ [Там же],

⁷⁸ Есть и еще один поворот образа: возможно, *skin* ‘скряга’ — результат обратного словообразования от *skin-a-louse*, ср. англ. диал. *skin-a-louse* («кожная вошь») ‘скупец, скарденный человек’ [EDD 5: 476].

вост. *кожу́рится* ‘морщиться’ [Даль, 2: 130–131]. В переносном употреблении указанные признаки могут способствовать формированию семантики скупости⁷⁹.

В-третьих, в образе кожи (шкура) представлен мотив сильных желаний (см. ниже), который может дать переход к мотиву жадности / скупости, ср., к примеру, развитие семантики слова *алчный*. Это наиболее вероятно для приведенного выше выражения *шуба лежит, а кожа дрожит* ‘об очень скупом, жадном человеке’.

Наконец, следует учесть проявленность в дериватах от «кожи» и «шкура» идеи обращенности вовнутрь, ориентации на содержимое, которая присуща «оболочкам», ср. рус. ср.-урал. *кожу́рница* ‘замкнутая, необщительная женщина’ [ДСРГСУ: 236], влг. *кожу́ля* ‘скрытный, зловердный человек’ [СРНГ 14: 53]. Такая мотивация предпочтительна для *кожу́рина* ‘скряга’ и *кожу́рится* ‘скупиться’, но может проявляться и в других «кожно-шкурных» лексемах.

Таким образом, каждый из перечисленных мотивационных вариантов имеет свои предпочтения при интерпретации определенных «кожно-шкурных» лексем со значением скупости, но наиболее емкая из этих лексем — *шкура* — может при своем функционировании «питаться» разными поворотами образа. «Шкура» и «жила», развивая одно и то же значение скупости, в плане мотивации имеют лишь частичное сходство.

Системные отношения, как и другие аспекты организации изучаемого семантико-мотивационного пространства, обнаруживают амбивалентность образа кожи. В данном случае она проявляется, к примеру, в том, что внутри одной и той же пары отсоматических дериватов наблюдаются отношения то отождествления («синонимии»), то противопоставления («антонимии»). К примеру, как было показано выше, «кожа» и «кости» противопоставлены друг другу при характеристике зубов (*кожаные зубы* ≠ *костяные зубы*). В то же время в ряде случаев они уравниваются, ср., к примеру, *влезть в кость* = *влезть под кожу*. Кроме того, «кожа» и «кости» нередко имеют комплементарные отношения, употребляясь в составе одного контекста.

* * *

Завершая анализ деривационной и фразеологической семантики слов «кожа» и «шкура» в славянских языках, включавший в себя рассмотрение тематических сфер вторичных значений, предикатов «кожи», системных связей с другими

⁷⁹И. П. Петлева говорит о возможности выделить широкую модель, основанную на представлении о твердости, неуступчивости, прижимистости скупых: серб. *тврѣд* ‘твердый, жесткий, крепкий’, ‘черствый, скупой’, *тврѣдица*, *тврѣдац* ‘скупец, скряга’, рус. диал. *крепыш* ‘скупец, скряга’ и др. [Петлева 1972: 207, 209]; ср. также этимологию слова *скряга*, производного от **kręžiti* ‘сгибаться’, для поддержки которой Ж. Ж. Варбот указывает на простореч. *жмот*, пск. *жало* ‘скупец’ от *жать*, *сжимать* [Варбот 1972: 73].

соматизмами, отметим, что при всей многогранности и текучести смыслов, стоящих за лингвокультурным образом кожи и шкуры, в соответствующих семантико-деривационных комплексах усматриваются вполне определенные и четко прорисованные векторы. Это не позволяет нам согласиться с И. В. Утехиным, утверждающим, что концепт кожи размыт и не очень четок, ср.: «Во многом представления о коже оказываются имплицитны, растворены в смысловых моделях, где собственно кожа не находится в фокусе» [Утехин 1999: 109]. Вывод о размытости концепта, на наш взгляд, в значительной мере определяется тем, что автор не ограничивает материал для анализа определенными корнями, а берет самые разные фразеологические и паремиологические факты, в том числе такие, где соматизмы вообще не фигурируют.

Основной принцип организации изучаемого образа — смысловая амбивалентность, отражающая «пограничное» положение кожи, обращенность внутрь человека как существа «физического» и «психического» и к внешней действительности (особенно непосредственному окружению человека — к одежде и имуществу, близким людям). Образ кожи «мерцает»: кожа — маркер внутренней жизни человека и одновременно пустая оболочка, «модератор» между нежной душой и внешним миром. Она способна совмещать в себе оба полюса оппозиций «внутреннее — внешнее», «наполненное — пустое», «свое — чужое», «активное — пассивное». К примеру, через кожу люди вступают во внешний, тактильный контакт, поэтому кожа символизирует дружбу, а не кровное родство, но контакт этот может рассматриваться как тесный, интимный, отсюда выражаемая кожей символика любви. «Мерцание» образа обуславливает способность «кожи» входить в ряды слов, выражающих противоположные смыслы: так, к о ж а символизирует и худобу (наряду с к о с т я м и, р е б р а м и, ж и л а м и и др.), и толщину, упитанность (наряду с м я с о м, т е л о м, т р е б у х о й и т. д.). Особенно показательны в этом плане отношения к о ж и и к р о в и, на которые мы не раз обращали внимание.

К о ж а и ш к у р а (в тех случаях, когда языковые факты позволяют различить их обозначения) проявляют себя во многом сходно, однако к о ж а в большей степени обращена вовнутрь, а ш к у р а — вовне (поскольку нередко воспринимается как рубашка, одежда — и далее одежда ряженого).

Кожа проявляет «самость» человека, служит индикатором его здоровья, возраста, расовым признаком, важной составляющей телесной красоты, становясь тем самым носителем и показателем собственно человеческой жизни, но вместе с тем она связана и с символикой смерти, поскольку может восприниматься как «тело», — точнее, то, что остается, когда его покидает жизнь (душа). Наполненность и пустота, свойственные оболочке, определяют способность кожи символизировать и материальное благополучие, и бедность. Кожа лучше многих других частей тела «знает», что такое физические страдания, она их терпит, переводя в жизненный опыт, — и она же обнаруживает активные человеческие усилия и намерения. Через нее прорываются вовне в первую очередь неподотчетные, иногда

инстинктивные эмоции и желания, которые могут вырастать из физиологических реакций (так, по «мнению» языка, реакция на холод порождает чувство страха, а голод — несдерживаемое самовольство), но она же пытается их ограничивать, «призывает» к самообладанию: несдержанность маркируется в языке как «выход из кожи». Выполняя информационные функции, кожа несет большей частью не рациональную, а интуитивную информацию: *чувствовать кожей* — значит понимать подсознательно, а не объяснять что-либо логически. Такое «чувствование» нередко становится для человека предостережением. Наряду с другими частями тела, кожа выявляет разные изменения внутри человека, его душевные порывы, психические состояния. Кожа запечатлевает сходство людей друг с другом, их близость, способность к эмоциональному сопереживанию, но в то же время она о(т)граничивает личное пространство, препятствует «залезанию» туда других. Такое отмежевание от других развивает у человека черты эгоиста, а далее — с учетом «накопительной» способности кожи — скупца и стяжателя.

Образ кожи, столь разноплановый и экспрессивный, актуален и в современном дискурсе, в разговорной речи, в литературе, в СМИ и Интернете. Приведем одну иллюстрацию к процессам сегодняшнего осмысления этого образа. Трехлетняя годовщина свадьбы именуется во многих языках (в том числе и славянских) «кожаной свадьбой» — в ряду других годовщин, обозначения которых образованы от наименований различных материалов (*бумажная, ситцевая, серебряная* и др.). Однако при интерпретации *кожаной свадьбы* наивным сознанием, судя по контекстам, встречающимся в Интернете, может проявиться семантический потенциал *кожи* как соматизма, оболочки существа⁸⁰.

Таким образом, выразительность, детальность и яркость языкового «портрета» кожи задана самой природой явления и логикой наивно-языковой концептуализации мира.

1.4. «РУССКИЙ»: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И ИЗВНЕ

1.4.1. «РУССКИЙ» В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ

Комплекс наивных языковых представлений о русском и Руси (России) в последние десятилетия привлекает особое внимание лингвистов, которые подвергают анализу различные по своему статусу языковые данные, в первую очередь тексты (художественные, публицистические, фольклорные), а также результаты психолингвистических экспериментов, проведенных как с носителями русского языка, так и с иностранцами (см., например, в [Апанасенко 2007; Баранов, Добровольский

⁸⁰Ср.: «Считается, что после трех лет совместной жизни семья, как живой организм, обзаводится кожей, которая скрепляет пару в единое целое» (URL: http://budetsvadba.ru/story/godovshchina_svadbi_kojanaiia_svadba.html).

2009; Воробьев 1996; Горюнова 1995; Грищенко 2012; Евтушенко 2007; Кобозева 1995; Колосова А. 2008; Леви 2008; Михайлова, Исакова 2008; Образ России извне и изнутри 2008; Онищенко 2009; Пипер 2004; Правда, Кошова 2004; Правда, Яурова 2004; Романова 2013; Свицова 2008; Уфимцева 2011; Федосюк 2010; Юрьева 2009; Языковая репрезентация 2009; Bartmiński, Lappo, Majer-Baranowska 2002] и др.). В ходе обработки разных данных (даже в пределах одного русского языка, не говоря уже о сравнении его с иностранными языками) могут быть получены «портреты» русского, которые обнаруживают существенные отличия друг от друга. Несовпадения касаются как общей тональности, так и конкретных составляющих образа: к примеру, в одних работах описываются *русская лень, хамство, пьянство*, в других — *«всемирная отзывчивость», щедрость, широта души* и др. (о причинах этих расхождений см. в [Плунгян, Рахилина 1996; Березович 1999]). К подобным несовпадениям не всегда готовы исследователи, склонные считать собственные выкладки наиболее представительными и «правильными».

Для получения совокупной картины, позволяющей наиболее полно представить структуру образа и выявить закономерности его варьирования, важно расширить круг изучаемого материала — и, в частности, рассмотреть тот его пласт, которому пока уделяется недостаточное внимание: семантические дериваты этнонима *русский* и топонимов *Русь, Россия (Раса)*, например, *русь* ‘удобное, подходящее для чего-л. место’, *русák* ‘местный твердый камень, идущий на жернова’, *обрусеть* ‘стать обжитым, многолюдным’, *расейский* ‘общительный, доброжелательный’ и т. п. (паспортизация материала будет приведена ниже). Они составляют семантико-деривационный комплекс, условно обозначенный именем *рус-/рос-*, который будет рассматриваться ниже. Помимо однословных дериватов, будут учитываться устойчивые сочетания, в которые входят слова *русский, Русь, российский*, а также их семантические производные (*выйти на русь* ‘выйти из леса на светлое место’, *русский виноград* ‘крыжовник’ и т. п.). Фраземы такого рода имеют четко определенное значение и могут заменяться цельнооформленными единицами (*русская водка = русейка*).

К анализу не будут привлекаться слова вроде *обрусеть* ‘стать русским по культуре, обычаям и др., приобрести русский вид, характер’ или же сочетания типа *русская лень*, которые не содержат семантического сдвига. В то же время в поле нашего внимания попадают языковые факты, не испытавшие сдвига как такового, но имеющие определенные акценты в семантике, проявляемые, к примеру, в оппозициях русского и «нерусского». Так, в сочетании *русская камлëя* ‘верхняя одежда с капюшоном из ткани’ (которое входит в пару с *камлëя* ‘непромокаемая глухая верхняя одежда с капюшоном, сшитая из кишок морских животных’) *русская* означает «используемая русскими <одежда> — в отличие от используемой якутами». Такие акценты (особенно в тех случаях, если они реализуются в целой серии лексических фактов) значимы для воссоздания культурно-исторической составляющей «портрета» русского и России.

Выбор материала обусловлен тем, что семантические дериваты составляют системно-языковое ядро образа русского и Руси, т. к. они содержат непосредственное и регулярно воспроизводимое указание на связь с соответствующим этнонимом и топонимом.

Решено рассмотреть данные русских народных говоров, не принимая во внимание факты литературного языка (к примеру, сочетания вроде *русская рулетка* или *русские горки*). Такое ограничение диктуется необходимостью специального анализа диалектного материала: объем гнезда *рус-/рос-* в говорах весьма велик, а определение границ гнезда представляет собой нетривиальную проблему из-за наличия близких в формальном и содержательном отношении гнезд; эти данные гораздо в меньшей степени, чем литературные, введены в научный оборот и вообще практически «не на слуху» специалистов. Кроме того, изучаемый диалектный материал более или менее однороден в социолингвистическом плане и показателен в плане этнолингвистическом. В то же время в некоторых (редких) случаях используются факты общенародного языка или народной речи города: это делается тогда, когда в концептуальном отношении они созвучны диалектным.

Мы сочли возможным совместно рассматривать производные от *русский* и *Россия*, которые иногда обнаруживают существенные семантические различия (об этом см., в частности, в [Трубачев 2004/2: 484–492]), поскольку в говорах эти различия, как правило, несущественны, ср., например, новг., томск. *россейский* ‘относящийся к русским, принадлежащий им’: «Стал слушать — наш россейский голос — песни поют» (томск.) [СРНГ 35: 191].

Для носителей русского языка этноним *русский* близок по смыслу дейктическому слову *мы*. Небесспорно предположение, что в деривационной семантике *рус-/рос-* могут наблюдаться дейктические явления, т. е. смена точки зрения наблюдателя, определяющая включение или выключение его из числа *русских*. В данной работе будут рассматриваться особенности отражения в номинативных фактах фокуса эмпатии, вследствие чего предпринимаемый анализ будет иметь прагматическую составляющую.

Наконец, для уточнения линий семантического развития и их типологической верификации будут привлекаться номинативные параллели — производные от слов *люди, народ, мир*, а также от топонимов *Москва, Питер* и др.

Итак, цель настоящего исследования — охарактеризовать семантико-прагматическое своеобразие деривационно-фразеологического гнезда *рус-/рос-* в русских народных говорах. Такая формулировка цели определяет эту работу скорее «по ведомству» семантико-мотивационной реконструкции, нежели концептуального анализа. Действительно, в ряде случаев дериваты *рус-* не имеют отношения собственно к концепту «русскости», т. к. они живут в языке собственной жизнью: проходят длинный путь смыслового развития, удаляясь от первоначального значения производящей основы, подвергаются процессам

аттракции и др. Для нас важнее всего обозначить состав, границы гнезда, проследить линии семантико-прагматического развития, найти связи с другими гнездами — как контактные, так и типологические. Выводы относительно специфики концепта, разумеется, тоже будут сделаны, но они не являются самоцелью, а производны от нашей основной задачи.

* * *

В семантическом пространстве *рус-/рос-* выделяются два основных блока значений: **пространственный** и **социальный**. Они будут организовывать подачу материала. Эти два блока не исчерпывают всего объема гнезда, однако заключают в себе подавляющее большинство фактов и наиболее показательны в плане репрезентации семантико-прагматических особенностей гнезда.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЕМАНТИКА

«География» Руси. Помимо основной пространственной семантики *русского* ('занимающий территорию России или связанный с ней'), выделяются и другие значения, обнаруживающие возможность перемещения точки зрения номинатора, который, находясь формально в «административных» пределах России, фактически называет *русской* территорию вне себя. Такие значения, «сжимающие» пространство *русского*, отмечаются, как и следовало бы ожидать, в удалении от центра России. Их появление провоцирует не только удаленность, но и социально-политические факторы — непростые отношения, а подчас и прямое противостояние с «Москвой» (ср., к примеру, историю покорения Сибири). Перечислим эмпатические значения, которые фиксируются наиболее устойчиво.

Для наблюдателя внутри Сибири и Дальнего Востока (в редких случаях на Урале) *русский* — **находящийся в Европейской России, не сибирский** (не *челдонский*⁸¹, *кержацкий*): сиб. *Русь* 'Европейская Россия (в отличие от Сибири)', *русский ветер* 'западный ветер', ст.-сиб. *русский товар* 'привозной товар из России', *русский город* противопоставлен *сибирскому городу* [Аникин ЭСС: 467]; сиб., тобол. *русь* 'переселенцы из европейской части России': «Понаперла к нам русь, переселенцы вобщем, по отрубам селятся» [СРНГ 35: 274]; алт., амур., бурят., кемер., краснояр., новосиб., приангар., прииртыш., томск., хабар., челяб. *россейский* 'приехавший, переселившийся из европейской части России': «Когда россейских наслали, они лапти стали плести. У сибиряков все одинаково, у россейских все по-другому» (прииртыш.), «Что-нибудь скажет не по-путевому, сразу видно, что россейский» (амур.), «Оне не кержаки, оне россейски жителя, пришлы у нас были. Я-то здесь родилась, а родители мои россейские» (новосиб.) [СРНГ 35: 191; СРГС 4: 182] и пр.

⁸¹ Ср. обл. *челдон* (*челдон*) 'коренной житель, старожил Сибири' [ССРЛЯ 17: 753].

У архангельских поморов *русский* — **‘более восточный, материковый, не западный, не «немецкий»’**: арх. *русский (русской) ветер, ветер с Руси* ‘южный или юго-восточный ветер’: «Русский ветер пошёл, из центра дует, с России» [КСГРС; Подвысоцкий 1885: 85], *русский шторм* ‘шторм на море, который вызывает ветер, идущий с побережья’ [КСГРС]⁸².

В бассейне Дона и Яика *русский* — **‘более северный, находящийся за пределами мест проживания казаков’**: р. Урал *Русь* ‘устар. Россия (без земли Уральского казачьего войска)’ [Малеча 3: 554], дон. *русская вода* ‘второй после разлива подъем воды в реке вследствие таяния снега в верховьях Дона’ [СРНГ 35: 272].

Аналогом *Руси* в указанных значениях может выступать *Москва*: дон. *московская вода* ‘холодное половодье с верховьев Дона’ [БТДК: 81], *московский* — определение, характеризующее «все русское, кроме Дона или Украины» [Даль₂: 349].

Смещение точек зрения фиксируется и при выходе за пределы русского языка: так, известно, что в польском языке прилагательное *ruski* может иметь недифференцированное значение ‘восточнославянский’, ‘украинский’ и пр. Такая смысловая диффузность характерна для многих макротопонимов и макроэтнонимов⁸³.

Пространство Руси вне географических ориентиров. Русское — это **местное**: костр. *русский* ‘местный, живущий в данной местности’: «Мама — рязаночка, а вышла за русского, и я здесь родилась» [ЛКТЭ], влг. *в нашей России, у нас в России* ‘в наших местах’: «Молчи, ты что бьёшь девку? Это уже не в нашей России», «У нас в России мало деревён осталось» [КСГРС]. «Русскость» маркирует не только пространство, но и собственно **среду обитания**, окружающую говорящего: костр. *русский* ‘местный, произрастающий в данной местности’: «Толькё русские грибы едим, из своего леса. Из других местов не надо мне, какие там у их ядовитыё» [ЛКТЭ], *русак* симб. ‘местный твердый камень, идущий на жернова’, р. Урал ‘вид осетра’: «Осетр русак остаётся здесь, он после нереста не сплывает в море» [СРНГ 35: 267], перм. *русская рыба* ‘речная рыба’: «Я только русскую рыбу ем, ну, из своей реки, из магазина задаром не надо, кикимора не примат» [СПГ 2: 308].

В применении к растениям и животным в семантике *русского* проявляется дополнительный смысловой компонент **естественного, природного**. *Русские* растения — дикорастущие, не завезенные извне, не селекционированные: *русская мята* ‘мята курчавая, простая, дикая’ — в отличие от *английской мяты* ‘мяты перечной’ [Даль₂: 375], *русские бобы* ‘бобы обыкновенные, *Vicia*

⁸² Ср. широко используемое поморами противопоставление *русский* — *немецкий*: «Понятие ‘немецкий’ в Беломорье означало западный, ‘русский’ — более восточный» [Попов 1991: 52]; ср. также арх. *немецкая сторона, в немецкую сторону*: «Так выражают поморы направление своего пути, идучи Северным океаном в Норвегию или на о-в Новую Землю» [СРНГ 21: 79].

⁸³ Эта диффузность в известной мере отражает этимологическую «память» слова: *русь* из приб.-фин. **rōtsi*, близкого фин. *Ruotsi* ‘Швеция’, *ruotsalajnen* ‘швед’ и восходящего, вероятно, к первому члену древнескандинавского сложения *rōþs-menn* или *rōþs-karlar* ‘гребущие люди, гребцы’ — название варягов-дружинников, участников похода на гребных судах [Аникин ЭСС: 467].

faba — в отличие от *турецких бобов* ‘фасоли’ [Даль, 1: 101], которую считают завезенной в Россию из Турции. Это могут быть наиболее типичные для пищевого рациона, традиционные, «обычные» виды растений (в противопоставлении видам более новым или редким), ср. влг. *русская репа* ‘традиционная «местная» репа’: «Петровская репа есть и русская репа. Русская побелеяе, петровская полаяе. Петровскую на Петров день дёргают, русская дольше» [КСГРС]. *Русские* животные противопоставляются выведенным искусственно, ср. р. Урал *русский* ‘не инкубаторский’: «Куры у нас русские, не инкубаторские», «Куры-ти у нас были анкубаторски да русски» [СРНГ 35: 272; Малеча 3: 554].

Вместе с тем *русское* — не только, так сказать, природное, но и **освоенное**, пригодное для жизни, **заселенное пространство** — в отличие от пространства необжитого, «неочеловеченного» (лесов, болот, моря, гор). Такое восприятие отражено в комплексе значений выражения *выйти (идти) на русь* (фиксируются также употребления слова *русь* вне этого выражения, но семантически с ним связанные), которые можно обобщить в инварианте ‘выйти из неосвоенного пространства в более освоенное’. Семантические варианты данной идиомы чутко реагируют на конкретные ландшафтные условия, в которых находится наблюдатель. В ходе полевой работы на Русском Севере нам приходилось фиксировать такое варьирование в речи жителей деревень, расположенных всего в нескольких километрах друг от друга, но находящихся в различной природной среде.

Так, в говорах архангельских поморов *русь* — б е р е г о в а я л и н и я (в отличие от открытого моря): арх. (мезен.) *выйти на русь* ‘возвращаясь из открытого моря, подойти ближе к жилью’: «Вышли на русь, до дому километров пять осталось»; «Вышли на русь, скоро родная матера <берег>» [СГРС 2: 226]; арх. *выйти на Русь* ‘прийти на родные места’: «Пожни идут к Мезени, блиско — ну слаа боуу, на русь вышли» [АОС 6–7: 240]. У *русси* в этом значении обнаруживается любопытная семантическая параллель: влг. *москвá* ‘о береге озера, где находятся деревни, жильё’: «Москва уж видать, скоро приплывём» [КСГРС]. *Москва* здесь не только символ и заместитель *Руси*, но и эталон заселенного места [см. Березович 2007: 189–193]. *Москва*, как и *Русь*, противопоставляется неосвоенной водной стихии.

Приведенные факты помогают понять внутреннюю форму архангельских глаголов *обру́сить*, *обнару́сить* ‘укрепить на берегу один из концов ловушки на рыбу’, соотносимых с наречием *на́русь* ‘в сторону берега (о постановке ловушки на рыбу)’: «Нарусь её становим, не на голомень <удаленное от берега водное пространство>, не в море» [КСГРС].

Жители лесных районов Русского Севера видят *русь* при движении из леса к светлым полянам, опушкам, покосам, предвещающим, как правило, близость жилья: арх., влг., костр. *выйти на русь* ‘выйти из леса на открытое, светлое место, ближе к жилью’: «Идёшь из леса и увидел просвет среди деревьев — так вышел на русь», «В лесу долго ходил, а потом на свет вышел,

на русь, близко к людям» (арх.); «От нас к Дору выезжали, дак выйдем на русь: посветлее стало», «Заблудилися, а потом увидали знакомую полянку, слава Богу, вышли на русь», «Из леса вышла на русь, скажет, на стожьё какое» (влг.); «Из леса я на русь вышел, тут луг, дальше деревни, людьми пахнет» (арх.) [СГРС 2: 226; КСГРС; ЛКТЭ; СРНГ 35: 273–274]⁸⁴. Ср. также влг. *русь* ‘светлое место в лесу (поляна, луг и т. п.)’: «В темном увидишь светлое — русь видна» [КСГРС], арх. *русь* ‘поселение, обычно на открытом ровном месте’: «“Поди, кума, на русь! — говорит волк лисе, — что найдешь, то и тащи, а не то с голоду умрем”. А лиса ни слова в ответ и шмыг на русь» [СРНГ 35: 273–274].

Показательна также антитеза *нарусный* — *вольный*⁸⁵, т. е. «о б р а щ е н н ы й в с т о р о н у п о с е л е н и й — обращенный к лесу, полю» и т. п.: арх. *нарусный конец* ‘край деревни, обращенный к другим деревням’: «Пойди в нарусный конец, не в вольный» [КСГРС].

Перечень возможных противопоставлений дополняют данные украинских прикарпатских говоров, трактующие *русь* как д о л и н у — в противопоставлении горам: укр. бойк. *ити на русь* ‘идти с гор в долину’ [Онишкевич 2: 197].

Вне ландшафтных антитез *русь* понимается как **открытое место**: ленингр. *русь* ‘открытое место, луг’: «Девки не кехтают <не хотя> граблей-то на русь нести» [СРГК 5: 585], арх. *русь* ‘открытое, ничем не ограниченное пространство’ [Нефедова 2001: 105], твер. *совсем на руси* ‘на виду, на открытом месте, на юру’ [Даль₂ 4: 114]. Возможен и смысловой сдвиг «открытое место» → «поверхность»: влг. *русь* ‘поверхность воды в водоеме (?)’: «Весной на озере пенка выйдет на русь» [СВГ 9: 73].

Семантика открытого места закономерно ведет к появлению значения **наружного** пространства, которое может даже противопоставляться дому: перм. *на русь выйти* ‘выйти из дома на улицу, на открытое пространство’: «Бабы, все на русь выходите, фотографироваться будем» [СПГ 1: 137], *нарусь* смол. ‘наружу’: «Вышла ета я с митра <метро> нарусь и думью, куды ж тяперь идить» [ССГ 7: 39], новг. ‘наружу, на люди’ [НОС 6: 10]. Здесь отчетливо фиксируется смена фокуса эмпатии: при взгляде из неосвоенного пространства русское воспринимается как домашнее, при взгляде из дома — как наружное.

Значение наружного родственно значению **видимого глазом, ставшего заметным**: новг. *нарусí* ‘на виду, на глазах’: «Весной я и помидоры посажу на руси,

⁸⁴ Ср. яркое отражение противопоставления *руси* («домашнего» пространства) и *сузёма* («стороннего» лесного пространства) в романе Ф. Абрамова «Братья и сестры» (диалог происходит между Варварой и Лукашиным на лесной пожне): «— Что, комарики кусают? — посочувствовала Варвара... — Известное дело, здесь не на руси. — Не на Руси? — Варвара удивилась: чего тут непонятного? — У нас русью-то домашнее называют. А здесь, в сузёме, какая уж русь...»

“Да, — размышлял Лукашин... — Вот она, жизнь северного мужика! Какой же ценой дались ему эти сторонние сенокосы, если у него язык не повернулся, чтобы назвать их дорогим именем Русь! А ведь отсюда до деревни километров десять — не больше...”.

⁸⁵ Ср. арх., влг. *вольный* ‘внешний, обращенный наружу, в открытое пространство’ [СГРС 2: 168].

на глазах, значит» [НОС 6: 10], арх. *выйти на русь* ‘стать осязательным, заметным’: «Он уш вышел на русь <о грыже>» [Нефедова 2001: 105].

Усиление оценочной линии в семантике *русси* дает значение **пространственно-го и социального центра** (вгл. *ехать на русь* ‘ехать в центр — сельсовета, района и т. п.’: «Все едут на русь, на ширь, место поближе к сельсовету» [СГРС 3: 333]) и **удобного** (в первую очередь для заселения) **места**: вгл. *русь* ‘удобное, подходящее для чего-л. место’: «Нет руси лутше этыя. Этта дом становитё» [СВГ 9: 73].

Ценностный взгляд на пространство *русси* закономерно приводит к восприятию ее как **света** (белого света) = **мира**, причем параллелизм *русси* и *света* просматривается как в собственно пространственной семантике (*Светорусье*⁸⁶ ‘русский мир, земля; белый, вольный свет на Руси’ [Даль, 4: 159]), так и в производной от нее «онтологической» (печор. *на русь выйти* ‘появиться на свет, родиться’: «Ох, и не в добро же время я на русь вышел» [ФСНП: 46], новг., орл., перм. *выйти на русь* ‘то же’ [НОС 1: 148; СРНГ 5: 286; СРНГ 35: 273]).

Описанные значения — суть реализации двух смысловых доминант, организующих семантическое пространство изучаемого гнезда: «русский = человеческий», «русь = мир». Центробежное расширение пределов *русси* от узкого окружения говорящего до всего мира людей — логичное проявление дейктивности этого слова.

В значениях социального центра, а также света и мира ярко проявляется взаимодействие и наложение пространственной и социальной семантики гнезда *рус-/рос-*.

К изучаемому лексико-семантическому блоку, в рамках которого *русь* понимается как «очеловеченное» пространство в противопоставлении неосвоенному, хочется подключить также глаголы, реализующие приставочную словообразовательную модель: *обрусить* арх. (сев.-двин.) ‘очистить от леса, заселить (о местности)’ [СРНГ 22: 213], костр. ‘о лесном пространстве: освоить, вырубить лес, превращая его в поля и покосы’: «Прадеды наши обрусил тут всё, новины-те прятали <расчищали лес под поля>, а ныне обратно всё запустили, одна дикость» [ЛКТЭ], карел. (рус.) *обрусеть* ‘стать обжитым, многолюдным’ [СРГК 4: 112].

Оба глагола семантически и словообразовательно релевантны гнезду *рус-* (в плане словообразования ср. литер. *обрусеть* и *обрусить*), но если для *обрусеть* производность от *рус-* в данном случае кажется единственно возможной, то по отношению к *обрусить* не стоит сбрасывать со счетов и другую версию, включающую его в гнездо **brusiti* ‘тереть, обдирать, точить’ — итератива к **brъsnoti* ‘тереть, растирать, бросать, мять’ [ЭССЯ 3: 48–49; SP 1: 393, 398]. В этом случае в составе *обрусить* выделяется не *об-*, а *о-*; в семантическом плане следует привести арх. *обрусить* ‘обрубить сучья, ветки у дерева’, ‘оборвать, снять листья, ягоды, семена’ и др. [СРНГ 22: 213], связь которого с **brusiti* не вызывает

⁸⁶ Это слово сближается с производными *свят-*, ср. *святая Русь*.

сомнений. На основе семантики обрубания ветвей вполне возможно появление значения ‘очистить от леса’.

Однако наиболее корректным видится компромиссное решение, согласно которому арх., костр. *обрусить* ‘очистить от леса, заселить’ — результат контаминации двух гнезд. Со стороны *рус-* в процессе взаимодействия могли участвовать слова с семантикой обживания, привыкания (помимо приведенного выше *обрусеть* ‘стать обжитым, многолюдным’, ср. также *обрусить*, *обрусеть* ‘привыкнуть к кому-л., чему-л., обжиться’, *русеть* ‘привыкать, осваиваться; приспособляться к жизни, местным условиям’; об этих словах подробнее см. ниже, в рубрике «Социальная семантика»). Важно помнить, что на Русском Севере обживание, освоение территории немислимо без расчистки лесов под поля, покосы, хутора и др. Со стороны **brusiti* во взаимодействии могли участвовать слова со значением обрубания, обтесывания.

Отметим, что явление аттракции с участием производных *рус-* возможно допустить и для других слов, приведенных выше. Вторым актантом взаимодействия могли стать элементы гнезда **rudsъ* (< **rud-*) ‘красно-бурый, светлый’ (в семантике продолжений **rudsъ* отражается цветовая гамма от светло-коричневого (с сероватым или желтоватым оттенком) до обесцвеченного, ср., к примеру, смол. *русый* ‘седой’ [ССГ 9: 147])⁸⁷.

Так, смысловой компонент светлого места, просвета в темном пространстве, открытого (= светлого) пространства, присутствующий в семантике выражения *выйти на русь*, возможно, появился не без влияния цветовой семантики **rudsъ*. Против этой версии есть следующее соображение: денотативная соотнесенность «русого» имеет ограничения и связана главным образом с характеристикой цвета волос. Однако в русских диалектах эта соотнесенность более широка: *порусеть* ‘посветлеть’: «Шуба порусела, видно, подцвечена была, побурела, полиняла, светлеет» [Даль, 4: 115], арх. *русеть* ‘зреть, становиться светлее (о зерне в колосьях)’ [СРНГ 35: 269], костр. *русью взяться* ‘подвергнуться отбеливанию (о белье, растеленном на снегу)’, *изрусеть* ‘побелеть, выцвести (о ткани)’ [ЛКТЭ]. Эти факты дают право высказать версию об аттракции двух гнезд (интересно выражение *русью взяться*, создающее фундамент этой версии со стороны словообразования) — пусть и с изрядной долей сомнения.

В то же время появление цветовых (световых) коннотаций в гнезде *рус-* можно объяснить и без внешних влияний. Сочетание пространственно-социальной и цветовой (световой) семантики значимо в типологическом плане и наблюдается, к примеру, в гнездах **svěť¹* ‘lux’ и **svěť²* ‘mundus’. Эти два гнезда образуют единое поле, в котором представлены такие смысловые блоки, как ‘мир, вселенная,

⁸⁷ К явным случаям аттракции *русого* и *русского* можно отнести, к примеру, карел. (рус.) *русский* ‘русый, светлый’: «У нее русский цвет волос, белой» [СРГК 5: 584]. Мотивационная основа для подобных сближений отражена в поговорке *Русский народ русый народ* [Даль, 4: 115].

космос', 'земной мир, земля', 'сфера, среда существования', 'люди', 'сообщество людей' [Толстая 2010a]. Таким образом, здесь тоже оказываются соединенными пространственные и социальные смыслы, свойственные «русскому», — либо без поддержки «цветового» гнезда **rudsъ*, либо с ней. Однако версию об аттракции гнезд мы считаем более вероятной, чем предположение о типологически независимом развитии цветовой (световой) семантики.

СОЦИАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА

Личное пространство и физическое состояние человека. «Свой» мир. Семантика «местного», наблюдавшаяся в пространственном регистре, продолжается в «пространстве» отдельной личности. Иначе говоря, *русь* — то, что сейчас бы назвали «личным пространством» человека, слившаяся с ним обстановка: влг. *быть на руси* 'чувствовать себя в привычной обстановке': «В деревянной-то избе я на руси, не болею, а в городе сразу захвораю» [КСГРС]. «Русскость» характеризует **нормальное, привычное физическое состояние человека**: влг. *русеть, русовать* 'чувствовать себя хорошо, быть в своей тарелке (обычно с отрицанием)': «Не русела с утра, голова как чужая», «Теперь давно не русую, то одно болит, то другое» [КСГРС], влг., костр. *обрусеть* 'выздороветь': «Бабка ходила за им, быстро обрусел» (костр.), «Была больная, а потом обрусела. Про скотину скажут и человека» (влг.) [КСГРС; ЛКТЭ]; орл. *выйти на русь* 'то же' [СРНГ 5: 286]. Внутреннюю форму этих лексических единиц, очевидно, можно прочитать так: «становиться русским = самим собой, хорошо себя чувствовать». Есть смысл предполагать сходную мотивацию и для этимологически темного костромского глагола *московать*, который зафиксирован в СРНГ с пометой «знач.?» и контекстом «Не москвует тело, не москвует и душа моя» (нет силы, мочи) [СРНГ 18: 285]. Возможно, этот глагол образован от топонима *Москва* (исходно **московать*?), а его внутренняя форма раскрывается как «быть в Москве = в привычном месте и состоянии». Ср. также дериваты *люд-*, *человек-*, *мир-* со значением физического состояния человека: перм. *людный* 'здоровый, полный, крепкий (о человеке)' [СПГ 1: 498], казан., нижегор., новг. *человечный* 'рослый и плотный, видный собою, мужественный, молодец, ражий' [Даль₂ 4: 588], ворон. *мирской* 'прозвище – очень полный (о человеке)' [СРНГ 18: 174], но орл. *излюдеть* 'стать большим, хилым' [СРНГ 12: 142], пск. *выйти с людей* 'потерять силы, состариться, ослабеть' [СППП: 51].

Идея своего, освоенного и помогающего осваивать чужое косвенно присутствует в активной (и набирающей обороты в разговорном языке и просторечии) модели, в рамках которой создаются шутивно-парадоксальные номинации, где *русский* выступает как **местный (отечественный) аналог известного иностранного продукта, явления** и др. (нередко это сниженный аналог). Эта модель показывает пути освоения внешнего мира через соотнесение своего и чужого: влг. *русский цикорий* 'растение одуванчик аптечный, *Taraxacum Officinale* Wigg' [СРНГ 35: 273],

костр. *русский (северный) шелк* 'лен' [ЛКТЭ], влг. *русский (сибирский) виноград* 'крыжовник' [КСГРС]⁸⁸, простореч. *русские носки* 'портянки' и др.⁸⁹

Традиционный образ жизни и быт. Русское — то, что является **самодельным, не фабричным**: дон. *рассейка* 'сеть ручной работы, в отличие от заграничной, машинной' [БТДК: 452], дон. *русская повозка* 'самодельная телега без кузова для перевозки тяжестей': «Павоски русския — ета ишо када были. Их старыя люди сами делали. Ана шырокая, никаких ящикаф, ничаво, проста доски да фсе. Вазили на павоски фсе» [СРНГ 35: 272; БТДК: 464] и др.

Русское — то, что в наибольшей степени **распространено и типично** для данной местности по способу изготовления или применения. Фактов, иллюстрирующих это положение, очень много, потому приведем несколько выборочных примеров. Данная семантическая грань нередко раскрывается в противопоставлениях: костр. *русские лапти* — *могилевские лапти*: «Могилевские-то лапти совсем не как наши, русские, они как босоножки, узорные такие» [ЛКТЭ], *русская рубаха* 'косоворотка, с застежкой на левом плече' — *немецкая, хохлацкая рубаха* 'с запонкой или завязкой на душке' [Даль, 4: 106]; *русская крыша* 'под слегу, когда солома наваливается вилами и пригнетается переметинами' — твер. *польская крыша* 'крытая соломой не ворохом, а снопами, вгладь, со стрехой, обрубом' [Даль, 3: 267]; *русская печь* 'кирпичная или битая, для тепла и варки пищи, печенья хлеба' — *голландская печь* 'комнатная, разных видов и устройства, ради тепла, угреву' [Там же: 108]⁹⁰ и др. Особенно распространены такие противопоставления в зонах активных контактов с другими народами. Так, в Сибири (на территориях совместного проживания русских с малыми народами Севера) *русскими* называют нити, одежду из растительных волокон — в отличие от нитей из жил или одежды из шкур: сиб. (колым.) *русская камлея* 'верхняя одежда с капюшоном из ткани' — *камлея* 'непростокаемая глухая верхняя одежда с капюшоном, сшитая из кишок

⁸⁸ Благодаря своему широкому распространению, неприхотливости и колючести, крыжовник «добился» того, что в его названиях часто отражено сопоставление с более «престижным» виноградом, ср. костр. *костромской (доброумовский) виноград* [ЛКТЭ], ср.-урал. *уральский виноград* [ДЭИС], арх. *северный виноград* [КСГРС] и др. Показательно, что у болгар, для которых виноград — «свое», данная модель функционирует как внешняя: болг. *влашко грозде*, *нѣмско грозде*, *руско грозде*, *татарско грозде*, *френско грозде*, *цариградско грозде* (см. об этом в [Березович 2007: 407, 413]).

⁸⁹ Ср. более новые факты в рамках этой модели, фиксируемые в городской народно-разговорной речи: *русский йогурт* 'появившиеся в 90-х гг. XX в. стаканчики с водкой, напоминающие баночки с йогуртом' (URL: <http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?tid=33287>), *русская пальма* 'верба' (URL: http://www.maneken-online.ru/articles/Russkay_palma_poysok_iz.html), *русские роллы* 'огурцы с салом', *русский кондиционер* 'открытый багажник при работающем моторе автомашины' [сообщено Т. А. Агапкиной], *русский пенициллин* 'щи из кислой капусты' (URL: <http://z0j.ru/article/a-2607.html>), 'чеснок' (URL: <http://econera.com/a/notes/chesnok-russkiy-penicillin-1.aspx>) и т. п.

⁹⁰ Ср. и другие обозначения «чужеземных» печей, сопоставляемых с русской: тобол. *пóлька* 'голландская печь' [СРНГ 29: 182], яросл. *швѣдка* 'печь с закрытой плитой и духовкой' [ЯОС 10: 71], ленингр. *финка* 'особый вид печи' [СРГК 6: 684] и др.

морских животных, а также из оленьих или лосиных шкур' [СРНГ 13: 26]; якут. *русская нитка* 'нитка, ссученная из растительных волокон': «Русская нитка не достала, поневоле жильными дошила» [СРНГ 35: 272]. В этой же зоне особо выделяется *русский* способ строительства изб: якут. *русская изба*, *русский дом* 'рубленая изба из положенных горизонтально бревен в отличие от юрты' [Там же].

Есть ситуации, когда противопоставление русского «чужому» затушевано или лексически не маркировано — и на первый план выходит признак русского «эксклюзива» / «специалитета». Яркий пример — *русская водка*, ср. ее диалектные названия: мордов. (рус.) *русейка* [СРГМ 2: 1099], сиб. *рускáч*, *русско-горькая* [СРГС 4: 194; СРСГСР-Д2: 108] и др. Отмечены также *русская балалайка*, яросл. *русские сапоги* 'у сгонщиков леса — длинные почти до паха сапоги', ряз. *русское кружево* 'кружевной узор шириной в 8,8 см' [СРНГ 35: 272] и пр.

Сдвиг точки зрения наблюдается в тех случаях, когда появляется потребность особым образом выделить какие-либо узколокальные бытовые или социокультурные особенности на фоне общерусских. В этом случае более сильным в номинативном плане членом оппозиции становится название местного феномена, противопоставляемое *русскому*. Эта ситуация проявляется, к примеру, в номинации местных плясок, которые становятся своего рода эмблемой локальной культурной традиции. Так, везде пляшут *русского* (*русскую*), но особо выделяют собственные вариации, ср. костр. *ветлужский*, *ветлугáй* 'пляска, распространенная в деревнях по берегам Ветлуги': «Всюду русский, а у нас своё, у нас ветлужский» [ЛКТЭ]⁹¹.

Названия, обозначающие типично русские реалии, могут иметь оценочную подоплеку, причем оценка эта амбивалентна.

С одной стороны, *русское* — нередко простейшее по технике изготовления. В. И. Даль регулярно использует в своих толкованиях определения *русский* и *простой* как синонимичные: «...*русская соха*, *простая соха*, без полицы», «...трехпольное хозяйство, *простое*, *русское*», «овчина *русская*, *простая*...» [Даль₂ 3: 532, 641; Даль₂ 4: 433]. Отсюда появление негативного оттенка в семантике названий таких реалий, которые не отличаются тонкой выделкой и даже примитивны. К примеру, *русские варежки*, *чулки* и пр. вяжутся в одну нитку — в отличие от *панских*, которые вяжутся в четыре-пять ниток, а потому более нарядны: арх. *русские испóдки* 'рукавицы, связанные одной спицей' [КСГРС], казан., карел. *русские варежки*, *дельни́цы*, *чулки* и т. п. 'изделия, связанные из толстой шерсти в одну нитку': «Варяги, вязанные в пять игол, назвали панские, а шитые одной иглой — русские» [СРНГ 35: 272]⁹². Такой способ заделки углов дома,

⁹¹ Ср. еще названия плясок: новг. *ковряцкий* (← д. Ковряки Новгородск. обл.) [Селигер 3: 55], влг. *рабангский* (← д. Рабаньга Вологодск. обл.) [КСГРС], влг. *святолуцкая* (← д. Святолуцкий Погост Вологодск. обл.) [СВГ 9: 109], арх. *ваганьская* (← р. Вага) [СГРС 2: 5], ленингр. *капишинская* (← р. Капша), *ойтская* (← р. Оять) [СРГК 2: 327; СРГК 4: 362] и т. п.

⁹² С *русскими* рукавицами может связываться также представление о тяжелом физическом труде: арх., влг. *русские испóдки* 'грубые, связанные в два слоя шерсти рукавицы для работы' — арх. *панские испóдки* 'рукавицы, связанные в один слой шерсти' [СРГК 2: 298].

как *русский угол*, является менее аккуратным, чем *немецкий угол*: сиб., хабар. *русский угол* ‘способ заделки угла деревянной постройки, при котором концы бревен выступают из сруба’ — *немецкий угол (чистый угол)* ‘способ заделки угла в деревянной постройке, при котором концы бревен не выступают из сруба’: «Русский угол рубили в охряпку, а это чистый угол, немецкий угол, он рубится в лапу» [СРНГ 35: 272; ФСРГС: 202]. Параллель можно усмотреть в употреблении слов *советский* или *наш* в значении ‘второсортный’, которое наблюдалось в «застойные» годы (противоположно — *импортное*).

С другой стороны, более сильны позитивные смыслы. *Русское* — более **удобное, нормальное**, привычное по способу изготовления, ср. арх. *русский узел*, завязываемый обычным способом, — в отличие от *татарского* (когда конец веревки идет в петлю с другой стороны) [КСГРС]. Русское — то, что **пригодно для использования, «окультурено»**, не является диким. Так, сиб. *русская пучка, русьянка* ‘борщевик рассеченный, *Heracleum dissectum*’ [СРГС 4: 195] образует «антонимическую» пару с приоб. *нерусская пучка* ‘дягиль низбегающий, *Archangelica decurrens* Ldb.’ [Арьянова 3: 141, 161]: борщевик рассеченный используется в пищу, а дягиль низбегающий в пищу не идет, применяясь лишь в народной медицине. Интересно, что при взгляде извне, отраженном в чешских диалектных фактах, оценки зеркально меняются: «русским» становится дягиль низбегающий, а «чешским» — борщевик, ср. чеш. диал. *anjelička česká* ‘*Heracleum dissectum*’ ≠ *anjelička ruská* ‘*Archangelica decurrens* Ldb.’ [Dial-Brno]. Аналогичная пара — приоб. *русская крапива* ‘крапива малая’ и *остяцкая крапива* ‘крапива обыкновенная’ [Арьянова 3: 144, 161]. В первом случае речь идет об однолетней крапиве жгучей, *Urtica urens*, которая используется в народной медицине и в пищу; во втором — о многолетней крапиве обыкновенной, которая больше размером, образует заросли, выглядящие дикими и глухими, и имеет более узкое применение.

В сфере номинации растений сходную семантику имеют дериваты корней *люд-* и *свой-*: дон. *людскóй щавель* (= *свóйский*) ‘щавель домашний’ [БТДК: 272], ряз. *людíный* ‘предназначенный для людей’: «Щавель людиный» [СРНГ 17: 242].

Усиление градуса оценки ведет к трактовке русского как **настоящего** (вгл. *русский* ‘«настоящий»’ [СРНГ 35: 272], ср. разг. *нерусский* ‘неправильный, непривычный, не такой, как все’ [ССРГ: 330]), **лучшего, наиболее ценного**, ср. костр. *русский гриб* ‘белый гриб’ [ЛКТЭ]. Показательно, что среди различных обозначений белого гриба есть и другие оттопонимические номинации, имеющие явное оценочное звучание: мордов. *московский гриб* [СРГМ 1: 160], арх. *москóвик (дорогой гриб)* [КСГРС], арх., карел., петерб. *питерский гриб* [СРНГ 27: 53; СРГК 4: 521; АОС 10: 59].

В сфере оценки интеллектуальной деятельности *русское* = **понятное**: разг. *русским языком говорить* ‘ясно, недвусмысленно, так, что должно быть понятно каждому’, *русским счетом* ‘толком, понятным счетом’ [Даль, 4: 114], *нэрусь* новосиб. ‘о бестолковом человеке’: «Нэрусь говорим, когда ругаемся, у-у,

нерусь, ничто не понимаешь» [СРНГ 21: 147], ‘человек, плохо разбирающийся в чем-л.’ [ССРГ: 331].

Подобные оценки представлены и в деривационных гнездах *люд-* и *мир-*: арх. *людскі-ладом*, влг. *людья* ‘хорошо, правильно, благополучно’ [КСГРС], простореч. *мировой* ‘очень хороший, замечательный’, но сев.-двин. *нелюдь*, ‘глупый, неумелый, неотесанный человек’ [СРНГ 21: 76], влад., костр., перм., смол. *безлюдье* ‘плохой или глупый человек’ [СРНГ 2: 192].

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. *Русское* — это собственно **человеческое** (ср. знаменитое сказочное *Русским духом пахнет*), свойственное **сообществу людей** (арх. *выйти на русь* ‘выйти в люди’ [СГРС 3: 226]), **общественное**, должное быть **«обнародованным»**: новг. *сказать на русь* ‘сказать что-л. в глаза кому-л. при народе’: «Мы не скажем на русь, а меж собой-то про это говорим» [НОС 9: 158], влг. *на русь* ‘каждому встречному, кому попало’: «На русь не скажет эти слова, никому не скажет» [СРГК 5: 585], *все вывела на русь* ‘распахнула душу, все высказала’ [Даль₂ 4: 114], новг. *выходи на русь* ‘возглас водящего при игре в прятки, когда он кого-н. находит’ [НОС 9: 158]⁹³. Если русское связано с сообществом людей, то нерусское может быть даже демоническим: костр. *нерусский* ‘о черте, демоне’ [СРНГ 21: 146], *нерусь* ‘собирает о нечистой силе’ [ЛКТЭ].

«Человеческая» семантика русского имеет характерное уточнение: русским считается **типичное сообщество людей**, т. е. **крестьяне**, жители деревни — в отличие, к примеру, от казаков, солдат: нижегор. *русский* ‘народный, крестьянский’: «Она <песня> русская <мужицкая, не солдатская> была», влад. *русковатый* ‘имеющий оттенок деревенского, крестьянского’, дон. *русак, русский* ‘не принадлежащий к казачьему сословию’ [БТДК: 464; СРНГ 35: 269, 272]. Крестьянская русскость имеет специфические материальные маркеры: *русак* ‘серое, крестьянское, узкое сукно, в 5 вершков’ [Даль₂ 4: 114], *русский дух* костр. ‘запах жилой избы, топящейся печи, выпекаемого хлеба’: «У дачников-то русского духа нет, печь-ту не топят, как мы, деревенские» [ЛКТЭ], твер. ‘о запахе дыма’: «Ат печки-та пирок дымком должын спяхивать, русским духам» [Селигер 6] и др.⁹⁴ *Русским* называют и «крестьянский язык» — диалект, ср. костр. *по-русски* ‘на диалекте, как в говоре’: «Ой, трава — не знаю, как по-научному, а как по-русски сказать — ты засмеёшься», «По-русски-то пестерём называется» [ЛКТЭ]. «Крестьянскую»

⁹³ С этими значениями, а также со значением наружного, которое рассмотрено в рубрике «Пространственная семантика», связана семантика **обнаруженного, выявленного, прояснившегося**: орл. *поднять на русь* ‘открыть, обнаружить в ком-л. что-л. предосудительное; разоблачить’ [СОГ 10: 62], твер. *все вывести на русь* ‘высказать все, что скрывалось’ [СРНГ 35: 274], арх. *на русь показало* ‘стало ясно, понятно, прояснилось’ [Нефедова 2001: 105].

⁹⁴ Показательно, что появившийся в 90-е гг. XX в. образ *новых русских* трактуется носителями говоров именно в русле оппозиции города и деревни, ср. твер. *новые русские* ‘люди, которые приехали в деревню из городов, купили дома и неприветливо общаются с местными жителями’: «Мы их новыми русскими называем, ани ни уважавают» [Селигер 6].

семантику имеют и дериваты корней *мир-*, *люд-*: *мир* ‘община, общество крестьян’ [Даль₂ 2: 330], влг. *людскіе* (в знач. сущ.) ‘крестьяне’ [КСГРС].

У русскости есть и этико-этикетное измерение — «**людскость**», **умение жить в обществе, общительность**: мордов. *расейский* ‘общительный, доброжелательный’: «Тут уш ничяво ни скажыш — паринь он расейский, любую кампанию пьддиржать можьт» [СРГМ 2: 1053–1054]; ряз. *россейский* ‘приветливый, общительный’: «Ты, Тамара, россейская, вся ты развязная, вся ты развитая. Верка — она побоковатей», «Сноха сурьезная, а я-то россейская»; ‘незастенчивый (о ребенке)’: «Такая-то россейская, к кому хошь пойдет, никого не боится» (о маленькой девочке); *россейский парень* ‘простой, компанейский парень’ [СРНГ 35: 191] и др. Ср. дериваты *люд-*, *народ-*, *мир-* в сходных значениях: арх., влг., карел., ленингр. *людскій*, ср.-урал. *людный* ‘общительный, коммуникабельный’ [СРГК 3: 169–170; КСГРС; ДСРГСУ: 290], перм. *народный* ‘то же’ [СПГ 1: 566], но ср.-урал. *ненародный*, твер. *немиролюбивый* ‘необщительный’ [СРНГ 21: 81, 95] и др. Выделенность данной смысловой линии в деривационно-фразеологическом гнезде *рус-* позволяет предположить, что к нему принадлежат и такие «темные» слова, как костр. *нерусім*: «Нерусим неразговорчивый, избегает всех. Он в жизни такой, всегда такой» [ЛКТЭ]; влг., вят., костр. *нерусімый* ‘нелюдимый, замкнутый’: «Нерусимый не могот найти обшшего разговора, в одиночестве живёт», «Нерусимый, неоднократный такой, непослушный, не умеёт жить среди людей» (влг.), «Нерусимая ты какая-то. Нерусимого человека остерегаются: мало ли что на уме у него» (вят.), «Нерусимый вроде как ненародный» (влг.), «Ой какой нерусимый: придёт, ничего не говорит, исподлобья выглядывает» (костр.) [ОСВГ 6: 237; КСГРС; ЛКТЭ]; влг., костр. *нерусімка* ‘нелюдимый человек’: «Нерусимка — значит, мало обращается с человеком» (влг.), «Нерусимки есть у нас — типа козерога. Нет — скорпиона, во. Это неподходящая ни к кому. У них общительности нет, они в основном одиночки такие» (костр.) [КСГРС; ЛКТЭ]; вят. *нерусімко*, *нерусин* ‘о диком, замкнутом человеке’: «Нерусин цистой девка — неважливая» [ОСВГ 6: 237].

Русские — традиционный социум, поэтому в деривационной семантике *рус-* выразительно проявлен мотив **приобщения к традиции**, т. е. (*обрусения*. Это **длительное проживание в одном месте** (костр. *обрусеть* ‘долго жить в каком-л. месте’: «Старожилы тут живут, они уж обрусели — старожилы» [ЛКТЭ]), **привыкание к обществу и его законам, к языку** (*русеть* алт. ‘приспосабливаться к жизни, местным условиям’: «Ну, чо, не понимаешь-то? Русели постепенно — стали понимать, как надо жить, а то работали день и ночью» [СРГА 4: 42]; костр. ‘привыкать, осваиваться, чувствовать себя более уверенно’: «Пришёл ко мне мальчишечка, всего боится. Потом обрусел, освоился, русеть-то начал» [ЛКТЭ]; арх., костр., олон., перм., смол., ср.-урал., тульск., тюмен., чкал. *обрусеть* ‘привыкнуть, обжиться, освоиться; перестать робеть, стесняться’: «*Обрусела* говорили в смысле “привыкла”»; это как раз о молодых говорили: пришла из другой деревни, из другой семьи, у неё

другие привычки были, а вот она пожила тут и обрусела — и стала такая же, как все» (костр.), «Кыда пиряходиш на новья места, пыка ты привыкниш, абрусейш» (смол.), «Вот погоди, обрусее, дак такой же будет, как и ты» (перм.), «Прижились, наши слова стали употреблять, обрусели» (влг.) [СРНГ 22: 213; ССГ 7: 137; Лютикова 2000: 101; КСГРС; ЛКТЭ; ДЭИС]; арх. *обрусить* ‘привыкнуть к кому-, чему-л.; обжиться’ [СРНГ 22: 213]), **приобретение опыта, навыков** (пск. *нарусеть* ‘приобрести навык, умение в чем-н., научиться’: «Ты уш па-нашъму гъварить нърусел» [ПОС 20: 228]). Ср. сходные в мотивационном плане слова, производные от *народ-, челдон-*: костр. *обнародиться* ‘приучиться жить в местных условиях’: «Приехали ветчана <жители Вятки> к нам недавно, какие обнародились, какие нет» [ЛКТЭ], прииртыш. *перечелдонить* ‘переломить чей-л. характер, заставить жить по законам общины’: «Через годик, через два меня, девчонку, доняли: добрым словом и теплом меня перечелдонили» (частушка) [СРСГСП-Д2: 108].

Обрусеть могут и животные, для которых это равнозначно **приручению, одомашниванию**: чкал. *обрусеть* ‘сделаться ручным (о диких животных, птицах)’: «Поймаешь зайца, и домой, он обрусее и живет» [СРНГ 22: 213], костр. *русеть, обрусеть* ‘о диких животных — переставать (перестать) бояться людей, приручаться (приручиться)’: «Заяц как обрусел совсем, так приходит и не боится ничего. Придѣт в деревню и по деревне будет бегать по огородам. Это можно назвать *обрусел*. Эдак, наверно, и про волков, и про всех», «Обрусеть — говорят про молодую дикую лошадь. Она дикая, а потом привыкнет, или собака злая сначала, а потом обрусее», «Я ёжика поймал, он у меня живѣт, обрусел, привык, а без человека, конечно, не русее», «Можно про скотину сказать, что ознакомилась уже, обрусела» [ЛКТЭ]; арх. *обруситься* ‘стать ручным, привыкнуть к человеку’: «Кошка у нас совсем дикая была, из лесу к нам пришла, теперь обрусилась, умница стала» [КСГРС]. Семантический сдвиг ‘освоиться, обжиться’ → ‘стать ручным, домашним’ вполне закономерен, однако можно усмотреть поддержку *обрусеть* в «животном» значении со стороны карел., костр. *обручить* ‘стать ручным’⁹⁵: «Не давалась кошка, а теперя обручала» [СРГК 4: 113; ЛКТЭ] (< *рук-*)⁹⁶.

Семантика *обрусения* дает амбивалентное в плане оценки развитие.

⁹⁵ Ср. значения «темного» вятского слова *нерушнѳй* ‘норовистый, непривыкший к дому, дикий’, ‘нелюдимый, необщительный (о человеке)’ [ОСВГ 6: 237]. Возможно, оно сформировалось в гнезде *рук-* (*нерушной* = *неручной*, т. е. *неприрученный*), но наличие в говорах той же территории слов *нерусимый* ‘нелюдимый, замкнутый’, *нерусимко, нерусин* ‘о диком, замкнутом человеке’ [Там же] говорит о возможности хотя бы контаминации продолжений *рус-* и *руч-*.

⁹⁶ Позволим себе и такое замечание. Как показывают контексты (выше были приведены далеко не все), «субъектами обрусения» довольно часто выступают зайцы. По отношению к ним у глагола *обрусеть* есть омоним: костр. *обрусеть* ‘полинять (о зайце)’: «Дак ведь заяц меняет шкурку свою, зимой на белую, а летом на серую. Ну, заяц-то уж обрусел, стал серый. Или вот обрусел — и скоро зима будѣт» [ЛКТЭ] (< **rud-*, ср. *заяц-русак*). Возможно, семантика приручения отчасти «наведена» значением линьки (= перехода в иное состояние), ср. сходную связь значений в гнезде *выкунеть* костр., урал. ‘покрыться пушистой шерстью’, б. м. ‘приобрести жизненный опыт’ [СРНГ 5: 298–299].

С одной стороны, есть линия положительной оценки. *Обрусение* — это **окультуривание, приобщение к цивилизации**⁹⁷: арх. *вырусеть, изрусеть, орусеть* ‘стать лучше во всех отношениях, культурнее’: «Теперь фсе вырусели» [АОС 8: 161], арх., карел., новосиб., перм. *обрусеть* ‘стать более культурным, грамотным, цивилизованным’: «Нынче обрусела деревня, а хороша стала, народ культурнее стал. <...> с дикого человека стал русский, настоящий» (карел.), «Обрусели люди, дома с верхом строят, просветлеют вроде, обрусуют, не как раньше живут и слава богу» (новосиб.), «Тожно уж маленько обрусели, дак стали станки-то (ткацкие)» (перм.) [АС 3: 98; СРГК 4: 112; СРНГ 22: 213; СРГС 3: 42; КСГРС], костр. *порусеть* [ЛКТЭ], арх. *повырусеть* ‘то же’: «Повырусел народ, не такой стал» [СРНГ 27: 277], перм. *обрусить* ‘то же’: «Дикари были — теперь обрусели» [АС 3: 98], арх. *русеть* ‘становиться более грамотными, культурными, образованными’: «Сейчас-то стали русеть, не такие дикие, какую-то кексу берут в магазине» [КСГРС]. Собственно *Русь* трактуется в этом случае как **культурная, цивилизованная среда**: костр. *русь* ‘о высоком уровне культуры, цивилизации’: «Русь настала у нас, дорогу провели, школу построили» [ЛКТЭ]. Цивилизованная русскость связывается с городской культурой: пенз. *по-русьски* ‘по-городскому (одеваться)’ [СРНГ 30: 105] — и здесь фиксируется энантио-семичное движение семантического «маятника»: от «деревенских» значений *русского* к «городским».

Заметим, что определенную поддержку семантике окультуривания могла оказать идея обтесывания, которая отражена в глаголе *обрусить*, омонимичном по отношению к рассматриваемым здесь дериватам *рус-*: арх. *обрусить* ‘вытесать брус’ [СРНГ 22: 213], *обрусить* (бревно) ‘отесать брусом на четыре грани’ [Даль, 3: 616]. Этот глагол принадлежит гнезду **brusiti* ‘тереть, обдирать, точить’ [ЭССЯ 3: 50], эпизод взаимодействия с которым уже рассматривался выше, и произведен от существительного *брус*, имеющего, кроме литературного значения, широкий спектр диалектных [СРНГ 3: 203–204] и обозначающего разного рода бревна,

⁹⁷ Семантика окультуривания в собственно русской среде во многом поддерживается тем, что в зонах этнических контактов глаголы *обрусеть, вырусеть* и пр. активно употребляются для того, чтобы передать влияние русской культуры на представителей других народов. Как говорилось выше, подобные значения нами не рассматриваются, но приведем для примера некоторые из них: арх., карел. *вырусеть* ‘стать более просвещенным, цивилизованным (воспринять русскую культуру)’: «А как провели машину в Архангельско да как стали онежана ездить через наше место на станцию, вот тебе и вырусела наша Шелекса. А допрежь чудь была чудью» [СРНГ 6: 13–14], перм. *обрусить* ‘в процессе совместной деятельности и жизни передать представителям другого народа навыки культуры, цивилизованного образа жизни’: «А раньше-то они <вогулы> никудышные были. Теперь уж их обрусели» [АС 3: 98], алт. *обруситься* ‘обрусеть’: «Такие есть воротухи, говорят — ничего не поймёшь. Потом обрусились» [СРГА 3/1: 176], карел. *русь* ‘о русской культуре, образовании, распространенных среди нерусского населения: «Русь у нас теперь, вырусели» [СРНГ 35: 274] и др.

несущие балки и пр.⁹⁸ Можно предполагать семантическую интерференцию двух омонимов.

На основе значений освоения, окультуривания формируется более абстрактная семантика **положительно оцениваемого действия, состояния**, ср. костр. *порусеть* ‘стать лучше, качественнее’: «Поначе <получше> делают колбасу, творог-от в магазине, порусели продукты-те» [ЛКТЭ], арх. *вы́руснуть* ‘сделать лучше, исправить положение в лучшую сторону’ «Зьделаеш што-нибудь хорошо, а што-нибудь похужэ, ну, ницево — ф следующей рас вырусьнем» [АОС 8: 161–162], орл. *выйти на русь* ‘пережить трудное время’ [СРНГ 5: 286]. Ср. также приведенные выше *обрусеть*, *выйти на русь* ‘выздороветь’.

Отметим, что для слов *порусеть* ‘стать лучше, качественнее’, *изрусеть* ‘стать лучше во всех отношениях, культурнее’ можно предполагать взаимодействие с гнездом **rudsъ*, ср. приводившиеся выше элементы этого гнезда — *порусеть* ‘посветлеть’ *русеть* ‘зреть, становиться светлее (о зерне в колосьях)’, *изрусеть* ‘побелеть, выцвести (о ткани)’ и др. Слова *порусеть*, *изрусеть* со значением качественной трансформации могли сформироваться в рамках *рус-* ‘светлый’, чему не противоречат ни формальные критерии, ни смысловые (цветовое изменение → качественное). В то же время наличие несомненных дериватов *рус-* ‘Русь, русский’ в «культурных» значениях (например, *русь* ‘о высоком уровне культуры, цивилизации’) при отсутствии засвидетельствованных подобных значений, однозначно соотносимых с *рус-* ‘светлый’, делает «цветовую» версию более слабой. Думается, если взаимодействие гнезд и происходило, то скорее на уровне аттракции, поддержки словесного материала одного гнезда другим.

Возвращаясь к тезису об амбивалентном развитии семантики в гнезде *рус-*, отметим, что, помимо описанной «положительной» смысловой линии, есть и другая, «негативная». Актуализация «деревенской» семантики *русского* дает некоторую смысловую флуктуацию: *обрусение* может трактоваться не как окультуривание, а как проявление **тяжелых следствий деревенской жизни**, ср. влад. *обрусеть* ‘привыкнуть к тяжелой работе; огрубеть’: «Коли есть захочешь, в деревне за работой скоро обрусеешь» [СРНГ 22: 213]; костр. *нарусеть* ‘огрубеть от работы’: «Нарусели руки-те, косила да пахала с детства» [ЛКТЭ]. Возможно, сюда же *обруселый* яросл. ‘огрубевший’ [ЯОС 7: 21], твер. ‘грубый, очерстевший, злой’: «А Кузьминишна на порог не пустит никого, ана абруселая» [Селигер 4: 195].

Вместе с тем *обрусение* может означать **утрату важных и позитивных черт деревенской жизни**: перм. *обрусеть*, *обрусить* ‘приобрести особенности, свойственные городской, промышленной обстановке, утратив при этом в какой-л. мере исконно сельские черты’: «Всё опустело — шум, трактора, машины! А раньше-то

⁹⁸ Кстати, *брус* рифмуется с *Русью*, ср., например, загадку о дороге: «Лежит *брус* / Во всю *Русь*, / Встанет — / До неба достанет» [Садовников 1996: 159, № 1378].

были птицы. Теперь всё обрусело» [АС 3: 99], арх. *изрусеть* ‘измениться, преобразоваться, переродиться’: «Ране-то песни певали, а топерь изрусело всё, топерь-то телевизор» [СГРС 4: 325]. Ср. также контекст к карел. *обрусеть* ‘стать культурнее, цивилизованнее’: «Все обрусели люди нонецька, раньше жили — Богу молились, теперь не верят, ныне-то, говорят, обрусело всё» [СРГК 4: 112].

Усиление негативной линии ведет к тому, что *обрусение*, *выход на русь* трактуются как **отвыкание от своей среды** (влад. *обрусеть* ‘отвыкнуть от кого-, чего-л.’: «Он в городе живши от всего деревенского обрусел <отвык>» [СРНГ 22: 213]), **отрыв от нее** (арх. *выйти на русь* ‘оторваться от своей среды’: «В деревне жил, жил, да вышел на русь и начал сам себя высоко ставить» [СГРС 2: 226], костр. *обрусеть* ‘побывав в городе, вести себя заносчиво по отношению к жителям деревни’: «Пожил в Костроме парень, обрусел, с нами как с дураками говорит» [ЛКТЭ]).

Отрыв от среды для деревенского жителя выливается в **асоциальное поведение**: костр., ср.-урал. *обрусеть* ‘нарушить запреты, обнаглеть’: «Тебя стювают <делают замечания>, а ты совсем обрусел», «Обрусел совсем — это обнаглел. Ну, совсем обрусел» (костр.) [ЛКТЭ; СРГСУ 3: 29], смол. *нарусеть* ‘стать бойким, развязным’: «Жил в городе и троху нарусел» [СРНГ 20: 137]. Ср. также ряз. *россёйский* ‘смелый, бойкий’: «Ну, она не боится, она россейская девка» [СРНГ 35: 191] (близкое по смыслу, но с положительной оценкой).

Эти значения закономерны и имеют в русских говорах хорошую системную поддержку — со стороны дериватов *люд-* (калин. *залюдеть* ‘загордиться’, арх. *залюднеться* ‘начать важничать, много о себе думать’ [СРНГ 10: 227]) и со стороны производных от названий крупных городов (влад., моск. *намосквичиться* ‘перенять ловкость москвичей’ [СРНГ 20: 41], дон. *начеркаситься*⁹⁹ ‘усвоить говор и манеры горожан’ [СРДГ 2: 176], смол. *обпиптериться* ‘приобрести городские манеры, лоск’, ‘стать бесцеремонным, наглым’: «По яровому начал ходить. Обпиптерился» [СРНГ 22: 189], влг. *напиптериться* ‘приобрести негативные манеры жителя большого города’: «Уехала учиться, дак напиптерилась, чубырится <высокомерно подшучивает> над нами» [КСГРС]).

Далее — **одичание, запустение** (карел. *обрусеть* ‘стать заброшенным, прийти в запустение’: «Все уезжают, так дома всё стары стали, разрушились, всё пусто стало, обрусело всё, нищего не стало, плохо ето» [СРГК 4: 112], влг. *изрусеть* ‘опустеть, обезлюдеть’: «Деревня была большая, а ноне вся изрусела», ‘прийти в негодность, обветшать’: «Хлев-от давно уж изрусей весь, а починить некому» [СВГ 3: 16]), а в применении к человеку — **физическая и интеллектуальная деградация** (влг. *обрусеть* ‘одичать, чуждаясь общества, общения с людьми’: «Бабка у тебя всё одна и одна, совсем обрусела», «Может, где-то в лесу долго жил. Ой, говорят, обрусел он, не такой нормальный, как человек, который в семье рос»

⁹⁹ Очевидно, образовано от названия города *Новочеркасск*.

[СВГ 6: 6; КСГРС]; костр. *порусѣть*, *обрусѣть* ‘обезуметь, сойти с ума’: «Если пьяный напился — обрусел. С ума сошёл — тоже обрусел» [ЛКТЭ]). В качестве параллели можно привести влг. *в люди опустить* ‘оставить без ухода, запустить’: «Земельку-то матушку не опустили в люди <в войну>, не заросла кустарником, не запустили» [СРГК 3: 169].

Следует дать комментарий к негативной семантике огрубления, запустения, деградации.

Во-первых, появление в диалектной лексике значений, варьирующих от «плюса» к «минусу», может быть отражением различных по времени оценок состояния сельского социума.

Во-вторых, эти значения могли возникнуть в результате логического разворачивания цепочки *обрусения* → изменения → перерождения → вырождения. Начиная со второго звена, цепочка разворачивается уже без связи с первоначальной идеей «русскости», а подчиняясь только внутренней логике, направляемой амбивалентностью признака изменения. Иногда дает о себе знать и социокультурная подоплека развития семантики: отказ от деревенского в пользу городского воспринимается как вырождение, но и «наращивание» деревенского трактуется как огрубление и косность. И та, и другая оценка может быть внутренней позицией носителя крестьянской культуры, хотя во втором случае она, вероятно, формируется «бриколажем», через попытку посмотреть на деревенскую жизнь глазами горожанина. О возможности развития негативных значений на базе собственных ресурсов идеи *обрусения* говорит и приведенная выше фразеопараллель *в люди опустить*. Вообще, движение *в люди* во многом синонимично движению *на русь* — и процесс этот осмысляется в языке неоднозначно, отнюдь не только положительно: *отдать* кого-то *в люди* — не только способствовать повышению его социокультурного статуса, но и в известной мере снять с себя ответственность за этого человека, осуществить отчуждение, которое и оборачивается своими отрицательными последствиями, разрывом с породившей средой и пр. (подробнее см. [Березович 2006]). Подобным отчуждением грозит, очевидно, и *выход на русь*.

В-третьих, значение ветшания и опустошения у глагола *изрусеть* сформировано, по всей видимости, отрицательной приставкой *из-*, в то время как производящий глагол *русеть* имеет противоположное значение.

В-четвертых, вновь можно предположить внешние влияния, т. е. взаимодействие с другими гнездами (или даже формирование некоторых из приведенных выше слов на их основе) — прежде всего с гнездом **brusiti* ‘тереть, обдирать, точить’, о котором дважды говорилось выше. От слова *брус* производны новг., пск. *брусѣть* ‘становиться твердым (о вымени, грубеть)’: «Брусее вымя, каменеет» (пск.), «Брусья, когда молоко брусее, вымя у коровы становится грубым, твёрдым» (новг.) [НОС 1: 92; ПОС 2: 182], курск. *брусѣть* ‘твердеть’: «Нарыв-то у него стал брусеть», ‘твердеть, терпнуть, грубнуть’: «Нарыв или вымя брусее»

[СРНГ 3: 205], пск., твер. *обрусеть* ‘затвердеть, набухнуть (о нарыве)’ [СРНГ 22: 213], *обрусеть* (от *брус*, *брусок*) ‘окрепнуть, отерпнуть, за(на)грубнуть, опухнуть и отвердеть’ [Даль, 2: 616]. Взаимодействие с производными *брус-* можно предположить для *обрусеть* ‘привыкнуть к тяжелой работе; огрубеть’, *обруселый* ‘огрубевший’, ‘грубый, очерствевший, злой’. Следует ли считать, что эти слова возникли именно в гнезде *брус-*, а не *рус-*? Словообразовательно и семантически эта версия вполне приемлема, однако имеются аргументы и в пользу *рус-*: 1) есть глагол *нарусеть* ‘огрубеть от работы’, который практически идентичен *обрусеть* ‘привыкнуть к тяжелой работе; огрубеть’ и не может считаться производным *брус-*; 2) явные производные от *брус-* со значением огрубления имеют, кажется, узкую сочетаемость (применимы к нарыву и вымени, ср. также новг. *брусья* ‘мастит’ [НОС 1: 93]), но не фиксируются применительно к человеку. Поэтому мы рассматриваем слова *обрусеть* и *обруселый* в составе гнезда *рус-* и учитываем также возможность контаминации с продолжениями *брус-*. Не отрицается и версия о производности от *брус-*, однако ее мы склонны считать менее вероятной (по крайней мере, нуждающейся в дополнительном обосновании).

Значения физической и интеллектуальной деградации (*обрусеть* ‘одичать, чуждаясь общества, общения с людьми’, ‘помутиться рассудком’) тоже необходимо проверить на связь с **brusiti*. Предположение о такой связи небесспорно: 1) в рамках **brusiti* фиксируется семантика сдирания, обрывания, обтесывания (ягод, головок льна, семян, ветвей и т. п.), дающая при дальнейшем развитии значение увядания (оголенный ствол, ветви вянут, ср. влг. *обрусеть* ‘завять, засохнуть (о ягодах)’ [СРНГ 22: 213]), для которого возможен следующий смысловой шаг — ‘одичать’; 2) семантика деградации может, кажется, эксплуатировать и образ бруса: **обрусеть* = «стать неподвижным, бесчувственным, подобным бруссу». Однако и версия о связи с *рус-* вероятна, ибо в ее пользу свидетельствуют близкие факты, для которых она достоверна: карел. *обрусеть* ‘стать заброшенным, прийти в запустение’, влг. *изрусеть* ‘опустеть, обезлюдеть’, костр. *порусеть* ‘обезуметь’. Поэтому мы склоняемся к тому, чтобы включить спорные слова в гнездо *рус-*, вновь констатируя возможность контаминации гнезд, материальной и смысловой поддержки одного из них другим¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Вообще, вопрос о связи данных гнезд или о принадлежности тех или иных фактов к одному из них требует отдельной проработки. В настоящей работе, в силу ее задач, материал организован так, чтобы показать семантический спектр гнезда *рус-*, куда предварительно мы включаем все релевантные в словообразовательном и смысловом плане факты. Лексические единицы, которые хотя бы в каком-то одном отношении «перевешивают» в пользу **brusiti* / **brъsnoti*, здесь не приводятся, ср., к примеру, петерб. *обруснеть* ‘опуститься, утратить опрятность, подтянутость’, ‘стать безнадежным (о тяжело больном)’ [СРНГ 22: 213–214]: кажется, по словообразовательным основаниям эти слова следует скорее отнести к **brusiti* / **brъsnoti*. Нужен дополнительный сбор материала и работа со всем объемом гнезда **brusiti*, чтобы дать более точный ответ о спорных фактах. Тогда, возможно, приведенные здесь выкладки подвергнутся корректировке.

Наконец, слова со значением деградации могут испытывать влияние и со стороны **rudsъ* ‘светлый’ (ср. присутствующие в нем значения линьки, потери обычной окраски). Думается, это влияние проявляется на уровне аттракции, которая, возможно, подпитывает и отчасти направляет собственные потенции гнезда *рус-* ‘Русь, русский’.

Итак, несмотря на неоднозначное (гетерогенное?) происхождение некоторых из рассмотренных выше слов, несомненно, что семантика социального статуса и социального поведения, представленная в гнезде *рус-*, имеет амбивалентные в плане оценки проявления, свидетельствующие о смене точки зрения говорящего.

Религия. Русское связывается с **православием**, но не старообрядчеством: нижегор. *россейский* ‘православный’: «Я россейский, не раскольник», р. Урал *русский* ‘православный (о вере)’: «Казашка веру русскую брала, если выходила замуж за казака, ну, перкрестёна была» [Малеча 3: 554]; сиб. *русские* ‘православные’: «Что ты, тварь, в русские не окрестился» [СРНГ 35: 272, 191]. При взгляде из европейской части страны *русская вера* противопоставлена *сибирской*, которая трактуется как кержацкая, раскольничья, старообрядческая, ср. яросл. *сибирская вера* ‘старообрядчество’: «У нас русская вера, сибирской-то нету» [ЛКТЭ]. Эта номинация появилась вследствие обобщения сибирского раскольничества до статуса «общесибирской конфессии». В то же время при взгляде с территории Сибири *сибирская вера*, наоборот, трактуется как православная, противопоставляясь старообрядческой: забайк. *сибиряк* ‘православный русский старожил Сибири (в отличие от семейских старообрядцев)’, *сибирский* ‘православный, не старообрядческий’ [СРГС 4: 296; СГСЗ: 427]. Здесь вновь проявляется «плавающая» точка зрения, в этот раз — на *сибирское* (подробнее об этом см. [Березович, Кривошапова 2011]).

Подключение оценки выводит *русское* за пределы собственно конфессиональной семантики и сообщает ему коннотацию святости, ср. костр. *обрусить* ‘освятить новое жилье: переселяясь туда, окропить ее святой водой, внести иконы и пр.’: «Придешь в новую избу, святой водичкой обрусить всё везде», «В новый дом переходишь — обрусить надо избу, побрызгать водичкой, иконы поставить» [ЛКТЭ]. Ср. также устойчивое сочетание *святая Русь*.

* * *

Подводя итоги, сформулируем основные семантико-прагматические особенности деривационно-фразеологического гнезда *рус-/рос-*.

1. В изучаемом гнезде представлены два основных блока значений — **пространственный** и **социальный**.

Географическое пространство Руси, отраженное дериватами топонима *Русь*, — это, в первую очередь, ее центр (Москва) и Европейская Россия. В зависимости от точки зрения говорящего из этого пространства могут исключаться

«боковые» территории — Сибирь, Белое море (кроме побережья), места проживания казаков по Дону и Яику и др. Вне конкретных географических ориентиров *русское* — это местное, это среда обитания, окружающая человека, с ее естественной (не селекционированной, не завезенной извне) флорой и фауной. В то же время *русским* считается обязательно освоенное пространство, заселенное людьми, возделанное, открытое, долинное (и далее наружное, видимое глазу, заметное), — в противопоставлении лесу, морским глубинам, горам и т. п. Это пространство качественно оценивается: оно светлое, центральное, удобное, подходящее. Оно то сужается до узкого окружения говорящего, то разрастается до всего мира, *белого света*.

Социальная семантика *русского* прежде всего включает в себя указание на личное пространство и физическое состояние человека, для которого *русеть*, *русовать*, *быть на руси* = *быть в себе*, хорошо себя чувствовать. *Русское* — это вообще «свое», помогающее освоить чужое, поэтому неизвестные и новые реалии внешнего мира нередко номинируются через указание на связь с «исконно» русской реальией. *Русское* характеризует традиционный образ жизни и быт: является самодельным, не фабричным, наиболее распространенным и типичным (и противопоставлено «чужому» — *немецкому, польскому, мордовскому* и др.). При этом *русское* вновь меняет свои границы — от общерусских до узколокальных. Оценка предметного мира, трактуемого как *русский*, амбивалентна: эти предметы просты по технике изготовления и даже примитивны — но вместе с тем удобны, пригодны для использования, «окультурены». Отсюда трактовка *русского* как настоящего, лучшего, наиболее ценного, а в ментальном регистре — понятного, разумного. С точки зрения социального статуса *русское* — собственно человеческое, свойственное сообществу людей, должно быть обнародованным, вынесенным *на русь*, т. е. *в люди*. *Русским* считается в первую очередь традиционное сообщество — крестьяне (в отличие от казаков и солдат). «Русскость» понимается даже как черта характера — умение жить в обществе, общительность, коммуникабельность. Важнейший смысловой пласт концепта *русского* — *обрусение*, т. е. приобщение к традиции: длительное проживание в одном месте, привыкание к сообществу и его законам, приобретение необходимого опыта и навыков. *Обрусение* оценивается неоднозначно. С одной стороны, есть линия положительной оценки, поскольку оно подразумевает окультуривание, приобщение к цивилизации. С другой стороны, у *обрусения* есть разнонаправленные негативные следствия: оно не только проявляет тяжесть деревенской жизни, дающей огрубление физическое и нравственное, но и ведет к утрате важных и позитивных черт этой жизни, разрыву человека с породившей средой, асоциальному поведению и даже запустению / опустошению — социальному и личностному. «Русскость» осмысливается и в религиозных терминах: *Русь святая*; *обрусить* = освятить. В конфессиональном плане *русское* = православное.

2. В лексике изучаемого гнезда ярко проявляется смена фокуса эмпатии, «плавающая» точка зрения говорящего. Именно из-за этого *русское* варьирует от местного до общерусского, от личного до общественного, от деревенского до городского и пр. Эти особенности во многом объясняются тем, что *русский* — **автоэтноним**. Данный разряд этнонимов в разных языках мира включает в себя слова с внутренней формой «мы», «люди, народ», «настоящий», «наши, свои», «мужчины» и др. Подобные связи обнаруживаются и в речевом употреблении изучаемого этнонима, который может в текстах заменяться словами *мы, народ* и т. п. Как показано выше, эти связи прослеживаются в организации деривационного гнезда *рус-*, сходной с устройством гнезд слов *люди, мир, народ, свой, реже* — *человек, челдон*. Так же, как и *русский*, эти лексические единицы имеют богатый оценочный потенциал и способны проявлять в своей семантике (исходной и деривационной) указание на позицию говорящего. Ср., к примеру, слово *люди*, которым нам приходилось специально заниматься [Березович 2006]. В гнезде *люд-* обнаруживаются взаимоисключающие смыслы, актуализация которых зависит от смены точки зрения на то, кто включается в понятие «люди»: «крестьянский, народный» — «городской»; «добропорядочные граждане» — «воры, преступники»; «хороший» — «плохой» и др. Неоднозначна в плане оценки и семантическая «панорама» сочетаний *выйти в люди, добрые люди* [Там же]. *Люди* и *русские* обнаруживают номинативную аналогию в значениях «крестьянский, народный», «общительный, умеющий быть в обществе», «обнародовать», «культурный, «городской»».

Вновь обратим внимание на высокую степень типологичности наблюдаемых семантических явлений: признаки, служащие мотивирующими при создании автоэтнонимов как класса лексики, воссоздаются и в дальнейшем, в ходе процессов деривации на их основе, семантическая ретроспектива проецируется на перспективу.

3. Несмотря на отмеченные свойства, сближающие слова *русский* и *Русь* с именами нарицательными, они все же относятся к **проприальной лексике**. За счет этого в изучаемом гнезде богато представлены конкретные значения таксономического плана (терминологические обозначения видов растений, животных, предметов быта и пр.).

4. В организации изучаемого гнезда обнаруживаются не только черты, приносимые этнонимом *русский*, но и топонимом (**макротопонимом**) *Русь*. Границы пространства, очерчиваемого макротопонимами, нередко являются подвижными — и тоже зависят от точки зрения, позиции номинатора. Это характерно не только для *Руси*, но и для *Москвы, Сибири, Кавказа* и др. (например, о «плавающих» границах *Сибири* в русском языке см. в [Березович, Кривошапова 2011]). *Русь* имеет системные связи с *Москвой* (в первую очередь), *Сибирью, Питером* и др.

5. Системные связи *русского* и *Руси* включают как отношения номинативной «синонимии» (**аналогии**), так и «**антонимии**». «Синонимы» были перечислены выше; «антонимы» разнообразны и ситуативны — это главным образом

обозначения народов, с которыми русские конфликтовали, или их территориальных (этнических) соседей (ср. оппозиции *русский* — *немецкий*, *русский* — *якутский*, *русский* — *польский* и пр.).

В системных отношениях *Руси* и *русского* тоже отражается смещение точки зрения: внутри одной и той же пары оттопонимических (отэтнотонимических) дериватов могут наблюдаться то «синонимические», то «антонимические» отношения. Так, *русский* не только дает «синонимию» по отношению к *московскому* (примеры были приведены выше), но и противопоставляется ему. Ср., например, пару *русский сарафан* ‘сарафан с пуговицами посередине, обложенный спереди гарусной тесьмой’ — *московский сарафан* ‘круглый, клинчатый, закрытый (высокий)’ [Даль₂ 4: 114]: здесь проявляется оппозиция общерусского и «местного», московского.

6. Из вышесказанного следует, что лексема *русские* (так же, как *люди* и др.) в некоторых случаях (нерегулярно) обнаруживает в своем языковом поведении действительные свойства, т. е. проявления, так сказать, **нетривиального дейксиса**. Эти свойства наблюдаются не столько на уровне речевой идентификации, сколько в пространстве семантико-словообразовательного гнезда.

7. Естественны изменения описанной картины при взгляде на русское из пространства других языков. Эти изменения могут касаться отдельных значений, в которых проявляется «русскость». Так, семантика *русского* как местного, самодельного, представленная в русском языке, заменяется в коми семантикой привозного, «магазинного»: коми *роч* («русский») ‘привозной, фабричный, приобретенный в магазинах’: *рочь додь* ‘праздничные сани’, *роч ной* ‘фабричное сукно’, *роч нянь* ‘хлеб, купленный в магазине’ [КРК: 566]. Еще пример. Если у нас *русским бобом* считается боб обыкновенный (в оппозиции *турецкому бобу* — фасоли, см. выше), то в польских говорах «русским бобом (стручком)» называют другое растение: *ruski strąk* ‘паприка, стручковый перец, *Capsicum annuum*’: «Z ruskim strąkiem czyli papryką» [KSGP]. Польское название мотивировано тем, что перец проникал в Польшу, в частности, из России, а на юг России — из Турции и Ирана. Разумеется, при таком пути распространения в России перец не считается «русским».

Трансформируются при взгляде извне и системные связи «русского». Выше приводился пример, показывающий, что оппозиции *русская пучка* ≠ *нерусская пучка* соответствует в чешских говорах пара *anjelička česká* ≠ *anjelička ruská* с зеркальной меной оценок. Ср. также русско-немецкую номинативную «перебранку» с привлечением образов черного и рыжего тараканов, которые используются народами для уничижительной характеристики друг друга, русско-финский «диалог» с помощью названий созвездий и др. (см. в [Березович 2007: 417, 456–459]; см. также параграф 2.1.1 данной монографии, с. 193–194). Изнутри противопоставляется «русское» и «турецкое»: к примеру, в русском языке различаются *русская баня* и *турецкая баня*: действующим началом в турецкой бане является нагретый мрамор самого помещения и воздух с влажностью до 100 %; русская баня — не мраморная, а деревянная, в парилке более сухой, чем у турок, пар.

Для носителей западноевропейских языков эти реалии являются «этнографизмами», они могут их различать, если включают какую-то из них в зону собственного непосредственного опыта. Но в повседневной жизни эти встречи очень редки — и наивное языковое сознание не разграничивает данные реалии, обобщая их на основе ситуации «моются, когда очень жарко», ср. англ. *Russian bath = Turkish bath* [OED-1989/14: 295], нем. *russisches Bad = türkisches Bad* [Komenda 2003: 82].

Важно было бы каталогизировать случаи подобных трансформаций — и это имеет смысл не только для изучения наивных представлений народов друг о друге, но и для совершенствования методики семантико-мотивационной реконструкции. Это позволит сделать более корректными и «работающими» собираемые этимологами сопоставительные разноязычные ряды, составленные этнонимическими дериватами.

8. Гнездо *рус-* испытывает влияние со стороны близких в формальном и смысловом отношении гнезд, его контуры формируются с учетом процессов аттракции. Это гнезда **brusiti* ‘тереть, обдирать, точить’, **ru(d)s* ‘рыжий, светлый’, **rōka* ‘рука’¹⁰¹. Наиболее вероятна аттракция в случае взаимодействия гетерогенных омонимов, функционирующих в одних и тех же говорах (так, в костромских говорах отмечаются все возможные варианты омонимов: *обрусеть*, *обрусить* 1 < *рус-* ‘русский’, *обрусеть*, *обрусить* 2 < *брус-*, *обрусеть* 3 < *рус-* ‘светлый’).

1.4.2. «РУССКАЯ» ПИЦА В ЗЕРКАЛЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Что «знает» язык о том, какие блюда и продукты распространены и производятся в России, любимы русскими и могут быть названы «русской пищей»? Для ответа на этот вопрос можно привлечь к анализу самые разнообразные факты: названия кушаний, которые имеют в своем толковании смысловой компонент, указывающий на типичность блюда для русской кухни; данные психолингвистических экспериментов (реакции на стимул «русская пища» и т. п.); высказывания

¹⁰¹ Эти «партнеры» изучаемого гнезда рассматривались в работе, но их список не является исчерпывающим. Так, производные *rus-* ‘русский’ испытывают притяжение к производным *prus-* ‘прус, прусский’. Эта аттракция проявляется как внутри русского языка, так и вне его. В русском языке притяжение этнонимов «оттеняет» их смысловую противопоставленность. В других европейских языках возможна и «синонимия» этнонимических производных. Притяжения проявляются на разных уровнях. Во-первых, наблюдаются семантико-номинативные аттракции. Показательны, к примеру, пары наименований тараканов в различных диалектах и языках: рус. влг., твер. *русáк* ‘вид таракана’ ↔ литер. *прусáк* ‘рыжий таракан’, арх., влг. *русский таракан* ‘черный таракан’ ↔ влг. *пруцкий таракан* ‘рыжий таракан’, ср. также румын. *prus = rus* ‘рыжий таракан’, карел. *russakka* ‘черный таракан’ ↔ *prusakka* ‘рыжий таракан’ [Березович 2007: 426–427], польск. диал. *rus = prus* ‘таракан’: «Ruz je brudnyj: rusy abo prusy» [Pluta 1973: 141]. Во-вторых, происходят притяжения на уровне словообразования: итал. *russiano* ‘тот, кто родился и живет в России’ (при стандартной форме *russo*) образовалось по образцу формы *prussiano* [Battaglia 17: 268]. В-третьих, осуществляются текстовые притяжения, ср. хорв. «Što od sedamdeset godina neprestano i grozno knutom i Sibirom čini u Poľskoj Rus... to je isto... useo de čini prosvijetljeni Prus» [RHSJ 14: 899].

носителей разных лингвокультурных традиций о том, какие блюда они считают русскими; названия рецептов из кулинарных книг, образующих разделы, которые посвящены русским кушаньям, и т. п. Это огромный материал, требующий не одной монографии для своего освещения. В настоящем параграфе наше внимание будет сосредоточено лишь на небольшой (но, думается, ядерной) его части. Если иметь в виду системно-языковую информацию (как наиболее устойчивую, прошедшую естественный отбор языковым узусом), то следует опереться в первую очередь на те лексические единицы, которые **образованы от этнонима «русский» или топонима «Русь, Россия»,** — как отдельные слова, так и фразеосочетания с участием этнонимического (топонимического) прилагательного¹⁰². Такие факты могут встречаться и в русском языке, и в иностранных, проявляя, соответственно, **внутреннюю и внешнюю точки зрения** носителей языка на объект обозначения.

Две эти точки зрения могут совпадать: к примеру, устойчивые сочетания *русская икра, русская водка, русская горчица, русские блины* фиксируются в русском языке и имеют корреляты во многих других языках мира. Характерно, что в этот ряд входят обозначения далеко не всех блюд, которые изнутри считаются символами русской национальной кухни. Здесь нет, к примеру, несомненных *щей* и *каши* (ср. поговорку «Щи да каша — пища наша»): очевидно, их «исконность» настолько естественна, что не нуждается в дополнительной маркировке. Кроме того, подобные блюда существуют в различных кулинарных традициях — и русская каша во многих своих вариантах подчас не имеет принципиальных отличий, скажем, от немецкой или финской. Больше шансов получить маркировку «русскостью» изнутри имеют своего рода национальные пищевые «бренды», в том числе названия предметов экспорта, к которым относятся те же икра и водка. Получается, что внутренняя маркировка в известной мере дается с опорой на внешнюю.

Эта ситуация характерна для лексики общенародного языка. Что касается частных языковых идиомов, например, диалектов, то в них номинативная

¹⁰² Среди них могут быть имена нарицательные и имена собственные. К последним относятся главным образом названия блюд и продуктов, функционирующие в меню кафе, ресторанов, являющиеся торговыми марками, обозначениями предприятий общепита и т. п., например: рус. «*Русский пончик*» — наименование выпечки, «*Русские напевы*» — сорт конфет, «*Русская булка*» — название профессионального училища, англ. «*Russian bear*» («русский медведь») — название коктейля из водки, ликера-какао и сливок. Подобные имена не рассматриваются в настоящей работе: они появляются по законам искусственной номинации — и имеют несколько иную целеустановку, нежели нарицательные обозначения кушаний, сложившиеся в условиях «естественного отбора». При создании искусственных имен маркер «русскости» в рекламно-имиджевых целях может быть добавлен практически к любому наименованию продукта. Об особенностях функционирования слов *русский, Россия, российский* в современной пищевой рекламе и названиях продуктов см. в [Еда по-русски 2013: 253–259]. В то же время провести четкую границу между нарицательными и собственными именами в ряде случаев невозможно, здесь фиксируется ряд фактов промежуточного характера, которые попадают в поле нашего внимания.

необходимость в маркировке «русскостью» может проявляться под воздействием несколько иных механизмов. Русское может пониматься как что-то наиболее простое в изготовлении, распространенное и типичное для определенной локальной традиции, ср., к примеру, иван. *русáк* ‘булка из серой муки’ [СРНГ 35: 267], костр. *русская каша* ‘каша из муки, заваренной кипятком’: «Повалиху всё или <ели>, русскую кашу. Перва каша в наших краях» [ЛКТЭ]. Кроме того, русское иногда маркируется в оппозиции к названию сходного продукта (имеющего при этом различия в способе изготовления или употребления в пищу), использование которого приписывается другим народам или территориальным группам. Ср., к примеру, антитезу *русское масло* — *чухонское масло*: «У нас не пахтают, а мешают масло, перетопив молоко. То пахтаемое или битое масло, *чухонское*, а это мешаное, топленое, *русское*. Все чудские племена пахтают масло» [Даль, 3: 23].

В целом следует заключить, что внутренняя точка зрения дает относительно малое количество «русских» названий пищи.

В этом параграфе нас будет интересовать по преимуществу иной объект изучения — функционирующие **за пределами русского языка** обозначения пищи, которые содержат непосредственные указания на ее «русскость» (т. е. образованы от соответствующего этнонима), но либо не имеют эквивалентов в русском, либо же русские соответствия характеризуются другой мотивацией, нежели в иностранных языках.

Мы ни в коей мере не претендуем на полный, систематичный и сбалансированный охват языковых фактов и языков. В работе используется весьма неравномерный языковой материал: данные словарей (литературных, диалектных и др.), содержащих выкристаллизовавшуюся в узусе информацию, которая пропущена через сито лексикографического отбора, соседствуют с фактами, не попавшими в словари (записанными автором в зарубежных поездках, сообщенными коллегами из разных стран, извлеченными из интернет-ресурсов). Эти данные относятся к различным временным пластам, отражают разные этапы в истории взаимодействия России и зарубежных стран. Учитывая это, мы старались давать некоторые историко-лингвистические и культурологические комментарии к рассматриваемым языковым единицам, однако заведомо признаем неполноту таких комментариев: корректный анализ потребовал бы рассмотрения каждой национальной лингвокультурной традиции во всей совокупности конкретных языковых «реакций» на русскую пищу и их исторической динамике.

Можно ли оправдать эти недостатки отбора материала, его представления и анализа? Оправданий несколько.

Во-первых, изучаемые факты во всех языках принадлежат, как правило, народно-разговорной стихии, балансируют на стыке диалекта, просторечия, жаргона и разговорного стиля литературного языка, а потому не имеют четкой социолектной «привязки», — и такого рода «скользящий» материал хуже всего фиксируется словарями. Эти же качества материала могут помешать верификации

его языковым сознанием носителей языка: в ходе работы не раз приходилось сталкиваться с тем, что факт, сообщенный кем-либо из говорящих на каком-то определенном языке, был известен далеко не всем иным опрошенным носителям того же языка (из-за социолектных различий в возрасте, месте проживания, круге общения и т. п.). При доверии к источнику материала с подобными трудностями верификации приходится мириться.

Во-вторых, изучаемые лексемы и устойчивые сочетания производны от этнонима, а этнонимические дериваты нередко содержат характеристики и оценки (как правило, негативные) этническими соседями друг друга, что обеспечивает им некоторую «неполиткорректность». По этой причине они не включались во многие словари, — особенно в странах социализма в советское время. С такой спецификой материала мы сталкивались и при написании предшествующих работ по этнонимическим производным, что заставляло изыскивать крайне пестрые факты из самых разных источников, оговаривая причины этой пестроты (подробнее см. в [Березович 2007: 117, 415]).

В-третьих, рассматриваемые языковые единицы иногда представляют собой некую переходную ступень от имен собственных к именам нарицательным (об этом говорилось выше), что тоже мешает включению их в словари. Таким образом, извинением неоднородности изучаемых данных может служить, по нашему мнению, необходимость привлечь внимание к этому «трудноуловимому» материалу и осуществить его первичный сбор (пусть выборочный).

Наконец, специфика отбора и анализа материала оправдана, думается, тем, что здесь ставится задача рассмотреть **общие механизмы**, позволяющие **приписать извне объектам номинации свойство «русскости»** — и не просто приписать, а напрямую эксплицировать его в производных от этнонима «русский» или топонима «Русь», а также сопоставить внешнее и внутреннее осмысление «русскости». Культурно-языковые феномены, которые наделены этим свойством, имеют разную мотивацию и различное соотношение факторов объективного и субъективного при формировании знака. Степень субъективности наиболее высока в тех случаях, когда внешний взгляд маркирует как «национальные» (русские) те реалии, которые не считаются таковыми изнутри (или даже расцениваются принципиально иначе, как типичные для инонациональной культуры).

Обозначим группы иноязычных наименований «русской пищи», которые отражают градацию объективной vs субъективной информации о ней.

Наиболее объективны наименования блюд и продуктов, действительно распространенных в России и типичных для нее, но не получивших в русском языке закрепленной «русской» маркировки. Среди них встречаются названия традиционной деревенской пищи, которые наиболее ожидаемы в языках народов, имеющих бытовые контакты с русскими, проживающих по соседству, в том числе на территории

России, ср., к примеру, марийск. *руш торык* («русский творог») ‘творог с молоком’ [СМЯ 6: 81]. Есть и обозначения «городской» пищи, с которой иностранцы знакомятся вследствие торговых контактов (экспорта), ср., к примеру, чеш. *ruská zmrzlina* («русское мороженое») ‘пломбир в брикете на вафлях’ [ЛЗА]. Кроме того, имеются названия продуктов питания, с которыми, возможно, иностранцы встречались в русском общепите (или в гостях у русских друзей и знакомых): нем. *russisches Quarkkäulchen*¹⁰³ («русский творожный шарик») ‘сырник’ [АВВУ Lingvo x 5]¹⁰⁴.

Как бы то ни было, в этих случаях носитель русского языка легко опознает продукты из национального меню и признает их «русскость», но экспликация последней в особом наименовании оказывается для него излишней. Извне специфичность этих блюд как раз оказывается номинативно релевантной — либо как этнографическая особенность, либо как своего рода торговая марка¹⁰⁵.

Среди наименований продуктов, входящих в национальный рацион питания, представлена и другая группа. Образующие ее названия содержат — при о б ъ е к т и в н о м в ы д е л е н и и д е н о т а т а — с у б ъ е к т и в н у ю (обычно ироничную) о ц е н к у продукта, проистекающую из его сравнения с другим, не таким типичным для России, не столь распространенным в ней (а при этом иногда более ценным и питательным). Ср. польск. жарг. *ruska cytryna* («русский лимон») ‘лук’, *ruskie sadlo* («русское сало») ‘колбаса’, *ruskie maslo* («русское масло») ‘маргарин’¹⁰⁶ [Stepniak 1993: 424]. Если в признании колбасы «русским салом» можно увидеть шутивное сопоставление двух национальных гастрономий, при котором «ранг» обоих продуктов примерно одинаков, то отождествление лука с лимоном, маргарина с маслом проявляет более низкую оценку первого в паре продукта в сравнении со вторым. По сути, дается оценка не только

¹⁰³ Показательно, что и производящее немецкое слово со значением ‘творог’ (*quark*) является славянским (нижнелужицким) заимствованием (< н.-луж. *twarog*) [Kluge₂₄: Quark!], т. е. родственно рус. *творог*.

¹⁰⁴ Кстати, о «русских» ассоциациях некоторых сладких блюд из творога свидетельствует и нем. *Russischer Zupfkuchen* («русский “щипковый” пирог») ‘традиционный немецкий сладкий пирог, готовящийся из шоколадного теста, мягкого творога и ванильного пудинга’ (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Руссишер_Цупфкухен). Как указывается в данном источнике, название пирога современным немцам непонятно. Можно предполагать, что «русскость» такого пирога объясняется тем, что в России издавна употреблялся более сладкий и жидкий творог, чем во многих западных странах. Большое спасибо Л. Киришаум (Вена) за информацию об этом блюде.

¹⁰⁵ Нередко такие специфические блюда получают «русские» наименования в меню ресторанов и кафе. К примеру, в некоторых кафе Литвы подают крепкое спиртное с луком и маринованным огурцом, которое имеет название, отражающее литовский стереотип русского застолья, — *Rysiškos išgertivės* («русская выпивка») [сообщено А. Гудавичюсом].

¹⁰⁶ Последнее наименование, очевидно, появилось в те голодные годы (начало перестройки?), когда вместо масла в магазинах можно было купить лишь маргарин или другие «маслоподобные» продукты. Ср. также рус. простореч. *профсоюзное масло* ‘горчица’ (URL: <http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:15:64950>).

продукту, но и в целом национальной кухне, где распространены подобные весьма «примитивные» кушанья (а в случае с маргарином и колбасой — «ненатуральные»). Такая номинативная модель является по преимуществу внешней, однако иногда встречаются и «внутренние» языковые единицы подобного рода, ср. рус. простореч. *русские роллы* ‘огурцы с салом’ [сообщено Т. А. Агапкиной], *русский йогурт* ‘порционный стаканчик с водкой’ (URL: <http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:15:64950>)¹⁰⁷ и др.

В следующей группе наименований проявлена субъективность иного плана — субъективность формирования собственно денотата. Иными словами, русской национальной кухне приписываются блюда, которые, с внутренней точки зрения, не распространены в России или нетипичны для нее.

Субъективность формирования денотата может проистекать, кажется, из двух источников: во-первых, она может корениться в особом видении географии России (расширение границ России, сужение их и др.); во-вторых, в своеобразном понимании пищевых привычек русских, в которых преломляются представления о материальной культуре и быте страны, а также национально-психологические стереотипы.

Вот пример, в котором эти источники субъективности сочетаются. В польской кухне весьма популярны *pierogi ruskie* («русские пироги») ‘вареники, начиненные картошкой или творогом’ [ISJP 2: 61; Komenda 2003: 82]. В ходе наших посещений Польши на протяжении почти пятнадцати лет нередко разыгрывался следующий сценарий: то одни, то другие польские коллеги-филологи обращали внимание русских гостей на это блюдо, угощали им в различных кафе и ресторанах, — и мы, в качестве сверки культурно-языкового опыта, обязательно спрашивали друг друга, почему оно так названо. Обычно эти разговоры не приводили к решению вопроса, что свидетельствует о забвении мотивировки в современном польском языковом сознании (и отсутствии ее в русском). Оживленная дискуссия о названии этого блюда произошла между польскими филологами в Люблине в сентябре 2010 г. во время конференции «Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów» («Ценности в лингвокультурном образе мира славян и их соседей»). В итоге ее участники, кажется, пришли к выводу о том, что в данном обозначении отражена специфическая семантика прилаг. *ruski*, характерная для польского языка. Дело в том, что, помимо собственно значения ‘русский’, это слово может недифференцированно характеризовать восточных славян, а также означать принадлежность к ближайшим по отношению к полякам восточным славянам — украинцам. В данном конкретном случае *ruski* стоит трактовать как ‘украинский’: вареники — излюбленное блюдо украинцев

¹⁰⁷ По предположению К. Келли, в случае с *русским йогуртом* в качестве мотивирующего выступает не только признак «русскости» водки, но и самоирония русских по поводу того, что водка считается в России «здоровой пищей».

[данную версию наиболее подробно обосновал Е. Бартминьский]. Уже после описанной дискуссии для этой версии нашлось подтверждение: в говоре Бялой Подляски (на востоке Польши, на территории, граничащей с Украиной) то же самое блюдо называется *pierogi ukraińskie* [Тугра 2011: 103]. И еще один поучительный факт: в Америке вареники с картофелем подаются в некоторых ресторанах и продаются в качестве замороженного блюда под названием *Polish pierogies (pierogi, perogies)* [сообщено М. Якубович, А. Н. Кушковой]¹⁰⁸. Это как нельзя лучше отражает характерную особенность этнонимических производных: при их миграции из языка в язык первоначальное название этноса во внутренней форме может заменяться другим, более актуальным в новых культурно-языковых условиях.

К рассмотренной выше основной мотивации названия *ruskie pierogi* добавляется дополнительный мотивирующий момент в духе оппозиции «свое — чужое»: вареники эти начинаются «простонародной» картошкой¹⁰⁹ и по вкусу уступают аналогичным польским блюдам, что указывает на некоторый оттенок «плебейства» в стереотипе украинца и русского глазами поляков [эту версию предложил Ян Адамовский]¹¹⁰. Трудно сказать, появились ли эти мотивировки одновременно — или вторая возникла позднее. Главное, что обе релевантны природе подобных этнонимических образований и могут быть реконструированы языковым сознанием.

Ниже будут представлены зарисовки, посвященные названиям четырех конкретных блюд или продуктов. Они являются развернутыми иллюстрациями к высказанным выше положениям.

РУССКАЯ СЕЛЕДКА

Речь пойдет и собственно о рыбе, и о приготавливаемых из нее блюдах, поскольку их названия теснейшим образом метонимически связаны. Сюжет о «русской селедке» интересен тем, что в данном случае одно и то же обозначение прилагается извне и изнутри к сходным (но не тождественным) реалиям и имеет разные мотивировки.

В славянских языках встречаются наименования различных разновидностей сельди, для которых можно предполагать образование от *rus-* ‘русский’. Так, ЕСУМ, комментируя укр. *rusak* ‘крупная селедка’, приводит в качестве

¹⁰⁸ В Интернете можно найти многочисленные рецепты этого блюда; см., в частности, в (URL: <http://allrecipes.com/recipe/grandmas-polish-perogies/>).

¹⁰⁹ Есть и другие свидетельства того, что простейшие блюда из картошки могут квалифицироваться извне как любимая пища восточнославянских народов. Так, в ресторанах Америки встречается блюдо под названием *Russian potatoes* («русский картофель») — нарезанная кубиками вареная картошка, приправленная укропом и чесночным маслом [сообщено А. Н. Кушковой].

¹¹⁰ По мнению К. Келли, этот стереотип, помимо «плебейства», может подразумевать и «жлобство».

сопоставительного материала рус. *русак* ‘наибольшая простая сельдь’, чеш. *rus* ‘российская сардина’, словац. *rus* ‘вид небольшой рыбы, шпрота’ и указывает: «Не совсем ясно, быть может, связано с *Русь*» [ЕСУМ 5: 146]. Думается, об этой связи стоит говорить с большей степенью уверенности, однако в плане мотивации представленные в ЕСУМ факты несколько разнородны.

При «внутреннем» взгляде «русской» считается в первую очередь к р у п н а я ч е р н о м о р с к о - а з о в с к а я с е л ь д ь: рус. азов., днепр. *русак* ‘черноморско-азовская проходная сельдь’ [СРНГ 35: 267], черномор. ‘самая крупная, простая сельдь’ [Даль₂ 4: 114]. Это наименование мотивировано, во-первых, локативным признаком: сельдь с зимы по весну обитает в России, в Черном море, а затем идет на нерест во «внешнюю» Европу — в такие реки, как Дунай, Днестр, Буг. Во-вторых, в названии просматривается оценка качеств сельди: «русскость» сочетает в себе признаки стандарта (распространенная, «простая», типичная сельдь) и эталона (крупная сельдь — такая, какой она должна быть). Этот качественный признак проявлен и в наименовании сельди, зафиксированном далеко от черноморской зоны, ср. новг. *русская селедка* ‘сорт сельди’: «Русская селедка большая, пять копейцев» [СРГК 5: 584].

«Внешним» взглядом «русская сельдь» видится иначе. Это либо б а л т и й с к а я с е л ь д ь, либо ш п р о т а, либо с а р д и н а: чеш. *rus* ‘балтийская сельдь’ [Machek 1968: 525], *rus, ruska sardinka, rusňáček* ‘маленькая маринованная рыбка, русская сардинка’ [PSJČ 4/2: 1075, 1077], словац. *rus* ‘шпрота обычная’ [SSJ 3: 894], словен. *rús, rúsel* ‘маринованная сельдь с большой луковицей’ [SSKJ 4: 556], польск. диал. *rusy* ‘маринованные сельди’ [SGŚC: 294] и др. Такие же значения могут развивать дериваты топонима «Москва», ср. польск. *moskal, moskalik* ‘маленькая рыбка, известная в торговле под названием «российская сардинка»’ [SW 2: 1047], диал. *moskal* ‘маринованная рыба в соусе с луком’: «Moskole są to małe rybki marynowane w puszkach. Troche większe od sprotok» («Москали — маленькие рыбки, маринованные в луковом соусе. Немного побольше шпрот») [KSGP], укр. *москалик* ‘род морской рыбы’ [Гринченко 2: 447], диал. *москал* ‘маринованная сардинка’ [Горбач 1965: 64]. Здесь в первую очередь отражены представления о балтийских шпротах, которые производились в Прибалтике и в Калининграде, откуда их завозили в Европу (шпроты считаются русскими, поскольку прибалтийские республики входили в СССР, а Калининград находится на территории Российской Федерации).

Что касается «русской сардинки», то под этим именем известны продукты, не имеющие ничего общего с настоящими сардинами (кроме «бренда»): на Украине (Балаклава) *русские сардины* в масле готовили из хамсы или анчоуса; в Австрии и Германии «русскими сардинами» называли мелкую породу сельди (кильку), приготовленную на манер анчоусов со специальным острым соусом (URL: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=877500>).

Наконец, появление и функционирование рассматриваемых названий в известной мере определяется стереотипным представлением о пищевых привычках русских: селедка (с луком) — распространенная в России закуска (часто под водку).

РУССКИЙ ЧАЙ

В данном случае реалия маркируется извне¹¹¹. При этом «русский чай» в различных «внешних» языках — славянских и романо-германских — имеет разные (не совпадающие друг с другом) мотивировки.

- Во-первых, так может называться чай, выращиваемый на территории России (на Северном Кавказе), ср., к примеру, укр. *русский чай* ‘краснодарский чай’ [сообщено О. В. Меркуловой], англ. *Russian tea* ‘чай, растущий на Кавказе, или напиток, сделанный из него’ [OED-1989/14: 295].

- Во-вторых, в ряде европейских стран (главным образом славянских) «русским» называют натуральный черный чай: польск. диал. *Ruski tej, ruska herbata, arbata* («русский чай») ‘натуральный чай, *Thea chinensis*’: «Dobra je ta czarna ruska arbata» («Хорош этот черный русский чай») [KSGP; Тугра 2011: 113], словац. *ruský čaj* ‘черный чай в отличие от настоя каких-л. листьев или трав’ [СлРС: 451], чеш. *ruský čaj* ‘то же’ [VČRS: 897], словен. *ruski čaj* ‘настоящий чай, из листьев чайного дерева’ [SSKJ 4: 556], серб. *русски чай* ‘растение *Thea chinensis*; напиток из его листьев’ [Симоновић 1959: 465; РСХКJ 6: 835].

Сочетание «русский чай» известно и В. И. Далю, но он указывает, что оно употребляется «за границей» [Даль, 2: 230]. В России, по свидетельству Даля, ту же реалию называют *китайский (яхтинский) чай*: китайский чай шел сухопутным путем через Кяхту в центральную Россию, а затем в Европу (этот путь способствовал лучшей сохранности чая). В Европу чай мог «приплыть» и по морю — в этом случае он назывался *кантонским* [Там же]. Как указывают исторические источники, «транзит» чая для русских купцов (особенно московских, контролировавших чайную торговлю с конца XVIII в.) был очень выгоден: к примеру, в 1834 г. через Москву в Польшу было отправлено чая примерно на 200 тысяч рублей [Соколов 2012: 99].

Таким образом, славянские обозначения натурального чая с внутренней формой «русский чай» мотивированы тем, что в соответствующие страны чай попадал через Россию.

¹¹¹ Во внутреннем употреблении сочетание *русский чай* тоже возможно, но в несколько ином смысле: не как обозначение напитка, а скорее, трапезы, церемонии чаепития, ассоциирующейся с самоваром, пирогами и т. п. Небольшой опрос носителей русского языка (в нем участвовало 15 человек разного возраста и образования) о том, как они понимают смысл сочетания *русский чай*, выявил, что говорящие склонны связывать эту идиому именно с трапезой, а не собственно с напитком (и вообще сомневаются в устойчивости данного сочетания).

Здесь же стоит упомянуть о немецком названии натурального черного чая — *Russisch Teefix*, которое встретилося нам (написанное на упаковке чайных пакетиков) в Австрии. Австрийские коллеги затруднялись объяснить наименование (говорили, что это «обычный чай»), но одна мотивационная версия все же была предложена: «русский чай» — очень крепкий напиток, такой крепкий, что его необходимо разбавлять (обычно молоком), — а р у с с к и е, очевидно, л ю б я т п и т ь и м е н н о к р е п к и й ч а й¹¹². По всей видимости, в таком объяснении соединяются как представление о «натуральности» чая, так и стереотип, приписывающий русским любовь к разного рода крепким напиткам (ср. ниже — о трактовке «русского чая» как водки).

• В-третьих, в некоторых романо-германских языках «русским» называют чай с лимоном и (факультативно) с а х а р о м или р о м о м, который может подаваться в стаканах: англ. *Russian tea* ‘любой чай, в который добавляется лимон или ром’ [OED-1989/14: 295], ‘чай по-русски (с лимоном и сахаром)’ [Рубцова 2009: 392; АБВУУ Lingvo x 5], ‘чай с лимоном (подается в стаканах)’, ‘чай, в который добавлен ром и специфически сервированный лимоном’ [АБВУУ Lingvo x 5], нидерл. *Russische thee* ‘чай с лимоном’ [БНРС: 614]¹¹³. Встречаются попытки объяснить приверженность русских к чаепитию с лимоном. По популярной версии, путешествуя по России так уставали от ее долгих и тряских дорог, что боролись с укачиванием с помощью кислых продуктов: представителям менее зажиточных сословий подавали на станциях квашеную капусту и соленые огурцы, а богатым — чай с лимоном (URL: <http://www.nirvana.fm/blog/16992/>; URL: <http://www.tea.ru/247-4516.html/>). На французских интернет-ресурсах излагаются легенды о том, что этот вкус был изобретен в 1950-е гг. чаепроизводителем по фамилии Даман (Dammann), чья супруга, русская, добавляла в чай апельсиновый сок [сообщено Г. И. Кабаковой].

¹¹² От души благодарю И. В. Киселеву (Вена) за информацию об этом продукте и о том, как некоторые австрийцы осмыслиют его название.

¹¹³ Во французском языке тоже отмечаются сочетания *thé russe* («русский чай») или *thé goût russe* («чай с русским вкусом»), однако они, вроде бы, не являются широко известными. Так говорят о чае с цитрусовыми, ср. поэтическое описание вкуса этого напитка: «Чай с <русским вкусом> обязан своим успехом изысканным ноткам своего аромата. В страну снегов цитрусовые привозят издалека. Лимоны, зеленые лимоны, нежный апельсин, горький апельсин, грейпфрут, бергамот подчеркивают основу вкуса, которую составляет черный, реже — зеленый чай. В чашке царят амбровые цвета, затмевающие самые благородные сорта виски. Пряный вкус и теплый медно-красный оттенок, ничем не уступающий полотнам фовистов, то ли призывают осень, то ли бросают вызов зиме. В тумане этого <аромата, который можно пить>, мы предаемся приятным мыслям о шоколадном пирожном, апельсиновом торте. За завтраком этот чай пробуждает в нас хорошее настроение и желание простых радостей, распространяет аромат прекрасного сочного апельсина, подкрепленный запахом гвоздики» (URL: <http://www.saveursdumonde.net/produits/articles/the-russe/>, пер. с франц. Д. В. Спиридонова).

К такого рода объяснениям вряд ли стоит относиться серьезно¹¹⁴, однако традиция добавлять в чай дольку лимона действительно широко распространена в России (при этом сами русские вряд ли признают ее «национальный» характер).

Представление о том, что русские добавляют в чай лимон и другие фрукты, может творчески развиваться, обрастая другими кулинарными стереотипами, связанными с русскими, — и рождаются рецепты невиданных смесей, называемых *Russian tea*. Вот один из таких рецептов, изложенный на англоязычном кулинарном сайте: на одну часть настоящего чая надо взять две части «танга» (фруктового вкуса), добавить сахар, лимонад с сахаром, корицу, гвоздику (URL: <http://www.cooks.com/rec/view/0,1718,154165-251205,00.html>). Очевидно, здесь проявляется представление о приверженности русских к восточной кухне с ее пряностями и об их любви к чрезвычайно сладким и насыщенным блюдам (об этом см. далее, в рубриках «Русские блюда с майонезом», «Русский бутерброд»).

Такую особенность русского чаепития, как использование стаканов, отмечал еще Дюма-отец, считавший, что из стаканов пьют в России мужчины (а женщины — из чашек китайского фарфора). Особенно активно стаканы применялись в советских заведениях общепита и в поездах (с обязательными подстаканниками), что не могло быть не замеченным иностранцами.

• В-четвертых, есть еще одно понимание «русского чая», связанное со способом приготовления и сервировки: англ. *Russian tea* ‘чай, который наливают из заварочного чайника в чашку, а потом доливают в нее кипятка (в отличие от обычного для британцев способа, когда чай готовится в большом фаянсовом чайнике, а потом разливается по чашкам)’ [сообщено Н. Б. Вахтиным]. По словам Н. Б. Вахтина, встретив такое название в буфете Эдинбургского музея (в ассортименте предлагаемых напитков), он поинтересовался у буфетчицы, что оно означает, и получил ответ: «It’s like normal tea but with hot water in it» (Это похоже на нормальный чай, но с горячей водой в нем). При этом на лице буфетчицы было «выражение ужаса и отвращения». Очевидно, такой способ приготовления чая напоминает шотландцам разбавление водой пива, других видов спиртного или какое-либо иное пищевое «мухлевание»¹¹⁵. Русское слово *заварка* не имеет в английском точного аналога (ср. англ. *brewing*) и в ряде источников при описании русской

¹¹⁴ Кажется, *Russian tea* как ‘чай с лимоном’ отмечается в источниках в более позднее время, нежели эпоха путешествий по России на лошадях: так, OED датирует первую фиксацию этого значения «русского чая» 1952 г. [OED-1989/14: 295].

¹¹⁵ По мнению К. Келли, для понимания контекста, в котором возникло данное выражение, значительно и то, что шотландцы любят крепкий чай, поэтому слабый может вызвать у них негативную реакцию. Кроме того, название чая может отражать желание администрации заведения пойти навстречу русским гостям.

чайной церемонии передается как *zavarka*. Англоязычные сайты при описании приготовления *Russian tea* указывают на необходимость сделать сначала некий концентрат, а затем разбавить его горячей водой (URL: <http://www.cooks.com/rec/view/0,1718,154165-251205,00.html>).

• В-пятых, русским чаем иногда называют «н е н а т у р а л ь н ы й» чай — напиток (обычно растительный) не из листьев чайного дерева или растение, из которого готовится такой напиток: польск. диал. *Ruski tej* ‘чай из липового цвета’: «*Ruski tej — tej z lipowego kwiescia*» («Русский чай — чай из липового цвета») [KSGP], болг. диал. *руски чай* (функционирует также вариант без определения *руски — чай*) ‘растение душица обыкновенная, *Origanum vulgare*’ [Ахтаров 1939: 224, 501]. Эти факты, возможно, имеют следующие объяснения: 1) в России («типичной» России, если не иметь в виду Кавказ) не выращивается натуральный чай, значит, русский чай — не настоящий, а растительный суррогат; 2) у русских распространена практика пить травяные настои, в том числе чай из душицы и липы. Для болгарского сочетания *руски чай* можно предполагать такую номинативную историю: в названии отражена болгарская традиция заваривать душицу, поэтому душица получила название *чай*, а затем добавилось определение *руски* — под влиянием известного сочетания *руски чай*.

К этим трактовкам русского чая близко еще одно понимание его — как напитка на основе м е д а. Так, «The Oxford English Dictionary» фиксирует контекст (датируемый 1799 г.), в котором настоящим русским чаем названа горячая «смесь меда, воды и испанского перца» [OED-1989/14: 295]. Очевидно, речь идет о сбитне — старинном русском напитке из меда, воды и пряностей (травяных сборов).

Вернемся к собственно травяным чаям. Говоря об их «русскости», следует упомянуть также напиток из иван-чая (кипрея), известного в русском языке как *копорский чай* ‘растение кипрей, *Epilobicum angustifolium*’ [Даль₂ 2: 1]. Напиток получил свое наименование по селу *Копорье* в Ломоносовском районе Ленинградской области (ранее древнерусский город), где его изготавливали. Указывают, что этот напиток был не только популярен в России, но и издавна экспортировался в Европу, где был назван «русским чаем» [Ильинич 2011; Söukand 2013]. Интернет-источники, рекламирующие этот чай в связи с попыткой возобновить его производство, пишут о том, что он составлял мощную конкуренцию индийскому, из-за чего чайная компания, торговавшая последним, раздула скандал (якобы русские перетирают чай вредной для здоровья белой глиной¹¹⁶). Как бы то ни было,

¹¹⁶ Суждение о «неполноценности» чая из кипрея отражено и в словаре В. И. Даля: «Он идет на подмеску чаев, обще со спитым чаем, из гостиниц» [Даль₂ 2: 1]. Историк И. А. Соколов, посвятивший свою монографию чаю и чайной торговле в России в конце XVIII — начале XX вв., указывает, что *копорским чаем* называли суррогат, использовавшийся для фальсификации чая [Соколов 2012: 346]. Контексты, фиксирующие восприятие такого чая как «ненастоящего», есть и в художественной литературе: «— Слово зверобой пьешь. — А то бывает копорский чай. — Есть и копорский, только он ненастоящий» <М. Е. Салтыков-Щедрин>.

в современных словарях иностранных языков не удалось обнаружить упоминаний о «русском чае» из кипрея (это не исключает реальной возможности существования таких языковых единиц в прошлом — и их влияния на номинативную модель, в рамках которой «русский чай» обозначает какие-либо травяные настои).

Вообще, популярность «географических» названий сортов чая привела к появлению шутиливой модели номинации чайных суррогатов: «прилагательное, указывающее на место, где не произрастает настоящий чай + существительное со значением «чай»». Целый ряд таких названий приводит И. Рыстонова: чеш. *čaj evropský* ‘липа сердцевидная, *Tilia cordata*’, *čaj německý* ‘вереск обыкновенный, *Calluna vulgaris*’, *čaj švýcarský* ‘будра плющевидная, *Glechoma hederacea*’, *thé uherské, thé římské* ‘марь амброзиевидная, *Chenopodium ambrosioides*’ [Rystonová 2007: 93, 331]. Из липы, вереска и будры готовят травяные чаи; что касается амброзиевидной мари, то ее не заваривают в чай, но используют для изготовления масла с резким, неприятным камфорным запахом: отсюда понятно, что названия мари имеют более сильный «градус» насмешки, чем другие обозначения из вышеприведенного ряда. Вот еще наименования растений, из которых готовят напитки (применяемые прежде всего в народной медицине): рус. *калмыцкий чай* ‘пьяничник, *Rhododendron chrysanthum*’ [Даль, 3: 549]; *сибирский (монгольский) чай* ‘камнеломка, *Saxifraga crassifolia* L.’: «Листья старые, пролежавшие под снегом, собирают и употребляют калмыками вместо чая» [Анненков 1878: 317]; *мансийский чай* ‘лабазник вязолистный, *Spiraea ulmaria* L.’ [Колосова 2009: 110], нем. *europäische Thee*, рус. *чай европейский* ‘вероника лекарственная, *Veronica officinalis*’ [Анненков 1878: 377], франц. *thé d’Europe* ‘то же’, *thé de France* ‘шалфей лекарственный, *Salvia officinalis*’ [АВВУ Lingvo x 5]. В рамках «суррогатной» модели акцент может ставиться не только на месте употребления «ненастоящего» чая, но и на месте его изготовления, ср. рус. устар. *рогожский чай* ‘поддельный чай, который изготавливался у Рогожской заставы Москвы» [Соколов 2012: 347].

Есть аналогичная модель с участием «кофе», ср. арх. *федоровцевский кофе* ‘напиток из чаги и сама чага (произрастающая на деревьях в урочище Федоровцевская в Красноборском районе Архангельской области)’: «Берёза лопнет, сок натекает; он вкусный, федоровцевский кофе» [КСГРС], нем. *Schwedischer Kaffee*, рус. *шведский кофе* ‘астргал, *Astragalus boeticus*’ [Анненков 1878: 56], серб. *шведска кафа* ‘то же’ [Симоновић 1959: 59].

• В-шестых, идиома «русский чай» используется для шутиливого обозначения в о д к и: чеш. диал. *ruský čaj* ‘водка’ [Dial-Brno], англ. жарг. *Russian tea* ‘водка, названная так благодаря обычаю публичного распивания ее из кофейных чашек или походных кружек. Обычно этот прием используется, чтобы дезориентировать начальство или полицейских’ (URL: <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=russian%20tea>). Мотивировка здесь прозрачна: согласно распространенному стереотипу (выше уже говорилось, что он является как внешним,

так и внутренним), водка — «национальный» напиток русских. Ср. близкие примеры: в ресторанах Бельгии кофе с водкой называется *café russe* (франц.) [сообщено А. В. Юдиным]; в одном из польских ресторанов («Mandrąga», Люблин) мы встретили название *kawa po rosyjsku* («кофе по-русски») по отношению к кофе с зубровкой (и тростниковым сахаром)¹¹⁷. Модель, в рамках которой алкогольные напитки насмешливо именуется чаем, а «изобретение» такого «чая» приписывается жителям определенной местности (как правило, соседям), является весьма устойчивой, ср. чеш. диал. *valašský čaj* («валашский¹¹⁸ чай») ‘водка с корицей, гвоздикой и медом’ [Kazmír 2001: 393], рус. костр. *татарский чай* ‘самогон’ [Даль₂ 4: 598], польск. *herbata po góralski* ‘водка’ («чай по-гуральски») [сообщено М. Якубович], серб. *шумадијски чай* ‘горячая сладкая ракия’ [сообщено А. А. Тарасьевым] и др.¹¹⁹

РУССКИЕ БЛЮДА С МАЙОНЕЗОМ

Русские яйца. **Русский соус.** «Русские яйца» вызывают, пожалуй, наиболее сильное «внутреннее недоумение» по поводу выделенной извне реалии. Никто из опрошенных нами носителей русского языка (около 80 человек) не считал устойчивым сочетание *русские яйца* и не смог догадаться, какому из русских блюд иностранцы могли бы дать такое название.

Это блюдо — яйца под майонезом, наделяемые «русскостью» в западнославянских и романо-германских языках: чеш. *ruské vejce* [VČRS: 897], словац. *ruské vajce* [СлРС: 451], англ. *Russian egg* ‘яйцо вкрутую с майонезом’ [АВВУУ Lingvo x 5], нем. *russische Eier* ‘фаршированные яйца под майонезом’, нидерл. *Russisch ei* ‘яйцо «в мешочек» с помидором и майонезом’ [БНРС: 614], итал. *uova alla russa* («яйца по-русски») ‘яйца, обильно приправленные майонезом’ (URL: garzantilinguistica.sapere.it), франц. (бельг.) *omelette russe* ‘половина крутого яйца под майонезом’ [сообщено А. В. Юдиным].

Недоумение русских по поводу блюда и его названия вызвано во многом тем, что русское культурно-языковое сознание уверенно приписывает майонез (слово и реалию) французам.

Как же появились в западноевропейских языках «русские яйца»? Можно предложить два объяснения.

¹¹⁷ Подобные «чайные» или «кофейные» наименования существуют на фоне более широкой модели, фиксируемой во многих языках мира, когда «русскость» приписывается разнообразным напиткам, в состав которых входит крепкое спиртное. Ср., к примеру, собственные имена — обозначения целой серии коктейлей: англ. *Black Russian*, *White Russian cocktail*, *Gay Russian* и др., которые сейчас можно встретить в меню баров и ресторанов разных стран (это коктейли на основе водки, а другие компоненты варьируют — кофейный ликер, сливки, вишневый ликер и т. п.).

¹¹⁸ Имеется в виду Валахия — этнографический район на северо-востоке Моравии.

¹¹⁹ Эта модель может быть расширена за счет обозначений наркотиков, ср., к примеру, англ. *Texas tea* («техасский чай») ‘марихуана’ [АВВУУ Lingvo x 5].

Первое из них — «от б ы т а». В России в советское время (с конца 1930-х, а особенно с 1950–1960-х гг.) майонез получил широчайшее распространение — и популярен по сей день. В исследованиях по истории кулинарии указывается, что стремительное нарастание потребления майонеза в стране началось в сталинскую эпоху, когда он стал включаться в продуктовые наборы, выдаваемые по карточкам. Считается, что в настоящее время почти 90 % россиян регулярно употребляют майонез, — и этот показатель является одним из самых высоких в мире¹²⁰. С «майонезацией» питания в России в последнее время стали бороться сторонники здорового образа жизни, утверждающие, что обильное сдабривание майонезом самых разных блюд (особенно салатов) не только добавляет нам лишние калории и бьет по желудку, но и «камуфлирует» несвежую пищу (пока эта борьба, кажется, не очень результативна: до сих пор о приближении крупных праздников можно узнать по продуктовым сумкам граждан, набитым многочисленными пластиковыми упаковками этого продукта).

Кроме того, в меню советских столовых на самом деле нередко включалось такое блюдо, как яйца под майонезом (точнее, две половинки одного яйца). Автор этих строк хорошо помнит его по своим посещениям школьных и студенческих заведений городского общепита, поселковых и сельских столовых, где мы бывали во время экспедиций. Вариации, вносимые в это блюдо, вроде бы, были незначительны: иногда добавлялся консервированный зеленый горошек, иногда майонез заменялся сметаной. Эти воспоминания относятся к концу 1970-х — началу 1990-х гг. (а коллеги постарше, наверное, могут спустить временную планку «вниз»). Потом популярность этого украшения общепита пошла на убыль, и сейчас оно встречается весьма редко. В домашнем меню это блюдо, кажется, распространено меньше, чем в «столовском» (и если встречается, то в составе более сложных «конструкций» — например, фаршированных яиц)¹²¹.

Во всех этих построениях неясна только одна деталь: когда именно в европейских языках появились «русские яйца» — в период сталинизма в России (во время «майонезного расцвета») или раньше? В рамках настоящей работы трудно решить этот вопрос, поскольку это потребовало бы глубокого знакомства с соответствующими текстами. Думается, возможно и более раннее возникновение интересующего нас сочетания.

«Русскость» приписывается не только яйцам, но и соусу (закуске) на основе майонеза: чеш. диал. *ruská omáčka* («русский соус») ‘соус на основе майонеза’ [Dial-Brno], англ. *Russian dressing* («русский соус») ‘острая закуска на основе

¹²⁰ Майонез стал ярким символом рациона русских. «Майонезность» питания отмечается как извне, так и изнутри. К примеру, команда КВН «Уральские пельмени» посвятила майонезу песню, в которой есть такие слова: «Майонез, майонез! Ты был дистрофик, через год тяжеловес. Майонез, майонез! Превращает “Доширак” в деликатес».

¹²¹ В современных записях британского Интернета сочетание *Russian eggs* тоже нередко употребляется по отношению к фаршированным яйцам.

майонеза' [OED-1989/14: 295], франц. *à la Russe* («по-русски») 'заправленный соусом на основе майонеза и икры, смешанным с жирными (сливкообразными) частями омара или лангуста с добавлением небольшого количества горчицы': «Côtelette de saumon à la Russe» («Котлета из семги а ля рус») [Trésor 14: 1364].

Думается, причина «майонезации» русского меню в изображении иностранных языков кроется не только в реальном распространении майонеза в России. К аргументу «от быта» следует подключить второй аргумент — «от стереотипа».

В европейских странах бытует устойчивое представление о восточных свойствах русской кухни, в частности, об ее приверженности к острым и жирным блюдам. Русская кухня в этом смысле приравнивается к «татарской». О стереотипных свойствах последней можно судить хотя бы по сочетанию «татарский соус»: состав этого продукта во многом напоминает майонез, ср. словен. *tatarska omaka* 'майонезный соус с солеными огурчиками, каперсами, петрушкой и луком' [SSKJ 5: 36], нем. *Tatarensoße*, польск. *sos tatarski* 'холодная закуска из яичного желтка, соленых огурцов, растительного масла, уксуса, горчицы и пряностей, которая чаще всего подается к рыбе' [Komenda 2003: 94], чеш. *tatarská omáčka* 'вид пикантного соуса' [PSJČ 6: 47], англ. *tartar(e) sauce* 'татарский соус (густой холодный соус из майонеза с нарубленными каперсами и луком; обычно подается к рыбе)', франц. *sauce tartare* 'горчичный соус (майонез с каперсами и горчицей)' [ABBYU Lingvo x 5] и др. В наших магазинах и меню ресторанов *татарский соус* тоже попадает (хотя, пожалуй, он не так известен, как за границей; по крайней мере, соответствующее сочетание не включается в основные толковые словари русского языка).

Современные носители татарского языка и культуры, кажется, не признают этот соус типичным для национальной кухни (мы опросили более десяти человек из разных городов — преимущественно Татарстана) — так же, как русские не считают своим блюдом яйца под майонезом. Но внешний стереотип силен, и язык объективирует его ярко и отчетливо¹²².

Русский салат. Обратимся к названию блюда, которое извне тоже считается русским (и называется «русский салат»), а изнутри чаще всего приписывается французам не только на уровне представлений, но и в системе языка (о чем косвенно говорит название *оливье*, а напрямую — его вариант *французский салат*). Убеждение во французском происхождении салата не мешает русским считать его своим излюбленным блюдом, символом застолья (обычно праздничного, особенно новогоднего, ср. хотя бы наименование телевизионного шоу в новогоднюю ночь на основном канале российского телевидения — «Оливье-шоу»). «Простым» носителям языка вторят филологи и культурологи, называющие

¹²² Согласно предположению К. Келли, соус мог получить название из-за того, что первоначально подавался с *steak à la tartare* (сырым рубленным бифштексом). Для понимания выражения важно учесть и то, что «татарской» в XIX в. могли назвать также среднеазиатскую кухню.

этот салат «прецедентным», «культовым» блюдом для русских [Еда по-русски 2013: 510, 511]. Культурная история салата в России и восприятие его глазами современных российских информантов описаны в увлекательной и доскональной работе А. Н. Кушковой [Кушкова 2005].

Рассмотрим «внешние» названия блюда: словен. *ruska solata* ‘салат из мяса, майонеза и некоторых овощей’ [SSKJ 4: 557], англ. *Russian salad* ‘салат из овощей на майонезе’ [OED-1989/14: 295]¹²³, ‘овощной салат оливье’ [Рубцова 2009: 392; АБВУ Lingvo x 5]¹²⁴; франц. *salade russe* ‘смесь разнообразных овощей, сырых или вареных, мелко порезанных и приправленных майонезом’ [Trésor 14: 1364], ‘салат оливье’ (URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_russe); итал. *insalata alla russa (o alla russa o all'italiana)* («русский салат», «салат по-русски или по-итальянски») ‘закуска из вареных овощей, порезанных на кусочки с маринованными овощами; яйца вкрутую и майонез (и иногда также желатин (студень), тунец и т. д.)’ [Battaglia 17: 269]; нем. *Russischer Salat* ‘холодное кушанье из свеклы, зеленого горошка, шампиньонов, анчоусов, огурцов, ветчины с майонезом или сметаной, икрой, вареными яйцами, колбасой’ [Komenda 2003: 82].

Как видно, набор ингредиентов в составе салата существенно варьирует — и это объясняется хорошо известной закономерностью, проявляющейся при миграции блюд из одной культуры в другую, которую можно было бы назвать законом подстановки актуального ингредиента: принимающая культурная традиция «адаптирует» заимствованное блюдо, заменяя какой-либо нетипичный продукт своим, более типичным. При всех вариациях основой остается все равно смесь овощей под соусом. При варьировании семантики «русского салата» иногда актуализируется смысловой компонент «овощи», что дает значение ‘винегрет’ (англ. *Russian salad* [OED-1989/14: 295], итал. *insalata (alla) russa, all'italiana*, исп. *ensalada rusa* [АБВУ Lingvo x 5]¹²⁵), а затем — «непищевые» значения (франц. *salade russe* ‘мешанина’, исп. *ensalada rusa* ‘пестрота, негармоничное сочетание красок’ [Там же]).

В России наиболее распространено название *оливье*, а кроме того, известны наименования *французский, московский, столичный, мясной, майонезный, боярский, зимний* и др. (подробнее о них см. в [Кушкова 2005]). Что касается названия *русский салат*, то оно тоже известно носителям русского языка, причем некоторые из них, по данным А. Н. Кушковой, считают, что «нигде, кроме как у нас, такого

¹²³ Судя по контекстам из «The Oxford English Dictionary», в состав блюда могли входить и другие ингредиенты (например, морепродукты — лобстер).

¹²⁴ Как отмечает К. Келли, *Russian salad* с майонезом можно было встретить в английских супермаркетах 1960-х гг. рядом с *cole slaw* (капустным салатом). Далее цитирую: «Второе — сугубо американское, так что, я подозреваю, “русский салат” в его современном смысле может быть скорее американским блюдом».

¹²⁵ По данным, представленным в (URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_russe), в Испании «русским» назывался и салат оливье.

салата не делают», а другие полагают, что оливье называется «русским салатом» именно за границей [Там же].

Почему же внешний взгляд приписывает этому салату «русскость»? Думается, причины аналогичны тем, что были выделены при описании яиц под майонезом.

Во-первых, оливье, как говорилось выше, действительно пользуется исключительной популярностью в России. Как отмечает А. Н. Кушкова, в семейном дискурсе оливье — «просто “салат”, Салат с большой буквы, *the salad*» [Кушкова 2005]. Такое родовое название ситуативно появляется в контекстах типа «Мне еще надо салат настругать», «Салата сделали целый тазик» и т. п., в которых носители современной русской городской культуры практически безошибочно узнают оливье. Он воплощает своеобразный «архетип» салата, что является самым убедительным языковым свидетельством его популярности.

Во-вторых, этот салат обильно запрашивается майонезом, что тоже, как было показано выше, помогает ему (в глазах носителей европейских лингвокультурных традиций) сдать тест на «русскость». Не случайно один из итальянских лексикографических источников подчеркивает, что итал. *insalata russa* означает ‘майонез с овощами’, а не наоборот (URL: garzantilinguistica.sapere.it).

В-третьих, оливье — очень калорийное блюдо, что вписывается в стереотип жирной русской пищи.

Наконец, может сработать и следующее — четвертое — обстоятельство. Самое беглое знакомство с европейской кухней позволяет увидеть, что представления о салатах и их роли в организации современной городской трапезы в России и в ряде западных стран существенно различаются. В России салатов для застолья готовится много, они ставятся на стол как «самоценная» первая смена блюд (до горячего) — и служат «ударным аккордом» застолья (а иногда застолье вообще ограничивается салатами: скажем, когда отмечают какие-то праздники «на работе», там, где нет возможности разогреть первое или второе, ставят на стол в основном принесенные из дома салаты). В Европе салаты не играют такой основополагающей роли, их готовится меньше — и они обычно служат гарниром к основному блюду, подаваясь с ним вместе (несколько иначе дела обстоят, скажем, в Америке, где «салатная традиция» близка русской). Носитель русской культуры подразумевает под салатом в первую очередь овощную смесь, делая акцент на свойстве «быть сочетанием нескольких ингредиентов» (причем поощряется буйство фантазии повара, изыскивающей новые компоненты салата, — нередко не в ущерб старым). В Европе делается акцент на свойстве «овощной», здесь распространены и «однородные» салаты (мелко порезанная морковь или огурец в каком-нибудь соусе уже считается салатом). Ср. суждение А. Гениса и П. Вайля: «Подлинно французский салат, как это ни смешно, состоит именно и только из салата: несколько свежих зеленых листьев, сбрызнутых соусом. Легкомыслие этой пищи настолько смехотворно, что в русском языке такого понятия салата и не существует. Если речь идет о салате из овощей, то имеется

в виду смесь помидоров, огурцов и всякой зелени, заваленная кучей сметаны... в нашем понимании “салат” — это целое блюдо, порцией которого может до отвала наесться недельная клиентура магазина Health food» [Вайль, Генис 2001: 97–98].

Таким образом, оливье своей многокомпонентностью и центральной ролью в организации трапезы как раз служит реализацией модели «русского салата».

Обозначив причины наделения оливье «русскостью» при внешней его оценке, обратим внимание на совместное функционирование в одном языке парадоксальных пар названий, созданных по модели «отечественный = чужеземный» и называющих одну и ту же реалию. Это не только *русский салат = французский салат* в русском языке, но и *insalata (alla) russa = all'italiana* в итальянском (подобная пара применительно к салатам отмечается и в испанском, см. ниже). Появление таких номинативных парадоксов, очевидно, связано с расширением культурного контекста, в котором функционируют языки, вследствие чего в едином языковом пространстве могут сосуществовать названия, фиксирующие разные этапы культурной (и даже транскультурной) истории реалий и воплощающие полярно противоположные точки зрения на объект номинации. Так, сочетание *французский салат* отражает «генетический» признак (считается, что салат создан французским поваром), а *русский салат* — признак, так сказать, функциональный (салат стал популярен в России, русские считают его своим, — и это стало известно за границей)¹²⁶.

Номинативные «перевертыши» могут поддерживаться и политическими обстоятельствами. Как считает один из интернет-пользователей, чье мнение приводит А. Н. Кушкова, в попытке русских уйти от названия *французский салат* есть политический момент: название *столичный* появилось как замена «старого имени, исчезнувшего вместе с другими жертвами кампании по борьбе с космополитизмом» (цит. по: [Кушкова 2005]). Нечто подобное отмечено в испанском языке: исп. *ensalada rusa* ‘салат оливье’ во времена Франко по понятным соображениям было заменено на «национальный салат» (URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_russe). Возможно, какая-то из приведенных выше мотиваций реализована и в итальянской паре¹²⁷.

¹²⁶ Ср. также ситуацию с «парижской шарлоткой», ставшей «русской»: блюдо, которое было известно во Франции под названием *charlotte parisienne*, по легенде, было переименовано одним из кулинаров в *charlotte russe*, когда он отправился в Россию служить царской семье (URL: http://www.whatamieating.com/charlotte_parisienne.html). Правда, один из русских интернет-сайтов утверждает, что *шарлотка французская* готовится совершенно иначе, чем *шарлотка русская* (URL: <http://www.kedem.ru/schoolcook/advice/20110114-Charlotte>).

¹²⁷ Известны и другие парадоксальные пары такого типа. Ср., к примеру, пару, которая относится, правда, к «непищевой» сфере: *русские горки = американские горки*. Они возникли в России в XVIII в. и стали известны в мире как «русские», затем, в своем нынешнем виде, были воссозданы в Америке в начале XX в., что породило соответствующую номинацию. Эти перипетии культурной истории дали нам номинативный бином, между элементами которого создается, конечно, определенное напряжение, порождающее некоторый экспрессивный эффект.

РУССКИЙ БУТЕРБРОД (СЭНДВИЧ)

Из всех «пищевых» образов, рассматриваемых в данной работе, образ «русского бутерброда» организован наиболее субъективно: объективное этнографическое знание (практически во всех мотивационных вариантах) сведено к минимуму, зато большую роль играет стереотипная информация о быте и характере русских.

В разных языках это сочетание обозначает различные продукты.

- **Черный хлеб с белым.** В сербском просторечии отмечается шутовское сочетание *руски сендвич* ‘два куска черного хлеба, между которыми тонкий ломтик белого’ [сообщено А. Ломой]. Думается, эта лексическая единица вызвана к жизни двумя обстоятельствами. Во-первых, русские, в отличие от англичан и многих других европейцев (но не немцев, финнов, венгров и т. д.), часто используют в пищу черный хлеб¹²⁸. В России он может становиться основой бутербродов, что не вписывается в «классические» европейские представления о последних. Во-вторых, здесь отражена идея скудности русской пищи: вместо масла, мяса и т. п. русские будто бы начинают бутерброд другим видом хлеба. Возможно, это сочетание появилось в бывшей Югославии в те годы советской власти, когда в России царил продуктовый дефицит (или же хранит память о довоенных голодных годах).

- **Бутерброд со смесью жирных, острых, грубых ингредиентов.** В нидерландском языке отмечается сочетание *Rússische bóter-ham* («русский бутерброд») ‘бутерброд с холодным мясом, яйцом, помидором и майонезом’ [БНПС: 614], которое переключается с *Rússisch ei* ‘яйцо «в мешочек» с помидором и майонезом’ [Там же], рассмотренным выше. Таким образом, этот «русский бутерброд» обязан своим появлением «русским яйцам». Английские словари, кажется, не фиксируют подобное название как узуальное, однако различные англоязычные кулинарные интернет-ресурсы дают многочисленные рецепты «русских сэндвичей» (*Russian sandwich*). В их состав могут входить ассоциирующиеся с Россией черный хлеб, майонез или «русский соус» (*Russian dressing*), а также большое разнообразие овощей и фруктов, апеллирующих к образу «русского салата» (см. рецепты: URL: <http://www.bellaonline.com/articles/art63835.asp>; URL: <http://alexmoseson.net/personal/personal-blog/71-russian-sandwich>). При этом многие ингредиенты бутерброда — продукты жирные, острые, грубые, составляющие весьма экзотическую смесь, в чем тоже, наверное, можно усмотреть субстрат «русскости». Вот более подробный список компонентов некоторых видов «русских сэндвичей»: а) черный хлеб, чеснок, оливковое масло, сыр по выбору, нарезанные пикули, куски ветчины (копченой рыбы / колбасы), нарезанный огурец, 2 столовых ложки майонеза; б) 4 куска черного хлеба, 1^{1/2} чашки резаных

¹²⁸ Ср., к примеру, американское название одного из сортов хлеба — *Black Russian* («черный русский») [сообщено А. Н. Кушковой].

вареных овощей, 3 столовых ложки сливок, 2 чайных ложки прессованного творога, 2 столовых ложки тертой моркови, 1 чайная ложка горчичного масла, $\frac{1}{2}$ чайной ложки сахара; в) 4 куса хлеба из грубой непросеянной ржаной муки, 2 столовых ложки сливочного масла, 8 кусков вареного бекона, 4 куса швейцарского сыра, $\frac{1}{4}$ чашки соуса из хрена, 3 столовых ложки майонеза, $\frac{1}{2}$ чашки нарезанных зеленых оливок, 1 чашка нарезанного жареного красного перца; г) 4 сваренных вкрутую яйца, 2 столовых ложки нарезанных оливок, 2 столовых ложки нарезанного стручкового красного перца, оливковое масло, уксус, сливочное масло, $\frac{1}{2}$ чашки нарезанного репчатого лука; д) 6 кусков хлеба, 1 банан, $\frac{1}{4}$ чашки нарезанного ананаса, 2 столовых ложки фруктового джема, 2 чайных ложки сливочного масла [Там же]. Из этого перечня особо впечатляет рецепт в), который более других достоин девиза «смерть желудку» (особенно если учесть любовь европейцев к здоровому питанию).

Подобные кулинарные установки могут быть реализованы и в кондитерской сфере (см. далее).

• **Жирное и «вычурное» кондитерское изделие.** Во французском языке (преимущественно в Бельгии, а также на севере Франции) известно сочетание *tartine russe* («русский бутерброд») ‘пирожное на бисквитной основе с масляным кремом, которого вдвое больше, чем основы’ [сообщено А. В. Юдиным]. Это сочетание появилось во французском языке довольно давно — в эпоху царской России (возможно, во времена Русско-французского союза)¹²⁹. Интернет знакомит с рецептурой пирожных *tartine russe*: для их приготовления, к примеру, предлагается взять в равных частях (по 300 г) сливочное масло, сахар и муку, по вкусу добавив мараскин (URL: <http://pilet.chez.com/recette/patisserie/gateaux/TARTINER.html>). Ясно, что это высококалорийный десерт, который воспринимается носителями французского языка как чрезвычайно жирное блюдо. Экспрессия названия создается как представлением об аномальной жирности этих пирожных, так и квалификацией их как «бутерброда»: получается, что русские едят практически чистый жир как обычный бутерброд.

Интересно, что для обозначения сладостей извне используется и образ «русского хлеба»: нем. *Russisch Brot* («русский хлеб») ‘крендельки из безе’ [АВВYY Lingvo x 5], ‘печенье в форме латинских букв’ (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Руссиш_брот). В Квебеке «русским хлебом» (франц. *pain russe*) называют пышно украшенный праздничный кремовый торт (URL: <http://www.recettes.qc.ca/forum/>

¹²⁹ Так, в швейцарской «Литературной неделе» за 1894 г. приведен рассказ, в котором герой приготовил чай и «русские бутерброды» (URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5529078h/f5.image.r=%22tartines+russes%22.langEN>). Вот еще одна из сравнительно ранних фиксаций: *tartine russe* упоминается в бельгийской газете за 1935 г. (меню ресторана «Анверсвилль», URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55878025/f13.image.r=%22tartine+russe%22.langEN>).

message.php?id=244617&categorie=1)¹³⁰. Названные блюда, вероятно, восходят к разным кулинарным «прототипам», но налицо объединяющие их свойства¹³¹.

Таким образом, выше описаны три варианта «русских бутербродов» — сербский, германский, французский. Между ними есть некоторое противоречие (как увидим дальше, кажущееся): сербское «блюдо» весьма скудно — в отличие от романо-германских. Это объясняется тем, что сербы, имевшие с русскими более тесные и непосредственные контакты, отразили в названии, по всей видимости, историческую данность (ситуацию продуктового дефицита или голода в России), в то время как романо-германские народы творили пищевые образы, отталкиваясь от более общих стереотипов, касающихся питания русских, их характера — и вообще России. Здесь есть объективные этнографические моменты (использование русскими черного ржаного хлеба как основы для бутербродов, а также их пристрастие к майонезу), но больше субъективных: восприятие русской пищи как грубой, острой, жирной¹³², способной давать экзотические и странные сочетания, обильной и «чрезмерной» проецируется на представления о восточных приоритетах русской материальной культуры, о русской неумеренности, размахе, любви к внешней пышности (даже некоторой вычурности, помпезности), причудливо сочетающейся с бедностью и простотой (если не примитивностью). Эти стереотипы отражены не только в пищевом, но и в других культурных кодах. К примеру, в сфере одежды «русским стилем» нынче именуется стиль модельера В. Юдашкина, который расширяет наряды «античным золотом и люрексом», украшает их «россыпью уральских самоцветов», раскрашивает в цвета изделий Фаберже и пр. (URL: <http://russkij-style.ru/valentin-yudashkin-provodnik-russkogo-stilya-v-mire-mody>). Еще одна показательная иллюстрация: английское слово *opulence*, означающее ‘изобилие, богатство’ и имеющее коннотации чрезмерности, вычурности и т. п., демонстрирует весьма устойчивую сочетаемость с прилагательным *Russian* (особенно в рекламно-

¹³⁰ Если здесь «русским хлебом» назван торт, то существуют и собственно «русские торты (пирожные)». Это, как правило, очень сладкие, жирные, пышные, богато украшенные кондитерские изделия, ср., к примеру, франц. *gâteau russe* («русский торт») ‘пирожное — тонкое безе и слой крема пралине с орехами и миндалем’ [сообщено Г. И. Кабаковой], ‘торт, в состав которого входит белый сыр, изюм, три картофелины (из последних делают пюре и смешивают с белым сыром)’ (URL: <http://www.lesfoodies.com/fimere/recette/gateau-russe-au-fromage-blanc>) и др.

¹³¹ Несмотря на это, в каждом из данных названий может быть отражен какой-то конкретный мотивационный «повод». К примеру, считается, что печенье в виде букв названо «русским хлебом» либо потому, что его рецепт был завезен в XIX в. дрезденским пекарем из Санкт-Петербурга, либо из-за того, что оно было придумано для приема русского посла (в память о традиции встречать гостей хлебом) (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Руссиш_брот). В Вене автору этой работы удалось услышать еще одну мотивационную версию: в тесто добавляют кардамон, который придает печенье пряный вкус, вызывающий «восточные» («русские») ассоциации [сообщено И. В. Киселевой].

¹³² Есть и другие «русские» блюда, характеризующиеся такими свойствами, ср., к примеру, итал. *croccanti alla russa* («русское миндальное печенье») ‘крокеты цилиндрической формы, фаршированные мясом и обжаренные в яйцах’ [Battaglia 17: 269].

«брендовом» дискурсе): так, на запрос *Russian opulence* поисковые системы дают изображения лака для ногтей «Russian opulence» (с яркими блестками и очень дорогого, около \$ 350 за один флакон), одноименного массивного кресла с ажурными узорами и позолотой, красавиц в соболях и цветастых павловопосадских платках, Храма Спаса-на-крови в Санкт-Петербурге, известного своим исключительно пестрым убранством, и др. (см., например, URL: <http://www.pinterest.com/annapuzova/russian-opulence>)¹³³.

* * *

Здесь лишь намечены контуры большой и важной темы — изучения пищевого кода этнических стереотипов, а далее — вообще «материального» пласта стереотипизации (наряду с пищевым кодом, в нем представлены одежный, строительный и др.). Подобные коды пока недооценены этнолингвистикой, но вместе с тем их свидетельства очень важны, поскольку перевод представлений о национальном характере и образе жизни на «материальный уровень» позволяет выразить их не напрямую, не в лоб (что дает наиболее объективную информацию о субъективном), а также обнаруживает грани стереотипа, «не проговоренные» другими кодами. Русская кухня не стала заметной частью мировой кулинарной культуры, она относительно малоизвестна. За счет этого иностранцы имеют гораздо меньше возможностей знакомиться с ней «этнографично», как, скажем, с японской, китайской, французской, средиземноморской, грузинской и прочими кухнями (сейчас практически в каждом крупном городе мира есть национальные рестораны, владельцами которых являются представители соответствующих стран, пытающиеся донести до посетителей собственные кулинарные традиции более или менее аутентично). Такая ситуация усиливает степень субъективности в отраженных в языке представлениях о русской кухне, которые должны подвергнуться дальнейшему систематическому изучению.

1.5. ИЗ ПОЛЕВЫХ БЛОКНОТОВ: ЭТИМОЛОГО-МОТИВАЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ

Свежий, не фиксировавшийся ранее диалектный полевой материал — всегда большая радость для этимолога и этнолингвиста, особенно в случае личного участия в его сборе, позволяющего нести ответственность за достоверность записанных фактов. Такой материал будет рассматриваться в этом параграфе. На протяжении пяти лет (2009–2014 гг.) экспедиция Уральского университета, занимающаяся сбором топонимии и диалектной лексики, работала на востоке

¹³³ Благодарю К. М. Старикову (Лондон), сообщившую о «русских» ассоциациях слова *opulence*.

Вологодско-Костромского пограничья — в бассейне Ветлуги в ее верхнем и среднем течении и Юга в среднем течении (Вохомский, Октябрьский, Павинский, Шарьинский районы Костромской области, Никольский район Вологодской области). Полевые записи из этой зоны оказались богатыми на новые слова, которые, кажется, не были засвидетельствованы ранее русскими диалектными словарями. Некоторые из них будут рассмотрены ниже. Это слова *ущер*, *потекесы*, *шаторина*. Кроме того, были записаны языковые и этнографические факты, позволяющие пролить свет на мотивацию известных в общенародном языке слов и фразеологизмов, среди которых выражение *садиться не в свои сани*.

1.5.1. УЩЕР

Слово *ущёр* (*ущёр*, *ущёра*) зафиксировано в Шарьинском районе Костромской области в разных значениях, причем одни из них на синхронном уровне связаны друг с другом, а другие такой связи не обнаруживают:

I. 1) *ущёр*, *ущёра* ‘узкое пространство, промежуток между чем-л. (чаще между природными объектами, строениями)’: «А у нас ущёрами вот любую такую назовут щель: или деревья близко стоят, или строения, вот это вот ущёры»; «Где-нибудь, где узкий промежуток, между оврагом и берегом, например. Там, скажут, попал в ущёры. Едешь ущёрами»; 2) *ущёр*, *ущёр*, *ущёра* ‘провал, пропасть’: «Попала в такую ушшору — не вылезти. На болотах ушшоры-те часто. Кочка-кочка, а здесь ушшора»; «В ушшор попала, ногу вытащить не могу, на болоте ли, в своём ли дому»; 3) *ущёр*, *ущёр* ‘промежуток между сплавленными плотами или между бревнами плота (который оставляют для лучшей маневренности)’: «Ущеры есть в матке <большой сплавной плот>, где кичка кончается, начинаются ущеры. Пространство делали от одного дерева до другого. Если не сделать ущеры, матка поворачиваться не будет»; «Лес сплавливали, делали из брёвен плоты. Ушшор, ушшер — промежуток между плотами. Если человек попадёт туда, его может раздавить плотами».

II. *ущёр* ‘труп (как правило, самоубийцы, который долгое время пролежал без погребения)’: «Ушшор-от нашли в лесу, одне кости, глаза-те вывалились».

Таким образом, на синхронном уровне выделяются два омонимичных слова. Первое из них многозначно, и связь между его значениями осознается информантами, ср.: «Ушшора такая, трудно вылезти, в недоступных местах такие ушшоры. Между плотами тожо ушшоры — утонуть не утонешь, выташат».

Представленные лексемы в указанных значениях отсутствуют в словарях. Фиксируется, однако, еще один синхронный омоним: б. м. *ущёра* ‘ощера, нескромная, наглая или грубая, глупая улыбка’ [Даль₂: 530]. Это слово выводит на весьма разветвленное гнездо: литер. *щёрить* (сов. *ощёрить*), *щёриться* (сов. *ощёриться*) ‘скалить, оскаливать зубы’, ‘топорщить, щетинить (шерсть)’, ср. также диал. шир.

распр. *ощеряться* ‘улыбаться, усмехаться, показывая, обнажая зубы’ [СРНГ 25: 102–103], пск. *ощёра* (уд.?), пск., твер. *ощёря*, твер. *ощіра* ‘тот, кто ощеряется, оскаливается (открывает пасть, рот, показывает зубы)’, казан., перм. *ощёра*, новг. *ощіра* ‘дерзкий, грубый, сердитый, строптивый человек, спорщик’, пск., твер. *ощіра* ‘тощий, худой, больной человек’ [СРНГ 25: 102–104], сиб. *щёрить зубы* ‘злиться’ [СРГС 5: 375], б. м. *ущеряться*, *ущериться* ‘глупо, грубо, нагло ухмыляться’ [Даль, 4: 530] и др.

Из записанных нами костромских слов связи с этими лексемами легче усмотреть для *ущёр* ‘труп’, внутренняя форма которого акцентирует один из внешних признаков мертвого тела, ср. карел. *ощёрить зубы* ‘умереть’: «Сёдни ты вынесла, а завтра сама зубы ощерись» [СРГК 4: 362]. Наиболее точная параллель — арх. *скалезуб*, *скалезубый покойник* ‘покойник, умерший не своей смертью’: «Удавленники, утопленники — скалезубые. Которые убились из ружья — тоже скалезубые. Оскаляются, наверное, оне, зубы показывают. Им кол втыкают в могилку, крест не ставят»; «В Родительскую субботу, говорят, надо скалезубых покойников помянуть. Скалезубые, потому что у них только челюсть-то и остаётся» [КСГРС]. Это слово образовано от сочетания *скалить зубы*, ср. также арх. *скалезуб* ‘зубоскал’, *скалезубый* ‘смешливый (о человеке)’ [КСГРС]. Вообще, номинация покойников нередко учитывает физическое состояние мертвого тела, ср. арх., влад., калуж., краснояр., новг., орл., пенз., смол. *жмурик*, краснояр. *жмур*, пск. *жмурчók* ‘умерший человек, покойник’ [СРНГ 9: 206, 207]¹³⁴, петерб. *белóха* ‘покойник’ [СРНГ 2: 225], калуж. *дрязга* ‘разложившийся труп в студенистом состоянии’ [СРНГ 8: 228], перм. *кóчень* ‘окоченевший труп’ [СРНГ 15: 125], арх. *глóдень* ‘замерзший труп’ [СРНГ 6: 200] и др.

Как указывается в этимологической литературе, рус. *щёрить* связано с укр. *шкёрити*, блр. *щерыць*, чеш. *štěřiti*, польск. *szczyrzyć* ‘скалить зубы’ и др. < праслав. диал. *ščeriti; от них неотделимы, несмотря на трудности начала слова, серб.-хорв. *шјёрити* ‘скалить зубы, смеяться’, словен. *ceriti*, словац. *cerit*, чеш. *ceřiti* ‘то же’, *ceřiti se* ‘зиять’ и др.; ср. далее литов. *skirti*, *skiriù* ‘разделять, отделять’, др.-в.-нем. *sceran*, нем. *scheren* ‘стричь’. Сюда же *кора*, *шкура*, а также диал. *ускирёк* ‘черепок’. Эти слова восходят к и.-е. *(s)ker- ‘резать’. Первичное значение праслав. диал. *ščeriti — ‘разрезать, делать щель’, а вторичное — ‘оскаливаться, обнажать зубы (смеясь или проявляя злобу)’ [Фасмер 4: 504; Boryś 2005: 597; Machek 1968: 627; Miklosich 1886: 299–300; ТСлРЯ 2007: 1117 и др.].

Если значение ‘труп’ возникло после прохождения нескольких ступеней семантической деривации на основе праслав. *ščeriti, то семантика провала, пропасти, щели более близка исходному ‘разрезать, делать щель’. Именно она

¹³⁴ Кстати, *щериться* может иметь значение ‘жмуриться’ (яросл. *щёриться* ‘жмуриться, щуриться’: «Что ты щериться, и солнца-то нет» [ЯОС 10: 85]), что говорит о сходстве в восприятии «щелей», которые образуют глаза и зубы.

реализуется в первом из поветлужских омонимов *уцѣр*, *уцѣр*, *уцѣра*, делая его ценным «консерватором» первоначального значения корня. Очевидно, подобное значение законсервировано и в топонимии, ср. ур. *Уцеры* в Белозерском районе Вологодской области [ТКТЭ], *Уцера*, *Уцера* — притоки р. Гусь в Нижнем Потоцье, *Уцера* — приток Клязьмы и др. [Васильев 2012: 517].

Сходные линии семантического развития отмечаются в гнездах фонетически близких корней *щерб-* и *щель-*. Первый из этих корней представлен в литер. *щербатый* (о человеке), *уцерб*, яросл. *щербинка* ‘щель’ [ЯОС 10: 85], влг. *щербина* ‘небольшой (отпиленный) кусок дерева’ [СРГК 6: 932] и др. Др.-рус. *щърбина*, укр. *щербина*, болг. *щърбина*, словен. *škrbina*, польск. *szczyrbina*, чеш. *šťěrbina* ‘скважина; щель, трещина’ и др. производны от праслав. *ščьrba и родственны латыш. *šķīrba* ‘трещина, щель’, *skarba* ‘осколок’, ср.-в.-нем. *schërbe* ‘черепок’ [Фасмер 4: 504; ТСлРЯ 2007: 1117]; индоевропейские связи ведут к *(s)kerb^(h) ‘резать, обрабатывать острым орудием’ [Boğuş 2005: 596–597]. Слова *щель*, *уцелье*, родственные укр. *щіль*, словен. *ščálja*, польск. *szczelina* ‘щель’ и др., возводятся к *ščelь; далее литов. *skėlti*, *skeliù*, латыш. *šķēlt* ‘раскалывать’, *šķēle* ‘отколотый кусок’, *šķila* ‘осколок, полено’. Сюда же *осколок*, *скала* [Фасмер 4: 501; ТСлРЯ 2007: 1117]. Эти слова восходят к и.-е. *(s)kel- ‘резать, рассекать’ [Boğuş 2005: 596]. Вероятно, развитие семантики производных *щерб-*, *щерб-* и *щель-* направляется не только закономерными преобразованиями значения корней, но и звуковой близостью слов (ср., к примеру, возможность взаимовлияния *уцѣр* и *уцѣлье*).

В заключение — еще о некоторых континуантах праслав. *ščeriti из картотек ТЭ, которые либо не отмечены словарями, либо фиксируются в них, но могут получить уточнения этимологического плана. На этот раз речь идет о словах, записанных в Архангельской и Вологодской областях. К их числу относятся арх. *щера́* ‘плавник, колючий отросток у рыбы’: «Щчера колючая такая, вросла в рыбу, чтобы им плавать лучше. Расперится рыба щчерьями-то» [КСГРС] (последнее значение переключается со значением ‘топорщить, щетинить (шерсть)’ у литер. *щѣриться*). Интересно также влг. *щира́* ‘часть печи, место около устья (перед заслонкой)’ [Там же]. Возможно, это слово вписывается в соматическую «печную» метафору: устье — «рот» печи, *щира* — то, чем она «ощеривается». Органичны для изучаемого гнезда и различные значения, связанные с камнями: арх., влг. *щѣра́*, *щѣра́* ‘мелкий камень, галька, гравий, дресва; песок с мелким камнем’, арх. *щѣрник* ‘то же’, влг. *щѣра́* ‘каменистое дно в реке, каменная отмель’, ‘плоский камень, плита’, ‘большой одиночный камень’, влг. *щѣра* ‘большой камень’, влг. *щѣрка* ‘маленький плоский камешек’ и др. [Там же]. Ср. также яросл. *щира́* ‘камень от природы в продольных трещинах; сланец, плитняк; плита’ [ЯОС 10: 86]. Диапазон от каменных глыб до каменной крошки объясняется тем, что камни любого размера могут восприниматься как нечто отколотое, расколовшееся: это самым наглядным образом демонстрирует родство *скалы* и *осколка*.

Не случайно семантика каменной крошки соседствует с семантикой стружки, щепки: арх., влг. *щера́* ‘мелкие щепки, древесный мусор’: «Мужики рубят лес, так щера кругом, щепки» [КСГРС].

Несмотря на то, что «каменная» *щера* по форме и содержанию вписывается в круг производных от **ščeriti*, ее история сложнее из-за контаминационных процессов с участием заимствований из прибалтийско-финских языков. В западной зоне Русского Севера (арх., влг., карел., ленингр., новг.) фиксируется *чурá* и др. ‘гравий, крупный песок’ [Даль₂ 4: 634; СРГК 6: 807; КСГРС], которое связывается с карел.-ливв. *t’s’uuru*, люд. *t’s’ūru*, *t’s’ūr*, вепс. *čuru*, *čurr* ‘гравий, дресва, крупный песок’ при фин. *sora* ‘то же’ [Матвеев 2004: 134, 180; Фасмер 4: 386]. К этому же источнику М. Фасмер возводит и влг. *щора́* ‘крупный песок, гравий’ [Фасмер 4: 467]. Если форму *чурá* можно уверенно связывать с прибалтийско-финскими данными, то формы на *щ-* (*щора́*, *щера́*, *щера́*, *щера́*) видятся вовлеченными в морфосемантическое поле, созданное сходными в формальном и смысловом плане исконными и заимствованными фактами. При этом слова в значении ‘гравий’ расположены ближе к «заимствованному» краю поля, а лексемы в значениях ‘камень в трещинах’, ‘большой камень, плита’, ‘щепки, древесный мусор’ — ближе к «исконному» краю. Возможно, в процессы аттракции входит еще один участник: объясняя влг. *щера́* ‘каменная плита’ в связи со *щерить*, М. Фасмер добавляет: «Но ср. словен. *ščer* ‘отмель’, которое связано с др.-исл. *sker* ‘морской утес’, швед. *skär*» [4: 503]. Вопрос об участии германских заимствований в изучаемом поле требует отдельного изучения. Пока нам важно было расширить круг данных, которые можно объяснить на исконной почве, и уточнить вопрос об их взаимодействии с прибалтийско-финскими по происхождению словами.

Возвращаясь к костромским лексемам *ущер*, *ущер*, *ущера́*, с анализа которых был начат этот параграф, заметим, что данные синхронные омонимы восходят к одному источнику и расширяют наши представления о семантическом и словообразовательном потенциале продолжений праслав. **ščeriti*.

1.5.2. ПОТЕКЕСЫ

Это слово отмечено на территории Поветлужья — в Шарьинском районе Костромской области: *потекэсы* (реже *потетэсы*, *потикэсы*), обычно мн., редко ед. *потекэс* ‘неудачная выпечка или хлеб (как правило, сгоревший, плохо поднявшийся, с закалом и пр.)’: «Ой, я сегодня напекла потекесов, не поднялся он, сидуном сидит», «Сёдня наливыши-те <открытые пироги, ватрушки> подгорели, стали потетесы», «Неудача-то — потекес, сожмёшь в кулак-от, дак как дуранда», «Потекесы — значит, неудача, не поднялся: “Ну, сегодня у меня потекесы!” Потекесы испекла, у меня неудачный хлеб». В ряде контекстов это слово вводится через *как* или *какой*: «Напекли, как потекесы», «Мяконьки <круглые пшеничные

булки> погорели, как потетесы», «Ой, каких потикесов испекла! И про пироги, и про хлеб могут так сказать» и др.

Ничего похожего русскими диалектными словарями, кажется, не фиксируется. Единственная близкая по звучанию форма отмечена в картотеке ТЭ: костр. *потетесо* 'картофель': «На огороде у нас лук, морковка, потетесо, капуста». Эта запись сделана в Парфеньевском районе Костромской области. Поддержка данной форме обнаруживается не в системе диалекта, а в другом языковом идиоме — в арго. В условном языке костромских шерстобитов еще в XIX — начале XX в. засвидетельствованы: *потетёсы* 'картофель' (1855) [Даль РОС: 378], *потетёсница* 'похлебка', *потетёсы* 'яблоки, картофель' (1854) (Лури. Словарь языка шерстобитов. — Цит. по: [Громов 2000: без номера с.]), *патетесы*, *потетесы* 'картофель, картошка' (1918) [Приемышева 2009/2: 202]. Эти фиксации подтверждены записями второй половины XX в., осуществленными А. В. Громовым в Макарьевском, Мантуровском и Нейском районах Костромской области: *потетёсина* 'один клубень картофеля', *потетёсница* 'похлебка', *потетёсы* 'картофель' [Громов 2000: 62]. Таким образом, все «картофельные» фиксации сделаны в восточной части Костромской области, по соседству с изучаемой нами зоной Поветлужья. Арготическое слово могло проникнуть в территориально близкие говоры; вариант *потекесы* объясняется диссимиляцией *m-m > m-k*.

Нет сомнений в том, что арготические *потетесы* ведут происхождение из англ. *potatoes* — формы мн. ч. от *potato* 'картофель'. Как известно, арготическая лексика насыщена заимствованиями, которые с позиций общенародного языка являются избыточными (об этом см. в [Бондалетов 1990]). Пути проникновения этого слова в язык костромских шерстобитов следует изучать отдельно; пока нужно указать, что оно эпизодически фиксировалось в русском языке второй половины XVIII в., ср.: «Сажают ли в тамошних мѣстах земляныя яблоки, *потетосы* или тартюфели» (Труды Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства, 1765) [СлРЯ XVIII 9: 266]. В рапорте Медицинской коллегии Сенату (1765) говорилось, что лучший способ помочь голодающим крестьянам «состоит в тех земляных яблоках, кои в Англии называются *потетес*, а в иных местах земляными грушами, тартюфелями и картуфелями» (см. в [Усачева 2008: 236]). В этих контекстах заметна конкуренция между разными по происхождению названиями нового овоща; в этой борьбе немецкое заимствование (< нем. *Tartuffel*, *Kartoffel*) одержало верх над английским. Слово *потетесы* вышло из употребления (оно не фиксируется, кажется, русскими словарями XIX в.), однако, как видим, «осело» в арго.

Но как обосновать связь арготических «картофельных» *потетесов* с поветлужскими, обозначающими неудачную выпечку? Как говорилось выше, в ряде записанных нами контекстов слово *потекесы* (*потетесы*) употребляется как объект сравнения. Очевидно, эти контексты хранят память о «картофельном» значении

(которое, вроде бы, не фиксируется в говорах Поветлужья в настоящее время): подгоревшие пирожки и другие виды выпечки похожи на картофелины. Такая семантическая связь имеет параллель в говорах Русского Севера: в смысловой парадигме арх., влг. *чámка*, влг. *чámха* есть значения 'гнилой или мороженный овощ, чаще всего картошка' и 'неудачная выпечка': «Когда картошка сгниёт, её кто гнильём, кто чамкой зовёт», «Чамки какие напекла, не съисти» (влг.) [КСГРС]. Возможно, перед нами не просто перенос по сходству формы или цвета. Связь указанных значений может иметь глубокое бытийное обоснование. Дело в том, что и в Поветлужье, и на Русском Севере (и во многих других областях России) в голодные годы (особенно во время коллективизации, Великой Отечественной войны и послевоенной разрухи) самой распространенной суррогатной пищей были картофельные лепешки с травой, мякиной, отходами от околачивания льна и др. Зачастую они пеклись не собственно из картошки, а из картофельных очистков, без муки. Они были темного цвета и плохо держали форму. Современные наши информанты, родившиеся в конце 1920–1930-х гг. — «дети войны», которые прошли через самые тяжелые испытания голодом. Воспоминания о «меню» голодных лет прочно отпечатались в их памяти, создавая фундамент для сравнения неудачной выпечки с картошкой или суррогатной пищей из нее.

Слово *потекесы* — один из редких примеров заимствования из аргос в территориальные диалекты. В наших поветлужских записях к примерам такого рода можно отнести еще, скажем, слово *балдóха* 'солнце' (ср. *балдóха* 'то же' в уголовном аргосе [Быков 1994: 23]). Представляется, что раритетность таких фактов (об этом см. в [Приемышева 2009/1: 372; Бондалетов 2004: 233]) связана не только с объективными обстоятельствами, но и с субъективными: диалектологи не настроены на фиксацию подобных внутренних заимствований, а иногда «отсеивают» их при составлении дифференциальных словарей. В настоящее время, когда формы существования языка взаимодействуют особо интенсивно, к таким примерам надо проявлять повышенное внимание, особенно в тех диалектных зонах, которые соседствуют с зонами региональных условно-профессиональных языков.

1.5.3. ШАТОРИНА

Слово *шáторина* (*шáторинка*) отмечено в Октябрьском и Вохомском районах Костромской области в составе конструкций *нет* (*ни*) *шáторины* (*шáторинки*), *шáторины нет*: 1) 'очень чисто, нет ни пылинки': «Прибрано — и шаторинки не найдёшь, никакой соринки. Ой как чисто, и шаторины нет», «Ни шаторины нет, чисто, всё прибрано, хламу нет»; 2) 'пусто, ничего нет': «Она живёт во всём ястве <материальный достаток>, всё есть, а у меня-от ни шаторины нет», «Ни шаторины — настолько бедны, что уже совсем ничего нет, ни одежды, ни обуви, ни посуды», «Послала меня за грибом. Прихожу — нет, говорю, ни шаторины», «Не хватает денег у меня — ни шаторинки нет».

Весьма редко (четыре фиксации из нескольких десятков) это слово встречается в свободном употреблении в значении ‘соринка, пылинка’: «Шаторинка — соринка, мусор, песчинка. Любую шаторинку увидит, зрение хорошее», «Какая-то ить шаторина попала в глаз. Такое изречение. Не мусорина называли, а шаторина», «Шаторинка — это как от лучинки такая щепочка отломится, мусор. Люди придут, если чисто — дак ни шаторинки нет».

По всей видимости, это производное от **toriti*, вариантного к **terti* ‘тереть’ (к и.-е. *ter-* ‘тереть’, ‘проникать, достигать’); об этом глаголе см., в частности, в [Аникин 1988: 78; Варбот 1984: 34–35 и др.]. В этом случае следует предполагать здесь суффикс предметной единичности *-ин-* и малопродуктивный архаичный префикс *ша-* (см. [Бжелетић 2006; Петлева 1996]), который может быть в русском языке ударным, ср., к примеру, твер. *ша́верзни* ‘сплетни’ [ДО: 303]. О возможности сочетания производных указанного глагола **toriti* с архаичными экспрессивными префиксами (в частности, префиксом *ку-*, который может чередоваться с *шу-/ша-*) говорит существование таких слов, как словин. *kqtořac* (в сложениях *vakqtořac* ‘извлечь, вытащить’, *zakqtořac* ‘закинуть, забросить, отшвырнуть’ и др.), серб. *куторуми* ‘томиться, скучать’ и др. < **kqtoriti* / **kqtriti* — сложение *kq-* и **toriti* [ЭССЯ 12: 74; Бжелетић 2006: 79–80], при этом встречается сочетание приставок *шу-* и *ку-* в одном слове, ср. серб. *ушукумрими* ‘привести в замешательство, сбить с толку’ [Бжелетић 2006: 79–80].

Таким образом, исходно *шаторина* — нечто измельченное, перетертое. Подобные значения фиксируются в гнезде **toriti*, ср. рус. смол. *отора* ‘мелкие остатки после молотьбы’, курск. *оторь* ‘пустые колосья, остающиеся после обмолота’, *оторье* зап., курск., юж. ‘пустые ржаные колосья после обмолота снопов, мякина’, зап., юж. ‘мелкая солома’ и др. [СРНГ 24: 260, 262–263], а также укр. диал. *атора* ‘мелкая солома’, блр. *отора* ‘обмолоченные пустые колосья’, диал. *аторя* ‘мелкая солома, пустые колосья после молотьбы’, ‘мякина’, серб.-хорв. диал. *оториња* ‘остатки еды в яслях у скотины’ и др., которые возводятся к **obtora* / **obtorь* / **obtorь*, бессуффиксальному отглагольному имени, производному от **obtoriti* [ЭССЯ 30: 193–194]; ср. и рус. диал. *оторить* ‘обмолотить, обтереть, измельчить трением’ < **obtoriti* [Там же: 195]. О возможности использования экспрессивных префиксов при обозначении подобных реалий говорит этимология слова *мусор*, образованного сложением *му-* и *сор-* [ЭССЯ 20: 199]¹³⁵.

Наконец, стоит отметить, что обозначения крошек, соринки, щепочек, зернышек и пр. часто выступают в составе негативных конструкций со значениями ‘ничего’, ‘нисколько’ и пр., ср. литер. *ни крошки* ‘нисколько, ничуть’, твер. *ни синей порошинки* ‘ничего, ни самой малости’ [СРНГ 30: 86], карел. *ни хворостинки*

¹³⁵ Авторы ЭССЯ излагают эту этимологическую версию для *мусора* как более вероятную, чем другие, но все же оставляющую почву для сомнений; возможно, параллелизм *мусора* с *шаториной* несколько укрепит ее позиции.

‘совсем ничего’: «Сёгуду там мне было бедно, ничего не купил мне, ни хворостинки» [СРГК 6: 709], арх. *ни ветлинки*¹³⁶ ‘ничего, нисколько’ [СРНГ 4: 194], пск. *нет ни зёрнушка* ‘ничего нет’ [СРНГ 11: 269]. Близкое к указанным абстрактное значение убыли фиксируется и в гнезде **ter-/tor-*, ср. влг. *затирка* ‘убыль’: «Пошло хозяйство на затирку, а дом на запирку» (поговорка) [СРНГ 11: 93].

1.5.4. САДИТЬСЯ НЕ В СВОИ САНИ

Выражение *садиться (сесть) не в свои сани* устойчиво фиксируется в русском литературном языке. Более всего известен вариант *Не в свои сани не садись* (в типичной для пословиц форме императивного предписания), популярности которого в определенной мере способствовала одноименная комедия А. Н. Островского. Различные фразеологические словари литературного языка выделяют для фразеологизма *садиться не в свои сани* два значения — условно «деловое» и «статусное». «Деловое» значение — ‘браться не за свое дело, заниматься тем, на что не способен, на что нет достаточных знаний, подготовки и т. п.’ — приводится в [ФСЛРЯ: 405; ФСЛРЛЯ: 554; ФРР: 638]; «статусное» значение — ‘не соответствовать общественному положению, статусной норме’, ‘стремиться находиться в чужом обществе, среди вышестоящих (по положению, образованию и т. п.)’ — дается в [СТРИ: 611; ФРР: 638]. Из этих источников только словарь «Фразеологизмы в русской речи» (ФРР) учитывает оба значения фразеологизма, причем «статусное» ставит на первое место. Как показывает Национальный корпус русского языка [НКРЯ], «статусное» значение действительно является старшим, поскольку оно проявляется преимущественно в контекстах, датированных XIX в.: «Многие, очень многие его <Лермонтова> ненавидели и находили, что, являясь в гостиных высших сфер, он “садился не в свои сани”, что он дерзок и смел» (1842) <П. Висковатый>; «Конечно, между нами сказать, не более как дворянин среднего круга, сел не в свои сани; в свете, между этих новых, жалованных, он был смешненек» (1889–1895) <А. Амфитеатров>. «Деловое» значение фиксируется главным образом в контекстах XX в.: «Пишется по полстранички в несколько дней, пишется плохо, косноязычно, с тоской. Опять сел не в свои сани» (1941–1948) <А. Болдырев>; «Я вижу, образование у нее небольшое. — Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил: не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили» (1967) <В. Распутин>.

¹³⁶Ср. арх. *ветлінка*, *витлінка* ‘сухая ветка, засохший стебель травы’ [СГРС 2: 82, 119]. К развиту значений ср. также тобол. *витлинки нет* — «выражение, характеризующее недостаток сена и соломы» [СРНГ 4: 301]. Благодарю А. Е. Аникина, подсказавшего мне последний пример.

Это выражение встречается не только в текстах художественной литературы, но и отмечается в народной речи, что фиксируют сборники пословиц и поговорок. Так, В. И. Даль в «Пословицах русского народа» дает вариант *Не в свои сани не садись* в разделе «Свое — чужое», в одном ряду с выражением *Не за свой кус принимаешься* [Даль ПРН 1993/2: 632]; этот же вариант приводится в [Снегирев 1995: 183, Н–495; Зимин 2008: 243 и др.], у И. М. Снегирева есть также *В чужие сани не садись* [Снегирев 1995: 75, В–636]. В диалектных словарях можно найти варианты этого выражения с различными лексическими заменами, например: новосиб. *не в свои сани лезть* ‘вмешиваться не в свое дело’: «Если толку не хватает, говорят, не лезь не в свою лавочку, не в свои сани лезет, а толку не хватает» [ФСРС: 105]; ряз. *не в свои салазки лезть (залезть)* ‘то же’: «Если кто ругается, ты чо-нить заступишься: куда не в свои салазки залезла?» [СРНГ 36: 54]; мордов. *попасть не в те сани* ‘встать на неправильный путь, вести себя недостойно’: «Манькь ни ф те сани папаль, два разь травильсь, вот апячь с какем-ть шофирьм крутиць» [СРГМ 2: 912].

Объясняя истоки этого выражения, М. И. Михельсон связывает его с древнегреческим мифом о Фазтоне, пораженном молнией Юпитера, когда он управлял колесницей своего отца [Михельсон 1: 643, № 535]. В качестве иллюстрации к такой трактовке приводится отрывок из стихотворения П. Вяземского «Ухаб»: «Рифмач! Когда в тебе есть совесть, В чужие сани не садись: Ты Фазтона вспомни повесть И сесть в ухаб поберегись!» [Там же]. Это же объяснение повторяется в книге А. И. Альперина [Альперин 1956: 41], а затем дается как единственная версия происхождения фразеологизма в историко-этимологическом словаре «Русская фразеология» [РФ: 622]. В то же время в словаре «Фразеологизмы в русской речи» данная версия названа ошибочной: «Этот миф <о Фазтоне>, однако, — лишь далекая аналогия к исконно русской пословице о санях. Даже в близкородственных белорусском и украинском языках оно относительно позднего происхождения. Зато параллели из других славянских языков хорошо объясняют образ пословицы. Ср. укр. и польск. “На санях — панская (ангельская) езда, но дьявольское падение”. На санях, действительно, легко и быстро ехать, но легко можно перевернуться и покалечиться. Ср. народный оборот *лезть не в свой хомут* ‘браться не за свое дело’» [ФРР: 639]. Процитированный словарь (ФРР) издан раньше, чем РФ (первое издание ФРР — 1997, а РФ — 1998); версия о Фазтоне сочувственно приводится в разных изданиях РФ, в том числе в издании 2005 г. Эти книги связаны друг с другом (одним из авторов обоих словарей является В. М. Мокиенко). Возможно, некритичная подача версии Михельсона — Альперина объясняется недосмотром составителей — или же негативная оценка этой версии была ими позднее переосмыслена в пользу одобрительной. Как бы то ни было, предположение о связи обсуждаемого выражения с мифом о Фазтоне можно встретить в литературе чаще всего, а другие решения, по сути, не предлагаются.

Поиск аналогов для этой идиомы в других славянских, а также романо-германских языках практически не дал результатов. Есть фразеологизмы, имеющие образные переклички с изучаемым, но они довольно далеки от него по значению, что мешает признать их аналогами, ср., к примеру, укр. *sидіти на чужому возі* ‘не иметь чего-то своего или быть зависимым от кого-то’ [ФСУМ 2: 801]. Трудно согласиться с авторами словаря «Фразеологизмы в русской речи» (см. выше) в том, что параллелью к рус. *садиться не в свои сани* является польск. «*Na saniach anielskie wożenie, ale diabelskie wywóbcenie*» («На санях ангельская езда, но дьявольское падение») [НКРР 3: 142]: здесь нет ни образного, ни смыслового сходства. Отсутствие аналогов служит основным аргументом против «фаэтоновой» версии: если б она была справедливой, то соответствующие выражения (использующие образ телеги или саней) были бы представлены в литературных вариантах многих европейских языков (как это случилось с большой группой клишированных микротекстов, являющихся «конденсатами» античных сюжетов). Другой аргумент — народный характер идиомы, наличие у нее вариантов в диалектной фразеологии.

Предположение о том, в каком контексте возник изучаемый фразеологизм, появилось у нас во время полевой работы на востоке Вологодско-Костромского пограничья. Одним из наиболее популярных этнолингвистических сюжетов, с которыми мы сталкивались, был сюжет о младшей сестре, вышедшей замуж раньше старшей (гораздо реже героями подобных рассказов становились братья). Такие ситуации получали резко негативную оценку и находили отражение в текстах разных жанров, а также во фразеологии, ср. костр. *перескочить (перешагнуть) через старшую (старшего)*; *за (через) огород перескочить (перелезть, перепрыгнуть)*; влг. *за огород скакать (прыгнуть)*; *перепрыгнуть огород*; *за город перелезть*; костр. *через колодку прыгнуть*; влг., костр. *через девятую жердь перескочить*; костр. *прыгнуть через печь*; *дорогу пересечь*; *против солнышка идти*; влг., костр. *через сноп молотить*; костр. *перескочить через сноп* ‘о младших сестрах (братьях), заключивших брак раньше старших’: «Нюрка через печь прыгнула, ей Машка старшая не любила больно за это» (костр.); «Я-то раньше сестры вышла, — ой, ругали все меня: “Ну, за город перелезла, опозорила семью”» (влг.); «Старшая сестра не вышла, а младшая за огород перескочила, счастья не будет», «Мишка до Кольки обжегился — ну, говорили, через сноп чего молотит», «Говорили, что не повезёт: через сноп перескочила: “Девка, не ладно, ты через сноп!”» (костр.)¹³⁷. Иногда представления о действиях младшей сестры или о ней самой отражаются в цельнооформленных лексемах: влг., костр. *обсеять* ‘выйти замуж раньше старшей сестры (реже — жениться раньше старшего брата)’: «Ну обсеяла старшую сестру, опередила. Через огород прыгнула. Как будто опозорила старшую

¹³⁷ Некоторые из этих фразеологизмов представлены в публикации В. С. Кучко, подготовленной на основе полевых материалов ТЭ УрФУ [Кучко 2012: 45].

сестру. Осуждали не старшую, а меня» (влг.); «Перескочила через старшую или через старшего перескочил. Или обсеял. Это одно и то же. Перескочил или обсеял — так теперь тот <старший> долго не женится» (костр.); влг. *скороспéлочка* ‘младшая сестра, которая вышла замуж раньше старшей’.

Среди этого лексико-фразеологического богатства, на разные лады описывающего ситуацию несвоевременного выхода замуж¹³⁸, есть и «санные» идиомы: костр. *поменять розвальни на кошёвку*: «Девка, скажут, поменяла розвальни на кошёвку, замуж не вовремя выскочила, поперёк старшей сестры»; влг. *не в свою кошёвку сесть*: «Не в свою кошёвку села, не время ей»; *не в свои сани сунуться (поихать)*: «Не в свои сани поихала — невесте-то и говорили, а то и родителям», «А хоть кто скажет: “Не в свои сани сунулася, за город перелезла, вперёд сестры-то вышла”»; костр. *сесть (влезть) не в свои сани*: «Села не в свои сани Манька, на три года младше сеструхи, а замуж выскочила», «Не в очередь замуж пошла — скажут, не в свои сани села. Плохо это, удачи в семье не будет». Фиксируются и такие контексты, где сочетание *сесть не в свои сани* употребляется в более широком смысле (приближающемся к статусному значению этого общенародного выражения), но все-таки именно с «матримониальным» акцентом: костр. «Не в свои сани села: бедная вышла за хорошего».

Эти «санные» выражения помогают понять друг друга. Как «читать» внутреннюю форму фразеологизма *поменять розвальни на кошёвку*? *Розвальни* — общерусское слово, обозначающее низкие и широкие сани с расходящимися врозь от передка боками; на востоке Вологодской и Костромской областей они применялись главным образом для хозяйственных нужд — поездок за дровами и т. п. *Кошёвка* (там же) — легкие выездные санки, обычно с высокой спинкой, обитой ковровой тканью. В этих санях ездили на праздники, в церковь, а главное — они использовались на всех этапах свадебного обряда, поэтому со словом *кошёвка* связаны устойчивые «свадебные» ассоциации. Об их наличии говорит и записанная в Костромском Поветлужье колядка, сулящая девушке замужество: «Едет, едет кошёвочка на мой двор» [ЭМТЭ]¹³⁹. Девушка, *поменявшая розвальни на кошёвку*, раньше времени «выпрыгнула» из своих саней, с которыми связаны возложенные на нее хозяйственные обязанности, и пересела в праздничные

¹³⁸ Вообще эта ситуация является особо отмеченной в народной традиции не только на костромской и вологодской территории, но и в целом в славянском мире. Ср. примеры из коллекции А. В. Гуры: в юго-западной Болгарии существует представление, что женитьба младшего брата или сестры раньше старших оказывает неблагоприятное воздействие на скот; у русских, если при сватовстве возрастная очередность не соблюдалась, свату напоминали: «Овес вперед ржи не косят» (тамб.); у поляков Верхней Силезии говорили: «Dziury w płocie robić nie wolno» («Дыры в заборе делать нельзя»); у словаков, если очередность нарушается, старшая сестра считает, что младшая забрала себе ее счастье, что она уже не выйдет замуж и останется старой девой, и др. [Гура 2012а: 28].

¹³⁹ Ср. подобные колядные тексты на соседней (вятской) территории: «Да вот въехали сани На широкий двор. Илею!» <к замужеству>; «Выряженные сани, Девуцу сядят, Под венец ехать хотят» <к замужеству> [ВФ: 59].

свадебные сани. Она сделала это раньше старшей сестры, поэтому сани считаются чужими, а оценка ее поступка негативна.

Таким образом, костромские и вологодские материалы позволяют предположить, что выражение *не в свои сани не садись* имеет свадебный подтекст. Можно ли проверить эту гипотезу на общерусском фоне?

Указание на свадебную символику саней попадает в дефиницию их как знака языка культуры, представленную в словаре «Славянские древности»: «Сани — одно из древнейших традиционных транспортных средств, используемое в обрядах, как семейных (свадьба, похороны), так и календарных, преимущественно у восточных славян. <...> Сани были принадлежностью средневековых княжеских, царских и городских свадебных поездов — в санях ехала к венчанию невеста. Свадебные (?) сани с росписью и привесками в виде амулетов — утиных лапок — есть в коллекции ГИМ (рубеж XIX и XX вв.)» [Петрухин 2009: 541].

Этнографические описания свидетельствуют о том, что сани у русских выступали как свадебный «транспорт» повсеместно (там, где их использование требовалось погодными условиями¹⁴⁰) на разных этапах обряда, начиная со сватовства¹⁴¹. К примеру, сваты могли мотивировать свой приход в дом невесты желанием одолжить сани; на Вологодчине считали, что если нарушится порядок саней в свадебном поезде, молодые будут плохо жить; в Тамбовской губернии брат девушки, не вышедшей вовремя замуж, отвозил сестру на санках к дому кандидата в женихи и предлагал этой семье «надобу», после чего санки передавались родителям жениха¹⁴², а невеста оставалась у него, и др. [Гура 2012а: 38, 157, 186]. Сани нередко становятся «передатчиком» предметных символов, несущих положительную или отрицательную информацию о будущей свадьбе: так, чтобы продуцировать последующие бракосочетания (выход замуж подружек невесты), в Брестской области было принято после венчания вкатывать в сани дежу, на которой сидела невеста во время обряда [Там же: 467]; чтобы обозначить отказ при сватовстве, сватам в сани подбрасывали старую борону, старый веник, поленья и палки, лили воду, квасную или пивную гущу, обрубали завертки у оглобеля, привязывали к саням мутовку сучками вперед [Там же: 59, 392; ср. также Березович 2007: 253]. Здесь первостепенную нагрузку несут перечисленные предметные символы, но сани выбраны на роль «медиатора» не случайно: эта роль подчеркивает восприятие саней как неперемennого атрибута свадьбы. Сани упоминаются в свадебном фольклоре: белгород. «Ой сы гор да сы камушка Бояря спускалися, Они санями скаталися...» [Гура 2012а: 678]; «Стоят сани снаряженныя — Слава! И полостью подернуты: — Слава! Только сесть въ сани

¹⁴⁰ Там, где не использовались сани, их место занимала телега. Об использовании телеги в свадебном обряде см. в [Трефилова 2012].

¹⁴¹ Многочисленные примеры, раскрывающие свадебно-матримониальную символику саней и санок, см. в [Гура 2012а (по указ.)].

¹⁴² Передача санок родителям здесь означает символическое вручение им невесты.

да поехать. — Слава!» [Киреевский 1: 293, № 1057] и т. п. Добавим к этому еще несколько примеров. В Костромской области (в Поветлужье) было отмечено святочное гадание о замужестве под названием *запячиваться в сани*: девушку заводили во двор, где стояли сани, завязывали ей глаза, после чего она должна была, пятась, усесться в сани. Если ей это удавалось, то считалось, что в грядущем году она выйдет замуж. Если нет, то следующий год не предвещал замужества [ЛКТЭ]. В Северном Прикамье сани заговаривались и перетряхивались дружкой перед отъездом молодых на венчание [ЭССП: 284]. На Среднем Урале во время масленичных игрищ парни катали девушек на санках, причем каждый катал свою «суженую»: «Кто с кем гулят, того и на санках катат» [ДЭИС]. Здесь катание на санках (санях «в миниатюре») символизирует матримониальные намерения.

О символике намерений, связанной с санями, следует сказать особо. В беломорской былине «Идолище сватается за племянницу князя Владимира» из собрания А. В. Маркова есть интересный «санный» контекст:

Ишшэ-то он говорил поганое Идолишко:
 «Я в сани сажусь-то к тебе я, всё Владимир-князь».
 Ай прошло-то тому времецьку неделёцька.
 Говорит-то он да всё князю Владимиру:
 «Я пришол-то к тебе за твоей любимой-то племянёнкой,
 Я за той ли пришол да Марфой Митрёвной...»

[Беломорские старины: 210, № 49, стр. 243–248].

Комментируя эти строки, А. В. Марков указывает, что выражение *в сани сажусь* означает ‘собираюсь ехать’. По его мнению, это выражение отражает особенности быта крестьян Зимнего берега: «Упоминается о езде на санях летом, которая, действительно, применяется в Золотице, когда к месту назначения нельзя проехать водным путем. Идолище, собираясь в дорогу, говорит: “в сани сажусь” (дело происходит летом)» [Марков 2002: 1009]. На самом деле, сани могут выражать символику человеческих намерений, представляемого будущего, поскольку связаны с дорогой, путем. Говоря об этом, следует вспомнить такой «санный» фразеологизм, как рус. устар. *сидя на санях* ‘на старости лет, в предчувствии смерти’. Этот фразеологизм отражает «погребальную» функцию саней [ФРР: 622; Петрухин 2009: 541]. Но есть и другое «глобальное» человеческое намерение, ассоциируемое с путем, — это намерение жениться или выйти замуж. В словах Идолища подразумевается как раз его желание посвататься к племяннице Владимира. Таким образом, с санями связывается символика намерений, которая может получать контекстную конкретизацию, указывая в первую очередь на столь важные для человека варианты его будущего, как бракосочетание или смерть.

Отметим, что сходная логика смыслопорождения свойственна такому знаку символического языка культуры, как лапти. Лапти, как и сани, ассоциируются с дорогой, а потому приобретают символику намерений (ср. арх. *лапти навострить*

‘собираться сделать что-л.’, пск. *лапти связывать* ‘начинать какое-н. дело’), которая имеет и более конкретный вариант — намерение жениться или выйти замуж (ср. южнорусский обычай, согласно которому жених нес при сватовстве невесте лапти, — и если она их принимала, это становилось знаком согласия на брак); подробнее об этом см. в [Березович 2007: 257–258; Тихомирова 2013: 48–49].

Характерно, что в свадебных ритуалах отмечается противопоставление различных средств передвижения, маркирующих «высокий» и «низкий» статус невесты. Так, в Вологодской области на третий день после свадьбы молодые ездили кататься на санях. Если же молодая жена оказывалась нечестной, ее или ее мать катали на навозной телеге [ЭМТЭ]. Сходный обычай отмечен в Усолье: «Если не заслужила девка, садись в корыто, прокатим тебя хоть от дома к дому. А если честная была, везли уже в тележке, хоть немножко, а тележка разукрашена вся. Это на третий день катают. <...> Свекровь тоже на тележке, и на корыте, если не уберегла невесту-то» [УДр: 103]¹⁴³. Образ корыта отражен и в ср.-урал. *в корыте сидеть* ‘быть старой девой, долго не выходить замуж’: «Девки все уж к венцу съездили, а она всё в корыте сидит» [ЛКТЭ], а также в новосиб. *посадить под корыто* (брата, сестру) ‘жениться (выйти замуж) раньше старшего брата (сестры)’: «Пришёл с армии и посадил Машку под корыто, сразу взял и женился» [ФСРГС: 148]. Таким образом, корыто ассоциативно связано с различными нарушениями матримониального статуса (как с нечестностью невесты, так и с долгим безбрачием) и содержит контекстно актуализируемое противопоставление саням. Разрабатывая систему оппозиций с участием саней для выражения разных матримониальных смыслов, язык культуры не только находит для саней сниженный аналог (корыто или навозную телегу), но и символически осмысляет повреждение саней: арх. *полозья разошлись* ‘о муже и жене, переставших жить вместе’: «Полозья разошлись, скажут, мужик с жёной разъедутся. А когда и под одной крышей, а вместе не спят» [КСГРС], сев.-прикам. *санки подломить* ‘не сберечь девичью честь’: «Отец-то на девку: “Чего тебе еще ждаться-то, в девках сидеть, санки подломить, мироны принести?”» [ЭССП: 119]. В последнем примере подламывание санок следует читать как лишение себя возможностей выйти замуж, т. е. сесть в свадебные сани.

Стоит вспомнить, что костромской (поветлужский) фразеологизм *поменять розвальни на кошёвку* тоже содержит разработку отношений внутри элементов «транспортного кода» языка культуры: оппозиция свадебного и несвадебного средств передвижения подчеркивает регламентацию их культурных функций. Существование такой регламентации, по-видимому, способствует созданию мотивирующей среды для выражения *не в свои сани не садись*.

¹⁴³ Корыто для прогулок вместо телеги или саней использовалось и в том случае, когда молодые вели себя пассивно в первую брачную ночь, не занимаясь тем, что им предписывалось [УДр: 99].

Воспоминание о костромском и вологодском материале, в котором наиболее явно отражен свадебный подтекст выражения *не в свои сани не садись*, наталкивает нас на еще одно соображение. Оно несколько наивно, но все же позволим себе его изложить (в надежде на то, что в будущем могут найтись аргументы в его пользу).

Как уже говорилось, пословица *Не в свои сани не садись* какой-то частью своей популярности, по всей видимости, обязана драматургу А. Н. Островскому, сделавшему это изречение названием одной из своих комедий (1852). Сюжет этой комедии «матримониальный»: к Дуне, дочери богатого купца Русакова, сватаются молодой купец Бородкин, преданно любящий ее, и промотавшийся отставной кавалерист Вихорев, которому нужны исключительно деньги ее отца. Вихореву удастся вскружить Дуне голову, но вскоре она понимает, что его намерения неискренни, а Бородкин любит ее по-настоящему. Русаков, увидев искренность Бородкина, соглашается на его брак с Дуней. «Мораль» комедии, сформулированную в ее названии, можно отнести, по всей видимости, и к Дуне, и к Вихореву: простушка не смогла бы жить с мотом-кавалеристом, а тот не должен примериваться к деньгам богатого купца. Нельзя ли предположить, что на выбор названия комедии отчасти повлияло то обстоятельство, что жизнь ее автора самым тесным образом связана с Костромской губернией (Островский родился в д. Щельково современного Островского района — и на протяжении многих лет подолгу жил в своем костромском имении)? Известно, что Островский весьма интересовался народной речью, а значит, мог знать свадебный подтекст выражения *Не в свои сани не садись*.

* * *

Следует заключить, что русский фразеологизм *садиться не в свои сани* не является отражением мифа о Фазтоне, а возник в народной языковой стихии и, возможно, первоначально был связан с ситуацией свадьбы: так говорили о невесте или женихе, которые едут под венец не в свою очередь (невеста раньше старшей сестры, жених — старшего брата). Можно предполагать и более широкий свадебный контекст выражения: жених или невеста выбирают себе в пару неровню (по имущественному или «статусному» основанию). Наиболее явно такая связь обнаруживается в записях народной речи из Вологодской и Костромской областей (последняя — родина драматурга А. Н. Островского): выражение *садиться не в свои сани* здесь функционирует в одном ряду со многими фразеологизмами, означающими несвоевременный брак, в числе которых и другая «санная» идиома — *поменять розвальни на кошёвку*. Не возьмемся утверждать, что изучаемое фразеосочетание возникло в Костромской или Вологодской области, поскольку такое суждение невозможно подвергнуть проверке: речь идет о факте устной народной традиции, имеющем к тому же низкую степень идиоматичности, что очень затрудняет привязку этого выражения к определенному типу текстов

или хронотопу. Более того, изложенные выше выкладки, быть может, не являются собственно семантической реконструкцией фразеологизма, объяснением его происхождения, а только иллюстрируют особенности его функционирования в одной из предметно-тематических областей.

Вообще подобные «малообразные» сочетания с низкой идиоматичностью пока довольно редко становятся объектами семантико-мотивационной реконструкции. В таких случаях сложна не столько сама реконструкция, сколько верификация ее результатов. Думается, в недалеком будущем этнолингвистика накопит определенный опыт в этой сфере — и это позволит вернуться к обсуждению истории фразеологизма *садиться не в свои сани*.

Раздел II

МОТИВИРУЮЩИЕ КОДЫ И СИСТЕМНАЯ МЕТАФОРА

В данном разделе в центре нашего внимания — **донорская** (мотивирующая) **область вторичной номинации**, которая будет изучаться с точки зрения ее состава, внутреннего устройства, мотивационных возможностей. Анализируемые поля донорской лексики рассматриваются как объекты групповой семантико-мотивационной реконструкции. Данные лексические поля становятся источниками разных по продуктивности смысловых переходов: наряду с «простыми» переходами фиксируются и достаточно сложные, не являющиеся регулярными. Это в первую очередь метафорические переносы или же их сочетания со сдвигами другого рода (в первую очередь метонимическими). Как уже говорилось, именно нерегулярные переходы требуют интерпретационных усилий и представляют интерес для реконструкции. Таким образом, избранные для анализа мотивирующие коды дадут возможность наблюдать за явлением системной метафоры.

Рассматриваются «глобальные» (имеющие множество лексических репрезентаций) мотивирующие коды — «иностранческий» (составленный этнонимами) и «семейный» (представленный терминологией родства). Они дают в славянских языках разнообразие производные значения, которые исследуются с привлечением данных романских и германских языков, а в некоторых случаях также финно-угорских и тюркских. Формирование этих значений во многом определяется внутренней организацией кодов, которая специфична для каждого из них.

«**Иностранческий**» код (параграф 2.1) манифестирован значительным количеством производящих единиц: разные народы и территориально-социальные объединения людей отражают в номинациях представления о «своих» иностранцах — соседях, врагах и т. п. (к примеру, производящие основы «турок», «румын» ведут себя в южнославянских языках активнее, чем в восточно- и западнославянских;

в польском и белорусском относительно частотна основа «литовец»; в русских диалектах есть «эксклюзивные» дериваты от *чухарь* ‘вепс’ и т. п.). В то же время отмечены, разумеется, этнонимы, имеющие практически одинаковую деривационную продуктивность во всех славянских языках: безусловным лидером среди них является «цыган».

Поскольку каждый народ имеет уникальную историю и географию этнических контактов, можно было бы ожидать, что деривационно-фразеологические гнезда с вершинными словами-этнонимами дают в различных языках достаточно специфическую картину, отражающую в известной мере бытовые, социальные, экономические, культурные и прочие обстоятельства этих контактов, особые национально-психологические стереотипы и т. п. Действительно, этнонимические дериваты могут повествовать о том, какие ткани покупал один народ у другого, какие сорта растений завозил из соседних стран, какие рецепты блюд перенимал, какие особенности поведения приписывал инородцам и др. Если предполагать, что вся информация, вычитываемая из деривационно-фразеологических гнезд этнонимов, будет носить такой характер, то возникает законный вопрос: а можно ли вообще пользоваться методикой параллелей для реконструкции мотивировок от этнонимических дериватов, ведь эти мотивировки отражают индивидуальное сочетание внеязыковых факторов? Но от этнонимических производные в известной мере не оправдывают исследовательских ожиданий: в целом ряде случаев их специфичность и этнографичность оказываются обманчивыми, а за конкретными, казалось бы, мотивами скрываются генерализованные представления о чуждости, неполноценности, аномальности, отсталости и т. д. инородцев. Допустим, из польск. *litewniczka* ‘божья коровка’, соотносимого с *litewny* ‘литовский’, нельзя вычитать представления поляков о том, что насекомые «залетели» к ним со стороны Литвы, что у них есть какие-то внешние атрибуты, прочитываемые как «литовские», и т. п. (такие представления могут носить разве что вторичный характер), поскольку божья коровка может иметь иные «инородческие» названия: рус. поволж. *черемиска*, укр. *татарка*, *жидивка*, ср. также англ. *Jew* («еврей») ‘насекомое боярышница’. Точно так же из бытующих в разных европейских языках выражений с внутренней формой «уйти по-английски», обозначающих уход без прощания, не следует, что такое поведение объясняется особенностями английского этикета: при расширении круга примеров можно увидеть, что способность уйти не прощаясь приписывается и французам, и индейцам Канады, и жителям острова Гоцо. Соответственно, в «подкладе» франц. *partir à l'anglaise* — только факт неприязненных бытовых отношений между французами и англичанами, заставляющий первых «навязывать» (в своих представлениях) последним те особенности поведения, которые не являются на самом деле специфичными для них. Таким образом, в мотивации от этнонимических дериватов обнаруживается сложнейшее переплетение «бытийных» мотивов, требующих для своей расшифровки сведений о реальном взаимодействии народов, и мотивов обобщенных, отражающих

черты, приписываемые всем инородцам или их большинству. Наличие таких обобщенных мотивов позволяет говорить о существовании особого типа этнонимических дериватов, мотивированных генерализованными представлениями о чужих народах и землях, — к с е н о н и м о в (подробно о явлении ксенонимии см. в [Березович 2007: 404–467]¹). Благодаря специфической мотивации ксенонимов, по отношению к ним применение методики семантико-мотивационных параллелей представляется весьма продуктивным.

Анализ ксенонимов позволяет выделить разные типы семантико-мотивационных параллелей, построить типологию параллелей, учитывающую разные основания (сфера функционирования, форма языкового воплощения, характер отношений между внутренними формами и значениями слов, объединенных параллелизмом). Для изучения явления параллелизма и воссоздания путей развития значений слов очень важно решить проблему происхождения параллелей (контактного или типологического), с которой связан и вопрос о продуктивности / регулярности параллелей. В ходе анализа материала будут предложены критерии, позволяющие приблизиться к решению этих вопросов (см. параграф 2.1.1).

Специально будет рассматриваться специфика «культурно-исторической» мотивации в сфере славянской ксенонимии (2.1.2, 2.1.3). Это сочетание поставлено в кавычки потому, что, как говорилось выше, из ксенонимов трудно извлекать сведения этнографического и историко-культурного плана. Приходится «не доверять» прямому прочтению внутренней формы ксенонима и искать обобщенную мотивировку («нечто аномальное», «неполноценное», «чужеродное» и др.). Кроме того, многие этнонимические производные включают в себе весьма сложные образы, сочетающие несколько мотивационных возможностей, — и обобщенная мотивировка может все-таки сочетаться с «этнографической». К примеру, в мотивационной подоплеке сочетания «цыганский гвоздь», представленного в ряде славянских языков, есть как реальный мотив (цыгане нередко были кузнецами и, соответственно, ковали гвозди), так и обобщенный признак низкого качества, «суррогатности», свойственный ксенонимам. Эти два мотива составляют лишь часть мотивационного спектра «цыганских гвоздей» (см. 2.1.3, с. 209–210), и такая комплексная мотивация присуща многим этнонимическим производным.

Еще одна трудность семантико-мотивационной реконструкции ксенонимов в том, что обилие производящих этнонимических основ, невозможность выявления их полного перечня вкупе с их низкой продуктивностью (в среднем) в каждом отдельном языковом идиоме (а также ряд других субъективных осложняющих обстоятельств, в числе которых, например, принадлежность дериватов

¹ В настоящей книге используются некоторые примеры, приведенные в указанной работе [Березович 2007], однако они включены в контекст иной проблематики.

к «неполиткорректному» пласту лексики, препятствующая их попаданию в словари) снижают «предсказуемость» параллелей и создают технические препятствия для их поиска. Параллели могут отыскаться неожиданно, удивляя своей «изысканностью». Например, замечательная польская исследовательница А. Тырпа обнаружила следующее красивое, но странное лексическое соответствие: «Изумляет повторение языковых моделей и сходных языковых фактов в отдаленных странах. Например, в болгарском языке выражение *ewrejski westnik* («еврейская газета») означает косточки тыквы, а в польском говоре Спиша оборот *czytać żydowską gazetę* («читать еврейскую газету») значит ‘вынимать и есть семечки подсолнечника’. Откуда это совпадение? Как фразеологизм исколесил несколько стран и в каких направлениях? Быть может, существует общий источник для обоих вариантов? Почему косточки тыквы и семечки подсолнечника ассоциировались с еврейской газетой?» [Тырпа 2012: 56]. Здесь чувствуется необходимость в дополнительном языковом материале. Интересен такой факт: в просторечии Екатеринбурга, жители которого закономерно интересуются сокровищами родного «Каменного пояса», бытует обозначение письменного гранита, с детства известное автору этой книги, — *еврейская газета* (есть и раритетный вариант *китайская грамота*). Это вариации более распространенного названия, попадающего даже на страницы различных энциклопедических словарей и энциклопедий, — *еврейский камень* ‘разновидность пегматита, в котором полевой шпат и кварц, прорастая один в другом, образуют структуру, напоминающую древние письмена’². Прозрачный «каменный» образ проливает свет на образы «растительные»: семечки и косточки своим цветом, многочисленностью и расположением (особенно у подсолнечника, когда его едят, оставляя просветы на темном фоне семян) могут напоминать затейливую и непонятную буквенную вязь. Привлечение этого факта хотя бы снимает вопрос о природе образа, но выяснение путей его проникновения в различные языковые идиомы впереди.

Перечислены не все трудности, но сказанного достаточно, чтобы обосновать необходимость рассмотрения вопроса о специфике культурно-исторической мотивации в сфере ксенонимии. В различных этюдах, представленных ниже, анализируются сложные «узоры», образуемые сочетанием различных мотивационных импульсов. Это этюды о славянских «инородческих» наименованиях божьей коровки, гречихи, промежутков времени, морозной погоды, глазных болезней, музыкальных инструментов, вороха листьев для сжигания, снопов для обмолота, отходов при молотье и других побочных продуктов переработки, пропусков при севе, тканье и др.

² К образу пегматита апеллирует, например, А. М. Городницкий в стихотворении «Камни»: «Потому ли, что Бог, о идущих к нему вспоминая, / Эти камни горячие сыпал со склона Синая, / Где над желтой рудой, в голубой белизне пегматита / Прорастали слюдой непонятные буквы иврита?».

Отдельного внимания заслуживают особенности взаимодействия этнонимических дериватов со знаками и текстами других субстанциональных кодов культуры, которые тоже транслируют представления об инородцах, занимающие центральное место в структуре оппозиции «свое — чужое», базовой оппозиции наивной картины мира. Такие особенности анализируются в параграфе 2.1.3. Выделяются различные направления взаимодействия знаков, относящихся к разным кодам: • вектор направлен от внеязыковых форм культуры к языку (языковая единица транслирует некий «свернутый» культурный текст или же по-своему интерпретирует его); • мотив параллельно разрабатывается в языке и внеязыковых культурных кодах — и установить вектор взаимодействия невозможно; • язык создает культурные контексты на основе собственных внутренних средств — фоносемантики, аттракции и т. п., а затем эти «языковые мифы» становятся верованиями, основой для легенд, анекдотов и т. д. Несмотря на то, что разные коды обнаруживают тесное взаимодействие, они имеют и свои специфические пути обработки и репрезентации культурной информации. Это будет рассмотрено на материале лексики и фразеологии, а также культурных текстов (детских припевок, примет, толкований сновидений, формул отсылов и предписаний), транслирующих представления о связи инородцев с атмосферными явлениями (дождем, тучами, ветром).

Другой мотивирующий код, попадающий в сферу нашего внимания, — «**семейный**» (параграф 2.2). Если «инородческий» код составлен множеством элементов — производящих лексем, становящихся основой для развития вторичных значений, — то обозначений родственников, дающих переносные значения, немногим более десятка, и это практически единый комплект (с небольшими вариациями) для разных славянских народов. При этом масса семантических дериватов и фразеологизмов на базе терминов родства огромна — и это понятно, ведь мотивирующий код является древнейшей лексической группой, которая принадлежит к основному словарному фонду и обозначает важнейший тип биологических и социальных связей между людьми. Несмотря на малое количество производящих основ, образы родственников «отдают» процессу вторичной номинации большое количество мотивирующих признаков, что отражает сложное устройство сети родственных отношений, которая создается возрастными, гендерными, статусными и другими характеристиками членов семьи, образующими разнообразными переплетения. Попутно отметим, что эти переплетения все же создают некоторые препятствия на пути метафоризации: код родства уступает (и весьма значительно) в продуктивности вторичных номинаций, к примеру, соматическому коду (тоже принадлежащему к основному словарному фонду): весьма затруднительно найти объекты действительности, отношения между которыми напоминают, к примеру, связи зятя и тещи, бабушки и внука и др. (при этом, конечно, отношения прямого порождения типа «мать — дитя» хорошо освоены метафорической номинацией).

Отмеченная особенность лексики мотивирующего кода — наличие релятивных сем, указывающих на отношения между родственниками, в концептуальном ядре значений слов — подготавливает почву для специфического явления, которое особо характерно для процессов метафоризации на основе наименований родства (оно наблюдается и у других лексических групп, но не в таком масштабе). Это одно из проявлений системной метафоры, суть его в следующем: различные метафорические обозначения из одной тематической сферы закрепляются за взаимосвязанными, смежными денотатами (объектами номинации) или за одним и тем же денотатом, образуя своеобразные микросистемы: рус. арх. *бабка* 'большой палец' — *мати* 'указательный палец' — *тата* 'средний палец' — *сынок* 'безымянный палец' — *дочи* 'мизинец', польск. диал. *ojczytm* («отчим») 'старое лесонасаждение' — *pasierb* («пасынок») 'молодая поросль, «придавленная» взрослыми деревьями'.

Несмотря на то, что перед нами «всего лишь» частный случай системной метафоры, из него вытекают интересные методические следствия: учет связей внутри таких микросистем — весьма действенное орудие семантической реконструкции. Выбор мотивирующего признака — особенно при таком сложном, многофакторном и «симультанном» виде номинативной деятельности, как метафорическая, — скрытый от исследователя, «подводный» этап процесса номинации, поэтому очень важно использовать все возможности, позволяющие прояснить обстоятельства этого выбора. Номинатор, создающий микросистему, вписывает объекты номинации в общий контекст, выбор мотивирующих признаков направляется его стремлением рассматривать эти объекты во взаимосвязи. Наличие единого объектного контекста создает возможности для фокусировки взгляда исследователя, направляет выбор предполагаемого признака из ряда возможных вариантов. Этот единый объектный контекст может быть реальным (когда микросистемы функционируют в одном языковом идиоме, а их элементы могут «воссоединяться» в речи, ср. арх. «Мати, тата, сынок, дочи, а бабка самая толстая, как за старшую у их <о пальцах>»), но нередко он виртуален. В этом случае элементы микросистем оказываются «рассыпанными» по разным языковым идиомам — диалектам и языкам. Допустим, элементы картинки, трактующей крупную реку или озеро как «мать» или «отца», а небольшие реки, притоки — как «детей», воплощены в рус. арх. *матка* 'об озере, принимающем многочисленные ручьи', влг. *Отец-озеро*, арх. *детиночка* 'маленькое озерко, соединенное протокой с другим озером', ворон. *пасынок* 'ответвление холма, оврага', блр. диал. *пасынак* 'приток реки, ручья', болг. диал. *сирѝк* («сирота») 'небольшой арык, отведенный от главного канала для орошения лугов, садов и пр.', исп. *hijueta* («дочка») 'отводной канал' и др. Процесс «сборки» таких комплексов по их «осколкам» является весьма трудоемким, но вместе с тем сулит небезынтересные результаты — и для воссоздания фрагментов народных представлений о мире, и для реконструкции «непрозрачных» элементов микросистем (ср., к примеру, арх. *усѝнка* 'маленькое

озеро, соединенное протокой с большим'). Для решения этих задач полезно привлекать к рассмотрению микросистемы не только в системе языка, но и в тексте, ср. польскую загадку о море и впадающих в него реках: «Czy jest taki ojciec, co rożugo swoje dzieci?» («Есть ли такой отец, который пожирает своих детей?»).

В параграфе 2.2.1 изучаются функциональные, семантико-мотивационные и структурные особенности метафорических микросистем. Осуществляется мотивационная реконструкция входящих в микросистемы слов, значения которых принадлежат к определенным тематическим сферам: обозначения пальцев; названия рыболовных снастей; лексика речного ландшафта; обозначения речных льдин; наименования печи и частей печного пространства.

В параграфе 2.2.2 меняется угол зрения на материал: в отличие от предыдущего параграфа, рассматривается не явление, объединяющее метафорическую лексику на основе терминов родства, а специфическая подсистема такой лексики — обозначения некровного или аномального (нарушенного) родства, выступающие как источник метафорических переносов. Таким образом, донорами служат славянские термины некровного родства со значениями 'теща', 'свекровь', 'зять', 'золовка', 'мачеха', 'отчим', 'пасынок' и т. д., а также слова, обозначающие нарушенное родство ('вдова', 'вдовец', 'сирота') и отсутствующее родство ('старая дева', 'холостяк'). Казалось бы, первичные значения этих слов в ряде случаев весьма удалены друг от друга, но анализ языковых данных показывает, что их вторичные значения обнаруживают показательные пересечения и совпадения, причины которых будут проанализированы ниже.

Обозначения некровных и «аномальных» родственников как основа для метафорических переносов изучены значительно меньше, чем терминология кровного родства. Но не это обстоятельство послужило определяющим при выборе анализируемой лексической группы. Значения образующих ее слов связаны с «перестройкой» семьи (при вхождении некровных родственников), ее потерей и отсутствием — и через эту лексику, маркирующую переломное или аномальное состояние родства, бриколажем можно осмыслить представления о нормах семейной жизни, воплощенные в языке.

Анализ вторичных номинаций на основе лексики свойства и нарушенного родства преследует следующую цель — выделить те особенности внутрисистемной организации донорского кода (и в известной мере — реципиентной области), которые имеют наибольшее значение для семантико-мотивационной реконструкции лексического материала. Подробно рассматриваются некоторые из таких особенностей:

- наличие мотивов, системно проявляющихся в донорской зоне метафоры (мотив «служебности» в образе пасынка, дающий о себе знать в обозначениях вспомогательных, служебных деталей механизмов; мотив пустоты, отсутствия важного содержимого, присутствующий в лексике на основе обозначений вдовы,

сироты, холостяка — к примеру, в названиях пищи без начинки и заправки, одежды без подкладки, сетей без рыбы, растений-пустоцветов и т. п.);

- наличие сквозных признаков, принадлежащих реципиентной части метафоры, которые интерпретируют свойства денотатов донорской части (скажем, свойства злобности, нелюдимости, приписываемые мачехе, свекрови, золовке, теще и др., оборачиваются признаком колючести тех растений и животных, которые обозначаются метафорической лексикой на основе соответствующих терминов родства);

- внутренняя скоординированность, упорядоченность каждого образа, воссоздаваемого на базе метафорической лексики, принадлежащей разным тематическим сферам; наличие закономерностей в организации образа, ракурса, в котором он формируется (так, образ тещи «прорисован» в различных славянских языках весьма «физиологично», с массой соматических подробностей);

- наличие обратимых метафор, говорящих о единстве когнитивной и языковой базы донорской и реципиентной областей (так, к обратимым метафорам принадлежит орнитологическая, в рамках которой наблюдаются переходы вроде «вдова ↔ сова», «зять ↔ дятел», «старая дева ↔ кукушка»);

- этнокультурная специфичность метафорической лексики, образованной на основе обозначений некровного и нарушенного родства. Такая специфичность может создаваться во многом за счет того, что метафорические значения иногда формируются на базе метонимических, а последние отражают этнографический контекст, в который включены денотаты слов-источников переноса.

Выявленные особенности метафоры свойства и аномального родства иллюстрируются различными примерами, в том числе развернутым анализом одного из наиболее интересных и мотивационно сложных языковых образов из рассматриваемого семантико-мотивационного поля — образа *соломенной вдовы* (параграф 2.2.2.1). Соответствующее выражение (отмеченное в славянских, романских, германских и финно-угорских языках) не имеет однозначного мотивологического прочтения в научной литературе. Как говорилось выше (см. введение к настоящей книге), это выражение рассматривается нами на пересечении нескольких лексических рядов. На основании проведенного анализа выявляется спектр мотивировок, которые соединяют богатейший образ соломы (несущий идеи пустого, бесплодного, ненастоящего и т. п., а также «постельную тему») с представлениями о матримониальных аномалиях. Кроме того, предпринимается попытка решить проблему лингвогенетической атрибуции изучаемого фразеологизма: что имело место — фразеосемантическое калькирование из языка в язык или же независимое создание выражения в разных языках, отражающее концептуальное сходство в метафорическом освоении действительности разными народами. Анализ показывает, что жесткого «или / или» в решении данного вопроса нет: оба варианта развития комплементарно сочетаются в истории этого фразеологизма.

2.1. «ИНОРОДЧЕСКИЙ» КОД В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

2.1.1. СЛАВЯНСКАЯ КСЕНОНИМИЯ И ТИПОЛОГИЯ СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ

Одной из наиболее важных проблем семантико-мотивационной реконструкции является выяснение характера связи между значениями производящей и производной лексемы. Эта связь нередко бывает непрямой, неявной, нетривиальной — особенно тогда, когда производное слово «питается» не основными, а коннотативными компонентами семантики слова производящего, которые выводятся из своего обычного латентного состояния и приходят в движение в процессах семантической деривации. В результате анализа «донорской» и «реципиентной» семантики может быть доказан факт наличия коннотации в семантике производящего слова и одновременно установлен факт участия коннотативного признака в мотивации слова производного.

Однако коннотация далеко не всегда может быть уловлена при «замыкании» производящего и производного друг на друга. Так, рус. литер. *татарник* ‘сорное травянистое растение семейства сложноцветных с колючим стеблем и с краснотравными цветами’ соотносится с этнонимом *татарин*, но логика этой связи не лежит на поверхности (можно предполагать, что в названии отражено типичное место произрастания растения, или же допустить метафору — впрочем, с не очень ясным основанием: значим ли признак цвета? играет ли какую-то роль форма цветков? «колючесть»? и др.). В данном случае (как и во многих других подобных) анализ отношений производности затруднен в силу ряда причин: во-первых, денотаты, обозначаемые производящим и производным словом, обладают многими яркими признаками (а не каким-то одним — особо характерным или актуальным), что мешает установить, какой именно признак денотата-«донора» проецируется на свойство денотата-«реципиента»; во-вторых, эти денотаты принадлежат к совершенно разным и весьма удаленным друг от друга тематическим сферам, а сопряжение таких сфер требует нестандартного интерпретационного усилия; в-третьих, денотаты вызывают оценочно-аксиологическое отношение субъекта номинации, вследствие чего отбор признаков может казаться алогичным.

В силу этих причин для выяснения мотивирующего признака, положенного в основу производного слова, весьма полезно «разомкнуть» пару «производящее — производное» и прибегнуть к подбору семантико-мотивационных параллелей — сходных моделей смыслового развития, которые объединяют семантически близкие производящие лексемы (принадлежащие одной тематической группе или лексико-семантическому полю) и тождественные или сходные по значениям производные лексемы.

Интересующее нас мотивационное значение слова *татарник* проясняется при обращении к другим названиям сорных колючих растений (родов *Carduus*, *Carex*, *Cirsium* и *Xanthium*, известных в русском литературном языке как *чертополох*, *репейник*, *осока*), образованным на базе этнонимов и функционирующим в различных диалектах и языках, ср. рус. казан., нижегор., сарат. *мордовник*, влг. *жидовское кресло*, симб. *бусурманская трава* [Анненков 1878: 84, 100], костр. *жидовка* [ЛКТЭ], серб. *турек* [Симоновић 1959: 97], болг. *черкезки тръни* [Ахтаров 1939: 544], словац. *ruský trň* («русская колючка») [Králik 2007: 28], карел. *ruočšihoin'ä* («шведская (финская) трава») [СКЯ-Пунжина: 244], фин. *lapinsara* («саамская осока») [ФРС: 312], англ. *Gipsy* («цыган») [EDD 2: 620], *Russian thistle* («русский чертополох») [НБАРС 3: 128] и т. д. Анализ свойств этих растений заставляет предположить, что их названия (дериваты на базе этнонимов) вряд ли связаны с местом произрастания, но воплощают оценочные признаки «вредный», «дикий», «неприятный»³, которые объединяют в народном сознании образы колючих сорных растений и чужих народов — этнических соседей и врагов⁴.

Таким образом, семантико-мотивационные параллели сужают круг поисков мотивировки слова, поскольку факт их наличия помогает выбрать из спектра предполагаемых признаков такой, который объединяет два (и более) различных, хоть и близких денотата. Стоит напомнить, как в настоящей книге используется термин *семантико-мотивационные параллели*. Примерно в таком же значении этимологи и ономазиологи употребляют термин *семантические параллели*, под которыми понимаются примеры аналогичного развития значений, представленных в других лексемах того же поля. Данные термины могут использоваться как взаимозаменяющие. Мы в данном случае предпочли термин *семантико-мотивационная параллель* (или *мотивационная параллель*), как говорилось выше (см. с. 13), только для постановки некоторых акцентов в изучении явления: этот термин помогает обратить внимание на мотивационное значение производных лексических единиц, которое может не вытекать напрямую из лексических значений производящих слов.

Методика мотивационных параллелей — известный прием реконструкции, однако по сей день обнаружение таких параллелей (особенно на межъязыковом уровне) нередко возлагается на интуицию исследователя и ведется бессистемно. Среди прочих недостаточно прояснены следующие вопросы: каковы границы параллелизма; какими могут быть внутрисистемные отношения между параллелями и на каких основаниях можно строить типологию параллелей; какие критерии помогают установить происхождение параллелей (контактное vs типологическое) и др.

³ О подобной мотивации фитонимов этого ряда см. также в [Колосова 2010: 94–95].

⁴ В подтверждение этой версии отметим, что в фольклоре данные растения тоже получают «иноземные» эпитеты: так, в русских загадках репейник, мордвинник и др. называются *дерево (древо) ливанское, панское, голанское, латынское* и т. д. [Юдин 2007: 59–60].

В настоящем параграфе типология мотивационных параллелей будет рассматриваться на материале такой специфической лексической группы, как славянская ксенонимия. Ксенонимы, как говорилось выше, — слова и фразеологические сочетания, возникшие в результате семантической деривации на основе этнонимов и топонимов и мотивированные обобщенными представлениями о чужих народах и землях. Эти представления содержат оценку, которая чаще всего негативна (чужое оценивается как аномальное, «ненастоящее», примитивное, дикое, «неокультуренное», вредное и т. п.: рус. *французское золото* ‘самое плохое, низкопробное’ [Даль₂ 4: 538], ср.-урал. *татарик* ‘несъедобный гриб’ [СРГСУ 6: 90], р. Урал *киргизское пишено* ‘растение перекасти-поле’ [СРНГ 33: 185], черномор. *кавказский соловей* ‘лягушка’ [СРНГ 39: 276], блр. *жмодзь* (< ‘литовец’) ‘саранча’ [ЭСБМ 3: 231], польск. диал. *towa czeska* («чешский язык») ‘заикание’ [KSGP], кашуб. *żidovské ňebo* ‘зонтик’ [Sychta 3: 227]), а в редких случаях позитивна (чужое как лучшее по качеству: рус. яросл. *аглецкий* ‘хороший по качеству, добротный’ [ЛКТЭ], укр. полес. *польскі* ‘хороший, красивый; наивысшего качества’ [Аркушин 2: 69]). Данная группа входит составной частью в такую лексическую сферу, как *deethnonymica* (этнонимы, испытавшие деонимизацию, т. е. этнонимические дериваты в сфере нарицательной лексики, — о них см., например, в [Кралик 2006]), но на основании обобщенности мотивационного значения ксенонимы могут быть выделены из числа других этнонимических дериватов — тех, которые сохраняют непосредственную связь с конкретным этнонимом и отражают «индивидуализированные» свойства, присущие или приписываемые тому или иному народу, стране (так, за рус. мурман. *лопарки* ‘легкие домашние туфли из оленьего меха’ [СРГК 3: 147], укр. *берлин* ‘карета’ [Гринченко 1: 52], польск. *wesoły (zuchwały) jak krakowiak* («веселый (дерзкий), как житель Кракова») [Бартминовский 2005: 181] и мн. др. стоит информация этнографического или этнопсихологического плана). В то же время семантика ксенонима не выводится непосредственно из этнонима первичного, а сохраняет с ним опосредованные связи, выявляя, как говорилось выше, его коннотативный фон.

Ксенонимы отмечаются во всех славянских языках (и за их пределами), однако в каждой языковой и диалектной зоне фиксируется специфический набор производящих основ, который определяется историческими, социальными и культурными факторами (производящими основами становятся обозначения внешних врагов, этнических и территориальных соседей и др.): так, для вологодских говоров специфичны производящие основы со значением «карел», «вепс», «вятич», для моравских говоров — «валах», «силезец», «словак» и т. п.

При разнообразии производящих основ в сфере ксенонимии представлен четко очерченный набор лексических значений производных слов, которые относятся к сферам «насекомые» (‘таракан’, ‘саранча’ и др.), «болезни» (‘сифилис’, ‘лихорадка’), «дикие растения», «примитивные устройства и приспособления», «демонология» и др. (см. об этом подробно в [Березович 2007: 404–467]). Еще

более узким и строго заданным является комплекс мотивационных значений ксенонимов, которые формируются на основе признаков «аномальный», «ненастоящий, фальшивый», «вредный», «лишний», «дикий» и т. п. К примеру, русские диалектные названия примитивных украшений (ср.-урал. *пермские кораллы* 'бусы из ягод' [ЛЗА], новосиб. *цыганские кораллы* 'продолговатые бусы коричневого цвета' [СРГНО: 577], влг. *чухарские⁵ бисера́* 'бусы из гороха и рябины' [КСГРС]) имеют общее мотивационное значение: «ненастоящие бусы, такие, какие могли бы носить цыгане, пермяки или чухари». Элементы подобных рядов связаны отношениями семантико-мотивационного параллелизма. Таким образом, в сфере ксенонимии параллели образованы на базе одного мотивирующего кода (обозначений чужих народов и земель), обладают сходными мотивационными значениями и сходными лексическими значениями (принадлежат одному синонимическому ряду или лексико-семантическому полю; в редких случаях — разным полям, но имеют общие семантические признаки).

Мотивационный параллелизм представлен в ксенонимии очень широко благодаря сочетанию нескольких факторов. Лексическое значение производящей основы весьма конкретно (этнонимы «балансируют» на грани нарицательных и собственных имен, и «проприальное начало» в них обуславливает высокую степень детализации семантики — если не ядерной, то энциклопедической). Мотивационное значение производного слова имеет обобщенно-оценочный характер. При этом номинация на базе этнонима является метафорической, в номинативном процессе участвует, как правило, не один признак, а образный комплекс, что определяет достаточно строгий отбор лексических значений производных слов (к примеру, не любые дикие растения, а те, которые составляют «пару» к культурным (похожие на них, но уступающие какими-то свойствами); не любые насекомые, а те, которые приносят вред и появляются во множестве, подобно захватчикам, и т. п.). Высокая аксиологичность и актуальность этнической метафоры обуславливают ее постоянство и вместе с тем разноликость проявлений (враги и соседи меняются во времени, пространстве и социуме) и заставляют говорящих вновь и вновь прибегать к ней, но накладываться она может на весьма ограниченный круг денотатов. Поэтому в рамках одной и той же метафорической мотивационной модели могут фигурировать образы представителей различных этносов, что и служит проявлением мотивационного параллелизма.

Отсюда вытекает особая роль параллелей в семантико-мотивационной реконструкции ксенонимов: если параллель не обнаружена, исследователь нередко оказывается вынужденным предполагать «реально-этническую» (не ксенонимическую) мотивацию или же вообще лишается ключа к интерпретируемой единице. К примеру, польск. *cygańska ulica* («цыганская улица») 'гортань' [SGP 4/3: 580],

⁵ Ср. влг. *чухарь* 'вепс', *чухарский* 'вепсский' [КСГРС].

взятое изолированно, является темным в мотивационном отношении сочетанием. «Завесу тайны» над ним приоткрывают польские и кашубские параллели, в которых цыганский образ сменяется немецким, а «улица» уточняется как «отверстие, проход» = «горло»: польск. диал. *niemieckie gardło* («немецкое горло»), *miemiecka dziurka* («немецкая дырка») ‘гортань, трахея, когда туда попадает часть пищи’ [Brzeziński 2: 237; Турпа 2011: 163], кашуб. *mńemńeckę gardło* ‘трахея’: «То mńe v mńemńeckę gârzel vlecało» («Это мне в немецкое горло попало») [Sychta 3: 160]. Обнаруживается и более отдаленная параллель — русская, рассеивающая сомнения в природе этнического образа: ср.-урал. *татарский проход* ‘трахея’ [ЛКТЭ]. В «народной анатомии» трахея воспринимается как «второе горло» (простореч. *другое горло* ‘трахея’, ср. также болг. *лево (криво) гърло, крива дупка* ‘дыхательное горло’), но при этом горло опасное, такое, которое не может служить «проводником» пищи. Для выражения этой идеи используются образы инородцев.

Вышесказанное делает возможным представить на ксенонимическом материале типологию семантико-мотивационных параллелей.

I. Сфера функционирования. По этому критерию семантико-мотивационные параллели подразделяются на следующие группы.

1. Внутридиалектные (диалект в данном случае понимается широко — и в территориальном, и в социальном смысле). ‘Морозные узоры на стекле’⁶: рус. костр. *татарское кружево // китайское кружево* (Анциферово Буйск. р-на Костромск. обл.) [ЛКТЭ]; ‘дождь при солнце’: полес. *жыдовски дошч // цыгански дошч* <Боровое Рокитновск. р-на Ровенск. обл.> [БДПА]; ‘танец «шестерка»’: польск. *cygan // miemiec* («немец») — «Sześciórka — taniec w 6 osób, zwany też miemiec albo cygan» («Шестерка — танец для 6 человек, называемый также “немец” или “цыган”») [SGP 4/3: 576]; ‘растение *Eriophogon angustifolium*’: чеш. *cikánské peří // zidovo peří* («цыганские // жидовские перья») (Годонин) [Dial-Brno]. Данный вид параллелей встречается редко, поскольку внутри одного языкового идиома дублиеты такого рода избыточны — и язык пытается их «развести». Интересный случай такого разведения (которое, к сожалению, трудно бывает восстановить исследователю) — хронологическая дифференциация вариантных форм. Так, поцелуй, при котором допускалось «влагать язык», в русском обществе XIV в. (судя по текстам покаянных сборников) назывался *татарским*, а в текстах XVIII в. он же получил название *французского* [Пушкарева 2005: 86] (ср. также англ. жарг. *French kiss* («французский поцелуй») ‘то же’ [Рубцова 2009: 175]), что объясняется сменой представлений об источнике вредных иностранных влияний.

⁶ При подаче материала параллели вводятся через знак //. Каждая группа параллелей отделяется от следующей точкой с запятой. Если значения параллельных языковых фактов идентичны, то они даются в марровских кавычках перед самими лексическими единицами; если же значения различны, то они приводятся традиционно — после лексемы или фразеологизма.

2. Междидалектные: рус. дон. *калмычина* ‘грязь, чад, нечистота в доме’ [СРНГ 12: 363] // арх. *зырянка* ‘грязь, нечистота в доме’ [КСГРС]; ‘нераспустившаяся почка’: болг. плевен. *цйганче* [БД 6: 237] // самоков. *тўрчин* [Вакарелска-Чобанска 2005: 360]; ‘улитка без раковины’: болг. родоп. *цйгански шўлей* («цыганский слизень») [БД 5: 216] // казан. *тўрски ойл’уф* («турецкий слизень») [Там же: 141].

3. Межъязыковые.

- В родственных языках (одной группы). ‘Насекомое наземный клоп-солдатик’: болг. *турчин-кукурчин* [Геров 5: 383] // укр. *москаль* [Гринченко 2: 447]; рус. новг. *татарка* ‘печеный картофель’ [СРГК 6: 444] // вят. *зырянчик* ‘круглый ломтик картошки, зажаренной на сковородке’ [ОСВГ 4: 46] // блр. *цыганы* ‘половинки неочищенной вареной картошки’ [СПЗБ 5: 369] // *маскалі* ‘картошка, сваренная с кожурой’ [ДСБ: 132].

- В языках одной семьи. Чеш. *žid* ‘остаток (железа) при плавке, шлак’ [PSJČ 8: 1040] // англ. *Jews’-bowels* («еврейские кишки») ‘маленькие кусочки расплавленного олова, которые находят в старых плавильных печах’ [EDD 3: 361]; ‘membrum virile’: рус. жарг. *турок* // *цукерман* (<‘еврей’) [БСЖ: 602, 662] // *аран* [СМА: 24] // *чукча* <Екатеринбург> [ЛЗА] // франц. *chinois* // исп. *negra* [Birken-Silverman 1993: 451]; польск. *żydowska niemoc* («еврейская болезнь») ‘геморрой’ [SW 8: 733] // франц. *avoir les anglais* («иметь англичан») ‘болеть геморроем’ [Müller 1973: 116].

- В родственных и неродственных языках. Укр., блр. *московська зозуля* («московская кукушка») ‘удод’ [Гура 1997: 600] // польск. *ziewiulka moskiewska* («московская кукушка») ‘ворона’ [SW 8: 503] // манс. конд. *Maskâu kwōrəḡ* («московская ворона») ‘галка’ [Аникин ЭСРЗ: 374]; ‘некрещеный ребенок’: рус. мурман. *лópень, лópка*: «Пока поп имя не дал, “лопень” звали, если девочка, то лопка, а мальчик — лопень»⁷ [СРГК 3: 148] // простореч. *цыганка* [ССРГ: 533] // польск. *żyd* [SW 8: 732] // болг. *еврейче* [РБЕ 4: 611] // серб. *турче* // *бугарче* // *влашче* // *цйганчица* [СД 2: 86] // вепс. *ročō* («финн») [СВЯ: 477].

II. Форма языкового воплощения. Характеризуя лексические факты, объединенные мотивационным параллелизмом, с точки зрения формы языкового воплощения, следует выделять два уровня анализа: морфосинтаксический и образный. В первом случае имеется в виду словообразовательная (синтаксическая) структура этнонимных дериватов (наличие или отсутствие изоморфизма между единицами, объединенными параллелизмом); во втором — особенности организации образа, собственно образная фактура.

1. Выделяются параллели, которые обладают изоморфизмом и тождественны в плане организации образа. ‘Сифилис’: рус. вят. *татарская оспа* [Попов 1996: 346] // польск. *francuska ospa* [Dąbrowska 2005:

⁷ Ср. мурман. *лопка* ‘название женщины народа саами’ [СРГК 3: 148].

130–131]; болг. *циганско лято* ‘последние теплые дни в сентябре, которые обычно наступают после Димитрова дня’ [ФРБЕ 2: 498] // англ. *Indian summer* ‘бабье лето’ [НБАРС 2: 228].

2. Есть случаи, когда параллели и зоморфны и имеют близкую, но не тождественную образную фактуру. Рассмотрим шуточные названия чеснока: чеш. *židovská vanilka* [SSJČ 4: 918] // англ. *Italian perfume* [Winkler 1994: 334]. Эти сочетания реализуют структурную модель «определение + определяемое слово», а образная фактура вариативна за счет того, что к этническим образам добавляются образы различных веществ с приятным вкусом / запахом. Ср. подобную вариативность в названиях гриба-дождевика: рус. иван. *цыганский табак* // *цыганская пудра* [Жмурко 2001: 55] // арх. *цыганский дым* // влг. *цыганская банька* [КСГРС].

3. Наконец, параллели могут не быть и зоморфными и иметь различия в организации образа: польск. *moskal* ‘густые выделения из носа’ [Steffen 1984: 85] // кашуб. *žid komus palc z nosa vētika* («еврей кому-л. палец из носа высовывает») ‘о сопливом (обычно ребенке)’ [Семенова 2006: 96]; польск. *cygón* ‘вид узора для вышивания’ [SGP 4/3: 576] // укр. *циган’ска дорога* ‘вышивка в форме восьмерки’ [Горбач 1965: 94]; ‘о чем-то пропавшем’: польск. *cygany na drażkach ponieśli* («цыганы на повозке унесли») [SGP 4/3: 577] // укр. *перевів на циганський пишик* [Номис 1993: 479].

III. Характер отношений между внутренними формами (попарно) и значениями (попарно) слов, объединенных параллелизмом.

При анализе отношений между «параллельными» ксенонимами мы будем принимать во внимание, во-первых, их внутренние формы (по сути, это этнические образы — образы представителей разных этносов, отраженные в ксенонимах); во-вторых, собственно лексические значения ксенонимов. Все варианты взаимоотношений между ксенонимами целесообразно рассматривать в составе двух больших групп: в первой внутренние формы тождественны друг другу, в другой — нетождественны (но объединены отношениями «синонимии», «антонимии» и др.).

ТОЖДЕСТВО ВНУТРЕННИХ ФОРМ

1. Внутренняя форма₁ = внутренняя форма₂, семантика₁ = семантика₂. В данном случае при тождестве производящих основ наблюдается семантическое тождество ксенонимов. Такие отношения могут быть выделены только на межъязыковом уровне. Это «нулевой» тип параллелизма; возможно, здесь даже не имеет смысла употреблять данный термин. Мы сочли возможным включить этот тип в классификацию для полноты «шкалы». Приведем примеры. ‘Рыжие муравьи’: рус. арх. *немчура* [КСГРС] // чеш. *němci* [Kott (př. 1): 184]; ‘кованый гвоздь, сделанный вручную, не фабричный’: болг. *цигънски гџздий, цигански пирџн* («цыганский гвоздь») [БД 7: 166; 5: 216] // серб. *цигански клинци*

[Елезовић 2: 421] // словац. *cigaňski gvusc*, *cigánski klinec (hrebík)* ‘вид гвоздя с большой головкой’ [SSN 1: 209–210]; ‘клякса на бумаге’: рус. смол. *жид* [СОС: 223] // польск. *żyd* [SW 8: 732].

• Особый случай фиксируется тогда, когда имеет место лексическая вариативность производящей основы, не изменяющая этнический образ (т. е. одно и то же этническое значение выражается разными способами). К примеру, этническое значение «еврей» выражается в славянских языках не только этнонимами «жид», «еврей», но и типичными для этого народа антропонимами, ср.: ‘о состоянии дремоты’: польск. *żyd mi depce po oczach* («еврей мне наступил на глаза») [Ondrusz 1960: 241] // кашуб. *Ábram komu zazera do oči* («Абрам кому-л. заглядывает в глаза») [Семенова 2006: 190, 55]; чеш. *žid* ‘пятно, грязная полоса’ [PSJČ 8: 1040] // словац. *izák* ‘пятно на стене от стекающей воды’ [Machek 1968: 727]. Ср. также ксенонимы, образованные от разных корней со значением «русский»: ‘маринованная сардинка’: укр. *москал*’ [Горбач 1965: 64] // польск. *moskalik* [SW 2: 1047] // чеш. *rus* [PSJČ 4/2: 1075].

2. Внутренняя форма₁ = внутренняя форма₂, семантика₁ ≈ семантика₂. При тождестве производящих основ наблюдается семантическое подобие ксенонимов.

• Наименьшая амплитуда семантических различий фиксируется в том случае, когда один и тот же образ лежит в основе ксенонимов, принадлежащих к одной тематической группе лексики (и обозначающих близкие разновидности растений, животных, заболеваний и др.): рус. твер. *жидолка* ‘рыба *Cobitis taenia*; щиповка, голец, подкаменщик’ [СРНГ 9: 170] // блр. *жыдок* ‘рыба верховодка’ [ЖС: 68]; рус. влг. *цыганское мыло* ‘растение мыльнянка лекарственная, *Saponaria officinalis*’ [КСГРС] // словац. *cigánske midlo* ‘растение грыжник, *Herniaria hirsuta*’ [SSN I: 210]; чеш. *německá netoc* ‘недержание мочи’ [Kott (př.1): 184] // словац. *má ňemca* («имеет немца»), *ňemci ho naháňajú* («немцы за ним гонятся») ‘о частом жидком стуле’ [SSN 2: 407].

• Амплитуда варьирования увеличивается в том случае, когда значения производных слов принадлежат разным тематическим группам лексики, однако их объединяет общий семантический признак (дифференциальная семантика). Так, рус. яросл. *жидовская кровь* ‘застывшая смола’ [ЛКТЭ] и польск. *zydzia krew* («еврейская кровь») ‘шутл. о мармеладе’ [Kaś 2003: 1085] имеют общие признаки цвета и консистенции вещества. Рус. арх. *жид* ‘шар, по которому бьют палками в одноименной игре’ [Покровский 1994: 286] и франц. *le petit juif* («маленький еврей») ‘чувствительное место на локте’ [Robert 5: 853] (ср. также рус. простореч. *жида убить* ‘сильно удариться локтем’ <Москва> [ЛЗА]) объединены признаком «объект воздействия (удара)».

3. Внутренняя форма₁ = внутренняя форма₂, семантика₁ ≠ семантика₂. При тождестве производящих основ семантическая связь ксенонимов отсутствует. Это тоже своего рода «нулевой» случай параллелизма, при котором не выполняется важное условие — семантическая коррелятивность производных единиц. В то

же время мы сочли возможным упомянуть о такого рода отношениях для тех случаев, когда образ, отраженный в разных по значению этнонимах, обладает устойчивостью и высокой степенью «идиоматичности», образной эксклюзивности. Сила образа позволяет объединить разноплановые значения хотя бы ассоциативными связями.

Рассмотрим эту ситуацию на примере «цыганского молока». Принято считать, что кочующие цыгане не держат коров и не добывают молоко, поэтому образ «цыганского молока» является своеобразным аналогом «птичьего молока»: это что-то нереальное, парадоксальное. В украинском фразеологизме нереальное представлено как объект желания: лемк. *захцети са як циганяту молока* 'очень захотеть чего-л.' [ФСЛГ: 141]; в сербском нереальное оборачивается эфемерным: *kaj cigánsko ml'ekó* 'ненадежный, ненадежно; кратковременно' [Марковић 1986: 475]. В рус. брян. *цыганское молоко* 'растение (какое?)' [КСРНГ], вероятно, отражен признак «ненастоящего» сока этого растения, похожего на молоко (ср. близкий образ «цыганских сырков», представленный в названии мальвы, плоды которой содержат слизь: чеш. диал. *cigánské tvarůžky* [Hladká 2000: 174, 230]). Болгарское сочетание *цыганско мляко* 'род водки' [ФРБЕ 2: 498] тоже построено на «подмене» одной жидкости другой, в этот раз подмене шутливо-«эвфемистической» (ср. также рус. костр. *татарский чай* 'самогон' [ЛКТЭ], чеш. *valašský čaj* («валашский чай») 'водка с корицей, гвоздикой и медом' [Kazmír 2001: 393]).

Другой образ — «цыганский гребень»: болг. *цìгьнски дь̀рак* 'самодельный гребень для обработки шерсти, пеньки и др.' [БД 7: 166] // англ. *Gipsy comb* («цыганский гребень») 'колючая головка лопуха, *Arctium Lappa*', *Gipsy's combs* 'дикая ворсянка, *Dipsacus sylvestris*' [EDD 2: 620]; ср. также рус. одесск. *цыганок* 'гребешок': «Посли бани цыганком расщосывались, а патаму цыганок, што у цыган усигда пакупали» [СРГО 2: 269]. Очевидно, эти факты восстанавливают стереотип внешнего облика цыганки, носящей гребень. При различии в значениях слов здесь просвечивает единое представление — это «неправильный» гребень: болгары обратили внимание на его самодельность и «топорность» (им расчесывают не волосы, а шерсть); англичане еще больше «окариковали» образ, сравнив гребень с колючкой растения и сделав акцент на признаке «дикости» (в зеркале гиперболизирующей метафоры цыгане пьют сок растений вместо молока, умываются растительным мылом, расчесываются колючками и т. п.).

Сходным образом осмыслиется в языке «цыганская ложка»: рус. одесск. *цыганские ложки* 'большие деревянные ложки' [СРГО 2: 269] // карел. *čigananluz'ikka* («цыганская ложка») 'папоротник' [СКЯ-Пунжина: 27].

Повторим: представленные выше факты не являются полноценными мотивационными параллелями, поскольку между производными значениями нет системных связей. Установление ассоциативных «сцепок» между значениями чревато исследовательским произволом, но отказываться от таких возможностей

не хочется (неисчерпаемость образного потенциала языка всегда позволяет надеяться, что в будущем обнаружатся новые факты, прорисовывающие недостающие звенья, которые могли бы связать значения ксенонимов друг с другом).

КОРРЕЛЯТИВНОСТЬ ВНУТРЕННИХ ФОРМ

При описании случаев, которые будут представлены ниже, встает проблема квалификации отношений между нетождественными внутренними формами. К последним будет применена традиционная терминология лексической системности (с и н о н и м и я, а н т о н и м и я), причем условность такой квалификации отмечается кавычками. Условность определяется тем, что в своих прямых значениях этнонимы не могут входить в отношения синонимии или антонимии; база для таких отношений возникает в результате семантической деривации, когда метафорический этноним приобретает качественную (характеризующую) семантику.

1. Внутренняя форма₁ ≈ внутренняя форма₂, семантика₁ = семантика₂. В данном случае этнические образы «синонимичны» друг другу, а производные значения совпадают. ‘Плохо, небрежно’: рус. новосиб. *по-вятски* [СРГНО: 88] // польск. *po czerkiesku* [SW 1: 384]; ‘рахит’: словац. *mad’arská choroba* // *anglická choroba* [Králik 2007: 29] // рус. влг. *зырянская болезнь* [КСГРС]⁸; ‘рыба пескарь, *Gobio fluviatilis*’: болг. *циганчица* [Геров 5: 524] // польск. *rusik* [Majewski 2: 366]; ‘птица сойка, *Garrulus glandarius*’: перм. *сорока польская* // карел. олон. *lapinharakka* («карельская сорока») [СКГК: 131]; ‘изображать дурака, который не понимает, о чем речь’: укр. арг. *грати грека* // *турка грати (pizati, вдавати)* [Горбач 2006: 156, 402] // рус. простореч. *арана запускать*; ‘тот, кто много ест, обжора’: польск. диал. *moskal* // *kałmuk* [Турра 2011: 264]; ‘игра испорченный телефон’: англ. *Russian whisper* («русский шепот») = франц. *telephone Arabe* («телефон араба») [записано И. А. Седаковой от Э. Лайл]; ‘чума’: макед. *цыганка (efunka)* // *влаинка* [Вражиновски 2000: 433].

Данный тип параллелизма — «классический», «эталонный», он наилучшим образом иллюстрирует нейтрализацию различий между значениями производящих основ и выдвигание на первый план коннотативных сем «неполноценный», «вредоносный», «аномальный» и т. п.

⁸Наличие этих параллелей заставляет усомниться в тех объяснениях, которые нередко приводятся для распространенного в разных языках сочетания «английская болезнь», называющего рахит. По этим объяснениям, рахит так назван из-за того, что эта болезнь, известная с глубокой древности, была подробно описана английским врачом Глиссоном, или же потому, что английские дети, лишенные из-за туманов солнечного света, часто ею болели. Возможно, обе приведенные версии вторичны — и перед нами «чистый» ксеноним.

⁹Ср. карел. *lappi* ‘самоназвание сегозерских карел’, ‘название собственно карел у олонекских карел’ [СКГК: 131]. Трудно решить, в какой именно этнической общности возникла номинация *lapinharakka*, но можно предполагать, что она создана олонекскими карелами и обращена к собственно карелам.

2. Внутренняя форма₁ ≈ внутренняя форма₂, семантика₁ ≈ семантика₂. Здесь наблюдаются «синонимические» отношения между образами при подобии производных значений.

• Производные значения могут принадлежать к одной тематической группе: болг. *влашки спанакъ* («румынский шпинат») ‘растение *Chenopodium bonus*, дикий шпинат’ [Ахтаров 1939: 344] // англ. *french spinach* («французский шпинат») ‘лебеда садовая’ [АВВУ Lingvo x 5]; рус. влг. *хранцузики* ‘подгоревшие при жарке вытопки от сала’ [КСГРС] // укр. *цигани* ‘подгорелые коржи’ [Аркушин 2: 240]; словац. диал. *cigánska lastovička, cigaňska lastovka* («цыганская ласточка») ‘птица *Hirundo rustica*, ласточка обыкновенная’ // *židovská lastoviška* («еврейская ласточка») ‘птица *Delichon*’ [Ferianc 1958: 168, 241].

Следует особо выделить последний пример, в котором параллельные факты фиксируются в одном языковом идиоме. В таких случаях трудно быть уверенным в том, что ксенонимы объединены именно отношениями «синонимии», а не «антонимии» (иначе говоря, различия между элементами тематической группы могут предполагать не сходство, а противопоставленность этих элементов). Судить об этом наверняка очень сложно. Единственный критерий, который поможет отличить «синонимию» от «антонимии», — это характер этнических образов. Если один из двух этнических образов, представленных в коррелятивной паре, является «своим» (обозначает свой этнос), то тогда логично предполагать его противопоставленность образу «чужому» (см. пункт 3 настоящего раздела классификации), а если оба образа «чужие», то перед нами, скорее всего, «синонимия». В словацкой паре, называющей близкие виды птиц, мы предполагаем «синонимию», поскольку образы еврея и цыгана регулярно выступают как взаимозаменяемые.

• Производные значения могут быть объединены общим семантическим признаком (дифференциальной семой): чеш. *židovská vanilka* ‘чеснок’ [SSJČ 4: 918] // польск. *cygański marcypan* ‘набивка курительной трубки’ [Karłowicz 3: 178] // *ruskie perfumy* ‘газомет’ [Bartmiński, Lappo, Majer-Baranowska 2002: 114], рус. жарг. воен. *кандагарский кондиционер* ‘пук сухой верблюжьей колочки, который укладывается в стенную нишу и поливается водой, чтобы остужать помещение от жары’ [Коровушкин 2000: 123] // рус. простореч. *русский кондиционер* ‘открытый багажник при работающем моторе машины’ <Москва> [ЛЗА].

3. Внутренняя форма₁ † внутренняя форма₂, семантика₁ † семантика₂. В данном случае «антонимии» (противопоставленности) образов соответствует противопоставленность лексических значений ксенонимов. Эти отношения имеют место в одном языковом идиоме, при этом оппозицию этнических образов составляют образы «своего» и «чужого». Семантическая же оппозиция реализуется не только «традиционными» лексическими антонимами, но и теми словами, которые образуют таксономические оппозиции внутри какого-либо гипонимического класса (ряда), ср.: зап.-укр. *затуля руска* ‘кукушка’ // *вудвуд жидовски* ‘удод’ [Гура 1997: 600–601]; словац. диал. *panský strakoš* («панский дятел») ‘дятел

обыкновенный, *Lanius cristatus* // *anglický strakoš* («английский дятел») ‘дятел *Lanius minor*’ [Ferianc 1958: 167–169]¹⁰; рус. арх. *татарский (бабий) узел* ‘способ завязывания узла, при котором конец веревки идет в петлю с другой стороны, чем обычно’ // *русский узел* ‘узел, завязываемый традиционным способом’ [КСГРС]; рус. *русские бобы* ‘бобы, растение *Vicia faba*’ // *турецкие бобы* ‘фасоль’ [Даль, 1: 101]; арх., влг. *русские исподки* ‘грубые, связанные в два слоя шерсти рукавицы для работы’ // арх. *панские исподки* ‘рукавицы, связанные в один слой шерсти’ [СРГК 2: 298–299]; болг. *български клини* («болгарские клинья») ‘легкая форма паховой грыжи’ // *турски клини* («турецкие клинья») ‘тяжелая по форме протекания паховая грыжа’ [ЕБНМ: 179] и др.¹¹

Укажем, что пары, подобные вышеприведенным, встречаются гораздо реже, чем пары с немаркированным «своим» компонентом, т. е. такие, в которых опущено «свое» этническое определение. Оно оказывается избыточным, поскольку предполагает норму, стандарт — в то время как «чужое» определение обозначает аномалию, ср.: {*канифоль*} // твер. *карельская канифоль* ‘канифоль плохого качества’ [СРНГ 13: 86]; {*ива*} // костр. *татарская ива* ‘ива, с которой не дерется кора’ [ЛКТЭ]; {чеш. *brambory* ‘картошка’} // чеш. *židovské brambory* («еврейская картошка») ‘клубни топинамбура’ [PSJČ 8: 1043] и мн. др.

4. Внутренняя форма₁ ↑ внутренняя форма₂, семантика₁ = семантика₂. Данной формулой описываются ситуации, когда «антонимии» образов соответствует семантическое тождество ксенонимов. Эти отношения проявляются обязательно в разных языковых идиомах, но говорить о самом факте таких отношений можно только в том случае, когда мы уверены в том, что лексические единицы возникли в ситуации лингвокультурного контакта, т. е. имел место «диалог народов» на «языке» номинативных моделей: в языке₁ появляется негативный ксеноним, направленный на народ₂ — в качестве ответного шага в языке₂ создается ксеноним с тем же значением, в основу которого положено название народа₁.

Рассмотрим такой пример. В языках урало-алтайских народов, проживающих на севере Евразии, фиксируется номинативная модель, отражающая иерархические отношения между созвездиями: «центром» звездного неба, ярким и значимым в хозяйственном отношении созвездием является Большая Медведица, имя

¹⁰Как указывает О. Фериянц, эпитет *anglický* в данном случае обозначает «чужой», отличный от обычного дятла [Ferianc 1958: 168].

¹¹Здесь не рассматриваются многочисленные случаи, когда оппозитивные пары имеют терминологическое значение, отражая объективно существующие различия реалий, ср.: *русский петух* // *английский петух* ‘породы петухов для петушиных боев’ [ЯСМ: 532], *русская рубаха* ‘косоворотка’ // *польская рубаха* ‘с воротом’ [Даль, 4: 114], *русское масло* // *чухонское масло*: «То пахтанное или битое масло, чухонское, а это мешаное, топленое, русское» [Даль, 3: 26, 107], твер. *русская крыша* ‘под слегу, когда солома наваливается вилами и пригнетается переметинами’ // *польская крыша* ‘крытая соломой не ворохом, а снопами, владь, со стрехой, обрубом’ [Даль, 3: 267] и др. Оппозиции такого рода классифицируют, а не оценивают. У ксенонимических пар оценочный компонент выражен более ощутимо (хотя элемент классификации тоже может быть проявлен).

которой вводится в оппозицию по отношению к названиям менее ярких и важных объектов — Кассиопеи и Малой Медведицы. Эта антитеза формулируется с помощью ксенономинии: Большая Медведица признается «своим» созвездием (но определение «свой» чаще всего выражается нулевым способом, опускается), а Кассиопея и Малая Медведица трактуются как «чужая» Большая Медведица. Так, в финском языке Большая Медведица называется *Otava* или *Suomen* («финская») *Otava*, Кассиопея дублирует это название с эпитетом «русская»: *Ryssän Otava*, *Venäjäin Otava* [Рут 1988: 86], а Малая Медведица — с эпитетами «саамская» или «шведская»: *Lapin* («саамская») *Otava* ‘Малая Медведица’ [ФРС: 428], *Ruotsin* («шведская») *Otava* ‘то же’ [SKES: 442]. Такие же отношения повторяются в некоторых других уральских и тюркских языках: эст. *Rootsi* («шведская») *Otava* ‘Пояс Ориона; Малая Медведица’ [Ibid.], нен. *Xǎbui Co’õm* («остяцкая Большая Медведица») ‘Малая Медведица’, якут. *sámaj araŋas sulusa* («самоедская Большая Медведица») ‘Кассиопея’, *toŋus araŋas sulusa* («тунгусская Большая Медведица») ‘Малая Медведица’ [Аникин ЭСС: 432, 481, 566–567]. Эта модель фиксируется и в говорах Русского Севера, функционирующих в условиях интенсивных русско-финно-угорских контактов: *Остяцкая Лось*, *Лось Остяцкая* ‘Кассиопея’ [СРНГ 17: 155; 24: 95], ср. также печор. *Немецкий Лось* ‘Плеяды’ [СРНП 1: 475] (при поволж., сев.-рус., сиб., урал. *Лось* ‘Большая Медведица’ [СРНГ 17: 155]). Как видим, в русских говорах этническая составляющая меняется «с точностью до наоборот». Подобные отношения связывают русское и финское названия Плеяд: фин. *Venäjäin Virsu* («русский лапоть») [Рут 1988: 86] // рус. арх. *Чухонский Лапоть* (*Ланоть*) [Рут 1992: 54]. Думая о генезисе модели в русских говорах, уместно предположить, что столь точные — но с «зеркальным переворачиванием» — соответствия номинативных моделей в русском и финно-угорских языках указывают на факт калькирования. Что касается направления калькирования, то здесь явно реализован путь от финно-угров к русским: охотники-финны более активны в номинативном освоении неба, чем севернорусские крестьяне, которые заимствовали у финно-угорских народов целый ряд астронимов (см. [Рут 1988]).

Таким образом, «антонимичным» здесь остается лишь механизм образования (смысловое отталкивание), формула же явления соответствует формуле «синонимии» (одной семеме соответствуют две лексемы). Этот вариант мотивационного параллелизма столь же интересен, сколь и труден для обнаружения, поскольку он предполагает учет собственно механизмов номинации, решение вопроса о том, типологическим или контактным путем возникли номинативные модели. «Антонимия» возможна только при контактном пути, предполагающем в данном случае калькирование с «переворачиванием» — не только пассивный перевод чужой модели, но и адаптацию ее к собственным этнокультурным условиям, что предполагает замену этнической составляющей.

Вероятно, к числу интересующих нас случаев относятся эпизоды «переворачивания», которую ведут между собой французы и англичане, давая одним и тем

же реалиям и явлениям имя соседей по ту сторону Ла-Манша. Так, эти народы приписывают друг другу первенство в изобретении или использовании презервативов: англ. *french letter* («французское письмо»), *french safe* («французский сейф (предохранитель)») ‘презерватив’ // франц. *capote anglaise* («английский плащ») ‘то же’ [Winkler 1994: 333]. Показательны также способы выражения значения ‘уйти не попрощавшись’. Французы считают такую манеру поведения (оцениваемую негативно) типично английской: франц. *partir à l'anglaise* [ABBYY Lingvo x 5], — в то время как англичане думают, что так поступают французы: англ. *to take a French leave* ‘уйти не попрощавшись’, ср. также жарг. *French leave* ‘прогул’, ‘воен. самовольная отлучка’ [НБАРС 1: 818; Рубцова 2009: 174]. Эти выражения калькированы в литературные языки других народов Европы: нем. (*auf*) *französisch Abschied nehmen*, словен. *oditi po francosko*, рус. *уйти по-английски*, чеш. *zmizel po anglicku* и др. Но есть и другие нации, которые считаются «носителями» такого поведения: франц. (канад.) *partir eu Sauvage* («уйти как индейцы») [Кривоногова 1999: 295], мальтийск. «уйти как жители острова Гоцо¹²» [записано И. А. Седаковой от Дж. Мифсуд-Чиркапа]; ср. также нем. *der Holländer machen* («сделать голландца») ‘убежать, спастись бегством’ <считается, что это выражение характеризовало голландских наемных солдат прежних времен, которые, как думали немцы, убегают с поля боя> [Komenda 2003: 50–51], англ. *to do the Dutch act* ‘дать деру, удрать; наострить лыжи’ [НБАРС 1: 634]. Наличие более широкого списка параллелей, нежели только англо-французская пара, осложняет решение вопроса о генезисе рассматриваемых идиом: каждый элемент списка мог возникнуть независимо от других, «вне диалога» — в соответствии с логикой наделения инородцев (и в первую очередь ближайших соседей-врагов) негативными чертами характера и манерой поведения. Во внедиалоговом режиме вопрос об «антонимии» ставиться не может, поскольку нет единого контекста, в котором может происходить противопоставление (отталкивание) этнических образов.

Во всех случаях, которые рассматривались выше, параллели носят внутри-системный характер, т. е. принадлежат одному мотивирующему коду в системе естественного языка. Однако понятие мотивационного параллелизма может быть расширено и распространено на более широкий круг фактов, допускающих выход, во-первых, за пределы одного мотивирующего кода, во-вторых, за рамки языковой системы.

Преодолев рамки одного мотивирующего языкового кода, мы получим параллели, которые объединяют лексемы из тематически различных мотивирующих кодов, дающих тождественные или сходные производные значения. Продолжая использовать для обозначения отношений между внутренними формами терминологию лексической системности, можно употребить в данном случае термин *аналогии*, понимая под ними единицы, обладающие смысловым сходством,

¹² Гоцо — один из островов Мальты.

но находящиеся на большем расстоянии друг от друга, чем «синонимы»: при различиях в тематических (таксономических) характеристиках «аналоги» имеют сходство на уровне оценочной, коннотативной семантики.

В качестве «аналогов» по отношению к обозначениям инородцев выступают названия животных (как правило, пейоративно оцениваемых — свинья, волк, собака), нечистой силы, нежелательных пришельцев — солдат или гостей, субъектов с низким социальным статусом — женщины и сирот, и др. ‘Туман’: рус. костр. *вятские баню топят* [ЛКТЭ] // арх. *черти баню топят* // влг. *зайцы баню топят* [КСГРС]; ‘теплая малоснежная зима’: рус. влг. *цыганская зима* [КСГРС] // литер. *сиротская зима*; ‘молескин, грубая ткань’: нем. *Englischleder* («английская кожа») [АВВУУ Lingvo x 5] // рус. простореч. *чертова кожа*; ‘menses’: рус. *вятские приехали* [СПГ 1: 154] // жарг. *сестра из Краснодара приехала* <Екатеринбург> [ЛЗА] // *красная армия в гости пожаловала, тётка пришла* [Журавлев 2005: 399] // укр. арг. *teta z Ameriky* [Горбач 2006: 342] // блр. *гости заехали* [ПЛНМ: 33] // польск. *krewni przyjechali* («родственники приехали») [Dąbrowska 2005: 79]; ‘белладонна, сонная одурь’: польск. *żydówka* // *psia wiśnia* («собачья вишня») // *wilcza jagoda* («волчья ягода») [Majewski 1: 101]; ‘растение козлец, *Agum maculatum* L.’: болг. *цыганско грозде* // *змиийско грозде* [Ахтаров 1939: 537], ‘растение горчицвет, *Lychnis chalcidonica* L.’: ср.-приоб. *китайское мыло* // *мыло татарское* // *остяцкое мыло* // *цыганское мыло* // *собачье мыло* // *медвежье мыло* [Арьянова 1: 62] и т. д.

Другая возможность расширить границы мотивационного параллелизма — вывести его за пределы языковой системы. В этом случае мы получим культурные параллели. Они относятся к одному мотивирующему концептуальному коду, но фиксируются как в системе языка, так и в фольклорных текстах, ритуалах, верованиях и др.

В качестве примера рассмотрим «инородческий» образ гречихи. Различные культурные знаки (как и растения вообще) в народных представлениях нередко подвергаются ценностному ранжированию, при котором одно из растений считается «своим» и наделяется более высоким статусом, а другое квалифицируется как «чужое» и считается «сниженной» парой «своего». Такие отношения объединяют «белую» пшеницу и «черную» гречиху. В разных славянских языках гречиха (*Fagopyron esculentum*) получает целый ряд «инородческих» обозначений: рус. литер. *гречиха*, яросл. *цыганская пшееница* [ЛКТЭ], словац., польск. *tatarka*, чеш. *pohanka* («язычица») [Machek 1954: 88], диал. *němkyně* («немка») [Dial-Brno], польск. диал. *litewka* («литовка») [SW 2: 753; Тугра 2011: 273]; ср. также франц. *le Sarrasin* [Анненков 1878: 143]¹³. Не все элементы этого ряда отражают истинную

¹³ Отметим, что сам по себе этот ряд помогает раскрыть мотивировки входящих в него элементов: к примеру, на фоне других названий подтверждается возможность «инородческой» мотивации польск. *litewka* (ср. мнение А. П. Непокупного, который склонен отрицать этнонимическое происхождение этого слова [Непокупный 1976: 155]).

культурную историю гречихи: говоры ведут ее происхождение как из восточных стран (что признается «официально»: считается, что гречиха появилась в Европе из Восточной Азии [Machek 1954: 88]), так и от немцев и литовцев, — и даже связывают ее с цыганами. Таким образом, язык дает представление о гречихе как «варварской» пшенице, которую возделывают инородцы. Это представление фиксируется и вне системы языка: так, поляки считают, что мазуры сеют гречиху вместо пшеницы [Kopaliński 1985–2001: 670]; по мнению жителей Восточной Моравии, валахи не знали пшеницы, а выращивали испокон веков гречиху [Dial-Brno]. Ср. также русскую ярославскую загадку о зернах гречихи: «Маленькие цыганята весь мир накормили» [ЭМТЭ].

* * *

Представленная типология преследует не только цель систематизации материала, но и призвана помочь в решении ряда других проблем мотивологического анализа — в частности, вопроса о п р о и с х о ж д е н и и п а р а л л е л е й (контактном или типологическом) и связанного с ним вопроса об и х п р о д у к т и в н о с т и / р е г у л я р н о с т и. Выше рассматривались эпизоды, где требовался учет механизмов образования параллелей (при установлении отношений «антонимии» между параллелями в разных языковых идиомах). Каждый случай требует исключительно «штучного» подхода, но все же могут быть предложены некоторые критерии, позволяющие предпочесть контактный или типологический вариант. Оговоримся, что в данном случае мы не учитываем традиционные для такой проблематики «внешние» критерии социолингвистического, лингвогеографического плана и т. д., а имеем в виду только лишь критерии внутрисистемные.

1. Структурная и образная сложность параллелей. Чем выше сложность строения лексических единиц (как морфолого-синтаксическая, так и образная) и чем выше при этом степень сходства между ними, тем менее вероятен типологический механизм возникновения параллелей.

2. Семантическое расстояние между производящим и производным значением (по «вертикали»). Чем ближе производящая и производная семантика друг к другу, тем более простое когнитивное усилие должен сделать субъект номинации, пытающийся выразить одно через другое, тем более регулярна модель смыслового перехода. Таким образом, при малом смысловом расстоянии типология более вероятна. К примеру, высокой степенью регулярности и, соответственно, типологическим звучанием обладает модель «говорить на иностранном языке» → «говорить непонятно» (и далее «нести вздор, галиматю»).

3. Конкретность vs абстрактность, рациональность vs экспрессивность семантики. Чем выше степень конкретности, «вещественности» («этнографичности») семантики и чем ниже степень ее экспрессивности, тем менее вероятна типология. Абстрактные характеристики (например,

обозначения черт характера человека, обобщенные рациональные и экспрессивные оценки — ‘правильно’ / ‘неправильно’, ‘хорошо’ / ‘плохо’) более «типологичны» (в нашем случае — дают большое количество разнообразных ксенонимов, объединенных параллелизмом); среди наименований артефактов — блюд, устройств и приспособлений и т. д. — параллели раритетны. В последнем случае их появление возможно в той мере, в какой денотат допускает экспрессию, оценку. К примеру, такая реалия, как лампа без стекла (дающая слабый, неровный свет), оценивается с долей экспрессии, что выражается параллельными ксенонимами: польск. *cygarek* [SGP 4/3: 578] // *żydek* [SW 8: 732] // рус. влг. *чухарское солнышко* [КСГРС].

4. Диапазон вариативности внутренних форм в соотношении с «плотностью» параллелей в языковом идиоме. Чем шире диапазон вариативности внутренних форм, тем более вероятна типология; к примеру, в европейских наименованиях таракана представлен целый «парад наций»: «гураль», «датчанин», «каталонец», «киргиз», «пошехон» и др. (подробнее см. в [Березович 2007: 427–428]). Таким образом, параллели с коррелятивными (негождественными) внутренними формами претендуют на статус типологических, а параллели с тождественными внутренними формами — на статус контактных или генетических. Однако следует делать поправку на такой фактор, как «плотность» параллелей. При высокой плотности (большом количестве) параллелей в одном или смежных (контактирующих) языковых идиомах можно предполагать не столько типологическую активность модели, сколько особый вариант контактного происхождения параллелей: речь идет не о межъязыковом контактировании, а о внутрисистемном номинативном «заражении», когда яркая модель начинает тиражироваться в небольшом лексическом пространстве, ср., к примеру, ряд обозначений таракана (*Blatta germanica*) в мазовецких говорах Польши: польск. *hiszpan* // *persak* // *góral* // *japonec* // *mazur* // *moskal* // *szwab* [AGM: 82].

5. Прагматика номинативной деятельности. В ряде случаев при образовании параллельных номинаций требуется единство номинативного контекста, ситуации номинации. Это происходит тогда, когда говорящий не только называет и характеризует объекты действительности, но и испытывает потребность в более «связном» выражении отношения к ним, противопоставляя их по какому-либо основанию (в нашем случае — в духе оппозиции «свое / чужое»). Тогда наблюдается «антонимия» внутренних форм, которая всегда предполагает контактный путь образования параллелей. Такой «антонимии» может соответствовать противопоставленность денотатов (в этом случае она разворачивается в одном языковом идиоме, ср. выше пары типа *татарский узел* // *русский узел*) или же противопоставленность представлений об этносах, которые оказываются связанными с одним и тем же денотатом (это имеет место в разных языковых идиомах, когда народы «дразнят» друг друга с помощью ксенонимов: при калькировании ксенонима происходит замена этнонимической основы, приписывающей какие-то негативные свойства чужому народу, на имя народа, в языке которого

был порожден исходный ксеноним, ср. названия Кассиопеи с внутренней формой «русская Большая Медведица» // «остяцкая Большая Медведица»).

2.1.2. «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ» МОТИВАЦИЯ В СФЕРЕ СЛАВЯНСКОЙ КСЕНОНИМИИ

Современная этимология не мыслит себя без той фундаментальной исследовательской установки, которая была сформулирована в начале XX в. в рамках знаменитой школы «Wörter und Sachen». Этимологи стали историками не только слов, но и вещей (в широком смысле), реалий, хорошо усвоив тезис о необходимости проследить движение волн вещей, которым сопутствуют волны слов, выявить культурно-исторические обстоятельства, отраженные в лексических единицах. Однако этот тезис не всегда согласуется, как представляется, с другим, тоже известным, но слабее звучащим в этимологии положением, — о разных принципах организации мира слов и вещей и, соответственно, о непрямом характере связей между этими мирами.

Вопрос о том, как соотнести между собой эти положения, очень сложен, многогранен и не может быть, разумеется, разрешен в рамках настоящего исследования. Наша задача значительно скромнее — проанализировать некоторые ситуации, когда **мотивационное значение** лексических единиц **не вытекает напрямую из культурно-исторического контекста**, и попытаться вскрыть причины расхождения слов и вещей.

Подобные наблюдения удобно вести на материале ксенонимов. Эта лексическая группа подходит для анализа поставленной проблемы по следующим основаниям: первичное значение этнонимов отсылает к реалиям, имеющим культурно-историческую детерминированность; ксенонимы широко представлены в различных славянских и неславянских языках, что дает возможность подбирать к ним междиалектные и межъязыковые мотивационные параллели; в сфере ксенонимии при неизменном денотате наблюдается вариативность внутренней формы слова, как бы «обманывающая» предмет.

Конкретная внутренняя форма ксенонимов побуждает этимологов искать «культурные зацепки» при их этимологизации, находить «вещевое», культурно-историческое обоснование этимологии. Однако «вещевые поддержки» ослабевают и начинают выглядеть ненадежными, когда обнаруживаются мотивационные параллели, образованные от разных этнонимических основ (т. е. одному денотату могут быть приписаны свойства быть одновременно «цыганским», «татарским», «турецким» и др.). Это не означает, что ксенонимам следует полностью отказать в «культурной» мотивации; это значит, что надо **различать** две стороны проблемы: **выбор производящих основ и выбор мотивационного признака**. Выбор производящих основ при ксенономинании подчиняется определенным закономерностям, поскольку в рамках каждой локальной лингвокультурной традиции

эти основы содержат указания на территориальных соседей, противников в военных действиях, захватчиков и т. п. Что касается мотивационного признака, то он, как говорилось выше, носит обобщенный характер: ксенонимы приписывают конкретному этносу или территории такие свойства, которые — в силу общих закономерностей оценки чужого («ксенопсихологии») — можно было бы отнести ко многим другим (если не ко всем) чужим народам и землям.

В первых трех примерах, приводимых ниже, мотивационные параллели, на наш взгляд, вызывают необходимость пересмотра «культурно-исторических» этимологических версий, представленных в литературе.

1. В. Махек рассматривает чешские и словацкие фразеологизмы, в которых неопределенно-длительные промежутки времени обозначаются как «венгерские»: чеш. *za uherský měšíc* ‘никогда’ (ср: «Už jsem tě neviděl uherský měšíc» («Я тебя не видел венгерский месяц»), т. е. очень долго; «Pro kafe jsem nebyl uherský rok» («В кафе я не был уже венгерский год»), т. е. очень давно), словац. *uherský rok* ‘длительный промежуток времени’ [Machek 1968: 667]. Приведем еще чешские примеры: чеш. литер. *jednou za uherský měšíc (rok)* ‘(раз) в кои-то веки; раз в год по обещанию’ [VČRS: 1101], диал. *uherski mňesíc* ‘неопределенное время’, *za òherské měšíc* ‘в течение длительного времени’ и др. [Dial-Brno]. Подобное выражение фиксируется и в украинском языке: *раз на угорський рік* ‘то, что редко сбывается’ [Тищенко 2007: 8]. Объясняя этнический образ, Махек апеллирует к историческим фактам: «Вероятно, выражение связано со временем войн с турками, когда солдаты нанимались на службу к венграм на определенный срок, который, впрочем, в результате продлевался на много лет, иногда пожизненно» [Machek 1968: 667]. Думается, что сила этого аргумента ослабеет, если обратиться к фактам мотивационной типологии.

В различных славянских языках встречаются «инородческие» обозначения промежутков времени, которые реализуют несколько взаимосвязанных значений. Д о л г о: рус. смол. *жидоўскій зараз* ‘«сейчас» (говорится иронично, имея в виду, что «сейчас» может обернуться долгим временем)’ [Добровольский 3: 108], *русский час* ‘невесть сколько’ [Даль₂ 4: 114], *русский час — с днем тридцать*; *московский час, подожди с московский час* [Даль ПРН 1993/2: 18, 19], укр. *московський подожди* ‘об очень длительном промежутке времени’ [Номис 1993: 19], блр. *рускі месяц* ‘о чем-то длительном во времени’ [ТС 4: 337], польск. *ruski miesiac* («русский месяц») ‘то же’ [SW 5: 775], *za ruski pacierz* («в течение русской молитвы») ‘долгое время’ [Тищенко 2007: 8], *kalendarz żydowski (żydowskie zaraz)* («еврейский календарь (еврейское сейчас)») ‘небыстро, неторопливо’ [SW 8: 733]; ср. также литов. *gudo*¹⁴ *mėnesį, gudo metus* («месяц гуда», «год

¹⁴ В данном выражении фигурирует литовский этноним *gūdas*, которым чаще обозначаются белорусы, реже поляки или русские (в прошлом данный этноним мог быть обозначением готов, затем славян).

туда») ‘ненормально долго’ [Завьялова, Англицкене 2005: 149]; н и к о г д а: рус. простореч. *на турецкую пасху, на русский байрам* [Мокиенко 1999: 314], кубан. *на калмыцкий заговень* [СРНГ 10: 13], укр. *на жидівського Петра, на рахманський великдень, на жидівського Юря, на жидівське пуціньи* [Івченко 1999: 57], полес. *скоро йек турецька паска буде, дочекайес’:а йек посл’а к’ітайскої паск’і* ‘о нереальной ситуации’ [Доброльожа 2007: 99, 101], лемк. *дати як руський місяць прийде* [ФСЛГ: 84], кашуб. *na žėdowskié Trzë Króle* [Sychta 2: 256]; д а в н о: серб. *циганско време* ‘выражение, означающее примерно то же, что наше *при царе Горохе*’ [Елезовић 2: 421].

Как показывает материал, этнонимический эпитет вносит в семантику фразеологизмов значение нереальности, несбыточности: есть «нормальный» час (месяц, год), а есть «неправильный», «неточный», «неопределенный» (ср., кстати, укр. *жидовська міра* ‘о неточной мере’ [Тищенко 2007: 8], литов. *gudi verstas* («верста гудов») ‘далеко’ [Завьялова, Англицкене 2005: 149]) — такой, который должен быть у чужаков, у которых все наоборот. Обобщенность значения этнонимических дериватов снимает необходимость искать конкретную историческую основу данных фразеологизмов. Разумеется, в некоторых случаях историческая (культурная) подоплека просматривается: так, выражение *kalendarz żydowsky* отсылает к такой культурной реалии, как древнееврейский лунно-солнечный календарь; эта реалия отражена во фразеологическом фонде некоторых славянских языков (ср., к примеру, болг. *еврейски календар* ‘лунно-солнечный календарь, основанный на движении Луны и видимости движения Солнца вокруг Земли’, *еврейска ера* ‘начало летоисчисления у евреев, которое отличается от сотворения света на 3761 г.’ [РБЕ 4: 611]), а также обыгрывается в фольклоре (согласно легенде, записанной в Покутье, православный, католический и иудейский календари раньше совпадали, а потом разошлись, и это объясняется тем, что еврей надел туфли и быстро побежал на молитву в школу, опередив поляка (мазура) и русина; мазур обувался в ботинки и вышел позднее, а русин оказался последним, т. к. долго возился со своими постоломи [СД 3: 479]). В то же время в лексической системе языка сочетания типа «еврейский календарь» включаются в процессы семантической деривации, подчиняются действию регулярных моделей ксенономинии (краткий перечень этих моделей см. в [Березович 2007: 415–448]), отдаляясь от «культурной основы» и приобретая обобщенную оценочную семантику.

Возвращаясь к выражениям, использующим образ «венгерского времени», укажем, что для них ссылка на факт истории маловероятна. Скорее, здесь представлена обобщенная ксеномотивация: «венгерское время» = «нереальное, неопределенное, “ложное”». При этом, конечно, сам выбор производящей основы, отсылающей именно к венграм (а не к представителям каких-либо других этносов), определен сложной историей чешско-венгерских контактов и столкновений.

2. Рассмотрим названия божьей коровки — польск. *litewniczka* ‘божья коровка’ [SW 2: 753], кашуб. *lëtwka* [Sychta 4: 19]. В этимологической литературе высказывается предположение о том, что в наименованиях отражен факт сходства черных точек на красных крыльях насекомого с зернами гречихи, ср. польск. диал. *litewka* ‘гречиха’ [SEJP 4/3: 300–301; SEK 3: 171–172]. А. Е. Аникин считает слово неясным [Аникин СЛБ: 211].

Думается, что приведенные названия божьей коровки соотносятся с польск. *litewny*, *litewniany* ‘литовский’. Если обратиться к фактам мотивационной типологии, то выясняется, что божья коровка может иметь этнонимические названия, ср. рус. поволж. *черемиска* <Ульяновск. обл.> [ЛЗА], укр. *татапка* [Дзендзелівський 1987: 238], *жидивка* [Аркушин 1: 155], а также английское название близкого божьей коровке насекомого — боярышницы *Aporia crataegi* (?) — *Jew* («еврей») [EDD 3: 361]. Более того, этнонимическая модель широко представлена в обозначениях самых разных видов насекомых, ср. некоторые примеры — т а р а к а н ы: рус. литер. *прусак*, диал. *немец*, *киргиз*, *цыган*, *швед*; укр. *шваб*, *швед*, *жидочок*, польск. *francuz*, *hiszpan*, *góral*, *japonec*, *mazur*, *moskal*, *szwab*, *rus*, серб. *бубашваба*, *бубаруса*; в р е д и т е л и п о с е в о в: рус. литер. *шведская муха* (*мушка*), *шпанка*, блр. *жмодзь* (< ‘литовец’), укр. *шваб*; к у с а ю щ и е н а с е к о м ы е и п а р а з и т ы: рус. новг. *американец*, блр. *нимцы*, *австрийцы*, болг. *турчин-кукурчин*, укр. *москаль*; улитка без раковины: болг. *търски ойл’уф*, *агүтцко пале*, *цїгански плүжък*, *цїгански шүлей*; в о д о м е р к а: рус. смол. *жидовский писарь*, *жидовская коза*, *цыганка*; с в е р ч о к: польск. *mazurek*, болг. *цїганка*; в и д ы б а б о ч е к: чеш. *zhid*, чеш., словац. *šváb*; в и д ы м у р а в ь е в: болг. *цїгански* (*египечки*) *мраве*, укр. *жидок*, чеш. *nětсі* и др. (документацию и другие примеры см. в [Березович 2007: 426–432]). По отношению к божьим коровкам этнонимические названия могут иметь различные мотивировки: божьи коровки появляются во множестве, они очень прожорливы, некоторые их виды являются вредителями посевов (для воплощения этих свойств как нельзя лучше подходят образы инородцев). Нельзя исключать также возможности более конкретизированных и индивидуализированных поворотов образа: так, в укр. *жидивка* и англ. *Jew* может быть учтен такой признак, как способность насекомого выделять едкую жидкость, похожую на кровь (а мотив крови является одной из составляющих образа еврея) [Березович, Кривошапова 2006: 30].

Вышесказанное позволяет предполагать, что польск. *litewniczka* и кашуб. *lëtwka* вписываются в ряд ксенонимов и имеют обобщенную ксеномотивацию («подобный инородцам»). Выбор образа литовца обусловлен тесными (и далеко не всегда дружественными) контактами поляков с балтийскими народами (этноним *litwin* в польском языке мог быть применен и к белорусам). В качестве «литовского» аргумента можно привести также другие польские «фаунистические» названия, для которых допускается связь с этим этнонимом: польск. *litwa* ‘стая летящих галок’, *litwini* ‘название, данное мазурами галкам из-за их крика,

напоминающего речь литовцев' [SW 2: 755; ср. Аникин СЛБ: 211]; ср. также блр. *жмодзь* (< 'литовец') 'саранча' [ЭСБМ 3: 231].

3. Для рус. простореч. *цыганская жара* 'холод, озноб' (ср. также рус. арх. *цыганский жар* 'трескучий мороз' [СРНГ 9: 72]) в источниках указывается следующее мотивационное решение: «Выражение производно от оборота *цыганский пот пронял*, которое характеризует сильно продрогшего человека, намекая на дырявое рубище бедствующего цыгана и на его способ отогреться в мороз барахтаньем до пота. Поэтому если обычно пот вызывает у человека жара, то цыганский пот вызывает *цыганская жара*, т. е. холод» [РФ: 218 (изложение версий М. И. Михельсона, И. А. Подюкова)].

Приведем другие славянские выражения, связывающие морозную погоду с образом цыгана и прочих инородцев: рус. влг. *немецкое пекло* 'о сильном морозе' [КСГРС], рус. дальневост. *китайские морозы* 'о времени в конце января — начале февраля, когда при большой влажности и сильном ветре несильный мороз становится невыносим' [сообщено О. В. Беловой], укр. *циганське тепло* 'низкая температура, мороз' [ФСУМ 2: 880], польск. *mróz moskiewski* 'о сильном морозе' [НКРР 2: 525], чеш. *tatarský mráz, cikánský mraz* 'сильный мороз', *tatarská zima, cikánská zima* 'очень холодная зима' [PSJČ 4: 47; 1: 253], чеш. *cigánská rosa* 'сильный мороз', 'утренний или вечерний заморозок осенью или весной' [Кондратенко 2000: 101]. В германских языках холодная погода может быть связана с образом Иуды, указание на которого нередко замещает номинацию «еврей», ср. нем., нидерл. *Judaswinter* («Иудина зима») 'зима поначалу мягкая, но потом лютая' [Страхов 2003: 230]. Разумеется, некоторые выражения, представленные в этом ряду, в какой-то мере мотивированы «от реалии» («московский» и «татарский» мороз может быть связан с представлениями о российских холодах), однако не менее сильно звучит здесь логика ксеномотивации, связывающая негативно оцениваемое явление природы с эталонными для пейоративной номинации образами инородцев.

Как было указано выше, озноб (реакция человека на мороз) тоже может быть обозначен через образ цыгана, причем у соответствующих русских сочетаний имеются славянские параллели: укр. *циганський (холодний) ніт проймає (охоплює, пробірає)* 'кто-н. дрожит от нервного возбуждения, страха, холода и т. п.; кого-н. лихорадит' [ФСУМ 2: 642], польск. *cygańskie poty* 'холодно, знобит' [SGP 4/3: 580]; возможно, славянские (севернорусские) формы дали в карельском языке кальку, ср. карел. *čiganan higeħ iški* («в цыганский пот бросает») 'холодно' [ФСКЯ: 19]. Но цыган — не единственный инородец, «вызывающий» озноб, ср. рус. влг. *чухарики*¹⁵ *пошли* 'о мурашках по коже' [КСГРС]. Небезынтересно отметить, что представление о чувстве озноба может быть передано также с помощью образа сироты, ср. рус. юж. *сіроты* 'дрожь, мурашки от холода, озноба, страха' [СРНГ 37: 351],

¹⁵ Влг. *чухарі, чухáрики* 'вепсы' [КСГРС].

блр. *sipoty poustavali* ‘о сильном страхе’ [ТС 5: 36], польск. *sieroty* ‘мурашки по коже от озноба’ [SW 6: 108], — а образы сирот, как было указано выше, часто выступают как аналоги по отношению к образам инородцев, т. е. могут их заменять в составе одних и тех же лексем или фразеологических сочетаний.

Приведенные факты отчасти снимают необходимость жестко привязывать выражение *цыганская жара* к реалиям цыганской жизни (бедная одежда, привычка согреваться «барахтаньем в снегу»). Думается, что такая привязка оправдывает себя не больше, чем попытка носителей чешского языка объяснить сочетание *sikánská zima* ‘очень холодная зима’ тем, что «ее только цыган выдержит» [PSJČ 1: 253].

Эту линию аргументации можно укрепить, приведя дополнительно две группы фактов «внутрицыганской» типологии.

Во-первых, образ цыгана используется для обозначения не только мороза, но и широкого спектра других метеорологических явлений — дождь при солнце: блр. *цыгански дождж*, укр. полес., карпат. *цыганський дощ*, серб. *жени се циганин, родило се циганче, женели егюпците (цыгани)*; грозовые тучи: польск. *cygany (cygani) idą (jadą)*; потепление, оттепель: серб. *цыганско лето* ‘период времени в 12 дней после Димитрова дня’, блр. полес. *цыганьско солнце* ‘о пригревающем февральском солнце’; туман: укр. полес. *туман цыганы напускають*; осадки: блр. полес. *цыгански дождь* ‘дождь со снегом’, чеш. *sířánská rosa* ‘иней’, болг. *цыгански сняг* ‘первый снег’, серб. *цигани, циганчићи* ‘мелкий град, снежная крупа’, хорв. *siđani* ‘снег, который, падая, не тает и имеет вид зерен’¹⁶; ветер: болг. сев.-зап. *цыгански ветар* ‘северо-западный ветер’ и др. (подробнее см. в [Березович 2007: 419–426]). Образ цыгана проявляет большую «метеорологическую активность», чем образы других инородцев (хотя «еврей» ненамного уступает «цыгану»), но мотивация практически всех инородческих наименований метеорологических явлений едина: «нечто необычное», «дикий», «аномальное». Любые изменения погоды воспринимаются людьми как события — не говоря уже об относительно редких и необычных погодных процессах. Поэтому из различных смысловых возможностей донорского кода (названий чужих народов и земель) реципиентной смысловой областью (областью метеорологической лексики) оказывается востребованным именно признак необычного, аномального.

Во-вторых, признак аномального, ненастоящего, неполноценного оказывается присущим не только метеорологической лексике «цыганского происхождения»,

¹⁶ Отметим, что по поводу хорватского факта в литературе высказывались различные точки зрения. По мнению составителей RHSJ, слово *siđani* не связано с этнонимом, а ведет происхождение от итал. *sicciolo, cicciolo* ‘шкварки от сала’ [RHSJ 1: 779]. Однако обширный ряд «цыганских» обозначений погодных явлений заставляет предпочесть этнонимическую версию. Этой версии придерживается также П. Скок, указывая, что значение ‘снежная крупа’ есть результат метафоры на базе этнонима [Skok 1: 261].

ср. рус. *цыганские кораллы* 'продолговатые бусы коричневого цвета' [СРГНО: 577], болг. *циганско мляко* («цыганское молоко») 'род водки' [ФРБЕ 2: 498], польск. *cygańskie mięso* («цыганское мясо») 'падаль' [НКРР 1: 345], *cygańskie jabłko* («цыганское яблоко») 'растение дурман обыкновенный, *Datura stramonium*' [Тугра 2011: 274], чеш. *cikánský knelliky* («цыганские кнедлики») 'кнедлики из одного теста, без начинки' [Dial-Bрно], словац. *cigánski zup* («цыганский зуб») 'зуб бороны' [SSN 1: 210] и др.

4. Приведенные выше примеры говорили о том, что при мотивационной интерпретации ксенонимов следует учитывать обобщенные признаки «странный», «аномальный», «нереальный» и т. п., которые могут быть более значимы, чем конкретные культурные и исторические обстоятельства, стоящие за тем или иным денотатом. Сказанное совсем не означает, что в сфере ксенонимии отсутствуют «вещевые поддержки». В реальных биографиях слов, в живой языковой стихии сталкивается множество импульсов, идущих как от «вещевых» условий, от культурной ситуации, так и от универсальных (в известной мере) представлений о свойствах инородцев. Рассмотрим эту ситуацию подробнее на примере славянских диалектных названий глазных болезней, образованных от этнонимов: словац. диал. *cigaňska choroba* 'глазная болезнь, трахома' [SSN 1: 209], рус. влг. *татарка* 'глазная болезнь (трахома?)': «Татаркой у стариков болели, глаза у их такие страшные, как спят, а вдруг бельмы сделаются», влг. *зырянская болезнь, зыряне пришли* 'куриная слепота' [КСГРС].

Наиболее ясным в мотивационном отношении представляется словац. *cigaňska choroba*. Для этого слова можно предположить связь с названием трахомы (одного из самых тяжелых эпидемических видов конъюнктивита, который нередко приводит к слепоте), присутствующим в международной медицинской номенклатуре, ср. рус. *египетский конъюнктивит* [БСЭ 15: 462], польск. *egipskie zapalenie oczu* [Komenda 2003: 18], англ. *Egyptian ophthalmia* [ABBYU Lingvo x 5], нем. *ägyptische Augenkrankheit, ägyptische Augenentzündung* [Komenda 2003: 17] и др. Что в данном случае обозначает определение «египетский»?

Различные источники по истории медицины единодушны в том, что Египет и Ближний Восток являлись очагами, где с древних времен была известна трахома (здесь обитают хламидии, вызывающие это заболевание) и откуда она распространялась по миру. Появлению трахомы в Европе во многом способствовал Египетский поход Наполеона: жара, мухи, грязная вода, скученность, бывшие неотъемлемыми атрибутами походной жизни, послужили благоприятной почвой для развития заболевания глаз, с которым еще не встречалась Европа. Слепые солдаты толпами возвращались домой, принося опасную болезнь. Версия о таком пути распространения заболевания подтверждается тем, что масштабные эпидемии трахомы фиксируются в Европе именно с начала XIX в. Таким образом, определение «египетский» отражает реальный исторический факт.

В разных европейских языках существует тесная связь между топонимом *Egunem* и словами, называющими цыган, т. е. «египетская» (или «фараонская») мотивация названия цыган (венг. *farao népek* «фараонов народ», англ. *gypsy*, исп. *gitano* «египтянин», макед. диал. *agŭnti*, *gŭnci* «египтяне» и др.). Она объясняется тем, что одна из зон (территория Сирии, Ливана и Кипра), где, по преданию, кочевали цыгане, называлась *Малый Egunem* [Абраменко, Кулаева 2004: 10]. «Фараонская» версия происхождения цыган фиксируется и в словацких говорах, ср. *farahún* ‘цыган’ [Кралик 2006: 165].

Эти факты говорят о том, что словац. *cigaňska choroba* можно считать диалектной переработкой номенклатурного названия трахомы, отражающего, повторим, историческую реалию.

Что касается рус. влг. *татарка* ‘трахома’, то для него возможности «реальной» мотивации являются более слабыми. Некоторые «исторические» аргументы все же есть: во-первых, в дореволюционной России значительное распространение трахома имела среди народностей, заселявших Приволжско-Камский край (чуваша, мари, удмурты, татары, мордва и др.) [БСЭ 43: 175]; во-вторых, отдельные очаги трахомы в России могли появиться в XII—XIV вв. вместе с кочевниками Чингисхана, которые заражались, проходя через Среднюю Азию [Квасова 2003: 7]. Однако эти аргументы отнюдь не абсолютны: в XIX в. трахома отмечалась в России практически повсеместно; массовые эпидемии заболевания, которые могли бы вызвать острую потребность в специальном имени для этой болезни, фиксируются не во времена Чингисхана, а лишь в 1817–1818 гг. среди оккупировавших Францию русских войск, которые затем принесли эти эпидемии на родину [Там же: 9], поэтому участие кочевников Чингисхана в распространении болезни могло пройти номинативно «не замеченным».

Думается, что в рус. *татарка* прочитываются не только (или не столько?) реальные обстоятельства, связанные с появлением или распространением заболевания, но и ксеномотивация, безразличная (еще раз подчеркнем: на уровне выбора мотивационного признака, а не производящей основы!) к историческим реалиям. Эта ксеномотивационная составляющая усиливается (и становится доминантной) для рус. влг. *зырянская болезнь*, *зыряне пришли* ‘куриная слепота’.

Для обоснования ксеномотивационной версии можно привести следующие аргументы.

В славянской народной картине «инородческого мира» устойчиво фиксируется мотив слепоты, который находит объяснение в связи с общими представлениями о демонической природе и аномальности чужих народов. Считается, что евреи не видят солнца (польск. «*Żyd słońca na niebie nie widzi, tylko udaje, że widzi*» («Еврей солнца на небе не видит, только притворяется, что видит»)), поэтому носят наручные часы; что инородцы рождаются слепыми, подобно животным, и требуется определенное время или особые манипуляции, чтобы новорожденный прозрел (это рассказывают, к примеру, поляки о евреях и о мазурах, а украинцы

о поляках, ср. укр. *лях-девятьденник*, отражающее представление о том, что лях открывает глаза на девятый день после рождения), и т. п. [Белова 2006: 52–53]. Французский инженер Гийом де Боплан в описании старых украинских обычаев обратил внимание на представления о слепоте татар после рождения [Тищенко 2007: 9]. Верования о слепоте и прочих дефектах зрения инородцев отражены в славянской лексике и фразеологии: рус. диал. *слепороды*, *слепоротая Вятка*, *вятской слепень* ‘прозвище вятчан’: «Вятчане слепороды: коли станет смеркаться, так не видят» [СРНГ 6: 90; Воронцова 2002: 243; Воронцова 2011: 299–301], *пошехоны-слепороды* ‘прозвище жителей города Пошехонье Ярославской губернии’, *слепородцы* ‘прозвище жителей д. Гам Ижемского района Республики Коми’ [Воронцова 2011: 299–300], влад., ряз. *дулеб* ‘слепой, косой, разноглазый (человек)’ [СРНГ 8: 253], арх. *белоглазая чудь* ‘легендарное племя, жившее на севере до прихода русских’, *белоглазая зырь* ‘легендарное племя, жившее, в частности, на территории современного Устьянского района Архангельской области до прихода русских’ [СГРС 1: 91], укр. полес. *сл’ину йек мазур* [Добролюбожа 2007: 101], польск. *ślepy tatar*, *ślepy turek* ‘о парне, слепом на один глаз’ [Poszukiwania: 185], *Ślepy mazur od ciemnej gwiazdy* [NKPP 2: 420], кашуб. *Izâków vůid* («зрение Исаака») ‘о плохом зрении’ [Семенова 2006: 55] и др. Ср. также рус. ср.-обск. *слепые глаза* ‘узкие глаза’ [СРНГ 38: 266] (признак «узкоглазости», по народным представлениям, характеризует многих инородцев). Все это может иметь непосредственную связь с образами представителей чужих народов в названиях глазных болезней, которые ведут к временной или постоянной слепоте (осознание болезни глаз в образах инородцев поддерживается также тем, что трахома дает ощущение инородного тела в глазах).

Кроме того, образы инородцев отражаются в обозначениях дремоты, состояния сонливости (они имеют отношение к обсуждаемой теме, поскольку сонливость, как и слепота, есть «невидение»); отметим также, что при некоторых глазных заболеваниях, в том числе трахоме, глаза больных полуоткрыты — и это придает заболевшим характерный сонный вид). Ср. рус. ворон. *калмык на шею сел* ‘дремлется, хочется спать’ [СРНГ 12: 363], влг. *калмык на шее сидит* ‘то же’ [КСГРС], польск. *żyda wozić*, *żyda bić* («еврея возить, еврея бить») ‘дремля, «клевать носом»’ [SW 8: 732], *cygón mi depce po oczach* («цыган залез в глаза») [NKPP 1: 343], *żyd mi depce po oczach*, *gorol¹⁷ mi depce po oczach* («жид (гураль) залез в глаза»), *cygani na oczach* («цыганы в глазах») [Ondrusz 1960: 74, 241, 38], *słowioł kurzi do oczu* («словак пылит (дымит) в глаза») [Турпа 2011: 121], кашуб. *žëdov ličëc* («жидов считать») ‘дремать сидя’ [Treder 1989: 14], *Ábram komu zazera do oçu* («Абрам кому-л. заглядывает в глаза») ‘кого-л. клонит в сон’ [Семенова 2006: 190, 55], ср. нем. (вост.-прусск.) *die Samaiten kommen* («жемайты идут») ‘о сонливости у детей’, литов. *žydas lenda į akis*

¹⁷ В данном фразеологизме может функционировать как этноним «гураль», так и «еврей», ср. польск. жарг. *góral* ‘еврей’ (по названию Синайской горы).

(«еврей лезет в глаза») ‘то же’ [Аникин СЛБ: 148]. Появление образов инородцев мотивировано тем, что дремота относится к тем физиологическим состояниям, с которыми нередко «борются», которые могут «захватить» человека врасплох и сопровождаться ощущением угнетения. Для обозначения целого ряда таких состояний используются названия чужих народов¹⁸.

Приведенные факты позволяют предполагать, что анализируемые названия глазных болезней имеют ксеномотивационный компонент, который проявляется в одних случаях слабее, в других сильнее. Словац. *cigaňska choroba*, которое, кажется, имеет реально-историческую мотивацию, не может не включиться в ряд ксенонимов хотя бы на уровне восприятия; для рус. *татарка* ксеномотивационная версия более правдоподобна, чем «историческая»; для выражений *зырянская болезнь* и *зыряне пришли* она вообще является единственной. При отсутствии исторической мотивации «зырянских» названий для них можно предполагать подоплеку системно-языковую: выбор этнонима *зырянин* для обозначения глазных болезней, возможно, осуществлен вследствие «наводки» со стороны слов гетерогенного гнезда *зыр-*, ср. рус. простореч. *зырить* ‘(экспр.) смотреть, глядеть’, *зырк!* ‘о быстром движении глаз’, *зырить* орл. ‘рассматривать, разглядывать’, дон., перм., тобол. ‘видеть’, новосиб. *зырок* ‘зрачок’, кубан. *зыреньки* ‘глазки’ [СРНГ 12: 38–39], *слепозыря* ‘разиня, зевака’ [СРНГ 38: 266] и др.

2.1.3. ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ И ПРОБЛЕМА ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

Этнический стереотип, т. е. устойчивый комплекс наивных представлений о каком-либо народе, нации, отражающий особенности народной «ксенопсихологии», может служить своеобразным эталоном стереотипа вообще. При образовании этнического стереотипа механизмы стереотипизации проявляются наиболее ярко: несмотря на возможность эмпирического познания объекта (чужого народа), ценностная установка, определяемая оппозицией «свой — чужой», по отношению к нему настолько сильна, что она предельно субъективизирует образ и дает максимально возможные расхождения со знанием рациональным (известно, к примеру, что инородец может символически приравниваться к животному или нечистой силе). Высокая аксиологичность этностереотипов, их принадлежность к древнейшим

¹⁸Ср. рус. влг. *цыган народился* ‘говорится при чихании’, забайк. *татар* ‘болезнь, вызывающая, подобно чесотке, сильный зуд’, перм. *татара (молотят) в голове* ‘о состоянии головокружения от усталости’, перм. *вятские приехали* ‘шутл. о menses’ (ср. также франц. *débarquement des anglais* («высадка английского десанта») ‘то же’), рус. кубан., укр. *жидовка* ‘лихорадка, нападающая ночью’, костр. *немцы молотят / играют в брюхе* ‘о чувстве голода’, словац. *cigáni mi v bruchu vyhrávajú (klince kujú)* («цыгане у меня в брюхе играют / гвозди куют») ‘о чувстве голода’, польск. *będą ci cyganie śniłi* («цыганы тебе будут сниться»), *tatary mi się przyśnią* («татары ему приснятся») ‘если кто-н. идет спать голодным, ему должны сниться неприятные сны’, *mec žėda v kolaňe* («иметь еврея в колене») ‘реагировать на щекотку’ и мн. др. (подробнее см. в [Березович 2007: 441–443]).

мировоззренческим основам культуры обеспечивает им заметное место как в системе естественного языка, так и в фольклорных текстах, ритуалах, верованиях и др. Поэтому реконструкция содержания стереотипа требует учета всех способов его символической репрезентации.

Вследствие того, что стереотип функционирует в разных субстанциональных кодах культуры и мотивирующих сферах, может создаваться своеобразный **полимотивационный эффект**: разные коды дают свои мотивационные импульсы, которые взаимодействуют друг с другом.

В качестве примера рассмотрим такую деталь стереотипа цыгана, как образ *цыганского гвоздя*. Какие смыслы связаны с этим образом?

- Цыгане «реально» куют гвозди: в разных зонах славянского мира цыгане были кузнецами, ср. польскую поговорку «*Co Cygan, to kowal*» («Что ни цыган, то кузнец») [НКРР 1: 343]. Мотив «цыганского кования» отражен, в частности, в укр. *цигани куйут* ‘вид ритуальной игры при покойнике’ [Онишкевич 2: 352].

- Цыгане куют кустарно, цыганский гвоздь не фабричный: серб. *цигански клинци* («цыганский гвоздик») ‘вид гвоздя, который используют кустарные кузнецы, а не фабричного производства’ [Елезовић 2: 421], болг. *цигънски гоздий, цигански пирон* ‘(«цыганский гвоздь») ‘гвоздь, сделанный вручную, кованный гвоздь’ [БД 7: 166; 5: 216].

- Признак самодельного кованого гвоздя оказывается связанным с признаком большого размера, крупной детали: словац. *cigaňski gvuse, cigánski klinec (hrebik)* ‘вид гвоздя с большой головкой’ [SSN 1: 209–210]. Этот признак выделяется в обозначениях других цыганских изделий, среди которых как кованные, железные («цыганская иголка»: рус. краснодар. *цыганка* ‘большая толстая игла’ [КСРНГ], укр. *циганська голка* ‘то же’ [Гринченко 4: 429]; «цыганское решето»: болг. *цигънску ръшѐту* ‘жестяное сито с крупными отверстиями’ [БД 7: 166]; «цыганский гребень»: болг. *цигънски дърѝк* ‘самодельный гребень для обработки шерсти, пеньки и др.’ [БД 7: 166] и др.), так и не железные (рус. влг. *цыганский плат* ‘платок с крупными цветами’ [КСГРС], влг. *цыганские сани* ‘сани большого размера’ [КСГРС], одесск. *цыганские ложки* ‘большие деревянные ложки’ [СРГО 2: 269], костр. *цыганская палка* ‘палка больших размеров’ [ЛКТЭ] и т. п.).

- Цыганские гвозди «неправильные», «фальшивые»: костр. *сделано на цыганский гвоздь* ‘сделано слабо, ненадежно’: «Баня развалилась, на цыганский гвоздь сделана» [ЛКТЭ]. Признак аномального, ненастоящего, неполноценного оказывается присущим разным *цыганским* наименованиям, ср. примеры выше, в параграфе 2.1.2.

- Цыганский гвоздь похож на сигарету: костр. *цыганский гвоздик* ‘самодельная папироса, «цигарка»’ [ЛКТЭ]. Эта связь, по всей видимости, отчасти обусловлена народно-этимологическим сближением *цыган* ↔ *цигарка*.

- Мотив кования соотносим с мотивом шума, присущим облику цыгана, ср. рус. простореч. *цыганский грохот, цыганский галдеж*, а также шуточные

фразеологизмы, передающие звуки бурчания в животе через образ цыган: укр. (лемк.) *цигане в брjосi гравуть* [ФСЛГ: 141], словац. *cigáni mi v bruchu vyhrávajú (klince kujú)* («цыгане у меня в брюхе играют / гвозди куют») [SSJ 1: 169], *cigánska kapela* [HSSJ 1: 185].

- Образ цыганского гвоздя присутствует в легендах о распятии Христа, существующих в разных вариантах. Согласно одним, цыгане вели себя «положительно»: спрятали гвозди для распятия; сделали непригодные гвозди; когда муха села на лоб Христа, цыганка сказала: «Ей-богу, это гвоздь» и пр. Поэтому им можно божиться. Согласно другим, цыгане вели себя негативно: хотели сделать больше гвоздей, чем было нужно, — поэтому были прокляты Христом и кочуют по свету (подробнее см. в [Жайворонок 2006: 132; Белова 2004: 78–81]).

В представленном перечне выделяются мотивы, которые различаются как по происхождению, так и по содержанию. С точки зрения содержания можно выделить мотивы бытийные (цыган как кузнец), культурные (роль цыгана в сюжете распятия Христа), характеризующие, качественные (с цыганами связываются признаки «крупный», «шумный»), ценностные (фальшивость всего цыганского). С точки зрения происхождения выделяются мотивы отъязыковые (ср. сопоставление гвоздя с «цигаркой», появившееся, вероятно, вследствие народной этимологии), текстовые (мотив распятия восходит к культурному тексту) и др. В данном случае нет смысла ранжировать мотивы в плане первичности / вторичности. Множественность мотивационных импульсов является необходимым следствием «жизни» стереотипа в разных культурных кодах.

Чаще всего полимотивационный эффект создается за счет **взаимодействия**, с одной стороны, качественных, оценочных мотивов, с другой — **мотивов**, восходящих к какому-либо культурному прецеденту. Так, при интерпретации англ. *Jew's harp* («еврейская арфа») ‘музыкальный инструмент варган’ [НБАРС 2: 278] следует вначале проверить возможности «культурной» трактовки данной идиомы, попытавшись установить связь этнического образа с музыкальными инструментами — варганом или арфой. Связь с варганом, кажется, отсутствует: он отнюдь не является специфически «еврейским» инструментом (по происхождению или употреблению), широко распространен по всему земному шару, что фактически исключает возможность культурного заимствования. Что касается арфы, то здесь есть некоторая культурная подоплека: как известно, библейский царь Давид, слагавший и исполнявший псалмы, нередко изображался с арфой. Представление об арфе как «атрибуте» царя Давида было широко распространено в культуре разных народов, в том числе у русских, превративших арфу в гусли: к примеру, как указывает В. И. Поветкин, намек на царя Давида можно усмотреть в фигуре гусяря, украшающего буквицу «Д» в новгородском Служебнике XIV в. [Поветкин 1997: 48].

Но если связь рассматриваемого этнического образа с арфой культурно обусловлена, то превращение арфы в варган не имеет культурной мотивации,

но объясняется сильным зарядом негативной экспрессии, присутствующей во многих этнических стереотипах. Варган является весьма примитивным и, как правило, самодельным инструментом; ср. поговорку, подключающую к представлениям о нем еще один «инородческий» образ: «Цыган варганы куёт, и то ему ремесло» [Даль, 1: 165]. Варган издает «простейшие» звуки, впечатление о которых отражает глагол *варганить* костр. ‘шуметь, кричать’, влг. ‘нестройно, громко петь или играть на каком-л. инструменте’, курган. ‘звенеть (о колокольчике)’ и т. п. [СРНГ 4: 46–47]; ср. также простореч. *сварганить* ‘сделать, приготовить (обычно на скорую руку, кое-как)’. Таким образом, прилагательное «еврейский» в составе рассматриваемой идиомы можно трактовать как качественное (пейоративное и ироническое по своему смысловому наполнению). Это предположение косвенно подтверждается наличием других английских идиом, представляющих собой сочетание этнонимического прилагательного и названия музыкального инструмента: *Irish harp* («ирландская арфа») ‘скребок с длинной ручкой’ [Partridge 1988: 600], *Scotch fiddle* («шотландская скрипка») ‘зуд, струпя у овец’ [EDD 5: 260], ‘чесотка, зуд’ [Рубцова 2009: 401]. Семантика «ирландского» и тем более «шотландского» в данном случае весьма сходна с семантикой «еврейского» и усугубляет ее в негативную сторону: пейоративные этнонимы не просто «снижают ранг» музыкальных инструментов, но и пародируют их, превращая в отнюдь не музыкальные предметы.

Таким образом, принципиальной особенностью этнических стереотипов в рамках народной традиции является функционирование их в различных культурных кодах, что, с одной стороны, создает мотивационную многогранность стереотипа, а с другой — вызывает необходимость учитывать специфику реализации стереотипа в каждом отдельно взятом коде.

Стереотипы — благодатный материал для изучения **механизмов взаимодействия** различных кодов культуры.

Рассмотрим эти механизмы, избрав для анализа языковой (преимущественно диалектный), фольклорный и этнографический материал различных славянских традиций. Отправной точкой анализа станут языковые стереотипы, которые реализуются в фактах семантической деривации на базе этнонимов, а также во фразеологизмах, элементами которых являются этнонимы. Отражая языковую «версию» стереотипа чужака, инородца, отэтнонимические дериваты обнаруживают тесную связь с фольклорными, ритуальными и другими вариантами воплощения стереотипа. Простейший пример таких связей — переключки между диалектными словами со значением ‘непрошенный гость’, образованными от этнонимов (ср.-урал. *башкир* <Свердловск. обл.> [ЛЗА], читин. *швед* [СРГС 5: 331]), и поговорками вроде рус. «Нежданный гость хуже татарина», укр. «Непроханий гість гірше татарина» [Номис 1993: 521] и т. п.

Взаимодействие фактов языковой сферы и других субстанциональных кодов культуры может осуществляться в разных направлениях.

1. Вектор взаимодействия может быть направлен **от фольклора, ритуала, верований к языку**. Самая тесная связь между этими кодами реализуется в том случае, когда языковая единица представляет собой «свернутый» культурный текст, который объясняет ее происхождение. К примеру, такие факты, как рус. костр. *татарские духи* ‘тяжелый, неприятный запах, смрад’ [ЛКТЭ], полес. *жидум чутти* ‘о неприятном запахе’ [Белова 2006: 191], чеш. *židovina* ‘запах евреев’ [PSJČ 8: 1042], мотивированы представлениями о дурном запахе, исходящем от инородцев, отраженными, в частности, в паремиологии, ср. рус. «Татарина не отмоешь, татарский дух чутко» [ЭМТЭ], польск. «Ciógnie sie jak smród za żydym» («Тянется, как смрад за евреем») [Ondrusz 1960: 37], «Namaż ty ruska masłem, przecież on dziegciem śmierdzi» («Намажь ты русского маслом, а то он дегтем воняет»), «Śmerdzi jak cygón dziechciym» («Воняет, как цыган дегтем») [NKPP 1: 346; 3: 101].

Более опосредованные связи наблюдаются тогда, когда культурные контексты порождают какой-либо языковой мотив, но в языке он по-своему перерабатывается, отдаляется от исходной культурной среды, оказываясь связанным с теми реалиями, которые для нее не релевантны. Рассмотрим рус. яросл. *жид* ‘ворох прошлогодней травы, листьев, который сжигают весной’ [ЛКТЭ]. Это слово, имеющее сугубо «профанное» значение, можно сопоставить с выражением *жидов выжигать*, которое функционирует в рамках рождественской обрядовой терминологии Тамбовщины: «На Рождество во дворах зажигали солому, да так, чтобы *жидов* <курсив здесь и далее наш. — Е. Б.> выгнать из катухов, курятников. *Жидов выжигали* в каждом дворе. Это обязательно. Выжигали ночью, вернее, на заре, как звезда взойдет. Выжигал у нас обычно деда. Называлось это *авин зажечь*. *Жидов*-то почему *выжигали* в этот день, они же в это время как раз младенца Христа искали, вот, чтобы они его не увидели, жидов и выгоняли, а птицы эти, воробьи, но мы-та их всегда жидами звали, они тоже хотели выдать, где Христос родился, но Господь не допустил. Не время еще было этому» [Поповичева 2001: 88–89]¹⁹. Тамбовский ритуал связан с распространенной у славян практикой ритуального уничтожения (в том числе сожжения) разного рода кукол, чучел, которые могли носить имена инородцев, ср. польское обозначение купальского чучела *chochoł*, курское название трицкой куклы *немчик* [Агапкина 2002: 625, 637] и др. Связь инородцев с уничтожаемым чучелом могла быть выражена и другим способом: например, в Словакии сжигать обрядовое чучело, символизирующее смерть, должен был специально приглашенный для этого цыган [Белова 2006: 69].

¹⁹ Данный текст демонстрирует некоторую модернизацию культурной основы ритуала: действие сжигания соломы и вербальная формула (*жидов выжигать*) указывают на то, что исходно, по всей видимости, здесь предполагалось сжигание чучела еврея (см. последующие примеры в основном тексте настоящего исследования). Однако затем произошло притяжение к вят., куйбыш., курск., новг., орл., тамб. *жид* [СРНГ 9: 168; ОСВГ 4: 48; СОГ 3: 118], что добавило в ритуальные действия прагматическую ноту (изгнание воробьев).

Среди обозначений уничтожаемого чучела было и слово «еврей», ср. польск. *żyd* ‘чучело еврея, которое изготавливалось во время новогодних ритуалов, а затем уничтожалось’ [KSGP]²⁰. Такое обозначение чучела могло быть связано с еврейским ритуалом поругания злодея Амана (Гамана) в средневековой Европе и Византии, который включал в себя ритуальное сожжение чучела Амана [Петрухин 2004: 92]. Мотив сожжения «жида» находит отголосок в названии детской игры — польск. *żyda palic* («еврея жечь») ‘детская забава: из стеблей или из травы делается треугольник; этот треугольник слюнявят, так что между его углами образуется тонкая пленка из слюны; когда на нее капают несколько капель молочая, выступают разноцветные узоры’ [Karłowicz 6: 452]. Ср. также чеш. *pěct žida na másle* («печь еврея на масле») ‘знач. (?)’ [Dial-Brno], укр. «Ого, жарку! можна й жида зпекти» [Номис 1993: 609]. Возвращаясь к слову *жид* ‘ворох прошлогодней травы...’, с которого мы начали этот пассаж, отметим, что оно, вероятно, содержит аллюзию к ритуальному «сожжению жида»: благодаря ритуалу, «жид» устойчиво соотносится с объектом сжигания — поэтому даже в отрыве от культурного контекста что-либо, подвергаемое сожжению (например, прошлогодняя трава), может ассоциироваться с «жидом». Таким образом, в изучаемом слове отражена типичная для семантической деривации в системе языка «деритуализация» культурной семантики, переводящая ее в ранг бытовых значений слова.

Наконец, фиксируются ситуации, когда культурная «подоплека» не позволяет найти конкретную мотивировку какой-либо отдельной языковой единицы, но объясняет принадлежность этой единицы к определенной тематической группе лексики (семантическому полю). Например, в славянских народных верованиях инородцы оказываются связанными с азартными играми: ср., в частности, представления о том, что «карты выдуманы жидами», им всегда везет в этой игре, из-за карточного долга Иуда предал Христа [Белова 2006: 120–121]. Это представление мотивирует наличие «инородческой» лексики в сфере карточной терминологии: рус. влад. *жиды* ‘название одной из игр в карты’ [СРНГ 9: 171], чеш. *žid* ‘вид карточной игры’ [PSJČ 8: 1040], польск. *cygan* ‘игра в карты’ [SGP 4/3: 576], *ruski* ‘вид карточной игры’ [Тугра 2011: 113], словац. *cigán, cigáň* ‘род игры в карты’ [SSN 1: 209], *rus* ‘игра в карты, в которой выигрывал тот, кто имел три карты старше по масти’ [SW 5: 774], *żydek* ‘в игре в карты: банк, который забирает тот, кто выиграл’ [SW 8: 732], «W tym miejscu musieli żyda powiesić» («В этом месте должны были еврея повесить») ‘говорят, когда не идет игра в карты’ [Там же: 733], ср. также исп. *judío* («еврей») ‘в карточной игре монте: фигура (король, дама, валет)’ [Moliner 2: 194].

²⁰ Показательно также название ритуала *rznąć żyda* («резать еврея»): «Na Pokuciu zaś mówiono, że w śródpóście rzną żyda, a z jednego gardła wypadły rodzynki, daktyle i figi, a z drugiego zaś gardła żur, śledzie, wyżina» («На Покутье же говорят, что в середине Великого поста режут еврея, и из одного его горла выпадал изюм, финики и фиги, а из второго горла — жур, селедка, белужина») [Kolberg 1962: 320].

2. Некоторые мотивы **параллельно** разрабатываются в языке и во **внеязыковых кодах культуры**, создавая ситуацию паритета, когда выявить вектор взаимодействия не представляется возможным (в каких-то случаях этот вектор может быть установлен при дополнительных разысканиях, однако это не устраняет принципиальной вероятности лингвокультурного паритета). Рассмотрим такой пример. В ряду восточнославянских обозначений луны явственно просматриваются «инородческие» мотивы: рус. сарат. *мордовское солнышко*, *мордовская копеечка* ‘о луне’ [СРНГ 18: 260], влг. *казанское солнышко* ‘о месяце во время осенней жатвы’ [СРНГ 12: 310], краснодар. *цыганское солнце* ‘луна’ [КСРНГ], укр. *циганське сонце* ‘месяц’ [ФСУМ 2: 843], блр. *цыганскае сонца* ‘то же’ [Мечковская 2002: 226]. В плане типологии интересно англ. сленг. *Paddy’s lantern* («светильник Пэдди-ирландца») ‘луна’ [Partridge 1988: 848]²¹. Языковые факты такого рода трактуют луну как «неправильное» солнце, «испорченный двойник» солнца (ср. рус. костр. *ночное солнышко* [СРНГ 12: 323], польск. *nocne słońce* [SSSL 1/1: 159]).

Несколько иначе, с иными акцентами разрабатывается символическая связь ночного неба и луны с инородцами вне системы языка — в фольклоре и верованиях. В русских загадках месяц пасет небесное стадо, а само пастбище называют *Турецкая гора*, поле *Чемоханско*, *Итальянско*, *Сиянско*, *Карагайское* и т. п.²². Болгары считали, что луна светит для турок; как турки «не знают ни веры, ни закона, так и луна меняется постоянно» [СД 3: 144]. Отметим, что «турецкие связи» месяца могут поддерживаться тем, что он является эмблемой ислама. Ср. польск. *księżyc* («месяц») ‘эмблема веры магометанской, ислам, ислаимизм, магометанство’: «Walka księżycy z krzyżem» («Борьба месяца с крестом»), «Skłąsł księżyc basurmański» («Закатился месяц басурманский»), а также *księżyc turecki* ‘вид музыкального инструмента’ [SW 2: 609]. Прослеживается и связь луны с цыганом, ср. украинскую поговорку «Виширив зуби, як циганські діти до місяця» [Номис 1993: 553] и болгарские легенды о том, что луна поднялась высоко на небо, когда цыган захотел взять ее для освещения своего дома [СД 3: 144].

Еще пример: для укр. *цигани* ‘подгорелые коржи’ [Аркушин 2: 240] обнаруживается параллель в приговорах о хлебе, растрескавшемся при выпечке: влг., костр. *цыган кнотом* (= *витигом*, *витнем*) *исхлестал* [КСГРС, ЛКТЭ], пск. *цыган*

²¹ Ср. также сходное по образной структуре англ. *Irishman’s fire* («огонь ирландца») ‘пламя, которое горит только в верхушке (горит очень плохо)’ [EDD 3: 330], которое подтверждает, что образ инородца может привлекаться для обозначения неяркого источника света.

²² См. загадки о небе, звездах и месяце: моск. «Поле Полянское, Скотина Гальянская, Пастух Лыжинский»; арх. «Поле велико Романовско, На поле скот Оверьяновский, Пасет пастух Фарафоновский»; влг. «На поле Итальянском Много скота Белянского, Один пастушок — Как налитая ягодка» [Садовников 1996: 216–217] и т. п.; свод подобной «небесной топонимии» (на восточнославянском материале) представлен в [Юдин 2007: 58]. Как указывает А. В. Юдин, несмотря на разнообразие заместительных номинаций такого рода, «все они вполне традиционно-фольклорны; совпадения с реальными топонимами следует объяснять скорее вторичными переосмыслениями в результате варьирования путешествовавшей из уст в уста по стране загадки» [Там же].

в печку забравши [СППП: 79], арх. *цыган в пече исхлестал погонялкой* <Бор-Исаково Каргопольск. р-на Архангельск. обл.> [БДКА].

3. Наконец, имеются ситуации, когда вектор взаимодействия направлен **от языка к внеязыковым кодам**. В этом случае язык сам создает культурные контексты, используя для этого имеющиеся в его арсенале средства — фоно-символику, аттракцию и др. К примеру, представление о жадности («жмотстве») жителей Жемайтии (жмуди) во многом обусловлено аттракционными процессами, ср. пск. *жмўйда*, смол. *жмудяга* ‘скупой человек, скряга’, сарат. *жмўди* ‘скупые люди, скряги’, ряз., тамб. *жмуть* ‘тот, кто притесняет, обижает кого-л., жмот’ [СРНГ 9: 206–207], а также рус. устар. *Жмудь* ‘Жемайтия, Нижняя Литва’, ст.-блр. *жмойдъ, жмуйдъ*, блр. *жмудзін* ‘житель Жмуди’ [Аникин СЛБ: 153; Фасмер 2: 59]; об ассоциациях русских диалектных слов типа *жмуди* ‘скряги’ с *Жмудью* см. в [Аникин СЛБ: 153].

Несмотря на то, что между разными кодами существуют теснейшие связи, каждый код имеет свои **специфические пути обработки и репрезентации этнокультурной информации**. Рассмотрим некоторые примеры, показывающие, как выражается в языке и вне его системы связь инородцев с атмосферными явлениями (дождем, тучами, ветром). Есть случаи, когда языковые и внеязыковые факты практически «симметричны» друг другу, т. е. находятся как бы в отношениях «взаимной цитации» (наиболее органичны такие отношения для языковой фразеологии и фольклорного текста).

Показательна, к примеру, формула «надвигается дождь» = «едут (идут) инородцы». **Языковая фразеология**: польск. *cygany (cygani) idą (jadą)* («цыганы идут (едут)») ‘о надвигающихся грозовых тучах’ [SGP 4/3: 577], кашуб. *švejdě jadu* («шведы едут») ‘собирается дождь’ [Sychta 5: 311], рус. ср.-урал. *пермяки поехали* ‘о ветре, несущем дождь’ [ЛЗА], ср. также перм. *чердики²³ ворота растворили* ‘о северном ветре’ [СРНГ 37: 269]; **детские припевки**: укр. «Сонечко, сонечко! одчини Боже віконечко — подивимось, чи далеко *татапе йдуть*»; «Сонечко, сонечко, скажи, віткіля *татапе йдуть*» (когда надвигаются тучи, дети, поймав божью коровку, обращают к ней эти слова) [Номис 1993: 54]. В то же время в системе языка формулы такого типа могут пройти закономерную обработку. При этом утрачивается предикативность (главный текстообразующий фактор), словосочетание «сворачивается» до **цельнооформленной лексемы**, которая может дополнительно наделяться признаковой семантикой: чеш. *sikáni* ‘темные грозовые тучи’ [Dial-Brno] (цыганская «чернота» проецируется на темный цвет грозового неба).

Иной способ разработки инородческой темы применительно к метеорологии фиксируется в атрибутивных сочетаниях, обозначающих дождь при солнце: блр. *цыганскі дождж* [ТСБМ 2: 187], *цыганская погода* <Бельск Кобринск. р-на

²³ *Чердики* — жители Чердынского района Пермской области.

Брестск. обл.> [БДПА], укр. *циганське веремне* (ср. *веремне* ‘ясная и солнечная погода’) [ГГ: 34], блр. полес. *жыдоўскі дождж* [Кондратенко 2000: 101] и др. Здесь нет сюжетности (движение туч = наступление инородцев), а образы чужаков реализуют признак «странный, аномальный», который позволяет вписать эти конструкции в круг языковых фактов, обозначающих разного рода необычные природные явления, среди которых «воробьиная ночь» (гроза с молниями, но без грома), двойная радуга, бабье лето, теплая зима и др.; сочетания с такой структурой и мотивацией широко представлены и за пределами «погодной» сферы (подробнее см. в [Березович 2007: 404–467]). Таким образом, успешное функционирование этих сочетаний в системе языка обеспечивается тем, что инородческое определение в их составе имеет обобщенно-оценочную семантику, которая легко моделируется и объединяет большое количество языковых фактов, принадлежащих разным тематическим группам лексики.

Что касается внеязыковых сфер реализации изучаемого мотива, то в таком жанре, как *приметы*, мотив обретает характерную причинно-следственную структуру — и в соответствии с жанровыми канонами инородцы становятся не субъектами сравнения, но причиной стихийных бедствий (инородцы собираются толпами и проезжают по селу, вызывая дождь): рус. зап. «Быть дождю великому, бо жидова ордою (толпою) волочится!» [Даль₂: 690], укр. «Буде дощ, бо жиди волочаця» [Номис 1993: 6], блр. «Калі цыганы заязджаюць у вёску супраць ветру, то трэба чакаць дажджу з градам; па ветры — працяглай засухі» [Никифоровский 1897: 83], «Калі збіраецца шмат жыдоў да цыганоў, то назаўтра будзе дождж, калі гэта лета, а калі зіма, то адлега» [Сержпутоўскі 1930: 40]; в Полесье считали, что если евреи станут часто ездить через село, то пойдет дождь [Pietkiewicz 1938: 28]. В *толкованиях сновидений* (близких приметам по своей прогностической направленности) инородцы тоже становятся причиной стихийных бедствий, однако «бытовизм» примет (с их вниманием к деталям, обеспечивающим приметам орудийность) здесь заменяется укрупненным «символизмом»: рус. «Цыган снится к ненастью» [ЭМТЭ]; блр. «Жыда бачыць ва сне — ліхая пагода» [БлрМ: 558]. Изучаемый мотив представлен также в *формулах отсылов*²⁴, но здесь нет такой смысловой позиции, как причина какого-либо явления, зато есть позиция адресата угрозы, которую и занимают инородцы: укр. «Бий, дзвоне, бий! хмару розбий! Нехай хмари на татаре, а сонечко на хрестяне!» (угроза грозовой туче) [Номис 1993: 53]. В *формулах предписаний* (жанре предельно орудийном)

²⁴ Отметим, что инородцы являются частыми адресатами отсылов: к ним посылают не только грозовые тучи, но и, к примеру, болезни (ср. формулы отсыла болезней вроде блр. полес. «Ночницы, ночницы, Порвице жыдам подушки. Жыдом спаць не давайце, а мою Лёньцу спать давайце»; «Ночницы, ночницы, на дзятятка сон наведзице, а идзице ў жыдовские падушкі, параскидайце перья» [ПЗ: 70–71, № 84–85]), «уходящие» праздники или календарные периоды (так, в Пермской области по истечении масленичной недели масленицу посылали к вотякам или татарам [Подкоков, Черных 2004: 31]).

акценты несколько иные: в них представлен не виртуальный реципиент, а непосредственный объект воздействия: блр. «Коб дож пашоў, главно — жиды абліць» <Великий Бор Хойницк. р-на Гомельск. обл.> [БДПА].

Учет лингвокультурных связей может оказать существенную помощь при **мотивационной интерпретации** «темных» фактов как языкового кода, так и внеязыковых, а также позволяет целостно реконструировать представления, стоящие за той или иной тематической сферой, в которой воплощается стереотип. Рассмотрим возможности такой реконструкции на примере комплекса лингвокультурных данных, относящихся к тематической области «С е л ь с к о х о з ь я и с т в е н н ы е р а б о т ы».

В различных славянских диалектах встречаются наименования укладок зерновых или сена для просушки в поле, которые формально соотносятся с этнонимами: рус. онеж. *латьши* ‘небольшая копенка (сена)’ [СРНГ 16: 293], новг., твер. *литвин* ‘скирда овса’, новг. *литвин* ‘длинный узкий штабель овса’ [СРНГ 17: 71], ‘укладка снопов в виде продолговатой кучи’ [НОС 5: 29], блр. гродн. *літоўка* ‘длинная скирда сена’, полес. *ляшок* ‘укладка из десяти снопов’ [ЭСБМ 6: 12], словац. *петес* ‘кладка снопов на поле, уложенных конусом’: «Triced’ ňemcov pšenice zme na Laze navézal’i» («На Лазе мы навязали тридцать немцев пшеницы») [SSN 2: 407]. Слова, входящие в этот ряд, поддерживают друг друга; особенно следует выделить словацкий факт, реализующий модель вне восточнославянского ареала и использующий иной этнический образ (не балтийский и не польский). Этот факт несколько уменьшает сомнения в этнонимической природе слова *литвин* ‘скирда овса’, которые выражает А. Е. Аникин, размышляя о правомерности отделения этого слова от рус. диал. *литвин* ‘хворостина, которой укрепляют стог’, откуда могло развиваться ‘(укрепленная хворостинами) скирда, укладка (снопов)’ [Аникин СЛБ: 209]. Само слово *литвин* ‘хворостина’ А. Е. Аникин справедливо возводит к **витвина* (и далее к *ветвь*) [Там же: 209–210].

Каково мотивационное значение приведенных выше лексем? Отражают ли они реалии культуры (заимствование у соседнего народа способа укладки снопов)? В этом духе рассуждает А. П. Непокупный, рассматривая близкое приведенным выше словам укр. диал. *литвинник* ‘ивовые прутья, которыми связывают бревна в сплавных плотях’: поскольку литовцы (блр. диал. *литвинники*) занимались лесосплавом и сплавливали лес по Днепру, то обозначение прутьев, крепящих плот, могло иметь этнонимическое происхождение [Непокупный 1976].

Однако мы склонны отрицать «материальную» подоплеку обозначений снопов, предполагая здесь мотивацию иного плана, которая проясняется при обращении к фольклорным текстам. В восточнославянских загадках представлен образ снопов (во время обмолота или жатвы) как убитых людей; этот образ явно отсылает к сценарию битвы с врагами — не случайно поле, на котором лежат мертвецы, может быть названо, к примеру, *рубежом татарским*: «На поле на Арском, на порубеже татарском, Лежат все побиты, бороды побриты, а брюха

распороты»; «На поле Ногайском, на рубеже татарском Лежат люди побиты, у них головы обриты» <молотят снопы>; «Тута потута, люди побиты, а ус под Торжок пошел» <скирд> [Митрофанова 1968: 81, № 2327–2328; 78, № 2244]; «Туты на туты, На тутовой горе Все туты избиты, Головы обриты, Ножи — в головах» <бабка снопов и серпы>; «На поляне, на кургане Подрались дворяне: Не видать ни костей, Ни мастей, Только видно, где дрались» <молотят> [Садовников 1996: 148, № 1274; 151, № 1299]; блр. «У горадзе пад Быхавам ляжаць людзі падбітыя, у іх морды нябрыгтыя», «На Патужавай гары ляжаць людзі парэзаныя, а галовы павязаныя» <снопы> [Загадки-блр: 191]; укр. «Їду-їду по синьому залізу, гляну назад — неживі люди лежать» <серб и снопы> [Загадки-укр: 245]. Показательна также болгарская загадка, где нет образа убитых людей, но снопы кодируются как войско: «Цялата войска запасана, само царят разпасан» <снопы и копна> [Стойкова 1984: 294]. В двух загадках обмолачиваемые снопы названы «французами» и «татарами»: рус. костр. «Маленький Кузя побил всех французов» <молотило>²⁵ [ЭМТЭ]; блр. «Як пайду я па вытапу ды вазьму я па гутату, ды ўдару па татару» <ток> [Загадки-блр: 192]²⁶. Развитию сценария битвы способствует антропоморфизация снопов, проявляющаяся самыми разными способами и закрепленная, в том числе, в системе языка: верхняя и нижняя часть снопа в различных славянских говорах обозначаются как «голова» и «зад», сами снопы могут быть названы «бабками» или «дедками», перевязь — «пояском» и т. п.

Таким образом, перед нами разворачивается образ жатвы или обмолота как битвы, борьбы с врагами — и этнонимические названия укладок снопов хорошо вписываются в эту картину, служа обозначениями «повязанных» врагов. Все этнонимы, функционирующие в изучаемых словах, называют народы, с которыми у номинаторов были конфликтные отношения, в том числе вооруженные столкновения. Дополнительным аргументом в пользу такой трактовки служит грамматическая форма названий снопов, которые точно совпадают с этнонимами. В случае «культурного заимствования» были бы вероятны не только такие формы, но скорее атрибутивные сочетания *«немецкий сноп», *«литовская копна» и т. п. По этой причине мы не включили в приведенный выше ряд близкие по семантике сочетания вроде рус. арх. *зырянский сноп* ‘ржаной сноп, связанный определенным образом’: «Зырянские снопы доугие, комли с вершинами вместе»; «Ячневые снопы короткие, а зырянские — длинные, ржаные»; «Вместе вершины и комельки

²⁵ «Инородческая» тема в связи с молотильным цепом встречается и в других поговорках: укр. «Литовський ціп на обидва боки молотить» ‘говорится о лгунах’ [Гринченко 2: 363]; «Він так як литовський ціп — и сюди, и туди» [Номис 1993: 166]; «Бреше, як циганський ціп» [Там же: 320]; ср. также загадки (с отгадкой «молотило»): «Меж двома дубками бьюцца жиди ярмулками» [Там же: 657]; «Циганочка весела своїм хвостом усе жито побила» [Загадки-укр: 227].

²⁶ Этот образ может иметь звукоподражательную природу (звуки ритмичных ударов по току), однако общий контекст образного представления молотыбы способствует появлению «инородческой» ассоциации.

связаешь — будут длинные снопы, зырянскими снопами их все звали» [СГРС 4: 293], а также польск. *plot (plotek) szwedzki* («шведский забор (заборчик)») ‘(деревянное) приспособление для сушки сена’ [Komenda 2003: 88]. Для этих сочетаний более вероятной представляется мотивация в связи с заимствованием факта материальной культуры (польский факт вписывается в ряд «шведских» обозначений разного рода деревянных конструкций, среди которых известная «шведская стенка», ср. польск. *drabina szwedzka* («шведская лестница») ‘спортивный снаряд в форме двух длинных параллельных реек из дерева’ [Там же: 87–88].

Снопы являются «сырьем» для переработки, в результате которой, помимо полезного продукта, появляются отходы. Их обозначения включим во второй круг изучаемых фактов (тесно связанный с первым). Ср. русские вологодские названия отходов при молотье и огрехов при косье: *французы* ‘отходы при молотье, непригодные для корма скота (с крупной остью)’, *татаров оставить* ‘оставить огрехи при косье’, *татары пришли* ‘об огрехах при косье’ [КСГРС]. Думается, что в этих словах воплощается образ физического воздействия: французы и татары — побитые (при молотье) или «недорезанные» (при косье) враги. Фольклорная параллель представлена в украинской поговорке «Кукіль з пшениці вібрати, жидів и ляхів різати» [Номис 1993: 20].

Для полноты картины следует указать, что другого рода «экзекуции» над инородцами отражены в названиях продуктов вытопки сала: рус. влг. *храниузики* ‘подгоревшие при жарке вытопки от сала’ [КСГРС], укр. *швед* ‘шкварка’ [Аркушин 2: 260], блр. *швэди, швэды* ‘шкварки’ [ДСБ: 260], *швэд* ‘длинная полоска сала’: «На сковородзе швэды лежаць, аж хорошэ гледзець!» [ТС 5: 325], польск. *szwedy* ‘шперки, крупные шкварки от сала’ [SW 6: 693]²⁷, ср. также во фразеологии и паремиологии: кашуб. *vějesc žědowi skvarki z patelni* («съесть еврейские шкварки со сковородки») ‘о человеке с гнойником на губе’ [Sychta 5: 68], польск. «Cygánowi szpérka, a gazdowi kapusta» («Цыгану шкварка, а хозяину капуста») [НКРР 1: 345]. Дополнительный мотивирующий момент — признаки испорченности и бесполезности, ненужности, которые проявляются в инородческих обозначениях производственного брака, побочных продуктов переработки, остатков²⁸: рус. влг. *пошехоны спрятались* ‘о хлебе со вздувшейся коркой’, *чухарик* ‘брак на ткани — выделяющаяся полоска утка от ошибки ткачихи в переступании подножек ткацкого станка’ [КСГРС], чеш. *valach* ‘брак при сновании’ [Dial-Brno], словац. *cigánská blcha* («цыганская блоха») ‘отходы стали при изготовлении ножей’ [SSN 1: 210], чеш. *žid* ‘неразглаженная складка на белье’ [Dial-Brno], укр. *жид* ‘пропущенное место во время сева вручную’, *жидок* ‘пропуск при косье’ [Аркушин 1: 155],

²⁷ Здесь несомненна также звукоподражательная мотивация: звукокомплексы *хр-* и *шв-* хорошо подходят для имитации звукового сопровождения жарки сала.

²⁸ Этот ряд смыкается также с инородческими обозначениями разного рода суррогатных продуктов (подробнее см. [Березович 2007: 436–437]).

жид ‘пропуск при пахоте’ [ГГ: 70], польск. *żyd, cygany* ‘пучок травы, оставшийся из-за невнимательности косца’ [Тугра 2011: 273].

Инородческим наименованиям пропусков при севе, пахоте, косьбе «аккомпанирует» мотив неумелого косца: рус. *цыган* ‘обращение к тому, кто плохо косит’: «“Ты как цыган косишь”, — мол, что цыганы не сенокосят» <Лукино Каргопольск. р-на Архангельск. обл.> [БДКА]; укр. «Такий жвавий, як жид молотити», «Кваписся, як жид молотити», «Не робив жид на хліб, та и циган не буде» [Номис 1993: 82, 246, 486]. Тема неудачи в сельскохозяйственных работах по «вине» инородцев имеет продолжения и вне системы языка: блр. «Кали едучи сеять да сустрыэнецца жыд, та лепей не сеяць»; «Як жыды стаяць у школе перад страшнаю нуоччу, бо будуць пустыя каласы-стаяны» [Сержпутоўскі 1930: 62]; «Суббота — жидовский день, сажать, сеять нельзя» <Стодоличи Лельчицк. р-на Гомельск. обл.> [БДПА]; ср. также близкие по смыслу польские поговорки: «Gdzie niemiec staje, tam trawa nie rośnie» («Где немец стоит, там трава не растет»); «Gdzie tatar przejdzie, tam trawa nie rośnie» («Где татарин пройдет, там трава не растет») [НКРР 2: 603; 3: 510].

Как видим, инородческая тема активно привлекается для символизации представлений о сельскохозяйственных работах, обнаруживая многообразие мотивировок, выявляющих разные грани этнического стереотипа. Для того чтобы описать этот мотивационный спектр, следует учитывать всю полноту языковых и внеязыковых форм воплощения стереотипа.

2.2. МЕТАФОРА РОДСТВА В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

2.2.1. МИКРОСИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕРМИНОВ РОДСТВА

Постулатом современной семантики, пониманию которого на качественно новом уровне во многом способствовала деятельность Московской семантической школы во главе с Ю. Д. Апресяном, является положение о системной организации лексических значений естественного языка — как первичных, так и реализующихся в парадигмах лексем многозначных слов. Одним из проявлений лексико-семантической системности служит системная метафора. Системные метафорические переходы связывают различные тематические группы лексики: например, ботаническую терминологию и терминологию родства, соматическую лексику и наименования рельефа, орнитологическую лексику и обозначения детородных органов, и т. д. (см. в [Толстая 2008: 188–203]), при этом для понимания мотивов метафоризации требуется семантическая реконструкция разной глубины (в последнем случае наиболее глубинная). Насущна задача разработки инструментария, способствующего «прочтению» системной метафоры.

Среди многих проявлений системной метафоры можно выделить те случаи, когда различные метафорические обозначения из одной тематической сферы закрепляются за взаимосвязанными, смежными денотатами (объектами номинации) или за одним и тем же денотатом. Это можно проиллюстрировать примерами соматической метафоры. Сначала — примеры микросистем с участием смежных объектов номинации. Русские диалектные названия деталей некоторых устройств и сооружений при «сборке» могут дать «лицо» или «фигуру» человека: у мялки выделяются *щеки*, *рот* и *язык* (*щеки* ‘боковые дощечки, стенки мялки’, *рот* ‘желобок, в котором мнут лен’, *язык* ‘часть мялки, разминающая лен между ее щеками’ [Чайко 1974: 103]), у улья — *голова*, *око*, *ухо* (*голова* ‘верхняя часть улья’, *око* ‘леток колодочного улья’, *ухо* ‘колышек, выступающий в верхней части колодочного улья и служащий для зацепки при подъеме улья на дерево’ [Там же]), у колокола — *тулово*, *оплечье*, *язык*, *уши*, *плащ*, *юбка* [Агапкина 1999: 219], у лодки (карбаса) — *нос*, *брови*, *скулы* (рус. литер. *нос* лодки, арх. *скула* ‘одна из расширяющихся частей лодки, начинающаяся от носа’ [КСГРС], свердл. *брови* ‘жерди, скрепляющие обшивку лодки с наружной стороны’ [СРГСУ 1: 56] и т. п.). Такое восприятие может подтверждаться текстами, ср. костр. «Человек как карбас: у карбаса каркас — у человека ребра, у карбаса корна <корма> — у человека зад, у карбаса носок — у человека голова, у карбаса крылья — у человека руки» [ЛКТЭ]. Теперь — пример микросистемы вариантных метафорических названий одного и того же объекта: рус. костр. *плечико*, *локоток*, *палец* ‘ручка на черенке косы’ [ЛКТЭ].

Таким образом, перед нами своеобразные **метафорические микросистемы (ряды)**, удовлетворяющие следующим условиям: источники метафоры объединены принадлежностью к одной тематической сфере лексики, реципиенты — к другой, между этими сферами фиксируются повторяющиеся метафорические переходы; объекты номинации являются смежными, включенными в одну бытийную ситуацию или даже идентичными. Условие смежности (идентичности) объектов номинации вводит названия в объектный «контекст» — и тем самым позволяет более точно понять мотивы метафорической номинации (так, образ *скулы* лодки дополняет образ *носа* и более понятен на его фоне).

В этом параграфе будет рассмотрен феномен метафорических микросистем в лексике с опорой на материал определенной донорской тематической группы: в центре нашего внимания микросистемы, составленные **терминами родства**²⁹. Материал извлечен из словарей диалектной и литературной лексики славянских языков (с преимущественным вниманием к русским диалектам); в некоторых случаях (для поддержки определенных мотивационных решений) используются также данные романо-германских языков.

²⁹ К числу лексем, обозначающих семейные роли, мы иногда приписываем дериваты слов «дед» и «баба»: в том случае, когда эти слова попадают в соотносительный контекст, употребляются в паре, в них актуализируется не только гендерная или возрастная семантика, но и собственно «семейная».

Причины выбора для анализа «семейной» метафоры очевидны: код родства организован как прозрачная и четкая сетка отношений («старше — младше», «кровный — некровный», «мужской — женский»), что позволило Ч. Филлмору считать данную лексическую группу типичным представителем такой семантической структуры, как *семантическая сеть* [Филлмор 1983]. Высокая аксиологичность и древность соответствующей лексики обеспечивает регулярность вторичных номинаций, в которых эта «родственная сетка» закономерно преобразуется. Отсюда особая значимость кода родства для изучения метафорических микросистем: системность в данном случае характеризует собственно о б ъ е к т м е т а ф о р и з а ц и и.

Метафорические значения могут быть основаны, во-первых, на качественной, во-вторых, на относительной (релятивной) составляющей семантики терминов родства, которые являются подклассом «универсального класса имен релятивной семантики» [Журинская 1979: 250]. В первом случае учитываются признаки «питающая, кормящая» (для *матери*), «носящая траур» (для *вдовы*), «болтливая» (для *тещи*), «злая» (для *свекрови*) и др. Во втором случае реализуются признаки, выражающие связи между родственниками: к примеру, связи по старшинству могут быть переосмыслены в отношении «раньше — позже», «больше — меньше»; градация по внутрисемейной близости отражается в признаках «ближе — дальше», «вместе — отдельно» (ср. пример из народной топонимии: камни *Братья* в Прикамье стоят рядом, а камень *Дядя* расположен поодаль) [ТКТЭ]. Релятивность особо ощутима в образах младших членов семьи (сын, внук) или же «парных» (сестра, жених) // «непарных» (вдова, холостяк) членов. Таким образом, если какой-то предмет назван, к примеру, «сыном», «сестрой» или «холостяком», то для полноценного прочтения образа надо восстановить «семейную ситуацию». Так, кашуб. *s'osterka* 'дерево, которое поддерживает опрокинувшееся дерево' [Sychta 5: 122] апеллирует к образу другой сестры или брата (= упавшего дерева); смол. *холостяк* 'пирог, пирожок и под. без начинки' [ССГ 11: 67], арх. *вдовица* 'лепешка, изделие из теста без начинки' [АОС 3: 68] — к образу «женатого» (= начиненного) пирожка и т. п. Отсюда следует, что при появлении в языке какого-то одного «семейного» образа создаются предпосылки для разворачивания образного биннома, ряда или комплекса (микросистемы). В таких комплексах семантическая связь названий отражает соположенность объектов номинации (их смежность, включенность в одну ситуацию, в один тематический ряд и т. п.). Как далее будет показано, качественные и релятивные признаки различным образом проявляют себя при метафоризации: иногда учитывается какой-то один тип признаков, иногда оба одновременно, но с разной степенью участия в формировании каждого отдельного метафорического значения.

Ниже будут рассмотрены функциональные, семантико-мотивационные и структурные особенности метафорических микросистем. В ходе анализа будут приниматься во внимание такие параметры, как:

- характер денотатов и связи между ними;
- сферы функционирования метафорических комплексов;
- формальная выраженность элементов комплексов;
- специфика отношений между элементами комплексов;
- прагматика номинативной деятельности (точка зрения говорящего).

1. Рассмотрим ситуацию, когда **метафорические микросистемы составлены обозначениями одной и той же реалии** (или однотипных реалий). В случае семейной метафоры в основу таких обозначений положены образы различных «родственников», при этом актуализируются качественные признаки объекта (для проявления относительных признаков здесь нет базы, поскольку нет денотативного ряда — и, следовательно, повода для номинативного осмысления связей между денотатами). Образы родственников, приложимые к одному денотату, создают микросистемы, которые могут включать в себя одноплановые образы или же разноплановые, основанные на учете различных свойств денотата. Проанализируем каждый из этих случаев.

Если метафорический комплекс составлен обозначениями из одного образного ряда, то в них оказываются отраженными сходные мотивационные признаки (при сходном угле зрения на объект номинации). Например, звездное скопление Плеяды содержит множество мелких звезд, которые расположены «сгущенно», близко друг к другу, отсюда образ семьи в целом или же тех ее членов, которые ассоциируются с идеей однородного множества — сестер, братьев, сыновей, «баб»: арх., свердл. *Семейка (Попова Семья)*, влг. *Семь Сестер*, арх. *Братки*, сев.-рус. *Бабы* [АстрКТЭ; Рут 2008: 58–59], польск. *Siedem braci* («Семь братьев»), *Baby, Babki*, чеш. *Báby*, укр. *Баби* [SSSL 1: 246–247].

При номинации таких строительных конструкций, как подставки с отверстиями, куда вставляются различные детали, используются образы из женского ряда, за которыми стоит эротическая ситуация (закрепление детали в отверстии воспринимается как совокупление): болг. диал. *невѣста* ‘деревянная подставка для газовой лампы’ [БЕР 4: 587], рус. арх. *девка* ‘подставка (на барках) с отверстием, в которое вставляется длинное весло’ [СРНГ 7: 318], сев.-рус. *маточка* ‘часть грабель, куда вставляются зубья’ [КСГРС], польск. диал. *matka* ‘кусочек дерева с выемкой, на который кладется и обрабатывается какая-л. деревянная заготовка’ [Karłowicz 3: 127–128], *babka* ‘головка *dziadka* — столярного приспособления для закрепления обрабатываемого дерева’ [Каś 2003: 14]. Мотивационно близкий факт — рус. волгоград. *девка* ‘чулок, связанный без пятки’ [СВолгО 2: 26].

Растение *Viola tricolor* (анютины глазки) «притягивает» образы «неполноценных» родственников — не имеющих (потерявших) пару, не кровных. Это мачеха (серб. *maħaha, maħaxица, maħуха*, словен. *mačeha*, чеш. *maceška*, н.-луж. *macoška* [Колосова 2009: 167], словац. *macoška* [SSN 2: 105], польск. *macoszki* [SW 2: 841]), сирота (серб. *сирота, сиротица*, словен. *sirotica*, чеш. *sirotka*, н.-луж. *syrotka*

[Колосова 2009: 167]), вдова (серб. *удовица* [Там же], польск. *wdówka* [SW 7: 494]), холостяк (болг. диал. *засмян ерген* («смеющийся холостяк») [БЕР 1: 503]); ср. также англ. диал. *stepmother* («мачеха») [OED-1933/10: 921]. Интересную вариацию образа дает итальянский язык, в котором фиксируется название *suocera e nuora* («свекровь и невестка») [АВВУУ Lingvo x 5]. По версии В. Махека, растение получило свое название за то, что оно остается «в одиночестве» в сентябре и октябре в полях, с которых все уже убрано [Machek 1954: 71–72]. Более вероятным нам видится другое объяснение: у этого цвета своеобразное расположение лепестков — четыре лепестка образуют пары, а один является непарным, — отсюда образ мачехи, сироты и т. п.³⁰ Кроме того, цветок зачастую имеет темную (фиолетовую) окраску — а в языковом образе вдовы и сироты значим признак темного цвета.

Встречаются и такие случаи, когда в системе метафорических обозначений одного объекта прослеживаются разные ряды образов (нередко противопоставленных друг другу). Складывается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: один и тот же объект получает названия, в которых отражены образы, входящие в оппозицию по какому-либо признаку (мать — дитя, дед — внук и др.). Это становится возможным потому, что объект номинации подвергается разноаспектному рассмотрению, со сменой точки зрения, позиции номинатора. При этом могут выделяться различные свойства объекта — как взаимосвязанные, так и нет.

Наиболее типичная для этой группы метафорическая ситуация — «схватывание» в номинациях разных стадий динамично меняющихся явлений. Примером могут служить названия вегетативных частей растений (почек, усов и др.), которые одновременно могут рассматриваться как «родители» и как «дети»: чеш. диал. *matizna* ‘почка’ [Bartoš 1: 194] и рус. костр. *деточка* ‘то же’ [ЛКТЭ]; краснояр. *дедок* ‘усик растения’ [СРГЮК: 72] и влг. *сынок* ‘то же’ [КСГРС]; болг. диал. *майка* ‘сдвоенный колос’ [БЕР 3: 615] и рус. костр. *детки* ‘то же’ [ЛКТЭ]. Такое рассмотрение отражает преемственность процесса порождения: почка — «дитя» растения и вместе с тем — источник новой жизни.

Интересны также обозначения пены на поверхности напитков. Здесь представлены, с одной стороны, «молодежные» образы (рус. влад. *молодость*, влг. *мóлодь* ‘пена на пиве, квасе и т. д.’ [СРНГ 18: 227, 230]), а с другой — образ бабы (рус. арх. *бабка*, *матка* ‘пена на поверхности пива при варке’ [КСГРС], польск. диал. *babka* ‘пенка на кипяченом молоке’ [SGP 1/2: 228]). Появление «молодежных» образов объясняется ферментационными свойствами напитков — пена «порождается» в процессе брожения (ср. также реализацию обратной модели:

³⁰ Эта версия находит косвенное подтверждение и в сербской этимологической легенде: «нижний лепесток цветка — мачеха, два средних — ее дочери, а два верхних — падчерицы. Мачеха сидит на двух стульях, у каждой из ее дочерей есть свой стул, а обе падчерицы должны сидеть на одном стуле» [Колосова 2009: 167].

рус. влг. *пенка* 'последний ребенок в семье' [КСГРС]). Образ бабы и матери мотивирован тем, что пена может трактоваться не только как результат ферментации, но и как источник последующего брожения и «сгущение» свойств продукта³¹. Кроме того, пенка на молоке естественно связана с образом кормящей женщины, матери (ср. мотивацию запрета есть много пенек от молока: рус. костр. «Рано вырастут большие титьки» [ЭМТЭ]).

Циклично сменяющие друг друга стадии процесса таяния снегов отражены в названиях позднего весеннего снега. Такой снег может восприниматься как новый, «свежий», выпадающий тогда, когда основной снежный массив «постарел», — и в этом случае он кодируется с помощью образа внука (в противопоставлении давно выпавшему снегу — «деду», см. 2.2.1.4 «Обозначения речных льдин»).

Эти примеры отражают незамкнутость, цикличность процесса порождения, который может быть рассмотрен как со стороны порождаемого, так и со стороны порожденного.

Иногда разные образные ряды запечатлевают не связанные друг с другом свойства реалии. Рассмотрим обозначения растения репейник (чертополох). Способность репья цепляться за одежду привлекает образы таких членов семьи, у которых нет пары (или вообще семьи), но есть стремление ее обрести: сев.-рус. *вдовец* [АОС 3: 68; СГРС 2: 38; СРГК 1: 168], чеш. диал. *snoubenec* («жених») [Dial-Brno]. «Любвеобильность» репья, способность «приставать» ко всем без разбора отражена и в рус. яросл. *любим* 'репейник' [ЛКТЭ]; ср. также сиб. *любима* 'семена любимых растений, пристающие к одежде' [СРНГ 17: 235] и контекст: «Они <цветы> ко всем лепятся, как вдовцы» (влг.) [СРГК 1: 168]. В то же время у репья есть другое яркое свойство — колючесть, благодаря которому репей «притягивает» образы мачехи, тещи, золовки: рус. пск. *мачеха* [ПОС 18: 78], чеш. диал. *tchyně* («теща») [Dial-Brno], ср. также русскую поговорку «Золовушка речу репьем стоят» [Даль, 4: 691]. Признак колючести составляет и новую грань образа вдовца, ср. рус. влг. *вдовец* 'репейник': «Вдовец колючий, как вдовый мужик» [СГРС 2: 38–39]³². Растение осыпается, становясь белым и «лохматым», — возможно, это его свойство фиксируется в образах деда (дяди): рус. краснояр., латыш., литов., пск., смол., эст. *ded* [СРНГ 7: 328], польск. *dziad* [SGP 7/1: 140], болг. *чичёк, чичка* («дядя») [Геро 5: 557].

³¹ Такой поворот образа матери особенно ярко проявляется в обозначениях дрожжей, уксуса, отстоя и пр., ср. рус. *матка* 'старый или густой уксус, отсед, вливаемый в смесь, из которой делают уксус' [Даль 2: 307], серб. *ма̀тица* 'неначатое вино, хранящееся в бочке, осадок, отстой' [ЭССЯ 17: 260], словац. диал. *matka* 'дрожжи в вине' [SSN 2: 135], *ocetna matica* 'тонкая пленка, которая появляется на поверхности алкогольных напитков, когда они идут на уксус' [SSKJ 2: 710] и т. п.; ср. также нем. диал. *Mutter* 'осадок, гуща' [ABBYY Lingvo x 5].

³² Кроме того, «вдовье» названия репейника могут дополнительно поддерживаться цветовой характеристикой растения: рус. влг. *вдова* 'репейник': «Вдова невысока растёт с колючками, фиолетовым цветом цветёт» [СГРС 2: 38].

Особо следует остановиться на очень редкой, но не менее любопытной номинативной ситуации: различные метафорические обозначения одной и той же реалии основываются на одном и том же мотивационном признаке, но даны от лица различных субъектов, — и, соответственно, функционируют в речи разных коллективов носителей языка. Ср. комментарий к болгарскому диалектному фитониму *невестин язык*: «Бурьян с твердыми и острыми колючками. Так его называют старшие женщины, свекровки, а молодые, невестки, зовут его *свекрвин език*» [БД 4]. Схожая ситуация складывается в польских говорах с обозначениями одуванчика: он имеет названия *męska stałość* («мужское постоянство») и *panieńska stałość* («женское постоянство») [Колосова 2009: 85].

2. Наиболее благоприятные условия для создания метафорических микросистем появляются тогда, когда семантически связанные обозначения фиксируются у различных смежных реалий. Появляется база для сопоставления объектов, поэтому в ходе номинативного процесса, наряду с их качественными признаками, актуализируются относительные (и иногда их роль более существенна).

Изучаемые метафорические комплексы могут иметь **разные сферы функционирования**. С этой точки зрения выделяются моносистемные и полисистемные комплексы.

Моносистемные комплексы являются гомогенными, их элементы функционируют в одной локальной языковой традиции или языковом идиоме (и, соответственно, могут быть представлены в одном контексте). Простейший пример — названия растений типа *мать-и-мачеха* или *жених-невеста, иван-дамарья* (с многочисленными иноязыковыми параллелями). Здесь микросистема «уложила» в одну номинативную единицу, в которой отражено сопоставление поверхности растений (гладкость / шершавость = мать / мачеха) и их цвета (синий, голубой / розовый, белый = жених / невеста). В следующих примерах моносистемные комплексы представлены двумя номинативными единицами: рус. диал. *мужик (мужичок)* и *жёнка* ‘левый и правый сошник сохи’: свердл. «Перво режот мужык, а жонка отваливат» [СРГСУ 1: 157], иркут. «На ноги рассохи надевали сошники, мужичка и женку. Мужичок здоровый, у него перо загнуто; видишь, сверху на девку-то козырем смотрит» [СРНГ 18: 334], приамур. «У сохи сошник нижний — это жёнка, а верхний — мужичок. Жёнка по земле идёт, а отрезает мужичок» [СРГП: 85] и др.; польск. *ojczym* («отчим») ‘старое лесонасаждение; дерево на семена, семенник’ и *pasierb* («пасынок») ‘молодая поросль, «придавленная» взрослыми деревьями’: «Ojczymy w lesie to duśa pasierba, małe drzewko, tak ze sie chyła, chyła i usycha» («Отчимы в лесу-то душат пасынка, маленькое деревце, оттого оно вянет, вянет и засыхает») [Karłowicz 4: 46; 3: 424]; ср. также итал. *madre* («мать») ‘корешок квитанции, отрывного талона’ и *figlia* («дочь») ‘отрывной талон’ [Battaglia 9: 398; 5: 962].

Полисистемные комплексы — междиалектные и межъязыковые, «рассыпанные» по разным языковым идиомам. Их приходится «собирать»,

реконструируя отношения между элементами. Так, рус. литер. *сирóтская зима* ‘теплая, без больших морозов зима’ [ССРЛЯ 13: 852] не вступает, кажется, в явные семантические оппозиции с другими метафорами родства в общенародном русском языке и говорах; образный антоним удалось отыскать лишь в словенском языке, ср. *mačehovska zima* ‘очень холодная зима’ [SSKJ 2: 659].

Еще один пример — обозначения алкогольных напитков и различных компонентов ситуации их приготовления. Крепкий напиток представляется «главой семьи» (рус. арх. *отец*, влг. *тятка* [КСГРС], блр. диал. *дзядок* ‘хмельной хлебный квас’ [СЦРБ 1: 118]), в то время как разбавление (или другое качественное изменение) напитков трактуется как их женитьба, ср. рус. арх., влг. *женить* ‘развести алкогольный напиток водой’ [СГРС 3: 356], куйбыш., сарат. *женить* ‘разбавить водой (квас, пиво и т. п.)’, куйбыш. *женатый* ‘разбавленный водой (о квасе, пиве, водке и др.)’: «Квас весь выйдет, варить новый не охота: его <старый квас> подмолодят <разбавят водой>, вот и женатый» [СРНГ 9: 124, 125], пск., твер. *сосв́ататься* ‘прокиснуть (о щах, супе)’ [СРНГ 40: 39], кубан. *женить молоко* ‘разбавлять молоко водой, чтобы иметь выгоду при продаже’ [Борисова 2005: 98], чеш. *ženit víno (křtit víno)* («женить вино / крестить вино») ‘разбавлять водой’ [Zaorálek 1963: 419], болг. *венчая се* ‘изменяться вещественно (о продуктах в одном блюде)’ [Младенов 1951: 279–280]. Смесь более сильного и слабого напитка — «отец и мать» (польск. диал. *tata z matom* ‘спиртное, разбавленное соком’ [Kaś 2003: 888]), — а сам слабый, разбавленный напиток — это и «сын», и «пасынок» (рус. арх. *сын, сынок* ‘квас, пивцо или брага второго налива’ [Даль₂ 4: 375], *пасынок* арх. ‘самогон второго разлива’ [КСГРС], ‘третий слив пива’ [Даль₂ 3: 24]), и «баба» (влг. *бабонька* ‘пиво, разведенное водой’ [СГРС 1: 32]), и «зять» (коми-п. (рус.) *зятёво (зятъёво) пиво* ‘при изготовлении пива: жидкий слив сусла’ [СРГКПО: 183]). Элементы этих микросистем «разбросаны» по разным языкам, но иногда некоторые из них «скапливаются» в одном контексте: влг. «Всего-то бабоньки напиуся; бабонька — коуды пиво женили, вот и бабонька стала» [СГРС 1: 32], арх. «Сам-то отец, а женишь — сын будет» (о самогоне) [КСГРС]. В терминологии женитьбы может осмысляться не только разбавление напитков, но и добавление в них закваски, ср. башк. *женить* ‘добавить в квас сахара и муки’ [СРГБаш]. Собственно сахар может восприниматься как парень, жених, ср. польск. *chłop* («парень, кавалер») ‘сахар’ [SW 1: 283], а напиток без сахара трактуется как вдова: костр. *вдовка* ‘горчащий напиток’ [ЛКТЭ]. Возможно, близкая модель лежит в основе исп. *madrastra* («мачеха») ‘алкогольный напиток амарга’ [АВВУУ Lingvo x 5]. Связи между обозначениями напитков и родственников обратимы, ср. обратную модель: рус. литер. *седьмая вода на киселе* ‘о дальних родственниках’, новг. *двоюродный кисель на троюродной воде* [НОС 4: 43], пск. *десятая (седьмая) водина на квасине (на дробине)* ‘то же’ [ПОС 4: 73].

Полисистемные комплексы бывают весьма обширными и имеют открытые границы — в то время как моносистемные комплексы носят закрытый характер

и редко насчитывают более двух-трех элементов. Дело не только в том, что естественно сложившаяся языковая система мозаична — и в единый номинативный ряд могут «вклиниться» заимствования, факты более позднего происхождения и т. п. Не менее существенно, что относительная метафора, указывающая на связи объектов друг с другом, в какой-то момент может уступить метафоре качественной, которая осмысляет собственные свойства объектов: последняя более индивидуальна, инструментальна и прочитываема — и номинатор нередко отказывается от фиксации повторяющихся связей между объектами в пользу характеристики присущих им отличительных качеств.

По **формальной выраженности элементов** можно выделить семантические комплексы с эксплицитной выраженностью элементов и комплексы с немаркированным элементом.

Рассмотренные выше примеры («пальцы», «алкогольные напитки» и др.) иллюстрируют первый случай — комплексы с эксплицитной выраженностью элементов. Это полные, «симметричные» в плане формальной представленности микросистемы.

Комплексы с немаркированным элементом («нулевым партнером») являются неполными, в них формальное выражение может находить лишь один член пары (триады и пр.), однако его семантика апеллирует к «партнеру» по микросистеме, требуя его мысленного восстановления. Так, болг. диал. *невяста* является обозначением груза на рычаге, который поддерживает верхнюю доску поддувала всегда поднятой [БЕР 4: 587]. Здесь эротическая метафора: формально не выражен «жених» — поднятая верхняя доска.

Еще пример: рус. *дѣтыш* ‘дощатый срубик, ящик с песком на дне колодца, сделанный для очистки воды’ [Сыщиков 2006: 162], дон. *мальчик* ‘часть сруба колодца (деревянная обшивка), находящаяся в воде’ [СРДГ 2: 129]. Этот образ содержит отсылку к образу матери (так мог бы представляться основной сруб, в «животе» которого находится детеныш), однако последний не поименован.

Показательны также названия реалий, в основу которых положен образ мачехи. В таких фактах, как печор. *мачехина береста* ‘березовая кора, вновь выросшая на ободранном месте ствола’: «Как корявый, то браняцца: “Ух, мачехина береста, заскорзла така”» [СРГНП 1: 411], арх. *мачехино бересто* ‘шероховатый слой древесины под берестой’: «Мачехино бересто шороховато, не гнѣтся, с мачехой поживѣшь — узнаешь», «Мачехино бересто не задирается, не сворачивается» [КСГРС], — отражено неявное сравнение с «матерью» — гладкой и «исконной» древесиной. Соска-пустышка (смол. *мачеха* [ССГ 6: 86]) получает свое обозначение «в паре» с материнской грудью. Ср. также франц. *marâtre* («мачеха») ‘кольцевая балка для передачи давления кладки и холодильников шахт на опорные колонны доменной печи’ [АВВУУ Lingvo x 5], за которым стоит «материнский» образ опорной колонны.

В том, как язык выбирает формально выраженные элементы таких комплексов, просматриваются определенные закономерности. Во-первых, нередко такую роль играют слова, называющие детей: в «детских» образах релятивная составляющая гораздо активнее, чем в образах отца или матери (где сильным является и качественный признак). Во-вторых, зачастую на эту роль выбираются названия родственников, чьи семейные связи нарушают норму (вдова, мачеха, сирота): «нормативные» родственные отношения могут быть образно переосмыслены в приложении к слишком большому числу объектов действительности — и такие номинации не имели бы различительной силы.

Еще одна грань рассмотрения метафорических комплексов — анализ типов **смысловых отношений между их элементами**. Кажется, материал позволяет выделить четыре основных типа, которые мы условно назовем комбинацией, градацией, дополнительностью и вариацией.

Комбинация предполагает видение элементов комплекса как деталей картины, элементов сценария, которые не сравниваются между собой по какому-то основанию, а комбинируются воедино, дополняя друг друга.

Примером служат названия элементов запоров, застёжек, креплений и др. Ключ и скважина, петелька и крючок, задвижка и скоба, в которую она вставляется, и т. д., воспринимаются в свете эротической метафоры: польск. диал. *babka* — *dziadek* ‘петелька и крючок’ [SGP 1/2: 226; 7/1: 145], словац. *babka* — *dedko* ‘то же’ [SSSJ 1: 203, 572], рус. арх. *дед* — *баба* ‘соответственно верхняя и нижняя планки крестовины’ [СГРС 1: 30; 3: 197], польск. *dziad* ‘деревянный засов’: «*Dziad babe gruchose, babie się nie chce. Dziad babe za cialo, babie się zachcialo*» («Дед бабу трясёт, баба не хочет, дед бабу за тело, баба захотела») [SGP 7/1: 140]³³; ср. рус. костр. *холостой* ‘не закрытый на ключ (о замке)’ [ЛКТЭ], а также нем. *Bastardschloß* («“внебрачный” замок») ‘замок с обратной пружиной’ [ABVYU Lingvo x 5].

Сходные образы представлены в обозначениях частей колодца (рус. костр. *дедушка* ‘стояк, на который крепится колодезный журавль’ — *бабушка* ‘часть колодца, заполненная водой’: «Загадка есть: “у дедушки свесится, у бабушки светится”, так вот у бабушки светится, там где вода, она светится, вот бабушка, а на чем журавль — дедушка» [ЛКТЭ]), в просторечных наименованиях штепселя и розетки и других соединяемых вместе электротехнических устройств (рус. *папа с мамой*) и т. п. «Перевод» этих образов на «язык» алкогольных напитков даст описанные выше примеры (типа польск. *tata z tatą* ‘спиртное, разбавленное соком’).

Отношения комбинации можно усмотреть также на уровне «мать — дитя». В качестве примера можно привести рус. костр. *матка* ‘чехол матраса’ [ЛКТЭ] (не без притяжения *матрас* ↔ *мать*) — *сынок* ‘набивка матраса’: сынок находится в «животе» матери.

³³ Об эротических смыслах, стоящих за образами замка и ключа, см., в частности, в [СД 2: 511–512; Бартминьский 2005: 456].

Г р а д а ц и я — такой вид отношений внутри комплекса, когда его элементы сравниваются по какому-то градуируемому признаку (размеру, весу, интенсивности и пр.). «Родственники» могут выстраиваться в своеобразные цепочки, в которых с отцом или дедом связывается высокая степень проявления признака, а с женской или детской частью семьи — более низкая. Градация по весу (значимости) реализуется, например, в арх. *ded* — *babka* ‘игральные биты разной тяжести’: «В бабки играли, бабки от скота прибирали; костяная-то бабка звалась, а со свинцом — дед» [СГРС 3: 196], простореч. *ded* — *баба* ‘фишки 90 и 80 при игре в лото’. Градация по размеру нередко наблюдается, к примеру, в топонимии — в обозначениях расположенных рядом гор, скал и др. Ср. контекст, содержащий описание камней на архангельской реке Тундийке: «Там было три камня: *Дед*, *Брат* и *Внук*. Весь фарватер закрывали. *Дед* был большой, очень большой. *Брат* был поменьше и пониже, а *Внук* плоский такой был» [ТКТЭ]. Градация по интенсивности усматривается в обозначениях мороза разной силы: словен. *mačehovska zima* ‘очень холодная зима’ — рус. простореч. *сиротская зима* ‘теплая зима’ (об этой паре подробнее см. на с. 227), хорв. *sirotińsko leto* ‘осенью или зимой, когда лучше погода’ [RHSJ 17: 64]; польск. *dziadowski mróz* ‘о первом периоде зимы, длящемся до конца календарного года’ [SGP 7/1: 149–150] — *babin mróz* ‘слабый октябрьский мороз’ [СД 1: 123].

О д о п о л н и т е л ь н о с т и речь может идти тогда, когда между элементами комплекса взаимоисключающие отношения. Примером служит упомянутое ранее название растения *мать-и-мачеха*.

В а р и а ц и я — такой вид отношений внутри комплекса, когда происходит «холостое» варьирование взаимосвязанных названий, которое не отражает (или отражает минимально) реальное соотношение номинируемых объектов. Смежные денотаты получают связанные наименования (если есть «баба», то рядом должен быть «дед»), подчиняясь логике ассоциативного притяжения, не подкрепленного сверкой с объектным рядом (конечно, это не отрицает возможности приписывания объектам каких-либо связей при переосмыслении названий). К примеру, указывавшееся выше обозначение Пляяд — польск. *Babki* — мотивировано признаком «скученности» звезд в созвездии. По ассоциации соседнее звездное скопление (скорее всего, Гияды) получает в польских говорах название *Dziadki* [SGP 7/1: 141]. Если учесть свойства объектов (два множества слабо светящихся звездных «точек»), то становится понятно, что дифференциация этих свойств в названиях невозможна. Здесь происходит своеобразное расщепление одного образа.

Выделенные типы отчасти накладываются на различные классификации системных отношений в лексике, оперирующие неметафорическими значениями слов. Так, градация сродни явлению контрарной антонимии, дополнительность — комплементарной антонимии. Частный случай комбинации (*сын*ок в животе *матери*) можно сравнить с отношениями части и целого. Вариацию

можно считать метонимическим расщеплением на базе «синонимии». Рассуждая об этом, мы подходим к важному вопросу о соотношении неметафорической и метафорической системности (и шире — о соотношении системных связей в сфере первичной и вторичной номинации). В современной лексикологии достаточно подробно описаны типы системных отношений в области первичной номинации, в то время как наши представления о подобных отношениях в области переносных значений слов еще довольно туманны (равно как вопрос о том, как трансформируются связи типа антонимии, синонимии, гипонимии и т. д. при приобретении лексемами вторичных значений)³⁴.

* * *

Итак, изучение метафорических микросистем представляется полезным в разных отношениях.

Внутри метафорических комплексов существует своего рода номинативный микроконтекст. Изучение этого микроконтекста проливает свет на характер связей между элементами донорской лексической группы — терминами родства (это положение требует развернутых иллюстраций, которые будут приведены ниже) — и подготавливает почву для выводов этнокультурного плана, связанных с реконструкцией представлений о семейных отношениях.

Что касается «реципиентных» лексических групп, то введение каждого из слов, появившихся в результате метафорической номинации, в номинативный микроконтекст позволяет уточнить для них семантико-мотивационные решения, помогает «прочитать» метафору. Микроконтекст, как мы показали выше, может функционировать как на внутридиалектном, так и на междиалектном уровне. В последнем случае, разумеется, есть риск неверной «сборки» комплекса и приписывания словам несуществующих связей. Чтобы избежать такой опасности, надо стремиться как можно более полно реконструировать комплекс, учитывая максимальное количество возможных партнеров изучаемых лексем.

³⁴ Заканчивая рассмотрение метафорических микросистем, закрепленных за смежными (не идентичными) объектами номинации, упомянем о «нулевом» проявлении описываемой ситуации: для обозначения различных смежных объектов используется один и тот же образ, вместо семантической связи наименований имеет место их идентичность. Мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда первостепенную роль при создании и восприятии номинативной единицы играет прагматический фактор (позиция говорящего). Примеры такого рода встречаются очень редко, но все же достойны упоминания. Ср. славянские обозначения берега реки и ее русла, образованные от слов со значением 'мать'. Если смотреть на сушу с реки, то берег сопоставляется с матерью, поскольку это основная, устойчивая и населенная часть пространства: рус., укр. литер. *материк*, рус. арх., олон., тобол. *материк*, арх., олон. *матерá* 'высокий берег реки или моря; берег, который не заливается и почва которого не наносная', блр. *мацярык* и др. [СРНГ 18: 22, 23; ЭССЯ 17: 239]. Этот же образ возникает при взгляде «изнутри» речного пространства на фарватер реки, ее русло — но в отличие не от суши, а от речных рукавов: рус. сиб. *матерáя* 'основное русло реки в отличие от рукавов' и др., подробнее см. параграф 2.2.1.3, с. 245–246.

Каждый метафорический комплекс функционирует в рамках определенной тематической группы лексики, однако между комплексами разной тематической принадлежности можно установить «вертикальные» связи, которые тоже способствуют прояснению мотивировок отдельных «затемненных» слов.

В качестве примера рассмотрим укр. *пáсиночок* ‘полоска’, ‘с узором в полоску (о ткани)’, которое дается в [ЕСУМ 4: 304] с комментарием «неясно». Этому слову созвучны и близки по значению укр. *пас* ‘пояс, ремень, полоса’ и *пáсмó* ‘часть мотка пряжи’, *пáсемко* ‘веревочка для перевязывания пасма’³⁵, но каждое из них трудно считать этимологом для *пасиночка*, ибо неясна словообразовательная сторона таких решений (так, производными от *пас* являются *пáсóк*, *опáсок*, *опáска*, но не **пасинок*). В плане словообразования уместно предполагать производность этого слова от *пасинок* ‘пасынок’. С точки зрения мотивации для этого слова обнаруживаются параллели в метафорической «семейной» лексике как с «тканевой» семантикой, так и за ее пределами. К числу первых можно отнести укр. полес. *сiрота* ‘тканая полоса одного цвета в полотне’ [Аркушин 2: 148], болг. диал. *сирáченце* ‘один, единичный узор’, *сиротинци* ‘более простой узор на ткани’, *престилка на сiрачета* ‘фартук (платье) «в ромбики»’, *сирачета* ‘вид ткани для народной одежды: на темном фоне пересекаются разные линии “сирачета”, образующие квадраты’ [БЕР 6: 687–688, 700]. Эти наименования становятся понятны, если учесть, что парные нити при тканье считаются сестрами (друзьями или кумами): рус. новг. *сестренки* ‘две рядом идущие нити основы’ [СРНГ 37: 235], костр. *сестра* ‘пара другой нити’: «Нитка в основе порвёцця — ишшешь сестру ее» [Громов 1992: 68–69] и др.; ср. также костр. *дружок* ‘пара ниток в основе, которые ведутся вместе при сновании’ [Там же: 68], коми-п. *кумушки* ‘нитки, идущие рядом без перекрещивания, попавшие не на свое место при заправке ткацкого стана’ [СРГКПО: 132–133].

Очевидно, одноцветный узор (без пересечения, соединения с нитями другого цвета) воспринимается как «сиротский». Эта версия находит подтверждение в лексике иных тематических групп — например, минералогии и камнерезного дела. Здесь тоже есть свои «сиротки»: рус. ср.-урал. *сиротки*, *пасынки* ‘одноцветные прожилки другого минерала в составе поделочного камня’ [ЛЗА]; ср. также англ. *bastard* («внебрачный ребенок») ‘включение сверхтвердой породы’, нем. *Bastardkalk* ‘известь с примесями’ [АВВУУ Lingvo x 5]. Аналогичный образ обнаруживается в итальянском языке, ср. *pietra orfana* («сиротский камень») ‘гелиотроп’ [Battaglia 12: 75]: этот камень представляет собой темно-зеленый минерал с красными вкраплениями селадонита. У «каменных сирот» есть «мать», ср. итал. *madre* ‘более светлая (однородная) часть камня’ [Battaglia 9: 398]; в иллюстративном контексте указано, что «мать» обнаруживается, к примеру, у агата

³⁵ Слово *пас* является польским заимствованием < праслав. **pojasъ* ‘пояс’; *пасмо* возводится к праслав. **pasmo*, *pasme*, не имеющему однозначной этимологии [ЕСУМ 4: 302–303, 306].

(*Agata orientale*): это прозрачная часть камня, вокруг которой как бы «нарастают» круги, дуги другого цвета. Таким образом, цветовая структура камня и ткани подобны друг другу: появление на однородном фоне линии другого цвета понимается как «вторжение» пасынка, сироты, внебрачного ребенка. Сказанное помогает не только найти мотивацию для приведенного выше укр. *пáсиночок*, но и углубить представления о мотивировке других элементов «тканевого» и «минералогического» комплексов.

Метафорические комплексы, составленные образами родственников, встречаются в разных тематических сферах лексики, однако они существенно различаются по количеству входящих элементов. Это количество зависит от возможностей реципиентной сферы, т. е. от того, насколько подходят (или не подходят) принимающему денотативному ряду «семейные» признаки (наличие нескольких сходных элементов, различающихся по размеру, функции и др. или связанных отношениями «порождения»).

Ниже приводятся пять развернутых примеров полисистемных комплексов, составленных метафорами родства. Они подобраны так, чтобы высветить разные грани рассматриваемого номинативного феномена: 1) обозначения пальцев; 2) названия рыболовных снастей; 3) лексика речного ландшафта; 4) обозначения речных льдин; 5) наименования печи и частей печного пространства.

2.2.1.1. Обозначения пальцев

Пальцы рук как объект номинации предоставляют редкую по выразительной силе возможность воплощения «семейной» метафоры: им присуща диалектика «множества / единства», они различны по размеру ⇒ «иерархии», динамичны, функциональны. Отсюда «антропоморфизм» пальцев, который проявляется в рамках более широкой, чем семейная, модели. В литературе приводятся примеры реализации «антропологической» модели в направлении ‘палец (кулак, локоть и др.)’ → ‘человек’, ср. в.-луж. *palčik* ‘карлик, гном; мальчик-с-пальчик’ (калька с нем.), лат. *allex* ‘большой палец ноги’ — *allex viri* ‘коротышка’, франц. *pouce* ‘большой палец’ — *le Petit Poucet* ‘мальчик-с-пальчик’, литов. *nykštis* ‘большой палец’ — *Nykštukas* ‘мальчик-с-пальчик’ и др. [Журавлев 2005: 660], печор. *шестой (лишний) палец* ‘живущий в семье иждивенец, обычно взятый на воспитание чужой ребенок’: «Шестой палец, а кормить-то надо», «От уж два месяца живёт, ницё не робит, цё нам лишний палец кормить, самим ись нечего» [ФСНП 2: 403]. В меньшей степени описаны, кажется, случаи реализации обратной модели (‘человек’ → ‘палец’). Так, А. Ф. Журавлев отмечает лишь одну тюркскую метафору: слово **еренгек* ‘большой палец; палец’, известное в ряде тюркских языков, в некоторых этимологиях возводится к основе *ер / ерен* ‘муж’, ‘мужчина’, распространенной с помощью суффикса уменьшительности [Журавлев 2005: 660].

Не претендуя на полноту описания, представим подборку примеров, реализующих «семейную» модель в номинации пальцев³⁶.

Пальцы руки вместе: рус. арх. *семейка* ‘пальцы руки’ [КСГРС]; каждый из пальцев: рус. смол. *брат*: «Собраў пять братоў, да и шмяк» [ССГ 1: 240], блр. *брат* [ЧТС: 193]; каждый из пальцев, противопоставленных большому: арх. *брат*: «Братья-то вместе, а здися дядька», «Дядька и четыре брата на руке» [СГРС 3: 298].

Большой палец: рус. ср.-урал. *дедка* [ДЭИС], арх. *nana* [КСГРС], арх., ленингр. *бабка* [СГРС 1: 30; 3: 197; СРГК 1: 26], арх. *дядька*: «Дядькой почто-то зовут палец, он им <остальным пальцам> неродной, что ли» [СГРС 3: 298], чеш. диал. *táta* [PSJČ 1: 366].

Указательный палец: рус. ср.-урал. *мамка* [ДЭИС], арх. *матка* [АОС 1: 82], *мати* [СГРС 3: 262], *дедка* [Там же: 197], чеш. диал. *táta* [PSJČ 1: 366].

Средний палец: рус. ср.-урал. *тятка* [ДЭИС], арх. *тятя* [КСГРС], *tata* [СГРС 3: 262], *отец* [АОС 1: 82], *матка* [СГРС 3: 197], чеш. диал. *dědek* [PSJČ 1: 366].

Безымянный палец: рус. ср.-урал., арх. *сынок* [ДЭИС; СГРС 3: 262], арх. *бабка* [АОС 1: 82], *дедко* [АОС 10: 413], *сестренка* [СГРС 3: 197], *вдовьей палец* [АОС 3: 69], чеш. диал. *bába*: «Nejoblíbenější prst na lidské ruce, prst čtvrtý, má příjímí “bába”» («Наилюбимейший палец на руке человека, четвертый палец, имеет прозвище “баба”») [PSJČ 1: 61].

³⁶ Стоит напомнить, что ассоциации пальцев с членами семьи встречаются и за пределами системы языка, в других формах народной культуры. Ср., например, загадки о пальцах: рус. «Четыре брата, а пятый дядя» [Митрофанова 1968: № 1575], блр. «У мацеры дзесяць сыноў: пяць у дарозе, а пяць дома» <пальцы во время прядения> [Загадки-блр: 220], укр. «Живуть п’ять братів, один другого менший», «П’ять братів поручь живуть, у кожного своє ім’я», «У двох матерів по п’ять синів, у кожного своє ім’я» [Загадки-укр: 155, № 1374–1376], серб. «Пет брата у један сахат рођена, а нису једнаки» («Пять братьев в один час рождены, но не одинаковые») [СНЗ: 204, № 675], болг. «Една майка пет сина родина за една нощ, ама един с един нема» («Одна мать пятерых сыновей родила за одну ночь, но один на другого не походит»), «Пет брата, един с един се ни приличат» («Пять братьев, один на другого не походит»), «Пет сестре едну нощ родене и пай не су равне» («Пять сестер в одну ночь рожденных, но равных нет») [Стойкова 1984: 1899–1901] и др., а также пословицы: укр. «Однієї руки пальці, та не однакі, одного тата-мами, та не одні діти» [ПП-укр 1990: 258], «Который палец не укуси, все одно (равно, больно)» (о детях) [Даль, 3: 12]. Воспроизводя широко известную у разных славянских народов детскую прибаутку о сороке (рус. «Сорока-ворона кашку варила, деток кормила...»), рассказчик загибает пальцы на ладони ребенка, отождествляя их с детками сороки. «Семейная» символика пальцев проявляется и на невербальном уровне: так, в Полесье невеста, если хотела иметь детей, то, садясь за свадебный стол, подкладывала под себя нечетное количество пальцев [СД 3: 617]. На юге России считали, что длина пальцев мужчины указывает на рост его будущей жены: если пальцы длинные, жена будет маленькая, и наоборот [Там же: 618]. Упомянем также о присущей пальцам символике единения, занимающей центральное место в представлениях о семье: в детских играх у восточных славян сцепление пальцев служит способом преодоления ссоры и примирения — желающие примириться сцепляются мизинцами пальцев друг с другом [Там же].

М и з и н е ц: рус. ср.-урал., арх. *дочка* [ДЭИС; АОС 12: 210], арх. *дочи* [СГРС 3: 262], *братишка* [Там же: 197], макед. диал. *чупче* («маленькая девочка»)³⁷ [Дрвошанов 2005: 140].

Приведем контексты, в которых эти номинации собираются в микросистемы: рус. ср.-урал. «Дедка, мамка, тятка, сынок, дочка — вот и вся ладошка» [ДЭИС]; арх. «Пальцы на руках: большой, матка, отец, бапка, мезеньчик или дочька» [АОС 1: 82]; «Маги, тага, сынок, дочи, а бабка самая толстая, как за старшую у их» [СГРС 3: 262]; «Бабка, детка, мамка, сестренка, братишка — вот и семейка вся» [Там же: 197]; чеш. диал. «Palec je tátou, ukazovač mámou, prst střední dědkem» («Большой палец — отец, указательный — мама, а средний палец — дед») [PSJČ 1: 366].

Как антропологическая «пальцевая» метафора в целом, «семейная» обратима: рус. коми-п. *семи пальцев* «в количестве семь (о членах семьи)»: «Семья средняя у нас была, семи пальцев. Я, хозяин да дети пятеро» [СРГКПО: 177], омск. *как один пальчик* «единственный ребенок у родителей» [СРНГ 25: 182], пск., твер. *напёрсток* «о любимом ребенке» (с замеч.: «не наперсник ли?») [СРНГ 20: 72], смол. *пёрстик* «близкий, милый сердцу человек» [СРНГ 26: 292], кемер. *как перст в глазу* «самый дорогой, близкий», сиб. *как единый перст* «дружно, сплоченно» [СРГС 2: 221] и др. Напомним также рус. литер. *один как перст*: это выражение употребляется именно в связи с утратой родственников; оно имеет параллели в других славянских языках, где используется в аналогичной ситуации, ср., к примеру, словац. литер. *sám ako prst* «о сироте, одиноком человеке»: «Po smrti mužovej ostala sama ako prst» («После смерти мужа осталась одна как перст»). В рассматриваемом нами контексте «семейственности» пальцев этот фразеологизм выглядит парадоксальным, однако парадокс снимается тем, что здесь отражены традиции счета на пальцах, который начинался с большого пальца, стоящего особняком [РФ: 525]; противопоставление его другим закреплено, в частности, в практике номинативного разграничения «перстов» и «пальцев»: к примеру, в русских архангельских говорах *пёрст* «большой палец» противопоставлен *пальцам* [СРНГ 26: 289], а в пермских и вятских говорах — наоборот [Даль, 3: 11, 102]; такая же картина в южнославянских языках (болг., макед. *палец*, серб. *палац* «большой палец» при болг. *пръст*, макед., серб. *прст* «любой палец»).

«Стертые» метафоры (в направлении «член семьи» → «палец»), аналогичные вышеприведенным, реализуются, к примеру, в рус. арх. *большак* «большой или средний палец руки» [АОС 2: 64], ср.-урал. *меньшак* «мизинец» [ДЭИС] (при *большак* и *меньшак*, соответственно, «старший сын» и «младший сын»), макед. диал. *старто прс* «третий палец» [Дрвошанов 2005: 136], блр. диал. *старшы палец* «большой палец», *меншы палец* «безымянный палец» [ЧТС: 194] и т. д. Ср. рассуждения В. А. Меркуловой: «Мы наблюдаем по сути деление на три

³⁷ Это слово образовано от макед. литер. *чупа* «девочка»; ср. также македонское диалектное название безымянного пальца — *дочупче* («рядом с девочкой») [Дрвошанов 2005: 138].

(как в семье и в обществе): пальцы *большой* — *средний* — *мизинец*, *великий* — *средний* — *малый*. Пальцы указательный и безымянный выпадают из этой схемы. <...> Вспомогательная, несущественная роль безымянного пальца доказывает, что мы имеем перенесение на названия пальцев наименований из социальных отношений... где называются лишь пограничные (важные) элементы» [ЭССЯ 18: 229]. Здесь следует напомнить этимологические связи рус. *мизинец* и подобных именовании, являющихся дериватами слав. **mězinь* ‘малый, маленький’: это гнездо примечательно тем, что в нем последовательно сочетаются значения ‘младший (последний, любимый) ребенок’ (болг. *мизинец*, *мизимка*, *мизюл(ь)*), серб.-хорв. *м(ј)езимац*, *мезинак*, *мизинац*, *mizimica*, словен. *mezinec*, *mezinek*, рус. *мизинный сын*, *мизинец*, *мезенчек*, *мезонька*, укр. *мізинець*, *мізинчик*, блр. *мезінец*, *мязённий сын* и мн. др. [Janyšková 2006: 132; ЭССЯ 18: 227–232]) и ‘мизинец’ (рус. *мизинец*, *мезе(и)нец*, *мизунец*, укр. *ми(е)зинець*, *мизинок*, ст.-укр. *мѣзилний перст*, блр. *мезе(и)нец*, *мезяны палец*, *мязіняц*, *мезюн*, болг. *мизинец*, серб.-хорв. *mezinas*, словен. *mežinac*, *mžinac*, польск. *mizynek*, словац. *meženi pal'ec*, чеш. *mězenec*, ст.-чеш. *mězený prst* и т. д. [ЭССЯ 18: 227–232]). Интересно соотношение синонимичных слав. **malъjь* и **mězinь*: первое имеет широкий круг употреблений, прилагаясь к самым различным предметам, мыслимым как маленькие; второе используется только для обозначения младшего последнего ребенка и маленького пальца на руке или ноге [Там же: 228]. Это заставляет думать, что «детское» и «пальцевое» значение появились не параллельно, а связаны отношениями производности: скорее всего, первое послужило источником для второго. Косвенным аргументом в пользу такого направления производности является наличие в структуре **mězinь* суффикса *-inь*, оформляющего, как правило, притяжательные прилагательные или прилагательные, обозначающие принадлежность к группе — возрастной или социальной [Там же: 227].

Приведенные выше ряды, составленные образами матери, отца, детей и пр., в основном прозрачны по своим мотивационным основаниям. Помимо размера и функций пальцев, в них учитывается взаимное расположение, которое определяет противопоставление большого пальца («дядьки») другим (о номинативной релевантности такой оппозиции см. выше).

В то же время некоторые образы требуют комментариев. Обратимся к приведенному выше контексту к чеш. диал. *bába* ‘безымянный палец’, в котором этот палец назван «наилюбимейшим». Почему контекст выделяет этот палец из общего состава «семьи»? Здесь усматриваются переключки с польск. *serdeczny palec*, *wierny palec* («сердечный палец», «верный палец») ‘безымянный палец’ [SW 6: 73], чеш. диал. *srdeční prst* ‘то же’: «Tu jsem zočila na jejím srdečním prstě snubní kroužek prsteníku» («Я заметила на ее безымянном пальце обручальное колечко») [PSJČ 5: 644], *sardečnik* ‘то же’ [PKS: 38]. «Любовная» отмеченность безымянного пальца проявляется также в том, что при гаданиях девушки, желающие увидеть жениха, надевали кольцо на безымянный палец руки (рус.) [СД 2: 565], с ним

совершались манипуляции приворотной магии [СД 3: 618] и др. Происхождение таких представлений определить трудно; возможно, в славянской народной культуре отразилась провозглашаемая хиромантией и известная многим мировым традициям символическая связь безымянного пальца и сердца, мотивированная тем, что от безымянного пальца левой руки к сердцу будто бы идет «вена любви». На этих представлениях основана практика ношения на безымянном пальце обручального кольца (или на «сердечной», т. е. находящейся на стороне сердца, левой руке, или на правой, что объясняется общей положительной символикой правого), которая тоже оказывается закрепленной в номинациях безымянного пальца: груз. (рус.) *нёрстень*: «Средний палец, потом перстень... Кольцо одеют на перстень» [СРНГ 36: 291], блр. *злацяны палец* [ЧТС: 194], польск. *pięścieniowy*, *pięścionkowy*, *złoty palec* [SW 6: 73; 7: 585], словац. литер. *prstenník*, чеш. литер. *prsteník*, серб. литер. *прстѐнѝк*, болг. диал. *пръстеньния* [БЕР 5: 830], макед. диал. *прстењак* [Дрвошанов 2005: 138] и др.; ср. также романо-германские наименования безымянного пальца, образованные от слов со значениями 'кольцо' или 'золото': англ. *ring finger*, нем. *Goldfinger*, лат. *anulāris digitus*, исп. *anular*, франц. *annulaire* и т. д.³⁸

Все это порождает интригу по отношению к другому обозначению безымянного пальца — арх. *вдовьей палец*. Из всех вышеприведенных это наименование является наиболее темным в мотивационном отношении. Возможно, такая метафора вызвана к жизни объективной функциональной недостаточностью четвертого пальца руки по сравнению с первыми тремя (большинство трудовых действий выполняются без его участия), а также его невхождением в «троичную» социальную схему (на которую указала В. А. Меркулова, см. выше). Важно и то, что этот палец не входит в троеперстие для крестного знамения, ср. брян. *персты* 'большой, указательный и средний пальцы': «Перстами крестятся, а те пальцы» [СРНГ 26: 289]. Признак «карикативности» четвертого пальца руки народная культура воплощает в том, что отказывает ему в имени³⁹: помимо распространенного наименования

³⁸ Сходным образом может осмысляться мизинец: ему тоже могла приписываться любовная символика, закреплявшаяся, в частности, в практике ношения на нем кольца, ср. рус. влг. «Дак за собой парня выведу, Дак за правую за рученьку, Дак за мезинный малый перстычек», печор. «А ты Здунай мой, Здунай, злачен перстень уронил, Да со правой руки, с любимого мизеньшка» [СРНГ 18: 155–156], новосиб. *перстенёчек* 'мизинец' [СРГС 2: 221] и т. п. Мизинец способен «передать информацию» о любовных отношениях: так, у болгар парень сгибал левый или правый мизинец девушки — и она либо молчала, принимая его чувства, либо визжала, не принимая [МЧТ: 130]. Физическая и функциональная близость мизинца и безымянного пальца обуславливает перенос свойств одного на другой; более того, их наименования могут скрещиваться, ср., к примеру, свердл. *мезимянный*, арх., омск. *мезымянный*, арх. *мизимянный* 'безымянный (о пальце)' [СРНГ 18: 93–94, 155].

³⁹ О значимости признака «отсутствия имени» у этого пальца в народных соматических представлениях славян свидетельствует практика использования безымянного пальца в народной медицине для магического уничтожения болезни: как у пальца нет имени, так и у человека нет болезни [СД 3: 616].

с внутренней формой «безымянный», он считается также «глухим» и «немым», ср. блр. *глухі палец, нямы палец* [ЧТС: 194], т. е. как бы лишенным социальных связей. Эта каритивность = изоляция может найти отражение и во «вдовьем» наименовании пальца (кстати, «вдовьи» метафоры нередко обозначают те же реалии, что и «глухие»: выпечка без начинки, сеть без рыбы и др.⁴⁰).

Выскажем и другую версию относительно мотивации арх. *вдовьей палец*, связанную с практикой ношения обручального кольца. Возможно, дефиницию *вдовьего пальца* следовало бы уточнить — и считать это сочетание обозначением безымянного пальца определенной руки. Это может быть тот палец, на который женщине следовало переместить обручальное кольцо после смерти мужа. Помимо практики ношения обручального кольца на безымянном пальце, у славян также был распространен обычай носить его на среднем [СД 2: 564]. В этом случае могло происходить распределение символических функций пальцев: безымянный означал «ожидание» или «потерю» любви, а средний — состояние женщины в браке. Подобные представления (но с рокировкой пальцев) известны в современной русской городской культуре: после смерти мужа вдова должна переместить кольцо с безымянного пальца правой руки на средний⁴¹. Можно предполагать, что в той локальной архангельской традиции, где записано интересующее нас название, женщина, став вдовой, должна была переместить кольцо со среднего пальца на безымянный — или же снять его с безымянного пальца правой руки и надеть на безымянный палец левой (кстати, замена руки — наиболее распространенный вариант действий с кольцом в современной городской культуре⁴²). Прямые этнографические свидетельства, подтверждающие эту версию, нам неизвестны, но она вполне правдоподобна.

Следует сделать еще один комментарий в связи с макед. диал. *чупче* («маленькая девочка») ‘мизинец’. Внутренняя форма этого слова и наличие «детских» названий мизинца в других языках заставляют задуматься о возможности включения в этот ряд макед. диал. *кутре, кутле* [Дрвошанов 2005: 141], болг. *кутре, кутле* ‘мизинец’ [БЕР 3: 160]. Эти лексемы не имеют однозначной этимологии. О македонских словах В. Дрвошанов пишет, что их происхождение неясно [Дрвошанов 2005: 141]. Что касается болгарских форм, то в [БЕР 3: 160] они соотносятся с *кутре, кутле* ‘щенок’ как его метафорические производные (без комментариев), но это оспаривается О. Н. Трубачевым, считающим подобный

⁴⁰ Подобные значения «глухого» описаны в [Толстая 2008: 154–169]. «Вдовьи» значения такого рода будут представлены далее, см. параграф 2.2.2.

⁴¹ Об этом автор книги знает по рассказам подруг-сверстниц; ср. также следующий контекст: «Знаю, есть теория, что каждый палец на руке что-то значит... Обручальное кольцо надевают на безымянный палец правой руки, и незамужним не рекомендуется его “занимать”, средний палец многие считают вдовьим» (URL: <http://talk.ru/lady/37-791-o-kol-cah-i-pal-cah-read.shtml>).

⁴² Русские свидетельства фиксируются повсеместно; то же мы слышали от белорусских и польских информантов.

перенос типологически изолированным и возводящим болгарские названия мизинца к **kutъlb / *kutъrb / *kutyrb*, которые являются производными от **kut-*, в конечном счете, и. -е. **keu-t / *kou-t* 'гнутое, выпуклое'⁴³. В этом случае семантически *кутре* 'мизинец' — «согнутый» [ЭССЯ 13: 141]. Это объяснение выглядит несколько натянутым. Мы предлагаем вернуться к версии БЕР, «оснастив» ее семантическими параллелями как внутри болгарско-македонского ареала, так и за его пределами. Очевидно, мизинец может осмысляться не только как маленький ребенок, но и как звериный детеныш, щенок. Эта версия подкрепляется традицией обозначения маленьких детей с помощью образов животных [Анашкина 2007: 101–104], особенно если речь идет о новорожденных и некрещеных детях, см. подборку болгарских примеров в [Седакова 2007а: 44]. Показательно также, что новорожденные «детеныши» людей и животных могут обозначаться одним словом. Особенно близким к образу ребенка оказывается образ щенка, ср. рус. разг. *он еще совсем щенок* 'о молодом, неопытном человеке'. Вспоминая общий контекст «семейной» пальцевой метафоры, укажем, что семейные ряды нередко дополняются (расширяются, развиваются) образами домашних животных (ср., к примеру, «Сказку о репке»).

Образы родственников представлены также в наименованиях болезненных образований на пальцах. Рус. арх. *вдовья жила* 'вздувшаяся вена на внутренней стороне пальцев рук' [АОС 3: 68] реализует несколько иной поворот образа вдовы, чем рассмотренный выше. Возможно, за этой номинацией стоит представление о том, что кровеносные сосуды на пальцах проступают от тяжелого труда, падающего на долю вдовы после потери кормильца. Параллель усматривается в рус. простореч. *вдовий горб* 'грудной кифоз, избыточное прогибание позвоночника назад'⁴⁴: данное функциональное нарушение, очевидно, имеет ту же «трудовую этиологию», что и вздувшаяся жила на пальцах.

Наконец, приведем функционирующие вне славянского ареала обозначения заусениц, задравшихся кусочков кожи около ногтей с помощью образов некровных родственников: англ. диал. *stepmother* («мачеха») 'кусочек кожи, торчащий на краю ногтя, заусеница' [OED-1933/10: 921; WTNIID 3: 2237], исп. *padraastro* («отчим») 'то же' [DHMLE 3: 3092]. При объяснении этих названий надо учитывать, что с образом мачехи связан признак негладкости, шершавости⁴⁵, ср. хотя бы рус. *мать-и-мачеха* (лист растения, как известно, имеет шероховатую нижнюю поверхность),

⁴³ Одно из ключевых звеньев этимологии О. Н. Трубачева — постулирование связи болгарского *кутре* с рус. забайк. *кутырка* 'сустав на пальцах рук'. Думается, к фиксации забайкальской формы стоит относиться осторожно: она не отмечена никакими русскими диалектными словарями, кроме словаря Элиасова, — в то время как этот словарь известен многими ошибочными фиксациями. Если даже слово *кутырка* существует, то в его основе, вероятно, признак утолщения — как у других русских слов, входящих в гнездо **kutъlb / *kutъrb / *kutyrb* [ЭССЯ 13: 140–141] и не связанных, по нашему убеждению, с болг., макед. *кутре* 'щенок' → 'мизинец'.

⁴⁴ Вероятно, это калька: ср. англ. *widow's hump* («вдовий горб») 'то же' [ABVYY Lingvo x 5].

⁴⁵ Ср. второе значение рус. литер. *заусеница* — 'выступ на поверхности чего-л., шероховатость'.

причем — что немаловажно — шероховатости могут быть «новообразованиями», появляться вторично (как мачеха) на месте гладкой поверхности (показательны приводившиеся выше примеры: рус. печор. *мачехина береста* ‘березовая кора, вновь выросшая на ободранном месте ствола’, арх. *мачехино берэсто* ‘шероховатый слой древесины под берестой’). В испанском языке образы мачехи и отчима воплощают также признак помехи, препятствия, ср. исп. *padrastro* («отчим») = *madrastra* («мачеха») ‘препятствие, помеха, затруднение’ [АВВУУ Lingvo x 5]. Как бы то ни было, показательное вовлечение этих образов именно в «пальцевую сферу», богатую в плане «семейственности».

2.2.1.2. Названия рыболовных снастей

Если в комплексах, составленных названиями пальцев, нет ярко выраженного образа-инициатора, который служит толчком для разворачивания системы (пальцы в своей совокупности воспринимаются как семья и равноправны в этой образной роли), то в ряде случаев в метафорических микросистемах выделяется такой иницирующий элемент. Для его определения можно использовать следующие критерии: 1) распространенность метафоры в разных диалектах / языках; 2) словообразовательная и семантическая вариативность соответствующих слов; 3) «прочитаемость» метафоры, ее номинативная самостоятельность.

Толчковым образом для «семейных» комплексов чаще всего служит образ матери (образ отца в языке вообще выражен очень слабо). Так обстоит дело и в комплексах, образованных терминами рыболовства.

Мать — часть невода (в виде мешка) или ловушки, где скапливается рыба, мотня: рус. арх. *мáтерь*, арх., влг., карел., костр., красн.-нояр., новг., перм., печор., пск., ср.-урал., тюмен., яросл. *мáтица*, шир. распр. *матка*, арх., влг., костр., свердл. *мáтница*, ср.-урал. *матрица*, арх., влг., пск., ср.-урал. *маточка*, влг. *маточник*, влг., томск. *мату́ха* [БТДК: 278; ДЭИС; СРНГ 18: 31, 33–34, 39; КСГРС; ЛКТЭ; СВГ 4: 75; Кошкарева 1993: 74; ПОС 18: 49, 52–53, 55; СРГК 3: 202–203; СРГНП 1: 409; СПГ 1: 508; АС 2: 125; НОС 5: 74; СРГСУ 2: 120; СРГС 2: 264–266] и др.; укр. *матня́*, блр. диал. *матня́*, кашуб. *масёса*, ст.-польск. *masica*, *matnia*, польск. *matnia*, диал. *matńo* [ЭССЯ 17: 260–261; 18: 19–20]. Ср. также близкие значения: *матка* влг., ленингр. ‘небольшой невод’ [СРГК 3: 203], ср.-урал. ‘верхняя наружная часть морды и подобных плетеных ловушек’ [ДЭИС], арх. *матица* ‘самый большой общий невод при ловле рыбы артелью’, влг. ‘наружная часть рыболовного снаряда киньги’ [СРНГ 18: 30], печор. ‘частая сеть для ловли мелкой рыбы’ [СРГНП 1: 408], пск. *матни́к* ‘невод со специальной частью в виде мешка для сбора пойманной рыбы’ [ПОС 18: 54], тюмен. *мáтенка* ‘садок для рыбы’ [Кошкарева 1993: 74], ст.-польск. *matnia* ‘разновидность рыбацкой или охотничьей сети; также ее основная часть, в которую вгоняется добыча и из которой уже невозможно ее бегство’ [ЭССЯ 18: 19–20] и др.

Как нам представляется, все приведенные слова (хотя список явно не полон) реализуют «материнскую» метафору. При рассмотрении этого списка неизбежно встает вопрос о соотношении данных лексем с рус. литер. *мотня* и его соответствиями в других славянских языках. О трудности разграничения форм с *a* и *o* свидетельствует хотя бы тот факт, что польск. *matnia* ‘мешок, которым оканчивается каждая большая сеть...’ оказывается поданным в «Этимологическом словаре славянских языков» дважды: в статье **matъn'а* [18: 19–20] и в статье **motъn'а* (?) [20: 88–89] (и есть еще примеры такой двойной атрибуции слов на *mat-* / *mot-*). В ряде этимологических источников формы типа *мотня* ведутся к **motati* / **matati* (*se*) — на том основании, что *мотня* невода «мотается» при его извлечении из воды. Излагая эти гипотезы, Г. Ф. Одинцов высказывается в пользу возведения спорных форм к **matъn'а* (мотивацией является центральное, срединное положение этой части рыболовных устройств; «мотание» центральной части невода — наиболее устойчивой — маловероятно) [ЭССЯ 18: 20]; Ж. Ж. Варбот более осторожна: она приводит разные версии и замечает, что при допущении первичной структуры **matъn'а* для некоторых рефлексов следует предполагать возможность вторичных ассоциаций с **motati* (*se*) [ЭССЯ 20: 89].

Думается, что возможность разворачивания «семейного» комплекса с участием этой метафоры уточнит мотивацию «материнских» лексем и даст дополнительные аргументы для корректировки этимологических решений.

Вторым по распространенности и вариативности среди «семейной» рыболовческой терминологии можно считать образ ребенка.

Дитя — внутренний конус ловушки на рыбу, через который рыба заходит в ловушку:

- *дет-*: арх. *детѣй* (*дитѣй*), *детѣнец* (*дитѣнец*), арх., ср.-урал., тобол., тюмен., хабар. *детѣныш*, арх. *детѣнь*, арх., влг., печор., ср.-урал. *детѣнец* (реже *детѣинец*), печор. *детѣнец*, арх., карел. (рус.) *детѣнок*, печор. *детѣнчик*, влг. *дѣтище*, тюмен. *дѣтник*, арх. *дѣток*, ср.-урал. *детошь*, новосиб., ср.-урал., томск. *дѣтуш*, алт., арх., астрах., влг., кемер., новосиб., перм., сиб., ср.-урал., томск., тюмен. *дѣтыш* (реже *дѣтыш*), ср.-урал. *дѣтыш* [СГРС 2: 219–221; АОС 11: 113, 116–117, 120, 123; Кошкарева 1993: 41; ДЭИС; СПЛСР 1: 165; СРГСУ 1: 136; СПГ 1: 214; АС 1: 236; СРНГ 8: 37, 38, 40; СРГК 1: 457; СРГНП 1: 173; СВГ 2: 25; СРГС 1/2: 39]. Условно сюда же припишем новосиб. *дед* [СРГНО: 120], ср.-урал. *дѣдыш* [ДСРГСУ: 129], которые формально соотносятся с *дед-*, но возникли, скорее всего, при деэтимологизации слов на *дет-*. Ср. также ряд лексем на *дет-* с близкими «рыболовными» значениями: влг. *детѣнец* ‘верша’, *дѣтыша* ‘рыболовный снаряд’, вост.-казах. *дѣтыш* ‘дно рыболовного снаряда — картажки’ [СРНГ 8: 38, 40–41];

- *сын-*: свердл. *сынок* [ДЭИС], перм., свердл. *пасынок* [СРНГ 25: 270; ДЭИС], обл. *усынок* [ССРЛЯ 16: 1012].

Приведем также ср.-урал. *подмордѣнок* ‘передняя часть рыболовной снасти (морды) с узким отверстием, куда входит рыба’ [ДСРГСУ: 420], в котором связь

«ребенка» с «матерью» (рыболовной мордой) выражена на словообразовательном уровне.

«Материнский» и «детский» термин могут совместно функционировать в контекстах, ср.: арх. «Детинец, а там matka, а так вёрша» [АОС 11: 117], «Детень узкий, а подалше матница» [СГРС 2: 219], влг. «Перёд плетёшь детыш, а там матуху» [КСГРС] и пр. Это создает условия для оживления образа: влг. «Детёныш маленький, как запелёнут в морде», «Перво детыша плетёшь, а потом бочку приплетаешь, детыш-от раньше матери появился», «Он вправду детыш, мать детей ведь рождает, он у ей как в брюхе» [СГРС 2: 219, 221]. «Живой» семейный образ, апеллирующий к технологии плетения ловушек (внутренний конус плетется перед тем, как сплести основной корпус) фигурирует и в загадке о ловушке на рыбу: арх. «Сын наперед матери родился» [ЭМТЭ].

В то же время требуют комментариев некоторые формальные и словообразовательные аспекты данной версии. Прежде всего следует объяснить обилие вариантов рыболовных терминов на *дет-*, не все из которых соотносимы с общенародным и диалектными обозначениями ребенка (т. е. со словами *детёныш*, *детёнок*, *детинок*, *детыш* и др.). Для несоотносимых вариантов есть разные возможности интерпретации. Во-первых, формы типа *детинец* можно связывать не с понятием «ребенок», а с понятием «детское место» (именно такая мотивация предложена А. Ф. Журавлевым для *детинец* ‘внутренняя крепость, кремль’ [Журавлев 2002], которое в образном плане сходно с рыболовным детинцем). Во-вторых, могло произойти народно-этимологическое сближение с глаголом *деть(ся)*: *детень* и пр. — то, куда «девается» рыба, зайдя в ловушку. В-третьих, работает банальная деэтимологизация, повышающая степень вариативности лексем.

Словообразовательно неясна и форма *усынок*. В плане префиксации можно привести арх. *усынок* ‘усыновленный ребенок’ [КСГРС]; ср. также глаголы *усынять*, *усынить* = *усыновить* [Даль, 4: 517]. Быть может, *усынок* образован от незасвидетельствованного метафорического значения глагола *усынить* (принять за сына → *присоединить что-л. к чему-л.)? О возможности появления дериватов *сын-* с префиксом *у-* косвенно свидетельствует также арх. *усынка* ‘небольшое озеро, соединенное протокой с другим озером, небольшой залив’ [КСГРС], являющееся семантическим вариантом арх. *детинка*, *детиночка* ‘маленькое озерко, соединенное протокой с другим озером’ [СГРС 3: 220] (об этих словах см. далее, в параграфе 2.2.1.3, с. 247).

Учитывая все вышесказанное, мы утверждаем релевантность «материнско-детской» метафоры в наименованиях частей рыболовных орудий. Реконструированный образ помогает уточнить мотивацию «материнских» обозначений той части рыболовных устройств, где скапливается рыба. Кажется, дело тут не только (не столько?) в признаке «центральный», «срединный» (так предполагается в [ЭССЯ 18: 20], — и это может быть принято для невода, но не очень подходит

к конусообразным ловушкам), но и в признаке порождения. «Материнская» часть рыболовных устройств представляется как матка или живот матери — отсюда сравнение ее с брюхом в одном из контекстов (такое сравнение может стать узуальным, ср. нем. *Kuttel* ‘внутренности’ → ‘«пузо» сети’ [Kluge₂₀: 415]), а также возможность «соматического видения» ловушки в целом — как имеющей *горло*, «*матку*» и *хвост*. В этом «животе» появляется, «зарождается» рыба, — и можно думать, что здесь есть даже некоторый «дезидератив» — пожелание обильного улова. Не случайно многие «материнские» наименования мотни соотносимы с обозначением женской матки, а также с другими реалиями, наделенными признаками порождения, размножения, обилия: рус. влг. *матница* ‘место в улье, где разводят пчел’ [КСГРС], пск. *маточник* ‘помещение для маток и детенышей домашнего скота’ [ПОС 18: 54]⁴⁶, польск. диал. *matńo* ‘место в соломенном улье, где разводятся пчелы’ [ЭССЯ 18: 19], рус. олон. *матка* ‘грибное или ягодное место в лесу’ [СРНГ 18: 32]; близки по смыслу также новг. *матка* ‘обилие, множество чего-л.’: «Круг Петра да круг Ивана слепням самая матка, много их бывает» [СРНГ 18: 32], пск. *матка* ‘большое количество чего-н.’: «Самая матка у нас снегу, многа нападает» [ПОС 18: 53]. Разумеется, помимо признака порождения, соматическая «материнская» метафора реализует и признак формы, ср., к примеру, р. Урал *матушка* ‘широкая сторона утюга при его вертикальном положении’ [Малеча 2: 410].

Помимо темы материнства, метафора родства в рыболовной лексике может использовать тему брака / безбрачия. Реализующие ее лексические факты поддерживают и развивают намеченную материнской метафорой логику разворачивания образа.

Женатая (сеть) — сеть с хорошим уловом: чеш. диал. *ženatý* ‘о рыболовном снаряде с рыбой’ [Dial-Brno].

Вдовая, холостая (сеть), молодушка — сеть с плохим уловом: рус. арх. *вдовая сеть* ‘рыболовная снасть, вытянутая без рыбы или с незначительным количеством рыбы’: «Вдова сеть пришла, нет у ей в животе ничего» [СГРС 2: 38], *холостой* ‘без рыбы (о ловушке на рыбу)’ [КСГРС], пск. *с молодушкой приехал* (кто-л.) ‘о том, кто совсем не поймал рыбы’ [СРНГ 18: 229].

Метафоры женатой или холостой (вдовой) ловушки (т. е. рыбной или безрыбной) прозрачны. Комментария требует только выражение *с молодушкой приехал*: в нем используется образ молодой жены, не имеющей пока детей, а потому символизирующей бесплодность усилий рыбака, т. е. пустоту сетей. Ср. распространенный запрет брать женщин на рыбалку: они отвлекают на себя «производительную силу» орудий лова.

⁴⁶ Это слово объединено в той же группе говоров прямой метафорической связью с *маточник* ‘место внизу сачка, где скапливается рыба’ [ПОС 18: 54].

Образ вдовы применительно к рыболовной теме может иметь еще один поворот, ср. рус. твер. *вдовка* ‘сеть из одного полотна’: «Вдовка — это неряжевая сеть, голая сеть, одно полотно» [ТТС 2: 74]. Здесь отражен не признак улова, а особенности изготовления сети: вдовая сеть изготавливается из одного полотна — в отличие от *ряжёвых* (*режёвых*) сетей, состоящих из двух или трех полотен с ячейками разной величины [СРНГ 35: 348]. Очевидно, соединение разных полотнищ, материй воспринимается как их «женитьба»⁴⁷, ср. рус. влг. *холостой* ‘неутепленный (об одежде)’ [СВГ 11: 201], не соединенная с другими или неподшитая ткань именуется «одиночной»⁴⁸ или «вдовой».

В заключение укажем на еще одну (гипотетическую) возможность проявления семейной метафоры в рыболовной лексике: реалья, называемая польским словом *dziad* («дед») ‘жердь, поддерживающая тыльную часть невода’ [SGP 7/1: 138], находится в непосредственном контакте с мотней (польск. *matnia, matńo*), что создает предпосылки для «эротического» прочтения этой метафоры (слово «дед» в славянских языках обозначает, кроме прочего, всевозможные палки, жерди, фигурирующие в строительных конструкциях и технических приспособлениях, и реализует чаще всего признак опоры или же антропоморфной формы объекта; при этом может актуализироваться и «эротический» потенциал образа).

2.2.1.3. Лексика речного ландшафта

Речной ландшафт тоже может восприниматься через призму семейных отношений — связей матери и ребенка, мужа и жены, братьев и сестер, влюбленных и др. Напомним некоторые фольклорные примеры такого плана, которые рассмотрены, в частности, в известной статье Я. И. Гина [Гин 1992] о былинном эпосе: реки Днепр и Сож — братья; Днепр — батюшка; Волховь (форма имени Волхов) — матушка; Непра (женская «ипостась» Днепра) — мать богатыря Сухмана, который сам становится Сухман-рекой; Дон может иметь отчество — Иванович <добавим: по Иван-озеру, из которого он вытекает⁴⁹. — Е. Б.>, а парой к нему выступает Непра-королевична и т. п. [Там же: 112–113]. Как удалось показать Я. И. Гину, логика разворачивания «семейной» метафоры во многом определяются грамматическим родом названия реки. «Семейные» речные образы встречаются не только в былинах, но и в малых фольклорных жанрах, ср., к примеру, загадки о «взаимоотношениях» реки и ее притоков: арх., яросл. «Есть мать — как вырастут у ней большие дети — всех пожирает» <река>⁵⁰ [Садовников 1996: 176, № 1537],

⁴⁷ Ср. близкий образ: рус. забайк. *в любки* (*стоять, ставить*) ‘рядом, недалеко друг от друга (о сетях)’ [ФСРС: 108].

⁴⁸ Ср. рус. моск. *одинёц* ‘вид тонкой пряжи, из которой ткют полотно на стане с бердом в одиннадцать пасм’, калин. *одинёц* ‘вид рыболовной сети’ [СРНГ 23: 29].

⁴⁹ Ср.: «Два брата родные, оба Ивановичи, да один Дон, а другой Шат (реки Дон и Шат обе текут из Иван-озера)» [Даль, 1: 124].

⁵⁰ Образный эффект в данном случае в определенной степени основывается на оживлении стертой внутренней формы слова *устье*.

пск. «Какая мать своих дочерей сосет?» <река, море> [Там же: 178, № 1550]; «Мать детей сосет» <река (весной)> [ЖЧРФ 2: 439], «Какая мать своих дочерей сосет?» <море> [Там же]; ср. также польск. «Czy jest taki ojciec, co pożyło swoje dzieci?» («Есть ли такой отец, который пожирает своих детей?») <море и реки> [PZL: 136, № 572] и т. п.

Если фольклорные данные обнаруживают системно-языковую обусловленность «семейных» образов, то можно предполагать наличие таких метафор и в собственно номинативной системе, в обозначениях элементов речного ландшафта — как апеллятивных (в гидрографической номенклатуре), так и проприальных (в гидронимии)⁵¹. Этот вопрос, кажется, специально не изучался⁵², что побуждает нас рассмотреть его подробнее. Думается, что направленный поиск звеньев «семейной» метафоры поможет семантической реконструкции отдельных темных слов.

В предыдущих случаях «семейные» комплексы были представлены небольшим количеством значений, вариативно воплощаемых с помощью различных образов родственников. В данном случае значений гораздо больше (лексика речного ландшафта, как и географическая терминология в целом, имеет повышенную многозначность), поэтому материал удобнее организовать не от значения к языковому образу, а противоположным путем — от образа к значению.

В лексике речного ландшафта представлены следующие образные ряды:

- родители и дети;
- брачные отношения;
- холостяк, вдова;
- братья и сестры;
- кумление.

Родители и дети. Для воплощения представлений об основном русле реки, ее фарватере, роднике, источнике и др. в общеславянском масштабе используется «**материнская**» метафора: рус. сиб. *матеря́я* ‘основное русло реки в отличие от рукавов’, арх., влг., перм., сиб. *матеря́я*, заурал., кемер. *матка*, арх., оренб., перм., сиб. *матері́к* ‘фарватер реки’, ст.-укр. *матка* ‘русло реки’, серб. *ма̀тица* ‘источник’, *ма̀тичи́ште* ‘средняя, наиболее глубокая часть речного русла’, болг.

⁵¹ Приводя примеры из нарицательной лексики, мы стараемся дать весь собранный материал (пусть немногочисленный и, конечно, не исчерпывающий), а подачу географических названий ограничиваем несколькими более или менее прозрачными иллюстрациями, поскольку полный анализ фактов топонимии потребовал бы пристального внимания к мотивам номинации в каждом конкретном случае, необходимости разграничивать качественные (метафорические) и посессивные названия и т. д.

⁵² Из работ по смежной проблематике отметим интересную и содержательную статью М. В. Ахметовой, посвященную другого рода «семейной» модели, объединяющей собственные имена городов [Ахметова 2012]. Эта модель функционирует главным образом не в номинативной системе, а в текстах, в том числе фольклорных (типа «Ростов — папа, Одесса — мама», «Нижний — брат Москвы ближний», «Усолье-град — Петербургу брат» и т. п. [Там же]).

диал. *майка* ‘исток реки’, ‘родник’, ‘каптаж воды, источник’, *ма̀тица* ‘русло реки’, ‘родник, источник’, *ма̀тка* ‘русло реки; глубокое место реки, где она никогда не пересыхает’, ‘сырое, болотистое место, где собирается вода’, макед. *матка* ‘середина реки’, *ма̀торник* ‘главная канава в винограднике для слива воды; старая, глубокая яма с водой’, ст.-польск. *macica* ‘исток потока или реки; главный источник, основное русло реки’, польск. *macica* ‘главный ключ, главный источник’ [ЭССЯ 17: 135, 253, 259–263; 18: 15–18; СРНГ 18: 22–23, 32; Григорян 1975: 127–129] и мн. др. Широко распространены фольклорно-разговорные эпитеты-приложения к названиям рек: Волга-*матушка*, Ока-*матушка*, Кама-*матушка* и пр. «Материнская» метафора представлена и в гидронимии: р. *Матка* <сред. левобереж. Поочье> [Смолицкая 1976: 96], оз. *Мать-озеро*⁵³ <Вин> [ТКТЭ], бол. *Мать*, *Мать-болото* <Приладожье> [СГЮВП: 19], р. *Matica* <Черногория>, *Маторник*, местность у озера <Леринско, Македония> [ЭССЯ 17: 253, 260], руч. *Матка* <Закарпатье>, р. *Матка* <Черновцы> [СГУ: 355] и др.

Особо отметим значение рус. арх. *матка* ‘об озере, принимающем многочисленными ручьи’: «Веренда матка, в её все ручьи текут» [КСГРС]. В нем наиболее определенно проявилась «семейная» мотивация «материнских» гидрографических терминов.

Что касается образа **отца**, то он, кажется, не закреплен в славянской гидрографической лексике (за исключением формул вроде Дон-*батьюшка*). Очень редко «отцовская» метафора встречается в гидронимии, ср. оз. *Отец-озеро* <Выг>, прк. *Отец* <Вин>⁵⁴ [ТКТЭ].

Образы родителей воплощают качественные смыслы («большой, крупный по размеру», «главный, основной»⁵⁵, «срединный», «питающий, кормящий»)⁵⁶, но есть в нем и релятивная составляющая («являющийся источником чего-л.»).

Развитие релятивной семантики приводит к тому, что у родителей появляются **дети** — притоки, протоки, рукава и т. п.

«Детские» образы могут быть выражены с помощью словообразовательных средств, ср. костр. *речёнок* ‘ручеек’ [ЛКТЭ]. Чаще всего такими средствами

⁵³ Возможно, переосмысление субстратного названия финно-угорского происхождения.

⁵⁴ Речь идет о самом крупном и мощном перекате на архангельской р. Ваеньга, рядом с которым находится перекат *Матушка*. Укажем, что названия *Отец* и *Матушка* употребляются относительно редко и в особых контекстах; в качестве основных обозначений этих перекатов функционируют соответствующие по грамматическому роду топонимы *Воронец* и *Чолча* [ТКТЭ].

⁵⁵ Семантически близко рус. сев.-двин. *самі́к* ‘фарватер реки’ [СРНГ 36: 75]: в этом слове проявляется не столько «мужской» смысл (ср. влг., новг., петерб., пск., свердл. *самі́к* ‘особь мужского пола животного; самец’ [Там же]), сколько идея «самости» (сев.-двин. ‘основное в предмете’, ‘твердая дорога во время метели или распутицы’ [Там же]).

⁵⁶ Такая семантика имеет многочисленные параллели за пределами русского и других славянских языков, претендуя на статус универсалии. Приведем лишь два примера: в коми топонимии встречаются названия вроде *Эньты*, оз. (коми *энь* ‘мать, жена, самка’, *ты* ‘озеро’), *Айвож*, р. (коми *ай* ‘отец’, *вож* ‘приток’). В этих и других подобных случаях термины родства *ай* и *энь* в топонимическом употреблении указывают на величину объекта [Туркин 1986: 8, 136].

пользуется топонимия: оз. *Лебедёнок* (*Лебязжонок*): «Лебязжонок тоже как дитя его, озера Лебязьего»; оз. *Обутёнок*: «Озеро Обутошно, Обутенок приток ему небольшой, как племянник будет», оз. *Козлёнок*: «Небольшое озерко от Козлова озера, с ним соединяется» <Алтай> [РТА: 126]; р. *Быстрёнок* «Быстренок маленький, как ребёночек у Быструхи» <К-Г>, р. *Кодёнок*, приток р. *Кода* <Холм>, р. *Аксарёнок*, приток р. *Аксариха* <Ср. Урал> [ТКТЭ]; р. *Баксанёнок*, приток р. *Баксан* <Терск.> [Семенов 1: 191] и др.

Более ярко звучат образы детей в собственно лексическом выражении: рус. арх. *детинка*, *детиночка* ‘маленькое озерко, соединенное протокой с другим озером’: «От озера к детиночке височка есть, детиночка как дитячко у его» [СГРС 3: 220], *усынка* ‘небольшое озеро, соединенное протокой с другим озером, небольшой залив’, *пасынок* ‘рукав реки’ [КСГРС], ворон. *пасынок* ‘ответвление холма, оврага’ [СРНГ 25: 270], блр. диал. *пасынак* ‘приток реки, ручья’ [ЭСБМ 8: 205]; ср. также исп. *hijueta* («дочка») ‘отводной канал’ [DHMLE 2: 2277]. «Пасынки» и «сынки» закреплены и в гидронимии: оз. *Под Черное Пасынок*, оз. *Пасынок Кривого* <Прикамье> [Торопов 1976: 378, 121], р. *Пасынок* <Влгд> [ТКТЭ], р. *Пасынок* <Мурман> [Минкин 1976: 177, 182], овраг *Донов Сынок* <Дон> [Отин 1989: 126] и др.

Интересна диалектика образов ребенка (**сына**) — **пасынка**: в первом сильнее проявлена идея «порождения» рекой, во втором — идея отделения от нее. Последняя находит логическое продолжение в метафоре **сироты**: болг. диал. *сирѝк* («сирота») ‘небольшой арык, отведенный от главного канала для орошения лугов, садов и пр.’ [Григорян 1975: 200; БЕР 6: 687]. Признак отдельного расположения «сирот» (вдалеке от других объектов одного с ними класса) реализуется и в топонимии: руч. *Сиротинка* <Сок>, бол. *Сиротка*: «Оно отдельно от других болот» <Карг, Григорьево> [ТЭ]; р. *Сиротинка* <сред. левобереж. Поочье> [Смолицкая 1976: 95], р. *Сиротинка* <Верх. Поднепровье> [Топоров, Трубачев 1962: 59].

Приведенный материал позволяет задуматься о пересмотре этимологии ворон. *усыночек* ‘маленький заливчик’, которое М. Фасмер считает тюркским заимствованием, сопоставляя с др.-чув. **ösön*, казах. *ösön* ‘ручей, река’ [Фасмер 4: 173]. Представляется, что перед нами «семейный» образ. Эта версия поддерживается не только арх. *усынка* ‘небольшое озеро... небольшой залив’ (с точки зрения лингвогеографии доля вероятности тюркского происхождения для архангельского слова не очень велика), но и наличием словообразовательно-мотивационных параллелей в других семантических сферах: обл. *усынок* ‘конусообразная рыболовная сеть, вставляемая передней широкой частью внутрь верши’ [ССРЛЯ 16: 1012] = перм. *пасынок* ‘то же’ [СРНГ 25: 270] (подробнее о рыболовном *усынке* см. выше, в параграфе 2.2.1.2, с. 242. Там же рассматривается словообразовательный аспект этой этимологической версии).

Брачные отношения. Слияние рек может восприниматься как их **женитьба**, ср. рус. влг. *жениться* ‘сливаться (о реках)’: «Реки-то стекаются, женятся, от их потом другая река идет, как детеныш их. Сухона и Юг поженились, а от их Северная Двина началась» [КСГРС]; ср. также англ. *to marry* ‘соединяться’: «Where the waters marry» («Где потоки женятся, т. е. сливаются в один») [АВВУУ Lingvo x 5]. Любопытная разработка этого образа обнаруживается в итальянской лингвокультурной традиции, ср. итал. *sposa* («невеста») ‘ручей, который вливается в большую реку» [Battaglia 19: 1016]. «Женихом» реки или моря может выступать город — такой, как Венеция: итал. истор. *sposare il mare* («жениться на море») ‘праздновать каждый год очень пышно свадьбу Венеции с Адриатическим морем (Венеция выступает в лице дожа)’ [Там же: 1017], *nozze del mare* («свадьба моря») ‘религиозная церемония, которая проводится ежегодно в Венеции: символизирует главенство города над морем’ [Battaglia 11: 619].

Свадебный образ иногда получает дополнительную поддержку в особых физико-географических свойствах сливающихся рек — разных цветовых оттенках их вод, ср. впечатления В. В. Радлова о месте слияния горноалтайских рек Бия и Катуня⁵⁷, которые, по легенде, являются мужем и женой⁵⁸: «...Открывался новый вид на могучий поток Бия и приближающуюся к своему супругу Катуню... теперь они продолжают путь уже вместе, но девичий стыд еще не позволяет ей слиться с ним, и отчетливо видно, как обе текут, не сливаясь, в одном русле, справа — река Бий с ее светлыми, прозрачными водами, слева — беловато-желтая Катуня» [Радлов В. В. Из Сибири. М., 1989. С. 17. — Цит. по: Тадина 2007: 152]. Этот же природный феномен наблюдается в устье Рио Негро (недалеко от города Манауса в Бразилии). Как указано во многих путеводителях по Бразилии и на туристических сайтах, место слияния Рио Негро с Амазонкой зовется «свадьба рек». В Амазонке вода мутная, желтоватого оттенка. В Рио Негро вода черная из-за насыщенности природными минералами. Кроме этого, температура воды в реках разная. Когда Рио Негро впадает в Амазонку, воды двух рек на значительном протяжении текут, не смешиваясь, в результате чего возникает эффект «двусторонней» реки (с черной и желтой сторонами).

Образным аналогом «речной» женитьбы оказывается женитьба «пищевая»: эта метафора используется для обозначения соединяемых, сливающихся продуктов, напитков (как правило, крепких напитков, разбавляемых водой или соком),

⁵⁷ В современном русском языке оба гидронима имеют форму женского рода — *Бия* и *Катунь*.

⁵⁸ Ср.: «О самых крупных реках Горного Алтая — Катуня и Бий, воды которых при слиянии образуют р. Обь, сложена легенда, бытующая до сих пор. В ней звучит история о двух влюбленных — девушке Кадын, имя которой обозначает “правительница”, и женихе Бий, что означает “правитель, властелин”. Эта история имеет счастливый конец — Катунь и Бий женятся и их судьба становится общей, в том смысле, что эти реки, текущие среди гор, встречаются далеко в степи и сливаются» [Тадина 2007: 152]. Подобная легенда рассказывается и о другой паре сибирских рек — Лене и Абакане [Там же: 158].

ср. рус. арх., влг. *женить* ‘развести алкогольный напиток водой’, чеш. *ženit víno = křtit víno* ‘разбавлять водой’, болг. *венчая се* ‘изменяться вещественно (о продуктах в одном блюде)’ и др. (подробнее см. 2.2.1, с. 227).

Если образ женитьбы рек находит собственно лексическое выражение, то образы мужа и жены в гидрографической лексике и топонимии, кажется, не представлены: они не обладали бы различительной силой, т. к. могли бы прилагаться к любой паре сливающихся рек. В некоторых случаях эти образы возникают как вторичная реакция на грамматический род «первичных» гидронимов. Ср. следующий пример: архангельские реки *Рудас* и *Рудасья*, стекаясь около устья, впадают в р. Виледь [ТКТЭ]. В основе первого названия — заимствованный из коми географический термин *рудос* ‘топкое место с выступающей на поверхность ржавой водой’, ‘подводный ключ’ [СРНГ 25: 235]. Объясняя исход гидронима *Рудасья*, можно рассматривать его в ряду других топонимов на *-я*, распространенных в топонимии Вилегодского района Архангельской области (*Лупья*, *Шобья*, *Пысья* и т. д.): «“Формант” *-я* мог возникнуть на русской почве при переработке коми-зырянских гидронимов на *-ю* (‘река’) или же непосредственно восходить к коми языку, где *а, я* — суффикс обладания» [Матвеев 1985: 35]. В данном случае возможны обе версии, т. е. *Рудасья* — «ключевая река» или «обладающая ключами». Эти названия воспринимаются как различающиеся по грамматическому роду (по аналогии с парами типа *барин* — *барыня*). Затем к морфологии подключается семантика — и у гидронимов *Рудас* и *Рудасья* появляются параллельные названия *Мужская Речка* — *Женская Речка*.

Холостяк, вдова. Если слияние рек — это их женитьба, то естественным продолжением образа становится трактовка не принимающей притоков реки как **холостой**, ср. арх. *холостой* ‘не имеющий притоков (о реке)’: «Вохта долго холостая не течет, у ей притоков много», «Егбель сперва холостой идет верст три» [КСГРС]. В итальянском языке в терминологии речного ландшафта также обнаруживается **вдова**: итал. *védovo* («вдовый») ‘безводный (о реке)’ [Battaglia 11: 689].

Братья и сестры. Текущие рядом реки или расположенные «бок о бок» озера (как правило, сходные по размеру и форме) могут быть представлены как **братья** и **сестры**. Из всех семейных образов данный является наименее специализированным: «братьев» и «сестер» легко обнаружить практически у любого элемента ландшафта (и, разумеется, не только ландшафта), поэтому он не фиксируется словарями нарицательной лексики применительно к рекам или озерам. В топонимии образ обладает большей различительной силой за счет включения в конкретную ситуацию, где требуется указание на количество объектов или дополнительные особенности расположения (к примеру, братья рядом, а сестра чуть поодаль) и др. Ср.: руч. *Два Брата*: «Были два брата, превратились в ручьи, текут рядом

наперегонки» <В-Уст, Погорелово> [ТКТЭ], овраг *Двубратьев* <ниж. правобереж. Поочье> [Смолицкая 1976: 249], оз. *Два Брата* — оз. *Сестра* <Волгоградск. обл.> [Долгачев 1986: 42], озёра *Сестреницы*: «Между Сестреницами сто метров» <М-Реч, Протасово> [ТКТЭ] и др.

Кумление. Лексика кумовства — «крестного» породнения, примыкающая к терминологии родства, проявляет тесную связь с последней в своих вторичных значениях. Метафора кумовства (точнее, кумления) в лексике речного ландшафта требует наибольшей глубины реконструкции, чем все представленные выше. Рассмотрим группу русских и белорусских диалектных гидрографических терминов. Русские примеры отличаются богатой вариативностью и не дают цельного ареала (арх., беломор., влг., дон., новг., олон.); их значения распределяются по трем пересекающимся по смыслу группам:

место встречи течений: дон. *кумова вода* ‘встречная вода’ [СРНГ 16: 85], арх. *кумина́ вода*, *кумовá*, *кумовна́* ‘встречное течение в реке на крутом повороте’: «На кумову воду выехал в лодке», «Идёт река и делает поворот, и вот в этом повороте вода о берег ударяется и идёт кверху, и это называется кумовна» [КСГРС], беломор. *ку́мора* ‘спокойная вода от берега до встречного течения около острова’ [СРНГ 16: 85], арх. *ку́мороть* ‘водоворот в месте слияния нескольких течений в реке или море’: «Куморотей у нас много по рекам, там погребёшься; кумороть така — реки вместе сходятся» [КСГРС];

обратное течение реки у берега: новг. *кумовица* (уд.?) [СРНГ 16: 85];

водоворот в реке, озере, море: олон. *кумовник*, арх. *ку́моворот* [СРНГ 16: 85], арх. *кумоворо́т*, *куноворо́т* [Подвысоцкий 1885: 78], арх. *ку́мовороть*, *ку́новороть* [Даль₂: 217], арх. *ку́новороть* [Опыт: 97], новг. *кумови́к* [НОС 4: 78], арх., влг. *кумови́к*, *ку́мовороть*, арх. *ку́мовороток*, влг. *ку́моворот*, *кумоворо́т*, влг. *куморо́т*, арх. *ку́мороть*: «Где кумовороть, лодки утягивает, кумовороток в Чёрном Яру есть», «Весной рыбку ловим, сетки ставим в кумороть, на быстром ведь не поставишь», «Вода кружится — это кумовики, может засосать» [КСГРС].

Аналогичные значения отмечаются у белорусских фактов, ср. *кума́* ‘водоворот в реке Горыни’, ‘яма, где крутит воду’, *ку́мин*, *ку́мина вада* ‘водоворот’, *кумина́* ‘водоворот около берега, где вода разворачивается в направлении, противоположном течению’, *зышло на куму* ‘попал в водоворот’ [ЭСБМ 5: 157, 158; Цыхун 2000: 182, 183].

Эти слова рассматривались в «Этимологическом словаре белорусского языка»: «Неясно. Гипотетически можно предположить, что первоначальным значением слова <кумина́> было ‘болото’. Тогда сопоставимо с *кумкаць*, *кумаць* (польск. *kitac*) ‘издавать звуки кум-кум (про жаб)’» [ЭСБМ 5: 158]. Согласимся с Г. А. Цыхуном, который считает эту версию неубедительной [Цыхун 2000: 183]. По его мнению, здесь следует предполагать связь с *кум*, *кума*, но «остается

неясной мотивация этой связи», которая «может восходить к достаточно древним представлениям», отражать «древние тотемные запреты» [Цыхун 2000: 183]. Это суждение автор подкрепляет записанной им на Туровщине легендой, «которая основывается на допустимости нарушений обычного, естественного характера вещей в природе: “Ехаў кум із кумою лодкою, да хоцелі нешто зробіць, да кажэ, шчо не можна. А знайшли таку воду, шчо лодка пойдзе проці воды, то й назвалі куміна вода”» [Там же]. Однако, данная легенда, которая явно носит народно-этимологический характер, не может существенно прояснить мотивацию изучаемых гидрографических терминов.

Можно предложить такое решение. Как известно, отношения кумовства оформляются обрядом кумления, ср. моск. *кумленье* ‘древний обряд, состоящий в том, что девушки во время праздничного гулянья целуются через венок, символизируя этим верность в дружбе, духовное родство’, *кумиться* диал. шир. распр. ‘совершать обряд, символизирующий верность дружбе девушек, их духовное родство, во время праздничного гулянья в лесу’, моск., ряз., смол., яросл. ‘целоваться через венок, свитый из веток березы (знак дружбы)’, кубан. *кумованье* ‘обычай целования мальчика с девочкой в первый день троицы, символизирующий их дружбу’, *кумоваться* ‘целоваться в первый день троицы в знак дружбы (в обычае детей)’ [СРНГ 16: 84–85] и др. «Эмблемой» кумления становится поцелуй — и именно этот образ, по нашему мнению, отражен в лексике речного ландшафта: устремляющиеся друг к другу водные потоки «целуются», «кумятся». Думается, что предпосылки для развития «поцелуйного» образа заложены и во внутренней форме слова *устье* (выше говорилось о возможности оживления образа речных «уст»: в загадках мать-река пожирает или сосет детей, являющихся ее притоками).

В образе «кумящихся» рек звучат также мотивы встречи, совместности, ср. рус. пск. *кумить* ‘встречаться, гулять с кем-н.’ [ПОС 16: 362], костр., печор., пск. *кумиться* ‘устанавливать дружеские отношения, жить в ладу, заводить дружбу с кем-л.’ [СРНГ 16: 84] и др. Аналогично можно истолковать костромской топоним *Поцелуйки*, обозначающий место встречи течений [ТКТЭ]; ср. также волж. *любки* (уд.?) ‘пространство у кормы между двумя счаленными судами’ [СРНГ 17: 237]⁵⁹.

Словообразовательно и фонетически эта версия вполне состоятельна; появление форм типа *кумороть* можно объяснить гаплогогией из *кумовороть*, а форм с *н* (*куноворот* и др.) — контаминацией со словами вроде курск., моск., ряз., тульск. *кунать* ‘окунять’, курск., тульск., юж.-урал. *кунаться* ‘окуняться’ [СРНГ 16: 90], арх. *куновина* ‘яма’, влг. *кунка* ‘попынья’ [КСГРС].

⁵⁹ В современном русском просторечии фиксируется глагол (*по*)*целоваться* ‘о транспортных средствах: столкнуться, сталкиваться друг с другом’, ср. контексты из Интернета: «Из космоса определяют, почему “целуются” речные суда чаще всего на реке Алдан», «“Икарус” и “копейка” крепко поцеловались», «Буквально на днях трамваи столкнулись также в Днепровском районе, а 17 марта — поцеловались на ул. Павла Усенко» и т. д.

* * *

Таким образом, представленный материал позволяет по крупницам сложить картинку, точнее, «фильм» о родстве рек. Речной ландшафт — благодарный «клиент» семейной метафоры, он предоставляет в ее распоряжение подходящий денотативный ряд: в отличие, к примеру, от статичных гор, реки вступают в динамичные «отношения» друг с другом, которые истолковываются как семейные связи. Изучаемую метафору нельзя считать популярной, поскольку в целом у нее довольно мало реализаций (распространенным можно назвать только один образ: «мать» = фарватер, источник). Вместе с тем метафора родства в гидрографической номенклатуре является системной, т. к. она принимает во внимание практически все виды отношений, составляющих смысловой каркас семейной лексики, использует как предметные, так и акциональные грани образа. Сказанное не позволяет согласиться с суждением И. В. Крюковой и В. И. Супруна о том, что «для гидронимов нетипична модель образования от терминов родства» [Крюкова, Супрун 2002: 134]. Авторы говорят об этом в связи с «загадочным» гидронимом *Мачеха*, обозначающим правый приток Бузулука [Там же]. Действительно, единственный вариант мотивировки здесь назвать трудно. Во-первых, образ мачехи мог быть «наведен» образом пасынка (как мы видели выше, последний вполне устойчив в апеллятивной и проприальной лексике речного ландшафта): «мачеха» — река, от которой отводится «пасынок». Во-вторых, гидроним мог сохранить древнюю безоценочную семантику праслав. **matjexa* ‘подобная матери’ [ЭСЯ 17: 268] (которая, кстати, проявляется и в нарицательной лексике — в фактах идентичности некоторых вторичных значений, возникающих у продолжений **mati* (**matere*) и **matjexa*). В-третьих, у «мачехи» есть вторичная семантика, сближающая ее с «вдовой» (из-за «неполноценности» семейных связей), — значит, так могли обозначить не принимающую притоков реку. Какой бы вариант объяснения мы ни выбрали, гидронимическая *Мачеха* служит проявлением красивой и достаточно надежно фиксируемой модели.

Рассмотренные выше образы вполне устойчивы, о чем говорит, к примеру, использование их в области, далекой от лексической системы русских говоров, — в современной поэзии, ср.: «Струйки пота синеют, А в них отражаются сопки. Меж ними реки целуются» <Д. Ревякин. Порыв>⁶⁰; «Умываются березы с соснами, Дождь целуется ручьями с реками» <Н. Шапарев. Ветер дождь переплетает косами>; «Ручей-сорванец от отца-родника Сбежал, поманила красотка-река...» <А. Яро. Ручей>; «В кустах ручей целуется с рекою...» <А. Корнев. Полуденное небо. Край земли>.

⁶⁰ Автор этих строк, Д. Ревякин, в своем комментарии указывает, что они навеяны детскими воспоминаниями: Ингода (река в Читинской области), сливаясь с Ононом, образует реку Шилку, а место их слияния называют *где реки целуются* (URL: <http://km.untitled.ru/slovo/index.htm>).

2.2.1.4. Обозначения речных льдин

В севернорусских говорах фиксируется метафорический комплекс, составленный обозначениями речных льдин.

Пасынки — льдины на берегу: *пасынок* (чаще мн. *пасынки*) арх., влг., новг. 'льдина, выброшенная во время ледохода на берег и не унесенная водой': «Вода ушла, а пасынки остались на берегу. А лёд прошёл — а вот льдины-то. Это пасынки — льдины на реки»; «Если пасынков на берегу река оставит, к плохому году <к покойникам>» (арх.); «Поменьше если после льда все обломки идут, называют пасынки»; «Пасынков много — год-от тяжёлой будет»; «Пасынками их оттого называют, что когда их много напихает на берега, наносят сенокосам вред»; «Остались пасынки, ешто вода придёт по ним»; «Пасынков-то сколько осталось — к худому году»; «Тяжёлый год на народ, как вода по пасынки не придёт»; «Если пасынки тают, то плохо, а если их унесёт, то хорошо» (влг.); «Пасынки — это льдины на берегу которые остаются, за ними вода обратно придет» (новг.) [КСГРС; СРГК 4: 407; СВГ 7: 15; Качинская 2011: 17, 113]; влг. 'одна из последних льдинок, плывущих по реке во время ледохода': «Пасынок светленькой такой, блестяший, ледяной пасынок» [КСГРС];

дети — льдины на берегу: арх. *дэти, дэтки* 'льдины': «Матка <река> детей соберё, прибыдя да соберё (по примете, если во время весеннего разлива на берег выбрасывает льдины, возможно еще одно, летнее, половодье)», «Она как не поднялась <река в половодье> — своиу деток оставила» [АОС 11: 116, 118; Качинская 2011: 226];

мачеха — крупная льдина (очевидно, воспринимается в первую очередь как льдина, от которой откалываются *пасынки*): влг. *мачеха* 'льдина': «Юг тожо разливаецца весной. Мацехи поплывут. Ой, гли-ко, какая мацеха-то плывёт, еле ташшыцца, до цего велика», «Большая мацеха по реке плывёт, шибко большая, и за ней маленькиё» [СВГ 4: 77].

Эти лексемы завязываются воедино во фразеологии: арх., влг. *мачеха за пасынками пришла (придёт)* 'о воде, которая уносит лед, выброшенный на берег': «Напихало лёд на берег, думала, не растает, такая глыба была, как церковь на другом берегу, а стало оседать — пришла мачеха за пасынками, соберёт всех, не оставит на берегу» [КСГРС]. В вариациях этого фразеологизма фигурируют *матка* и *детки*: арх. *матка своих деток приберёт*, арх., влг. *матка за детками придёт* 'о воде, которая уносит лед, выброшенный на берег': «Лёд на берегу остался, так скажут: матка за детками придёт, водой весь лёд снесёт обратно» (арх.) [Там же].

Этот образ проявляется и в тексте примет: влг. «Если мачеха за пасынками придёт — год добрый будет, не придёт — худой» [Там же] (представления о том, что пасынки, оставленные на берегу, сулят несчастья, отражены и в приведенных выше контекстах к слову *пасынок*). Причины, делающие год «худым»,

раскрываются в поверьях: арх. «Много льдин на берегу — к чему? — Много сирот будет», «У нас вот ледоход когда идёт, говорят, остаётся, вот льдины на берегу, говорят, сирот много будет в этом году. Вот ледоход прошёл — и вода спала, льдины остались на берегу, говорят, сирот много» [БДКА]. Сходные верования запечатлены в контексте к прикамскому хронониму *Марьи-Погиболки* 'день почитания преподобной Марии Египетской (14.04)': «Марьи-погиболки весной живут. А вот эта погибелка вот почему. Где реки большие живут, плиты <льдины> раздёрнет по бокам, река села, а плиты остались. Это погинули плиты, значит, погинули и Марьи» [Черных 2009: 120]⁶¹. Образное переосмысление подобных поверий представлено в костр. *покойничек* 'льдина, оставшаяся на берегу после ледохода: «Река не забрала, покойнички-те остались» [ЛКТЭ].

Наконец, связка «мачеха — пасынок — ледоход» фигурирует в русской поговорке «Спыхватилась мачеха пасынка, когда вода прошла (а он утонул зимою)» [Даль, 4: 298], «Схватилась мачеха о пасынке, когда лед прошёл» [Иллюстров 1915: 193].

За этим комплексом фактов стоит сложная комбинация мотивных рядов, уходящих корнями как в фольклорную, так и в системно-языковую образность.

- Самый общий по своему содержанию образ, составляющий своего рода фон, на котором разворачивается сюжет ледяной мачехи и пасынков, — это фольклорно-языковой образ *з и м ы, х о л о д а*, связываемый с *м а ч е х о й*: например, словен. *mačehovska zima* 'очень холодная' [SSKJ 2: 659], рус. «Зимой солнце, что мачеха: светит, да не греет» (ср. также укр. «Зімне сонце як мачушине серце», «Зімное тепло як мачушино добро» [Номис 1993: 13]) и мн. др.⁶² Помимо фразеологии и паремиологии, есть смысл вспомнить и об известном сказочном сюжете, отмеченном в фольклоре разных индоевропейских народов: мачеха выгоняет падчерицу на мороз (нам этот сюжет лучше всего знаком по сказке «Морозко»).

- Для понимания фона, на котором возник образ мачехи и пасынков в применении к ледоходу, важно привлечь к рассмотрению также круг метафор, трактующих отношения *р е ч н о й в о д ы* (в ее разных ипостасях — текущей в пространстве и превращающейся во времени в снег и лед) с *д р у г и м и с м е ж н ы м и я в л е н и я м и* как отношения *р о д и т е л е й и д е т е й*.

В славянском фольклоре превращение воды в лед или снег и обратно осмысляется в метафорах «двустороннего порождения»: рус. курск. «Мать меня рождает, а я — ее» <вода и лед>; «Сперва я тебя рожу, потом ты — меня; можно тебя назвать моей дочерью и матерью» <лед>; ряз. «Чист и ясен, как алмаз, Дорог не бывает, Он от матери рожден, Сам ее рождает» <лед> [Садовников 1996:

⁶¹ Заметим попутно, что покойников предвещает как ледоход, так и ледостав, ср. арх. «Река встанет и полыньи останутся — к покойникам» [КСГРС].

⁶² Ассоциативная связь «мачеха» — «зима, холод», по всей видимости, фиксируется очень широко, если не универсальна. Ср., например, адыгскую поговорку «Мачеха похожа на снег» [Иллюстров 1915: 191].

178, № 1560, 1560а, 1561]; укр. «Чистий і ясний, як алмаз. Дорогий не буває; Він од матері родиться І сам її рожає» <снег> [Загадки-укр: 60, № 245], «Світлий як діамант, родюся відь мами, боюся вогню» <лед> [Чубинский 1872: 310]; серб. «Ја роди моју мајку, моја мајка роди мене» [Бован 1979: 93, № 84]; ср. также рус. яросл. «Увидел мать — умер опять» <снег> [Садовников 1996: 225, № 2049].

В номинативной системе отмечается другой вариант «семейного» образа, рисующего разные стадии существования льда и снега: отношения между старым (давно выпавшим) снегом и вновь выпавшим трактуются как связи между дедом и внуком. Поздний весенний снег может обозначаться как «внук» или «пасынок», ср. рус. свердл. *внук (пасынок)* ‘поздний весенний снег’: «Нынче внука-то не было, ни дождя, ни снега, если в мае снег выпадет, то год хороший будет», «Растает, потом не будет ничего, потом ещё пасынок будет» [ДЭИС]. Давно выпавший снег воспринимается как «дед», ср. влг. *дед* ‘старый слежавшийся снег’ [СГРС 3: 196], костр. *дедушко* ‘старый, давно выпавший снег’ [ЛКТЭ], ср. также польск. *dziadowski* («дедовский») ‘о снеге: такой, который выпал первым или немного позднее’ [SGP 7/1: 149–150]. Эта микросистема оживляется в текстах, описывающих отношения между снежными внуком и дедом, ср. загадку «Пришел внучек по дедушку» <вешний снег на зимнем> [Садовников 1966: 226, № 2066; ЖЧРФ 2: 452], а также фразеологизмы: арх., влг., костр., перм., ср.-урал. *внучек по дедушку пошёл*, карел. *внук за дедом пошёл*, арх., влг. *внучатка за дедушкой пришёл (идёт)* ‘о позднем весеннем снеге’ [ДЭИС; СГРС 2: 131–132; СГРС 3: 196; ЛКТЭ; СРГК 1: 440]; влг. «Старый дед лежал, а потом накурило, внучек за дедкой пришел» [СГРС 3: 196], влг. «Внук за дедушкой идёт — пословица такая старинная: внук уедёт и дедушка за собой уведёт» [СГРС 2: 131]. В текстах фиксируется и переворачивание отношений между дедом и внуком (правда, более редкое): влг. *дедушка за внучатком (внучком) идёт (пришёл)*, *дед внука ждет* ‘о последнем весеннем снеге’ [СГРС 3: 196].

«Семейные» метафоры, как было показано выше, встречаются и в лексике речного ландшафта: отношения реки и притоков трактуются как отношения матери и детей (пасынков). Таким образом, разные состояния речной воды во времени и разные «конфигурации» ее в пространстве осмысляются с помощью «семейных» метафор. Это еще один штрих, помогающий понять причины появления образов мачехи и пасынков по отношению к реке и льдинам во время ледохода.

• В поисках мотивации обозначений льдин во время ледохода важно обратить внимание и на идею отделения, разобщения: пасынок — о с т а в л е н н а я водой льдина. Вообще, образ мачехи и пасынков (в применении к предметному миру) в определенном смысле сложнее, чем образ матери и сына: последний демонстрирует взаимосвязь явлений, а первый должен показать не только и не столько связь, сколько разобщенность, чуждость.

В языковой системе есть метафорические номинации, связывающие с мачехой и пасынком идею о т д е л е н и я (костр. *мачеха* ‘о продукте, от которого

легко можно отломить, отрезать кусок»: «Хлеб-от, сыр ли, скажут, мачеха, легко отрезать. От матери-то не отрезать, слишком мягко, видать, а от мачехи отрезай» [ЛКТЭ]), р а з о б щ е н и я (арх. *пасынок* 'одинокий сук у дерева, растущий только кверху': «Как неродной сын в семье» [КСГРС], болг. диал. *сирѝк* («сирота») 'небольшой арык, отведенный от главного канала для орошения лугов, садов и пр.' [БЕР 6: 687]; ср. также мотив «не так, как другие»: чеш. диал. *pastorek* («пасынок») 'одно из бревен, расположенных поперек по отношению к другим в стене между окнами' [Dial-Vrno] и др.).

С другой стороны, идея разобщенности (точнее, разобщения) людей связывается и с представлениями о ледоходе. Есть фольклорный мотив л е д о х о д — р а з л у к а. Тема разлуки тоже воплощается в «семейных» образах, но, конечно, наиболее естественно здесь видеть образы парня и девушки (мужа и жены). Ср. в лирических песнях: «Что не вешняя водица со льдом разливались, Добрый молодец с красной девкой вечно разставались» [Соболевский 5: 491, № 632]; «А мы съ тобой, мой ласковый, въ любви наживемся, Въ любви, въ любви наживемся и врозь разойдемся, Будто вешняя водица со льдомъ разольемся!» [Там же: 331–332, № 419]⁶³. Разумеется, образ расстающихся возлюбленных далек от образа мачехи и пасынка, но для нас в данном случае важна именно идея разобщения людей, ассоциирующаяся с ледоходом.

Таким образом, при формировании и воплощении представлений о ледяных пасынках и мачехе в номинативном и текстовом режимах проявляется сложное взаимодействие мотивов, направленных, с одной стороны, от системы языка, с другой — от текста. Фольклорный текст поставляет образный материал, содержащий качественные характеристики персонажей и ролевые ситуации, в которых они участвуют (ситуация «ледоход — разлука», ситуация «порождения» водой льда и наоборот, и т. д.), а языковые модели отрабатывают логические связи между участниками этих ситуаций (представление качественной смены состояний воды в терминах родственных отношений; метафоризация признака отделения, разобщения в терминах некровного родства и пр.). Этот пример говорит о многовекторности взаимодействия фольклорного текста и языковой номинации, которые, обогащая и дополняя друг друга, создают емкие и сложные образы.

⁶³ Ср. также: «Промеж нас прошла быстрая река, Быстрая река, разлука моя...» [Соболевский 3: 76, № 94]. Ср. также фрагменты песен, в которых ледостав ассоциируется с одиночеством: «Ах ты, Волга, ты, Волга, Волга матушка рѝка, Зачѝм рано становилася, Тонкимь ледомъ покрывалася, Бѝлымь снѝгомъ усыпалася? Ой, мать моя, мать родимая, На что малаго родила, Ума-разума не учила? Меня дѝвушки не любятъ, Сердечушкомъ не желаютъ!» [Соболевский 4: 558, № 703]; «Ах ты, Волга, ты, Волга, Волга матушка рѝка! Къ чему рано становилася, Тонкимь ледомъ покрывалася, Бѝлымь снѝгомъ усыпалася? Со восточной со сторонки Буень вѝтеръ повѝваетъ, Волгу матушку ломаеть; Меня горе разымаеть — Мой стружочекъ разбиваетъ... Я пойду, млада, во торжокъ, Я куплю себѝ стружокъ, Я найму себѝ гребцовъ, Удалыхъ молодцовъ. Догоняеть красна дѝвка удалаго молодца: “Ты постой, постой, надежа, Постой, миленькѝй дружокъ! Ты возьми меня съ собой, Назови меня сестрой!”» [Соболевский 4: 642, № 814].

2.2.1.5. Наименования печи

Печь и части печного пространства тоже могут быть представлены с помощью «семейных» образов.

Мать, баба — сама печь, ее свод, топка печи, низ печи: арх., ярсл. *матка* ‘свод русской печи’ [ЯОС 6: 35; Качинская 2011: 143], арх. *матица* ‘низ печи’ [Качинская 2011: 144], арх. *баба, бабка* ‘деревянное основание глинобитной русской печи’ [Там же], польск. диал. *babula* ‘печь или ее часть: кухонная печь, плита; печь из глины’, *babka* ‘верхняя часть печи’, *baba* ‘род глиняной топки возле печи, в которую насыпают уголь для лучшего прогрева избу’ [SGP 1/2: 237, 226, 207].

Ребенок, детеныш — опалубка печи, печная вьюшка: рус. костр. *детеныш* ‘каркас, форма для сооружения печи, опалубка’ [ЛКТЭ], арх. *детеныш* ‘чугунная вьюшка для закрывания печи’ [Подвысоцкий 1885: 41], *детёнок* ‘плоская, меньшая вьюшка в печной трубе’ [СРНГ 8: 37].

Дед, баба — часть дымохода: краснояр. *дед* ‘часть печной трубы на границе потолка и чердака в виде выступа в 0,5 кирпича, служащая для гашения искр’ [СГЦКК 1: 244], польск. диал. *babula* ‘приспособление, отводящее дым из дымохода’, *babica* ‘дымоотводный колпак над печью для выпечки хлеба’ [SGP 1/2: 237, 218], *dziaduczek* ‘наклонный вывод дымохода на чердак’ [SGP 7/1: 151].

Свекор — внешняя часть печи: олон. *свёкор* ‘внешняя часть печи, на которой держится воронец (брус, идущий наверху вдоль стен избы)’ [СРНГ 36: 231].

Холостяк — труба без дыма: *холостая труба* ‘труба, дымовок, запасная, пустая, в которую не проведено дыму’ [Даль, 4: 560]⁶⁴.

«Семейная» модель, описывающая печь, представлена и в паремиологии (преимущественно в загадках).

Баба — печь: рус. арх. «Стоит баба на полу, приоткрыф свою дыру», «Сидела баба на яру, рошшыперила дыру» <русская печь>, «Сидит баба в углу, вся в своробу» <печь-каменка> [Качинская 2011: 144]; пск. «Стоит баба в углу, А рот — в боку» <печь и чело> [Садовников 1996: 132, № 41]; блр. «Сядзіць бабка ў хаце, а галава на хаце» <печь и труба> [Загадки-блр: 260, № 2207];

⁶⁴ Отметим, что образ печи настолько богат, выразителен и антропоморфен, что здесь реализуется не только системная «семейная» метафора, но и соматическая: рус. общенар. *чело, устье* (<уста) печи, ср.-урал. *лоб* ‘чело русской печи’, новг. *лицо* ‘передняя стенка печи’, моск. *скуло* ‘боковая стенка русской печи’, *хайло* влг. ‘устье печи’, б. м. ‘место в печи, где огонь с дымом входят в обороты’, б. м. *челюсть* ‘устье печи’, влг. *печная голова* ‘верхняя часть русской печи над ее устьем’, влг. *уши* ‘волуэты у печной головы в верхней части печи’, арх. *око* ‘отверстие в печной трубе, которое закрывают вьюшки’, *плечо* моск. ‘верхний внешний край печи’, новг. ‘часть печи над шестком, основание дымовой трубы’, карел. *шейка* ‘нижняя часть печной трубы’, *нога* карел. ‘часть печи по обе стороны от устья’, ярсл. ‘углубление в противоположной горну стороне русской печи’, калин. ‘одна из наружных боковых стенок отверстия у печи’ и др. [Сыщиков 2006: 61–62, 65–66, 69–71].

мать — п е ч ь, **сын** — х л е б: арх. «Раньшэ как садим хлеба ф печьку, приговариваем: “Печька-матушка, скрасай хлебов-детушэк”» [АОС 11: 123]; **баба** — т р у б а: «Сквозь потолок Мужик бабу проволок» <труба на крыше> [Садовников 1996: 40, № 117а]; **мать** — п е ч ь, **отец** — с а ж а (кочерга), **дочь** — о г о н ь, **сын** — д ы м: рус. новг. «Мать грузна, Дочь красна, Сын легче перушка» <печь, огонь, дым>, пск. «Мать толста, Дочь красна, Сын кудреват, Отец горбоват» <печь, огонь, дым, кочерга> [Там же: 43, № 149в, 150]; укр. «Мати товстуха, дочка красуха, батько чорнявий, син кучерявий» <печь, огонь, сажа, дым> [Загадки-укр: 186, № 1734Б]; блр. «Матка гладуха, дочка красуха, а сын харабёр пайшоў на двор» <печь, огонь, дым> [Загадки-блр: 254, № 2151].

Показательны различия в организации «родственной» метафоры, отсылающей к печи, в языковой номинации и в паремиологическом тексте. В последнем оказываются связанными разнокатегориальные явления: к примеру, мать-печь порождает дитя-хлеб. Такая связь не может претендовать на отражение в номинативной системе, поскольку она актуальна только для одной ситуации, в которой участвует хлеб, и нерелевантна в других ситуациях, а следовательно, не обладает коммуникативной значимостью. Это относится и к таким «детям» печи, как дым и огонь (не говоря о том, что они, по версии загадок, рождены в «браке» с сажой или кочергой). Языковая номинация предлагает свое прочтение образа ребенка применительно к печи: ее «детенышем» становится опалубка, меньшая по форме и как бы находящаяся в «животе» печи, или же вьюшка, вкладываемая в «живот» печи (который в последнем случае меняет свое место в «организме»). Эти связи объединяют явления одной категории, они постоянны, а потому разгадываемы и коммуникативно значимы. Части печи (реже сама печь) могут отождествляться с «матерью» (а чаще «бабой») благодаря признаку характерной формы, свойству служить опорой, основанием (печи), согреть, а не только из-за способности «порождать» пищу. При этом языковая номинация не стоит в стороне от сценария «порождения» печью огня или дыма, но он интерпретируется по-своему: дым не объявляется «сыном» печи или трубы, но труба, которая не может проводить дым, называется *холостой*. *Холостая* — значит «пустая (без дыма)», и это «отрицательное» свойство отличает ее от рабочей трубы, а потому номинативно значимо и дистинктивно. В то же время стандартное свойство явлений «порождать» другие или быть ими «порожденными» обладает низкими дистинктивными возможностями, поэтому дым не называют «сыном» трубы.

Что касается «свекра», то использование этого образа для обозначения внешней части печи до конца не ясно. Здесь можно предполагать следующие мотивационные варианты. Во-первых, свекор и свекровь связаны с печным пространством⁶⁵: известно, что они спали обычно на печи, в то время как молодые —

⁶⁵ Очевидно, по этой же причине печная заслонка получает образное название, отсылающее к свекрови, ср. иркут. *свекрухин пуп* ‘фольк. устар. заслонка’: «Тогда “Олень” <водящий в игре>

на полу. Во-вторых, свекор играл «опорную» роль в семье, — и тем самым мог быть уподоблен несущей конструкции в избе: на печном *свекре* держится воронец, который обычно служит опорой полатей. Ср. другие факты, где проявляется связь между представлениями о старших членах семьи и о несущих конструкциях избы: литер. *матица* ‘опорная балка в избе’, костр. *брус да матица* ‘о муже и жене, отце и матери’: «Брус да матица — это отец и мать. Хозяйство ведут, дом-от держат» [ЛКТЭ], загадка: «Лютая свекровь семью стережет. Свекровь рассердится — семья разбежится» <матица> [Садовников 1996: 35, № 51]. В-третьих, можно предполагать, что в обсуждаемом названии отражено некровное родство свекра с молодой, «от лица» которой дана номинация (*свекор* — внешняя часть печи).

Итак, печь может быть представлена в зеркале «семейной» метафоры как в номинативной системе, так и в текстах загадок, но логика раскрытия образа в том и другом случае различна.

2.2.1.6. Некоторые итоги и перспективы изучения метафорических микросистем

Представленные примеры показывают, что каждый «семейный» метафорический комплекс имеет собственную логику организации, закономерности формирования культурно-языковых связей, нюансы смыслового наполнения метафорических лексем. В то же время различные комплексы связаны друг с другом сетью связей — такой же прочной и разветвленной, как сама «семейная сеть» (к примеру, образ детеныша печи (печной опалубки), находящейся в «животе» у матери, устроен так же, как образ детеныша рыболовных снастей).

В некоторых случаях системно-языковые комплексы «родственников», проанализированные выше, имели параллели в текстах, в первую очередь фольклорных. Появление таких параллелей закономерно, поскольку определяется системностью образного восприятия действительности. Вместе с тем, как было показано на «печном» примере, принципы организации образных комплексов в номинативной системе языка и в фольклорном тексте могут различаться.

Вот еще одна небольшая иллюстрация к этому тезису. Рассмотрим несколько загадок, в которых изображаются трудовые и бытовые реалии и процессы.

Г у м н о: «Мать — лопотунья, Дочь — хвостунья, Сын — замотай» <лопата, метла, цеп> [Садовников 1996: 142, № 1228]; «Отец шатер, Мать ладер, Сынки хватки, Дочки полизунчики»; новг. «Батюшка ковер, Матушка ладья, Братовья хватовья, Сестры полизушки» <овин, ток, цепи, метлы> [Там же: 138, № 1176, 1176а]; блр. «Матка гладка, сыны-цакуны, дочкі-палізухі» <гумно> [Загадки-блр: 192, № 1552], «Бацька-шатёр, матка-хатка, сыны-падхватні, дочкі-падлізухі» <гумно, овин, молотильные цепи, метлы> [Там же: 193, № 1556]; у п р я ж б:

назначает, кому что делать для выкупа фанга: в ноги кланяться, сплясать, “свекрухин пуп” показать, т. е. принести и показать заслонку» [СРГС 4: 63].

рус. ряз. «На матушке я сижу, На отце еду, Одним братцем погоняю, Сестрицей поправляю» <седло, лошадь, узда, плеть> [Садовников 1996: 130–131, № 1029a]; с в е т е ц: серб. «Син матери језик одгризе» <фитиль и масло> [Новаковић 1877: 215]; р а с т и р а н и е м а к а: блр. «Маці чорна, бацька лысы, дзеці трышчыки» <миска для растирания мака, пест, семя>, «Матка — пукатка, дзеткі — верашчэткі, а бацька — лысун» <макотра, мак и пест> [Загадки-блр: 239, № 2000, 1997]; р е з - к а с о л о м ы: польск. «Ojciec z miasta, matka z lasa, dziurawe dzieci maja» («Отец из города, мать из леса, имеют дырявых детей») <резак и коробка примитивной конструкции, где резали солому> [PZL: 138, № 578] и т. п.

Здесь кодируются с помощью семейных образов такие реалии, которые включены в общий сценарий, в «картинку», элементы которой принадлежат разным таксономическим «ячейкам». Номинации такого рода принципиально не могли бы войти в языковую систему: в загадке, вследствие ее сюжетности, ставится акцент на связях между явлениями действительности, в то время как элементы языковой системы обозначают в первую очередь качества объектов. Выделение связей оказывается недостаточно инструментальным, ведь они объединяют множество явлений и нерелевантны для «точной» номинации, ориентирующейся на сущностные (и, как правило, постоянные) свойства реалий. Следует также отметить, что загадка может связывать явления смежные, но разнокатегориальные: допустим, матью в ней оказывается седло, а отцом — лошадь; мать — площадка для молотбы, дети — метлы, которыми обметают эту площадку, и т. п. Более того, в некоторых случаях родственные узы в тексте приписываются феноменам, которые не только принадлежат к разным логическим категориям, но и не обладают очевидной, «наглядной» смежностью: серб. «Велик тата, мала нана, слепа ћерка, манит зет» («Высокий отец, низенькая мать, слепая дочь, буйный зять») <небо, земля, мгла, ветер> [Бован 1979: 99, № 121], укр. «Тато високо, мама сліпа, дочка крива» <Бог, печь, ветер> [Чубинский 1872: 305], польск. «Wysoki tatka, niziotka matka, syn sowizdrzał, córka ślepotka» («Высокий отец, низкая мать, сын сорванец, дочка слепа») <небо, земля, ветер, ночь> [PZL: 139, № 586] и т. п. Ряды такого типа никоим образом не подходят языковой номинации, которая стремится к отражению связей, объединяющих единицы одной категории и существующих как некоторая константа. Наконец, нужно отметить, что загадка имеет особое «коммуникативное задание» — запутать отгадывающего, поэтому не стремится к выстраиванию логически организованных константных связей между явлениями.

Таким образом, метафорические комплексы в языковой системе и в фольклорном тексте имеют как сходные, так и различные черты и принципы построения.

В этом разделе мы имеем дело с «семейной» лексикой, которая, как уже говорилось, служит активным «поставщиком» образов для семантических микросистем в силу своей древности, аксиологической значимости, а главное, наличия яркой релятивной составляющей семантики. Какая картина будет наблюдаться

на материале других донорских лексических групп? Конечно, они тоже могут породить метафорические комплексы, — хотя, возможно, не так продуктивно, не с такими разнообразными отношениями между их элементами (при этом сами типы отношений могут повторять то, что мы видели у «родственников», а могут добавить к этому списку что-то новое). Есть смысл это выяснить, выбирая для анализа те тематические группы, которые включают достаточно древние лексические единицы, отражающие разветвленные и хорошо осознаваемые связи между денотатами. Такова, например, соматическая лексика (некоторые примеры метафорических микросистем с участием соматизмов были представлены в начале этого раздела).

Для демонстрации специфичности и продуктивности соматической метафоры приведем еще один развернутый пример. По разным русским диалектным системам восстанавливается метафорический комплекс, описывающий «тело» дерева, ср. факты, найденные К. В. Пьянковой: арх., влг. *сало* ‘наружный рыхлый слой древесины’, арх. *тук*, *туковина* ‘рыхлый слой древесины у сосны между корой и сердцевинной; болонь сосны’, ряз. *ожірок* ‘смолистая часть древесины’, *мясо* карел. ‘плотная твердая часть дерева или кустарника, находящаяся под корой, древесина’, краснояр. ‘спелая древесина’, влг. *мясны́е дрова* ‘дрова с загнивающей сердцевинной’, карел. *крову́лка* ‘нарост на березе в виде больших шишек’, калин. *окрове́ть* ‘наполнить соком, дав побег (о дереве)’, волхов., ильмен. *напоте́ть* ‘намокнуть (о дереве)’ [Пьянкова 2008: 164–165]. Этот ряд может быть продолжен, ср., к примеру, рус. амур., арх., влг., юж.-урал. *тело* ‘верхняя часть древесины под корой, заболонь’ [СРНГ 44: 12; КСГРС], арх. *утроба* ‘сердцевина дерева’ [КСГРС], перм. *спіна*, *спінка* ‘ствол дерева’ [СРНГ 40: 142–143], влг. *хребті́на* ‘сосновая дранка’ [КСГРС], арх., влг., костр., литов., пск., ряз., твер., томск., эст. *кожа* ‘кора дерева’ [СРНГ 14: 49; Селигер 3: 59; СРГС 2: 81; СРГК 2: 385; КСГРС; ЛКТЭ], арх., влг., карел., ленингр., новг., перм., юж. *шкура* ‘наружное покрытие ствола дерева, кора’ [СПГ 2: 556; СРГК 6: 885; КСГРС; НОС₂: 1308; Даль₂ 4: 639], диал. шир. распр. *сердце*, литер. *сердцевина* ‘внутренняя, центральная часть стебля (ствола) растения’ [СРНГ 37: 194], краснояр. *жила* ‘волокно древесины’ [СРНГ 9: 173], костр. *кость* ‘ветвь дерева, бревно, которое бросали через ручей для перехода’ [ЛКТЭ] и др.⁶⁶ Некоторые элементы этой системы существуют в одном говоре (арх. «У сосны сердце и тук, из тука лучину дерут» [КСГРС], влг. «За кожей-от сало у дерева» [Там же]; ср. также польск. диал. «Pot skurom jes ćaço źżeva» («Под кожей тело дерева»)) [SGP 4: 246]), но, как правило, это два (максимум три) элемента. Более полная картина восстанавливается на междиалектном уровне.

⁶⁶Сходная «анатомия» рисуется и в загадках: вят. «Слезу на анбарушку, обдеру телушку, кожу и мясо брошу, а сало съем», новг. «Выходила я на горушку, убивала телушку, кожу наземь бросала, мясом печку топила, салом лакомилась» <сосновая мезга> [Садовников 1996: 163, № 1409а, б]; «Влезу на горушку, одеру телушку, сало в рот, а кожу прочь» <березовица?> [Даль ПРН 1957: 955]; ср. также блр. «Кроў маю п’юць, косці мае паліць, маімі рукамі адзін другога б’юць» <береза> [Загадки-блр: 66, № 413]

Язык наделяет «телом» также лен и коноплю. У них есть «голова» (рус. *головки льна, конопля*, чеш. *hlaviny* ‘головки льна’, словац. *hlavina* ‘головка льна’, польск. диал. *głowice* ‘отходы волокна с верхней части конопля’ и др. [ЭССЯ 7: 8–9]), «кости» (рус. пск. *кость* ‘жесткая кора льна / конопля, остающаяся после их трепания и чесания; костра’, сев.-рус. *костіца* ‘то же’, орл. *кóсти* ‘верхушки конопля, сжигаемые для получения золы’, арх., влг., карел., ленингр., новг., свердл. *костіга, костіка* ‘пустые головки льна’ [СРНГ 15: 74, 75, 87; СРГК 2: 441–442], польск. диал. *kośc* ‘льняная костра’ [ЭССЯ 11: 168] и др.⁶⁷), «кожа» (рус. пск. *кожа* ‘твердая оболочка стебля льна, костра’ [ПОС 14: 296]), «требуха» (рус. арх. *требуха* ‘отходы при околачивании льна’ [КСГРС]). В некоторых случаях элементы рядов «оживляются» языковым сознанием (пск. «Ева какой костливый лён, чесали, а кости остаюца, кости токо льняные, не нашы» [ПОС 15: 341]), в других являются затемненными (особенно это касается словообразовательных производных типа *костига*)⁶⁸.

Как видно из этих примеров, системная соматическая метафора имеет свои особенности, которые нуждаются в дальнейшем изучении.

Рассмотренные примеры метафорических переносов являются в большинстве своем нетривиальными, хотя и повторяющимися. Можно ли считать их регулярными? Думается, регулярны связи между сферами отождествления — «семейной» лексикой, с одной стороны, и обозначениями строительных конструкций, растений, метеорологических явлений и т. д. — с другой. Что касается собственно метафорических семантических микросистем, продолжающих, развивающих и варьирующих тот или иной метафорический перенос, то их трудно считать регулярными, поскольку при естественно складывающемся номинативном процессе — пестром и мозаичном — все время происходят «перебивы» какой-то

⁶⁷ В этот ряд можно включить и собственно *костру* (гнездо **kostra* широко представлено в славянских языках, см. [ЭССЯ 11: 158–160]), которая считается словом с двойной мотивацией: для этой лексемы предполагается связь как с **kostь*, так и с **kes-*, **česati* [Там же: 159].

⁶⁸ Ряды такого рода подтверждаются текстами *vītae herbae*, которые представляют «жизнь», произрастание и переработку “плоти” растений (и деревьев), приносящих пользу человеку» [Толстой 1994: 139]. Самые частые герои подобных текстов — лен и конопля. Ср. кашубский текст о «муках» конопля из словаря Б. Сыхты в переводе Н. И. Толстого: «Хотя у меня не было никакой вины, выволокли меня из хаты (дома) и на смерть приговорили. Оторвали мне голову, а тело в озере утопили. Из озера взяли мой труп и начали его растягивать, чтоб я был подлинней, а затем бросили в хлебную печь. Целый день и целую ночь лежал я в печи, а потом вытащили меня и начали так мучить, что все кости переломали...» [Там же: 160–161]. Здесь представлены соматизмы «голова», «тело», «кости»: «*Uurvelē m’e głowā, a calo v jezofe uto’pilē... všēsče gnētě puelómelē*» [Sychta 2: 253]. Сходная образность отмечается в загадках, в которых поименованы «голова», «кости», «тело» («тушка», «мясо»), «шкура» («кожа») льна и конопля: рус. пск. «С головы едят, шкуру ценят, а кости в ров валят» [ПОС 15: 339]; «Кожу носят, тело бросят, а голову едят»; самар. «Пойду я в стадо, выберу барана, зарежу его, голову сам съем, тушку брошу, а шкуру изношу» <конопля> [Садовников 1996: 158, № 1365а, д]; блр. «Галаву зрэжам і з’ядзім, шкуру аблупім і прададзім, а мяса валяецца і сабакі не хочучь есці» <лен> [Загадки-блр: 82, № 566], «Косці на лагу, скура на таргу, а галава ў клеці» <конопля> [Там же: 83, № 568].

одной номинативной линии, нарушающие «картину». Ср. характерный пример из микротопонимии: около пок. *Штаны*, как бы продолжая одну из «штанин», располагается пок. *Ножка*, за которым находится полянка *Глазок* <В-Уст> [ТЭ] (анализ других подобных примеров см. в [Березович 2009: 172–173]). Номинатор в данном случае не захотел «дописывать картину» (что можно было бы сделать, к примеру, за счет какого-то образа из сферы обуви), поскольку образ глаза больше соответствует объекту по форме. Точное отражение свойств объекта, «замкнутость» слова на объект нередко оказывается важнее, чем участие в целостной номинативной картине. Последний способ существования образа более характерен для текста, чем для номинативной системы, ср. текстовый пример, содержащий соотнесение корпуса лодки (карбаса) и тела человека, который был приведен в начале параграфа 2.2.1, с. 221.

Однако диалектика функционирования номинативной метафоры состоит в том, что она все же нередко отражает стремление человека развернуть, эксплицировать, прояснить связи между объектами действительности. По этой причине появление метафорических микросистем обоснованно и закономерно. Будучи частным проявлением системной метафоры, такие микросистемы предоставляют в наше распоряжение интересный в когнитивном и мотивационном плане языковой материал.

2.2.2. ТЕРМИНЫ НЕКРОВНОГО ИЛИ АНОМАЛЬНОГО (НАРУШЕННОГО) РОДСТВА

Метафора — многогранное явление, включающее в себя несколько составляющих: во-первых, реципиентная зона — то, что переназывается в процессе метафоризации, кодируется другим словом; во-вторых, донорская зона — то, с помощью чего происходит кодирование, т. е. слово, получающее переносное значение; в-третьих, собственно процесс метафорического переноса, соотносящий денотативные свойства донора и реципиента. Процедура семантической реконструкции метафоры предполагает учет всех этих составляющих: характер связи между зонами метафоры должен получить двустороннее объяснение (какие признаки донорского денотата актуальны при переносе значения слова; как они проецируются на свойства денотата-реципиента), а для этого слово-донор и слово-реципиент необходимо рассматривать на фоне лексико-семантических полей, которым они принадлежат. Так, для интерпретации рус. костр. *вдóвка* ‘овсяная каша’ важно привлечь к рассмотрению другие слова, обозначающие продукты питания через образы членов семьи: арх. *вдовíца* ‘лепешка, изделие из теста без начинки’, твер. *сирóтка* ‘гречневая густая каша’, блр. диал. *халасты* ‘пустой, из одной крупы (суп)’ и др. (подробнее см. далее). Объясняя метафору со стороны донорской зоны, необходимо отметить, что перед нами образы родственников, лишенных пары (жены, мужа, родителей). В реципиентной зоне — обозначения

постных продуктов питания без начинки, скоромной заправки и т. п. Свойства денотатов донорской и реципиентной зоны проецируются друг на друга: «непарные» родственники уподобляются пище без важного содержимого.

Как нередко отмечалось, метафорическое слово несет в себе двойную трактовку явлений действительности: переносное значение дает интерпретацию прямого, позволяет обнаружить коннотации, латентно представленные в смысловом объеме слова в его прямом значении. Коннотации обладают свойством капризности и непредсказуемости, которое выражается в том, что «синонимичные или тематически близкие слова языка могут иметь совершенно разные коннотации» [Апресян 1995: 172]. Среди примеров, иллюстрирующих это положение, пары *тесть — теща*, *отчим — мачеха*: «В этих парах имена родственников мужского пола лишены или почти лишены коннотаций, а имена родственников женского пола насыщены ими» [Там же]. Но являются ли подобные капризы необъяснимыми? Думается, их причины в ряде случаев могут быть найдены. Так, объясняя примеры Ю. Д. Апресяна, стоит обратиться как к факторам социально-культурного плана (ролевые и статусные позиции членов семьи), так и к особенностям коннотативно-оценочной семантики обозначений максимально большого количества пар родственников (*свекор — свекровь*, *деверь — золовка*, *отец — мать* и др.: в каждой из этих пар женский «элемент» гораздо выразительнее мужского).

Выявление факторов такого рода превращает «каприз» в особую логику — логику языкового выбора. Ее рассмотрение должно войти в круг задач семантической реконструкции, который в последнее время стремительно расширяется, выходя за пределы обоснования семантики этимона, см. об этом в [Толстая 2008: 13–14], где, помимо прочего, указаны такие задачи семантической реконструкции, как определение импульсов и механизмов, лежащих в основе семантических процессов (в том числе метафорических).

В настоящем параграфе специфика семантико-мотивационной реконструкции метафорических лексических единиц изучается на материале лексики некровного и нарушенного / отсутствующего родства, которая чаще всего принадлежит донорской части метафоры (т. е. является основой переноса), реже — служит реципиентом. Основные выразители признака некровного родства — слова со значениями ‘теща’, ‘свекровь’, ‘зять’, ‘золовка’, ‘мачеха’, ‘отчим’, ‘пасынок’ и др., нарушенного — ‘вдова’, ‘вдовец’, ‘сирота’, отсутствующего — ‘старая дева’, ‘холостяк’⁶⁹. К анализу привлекаются лексемы и фраземы славянских языков и диалектов (большой частью русских); в некоторых случаях в типологических целях приводятся неславянские параллели (германские, романские, тюркские, финно-угорские).

⁶⁹ К анализу условно привлекаются некоторые континуанты праслав. **xolstьjь*, в рамках которого значения ‘неженатый’, ‘пустой’ и др. возникли, скорее всего, параллельно, а не последовательно. Это делается в тех случаях, когда значения типа ‘пустой’ фиксируются и в других гнездах, обозначающих «аномальных» родственников.

С логической точки зрения избранная группа не отличается единством, поскольку свойство является социальной нормой, а нарушенное / отсутствующее родство — нет (не случайно представления о нем нередко сопоставляются с представлениями о прочих аномалиях в семейной жизни — распутстве, внебрачных родах, измене и пр.⁷⁰, что дает направление поиска дополнительных параллелей в соответствующих лексических сферах). Но, забегаая вперед, можно сказать, что наивная языковая логика обнаруживает у той и другой группы персонажей общие черты; наивные понятия о свойстве и нарушенном родстве нередко противопоставлены понятиям о кровном родстве. Данная группа объединяет древнейшую и аксиологически значимую лексику, которая связана с представлениями о сложных, кризисных ситуациях в жизни семьи — потере ее членов, вхождении в нее и освоении новых родственников, отсутствии семейных связей. Как известно, лексическая система языка наиболее выразительно маркирует антинорму. Именно она отражается в коннотациях изучаемой лексики. Осмыслив эти коннотации «от противного», мы можем получить важные сведения о том, как в народной традиции представлялась норма семейной жизни. В то же время данная группа обладает относительно невысокой продуктивностью в плане метафоризации (на фоне лексики кровного родства). Все это делает актуальной и значимой семантическую реконструкцию метафоры некровного и нарушенного / отсутствующего родства.

Автор не ставит перед собой задачу представить в рамках данного параграфа сколь бы то ни было полную характеристику языкового материала. Задача видится в том, что выделить некоторые особенности семантико-мотивационной организации избранного для анализа семантико-мотивационного поля, которые значимы для семантической реконструкции его элементов. В центре нашего внимания, как уже отмечалось, — метафорическая лексика, по отношению к которой обозначения некровного или отсутствующего родства являются донорами, источниками переноса, однако к анализу иногда привлекаются и обратные случаи, когда наименования родственников становятся реципиентами метафорического переноса. Такой подход можно оправдать единством концептуальной базы образной номинации,

⁷⁰ Это подтверждается сочетанием соответствующих значений в семантической парадигме одного слова или фраземы. Так, рус. *на́дольба* ‘столб, врытый в землю’, ‘железобетонная тумба’ в говорах имеет следующие переносные значения: моск. ‘старая дева’, арх., костр., пск. ‘девушка из бедной семьи, которую родители возят по деревне, предлагая взять в жены’, пск. ‘распутная женщина’ [СРНГ 19: 243; ЛКТЭ]; ср. также блр. витеб. *надаба* ‘старая дева’ [Гура 2012а: 39]; слова и идиомы, отсылающие к образу соломы (рус. *соломенная вдова* (*вдовец*), *соломенная честь*, *соломенка*, *соломенница*, *соломенник*, *гнилая солома* и др.), обозначают в русских говорах едва ли не все варианты аномалий в семейных отношениях: ‘жена, не живущая с мужем (муж, не живущий с женой)’, ‘вдова, живущая с другим мужчиной’, ‘тот (та), кому изменили, кого бросили’, ‘тот (та), кто изменил (изменила)’, ‘разведенная женщина или мужчина’, ‘старая дева, холостяк’, ‘нечестная невеста’, ‘женщина, родившая вне брака’, ‘распутница’, ‘внебрачный ребенок’ и др. (подробнее см. параграф 2.2.2.1).

вследствие чего разные ее векторы мотивационно поддерживают друг друга. В редких случаях в поле нашего внимания попадает и неметафорическая лексика: это происходит тогда, когда ее мотивация может быть обнаружена с опорой на те признаки, которые реализуются в метафорических лексемах. И еще одна оговорка: анализируются в первую очередь языковые метафоры, но для поддержки и прояснения представленных в них мотивов привлекается и текстовый (фольклорный) материал.

Семантико-мотивационная реконструкция метафорической лексики должна опираться на системность метафоры, которая имеет различные проявления.

1. Одно из проявлений метафорической системности — наличие **сквозных признаков, принадлежащих реципиентной части метафоры** (тому, что кодируется). Эти признаки, как было указано выше, интерпретируют свойства денотатов донорской части метафоры. К примеру, некоторые растения и рыбы, в названиях которых отражены образы некровных родственников или тех, кто потерял родных, обладают признаком **колючести**⁷¹, переводящим на «язык» растений и животных свойства злобности, нелюдимости, приписываемые «неполноценным» членам семьи. Можно говорить о системной реализации этого признака.

М а ч е х а: словен. *máčekovje* ‘собир. шиповник (колючие отростки шиповника)’ [Pleteršnik 1: 539], рус. *мáчеха* пск. ‘репейник’ [ПОС 18: 78], арх. ‘колючее травянистое растение (какое?)’: «Шибко колецца, вот и мачеха» [КСГРС], костр. ‘растение бодяк ланцетолистный, *Cirsium lanceolatum* Scop.’, урал. ‘растение чагерак верблюжий, *Alhagi camelorum* Fisch.’ [СРНГ 18: 55]⁷².

Т е щ а: чеш. диал. *tchyně* («теща») ‘репейник’ [Dial-Brno], рус. ворон., яросл. *чёртова тёща* ‘чертополох’: «А эта чёртова тёща называется, уж дюже колется» [СРНГ 44: 113], *тёщин язык* ср.-обск. ‘растение зигокактус, *Zygocactus*’, дон., кубан. ‘кактус с длинным плоским стеблем’, яросл. ‘разновидность кактуса (какая?)’ [СРНГ 44: 113–114; Борисова 2005: 246], простореч. ‘растение сансевиерия, *Sansevieria trifasciata*’, чеш. *tchýnin jazyk* ‘то же’ [Rystonová 2007: 548], словен. *taščin jezik* ‘то же’ [SSKJ 5: 36]; рус. простореч. *тещин стул* ‘растение эхинокактус Грузона, *Echinocactus grusonii*’, простореч. *сидушка для тещи* ‘круглый кактус с большими колючками’.

С в е к р о в ь: серб. *свекрвин језик* ‘растения *gasteria disticha*, *opuntia ficus indica*’ [Симоновић 1959: 209, 655], хорв. *свекрвин језик* ‘растение *opuntia macrorhiza*’ [RHSJ 17: 175], болг. *свекрвин език* ‘бурьян с твердыми и острыми колючками’:

⁷¹ Ср. названия колючих рыб за пределами славянских языков: англ. *widow rock cod* («вдовый группер») ‘морской окунь, *Sebastes*’, *bastard dory* («бастард солнечник») ‘австралийский колючепер, *Enoplosus*’ [ABBYY Lingvo x 5]; тур. *öksüz baliği* («совершеннолетний сирота») ‘рыба морской петух, *Trigla lyra*’.

⁷² Признак остроты представлен и в образевил, связываемых с мачехой, ср. польск. «*Masocha wilkami kocha*» («Мачеха нежит вилами») [NKPP 2: 366].

«Так его <невестин язык> называют старшие женщины, свекровки, а молодые, невестки, зовут его *свекрвин език*» [БД 4].

З о л о в к а: чеш. диал. *švagrová, zlostná švagrová* («золовка, злая золовка») ‘рыба ерш, *Gymnocephalus cernuus*’ [Dial-Brno]; ср. также поговорку, в которой золовка ассоциируется с репьем: «Золовушка речи репьем стоят» [Даль₂ 4: 691].

З я т ь: серб. *zet* ‘небольшая речная рыба *Gasterosteus aculeatus*, колюшка трехиглая’ [РСХКНЈ 7: 17].

Н е в е с т к а: болг. диал. *невестин язык* ‘бурьян с твердыми и острыми колючками’.

В д о в е ц: сев.-рус. *вдовец* ‘колючее сорное растение: осот, чертополох, репейник, татарник’: «Вдовец колючий, как вдовый мужик» (влг.) [СРГС 2: 38; АОС 3: 68; СРГК 1: 168; СРНГ 4: 86], влг. ‘бодяк ланцетолистный, *Cirsium lanceolatum* Scop.’ [СРНГ 4: 86], арх. ‘горчак ползучий’, ‘кузиния мелкоплодная’ [АОС 3: 68], влг. *вдова* ‘чертополох’: «Вдова невысока растёт с колючками, фиолетовым цветом цветёт» [СГРС 2: 38].

Х о л о с т я к: рус. дон. *бирюк, бирючок*, дон., ряз. *бобыль* ‘рыба ерш-носарь’ [СРНГ 37: 350; БТДК: 45; СРНГ 3: 39; Сабанеев 1959: 37], блр. диал. *біручок* ‘ерш-носарь’ [ЖС: 70], ср. также черниг. *сирота, сиротка* ‘то же’ [Сабанеев 1959: 37]⁷³.

Объединяющим для реципиентов метафоры может быть не один признак, а разные, но близкие в смысловом отношении. Так, вдовы, старые девы и холостяки рисуются через «природное» старение и перерождение — **увядание, обындевание, загнивание** и т. д. Мотив увядания отражен, вероятно, в рус. простореч. *вдовый цветок* ‘растение семейства бальзаминовых, *Impatiens*’: стебли бальзамина очень нежны и при недостаточном поливе обвисают тряпочками; сорванные же быстро вянут. В чешских говорах есть выражения, актуализирующие мотив гниения в связи со старой девой: с.-в.-чеш. *zustala (zvostala) na hniličku* («протухла, испортилась»), ганац. *zhnilečet* [Гура 2012а: 34]. В пермских говорах старый холостяк носит название *старый обáбок* (ср. *обáбок* ‘гриб подберезовик’) [Зверева 2013: 29–30]: известно, что эти грибы очень некрепкие, их мякоть быстро «расползается», становится водянистой. Ср. также тексты колядок, предвещающих вдовство или безбрачие (в круглых скобках приводится толкование текста, данное носителями традиции): рус. костр. «На повети блины позаплесневели» («Девушке — женихов не будет; вообще, скучная жизнь будет») [ВС: 24, № 41], вят. «На полках блины, На столе сулеи <бутылки> Позаиндевели» («Сидеть в старых девках») [ВФ: 32]⁷⁴, костр. «Стоит колодец, да вода забусела <загнила>» («Замуж не выйдет девка»), «Березка в поле вся закуржевела <заиндевела>»

⁷³ Дополнительными мотивирующими признаками являются, возможно, ночной образ жизни этих рыб и обитание отдельно от других видов.

⁷⁴ Ср. колядку противоположного содержания: «На полке блины, На столе сулеи» («К замужеству») [ВФ: 32].

(«Овдовела баба») [ЛКТЭ], смол. «Стоит липа на крутой горы, ды макушки с корня ўся заинела» («Ўдова такая, свянеть и ўсё») [СМЭС 1: 657]. Интересна образная переключка русских колядок с болгарской песней: болг. «Есенна слана вдовица, Ситна роса момица» («Осенний иней вдовушка, Мелкая роса девушка») [Геров 1: 114]⁷⁵.

2. Метафорическая системность проявляется и на уровне **мотивов**, реконструируемых для **донорской зоны метафоры**. Мотивы различаются по степени индивидуализации — генерализации. На одном полюсе шкалы — индивидуализирующие мотивы, присущие лишь одному образу (или особо акцентированные в его составе). На другом полюсе — обобщенные, генерализованные мотивы, объединяющие максимальное количество различных образов. Между полюсами могут быть мотивы, свойственные какой-либо паре или триаде образов.

При перемещении по шкале меняется не только количество образов, объединенных тем или иным мотивом, но и собственно характер мотивов. Индивидуализирующие мотивы являются в большинстве своем дескриптивными, конкретными, они описывают внешний облик, поведение, социальный статус персонажей и др. Движение по шкале направо снижает «нарративность», «угадываемость» характеристик, но дает нарастание эмоциональной или рациональной оценки.

К числу **индивидуализирующих мотивов** относится, к примеру, мотив черного (темного) цвета в образе вдовы, «окрашенном» в цвет траура (ср. рус. *вдовый цвет* литер. ‘траурный, не светлый’, простореч. ‘лиловый, фиолетовый’). Признак траурного цвета метафорически преломляется в названиях темных животных (например, рус. карел. *вдова, вдовица* ‘рыба’: «Пеструха с пятнам, вдовица черна» [СРГК 1: 168], рус. *вдовушка длиннохвостая*, польск. *wdowa, wdówka*, чеш. *vdova, vdovka rajská* и др. ‘африканская птица *Vidua*, самец которой имеет черную спину и очень длинный черный хвост’⁷⁶), минералов (рус. простореч. *вдовый камень* ‘один из минералов фиолетового цвета — аметист или александрит’) и растений (болг. диал. *свободна вдовица* ‘астра итальянская, *Aster amellus* L.’ [Ахтаров 1939: 177] <у ряда сортов синие или фиолетовые цветы>, блр. диал. *удóвушка палявая*, серб. *удовица* ‘короставник полевой, *Knautia arvensis*’ [РасС: 104; РСХКJ 6: 431] <цветы синеваато-лилового цвета>, блр. диал. *удóвушка* ‘ахименес мексиканский, *Achimenes mexicana*’ [РасС: 238] <синефиолетовые цветы с широким белым пятном в центре>). Мотив черного цвета связан с мотивом ночи, который проявляется в ассоциативных связях вдовы с ночными птицами (см. об этом далее).

⁷⁵ Ср. лат. *viduatus* («вдовый») ‘заснеженный (о почве)’, *arva nunquam viduata pruinis* («равнины, вечно вдовье из-за инея»).

⁷⁶ Ср. также англ. *widow* и др.; все эти названия — кальки с латинского номенклатурного *Vidua*.

Для образа пасынка характерен мотив «с л у ж е б н о с т и», отсюда многочисленные обозначения вспомогательных, служебных деталей — подпор, поддерживающих приспособлений, передаточных механизмов, ср. рус. *пáсынок* арх., влг., калуж., костр., новг., перм., свердл., р. Урал ‘подпорка столба, изгороди и т. п.’, арх., влг., твер. ‘один из небольших колышков, поставленных вокруг стожара наклонно к нему, как основа стога сена’, арх. ‘одна из несущих опор при постройке избы’, арх., влг. ‘деталь ткацкого стана — стержень навоя, на который наматываются нити основы’, волж. ‘деревянная наставная часть мачты’, [СРНГ 25: 270–271; КСГРС; СРГК 4: 407; СВГ 7: 15; СПГ 2: 78–79], блр. туров. *пáсынок* ‘подпорка к столбу’ [ТС 4: 17], укр. *пáсинок* буковин., н.-надднепр. ‘железобетонная или металлическая опора для столба’ [СБукГ: 390; Чабаненко 3: 76], польск. *pasierb* ‘короткий деревянный столб, вкопанный рядом с другим столбом и подпирающий его’ [SJPD 6: 162], словен. *pástorek* ‘колесо передачи’ [SSKJ 3: 544], словац. *pastorok* ‘малая шестерня’, диал. ‘передаточное зубчатое колесо (у мельницы и др.)’, ‘возжа от уздцов до хомута на конской упряжи’ [SSN 2: 746], чеш. *pastorek* ‘шестерня, шестеренка’. Эти метафоры имеют «бытийное» обоснование: хорошо известно, что пасынки, приемные дети выполняли вспомогательную работу по дому, становились прислугой, помощниками в каком-либо виде деятельности и т. д.⁷⁷ — и при этом начинали работать, как правило, раньше родных детей (ср. рус. влг. «Пасынок к забору поставь, сынок ведь не назовёшь» [КСГРС] <о подпорке>).

Из мотивов, объединяющих образы попарно, можно привести в пример мотив п л а ч а, с л е з, р ы д а н и й, который присущ образам вдовы и сироты. Он реализуется в номинациях явлений природы — дождя и росы (рус. амур. *сiроты плачут, заплачут* ‘о дожде при солнце, затяжном дожде’ [СРНГ 37: 348], арх. *сiроты плачут* ‘об обильной росе’ [КСГРС], укр. «Сонце світить, дощ іде — то *сирота плаче*» [ПП-укр 1990: 132], блр. полес. *ўдавіныя слёзы падаюць* ‘дождь при солнце’ <Золотуха Калинковичск. р-на Гомельск. обл.> [БДПА]), а также растений, стебли и листья которых наполнены влагой или же кажутся влажными (рус. амур. *сирота* ‘растение (какое?)’: «Если цветок сирота покроется росой — значит будет дождь» [СРНГ 37: 348], ср.-урал. *вдовьи слезы* ‘комнатное растение с зелеными глянцевыми листьями и красными цветами’ [СРНГ 4: 86]⁷⁸). Мотив слез (влаги) более активен в языковом образе сироты, что, вероятно, в некоторой степени объясняется внутриязыковыми факторами — притяжением слов праславянского гнезда **sir-* к продолжениям **sur-* ‘сырой, влажный’. Есть контексты, демонстрирующие возможность такой аттракции: рус. смол. «— Вари-ва сыра! — У сиратъ дапрѣить у животъ» [Добровольский 3: 107]. Континуанты

⁷⁷ Ср., к примеру, рус. перм. *пáсынок* ‘помощник пастуха’ [СПГ 2: 78–79], которое, впрочем, появилось не без притяжения слов *пасынок* и *пастух*.

⁷⁸ Разово отмечены и слезы холостяка: болг. *ергенска сълза* («слеза холостяка») ‘маргаритка многолетняя, *Bellis perennis*’ [БЕР 1: 503].

**sur*- нередко выступают в метеорологическом регистре (в разных славянских языках есть факты вроде рус. *сырая погода, сырость* (воздуха) и т. п.), что может способствовать появлению «дождевых» значений дериватов «сироты».

Если представленные выше мотивы воссоздают индивидуальные черты персонажей, то обобщающие, **генерализованные** мотивы не дают точной характеристики реалий, а указывают на весьма общие (и имеющие разную степень абстрактности) признаки, которые могут приписываться не только какому-то одному персонажу, но нескольким «неполноценным» родственникам, а также другим лицам, которые в народных представлениях наделяются низким социальным статусом («бабы», инородцы и др.). Наиболее характерны такие мотивы для образов вдовы, сироты (пасынка), холостяка.

Минимальную степень переосмысления исходной семантики слов «вдова», «сирота», «холостяк» несет в себе идея не п а р н о с т и, которая представлена в обозначениях лиц (польск. диал. *wowies* ‘танцор без пары’ [Karłowicz 6: 84], рус. алт. *вдóвушка (вдóвúшки)* ‘игра «ручеек»: «Почему вдовушка? Ну, пару-то разлучаешь — вот и вдовушка» [СРГА 1: 125–126], костр. *холостяк* ‘то же’ [ЛКТЭ]), предметов (укр. диал. *удовець, удова* ‘первое или второе блюдо, подаваемое без другого’; ср. также польский обычай ставить после рождественского ужина в углу стола горшок с кутьей и горшок с вареными сухофруктами, чтобы кутья не была *samotną wdowicą* [Kopernicki 1887: 144]) и даже абстрактных понятий и др., — например, субботы — дня, считавшегося непарным (рус. карг. *сирота*: «Воскресенье с понедельником, Вторник со средой, Четверг с пятницей, А суббота — сирота» [БДКА], укр. полес. *вдовушка*: «В этот день не назначали свадьбы» <Любязь Любешовск. р-на Волынск. обл.> [БДПА], ю.-слав. «вдовый день» [СД 5: 193]). От признака непарного произведен признак е д и н и ч н о г о, одиночного, не имеющего связей, который реализуется, к примеру, в терминологии строительства (рус. арх. *вдовая свая* ‘свая, состоящая из одного бревна’ [СГРС 2: 38], б. м. *вдова* ‘одинокая свая; в учужных забойках, от берегов стоят вдовы, а на быстрине двойнички, накрест’ [Даль, 1: 173], сиб. *холостой столб* ‘столб в любой постройке, в котором нет паза для соединения досок’ [СРГС 5: 226], влг. *холостой венец, холостое дерево* ‘верхний венец, после потолка, без мха’ [КСГРС]), одежды, тканей и материалов (укр. полес. *сирота* ‘вытканная полоса одного цвета в полотне’ [Аркушин 2: 148], болг. *сирàченце* ‘один, единичный узор’ [БЕР 6: 687–688, 700], болг. простореч. *сираци* ‘носки, у которых потерялись пары’, рус. твер. *вдовка* ‘сеть из одного полотна’ [ТТС 2: 74]), народной ботаники (болг. диал. *сиротица* ‘растение авран лекарственный, *Gratiola officinalis*’ [Ахтаров 1939: 177] <цветки располагаются одиночно в пазухах листьев>), гидрографии (рус. арх. *холостой* ‘не имеющий притоков (о реке)’ [КСГРС]) и др.⁷⁹

⁷⁹ Ср. также франц. арг. *orphelin* ‘разрозненный непарный предмет’, англ. *orphan terminal* ‘одиночный терминал’ [АВВУ Lingvo x 5] и др.

«Рекорд» по количеству образных вариантов, реализующих признак непарного, одиночного, установила межъязыковая система обозначений растения *Viola tricolor* (анютины глазки), в которой представлены образы разных «неполноценных» родственников: мачехи, сироты, вдовы, холостяка, свекрови, невестки (подробнее см. 2.2.1, с. 223–224).

С предыдущими связана идея о б о с о б л е н н о с т и, которая может предполагать пространственную отделенность, расположение в стороне: укр. *сиротливий* ‘расположенный обособленно, отдельно от других’ [СУМ 9: 203]. «Сироты» и «пасынки» нередко встречаются среди наименований объектов ландшафта, ср. *пасынок* арх. ‘рукав реки’ [КСГРС], ворон. ‘ответвление холма, оврага’ [СРНГ 25: 270], блр. диал. *пасынак* ‘приток реки, ручья’ [ЭСБМ 8: 205], болг. диал. *сирѧк* («сирота») ‘небольшой арык, отведенный от главного канала для орошения лугов и пр.’ [БЕР 6: 687]. Топонимические «сироты» располагаются в стороне от других объектов (ср. примеры выше, в параграфе 2.2.1, с. 247). Помимо пространственной обособленности, встречается и временная: польск. диал. *sierotka* ‘растение стокротка (маргаритка), названо так за то, что цветет осенью, когда других цветов уже нет’ [Karłowicz 5: 126], рус. ворон. *сиротки* ‘пролеска двулистная, *Scilla bifolia* L., зацветающая рано’ [СРНГ 37: 350], дон. *вдовки* ‘цветы ноготки’ [СРНГ 4: 86] <цветут до осенних заморозков⁸⁰>, болг. диал. *сирак* [БЕР 6: 687], рус. ср.-урал. *сын без (раньше) отца* ‘растение синий осенний безвременник, *Colchicum autumnale*’: «Плод появлялся раньше цветка, потому его еще зовут сын без отца или сын раньше отца» [Коновалова 2000: 190]. Ботаническая литература подтверждает слова уральского информанта: у этого растения плод (*сын*) появляется весной раньше цветка (*отца*), распускающегося осенью или даже в начале зимы, и притом без зеленых листьев, сопровождающих плоды (этот признак иным способом отражен и в номенклатурном названии *безвременник*). Похожие названия есть и в других языках, ср. польск. *syn nad ojcem* ‘гвоздика травянка, *Dianthus deltoides*’ [Колосова 2009: 25]⁸¹, англ. диал. *son afore (before) the father* ‘мать-и-мачеха’, ‘сушеница’ [EDD 5: 616], а источником для них является, как указано во многих ботанических справочниках, латинское название безвременника *filius ante patrem*. Пространственная и временная обособленность могут сочетаться: болг. *сираче* ‘мерендера опрысковая, *Merendera sobolifera*’ [Ахтаров 1939: 43] <цветет рано по таким местам, где в это время другие цветы не встречаются; побеги располагаются отдельно один от другого>.

Идея отсутствия важного содержимого, пустоты тоже имеет разные варианты воплощения. Пищевые «вдовы», «сироты»

⁸⁰ Возможно, название мотивировано также тем, что в надземной части растения содержатся горечи.

⁸¹ Веточки полевых гвоздик (*ojciec*) выпускают из себя густые молодые ростки (*syn*), которые, соответственно, находятся выше этих веточек [Колосова 2009: 25].

и «холостяки» — обычно блюда без начинки, заправки (жира, мяса и др.) — рус. арх. *вдовіца* ‘лепешка, изделие из теста без начинки’ [АОС 3: 68], костр. *вдовка* ‘овсяная каша’ [ЛКТЭ], *холостянка* пск. ‘пустая похлебка, тощая, постная’ [Даль₂ 4: 560], смол. ‘о постной пище’ [ССГ 11: 67], перм. *холостые пельяны (пельмяны)* ‘пельмени из ржаной муки’, ‘кушанье типа клецок с капустой’ [ФСПГ: 255–256], блр. диал. *халасты* ‘пустой, из одной крупы (суп)’ [ЭССЯ 8: 65], рус. твер. *сиротка* ‘гречневая густая кашица’ [ДО: 242]. Описываемая пищевая модель обратима: обозначения постной еды (или ее отсутствия) тоже могут лечь в основу названий «аномальных» родственников: рус. перм. *старый морковник* ‘женщина, не бывавшая замужем’ [Зверева 2013: 30]⁸², арх., яросл. *пустокорм*, арх. *пустокормок*⁸³ ‘одинокий, беспосемянный человек, бобыль’ [СРНГ 33: 148–149].

«Вдовой» или «холостой» может быть и одежда: чеш. морав. *ovdovělý* («вдовый») ‘без подкладки (об одежде)’ [Dial-Brno], рус. влг. *холостой* ‘неутепленный (об одежде)’ [СВГ 11: 201].

С образами родственников, не способных к продолжению рода или не реализовавших еще эту способность, связывается отсутствие улова: рус. арх. *вдовая сеть* ‘рыболовная снасть, вытянутая без рыбы или с незначительным количеством рыбы’, арх. *холостой* ‘без рыбы (о ловушке на рыбу)’, пск. *с молодушкой приехал* (кто-л.) ‘о том, кто совсем не поймал рыбы’ (подробнее см. 2.2.1.2, с. 243). Аналогично рисуется отсутствие плодов, урожая: словен. стар. *hlast* ‘гроздь после снятия ягод’ [ЭССЯ 8: 64], рус. сиб. *холостой брусничник* ‘листья брусничника без ягод’ [СРГС 5: 226], башк. *холостой цвет* ‘пустоцвет’ [СРГБаш: *холостой*], костр. *вдовый куст* ‘ягодный куст без ягод’ [ЛКТЭ]⁸⁴.

Примыкает к рассматриваемой группе и обозначение ситуации *п р о и г р ы - ш а , н е у д а ч и*: рус. простореч. *вдовку в жены взять* ‘проиграть при игре в шашки’⁸⁵.

Идея *н е ц е л о с т н о с т и* реализуется, например, в типографской терминологии — в обозначениях неполной абзацной или висячей строки, ср. рус. *сиротка*, *вдова*, польск. *wdówka*, *sierotka*, чеш. *sirotek* и др.⁸⁶. Сюда же можно

⁸² Ср. перм. *морковник* ‘пирог из моркови’ [СПГ 1: 523].

⁸³ Ср. забайк. *пустокорм* ‘период бескормицы’ [СРНГ 33: 148].

⁸⁴ Ср. также лат. *viduertās, ātis* ‘бесплодие, неурожайность’, *solum viduum arboribus* ‘безлесная почва’.

⁸⁵ Ср. также итал. *orfanello* ‘в игре рулетка: цифры, дистанцированные от нуля и не относящиеся к серии 5/8’ [Battaglia 12: 74].

⁸⁶ Термины с такой внутренней формой являются международными и представлены в разных европейских языках, ср. англ. *orphan* ‘зависшее сообщение’, ‘висячая строка’, *widow*, *widow line* ‘висячая концевая (абзацная) строка’, ‘неполная концевая (абзацная) строка’. Интересно, что в немецком типографском жаргоне параллельно «вдовьей строфе» представлена «строфа потаскухи» (нем. *hurenzeile*), которая имеет в русском языке кальку — *бл...дская строфа* ‘неполная коротенькая строчка, не уместившаяся внизу страницы или столбца и помещаемая поэтому вверху следующей страницы или следующего столбца (прием, избегаемый в типографской практике)’ [Даль, 1: 246]. Этот пример лишний раз демонстрирует сходство языковых образов «аномальных» родственников.

отнести обратимую метафорическую модель, соотносящую «неполноценных» родственников с разбитой посудой: рус. костр. *сиротки*, ср.-урал. *пáсынки* ‘черепки разбитой посуды’ [ЛКТЭ], олон. *битый горшок* ‘шуточное или бранное название замужних женщин и вдов’ [СРНГ 2: 300], влг. *оскрепетина* ‘о вдове’: «Вековуха <старая дева> обурочить могот и вдова, оскрепетина», костр. *острепётток* ‘сирота’ [КСГРС; ЛКТЭ]⁸⁷; ср. также серб. боснийск. «Udovac — razbijen lopac» («Вдовец — разбитый горшок») [СД 1: 295].

С образами сирот (главным образом), пасынков и вдов связана идея недостаточности, низкой интенсивности. Этот каритивный смысл вырастает из дескриптивных признаков «слабый», «робкий» и т. п. и оценочных «несчастный, жалкий, достойный сострадания», «бедный» и т. п. (слова, имеющие соответствующие значения, представлены в лексике всех славянских языков). Несмотря на то, что такие значения становятся непосредственным источником для каритивной семантики, возможно установление вторичных связей с исходным значением ‘сирота’, т. е. формирование фактов двойной мотивации. Такие отношения можно предполагать, к примеру, для серб. *сиротѝ* ‘маленький, незначительный по количеству, значению, величине, ничтожный’: «Има већ хиљада и хиљада година како се свет обрће, и у том океану трајања... сам ја случајно уграбио 30 сиротих година» («Уже прошли тысячи и тысячи лет с тех пор как “вертится” мир, и в этом океане существования... я случайно похитил 30 ничтожных лет») [РСХКJ 5: 778]. В ряде случаев «сиротский» = ‘недостаточно интенсивный по температуре (жаркий или холодный)’: рус. простореч. *сиротская баня* ‘недостаточно жаркая баня’, *сиротская зима* ‘теплая, без больших морозов зима’, кубан. *сиротская* ‘короткая, нехолодная зима’ [Ткаченко 1998: 189], серб. *сиротињско лето* ‘ясные и теплые дни осенью’, хорв. *sirotińsko leto* ‘время осенью или зимой, когда лучше погода’⁸⁸ и др. Каритивные значения представлены и в пищевом коде: рус. *пасынок* арх. ‘самогон второго разлива’ [КСГРС], ‘третий слив пива’ [Даль, 3: 24]; ср. также арх. *одинокая дочь шिल्цем молоко хлѣбает*, *одинокая мать с дочерью молоко шилом хлѣбает* ‘о малом количестве молока у коров’: «Осенью, когда травы пожухнут, у коров мало молока. Об этом говорят: *одинокая мать с дочерью молоко шилом хлѣбает*» [БДКА]. Связь образов пасынка, сироты и жидкой (пустой) пищи проявляется и в паремииологии, ср. рус. «Удобрилась мачеха до пасынка: велела в заговинье все щи выхлебать», «Горе мачехино, что пасынок (будто) сметаны не ест; а порой и сыворотке рад!» [Даль, 2: 310], укр. «Горе мачуси, що пасинок сметани не їсть, бо він і сироватці радий» [ПП-укр 1990: 113] и др. Вообще, мотив хлебания (чего-то жидкого) глубоко укоренен в представлениях

⁸⁷ Ср. влг., костр. *оскрепеток*, *острепётток* ‘осколок посуды, кусок ткани’ [КСГРС].

⁸⁸ Сербско-хорватские данные допускают двойную мотивацию: «сиротское лето», «бедняцкое лето». Возможный семантический акцент на «сироте» подтверждается таким фактом, который создает антитезу «сиротскому лету»: словен. *mačehovska zima* ‘очень холодная’ [SSKJ 2: 659].

о пасынке. Рассматривая вопрос о происхождении польск. *pasierb* ‘пасынок’, О. Н. Трубачев, вслед за А. Брюкнером, указывает на корень **serb* ‘хлебать, сосать (грудь)’, который служил образным обозначением ближайших, кровных родственников. Если сингулятивное *sierb* означало ‘сосунок, кровный ребенок’ (при собир. **syrby* ‘ближайшая родня’), то *pa-sierb* — ‘неподлинный ребенок’ [Трубачев 2006: 53–54]. Интересно и рус. костр. *охлебáй, охлебушек* ‘пасынок’ [ЛКТЭ]. Для этого слова возможна мотивация «нахлебник», «прихлебатель» (ср. пск., твер. *охлебáй* ‘неблагодарный человек’ [СРНГ 25: 32], пск., твер. *похлебáй* ‘тот, кто ходит обедать к другим, прихлебатель’ [СРНГ 30: 349]), но не менее вероятно, думается, и мотивация «тот, кто ест “охлебки”, слишком жидкую пищу», ср.: олон. «Как сиротны малы детушки Едят щички охлебочки <остатки жидкого кушанья>» [СРНГ 25: 33]. Таким образом, можно говорить о целой сети связей между обозначениями пасынка (сироты) и жидкой пищи (хлебания), причем связи эти являются двунаправленными, что указывает на их древность, и разветвленными, допускающими разнообразие мотивационных линий.

Идея ненастоящего, ложного представлена, к примеру, в рус. арх. *сиротский мороз* ‘потепление зимой’ [КСГРС], ср.-урал. *сиротское мыло* ‘растение татарское мыло, *Lychnis chalcidonica* L.’ [ЛКТЭ]⁸⁹.

Мотив вторичного (уже использованного, «отработанного») характерен прежде всего для образов старых холостяков, вдов, вдовцов и девушек, лишенных девственности. Так, вдовы уподобляются старым штанам: польск. «Kto pojął wdowę, jakby też kupił portki na tandecie» («Кто взял в жены вдову, как будто купил шаровары у старьевщика») [НКРР 3: 631]; рус. «На вдове жениться, как старые штаны вздевать, не вошь, ин гнида укусит» [Снегирев 1995: 169]. В русских гаданиях на жениха вехоть предвещала женитьбу на вдовце [ФСНП: 243]. При характеристике холостяка или человека, который поздно женится, используется образ старого лаптя: рус. влг. *ошемётки*⁹⁰ ‘старый холостяк’: «Ошемётком и прожил всю жизнь» [КСГРС], печор. *старый жених хуже лаптя* [ФСНП 2: 312]. Закономерно появляются метафоры обработки культурных растений. Так, девушка, лишенная девственности, уподобляется отходам при переработке льна, ср. перм. *из-под мялки костіца* ‘о девушке, лишенной девственности’ [ФСНП: 173], а вдова — зерновой мякине: костр. *полóвка*⁹¹ ‘вдова’ [ЛКТЭ]; здесь, очевидно, имеет место также аттракция к *полый* ‘пустой’.

Сходство с предыдущими образами обнаруживает образ продуктов горения — отгоревшей искры, головешки и пр., ср. македонскую загадку, в которой

⁸⁹ Признак «ненастоящий, ложный» реализуется и в тюркских фактах, ср. тат. *ятимнәр игене* («сиротский хлеб») ‘растение ломонос’ <плоды этого растения — несъедобные орешки>, кирг. *жетим сүмбө* («сиротский шомпол») ‘короткий шомпол’, кирг. *жетим кабырга*, узб. *етим қовурға* («сиротское ребро») ‘короткое (ложное) ребро’ и др.

⁹⁰ Ср. влг. *ошемётки* ‘старый изношенный лапоть’ [КСГРС].

⁹¹ Ср. рус. диал. шир. распр. *полóва* ‘мякина’ [СРНГ 29: 89], костр. *полóва, полóвка* ‘то же’ [ЛКТЭ].

невеста сравнивается с загорающейся искрой, а вдова — с отгоревшей: «Угоре оит невеста, удолу идет вдовица» <искра> [ПГ: 211]. Образ головни представлен при обозначении ситуации неудавшегося / нарушенного брака (рус. новг. *головёшку съестъ* [НОС₂: 173], пск. *ехать с головешкой* ‘получить отказ при сватовстве’ [ПОС 10: 139], новг. *собирать головёшки, получить головёшку* ‘пережить измену’ [Сергеева 2004: 237, 241]), а образ обгоревших или залежавшихся дров используется для воплощения представлений о старых холостяках: перм. *старый подовинник*⁹² ‘о мужчине, никогда (или долго) не состоявшем в браке; о старом холостяке’ [СПГ 2: 125], болг. *огорел, опален пън* ‘о холостых и бездетных’ [Геров 4: 406].

Даже этот неполный перечень оценочных генерализованных мотивов позволяет утверждать, что некоторые образы «неполноценных» родственников (особенно вдовы, сироты, холостяка) — своего рода эталоны образного предметного воплощения признака каритивности, который изучался прежде всего на материале атрибутивной лексики, т. е. прилагательных со значениями ‘пустой’, ‘сухой’, ‘пресный’ и др. [Толстая 2008: 50–98], — и это понятно, поскольку каритивность демонстрирует обобщенность семантики качественных прилагательных, которые способны к генерализации своих вторичных значений, воплощающих общие идеи недостаточности, неполноты и пр. Предметные существительные, казалось бы, не должны выражать столь обобщенных смыслов. В то же время включенность анализируемых слов в сферу лексики родственных отношений, которая имеет высокий аксиологический потенциал, обусловила появление у них генерализованной оценочной семантики. Это важное свидетельство силы и яркости оценки, стоящей за изучаемыми словами.

3. Выше говорилось о признаках и мотивах, объединяющих разные образы, однако метафорическая системность проявляется и в рамках одного образа. Отдельные метафорические лексемы, образованные от одной производящей основы, оказываются «скоординированными» на разных уровнях, что позволяет обнаружить общую конструкцию, логику образа. Тем самым находит объяснение выбор того или иного признака или образной детали. Важно сравнить различные образы, в построении которых участвуют схожие детали (или же на их месте обнаруживается лакуна), чтобы наиболее рельефными стали **закономерности в организации образа, ракурса, в котором он формируется.**

В качестве иллюстрации этого положения рассмотрим, как в перспективе различных образов некровных и «неполноценных» родственников ведется отбор соматических черт. Их появление говорит об усложнении метафоры за счет «удвоения» объектов сравнения, точнее, их детализации: образный аналог подыскивается, к примеру, не собственно теще, а ее пальцам или ребрам.

⁹²Ср. перм. *подовинник* ‘длинное сухое полено, употреблявшееся для отопления овина’ [СПГ 2: 125].

Такой детализации подвергаются только три образа — вдовы, тещи и свекрови. Логика детализации в первом случае и в двух других совершенно различна.

Значения фразеосочетаний, в основе которых образы частей тела **ВДОВЫ**, не выходят за пределы сферы соматики: м я с о — рус. *вдовье мясо* арх. ‘полнота, округлость, развивающаяся у стареющей женщины’ [АОС 3: 67–68], перм. ‘избыточная масса тела’ [СГСПермК 1: 195]; г о р б⁹³ — рус. простореч. *вдовий горб* ‘характерная сутулость у женщин’; ж и л а — арх. *вдовья жила* ‘вздувшаяся вена на внутренней стороне пальцев рук’, ‘вздувшийся на переносице кровеносный сосуд, свидетельствующий о (будущем) вдовстве женщины’ [Качинская 2011: 123]; п а л е ц — арх. *вдовьей палец* ‘безымянный палец руки’ (см. выше)⁹⁴. «Вдовья» соматическая метафора отражает условия жизни вдовы и работает на «диагностику» состояния вдовства или на его предсказание. Это вписывается в общую логику построения лингвокультурного образа вдовы, в котором видное место отводится знакам, предсказывающим вдовство — состояние социально ущербное и опасное [СД 1: 293–297]. Такие знаки особо распространены в невербальных культурных кодах, но есть и вербальные (помимо представленных выше, ср., к примеру, пермское обозначение вдовы *светлолобица* ‘о женщине с белым гладким лбом (что предвещает скорое вдовство)’: «Лоб блестит у человека, отсвечиват. <...> Светлолобица, дак быстро овдовеешь» [СРНГ 36: 265]).

Что касается соматических образов, связанных с тещей и свекровью, то здесь «диагностика» и предсказания не нужны. Здесь проявляется другая логика «соматического» восприятия. Наиболее анатомичен (можно сказать, подчеркнута анатомичен) образ **ТЕЩИ**: в языке маркированы многие части ее тела.

В первую очередь выделяется образ тещина я з ы к а, который прилагается к реалиям из разных сфер действительности — поведенческой (рус. дон. *разболтаться, растянуть как тещин язык* ‘сильно разговориться, разболтаться’ [СРНГ 44: 114]), ландшафтной (рус. приамур. *тёщин язык* ‘об участке земли между двумя параллельно идущими дорогами’, ‘об участке невспаханной земли на пашне’ [СРГП: 338–339], простореч. *тёщин язык* ‘извилистая дорожная развязка’, ‘резкий поворот дороги-серпантина’; ср. также в топонимии — повороты дорог *Тёщин Язык* <Горнозаводск. р-н Пермск. обл.; окрестности Белорецка, Башкирия [ТКТЭ]; окрестности Дивногорска, Красноярск. край>, перевал *Тёщин Язык* <Приполярный Урал> [ТКТЭ]⁹⁵), пищевой (рус. ленингр., новг. *тёщин язык*

⁹³ Ср. в паремиологии: рус. «Мушь умереть — жына горпъ наживеть» [Иллюстров 1915: 160].

⁹⁴ Ср. также образ за пределами славянских языков: англ. *widow's peak* («вдовый пик») ‘волосы, растущие треугольным выступом <в виде буквы V, содержащей, очевидно, аллюзию к слову WIDOW> на лбу; примета, предвещающая раннее вдовство’ [WTNID 2: 1661; АБВУУ Lingvo x 5].

⁹⁵ Ср. также в специальной терминологии: рус. спорт. *тещин язык* ‘узкий и раздвоенный участок лыжни’, автомоб. *тещин язык* ‘постановка автомобиля на стоянку задним ходом между двух автомобилей, припаркованных параллельно тротуару’.

‘водка, настоящая на перце, перцовка’ [СРГК 6: 458; СРНГ 44: 114], простореч. *тёщин язык* ‘острая закуска из баклажанов или кабачков с перцем и чесноком’⁹⁶), ботанической (обозначения растений с длинными острыми листьями были представлены выше, см. с. 266–267), сферы игрушек (рус. простореч. *тещин язык* ‘свернутая бумажная трубочка, в которую надо подуть, чтоб она резко развернулась (кому-н. в лицо)’).

Отмечаются образы и других частей тела тещи. Р у к а: арх. *тёщина рука* ‘левша’ [КСГРС], простореч. *тёщина рука* ‘миникран, установленный на машине-самопогрузчике’, жарг. спорт. *тёщина рука* ‘в игровых видах спорта: левая рука (при подаче с нее)’; г о л о в а: рус. простореч. *тёщина голова* ‘сорт капусты’; н о г а: укр., рус. простореч. *тёщина нога* ‘нерабочая нога в футболе’; р е б р о: *тёщины рёбра* влг. ‘о плохой, непроезжей дороге’ [КСГРС], простореч. ‘неровности в асфальте’; в топонимии — опасный для спуска склон горы *Тёщины ребра* <окрестности Кисловодска>; п а л е ц: рус. перм. *тёщин палец* ‘о худом, тощем человеке’ [ФСНГ: 251]; скала *Тёщин Палец* <Камчатка, Авачинская бухта>; з а д: гора *Тёщин Зад*: «Тоўсто место такое, как зад у тещи» <Шар> [ТКТЭ]; б е д р о: гора *Тёщино Бедро* <окрестности Кисловодска>; з у б ы: гора *Тёщины Зубы* <Приэльбрусье>; г л а з: рус. простореч. *тёщин глаз* ‘черная муха с красной головой’.

Как видим, список весьма внушительный. В то же время «анатомия» **свекрови** представлена в языке более скудно (хоть и сходна с «анатомией» тещи набором образов и своей оценочной окраской). Я з ы к: хорв. *svekrvin jezik* ‘растение *oruntia macrorrhiza*’, ‘вид мусульманской народной вышивки в западной Боснии’ [RSHJ 17: 175], серб. *свекрвин jezik* ‘растения *gasteria disticha*; *oruntia ficus indica*’ [Симоновић 1959: 209, 655], болг. диал. *свекрвин език* ‘бурьян с твердыми и острыми колючками’ [БД 4]; г о л о в а: серб. *свекрвина глава* ‘растения *echinocactus tortuosus*; *melocactus communis*’ [Симоновић 1959: 176, 655]; з у б: арх. *свекровий (свекров) зуб* ‘изъян в домотканом полотне’ [СРГК 5: 652]; п у п: рус. иркут. *свекрухин пуп* ‘*фольк. устар.* печная заслонка’ [СРГС 4: 63]; г л а з: болг. *свекрвини очи* ‘пестрый садовый цветок’ [Любенов 1993: 123].

Возвращаясь к теще, отметим, что выделяются не только отдельные части ее тела, но и описывается общая «конституция», ср. рус. костр. *мягкая, как моя теща*⁹⁷ ‘о толстой женщине’ [ЛКТЭ]. Возможно, в круг рассматриваемых языковых фактов стоит ввести и влг. *хоровина* ‘теща’: «В Хоровинное воскресенье <воскресенье на первой неделе Великого поста> зятя едут за тещами и везут их к себе в гости. Тещу здесь называют хоровина» [Герасимов 1898: 123]. Это слово с неясной мотивацией — элемент семантически разнообразной парадигмы,

⁹⁶ Этим перечень *тещинных языков* не ограничивается; есть еще несколько фактов, которые мы не приводим в общем списке вследствие их тематической маргинальности (ср, к примеру, рус. *тещин язык* ‘одно из положений гимнастики йоги’).

⁹⁷ Ср. арх., влг., костр., краснояр., перм., ср.-урал., твер., тобол. *мягкий* ‘отличающийся полнотой, упитанный’, ‘плотный, здоровый, крепкого телосложения’ [СРНГ 19: 73; ЛКТЭ].

включающей следующие группы значений: 1) *хорові́на, хараві́на, харові́на* арх. ‘высушенная кожа, снятая с морского зверя, без сала’, ‘еще не обработанная шкура, снятая со зверя’, ряз. ‘шкура, невыделанная кожа’, кольск. ‘невысокого качества шкура’, влг., тамб., ряз. *хорáвіна* ‘(сырая) кожа, шкура’, перм. *харові́на* ‘шкура животного’ [Опыт: 250; КСГРС; Меркурьев 1979: 157; Даль₂ 4: 542, 561; АС 6: 98]; 2) перм. *харові́на* ‘тело человека (обычно задняя часть тела)’ [АС 6: 98]; 3) влг. *хараві́на* ‘одер, тощая скотина, имеющая, как говорится, только кожу и кости’, ‘падаль, павшая скотина’, *хорові́на* ‘худая женщина’, ‘старая, неуклюжая, неповоротливая женщина’, новг. *харáвина, харя́вина* ‘изнуренная, истощенная скотина’, ‘немошный, болезненный человек’ [КСГРС; Опыт: 245; Даль₂ 4: 541; НОС₂: 1242; СВГ 11: 204; Дилакторский 2006: 538]; 4) перм. *хараві́на* ‘предмет женской одежды <обычно не очень хорошей>’ [СПГ 2: 496], рус. влад. *харавьё* ‘старый хлам’ [ЭССЯ 8: 81]; 5) арх. *хараві́на* ‘плохое (гнилое, сухое) дерево, бревно’, ‘упавшее в реку дерево’ [КСГРС]. Считается, что это слово производно от **skora*, первонач. **skor-ov-ina* с переходом *sk > x* [ЭССЯ 8: 81]. Трудно с определенностью назвать значение, ставшее непосредственным мотиватором для ‘тещи’, но и лингвогеографически, и в плане смысловой близости предпочтительным кажется значение ‘худая женщина’: оно фиксируется, по данным [КСГРС], в тех же череповецких говорах, что и ‘теща’; представленные выше материалы, рисующие соматический облик тещи, акцентируют ее худобу (особо выделены ребра, пальцы и др.).

Таким образом, теща может изображаться языком и худой, и толстой. Это соображение, возможно, следует учитывать при обсуждении семантических связей серб. *пѹница* ‘теща’ (ср. словен. *polnica* ‘то же’), неизвестного другим славянским языкам и спорного в этимологическом плане. В этимологической литературе приводятся такие версии: 1) слово производно от *пунити* ‘питать’, ‘рожать’ (однако первое значение встречается редко, а второе не засвидетельствовано) [Daničić 1877: 288]; 2) лексема образована от *пунити* ‘наполнять’ с мотивацией «та, которая пополняет духовное родство» [Skok 3: 77]; 3) слово возникло как противопоставление синониму *таишта* ‘теща’, которое в диалектах смешивали с прилагательным ж. р. *таишта* ‘пустая’ (= рус. *тощая*), поэтому *пѹница*, как словен. *polnica*, этимологически = ‘полная’ [Трубачев 2006: 128; Bezljaj 3: 82 и др.]. Если в первой версии смущает непродуктивность предполагаемых значений производящего глагола, то во второй — смысловые акценты: теща, в отличие от кумы, «пополняет» свойство, а не духовное родство. Третья версия, хоть она выглядит несколько игровой, представляется более надежной. Думается, в какой-то мере ее подкрепляют русские диалектные факты, рисующие разные варианты «конституции» тещи, которые были приведены выше.

Итак, образ тещи в его анатомическом измерении оставил позади не только образ свекрови, но и всех других родственников женского пола. Кажется, «анатомичностью» с тещей может сравниться только образ «женщины вообще»,

рассматриваемой вне зависимости от родственных связей, т. е. «бабы». Нам приходилось уже писать, что в русской топонимии «бабья» соматика значительно богаче «мужичьей»; при этом наблюдается сниженная тональность «бабьих» соматических названий (как и в целом образа бабы) [Березович 2009: 58–62]. Сходная картина наблюдается в диалектной фразеологии различных славянских языков, где представлены «бабий язык», «бабье ухо», «бабий пуп», «бабья нога» и др. Образным аналогом «бабы» выступает «теща», однако ее портрет более карикатурен и негативно окрашен: в соматических образных сочетаниях, помимо признака подобия по форме (шаржированно представляющего остроту тещиных ребер, худобу пальцев, толщину зада и др.), реализуются признаки «нефункциональный», «острый, жгучий», «труднодоступный, тяжелый для преодоления» и др.

Значит, теща в изображении языка — именно «персонаж», причем персонаж острохарактерный и телесный (чего нельзя сказать о многих других родственниках, в чьих портретах преобладают функциональные, статусные или генерализованные качественные признаки). Думается, такая логика образа могла сложиться под внешним и отстраненным (мужским) углом зрения. Риска получить обвинения в вульгарности интерпретации, укажем все же, что отстраненность эта, вероятно, сложилась в условиях той житейской дистанции, которая отделяет семью зятя от тещи. Теща — самый яркий из «внешних» родственников, общение с ней не является повседневным (в отличие от свекрови, занимающей сходную позицию в родственной «сети»), а заключено традицией в определенные сценарии, что и отражается в закономерностях конструирования языкового образа.

4. Еще одно проявление метафорической системности касается внутренних связей между донором и реципиентом, которые могут проецироваться друг на друга, давая **обратимую метафору**. Обратимые метафоры, по всей видимости, наиболее архаичны. К их числу относится, к примеру, орнитологическая метафора. Широко известно, что многие птицы имеют «человеческую» символику, которая ярче всего отражена в культурных ситуациях, связанных с жизнью семьи (в контексте свадьбы, похорон и др.). Эту символику демонстрируют разные культурные коды, причем наиболее активно — фольклорный (см. [Гура 1997: 527–745]), в котором птичьи образы, приложимые к разным членам семьи, обнаруживают высокую вариативность («курица», «голубка», «ласточка», «петух», «орел», «сокол» и др. кодируют разных родственников, в первую очередь, жениха и невесту). В системе языка эта метафора менее активна и вариативна — и можно нащупать некоторые закономерности выбора определенных птичьих образов по отношению к некровным и «аномальным» родственникам.

Так, можно говорить об обратимости метафоры «вдова ↔ сова». Антропоморфный образ птицы отражен в рус. костр. *вдбушка* ‘сова’ [ЛКТЭ], смол. *удавинья дѣла* — *якъ савинья* [Добровольский 3: 11], укр. *життя вдовине* — *совине* [ПП-укр 1990: 133]; зооморфный образ женщины — в арх. *пѹкша* ‘сова’, ‘вдова,

к которой по ночам является умерший муж»: «Не колдуньи есь, а пукши. Овдовела баба, а по мужу сохнет, он к ней ходит» [КСГРС]. Обоснование этой метафоры — в ночном образе жизни совы, вследствие чего в образе этой птицы представлены мотивы изоляции, одиночества и смерти (см. о них в [Гура 1997: 568–570, 579]), значимые и для образа вдовы, в котором, кроме того, есть и мотив черного цвета (об этом см. выше), ассоциативно связанный с ночью. Не случайно «вдовьи» названия имеют и другие птицы, проявляющие активность ночью: чеш. *kachna vdova* ‘белолицая свистящая утка’ [PSJČ 6: 838]; ср. также англ. *widow* ‘козодой’ [АВВУУ Lingvo x 5] (дополнительный мотивирующий признак здесь — темное оперение).

Есть несколько фактов, позволяющих говорить об ассоциативной связи «зять ↔ дятел»: рус. ср.-урал. *зятёк* ‘желна’: «Черного дятла в шутку звали зятёк. Поди, долбит-долбит, как зять тещу», *бортевицик* ‘насмешл. о зяте’ [ЛКТЭ] < ср.-урал. *бортевицик* ‘большой черный дятел — желна, который долбит отверстия в стенках бортей, чурок и ульев-колод в поисках пчел’ [СРГСУ 1: 53]. Эта обратимая языковая метафора подтверждается и фольклорной, представленной в замечательной олонекской былине-скоморошине «Каково птицам жить на Руси»: «На море зять дегтябрь⁹⁸, На море теща — загожка⁹⁹: У зятя ноги коротки, У тещи пороги высоки» [Рыбников 2: 313, № 59]. Связь между образами зятя и дятла не является очевидной; возможно, в ее основе мотив добывания пчел, осуществляемого дятлом, который может интерпретироваться как вариация мотива ловли (охоты), весьма продуктивного в символическом языке славянской свадьбы [Гура 2012а: 642–645].

Обратимы и метафоры с участием «кукушки». Это одна из самых мифологизированных птиц с ярко выраженной женской символикой. По народным поверьям, у нее нет пары [Гура 1997: 682–709]. С кукушкой сравниваются разные «аномальные» родственники. Это старая дева, бездетная женщина, вдова: чеш. морав. *pude kukat do Paltejova* («пойдет куковать в Палтеёв») ‘о старой деве’ [Гура 2012а: 34], рус. *кукушкина свадьба* ‘о свадьбе вдовы’ [СД 1: 296], влг. *кукушка* ‘старая дева’: «Всю-то жисть, скажут, кукушкой, вековухой прожила. А сколь таких кукушек было после войны! Поштё их ругать, мужиков-то им нет!» [КСГРС], арх. *коковица* ‘то же’, *кокувать* ‘жить одиноко’ [СГРС 5: 222, 231], арх. *бытовать кукушкой* ‘быть бездетной (о женщине)’ [ЧДФ: 90]. Обратное направление переноса отражено в влг. *векову́ха* ‘старая дева’ → ‘кукушка’: «Вековуха без мужика всю жись прожила. Кукушку тоже вековухой назовут, весь век кукуёт, тоскуёт» [КСГРС]. Ср. фольклорные тексты о кукушке, где, помимо

⁹⁸ Ср. сев. *дегтябрь* ‘дятел’ [СРНГ 7: 328].

⁹⁹ В тексте Рыбникова допущена опечатка: вместо *загожка* написано *заюжка*; эта опечатка перекочевала в [СРНГ 7: 328]. Однако слово *загожка* вытекает из логики текста, а главное, опечатка исправлена в примечаниях к тому 3 собрания Рыбникова [Рыбников 3: LXIII]. К семантике этого слова ср. новг. *загожечка*, олон. *загоженька* ‘кукушечка’, *загожка* ‘кукушка’ [СРНГ 10: 15].

образа старой девы и вдовы, встречаются также образы сироты, тещи: рус. карел. «Ох, я бедна горе-горькая кукушица, Я, вдова, сирота горе-горькая» [РПК: 121], сев. «Закокует в поле кокушечка — Загорюю-то я, сироточка» [СРНГ 14: 106], блр. полес. «Кукушка — это вдовино жыццё» <Велута Лунинецк. р-на Брестск. обл.> [БДПА], хорв. «Zakukalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica» [RHSJ 17: 63], рус. сев. «На море зять дегтябрь, На море теща — загожка...» (см. выше).

5. При семантико-мотивационной реконструкции необходимо учитывать, что рассматриваемая славянская метафорическая система в ряде своих фрагментов имеет **этнокультурную специфичность** (в ходе предшествующего изложения мы не раз сталкивались с соответствующими примерами). Выявление ее становится и фактором анализа, и одной из его задач.

Так, необходимо принимать во внимание, что метафорические значения могут развиваться на фоне метонимических, отражающих **бытийный, этнографический контекст**, в котором существуют денотаты слов — источников переноса. К примеру, сочетание *зятьево пиво* отражает реальную традицию угощения тещи пивом, которое варилось зятем: рус. ср.-урал. *зятьево пиво* 'застолье в доме молодых на Масленичной неделе, куда приглашались родственники жены' [ЛКТЭ]. Тексты народных песен содержат шутивное переосмысление этой традиции, учитывающее неприязненные отношения между зятем и тещей: «Зять ли про тещу пивца сварил. Пива наварил, да ко маслянице, Звал ли тещу ко радунице, А теща пришла накануне рождества» [Снегирев 1995: 351]; «Вариль зять пиво, Вариль молодое, Безь солоду-ячменю, Безь яраго хмѣлю. Зваль зять въ гости Любимую тещу. Какъ потчиваль тещу Онъ вязомъ по глазамъ, Сырымъ дубомъ по губамъ, Обухомъ по брюху, Полѣномъ по колѣнамъ» [Соболевский 7: 201–202]; перм. <*зять — теще*> «Я про тебя три пива сварю: Первое-то пиво березовое, Второе пиво осиновое, Третье-то пиво рябиновое» [СРНГ 2: 254] и др. Сочетание *зятьево пиво* может носить метафорический характер: рус. коми-п. *зятьево (зятьево) пиво* 'при изготовлении пива: жидкий слив сусла': «Зятево пиво называется самое жидкое. <...> Зятево пиво второе, а основное пиво — первое» [СРГКПО: 183]. Здесь хочется усмотреть наложение двух мотивировок: неполноценность напитка отражает на «языке» пищи негативные отношения между родственниками, а «вторичность» пива — степень родства зятя, его «некровность» (в качестве параллели интересно арх. *пасынок* 'самогон второго разлива' [КСГРС]; ср. также поговорку, соотносящую образы зятя и ненасыщенной, жидкой пищи: «Ни в сыворотке сметаны, ни в зяте племени» [Даль₂ 1: 699]).

«Тещины» метафоры тоже могут иметь «этнографическую» подкладку. К примеру, в русской топонимии маркирована такая реалия, как тропа к дому тещи: *Тёщица Тропа*: «Из Терменьги брали замуж, парни к теще бегали на блины» <В-Важ, Верховажье>, *Тёщица Дорожка*: «Девоч брали из соседней деревни больше, дак по Тёщиной Дорожке к тещам бегали» <Ревд, Крылатовка> [ТКТЭ];

объекты с названием *Тёщи́на Тропа* есть также в Камском устье и в Ялте (мотивы номинации неизвестны). Таким образом, сочетание *тёщи́на тропа (дорожка)* получает устойчивость благодаря метонимическому переносу (= тропа к дому тещи). Это сочетание переосмысливается в метафоре, ср. рус. простореч. *тёщи́на дорожка* ‘дорожка из волос, идущая от пупа к низу живота мужчины’: появление этой дорожки, по мнению наивных носителей языка, излагаемом на интернет-форумах, свидетельствует о половой зрелости юноши (очевидно, она символизирует «дорогу» к замужеству, к будущей теще)¹⁰⁰.

Еще один пример. «Сцепка» двух сфер действительности, соотнесенных в олон. *свёкор* ‘внешняя часть печи, на которой держится воронец (брус, идущий наверху вдоль стен избы)’ [СРНГ 36: 231], изначально мотивирована тем, что печь у русских — постоянный «локус» свекра и свекрови. Можно предположить, что метонимический импульс восприятия реалии в данном случае сменяется метафорическим, при котором происходит качественно-оценочное переосмысление ее свойств: свекор — опорная фигура в семье, поэтому данный образ выбран для обозначения одной из несущих конструкций в избе (подробнее о «печном» образе свекра см. в 2.2.1.5, с. 258–259).

Таким образом, при мотивационной интерпретации единиц рассматриваемого семантико-мотивационного поля важно принимать во внимание возможность наложения метафорических и метонимических ходов, имеющих «бытийное» (культурное) обоснование.

Этнокультурная специфичность изучаемой лексики определенного языка становится наиболее очевидной **на иноязычном фоне**. Вот пример, связанный с образом вдовы. Славянские языки практически едины в определении социально-экономического статуса вдов и сирот, с которыми ассоциируются бедность и нищета. Это проявляется в первую очередь в неметафорической лексике, но есть и соответствующие метафоры, ср., к примеру, рус. костр. *вдовка* ‘проигрыш при игре в бабки на деньги’, *жениться на вдове* ‘проиграть при игре в бабки’ [ЛКТЭ]. В английской игровой терминологии со вдовой, напротив, связывается выигрыш, а в ее образе отмечается мотив достатка: англ. *widow* (вдова) ‘карт. прикуп’ [WT-NID 3: 2614]¹⁰¹. Это объясняется реальными различиями в семейном праве между славянскими и германскими народами (у последних имущественное положение вдов было более благоприятным)¹⁰². Из германского источника, очевидно, ведет

¹⁰⁰ Сходный образ встречается в романе Мопассана «Жизнь»: Жюльен называет ложбинку между грудями Жанны *маменькиной аллеей*, «потому что он постоянно прогуливался по ней».

¹⁰¹ Ср. также англ. *dower* ‘вдовья часть наследства’, ‘приданое’, ‘природный дар, талант’ [ABVYY Lingvo x 5].

¹⁰² Ср. англ. *well-off widow* ‘состоятельная вдова’, *widow's allowance* ‘вдовье пособие (в связи с потерей кормильца)’, нем. *Witwenghalt* ‘то же’ и т. д., англ. диал. *widow's bench* («вдовья собственность») ‘доля имущества мужа, которое вдова получает в дополнение к своей вдовьей доле’ [EDD 5: 487].

свое происхождение калькированное польск. *ciepla wdówka* (теплая вдова) ‘богатая вдова’ [SJPD 9: 905].

* * *

Несколько заключительных замечаний.

Слова, означающие некровное и нарушенное / отсутствующее родство, обладают разными потенциями в плане метафоризации. Более продуктивны обозначения нарушенного родства («вдова», «сирота»). Так, образ вдовы разработан достаточно детально и учитывает такие «подробности», как вздувшиеся жилы на руках, горб от тяжелой работы, обильные слезы, черный наряд, тяжелый характер, стремление повторно выйти замуж и др.; кроме того, здесь представлены оценочные генерализованные мотивы одиночности, нецелостности, вторичного («отработанного») и т. д. Портрет сироты далеко не так конкретен, нарисован как бы размытой «плачущей» акварелью; доминанту в нем составляют собственно оценочные признаки, причем особый акцент сделан на мотиве низкой интенсивности, непроявленности признака (в то время как в портрете вдовы акцентирован мотив отсутствия содержимого). Меньшей метафорической продуктивностью обладают обозначения некровных родственников. Основная причина — присутствие в их семантике релятивных сем, фиксирующих достаточно сложные отношения между членами семьи, что затрудняет перенос на иные явления действительности. Кроме того, представления о многих некровных родственниках имеют яркую негативную экспрессию, вследствие чего при их вербализации основная «энергия» языка уходит на пейоративные эпитеты («лютая свекровь», «злая мачеха» и т. п.), а не на метафору, требующую некоторого отстранения от объекта номинации — для его комплексного качественного осмысления. Наиболее метафорична среди некровных родственников «теща», осмысляемая главным образом «соматически». В целом же, как говорилось выше, изучаемая лексическая группа характеризуется относительно невысоким метафорическим потенциалом (по сравнению с обозначениями кровного родства, служащими регулярным источником переноса).

В соответствии с основными задачами исследования предшествующее изложение строилось так, чтобы выявить свойства «донорской» области метафоры — лексики родства. Слова из реципиентной зоны рассматривались лишь с точки зрения конкретных признаков номинации, положенных в их основу. Можно говорить и об общих закономерностях строения реципиентной области: «восприемниками» метафоры «неполноценного» родства или свойства становятся в первую очередь обозначения растений и животных — явлений живого (и потому максимально антропоморфного) мира. Структура реципиентной зоны во многом зависит и от характера признаков номинации. Так, реципиентная зона метафоры наиболее разнообразна в тех случаях, когда номинативные признаки носят обобщенный, генерализованный характер (ср. «карикативные» признаки непарности,

отсутствия связей, важного содержимого и др.): в реципиентной зоне отмечаются названия кушаний, бытовых емкостей, построек и др.

За рамками рассмотрения оказались многие другие особенности организации семантико-мотивационного поля некровного или нарушенного / отсутствующего родства, которые значимы для семантической реконструкции единиц поля. Мы не касались вопросов (или затрагивали их незначительно) о мотивационной «антонимии» метафорических лексем, образованных от обозначений кровных и некровных родственников (ср. пары «мать» / «мачеха», «сын» / «пасынок» и др.), о «синонимичных» парах (рядах) образов и способах «измерения» их смысловой близости друг к другу (к примеру, метафорическая «свекровь» ближе всего к «золовке», а не к «теще»), о семантических связях между «неполноценными родственниками» и образами, относящимися к другим смысловым сферам (например, весьма тонкие и нетривиальные связи объединяют «вдову» и «сироту» с «инородцами» — «жидом», «цыганом» и др. Обе группы образов используются для выражения идей неполноценного, аномального, уязвимого и др. Так, признак уязвимости представлен в рус. костр. *вдовку ударить* ‘удариться локтем, попав в нервное окончание, что вызывает резкую боль’ [ЛКТЭ] = простореч. *жида убитъ* ‘то же’¹⁰³; интересны и романо-германские параллели: швед. *få en änkestöt* ‘то же’ (ср. *änka* ‘вдова’, *stöt* ‘удар, толчок’) [НБШвРС: 913], франц. *le petit juif* («маленький еврей») ‘чувствительное место на локте’ [Robert 5: 853].

Разработка этих вопросов, равно как и тех, которые более подробно рассмотрены выше, поможет не только интерпретировать «темные» в мотивационном отношении лексемы, но и глубже понять механизмы формирования языковых образов. В начале этого параграфа была приведена цитата из работы Ю. Д. Апресяна, отметившего, что образы родственников по женской и мужской линии могут существенно различаться. Наш материал показывает, что различия могут наблюдаться даже между образами родственников, занимающих логически однотипные позиции по всем параметрам, организующим «семейную сеть», — полу, возрасту, отношению к другому родственнику (таковы, к примеру, различия между «тещей» и «свекровью»). Важно не только уловить эти «капризы» языка, но и сделать их по возможности объяснимыми и предсказуемыми. Таким образом, семантическая реконструкция призвана вскрывать глубинные пропозиции, определяющие логику выбора признаков, на основе которых происходит перенос одного явления действительности на другое. Эта логика становится наиболее осязаемой в рамках всего семантического пространства слова, всего объема его семантико-деривационных связей, и далее — на фоне семантических пространств других слов, входящих с данным в единое семантико-мотивационное поле.

¹⁰³ Ср. также рус. яросл. *робкое место* ‘локтевой сустав, который очень болит при ушибе’ [ЯОС 8: 133].

2.2.2.1. «Соломенная вдова»

В родственных и неродственных языках встречаются образные межъязыковые фразеологизмы, которые подобны «бродячим» сюжетам. В практике этимологических и лексико-семантических исследований лингвогенетическая атрибуция таких единиц обычно предполагает поиск аргументов в пользу одного из двух путей происхождения — фразеосемантического калькирования или же независимого создания фразеологизма в разных языках, отражающего концептуальное сходство в метафорическом освоении действительности различными народами. Однако есть случаи, когда жесткий выбор между этими двумя вариантами практически невозможен, — и необходимо искать более гибкие интерпретационные схемы. В данной работе такая ситуация будет рассмотрена на примере одного фразеологизма, получившего в этимологической литературе весьма разноречивые толкования.

1. В различных языках Европы и Азии обнаруживаются фразеосочетания со значением ‘женщина (реже мужчина), чей супруг (супруга) временно отсутствует’. Наиболее популярный вариант воплощения этой семантики — фразеологизмы с внутренней формой «соломенная вдова (вдовец)», которые являются межъязыковыми, поскольку фиксируются в различных группах индоевропейских языков и за их пределами. О них преимущественно будет идти речь далее, но сначала стоит выяснить, существуют ли **другие способы номинативного воплощения рассматриваемой семемы**.

Приведем примеры фразеологизмов, поясняя, по возможности, их внутреннюю форму. Так, есть выражения, в которых номинативный признак выражен прямо, непосредственно. Одна группа таких выражений буквально означает «временная вдова»: исп. *viuda interina* ‘соломенная вдова’, кирг. *убактылуу жесир* ‘то же’, удм. *огвакытлы пал кышино* ‘то же’, тадж. *бевазани муваққатӣ, бевамарди муваққатӣ* ‘соломенная вдова (вдовец)’.

В мотивировке фин. *kesäleski* ‘соломенная вдова’ признак временности уточняется: «летняя вдова». Очевидно, в этом факте отражена ситуация, когда на летнее время жены с детьми переселялись на дачи или в имения, а мужья, связанные работой, оставались в городах¹⁰⁴.

Другая группа фразеологизмов имеет внутреннюю форму «“ж и в а я” в д о в а» или «“ж и в о й” в д о в е ц», т. е. вдова или вдовец с живым супругом (супругой): новогреч. *ζωνταχήρα, ζῆταχῆρος* ‘соломенная вдова (вдовец)’, нидерл. *ónbestórven wéduwe, ónbestórven wéduwnaar* ‘то же’, литов. *gyv(a)našlė, gyv(a)našlis* ‘соломенный вдовец, разведенный муж’, ‘соломенная, живомужняя вдова; разведенная жена’ [Серейский 1933: 184], коми *ловья дōва* ‘соломенная вдова’ [КРК: 197].

¹⁰⁴ Такая трактовка принадлежит И. И. Муллонен (устное сообщение). Она подтверждается тем, что выражение фиксируется только в литературном финском языке и, кажется, не имеет корней в народной речи, т. е. отражает, скорее всего, ситуацию, типичную для городских семей (примерно с XIX в.).

Соломенное вдовство — «ненастоящее», отсюда идиома с внутренней формой «м н и м а я в д о в а»: исп. шутил. *viuda de pega*¹⁰⁵ ‘соломенная вдова’ [DG: *viuda de pega*].

В разговорном татарском языке отмечается выражение с внутренней формой «с в о б о д н а я (← пустая) ж е н щ и н а»: *буш хатын* ‘соломенная вдова’ [сообщено М. Х. Вазыховой].

Есть фразеологизмы, где номинативный признак выражен опосредованно. Среди них выделяются выражения с цветовой символикой. В оппозиции «настоящей» вдове, носящей черный траур, соломенная вдова обозначается как «белая»: макед. *бела вдовица* ‘соломенная вдова’, серб. *бела удовица* (ср. также диал. воевод. *бела удовица* ‘женщина, чей муж погиб на войне’ [РСГВ 9: 118]), итал. *vedova bianca* ‘соломенная вдова’. Менее ясна мотивация другого «цветового» фразеологизма, буквально прочитываемого как «з е л е н а я в д о в а»: нем. *grüne Witwe* ‘соломенная вдова (живущая за городом, муж которой работает в городе)’ [ABBYY Lingvo x 5]. В качестве первоначального предположения можно допустить, что здесь косвенно выражен тот же признак, что в выражении «летняя вдова»: зеленая вдова — та, которая живет без мужа летом, когда все кругом зеленеет (ср. также нидерландские выражения с идентичной внутренней формой, значения которых, возможно, представляют результат развития семантики ‘соломенная вдова’, но с дополнительными «поворотами» образа: *groene weduwe* ‘не выходящая из дома жена / женщина’, ‘«фрустрированная» домохозяйка’, ‘одинокая домохозяйка в пригороде’ [Van Dale NE: 1550]).

Соломенным вдовцам приписывается непостоянство, что выражается в польском языке идиоматическим сочетанием с внутренней формой «м а р т о в с к и й в д о в е ц»: польск. *marcowy wdowiec* [НКРР 2: 398–399]. Образная основа для этого выражения — неустойчивость мартовской погоды (ср. *Niestaly jak słońce marcowe* («Непостоянный, как мартовское солнце»)) [Там же: 398])¹⁰⁶.

В нескольких шуточных выражениях, функционирующих в современном английском разговорном языке, содержится указание на причину временного «вдовства» женщины — «ф у т б о л ь н а я в д о в а, в д о в а г о л ь ф а или р ы б а л к и»: англ. *football (golf, fishing) widow* ‘женщина, муж которой часто отсутствует дома, поскольку играет в футбол, гольф или уходит на рыбалку’ [CDO: *golf widow*].

Шуточный оттенок имеет и исп. разг. *rodríguez* ‘соломенный вдовец’, ‘муж, отправивший свою жену за город на дачу’, *estar de Rodríguez* ‘быть соломенным

¹⁰⁵ Здесь *de pega* ‘мнимый, фальшивый’, но это слово исходно имело предметное значение ‘смоляной’.

¹⁰⁶ «Мартовские» фразеологизмы обозначают и другие аномалии в matrimониальных отношениях, ср. кашуб. *mańec* («март») ‘мужчина «в возрасте», гонящийся за молодыми любовницами’ [Sychta 3: 47–48], *m’arcówka* ‘женщина легкого поведения’ [Там же: 48], польск. *marcowy kawaler, marcowa panna* ‘постаревший «кавалер» («панна»)» [SW 2: 879].

вдовцом' [ABBYU Lingvo x 5; DG: rodríguez]. Эти факты образованы от личного имени Родригес. По-видимому, здесь проявляется частотная для дериватов антропонимов семантика экспрессивно-негативной характеристики человека — что-то вроде «п р о с т а к , п р о с т о ф и л я» (отправляя жену в деревню, муж не догадывается, что она может ему изменить).

Представления о соломенной вдове могут быть выражены также описательными конструкциями: кар.-балк. *эрч юйде болмагъан къатын* («жена отсутствующего дома мужа»), тадж. *бевазани зинзачудо* («вдова — женщина, живущая отдельно»), тат. *вакытлыча иреннэн аерым торучы хатын кеше* («женщина, временно живущая отдельно от мужа») и др. Из языков, попавших в поле нашего внимания, описательные конструкции чаще всего встречаются в тюркских (и приводятся в двуязычных словарях). Это косвенно свидетельствует о том, что словесное воплощение соответствующей семемы появляется обычно в целях перевода и не особо значимо для носителей данных языков, что объясняется присущей им спецификой организации семейной жизни.

Приведенные выше примеры выборочны и никак не претендуют на полное описание способов выражения семемы 'женщина (мужчина), чей супруг (супруга) временно отсутствует'. В то же время они дают некоторое представление о том, как воспринимается носителями различных языков интересующая нас реалья, а это будет полезно для последующего изложения. Показательно наличие в этом перечне, составленном в известной мере случайно, фактов явно позднего происхождения («летние», «футбольные» вдовы и т. п.). Это наводит на мысль о том, что изучаемая семема в целом вряд ли претендует на статус древней.

2. Несмотря на разнообразие способов номинативного воплощения семемы 'женщина (мужчина), чей супруг (супруга) временно отсутствует', наиболее распространенными и популярными (по количеству «охваченных» языков) являются, как уже говорилось, **сочетания с внутренней формой «соломенная вдова» или «соломенный вдовец»**. Вот соответствующие примеры: нем. *Strohwitwe, Strohwitwer*; англ. *straw widow*; франц. *veuve de paille*; итал. *vedova di paglia*; рус. *соломенная вдова, соломенный вдовец*¹⁰⁷; блр. *салам'яная ўдава, салам'яны ўдавец*; укр. *солом'яна вдова, солом'яний вдівець*; польск. *śłomiana wdowa, śłomiany wdowiec*, диал. *śłomiana gdowa, śłomiany gdowiec* [Brzeziński 4: 288]; чеш. *slaměná vdova, slaměný vdovec*, диал. *slaměny vdovec* [Dial-Brno]; словац. *slamený vdovec, slamená vdova*; болг. *сламена вдовица, сламенен вдовец*; словен. *slamnata vdova, slamnati vdovec*; серб. *сламната удовица*; хорв. *slamnati udovac, slamnata udovica*; латыш. *salmu atraitne*; венг. *szalmaözvegy*; коми *идзас дѳва*; эрзя *олгонь дова* и др. Изучаемое выражение обычно фиксируется в литературных формах существования национальных языков, и его нельзя отнести к очень популярным

¹⁰⁷ Русские диалектные варианты этих фразеологизмов будут подробно представлены ниже.

(в любом языке). При этом степень распространенности и известности его в отдельных языках варьирует. Например, довольно широко представлено выражение в немецком, русском, польском, чешском (где варианты изучаемого фразеологизма отмечаются и в диалектах), но малоупотребительно в английском (где популярно близкое в образном плане сочетание *grass widow*, см. ниже), сербском¹⁰⁸, французском (так, некоторые филологи, являющиеся коренными носителями сербского и французского, ища ответ на вопрос о бытовании фразеологизма в их языках, признались в том, что никогда не слышали выражения в живой речи и узнали его только из словарей).

3. Важно отметить, что в ряде языков наблюдается **варьирование значений и формы изучаемых «соломенных» выражений**. Фиксируются также цельно-оформленные лексемы и фразеологизмы, которые **выходят за рамки варьирования**: в их внутренней форме закреплён образ соломы, а значения отражают широкий спектр аномалий в семейных (матримониальных) отношениях. При этом границу между вариантами и «невариантами» установить очень трудно: они могут образовывать плавную цепь переходов. Такая ситуация будет рассмотрена на примере русского языка, поскольку применительно к нему имеются наиболее полные сведения:

- жена, не живущая с мужем (муж, не живущий с женой): литер. *соломенная вдова, соломенный вдовец*; костр. *соломенная вдова (вдóвка)* ‘женщина, не живущая с мужем, соломенная вдова’: «Муж есть, но он с ней не живёт. Соломенная вдовка живёт, а муж от неё ушёл. И вот она никто — ни девка, ни баба, ни вдова», «Если женщина с мужем живёт, а его дома не бывает, то это соломенная вдова» [ЛКТЭ], свердл. *солóменка* ‘то же’: «Она теперь соломенкой осталась, год уж с мужиком не живет. Я-то сама соломенка, давно с мужем не живу» [ДСРГСУ: 513], перм. *соломенная вдовуха* ‘то же’ [СПГ 1: 80], мордов. *солома* ‘мужчина, временно оставшийся без жены; женщина, временно оставшаяся без мужа’: «Вон саломъ пашол, бабь-ть другой месец в горьди живёт» [СРГМ 2: 1203];

- вдова, умерший муж которой не был самоубийцей: костр. *соломенная вдова* ‘вдова, мужа которой убили или он умер своей смертью’: «У которой женщины убили мужа или сам умер, так звали её соломенной вдовой» [ЛКТЭ];

- вдова, живущая с другим мужчиной: костр. *соломенная вдова* ‘овдовевшая женщина, живущая с мужчиной’: «Соломенная вдова — значит, мужика нет. Муж был, умер, а она загуляет — так соломенная, нашла кого-нибудь» [ЛКТЭ];

¹⁰⁸ По свидетельству М. Белетич, из сербских и хорватских фразеологических словарей *сламната удовица* фиксируется, вроде бы, лишь в [Matešić 1982: 711], но без примера употребления, и в [HNFR: 607] — с переводом на немецкий (*Strohwitwe*). При этом в немецко-сербских словарях в качестве именно сербского выражения, соответствующего *Strohwitwe*, дается *бела удовица*.

- тот (та), кому изменили, кого бросили: влг. *солóмenniца*, арх., карел., костр., ленингр. *соломенная жена, соломенная вдова (вдовица, удóвка)* ‘женщина, брошенная мужем’: «Муж есть, но он с ней не живёт. Соломенная вдова живёт, а муж от неё ушёл. И вот она никто — ни девка, ни баба, ни вдова» (костр.), «Разведенная женщина с волчьим билетом называлась соломенна жена» (ленингр.) [ЛКТЭ; СРГК 6: 215]; костр. *соломенная вдова* ‘женщина, от которой ушел муж (без официального развода)’: «Это женщина, от которой ушел мужик. Они жили вместе, а мужик ушёл. Это соломенная вдова»; «Она выйдет замуж — и её муж бросит, не умрёт, не убьют, а просто бросит, — и её соломенная вдова называют» [ЛКТЭ]; омск. *солóмой остáться* ‘быть брошенной мужем’: «Соломой осталась — это муж бросил тебя» [СРСГСР 4: 382; СРНГ 39: 291], перм. *соломенный вдовóй* ‘мужчина, брошенный женой’ [СГСПермК 1: 195], влг. *соломенный вдовец* ‘то же’ [СВГ 10: 75];

- тот (та), кто изменил (изменила): карел. *гнилая солома* ‘о неверном муже’: «А если муж жену бросил и к другой походит, дак говорят: “Отойди, гнилая солома!”» [СРГК 6: 214]; костр. *сели́менная*¹⁰⁹ *вдова* ‘женщина, изменившая мужу или бросившая его’: «Селименная вдова ненастоящая, сбежала от мужа-то» [ЛКТЭ], влг. *соломенная вдова* ‘то же’ [КСГРС];

- тот, кто плохо выполняет семейные обязанности: влг. *соломенный вдовец* ‘семейный человек, не заботящийся о близких’: «Семейный, а о себе только беспокоится, — соломенный вдовец» [КСГРС];

- разведенная женщина или мужчина: арх. *солома* ‘о каждом из разведенных супругов’: «Разошлись <муж с женой>, так разведёнка, солома, и мужик, и жёнка — всё равно солома» [СРНГ 39: 291]; влг., костр. *солóменка*, яросл. *солóмenniца*, томск. *соломенная овдовá (ивдовá)*, костр. *соломенная вдова* ‘разведенная женщина’: «Соломенка, соломенная вдова, незаконная вдова, ненастоящая», «Женщина разойдётся с мужиком, больше не выйдет замуж — соломенная вдова» (костр.) [ЛКТЭ; ЯОС 9: 57–58; ВершС 6: 332; СРНГ 39: 293; СВГ 10: 75; КСГРС]; арх. *вдовица соломенная* ‘то же’ [ЧДФ: 90]; арх., яросл. *солóменник* ‘о разведенном или еще неженатом человеке’: «Соломенник — разведённой муж» (арх.) [ЯОС 9: 57; СРНГ 39: 292]; влг. *солóменник*, костр. *соломенный вдовец*, томск. *соломенный овдовóй* ‘мужчина, разведенный с женой’: «Женился да разошёлся, дак соломенником называли», «Мужики-соломеннику легче — захотел и женился» (влг.), «Соломенный вдовец, с бабой разошёлся» (костр.) [СВГ 10: 75; ЛКТЭ; ВершС 6: 332; КСГРС];

- холостяк, чаще старый холостяк: арх., влг., яросл. *солóменник*, арх., моск., перм. *соломенный вдовец*, томск. *соломенный овдовóй (ивдовóй)* ‘неженатый мужчина, старый холостяк (обычно о мужчине старше тридцати лет)’: «Вон у нас сосед соломенный вдовец, так и не женился» (моск.), «Вдовцей-то

¹⁰⁹ Ср. костр. *сели́менный* ‘соломенный’ [ЛКТЭ].

теперь нет, одни соломенны вдовцы. Вокруг него вон сколько уже соломинок — деток, а он еще женится» (арх.) [СВГ 10: 75; ЯОС 9: 57; СРНГ 39: 292–293; ВершС 6: 323; СГСПермК 1: 195]

- старая дева: груз. *соломенная дева*, влг., костр. *соломенная вдова* ‘незамужняя женщина, не имеющая детей, старая дева’: «Соломенная дева — это уже старая дева, лет тридцати. Изредкость у нас соломенная дева» (груз.); «Долго замуж не выходит — так соломенная вдова, никто не берёт в общем» (костр.) [СРНГ 39: 293; СВГ 10: 75; ЛКТЭ]; влг. *соломенная сноха* ‘то же’: «Она буде не выходила замуж — вот, говорят, соломенная сноха» [КСГРС];

- нечестная невеста: костр. *соломенная невеста* ‘невеста, которая имела половые связи до брака’: «Соломенная невеста нечестная. Свадьба — а она уже жила с мужиком-то» [ЛКТЭ];

- иметь нечестную жену (о муже): костр. *солому вязать* ‘иметь нечестную жену (о молодом муже после первой брачной ночи)’: «“Цветы рвал али солому вязал <вопрос к молодому мужу после брачной ночи>?” Цветы рвал — честная. Солому вязал — нечестная» [ЛКТЭ];

- женщина, родившая внебрачного ребенка: костр. *соломенная честь*, влг., костр. *соломенная вдова* ‘женщина, родившая вне брака’: «У ёй, скажут, соломенная честь, соломенника принесла. Ненастоящая честь-то» (костр.), «Соломенная вдова родила без мужа, в соломе, скажут, нашла», «Соломенная вдова без мужа осталась, а принимает других мужиков. Соломенная — солома-то не очень пойдет в дело» (влг.), «Женщина, которая родит без мужа, называлась соломенной вдовой. Ведь она и не мужняя жена, и не девица, и не вдова — как такую назвать?» (влг.), «Соломенная вдова всю жизнь без мужика жила, а детей нарожала, вот соломенная вдова, нарожала выбл...дков» (костр.) [СВГ 10: 75; ЛКТЭ; КСГРС];

- распутная женщина: *соломенная вдова* костр. ‘женщина, имеющая связи с разными мужчинами, распутная женщина’: «Соломенна вдова — которая жила с мужиком да ушла, и муж живой, как вдова. Дролю к себе водит» [ЛКТЭ]; влг. ‘вдова, отличающаяся распутным поведением’: «Соломенная вдова — это женщина без мужа. Соломенная — это значит ненастоящая, это любит многих мужиков, один был бы — дак настоящая бы и была» [КСГРС]; костр. *соломенная честь* ‘женщина, которая живёт с другими мужчинами в отсутствие мужа’: «Соломенная честь, с чужим мужиком живёт» [ЛКТЭ]; костр. *на солому ходить* ‘вести распутный образ жизни (о женщине)’: «Ну, баба, на солому ходит, бл...дует. Мало таких у нас-то» [ЛКТЭ];

- ребенок, рожденный вне брака: яросл. *солóменница* ‘о девочке, рожденной вне брака’ [ЯОС 9: 57–58; СРНГ 39: 293], костр. *солóменник* ‘внебрачный ребенок’: «В соломе нашли, дак соломенник», «Соломенника, крапивника без мужика родила, без мужа-то» [ЛКТЭ];

• родить внебрачного ребенка: костр. *в соломе найти* ‘родить внебрачного ребенка’: «В соломе нашла, под суслоном нашла, — подсуслонник-то», «В соломе нашла выбл. . . дка-то» [ЛКТЭ].

Как видно из этих примеров, выражения с «соломенными родственниками» крайне разнообразны. С точки зрения словообразовательной структуры здесь есть цельнооформленные лексемы (*солома, соломенник, соломенка, соломенница*); атрибутивные сочетания двух типов — с существительным *солома* в роли определяемого слова и прилагательным *соломенный* в позиции определения; глагольные конструкции с *соломой*-локусом (*найти в соломе, на солому ходить*), объектом (*солому вязать*) и даже частью предиката (*соломой остаться*). В плане семантики эти языковые единицы обозначают едва ли не все варианты аномалий в семейных отношениях, в том числе противоположные по смыслу — от распутной женщины и внебрачного ребенка до старой девы (холостяка). Выражения несут негативную оценку, которая подчеркивается использованием эпитетов (*гнилая солома*), сочетанием несочетаемого (*соломенная честь*), антитез (*солому вязать vs цветы рвать*) и др. Отметим, что практически весь «сноп» номинаций — достояние русских народных говоров (с широкой географией — Русский Север, Поволжье, Прикамье, Средний Урал, Западная Сибирь, а также говоры на территории Грузии, Карелии). Все это позволяет высказать предварительное заключение о том, что рассматриваемые лексические единицы с большой вероятностью являются исконными, т. е. возможность заимствования (калькирования) здесь минимальна.

Подобные по образности и семантике выражения фиксируются и в других языках, вот отдельные примеры: блр. туров. *солом’ены жэніх* ‘старый холостяк’: «Ек не жэніца до трыщаті год, то кажуць соломенны жэніх» [ТС 2: 75; 5: 71]; польск. *slomiany mąż* («соломенный муж») ‘о мнимом, ненадежном муже’ [НКРР 3: 230]; позд.-ср.-в.-нем. *ströbrüt* («соломенная невеста») ‘девушка, которая до свадьбы уже ждет ребенка’ [Pfeifer 2: 1745]; франц. *paillarde* («соломенница») ‘распутная женщина’, *paillard* («соломенник») ‘распутник’, *paillard* ‘распутный’, ‘вольный, игривый’, *paillasse* («соломенный тюфяк, подстилка») ‘дешевая проститутка, солдатская подстилка’, *faire la paillasse* («делать соломенную подстилку») ‘искать, поджидать клиента (о проститутке)’ [CNRTL: *paillasse, paillard*; АBBYU Lingvo x 5]¹¹⁰; карел. *olkihärkä* («соломенный бык») ‘старый холостяк’ [ФСКЯ: 144] и др. Как и в случае с русскими фактами, приведенными выше, данные лексические единицы имеют различия в структуре, семантике и организации образа: допустим, для значения ‘проститутка’ в основе образа — признак «та, которая “подстилается”», в то время как образ соломенного быка, привлекаемый для обозначения старого холостяка, основан на признаке «ненастоящий, мнимый,

¹¹⁰ В словаре «Trésor de la Langue Française...», данные которого приведены в «Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales» [CNRTL], указано, что *paillarde* (сущ. ж. р.) фиксируется с 1266 г.; *paillard* (сущ. м. р.) — с 1530 г.; *paillard* (прилаг. ж. р.) — с начала XV в.

малосильный»¹¹¹. О многоплановых возможностях образа соломы речь будет идти ниже, а сейчас нам важно отметить, что выражения со значением аномалий в матримониальных связях встречаются в различных европейских языках и, по всей видимости, являются в них исконными (по крайней мере, это можно предполагать относительно приведенных выше примеров).

4. Расширяя круг привлекаемых к анализу фактов, укажем, что, помимо образа соломы, в различных языках Европы встречаются **другие «растительные» образы**, служащие для выражения **представлений о матримониальных аномалиях**.

Так, в германских языках отмечаются «травяные вдовы (вдовцы, сироты)». Наиболее широкий спектр значений, судя по имеющемуся у нас материалу, это выражение имеет в английском: англ. литер., разг. *grass widow* ‘незамужняя женщина, имеющая связь с одним и более мужчинами’, ‘брошенная женщина или любовница’, ‘соломенная вдова (замужняя женщина, которая временно или долго живет без мужа)’, ‘разведенная женщина’, ‘мать-одиночка’, ‘женщина, прикидывающаяся, будто бы была замужем, но в самом деле не была, хотя имеет детей’ [OED-1989/6: 774; ABBYY Lingvo x 5], диал. ‘незамужняя женщина’, ‘распутная женщина’, ‘женщина, родившая вне брака’ [EDD 2: 709], литер. *grass widower* («травяной вдовец») ‘соломенный вдовец’, *grass orphan* («травяной сирота») ‘ребенок, чьи родители уехали на какое-то время’ [OED-1989/6: 771]. Ср. также ср.-н.-нем. *graswēdewe* («травяная вдова») ‘девушка, которая уже не является девственницей’ [Pfeifer 2: 1745], нем. *Grassbraut* («травяная невеста») ‘то же’, н.-нем., нидерл. *Graswitwe* («травяная вдова») ‘соломенная вдова’¹¹² [Kluge₂₄: 891], норв. *gressenke, gressenkeman*, дат. *græsenke, græsenkemand*, швед. *gräsänka, gräsänkling* («травяная вдова», «травяной вдовец») ‘соломенная вдова’, ‘соломенный вдовец’. Вопрос о соотношении «травяных» и «соломенных» выражений очень сложен, частично он будет затронут ниже.

Матримониальные аномалии могут быть выражены также с помощью образа в о л о к н а: пск. *волохняный жених* ‘вдовец, который собирается жениться (в противопоставлении *кожаному жениху* — молодому, холостому парню): «Вдовец-то — волохняный жаних, а такой — кожаный» [ПОС 4: 119; 10: 196]. В данном случае *волохняный* ← *волохно* ‘лен, очищенный от костры, чисто отрепанный и трижды вычесанный’ [ПОС 4: 118]. Волохно — то, что побывало в обработке, отрепано, — подобно вдовцу, который является женихом «не первой свежести»¹¹³.

¹¹¹ Как отмечает И. И. Муллонен (устное сообщение), карел. *olkihärkä* вписывается в семантику неполноценного, негодного, второсортного, свойственного образному употреблению карел. *olki* ‘солома’. Ср., к примеру, образ *olkinen ori* («соломенного жеребца») в «Калевале» (на нем Вяй-немейнен едет в Похьелу). Этот конь хилый, маломощный, кормленный соломой [Turunen 1979].

¹¹² Этот вариант не распространен в современном немецком, он является более ранним, чем *Strohwitwe* [Kluge₂₄: 891–892].

¹¹³ О восприятии вдовы и вдовца как чего-то «отработанного», вторичного, уже использованного (проявляющегося, к примеру, в рус. «На вдове жениться, как старые штаны вздевать, не вошь,

Фиксируется также образ от р е п ь е в, п а к л и: коми *торк дӧва* («вдова из отрепьев, отходов волокна льна и конопли, пакли») ‘женщина, муж которой долго отсутствует’ [КРК: 647].

Входит в этот образный круг и образ к о н о п л и: коми *пыш жӧник* («конопляный жених») ‘вдовец’ [КРК: 553].

Образ к р а п и в ы «специализируется» на обозначении ситуации внебрачных отношений (укр. *в кропиві шлюб брав* («в крапиве женился») ‘о внебрачной половой связи’ [Кабакова 2001: 155], рус. юж. *скакать в крапиву* ‘о нравственном падении девушки’ [СРНГ 15: 168]) и ее «актантов» — женщины, родившей вне брака (блр. диал. *кратиўница, подкратиўница* ‘женщина, родившая вне брака’ [Кабакова 2001: 155]), внебрачных детей (блр. диал. *крапивник, подкрапивник* [Там же], укр. полес. *кропивник, кропивниця* ‘внебрачный ребенок — соответственно, мальчик и девочка’ [Аркушин 1: 256], чеш. *narodily v kopřivách* («родились в крапиве») ‘о внебрачных детях’, диал. *kopřivník* ‘внебрачный ребенок’ [СД 4: 414], рус. диал. шир. распр. *крапівник*, сарат., твер. *крапівничек*, курск., новосиб., свердл., томск. *подкрапівник*, вят., ср.-урал. *крапівниця*, томск. *подкрапівниця* ‘девочка, рожденная вне брака’, курск., тульск. *подкрапівный* ‘внебрачный, незаконнорожденный’ [СРНГ 15: 169; 28: 489] и др.). Эти лексические факты прозрачны в плане мотивации: крапива как дикое, «неокультуренное» растение, воспринимаемое с негативной экспрессией, является локусом для «диких», незаконных любовных отношений. Подобные мотивировки особо характерны для номинации внебрачных детей: рус. костр. *полевик*: «Раньше в поле было зачато, то полевик, баба в поле нагуляла» [ЛКТЭ], новосиб. *подсуслӧнок*, новосиб., костр. *подсуслӧнник*¹⁴ [СРНГ 28: 208; ЛКТЭ], казан. *боровичок*, курск. *луговой*, петерб. *подъельняжник*, сиб. *подстожник*, яросл. *подкустарничек*, витеб. *конопельник*, болг. родоп. *шумник, шумляк, шумек* [СД 5: 414], блр. диал. *самасейка, насенник, грачышник, грачышница, кукурузник* [ЧТС: 41] (могут быть указаны и другие «незаконные» локусы — под забором, за углом, в овине и др.). С точки зрения типологии показательна внутренняя форма слова *bastard*, широко распространенного в западноевропейских языках: по одной из этимологических версий, это «рожденный в амбаре» [Klein 1: 152–153].

Таким образом, помимо соломы, в номинации аномальных матримониальных отношений участвуют другие «растительные» образы. Нелишним будет соотнести этот материал с фактами, которые приводились в начале данного параграфа, когда речь шла о разных способах воплощения семантики ‘женщина, чей муж временно

ин гнида укусит») говорилось выше (см. с. 274). Кожа, напротив, ассоциируется с физической силой: рус. брян. *как кожаной* ‘о физически крепком, здоровом человеке’ [БСРС: 267]. Ср. также влг. *кожа* ‘любовник’: «Я нажила себе кожу» [Дилакторский 2006: 199]. Об этом подробнее см. в параграфе 1.3, с. 94–95.

¹⁴Ср. диал. шир. распр. *суслӧн* ‘несколько снопов, поставленных в поле для просушки, сверху покрытых снопом’ [СРНГ 42: 303–304].

отсутствует' (за пределами «соломенных» фразеологизмов). Есть «нерастительные» (на первый взгляд) образы, которые имеют вполне ощутимые смысловые связи с «растительными»: немецкие и нидерландские «зеленые вдовы», финская «летняя вдова». Наличие таких образных переключек позволяет дать более точную интерпретацию целого ряда представленных фактов.

* * *

Переходя к семантико-мотивационной и лингвогенетической трактовке имеющегося материала, отметим, что в данной работе не ставится задача объяснить каждую приведенную лексическую единицу: это потребовало бы объемов отдельной книги. Задача исследования формулируется уже: определить, возможно ли возведение всех «соломенных вдов» в различных языках Европы к одному источнику, представить некоторые варианты интерпретации «соломенной» лексики, обозначающей матримониальные аномалии, а также высказать соображения о специфике лингвогенетического исследования в случаях, подобных рассматриваемому.

5. Ниже представлен обзор встретившихся нам **этимологических версий относительно «соломенных вдов»** (иногда — в их соотношении с «травяными»).

В подавляющем большинстве исследователи сходятся в том, что «соломенные вдовы» — калька из нем. *Strohwitwe* в различные языки Европы [Machek 1968: 551; Doberstein 1968: 282; Šmilauer 1938: 273; РФ: 83 и др.]. При рассмотрении немецкого источника (и близких выражений в других германских языках) встают следующие проблемы: во-первых, как соотносятся во времени различные значения фразеологизма — 'женщина, чей муж долго отсутствует' (фиксируется большей частью в литературных вариантах языков) и 'незамужняя женщина, имеющая связь с одним и более мужчинами' и т. д. (отмечается в разговорной речи и в говорах); во-вторых, как интерпретировать развитие значений; в-третьих, как объяснить мотивацию изучаемого выражения; в-четвертых, как связаны между собой германские «травяные» и «соломенные вдовы».

В литературе указано, что нем. *Strohwitwe* фиксируется позднее, чем *Graswitwe* («травяная вдова») [Kluge₁₉: 758; Kluge₂₄: 891; РФ: 83 и др.]. В качестве времени фиксации указывается 1598 г. для второго слова и 1715 г. — для первого [Kluge₁₉: 758; Röhrich 3: 1577; РФ: 83]. В английских этимологических исследованиях говорится, что у англ. *grass widow* значения 'распутная женщина', 'женщина, потерявшая девственность до свадьбы' или 'брошенная любовница', которые встречаются в народно-разговорной речи, возникли раньше, чем 'женщина, чей муж временно отсутствует' [OED-1989/6: 774; Klein 1: 676; Liberman 2009]. «Распутные» значения отмечаются у *grass widow* в тексте 1528 г., в то время как появление семантики 'соломенная вдова' датируется 1859 г. [OED-1989/6: 774; Liberman 2009]. Самым ранним фактом из этой группы считаются немецкие «соломенные невесты» (так обозначались девушки, сожительствовавшие с мужчинами

до свадьбы): они впервые упоминаются в документе, обращенном к пасторам, в 1399 г. [Kluge₁₉: 758; Liberman 2009].

Высказывалось мнение, что в англ. *grass widow* слово *grass* восходит к франц. *grace* ‘прелесть’ с исходным смыслом ‘courtesy widow’. Эту версию по праву отвергают — хотя бы потому, что у англ. *grass widow* есть точное соответствие в датском, немецком и нидерландском языках [OED-1989/6: 774–775; Liberman 2009].

Рассматривая мотивацию германских выражений, некоторые источники указывают, что в них отражен образ соломенной или травяной постели. Как интерпретировать этот образ? В [Klein 1: 676] нет более детальных пояснений. Гринберг выдвинул версию (оспариваемую Шоппе), согласно которой «соломенная вдова» отражает представление о женщине, которая покинута, оставлена мужем на соломе (см. об этом в [Šmilauer 1938: 273]). Аналогичная идея изложена в [Pfeifer 2: 1745]: нем. *Strohwitwe* читается как «женщина, в одиночку лежащая на соломе (т. е. ложе, постели)»¹¹⁵. В [OED-1989/6: 774; Liberman 2009] отмечено, что соломенное ложе составляет оппозицию супружеской постели, «фамильной кровати» (А. Либерман считает нелишним напомнить, что мотив встречи возлюбленных на лугу, когда их видят «только солнце, цветы и маленькая птичка», хорошо известен в немецкой лирике XIII в. [Liberman 2009]). Еще одна мотивационная версия такова: англ. *grass widow* ‘соломенная вдова’ впервые стало употребляться по отношению к женам военных, служивших в Индии. Пока мужья потели в жару, женщины ждали их на «зеленеющих лужках» (см. [Liberman 2009]). Кажется, из всех вариантов локативного прочтения образа соломы наиболее вразумителен тот, который предполагает оппозицию соломы и супружеской постели (это подтверждается и другими растительными образами, которые приводились выше: поле, луг, крапива и др.).

В ряде работ для объяснения интересующих нас выражений используются этнографические выкладки. Пытаясь установить, как связаны представления о падших женщинах с символикой соломы, исследователи привлекают данные о народных обычаях. Так, упоминается средневековый обычай в прирейнских городах, согласно которому девушку, родившую внебрачного ребенка, в наказание публично выставляли на позор с соломенным венком на голове. Ее называли *Strohbraut* («соломенная невеста») [РФ: 83; Михельсон 2: 295]. Говорится также о том, что немецкие девушки, которые шли к алтарю после потери девственности (именно эта ситуация обсуждалась в документе 1399 г., который был назван

¹¹⁵ Очевидно, это же имеет в виду Михельсон, который дает при дефиниции *соломенной вдовы* не совсем понятное пояснение — «женщина, временно оставшаяся без мужа (“при одной соломе”»)» [Михельсон 2: 295]. Далее в ряду сопоставлений, приводимых в словарной статье, он указывает: «Ср. старинный обычай стлать постелю новобрачным на ржаных снопах» [Там же]. Вероятно, его мысль следует понимать так: молодожены спят на соломе, а при отсутствии мужа жена остается только с соломой.

выше как источник с первым упоминанием «соломенных невест»), должны были носить на голове соломенный венок [Kluge₁₉: 758; Liberman 2009; Šmilauer 1938: 273 (изложение версии Г. Шоппе)]. Под окно таким женщинам иногда ставили *Stroh männer* — «соломенного мужа» [Kluge₁₉: 758]. У чехов фиксируется следующий ритуал: девушкам, которые утратили невинность до свадьбы, на вереву ворот прибивали соломенный венец [Machek 1968: 551; Němec, Horálek 1986: 193]. Такой венец образует своеобразную оппозицию с живым, зеленым венком «настоящих» (честных) невест [Machek 1968: 551]. В. Шмилауэр упоминает сilesкий обычай, описанный в 1824 г.: вдовы, которые вторично выходили замуж, должны были надевать соломенную шляпу. Таким образом, у «соломенной вдовы» исходным могло быть значение ‘вдова, которая вторично выходит замуж’ [Šmilauer 1938: 273]. Как указывают В. Д. Ужченко и Л. Г. Авксентьев, обычаи, подобные немецким, известны у восточных славян: так, на Западной Украине (Бойковщина), на женщин, забеременевших до брака, надевали чепцы из крапивы или соломенные венки — и так водили по селу или на посмешище всем выставляли в корчме [Ужченко, Авксентьев 1990: 91]. Таким образом, если принять, что исходно «соломенные вдовы» («невесты») и др. обозначали падших женщин, то в их наименованиях можно видеть отражение описанных выше обычаев. В то же время высказывается и некоторый скепсис по отношению к прямому прочтению изучаемых фразеологизмов в связи с этнографическими фактами. Так, в поздней (24-й) редакции словаря Ф. Клюге говорится, что язык не всегда дает подтверждение «растительных» ритуалов: нем. *Strohkranz* («соломенный венок») отмечен в языке, а травяной венок — нет¹¹⁶ [Kluge₂₄: 892].

Для того чтобы объяснить варьирование «соломы» и «травы» в германских языках, А. Либерман предлагает следующее решение: в английских диалектах *straw* и *grass* могут выступать как синонимы (это подтверждает, в частности, история слова *strawberry* ‘земляника; клубника’, прочитываемого как «травяная ягода», т. к. ягоды растут в траве). Когда англоговорящие заимствовали немецкое *Strohwitwe* (в XVI в. или раньше), они замещали *straw* на *grass*, что давало *grass widow* [Liberman 2009]. Ф. Клюге иначе восстанавливает путь образа: опираясь на «травяных вдов» в германских языках (например, англ. *grass widow*) и на нем. *Strohbraut*, «какой-то шутник» в XVII в. создал нем. *Strohwitwe* [Kluge₁₉: 759].

Если значения ‘падшая женщина’, ‘нечестная невеста’ объясняют обращением к народной культуре, то переход от них к ‘соломенной вдове’ большинство исследователей считает неясным (см. об этом в [Šmilauer 1938: 273; OED-1989/6: 774; Kluge₂₄: 891]). А. Либерман отмечает, что у «травяной вдовы» наблюдается

¹¹⁶ Ср. также свидетельство П. Нееды (устное сообщение): в старочешском языке не отмечены случаи употребления выражений типа «соломенная шапка (шляпа)» в связи с какими-либо народными ритуалами. «Соломенные шляпы» фигурируют только в бытовых контекстах (описывающих использование их для защиты от солнца).

необычное (для слов со значением ‘женщина’, ‘девушка’) движение коннотаций — скорее «вверх» (т. е. в положительную сторону), чем «вниз» [Lieberman 2009]. Для объяснения перехода значений Янко предлагает учесть символику временного, ненастоящего, фальшивого, связываемую с соломой, ср. коннотацию временности у нем. *Strohmann* ‘соломенный человек, чучело’, которая могла способствовать появлению *Strohwitwer* ‘соломенный вдовец’ и далее *Strohwitwe* ‘соломенная вдова’¹¹⁷. Показательны и чешские данные: чеш. *slaměný střelec* («соломенный слон») ‘ненастоящий слон, чучело в поле’, *slaměný redactor* («соломенный редактор») ‘ненастоящий, подставной редактор’ [Janko 1939: 2]. В. Махек тоже сближает чеш. *slaměný panák* и *slaměná vdova* по признаку ненастоящего [Machek 1968: 551]. В. Д. Ужченко и Л. Г. Авксентьев указывают, что в изучаемых фразеологизмах отражена идея отклонения от нормы — «ненастоящий, необычный», «обманчивый», «некрасивый», «нестойкий, несильный» [Ужченко, Авксентьев 1990: 92]. Однако, по мнению А. Либермана, хронология выступает против утверждения о том, что «соломенная вдова» появилась на основе «соломенного человека» (чучела): *Strohwitwe* фиксируется в немецком раньше, чем *Strohmann*. Следовательно, «соломенный человек» и «травяная вдова» (даже «соломенная вдова») никак не связаны друг с другом [Lieberman 2009]. Отметим «на полях», что для обозначения такой «народной» реалии, как соломенное чучело, вряд ли стоит придавать решающее значение датировкам в памятниках письменности. Широчайшая практика изготовления таких чучел фактически у всех земледельческих народов, их богатая культурная символика говорят о достаточной древности данного культурного знака (и, вероятно, его языкового обозначения).

Итак, в решении вопроса о происхождении изучаемых фразеологизмов много спорного и противоречивого. Не случайно в поздних (переработанных) версиях словаря Ф. Клюге статья о соломенной вдове выглядит иначе, чем в ранних изданиях. В частности, в ней проявляется более настороженное, чем раньше, отношение к этнографическим данным и указывается, что доказательная база этимологических решений не может быть сведена к общему знаменателю [Kluge₂₄: 891]. Наибольшее единство между исследователями наблюдается в определении путей распространения выражения в языках Европы (калька из немецкого источника). Лишь один источник (из известных нам) не поддерживает, кажется, версию о калькировании [Ужченко, Авксентьев 1990: 91–92]. Поскольку «соломенные вдовы» существуют в разных языках, авторы говорят о возможности «иррадиации некоего экстралингвистического “женско-соломенного выражения”». Однако «соломенными» могут быть не только вдовы, но и вдовцы, мужья, «кавалеры» и т. п. (кроме того, это прилагательное сочетается с обозначениями частей тела, абстрактных сущностей и т. п.),

¹¹⁷ Кажется, Янко — единственный автор, который утверждает, что, «по его мнению, чувству и вкусу», более логичен переход от «соломенного (т. е. неподлинного) вдовца» к «соломенной вдове» [Janko 1939: 2].

поэтому исследователи делают вывод о том, что изучаемый ряд фразеологизмов «формировался под сильным влиянием “диффузной транссемы” со значениями отклонения от нормы» [Ужченко, Авксентьев 1990: 91–92]. *Транссема* здесь — общая сема для фразеологии разных языков [Там же: 90] — и ее постулирование снимает, кажется, вопрос о калькировании. Сочувственно относясь к этой версии, считаем, что она, во-первых, нуждается в более развернутом обосновании и, во-вторых, недостаточна для решения поставленной проблемы.

6. По ходу подачи материала и представления этимологических версий уже были высказаны некоторые интерпретационные суждения автора данной работы. Изложим их более целостно.

Перед нами очень сложный, разноплановый процесс становления, развития и многократного перестраивания языкового образа, причем процесс этот не может считаться берущим начало из одного источника, он принципиально полицентричен. В данном процессе встречаются и сочетаются разные «волны»: с одной стороны, независимое возникновение номинаций, реализующих языковой образ, в различных языках Европы; с другой стороны, калькирование образного фразеологизма.

А. Существует **исконный для различных европейских языков образ «соломенной женщины»** (реже мужчины и детей), которой приписываются разного рода аномалии в семейной жизни. В пользу исконности значительной части изучаемого языкового материала (но не всего!) можно привести следующие аргументы:

- «соломенные родственники» исключительно пестры и многообразны в различных планах — структуры, семантики, мотивации, способов воплощения образа, — и невозможно себе представить, чтобы это многоголосие имело единственный источник;
- в ряде случаев изучаемые единицы фиксируются в народной языковой стихии, в диалектах разных языков, что уменьшает возможности калькирования;
- есть «соломенные» выражения, которые имеют более раннюю фиксацию, чем предполагаемый немецкий прототип: напомним, что самый ранний из немецких фактов, *ströbrüt*, датируется 1399 г., в то время как франц. *paillarde* ‘распутная женщина’ — 1266 г.

Специфика «соломенного» образа в том, что он может поворачиваться разными своими гранями, иметь различные мотивационные ракурсы, — и в этом вообще принципиальная особенность образной номинации. Отнюдь не всегда можно установить, какой именно мотивирующий признак породил ту или иную образную лексическую единицу: при порождении, а особенно при дальнейшем функционировании образа важен именно комплекс, в котором каждая новая денотативная ситуация может проставлять свои акценты. Ниже будут обозначены мотивирующие признаки, которые связывают образ соломы и представления об аномалиях в семейной жизни, формирующие значения анализируемых в данной работе лексико-фразеологических единиц. Выделяемые признаки

верифицируются большим числом примеров из разных языков. Верификация может быть осуществлена по двум направлениям: во-первых, для признаков, мотивирующих фразеологизмы с внутренней формой «соломенная вдова», обнаруживаются параллели среди «несоломенных» выражений с той же семантикой. Допустим, признак «временное, краткосрочное, недолговечное» находит прямое (необразное) воплощение во фразеологизмах с внутренней формой «временная вдова» (исп. *viuda interina* и др., см. выше). Во-вторых, признаки, положенные в основу «соломенных» выражений со значением ‘женщина, чей муж временно отсутствует’, имеют аналоги среди признаков, мотивирующих «соломенную» лексику с другими значениями. Так, признак «временное, краткосрочное» представлен в чеш. *slaměný* ‘непостоянный, недолговечный, временный’, польск. *ślomiany ogień* («соломенный огонь») ‘кратковременная вспышка’, *ślomiany pokój* («соломенный покой») ‘кратковременный покой (перемирие)’, венг. *szalmaláng* («соломенное пламя») ‘мимолетная вспышка, кратковременный взрыв энтузиазма’ и т. п. Подобные подтверждения для других мотивирующих признаков либо приводились в предшествующем тексте данного параграфа, либо легко могут быть найдены в словарях, поэтому далее иллюстративный материал будет опущен.

Вот перечень мотивационных линий:

- солома — нечто неценное, «бросовое», гниющее → «падшая» женщина, распутный мужчина;
- солома — нечто слабое, ненадежное, ненастоящее, эфемерное, фальшивое → «ненастоящая» вдова, жена, невеста;
- солома — нечто вялое, несвежее → старая дева, старый холостяк;
- солома — то, что обмолочено, «истрепано», «отработано» → женщина или мужчина, вторично вступающие в брак или имеющие повторную любовную связь;
- солома — нечто бесплодное, то, что противопоставлено зерну, т. е. урожаю, плодородию → старая дева, старый холостяк;
- солома — непостоянное, временное, недолговечное → «временная» жена, «временная» вдова;
- солома — то, что противопоставлено супружеской постели («законному» месту любовных отношений и зачатия детей) → о женщине (реже мужчине), которая вступает в любовную связь в «незаконном» месте;
- солома — то, что подстилают для спанья → женщина, которая «подстиляется» (распутная);
- солома — то, из чего делали соломенные куклы, чучела, заменяющие людей → подставное, фиктивное лицо → «временная» (соломенная) вдова;
- солома — материал, который поглощает что-либо, скрывает, ассоциируется с тайной → женщина, вступившая в тайную любовную связь;
- солома и трава — то, что связано с летними занятиями человека, с работой или отдыхом на природе → женщина, уехавшая на лето из города в деревню, на дачу (в то время как муж остался работать в городе).

Многогранность и выразительность образа соломы определяется главным образом связью этой реалии с основным занятием народов Европы — земледелием, откуда вытекает аксиологическая нагруженность соломы как культурного знака. Известное свойство языка — обращать особое внимание на негативный полюс тех или иных аксиологических оппозиций, тщательно разрабатывать именно его — находит в соломе наилучший материал для своего воплощения: солома — яркая антиценность, противопоставленная важнейшей положительной ценности, — хлебу. Важно учесть и широкое употребление соломы в быту (соломенные постели), в скотоводстве и строительстве, которое обеспечивает соломе видное (в том числе в буквальном смысле этого слова!) место в ближайшем предметном окружении человека и, соответственно, делает ее образ неизменно актуальным и готовым к использованию в различных знаковых ситуациях. Особенно убедительны выразительные возможности этого образа по отношению к женщинам (общая негативная оценка, мотив «антиплодородия», «постельная» тема).

Помимо языка, солома как знак фигурирует во внеязыковых культурных кодах — в первую очередь, в сфере ритуала. Примеры такого рода, попавшие в этимологические исследования, были приведены выше. Представим еще некоторые примеры, демонстрирующие использование различных соломенных символов в славянских народных ритуалах для выражения осуждения, порицания. Это главным образом порицание тех, кто нарушает нормы в матримонильной сфере:

- осуждение нечестных невест, распутных женщин: нечестную невесту жених «украшал» соломой или мочалом и выводил к родителям; ей подбрасывали куклу из соломы (рус. урал.); отцу такой невесты надевали соломенный хомут (укр. подол.); в Каринтии девушки таскали по селу бревно, на котором сидела обвешанная цепями соломенная «девушка» (символизировавшая нечестную невесту), а парни подгоняли процессию кнутами; в Хорватии в наказание за тайную любовь девушке вешали на ворота соломенного мужика [СД 5: 110];

- осуждение старых дев и холостяков: в Польше в последний день масленицы замужние женщины ловили холостяков и надевали на них венки из гороховой соломы, «венчая» их таким образом [Агапкина 2002: 241–242]; в конце Великого поста к дому холостяков подкидывали соломенное чучело Марены, наряженное невестой (морав.) [СД 5: 455]; о девушке брачного возраста, не вышедшей замуж, поляки говорили, что она не стоит «снопа вымолоченной соломы»; у русских Пермской области зафиксирован пасхальный обычай *лежать на соломе*, который предписывалось исполнять старым девам; ряженные «дед» и «баба» хлестали холостую молодежь кнутами из гороховой и житной соломы (польск., окрестности Кельце); в Моравии на масленицу парни возили в санях кукол из соломы, изображающих незамужних девушек, а затем топили в пруду;

в Словении к воротам девушки, отказавшейся от замужества, подбрасывали мешок, набитый соломой [СД 5: 110]¹¹⁸. С большой степенью вероятности можно предполагать, что подобная культурная символика может оказать влияние и на языковую семантику.

Возвращаясь к особенностям языковой реализации образа соломы по отношению к матримониальным аномалиям, отмечу, что выделенные выше мотивы в некоторых случаях могут быть выстроены хронологически (речь идет в первую очередь об относительной хронологии). Следует согласиться с теми, кто считает, что блок тесно связанных друг с другом значений 'нечестная невеста', 'распутная женщина', 'женщина, родившая внебрачного ребенка' появился раньше, чем 'женщина, чей муж временно отсутствует'. Аргументация приводилась выше: фиксация этих значений в народной речи, их широкое распространение, данные абсолютной хронологии. Надо учесть и «бытийный» аргумент: образ жизни супругов, при котором актуальна ситуация временного отсутствия одного из них, получил наибольшее распространение с ростом городов. Разумеется, расставания супругов в связи с уходом мужа на солдатскую службу, на отхожие промыслы и др. — не редкость и для деревенской жизни, но масштабы таких явлений в деревне и в городе разнятся. Поэтому значение 'женщина, чей муж временно отсутствует' стало особенно востребовано европейскими языками, думается, в последние два века. Более всего этого относится к такому мотивационному «развороту» этого значения, как «женщина, уехавшая на лето из города в деревню, на дачу». Релевантность данного мотива языковому материалу наиболее явно просматривается в выражениях с внутренней формой «травяная вдова», «зеленая вдова», функционирующих в германских языках, а также в образе «летней вдовы», который фиксируется в финском (тесные языковые контакты позволяют предполагать возможность германского влияния на финский фразеологизм, хотя не исключено и его независимое развитие).

Итак, образ соломы может быть использован при номинации различных аномалий в семейной жизни, при этом связи и переходы между значениями лексических единиц, отражающих эти аномалии, вполне объяснимы: в народной культуре практически любое проявление семейной антинормы получает негативную оценку (см. статьи «Безбрачие», «Вдовство», «Ребенок внебрачный», «Сирота», «Старая дева», «Холостой» в [СД 1: 147–148, 293–297; 4: 414–415, 641–642; 5: 155–157, 454–455]). Социально ущербны фактически любые носители антинормы — даже

¹¹⁸ Соломенные символы используются для выражения порицания не только в матримониальной сфере, но и вообще в широком спектре социальных отношений: так, на Русском Севере на полосы соседей, запаздывающих с жатвой, в знак насмешки ставили кол с пучком соломы (это называется *поставить килу*) [КСГРС], а отставшему при вывозе навоза кидали на телегу куклу из травы со словами *кила тебе* [Морозов, Слепцова 2004: 340]; в Болгарии (Странджа) на масленицу мужчины поджигали старую корзину, набитую соломой, и выкрикивали осуждения-проклятия в адрес провинившихся односельчан [СД 5: 110].

такие, казалось бы, крайние противоположности, как распутная женщина, нечестная невеста и старая дева. Не случайно они могут получать идентичные наименования, ср. значения рус. диал. *браковка* (= «забракованная»): иркут., калуж., перм. ‘не вышедшая замуж девушка’ [СРНГ 3: 147] и костр. ‘нечестная невеста’ [ЛКТЭ]. Экспрессия, сопровождающая представления о семейной антинорме, тоже цементирует комплекс «аномальных» значений и способствует переходу одного из них в другие. Возможности образа соломы, соединяющего в себе «постельную тему», идеи пустого, бесплодного, ненастоящего и др., таковы, что он может «обслужить» фактически все разнообразие семейных аномалий.

Переводя рассуждения в плоскость лингвогенетического анализа, следует еще раз подчеркнуть, что языковые образы соломенных женщин могли возникнуть в разных языках Европы независимо друг от друга. Это особенно справедливо по отношению к немецкому, французскому и восточнославянским языкам.

Б. Нельзя не признать, что параллельно независимому развитию образа в различных языках разворачивается **процесс фразеологического калькирования**, который захватывает преимущественно литературные подязыки в составе разных национальных языковых традиций. Как представляется, калькированию подвергается только значение ‘женщина, чей муж в отъезде’, реализуемое структурно идентичными атрибутивными сочетаниями с внутренней формой «соломенная вдова». Калькирование является единственно возможным путем появления «соломенных вдов» в тех языках, где есть другие способы выражения изучаемой семемы (например, в сербском, где «соломенная вдова» накладывается поверх «белой», пользующейся большей известностью). По всей видимости, центров калькирования несколько — не только первичный, но и вторичные: допустим, в коми изучаемое выражение могло попасть из русского.

* * *

Необходимо заключить, что судьба «соломенных вдов» в различных языках показывает, что эволюция отдельных языковых фактов может повторять в миниатюре эволюцию языка вообще, где дивергентное развитие из единого центра (условно «шлейхеровское») сочетается с волновым развитием (условно «шмидтовским») ¹¹⁹. Особенно это справедливо для образной лексики и фразеологии, поскольку жизнь образа имеет волновую природу, состоит из сложных сочетаний поворотов образа, «наплывающих» один на другой. Эта модель противится одноосновным классификациям и жестким, «точечным» выводам, которые иногда любимы этимологией, но только так, кажется, можно объяснить историю «соломенных вдов».

¹¹⁹ Хочется выразить сердечную благодарность Ж. Ж. Варбот, которая провела эту аналогию (видимую автором книги тогда весьма нечетко) во время обсуждения доклада, легшего в основу данной работы, на конференции «Etymologické simposion 2011» (Брно, 06.09.2011).

Раздел III

СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НОМИНАЦИИ

Данный раздел, как и предыдущий, посвящен анализу обширных лексических объединений, возникших в результате вторичной номинации. Но, в отличие от предыдущего раздела, отправной точкой исследования является не донорская область номинации, а принимающая, реципиентная. В ходе исследования выбирается значение или группа значений — и ведется поиск лексики, которая отвечает данному смысловому «запросу», осуществляя его «оязыковление». Иначе говоря, анализ начинается от заданной сферы значений и восстанавливает звенья процесса номинации в обратном порядке, поскольку первый аналитический шаг — выявление лексических единиц, которые выражают заданные значения как вторичные, а следующий — определение мотивирующих кодов, лежащих в основе изучаемой лексической группы.

Когда семантико-мотивационный анализ ведется от слова или от группы слов, мы изначально имеем в ы д е л е н н ы й л е к с и ч е с к и объект реконструкции: к нему подбираются параллели, контексты и осуществляются иные исследовательские процедуры. В том случае, когда анализ берет начало из области значений, лексические объекты реконструкции изначально не представлены. Анализ, как говорилось выше, разворачивается ретроспективно по отношению к процессу номинации, но саму реконструкцию при этом можно назвать «перспективной» (как ни оксюморонно это звучит): зная «на старте» только смыслы, мы не можем заранее предположить, какая из выражающих их лексических единиц окажется «темной». В то же время сам подбор лексем уже есть половина реконструкции, поскольку он предоставляет в распоряжение исследователя как «темные» слова, так и проясняющие их параллели.

Разумеется, «собрать», отталкиваясь от значений, и подвергнуть реконструкции можно любое лексическое поле. Но в целях, поставленных в настоящей

монографии, необходимо выбрать значения, воплощаемые в разнообразных лексических манифестациях, которые входят в разные мотивирующие коды, представлены как цельнооформленными лексемами, так и фразеологизмами, дают — в числе прочих — нестандартные (главным образом метафорические) семантические переходы. Отсюда вытекает, что это должны быть значения скорее абстрактные, нежели конкретные, а также скорее экспрессивные, дающие качественную характеристику объекту, нежели нейтральные и терминологические. К примеру, если значение 'чай' воплощается одной базовой лексемой-гиперонимом и несколькими гипонимическими терминологическими сочетаниями, называющими виды чая, то значение 'некрепкий чай' выражается множеством лексем и фразеосочетаний, которые образно или экспрессивно характеризуют цвет, консистенцию, вкус чая, свойства того, кто его приготовил, и т. п. Именно такое лексическое поле наиболее интересно для семантико-мотивационной реконструкции.

Подробнее других в этом разделе изучается группа **метаязыковых значений**, т. е. таких, которые воплощают наивные представления о различных сторонах речевой деятельности (параграф 3.1).

Воссоздавая окружающий мир, язык описывает и самое себя, причем такое отражение может быть и «прямым», и метафорическим, закрепленным в метаязыковых метафорах. Несмотря на то, что к подобным приемам часто прибегали классики лингвистической науки (достаточно вспомнить насыщенные метафорами тексты Соссюра или Шлейхера), роль метаязыковых метафор для понимания сущности языка, как представляется, пока остается недооцененной. Особенно это касается «наивной» метаязыковой (и в то же время лингвокреативной) деятельности.

Будучи одновременно способом познания действительности и способом репрезентации результатов этого познания, метаязыковая метафора хранит комплекс представлений о процессе речи и системе языка. С ее помощью означиваются разные компоненты ситуации коммуникации: участники коммуникации, сам процесс речи и его свойства, результат речи и т. д. Различны и предметно-тематические группы лексики, являющиеся источниками метафорических переносов. Материал показывает, что в русской народной языковой традиции (диалектах, общенародном языке, просторечии, а также некоторых социолектах), как и в других славянских традициях, наиболее продуктивной можно считать «прозвенную» метафору, позволяющую описать речевую деятельность через процессыковки, литья, лепки, деревообработки, шитья, приготовления пищи и др. (параграф 3.1.1). В ходе анализа выявляется состав лексических единиц, реализующих «строительный», «земледельческий», «столярный» и другие коды; определяется характер реципиентной семантики (как правило, она отражает представления о негативно оцениваемых и экспрессивно воспринимаемых речевых действиях); дается характеристика тех свойств речи, которые отражаются в метафорических

номинациях (связность, линейность, спонтанность и т. п.). Важную роль играет анализ причин, определяющих выбор того или иного «производственного» образа, признака номинации, а также значений метафорической лексики. Такой анализ помогает охарактеризовать особенности восприятия языка, свойственного носителю устной его формы, которые во многих чертах отличаются от метаязыкового сознания носителя книжной речи. Так, и в книжной речи, и в народной широко используются образы из строительной сферы. При этом в книжной традиции видное место занимают образы, демонстрирующие восприятие готового текста как здания, некоторого законченного сооружения, — в то время как народный взгляд не является «архитектурным», для него наиболее важна «орудийность» слова, которая обнаруживается в столлярно-плотничьих образах (сиб. *колоть без топора* ‘говорить четко и убедительно’, пск., твер. *звоздануть* ‘сказать остроумно, метко’, простореч. *снимать (снять) стружку с кого-л.* ‘ругать, отчитывать кого-л.’, арх. *оболванить слово* ‘обронить слово’ и т. п.).

В параграфе 3.1.1 дается панорамный обзор «технологических» метафор речевой деятельности, а в параграфе 3.1.2 анализируется один метафорический ряд — «тканевой». Изучаются различные речевые характеристики, образованные от рус. *шерсть, байка, шуба* (‘шерсть’), *сукно, шелк, бархат, вата* и т. п., в ряде случаев привлекаются их соответствия в славянских, романо-германских и финно-угорских языках. Ср. некоторые «шерстяные» образы: влг. *шерстяной язык* ‘о речи, содержащей недоброе предсказание’, арх. *дикошёрстный* ‘болтливый’, укр. *шерсткий* ‘негладкий (о произношении)’, чеш. *narostou mi chloupky na jazyku* («у него выросли шерстинки на языке») ‘о том, кто сделался молчаливым’, англ. *woolly voice* («шерстяной голос») ‘сиплый голос’, нем. *Haare auf den Zähnen haben* («шерсть на зубах иметь») ‘быть бойким на язык’, коми литер. *гöна кывья* («с покрытым шерстью языком») ‘косноязычный’ и др. Здесь наше внимание сосредоточено на том, как создается многогранность образа, его способность учесть целый комплекс признаков реалии. Образ *шерстяного (шубного) языка* является центральным в рассматриваемом «тканевом» ряду, именно он помогает предложить интерпретацию спорного в этимологическом плане выражения *байковый язык*, которое характеризует речь петербургских мазуриков. Изучается вопрос об исконном или заимствованном (из финно-угорских источников) происхождении «шерстяной» метафоры речи в русских говорах, для чего анализируются лингвогеографические характеристики фразем, а также особенности их функционирования в славянских и финно-угорских языках.

Если в параграфе 3.1.2 детально рассматривается один ряд образов (выражающих разнообразие значения из сферы речевой деятельности), то в параграфе 3.1.3 ограничение накладывается не на образную, а на собственно семантическую сферу: выбирается одно значение — *н е п р и с т о й н о й б р а н и*. Анализируются разные коды, выражающие семантику брани (цветовой, пищевой, растительный, анималистический и др.), при этом между ними устанавливаются различия

и схождения (к примеру, признак речевого «излишества», нарушения повседневной нормы реализуется как в «масляной» метафоре мата, так и в «шелковой»). Среди исследуемых слов и выражений есть прозрачные, а есть мотивационно неясные, «читаемые» только с привлечением широкого культурного контекста, ср. влг. *ржаная песня* ‘песня с обценными словами и сексуальной тематикой’ — *пшеничная песня* ‘песня без обценной лексики и сексуальных тем’.

В параграфе 3.1.4 тоже рассматривается метаязыковая проблематика. Изучается ситуация языкового испытания в народной культуре — игровая ситуация, являющаяся способом проверки языковой компетенции участников коммуникации. К примеру, когда деревенская бабушка просит внука, приехавшего к ней из города, принести что-либо «с моста», она намеренно играет междиалектной полисемией слова *мост*: понимая, что внук знает только «городское» значение (*мост* на реке), бабушка использует «деревенское» (*мост* в доме), чтобы показать внуку различия между литературной лексикой и диалектной и постепенно учить его последней. Мы постарались собрать описания подобных ситуаций в русском и польском фольклоре и прокомментировать их. Описывается круг языковых явлений, обыгрываемых в таких ситуациях, дается характеристика особенностей языковой компетенции их участников, определяются интенции говорящих и др. Казалось бы, данный параграф выбивается из общего контекста книги, но это не так. Несмотря на то, что в ходе исследования не выстраиваются лексические ряды, не воссоздаются гнезда или поля, не реконструируются метафорические коды, изучение этого материала говорит о значимости метаязыковых свидетельств при воссоздании семантической жизни слова. Такие свидетельства помогают определить границы полисемии и омонимии, установить факт наличия или отсутствия у слова экспрессивной окраски и т. д.

Следующая группа сюжетов, рассматриваемых в разделе (параграф 3.2), связана с **обозначениями некачественной пищи** — а именно пустого (пустого, не содержащего мяса, сметаны и т. п.) супа и некрепкого, слабо заваренного чая. Эти узкие и частные, вроде бы, смысловые «запросы» вызывают мощную лексическую «реакцию»: только в русских говорах и просторечии насчитывается несколько десятков обозначений этих продуктов. Они в большинстве своем ярки, образны, несут сильный заряд экспрессии (как правило, негативной). В них находят отражение как вполне ожидаемые свойства блюд: цвет, запах, консистенция, состав, способ их приготовления и даже последствия поедания (эти объективные свойства, как правило, субъективно переосмысляются в номинациях), — так и довольно неожиданные характеристики: например, имя неудачливого «повара», которому приписывается приготовление пустого супа или слабого чая (ср. перм. *агапин чай*, арх. *устиньина ботвинья*, *алькина уха*, *васькина уха*, *демьянова уха*, *егоркова крошанка*, *улина уха*). Наименования этих продуктов рисуют выразительную картину народной жизни, указывая, к примеру, на привязку неполноценной пищи к голодным временам, имеющим определенное «политическое лицо»

(арх. *сталинская уха*, *советская уха*, влг. *председателей суп*, простореч. *керенский чай*, *гайдаровский суп*), на социальный статус тех, кто ест такую пищу (простореч. *суп с молитвой*, арх. *монастырский суп*, влг. *крестьянский суп*, простореч. *арестантский суп*), и др. Этот материал имеет очевидную историко-культурную ценность, а кроме того, в ряде случаев содержит мотивологические и этимологические загадки. Самую сложную из них, кажется, таит рус. простореч. *рататуй* (*ритатуй*, *ракатуй* и др.) ‘пустой суп’ (см. 3.2.2). Звуковые и смысловые ассоциации соединяют это слово с целым рядом других лексических единиц, среди которых, например, рус. влг. *тратата*, *трататуй* ‘бурда, невкусное варево’, польск. *ratatajka* ‘похлебка на горячей воде с мукой’, кашуб. *rututu* ‘картофельный суп’, франц. *ratatouille* ‘варево, плохо приготовленное рагу’ и даже болг. *таратор* ‘холодный постный суп’. Делается попытка определить, какие из этих ассоциаций этимологически релевантны.

В параграфе 3.3 в центре нашего внимания — слова и выражения, обозначающие **скорость действий или движений**, в основе которых наименования различных видов трудовой, хозяйственной, бытовой деятельности человека. Иначе говоря, изучаемые лексические единицы отражают представления о своеобразных эталонах выполнения действий с какой-либо скоростью (как правило, медлительных). Такими эталонами являются, к примеру, конопачение, выкапывание растения марены, пастушество, ловля рыбы саком, золотошвейное дело: об этом говорит внутренняя форма рус. диал. *конопатиться*, *марену копать*, *коноводиться*, *сакать*, простореч. *канителиться*, имеющих значение ‘делать что-л. долго и медленно’. В ходе исследования определяется круг слов, обозначающих подобные действия, осуществляется их мотивационная интерпретация, выясняются закономерности отбора «скоростных» эталонов, которые помогают понять народную аксиологию работы и «неработы».

3.1. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА И ТЕКСТА

3.1.1. «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ» МЕТАФОРА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Различные стороны физической и духовной жизни человека могут осмысляться в рамках «производственной» («технологической», «ремесленной») метафоры, представляющей их в терминах ткачества, кузнечного, гончарного дела, строительства и др. Сам человек в метафорическом изображении тоже предстает «сделанным» — «сшитым», «выгесанным», «кованым» и т. п. (см. об этом в [Толстая 2008: 297–308]). Чаще всего производственная метафора описывает

речевую деятельность, которая воспринимается наивным сознанием как наиболее «рукотворная». Примеры метафорических номинаций такого рода на материале славянских языков см. в [Мечковская 2000: 376–377; Седакова 2007а: 166–167; Пурицкая 2009; Шмелева 1998; Maćkiewicz 1999: 34–35, 56–58; Vaňková 2007: 125, 143, 145 и др.].

Метафорическая лексика с метаязыковой семантикой помогает реконструировать наивный образ языка. В его основании — наиболее древние модели, к которым относятся, к примеру, метафоры плетения и молотьбы: в литературе не раз отмечалось, что вторичное значение говорения фиксируется у глаголов **plesti* ‘плести’ и **melti* ‘молотить’ на праславянском уровне и имеет индоевропейские параллели. Древние модели со временем расширились и детализировались (а некоторые из них, наоборот, утратили актуальность), появились новые, — и рисуемая ими картина, представляющая говорение как производственный процесс, вариативна не только во времени и пространстве, но и в социуме. У разных групп говорящих складываются не совпадающие во многих деталях образы языка, причем различия касаются, во-первых, выбора оснований для метафорического переноса (в нашем случае — набора обозначений актуальных производственных процессов, ремесел); во-вторых, восприятия реципиентной сферы, т. е. самого языка (его устройства и функций). Очевидно, и первое, и второе будет отличать народную традицию от книжной: носители народной традиции имеют дело с «деревенскими» видами деятельности, что диктует особый подбор донорских сфер для метафорических переносов; кроме того, они ориентированы преимущественно на устную форму языка, что не может не отразиться на общих представлениях о нем.

Сказанное определило выбор материала для данного параграфа. Рассматриваются факты метафорической лексики и фразеологии (паремиологии), функционирующие в русском языке, при этом упор делается на народную языковую стихию, оперирующую наименованиями ремесел и традиционных производственных процессов, которые отражаются в говорах и общенародном языке. Не принимаются во внимание обозначения отдельных неспециализированных действий — сжигания, резания, хлестания и пр., хотя они тоже дают дериваты в сфере речевой деятельности.

В качестве донорских сфер для «производственных» обозначений речевой деятельности в русских говорах и общенародном языке выступают такие сферы, как «Плетение, прядение, ткачество, шитье», «Столярное, плотницкое дело, строительство», «Приготовление пищи», «Земледелие», «Обмолот и обработка зерна», «Кузнечное дело, обработка металлов», «Гончарное производство», «Обработка льна», «Кожевенное производство, обработка шкур», «Прачечные работы». Наибольшим разнообразием в плане образной разработки отличаются первые три сферы. Рассмотрим их подробнее.

ПЛЕТЕНИЕ, ПРЯДЕНИЕ, ТКАЧЕСТВО, ШИТЬЕ

Вынесенные в заголовок процессы дают разнообразные продукты и технологически весьма различны, однако имеют общую основу — сгибание и переплетение материала. Отсюда вытекает сходство метафорических моделей, базирующихся на обозначениях этих процессов, и возможность совместного их рассмотрения.

Метафору плетения, прядения и др. можно рассматривать по двум ее основным составляющим — процессуальному и орудийному. Наибольшей детализированностью отличается процессуальная составляющая.

В языке отражены разные стадии процесса плетения или шитья. Вступать в беседу — значит начать завязывать нити, ср. литер. *завязывать разговор*. Течение речи основано на соединении, сплетении элементов друг с другом, собирании их воедино, при котором материал закреплен, не расходится, что делает конструкцию *связной*, ср. простореч. *вязать сказку, беседу* ‘складно, без затруднения говорить, связно рассказывать’, пск. *как верёвки вить* ‘о расплеваемых одна за другой в большом количестве песнях’ [СППП: 89], арх. *плетение* ‘рассказ, говорение’ [СРНГ 27: 125], новг. *с песочку верёвку свить* ‘наболтать, насплетничать, наговорить пустое, наврать’ [СРНГ 36: 275], карел. *кропáть* ‘говорить, рассказывать, сообщать’, ‘сочинять, складывать (о частушках, песнях)’, ‘петь’ [СРГК 3: 25] (← устар. и обл. *кропáть* ‘шить, чинить (одежду)’ [ССРЛЯ 5: 1070]), простореч. *сучить языком* ‘болтать попусту, тратить время на пустые, ненужные разговоры’, влад. *сучить* ‘повторять, твердить одно и то же’ [СРНГ 43: 34], мордов. *языком тростить* ‘говорить вздор, чепуху’ (ср. *тростить* ‘свивать две нити в одну, сучить’) [СРГМ 2: 1342] и др. Интересно, что на основе метафоры шитья может возникнуть и «эксклюзивное» для говоров значение глагола *кропать* — карел. ‘собирать (слова)’, характеризующее не диалектную речь, а работу исследователей — собирателей полевого материала — и оживляющее восприятие шитья = говорения как «сборки»: «Идите по деревне да кропайте слова» [СРГК 3: 24]. Завершение говорения приравнивается к «привязыванию» языка (пск. *хоть привяжи язык* (шутл.) ‘о человеке, который слишком много говорит, болтает’ [СППП: 83]), а неспособность соединять слова есть неспособность вязать (простореч. *лыка не вязать* ‘быть неспособным говорить связно, вразумительно’, литер. *разговор не вяжется*, разг. *трех слов связать не может* ‘о том, у кого бедная речь’, перм. *нити не вязать* ‘быть не в состоянии сказать ни слова от сильного опьянения’ [БСРП: 436]).

«Линейность» шитья, плетения и др., быстрота однотипных и мелких движений, приводящих к увеличению «продукта», проецируется на линейность речи, ее скорость и «количество» (если оно велико, то возникает семантика многословия, болтовни), ср. литер. *строчить* ‘быстро говорить или писать’, *тачать* ворон., дон. ‘говорить, рассказывать, болтать’, курск. ‘шутить, балагурить’, ворон., орл., терск. ‘петь (песни, частушки)’, кубан. *басни тачать*

‘пустословить, попусту болтать’ [СРНГ 43: 314–315], карел. *кronátъ* ‘болтать, пустословить’, ‘говорить неправду, выдумывать’ [СРГК 3: 25], влг. *перемóты вить* ‘вести бесполезные разговоры’ [СРНГ 26: 167], пск., твер. *смóтки* ‘сплетни, пересуды’ [СРНГ 39: 48] и др. При вышивке, вязке выдерживается определенная форма переплетений, создается узор, что ассоциируется с красивой, интересной речью: перм. *языком кружева́ плести* ‘о том, кто обладает красноречьем’, *тонко вязать* ‘интересно, затейливо рассказывать’ [ФСПП: 274, 75]. Вместе с тем «мелочность» движений при шитье и особенно штопке может дать ощущение медлительности и неумелости, ср. литер. *кronать* ‘сочинять что-л. неумело и с трудом’ [ССРЛЯ 5: 1070].

Плетение, вязка представляет собой изгибание материала, а это может переосмыслиться как уход от «прямого» разворачивания мысли — «забалтывание», пустословие, запутывание, говорение неправды: *плести* разг. ‘говорить что-н. глупое, несуразное’, простореч. ‘говорить неправду, возводить клевету’, литер. *сплетня*, арх. *плетёха* ‘нелепица, небылица’ [СРНГ 27: 125], омск. *корзину плести* ‘обманывать, врать’, арх. *по картинкам плести* ‘говорить чушь, ерунду’ [Там же: 118–119], народн. *плести кошелёй с лаптями* ‘лгать, обманывать кого-л.’ [БСПП: 324], омск. *целы лапти наплести* ‘наговорить вздору’, *верёвки вить* ‘говорить вздор, наговаривать’, ‘пустословить, запутанно говорить’ [ФСРГС: 28, 119] и мн. др. Пустая болтовня иногда осмысляется и в терминах некачественного прядения: перм. *ватóлить* ‘плохо прясть, делать грубую толстую нить’ → ‘говорить что-л. незначительное’ [СПГ 1: 78]. Излишнее изгибание, «заплетание» может пониматься и как непреднамеренно затрудненная речь, ср. разг. *заплетаться* ‘с трудом двигаться, ворочаться (о языке)’.

Кроме собственно переплетений, процесс вязания предполагает *з а в я з ы в а н и е у з л о в*, которое ассоциируется со смысловой кульминацией речи, выводами из сказанного, ср. поговорки: «Полно путать, пора узлы вязать», «Полно мотать, пора узел вязать» [Даль ПРН 1957: 278]. Лишние узлы и петли могут дать ощущение негладкости, невразумительности речи (костр. *одни узлы вязать* ‘говорить запутанно’ [ЛКТЭ]), ее неправдоподобия (тюмен. *петель напетлять* ‘придумать что-то удивительное’ [Лютикова 2000: 115]). «Узловатая», особо акцентированная речь — грубая, непристойная: ср.-урал. *завязывать, матюки завязывать* ‘ругаться’: «Брат начнёт как завязывать, всех из дому разгоняет, кричит» [ДЭИС]. Перевязывание, завязывание, останавливающее свободный ход нити, может означать и остановку в речи: б. м. *перемóта положить* ‘заставить замолчать, «перевязать язык»’ (ср. *перемóт* ‘перевязка, обвязка, обматывание’) [СРНГ 26: 167]. Наоборот: развязывание нитей означает «высвобождение» речи (литер. *язык развязался* ‘о том, кто разговорился, начал много говорить (после молчания)’), устранение жестких связей → говорение того, что за рамками дозволенного, ср. простореч. *язык совсем развязался* ‘о том, кто говорит не то, что нужно, лишнее’, перм. *язык расплёлся (расплетётся)* ‘кто-л. много говорит, пустословит’ [ФСПП: 430].

Продуктивность ткаческо-прядельной метафоры определяется и тем быт и й н ы м с ц е н а р и е м, в рамках которого разворачивается прядение. Зачастую это труд коллективный (ср. диал. шир. распр. *сўпрядка*, *сўпрядки* ‘молодежная вечеринка, посиделки, где девушки прядут пряжу и развлекаются’ [СРНГ 42: 266–268]), причем его условия (вечернее сидение за прялками) наилучшим образом способствуют долгим разговорам. Отсюда влг. *супрядка* ‘разговор’ [Там же: 268], арх. *сўпрядки* ‘долгие разговоры, болтовня’ [КСГРС]. Эта модель работает и в обратном направлении, ср. диал. шир. распр. *беседа* ‘посиделки, сбор женщин и девушек в осенние и зимние вечера, когда прядут, вяжут, «ведут беседу»’ [СРНГ 2: 262], а также карел. *прядёна беседа*, *прядимая беседа* ‘то же’ [СРГК 1: 68].

Несмотря на сходство процессов плетения, прядения и шитья, последнее имеет и ряд специфических моментов. Шитье предполагает п р о к а л ы в а н и е о т в е р с т ь и острым инструментом, что при «переводе» в метаязыковую плоскость понимается как произнесение «острых» = остроумных слов (курск. *подшивать языком* ‘подтрунивать, острить’ [СРНГ 28: 256]) или как ругань (с модификациями в сторону злословия либо поучения): влг. *шить* ‘ругать, бранить’, *исшить* ‘изругать’ [СВГ 12: 93], арх. *пошить* ‘сделать строгое словесное внушение, отчитать за совершение неблагоприятных поступков’ [Нефедова 2001: 93], влад., твер. *прошивать* ‘ругать, бранить, пробирать’ [СРНГ 33: 48], сиб., юж. *перешивать кого-л.* ‘злословить, сплетничать’ [СРНГ 26: 278], *строчить* бурят., влг., краснояр., перм., сиб., ср.-урал. ‘бранить, отчитывать кого-л.’, свердл. ‘стро-го наставлять, учить кого-л.’ [СРНГ 42: 31–32], новосиб. *отстрочить* (кого) *как на мелкой иголке на машинке* ‘о человеке, дерзко отвечающем кому-л., резко «отбрывающем» кого-л.’ [БСРС: 230], иван. *приштонать* ‘распечь, разругать, устрашить’ [СРНГ 32: 71], пск. *скроить в маточку* ‘выругать, нецензурно выразиться в чей-л. адрес’ [СППП: 52]. Очевидно, образ брани (= *крепких слов*) как шитья «питается» также признаком прикреплeния нитей, ткани. Этот признак выходит на первый план в простореч. *пришить* ‘дать кому-то точную и, как правило, резкую характеристику’.

В орбиту действия продуктивной метафоры включается и глагол *пороть*. Он иначе, чем другие «ткаческие» глаголы, кодирует болтовню, пустословие, обман: они интерпретируются не как наращивание или изгибание элементов, а как нарушение единства и целостности речи, ср. рус. простореч. *пороть* (*чушь, дурочку, ерунду* и др.) ‘говорить что-л., выходящее за нормы речи; нести чепуху’, иркут. *бузу пороть* ‘нести чушь, говорить чепуху’, омск. *дурочку пороть* ‘лгать, говорить неправду’ [ФСРС: 147] и др.

Перейдем к рассмотрению нескольких метафорических моделей, которые носят «о р у д и й н ы й» характер. Образный акцент в данном случае ставится на уподоблении языка механизму, орудю для тканья, прядения и т. п.

Так, за п у с к т к а ц к о г о с т а н к а, приспособления для битья шерсти приравняется к началу говорения, при этом номинативно значимо не только

«производство речи», но и шум, и длительность работы этих орудий, ср. дон. *завести катеринку* ‘говорить долго и без умолку’ (*катеринка* ‘приспособление для взбивания шерсти’) [БТДК: 211], *разводить крósна* ‘говорить много пусто-го’ [Там же: 444] (обл. *крósна* ‘ручной ткацкий станок’ [ССРЛЯ 5: 1072]). Самая «говорящая» часть ткацкого стана — диал. шир. распр. *набёлка* (*набёлка*) ‘подвижная, висячая узкая рамка, в которую вставляется бердо’ [СРНГ 19: 111]. Подвижность н а б е л о к и производимый ими щелкающий звук создают ассоциацию с болтовней, ср. новг. *бить набёлками*: ‘болтать, пустословить, сплетничать’: «Набелки — это часть ткацкого станка. Когда ткут, они стучат друг о друга. Так и говорят про человека, если он попусту много говорит: набелками бьёт» [Сергеева 2004: 120], *набелкам лóскать* ‘говорить о чем-л. попусту’: «Когда ткали, то в ставе шелкало, отсюда и набелкам лоскать, пустое говорить», *набелкам бить* ‘говорить несурзное, неправду’, *шлёпает как набелки* ‘о том, кто говорит не то, что надо’, ‘о том, кто много говорит без толку’, *успокоить (не бить) свои набелки* ‘перестать браниться’ [НОС 5: 120–121; 11: 99], пск. *бить набелками, хлопотать (своими) набилками, хлупать набилками пустыми* ‘болтать, пустословить’ [ПОС 2: 17; 19: 208], перм. *щёлкать набёлками* ‘много и быстро говорить’ [СПГ 2: 565], костр. *хлопать набёлками* ‘сплетничать’, яросл. *набёлка* ‘о болтливом человеке’ [СРНГ 19: 116].

С болтовней, пустословием, враньем ассоциируется и р а б о т а м о т о в и л а или в е р е т е н а: рус. яросл. *мотать на мотовило* [ЛКТЭ], урал. *сверетёнить* ‘сказать что-л. нелепое, неразумное’ [СРНГ 36: 238], перм. *плести на косое веретено* ‘говорить неправду; лукавить’ [ФСПП: 274]. Молчание же осмысляется как о с т а н о в к а т к а ц к о г о с т а н к а, п р я л к и: костр. «Чего, девки, замолчали: пресница поломана?» [ЛКТЭ]. Заикание трактуется как н е х в а т к а н и т е й: костр. *недоснёвка* ‘заика’ ← ‘нехватка нитей при сновании’ [Там же].

В отличие от литературной метафоры тканья, диалектные словоупотребления фактически не проходят те пути развития темы, которые осмысляют строение текста. Если даже не иметь в виду изысканных научных метафор вроде *рематический уток, тематическая основа, авторский узор* (см. [Шмелева 1998]), а взять более простые выражения вроде *вести нить рассказа* и т. п., то они обильно встречаются в литературной традиции, но не имеют, кажется, вариаций в говорах (в качестве исключения можно привести поморское выражение *тянуть в нитку* ‘плавно, ровно, безостановочно петь’ [БСРП: 436], однако оно характеризует скорее непрерывность вербального акта, нежели композицию текста). Относительно мало внимания уделяет диалектная ткацкая метафора и эстетической стороне речи, которая выразительно обрисовывается в литературном языке, ср. книжн. *плетение словес* ‘искусное создание сложного словесного произведения’, *гладью вышивать* ‘о плавной, разнообразной, красивой речи’ и др.

СТОЛЯРНОЕ, ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО, СТРОИТЕЛЬСТВО

В работе столяра, плотника, строителя инструменты играют особо важную роль (более «зримую», чем в плетении, а тем паче — в приготовлении пищи), поэтому в данном случае удобнее не разделять процессуальную и орудийную составляющую речи, а рассматривать их совместно.

Столяр обрабатывает, «окультуривает» дерево — и эта функция столярного дела отражена в арх. *оболв́анить слово* ‘обронить слово’ (ср. пск., яросл. *оболв́анить* ‘обрабатывая, придать закругленную форму’, орл. ‘чисто обработать рубанком’) [СРНГ 22: 163]. «Культурная» (в данном случае этикетная) нагрузка слова подчеркивается контекстом: «<Продавцу:> — Вам лень оболванить слово, надо отвечать покупателю, покупатели-то изобидятся» [Там же].

Гораздо чаще переосмыслиется в метаязыковом направлении другая сторона столярных работ: представление об обработке поверхностей режущими инструментами (с н я т и и с т р у ж к и, к о р ы) преобразуется в семантику негативного вербального воздействия на адресата — ругани, брани и пр.: простореч. *снимать* (*снять*) *стружку с кого-л.* ‘ругать, отчитывать кого-л.’, алт. *ошкурить* ‘очень сильно обругать кого-л.’: «Ошкурела мужика и ушла» (ср. алт. *шкурить* ‘очищать от коры’) [СРГА 3/1: 209; 4: 238], *строгать* пск., твер. ‘часто, резко говорить’ [ДО: 257], новосиб. ‘долго бранить кого-л.’ [СРНГ 42: 13], бурят. *стругать* ‘бранить, ругать кого-л.’, забайк. *матюгом стругаться* ‘ругаться матом’ [Там же: 39]. Сходные представления связаны с использованием колющих орудий — г в о з д е й: литер. *гвоздить* ‘ругать, бранить’ ← ‘вколачивать куда-л. гвозди, клинья’, *пригвозждать* ‘осуждать, клеймить’, *пригвоздить к позорному столбу* ‘клеить позором’, ряз. *гвоздить* ‘сильно и долго бранить’ [СРНГ 6: 160]; ср. также карел. *обишивать* ‘ругать’ ← ‘обивать, покрывать дом тесом, досками и прибивать гвоздями’ [СРГК 4: 126]. Гвоздь не только колет, но и прикрепляет, закрепляет что-л., точно попадая в цель, отсюда выражаемая с помощью этого образа положительная оценка содержательной стороны речи — ее меткости, точности (пск., твер. *гвоздануть* ‘сказать остроумно, метко’ [СРНГ 6: 159], литер. *вколачивать слова как гвозди*, простореч. *ровно гвоздь заколотить*, народн. *точка в точку, как гвоздь в бочку!* ‘о точно, метко, к месту сказанных словах’ [БСРС: 131]) и «перформативности», соответствия слов делам (народн. *сказал как гвоздем прибил* ‘о точно сдерживаемом слове, исполняемом обещании’ [Там же]).

Метаязыковой ракурс есть и в образе «партнера» гвоздя — м о л о т к а. Работа молотком ассоциируется с быстрой и интенсивной речью: пск. *сказать как с молотка* ‘о чем-л. бойком, быстрым и внезапном высказывании’, брян. *говорить как с молотка* ‘о человеке, говорящем легко, без усилий, чисто и разборчиво’, *говорить что молоток* ‘о человеке, говорящем живо, бойко’ [БСРС: 400–401].

Иначе устроен образ т о п о р а (с е к и р ы) и связанного с ним процесса р у б к и. Размах, резкость движений и грубость, «топорность» результата определили использование соответствующих образов для обозначения речи, утяжеленной

по форме — отрывистой, «педалирующей» отдельные звуки (перм. *зарубать* ‘выговаривать слова и некоторые звуки твердо, с силой’: «Как наш парень зачнет говорить, дак так и вытвораживат, ровно зарубат кажно слово» [СРНГ 6: 38], *как топором рубить* разг. ‘о резко, отрывисто произносимых словах’, иркут. ‘о манере громко говорить’, новг. *как топором по шее рубить* ‘то же’ [БСРС: 685]) — и резкой, грубой, эмоционально негативной по содержанию (литер. *сказал как топором отрубил* ‘о чем-л. резко, решительном и категоричном высказывании, ответе, заявлении, отказе’, перм. *вырубать* ‘говорить недовольным тоном’ [СРНГ 6: 13], помор. *говорить как с топора валить* ‘о чем-л. сказанном необдуманно, грубо и некстати’ [Меркурьев 1997: 101], сиб. *колоть без топора* ‘говорить язвительно’ [БСРП: 666], краснояр., свердл. *секéрить* ‘грубо отвечать, ворчать, огрызаться’ [СРНГ 37: 125], свердл. *секéра* ‘о ворчливой женщине’ [СРГСУ 5: 128], р. Урал *секíра* ‘то же’ [СРНГ 37: 146]¹). Ср. также восточнославянскую паремиологию: рус. «Слово — топор: не обрежет, так зашибёт» [БСРС: 685], укр. «Сказаного і сокирою не вирубаєш», «Скажеш — не вернеш, напишеш — не зітреш, відрубаєш — не приставиш» [ПП-укр 1991: 291–292], «Коли язиком дрoва колеш, то і в печі не горить» [ПП-укр 1989: 250], блр. «Слова сказаў — тапаром адсек» [ПП-блр 2: 187]. Положительные грани «топорной речи» (ее точность и четкость) выделяются гораздо реже: литер. *сказал как топором отрубил* ‘о чем-л. точно сдерживаемом слове, выполняемом обещании’, сиб. *колоть без топора* ‘говорить четко и убедительно’ [БСРП: 666].

В сценарий работы топором входит и заколачивание клин в в. Значима собственно звуковая сторона этого процесса (новг., пск. *колотить (в) клин* ‘громко говорить, стучать’ [БСРП: 289]) и его монотонность (пск. *как в клин колотить* ‘говорить одно и то же, нудно повторять что-л.’ [СППП: 98], новг. *как в клин колобúть* ‘много говорить о чем-л.’ [НОС 4: 84]).

Наиболее выразительная речевая составляющая выделяется у образа п и л ы. «Букет» признаков пиления (длительность процесса, возвратность однообразных движений, сопровождаемых неприятным звуком, острота инструмента) дает картину однозначно негативно оцениваемой речи — в первую очередь раздражающе монотонной, нудной → назидательной, придирчивой, сварливой: литер. *пилить*, разг. *пилить как (деревянная / ржавая / тупая) пила* ‘изводить, донимать кого-л. непрерывными поучениями, придирками, бранью; корить, попрекать чем-л.’, *пила* ‘о придирчивом, сварливом или резком человеке’, *заладить одно и то же как пила тупая*, смол. *пиловáть* ‘изводить, допекать кого-л. попреками, придирками’ [СРНГ 27: 29], смол. *пиленье* ‘настойчивые просьбы, постоянные наставления’ [ССГ 8: 72], народн. *брюзжать словно деревянной пилой пилить*, алт. *бурдеть / ворчать как пила* ‘о надоедливо, беспрестанно ворчащем, брюзжащем

¹ Ср. диал. *секéра, секíра* ‘топор’, ‘топор кустарного изготовления, имеющий закругленное лезвие’ и др. [СРНГ 37: 125–126; СРГСУ 5: 128].

человеке' [БСРС: 501] и др. В семантике «пиления» есть специфическая деталь: оно употребляется чаще всего для характеристики отношений в семье, обычно между супругами, которые вступают в длительные перебранки, при этом «пилят» в большинстве случаев жена, ср. разг. *жена как пила* 'о сварливой, постоянно ворчащей, брюзжащей жене' [Там же], волгоград. *домашняя пила* 'об одном из супругов' [БСРП: 500]. Вот контекст, который можно считать типичным для слов с корнем *пил-*: перм. *распиловать* 'отругать, отчитать за что-л.': «Сегодня меня распилюют! Приду домой, пьяный буду, а баба меня распилюет» [АС 5: 20]. Стереотип женской речевой деятельности ощутим и в значении урал. *пошла пильня в ход* 'пошли толки, разговоры, сплетни' [СРНГ 27: 32]. «Пиление» относится в основном к содержанию речи, но иногда и к ее внешней стороне: разг. *голос скрипучий как пила, голос противный как ржавая пила* 'о чьем-л. скрипучем, монотонном, нудном, раздражающе-неприятном голосе'.

Действия с помощью *к л е щ е й* тоже переосмысляются в метаязыковой плоскости — в обозначениях вынужденной или затрудненной речи: литер. *клещами тащить, вытягивать из кого-л. (слово, ответ)* 'вынуждать (говорить, отвечать)', народн. устар. *говорить что клещами вертеть* 'о медленно и крайне неохотно говорящем человеке' [БСРС: 259].

Собственно строительство, в о з в е д е н и е с о о р у ж е н и й довольно редко переосмыляется в народной речи в метаязыковой плоскости. Кажется, представлен только образ горожения изгороди — «линейность» этого процесса и быстрое «нарастание» элементов становятся основой для развития семантики болтовни, пустословия, ср. разг. *городить (вздор, чепуху и др.)* 'говорить, болтать (обычно что-н. несерьезное)', пск. *частокол городить* 'говорить чепуху, врать' [СПШП: 79]. Можно еще упомянуть о выражениях вроде пск. *баласы строить* 'болтать, шутить, пустословить', омск. *хыхоньки строить* 'заговаривать, кокетничать с кем-л.' [СРНГ 42: 19], арх., влг., новг., твер., яросл. *лясы строить* 'болтать, пустословить, лясы точить' [СРНГ 17: 284], но в них глагол *строить* семантически беден, он выражает только идею разворачивания какого-либо процесса².

В то же время строительные образы широко фиксируются в литературном языке — и, разумеется, не только русском (см. об этом, в частности, в [Мечковская 2000: 376; Maćkiewicz 1999: 56–58] и др.). Они передают главным образом восприятие текста как з д а н и я, к о н с т р у к ц и и, анализируют и оценивают его с т р о е н и е. Для народного метаязыкового сознания такой «архитектурный» взгляд не столь важен; важнее — собственно орудийность слова, которая ярко проявляется в столярно-плотницких образах.

² Следует упомянуть, что здесь не привлекается к анализу и известный фразеологизм *лясы точить*, поскольку глагол *точить* в нем тоже имеет выхолощенную семантику (если признать справедливой версию А. М. Молдована, изложенную в [Молдован 2007]).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

В рамках кулинарной метафоры говорение воспринимается как процесс приготовления пищи. В самом общем виде («говорить, рассказывать» → «готовить пищу») эта метафора представлена в русских говорах слабо, ср. влг. *говорить, так язык надо наварить* ‘о необходимости набраться сил для разговора’ [СГРС 3: 58] (этот пример, однако, не очень корректен, т. к. здесь имеет место шутовское оживление связей между двумя значениями слова *язык* — «коммуникативным» и «соматическим»). Возможно, стоит учесть также следующий факт: пск. *напечі* ‘поспешно приготовить что-л.’: «Ты вот спал, а тебе бабы за ночь успели сказок напечи» [СРНГ 20: 74], но неясно, имеет ли место в семантике глагола приуроченность именно к речевым действиям.

Активно функционирует прозрачная метафорическая модель, ассоциирующая брань, ругань и другие речевые акты, имеющие высокий экспрессивный «градус», с печением, и изготовлением выпечки (ср. литер. *распекать* ‘делать кому-л. суровый выговор, бранить’, ленингр. *пропечь* ‘выбранить’ [СРГК 5: 285], арх. *колобы печь* ‘острить, насмеяться, зубоскалить’ [СРНГ 14: 141]) или — реже — провариванием (ворон. *проварить* ‘сильно поругать’ [СРНГ 32: 92]).

При использовании образа выпекания для обозначения брани, помимо температурной обработки, значим также признак наполнения, наличия (пирога): влг. *загибать во весь пирог, во все углы* ‘бранить, ругать’ [КСГРС]³, вят. *отделать на все корки* ‘сильно отругать, разбранить кого-л.’ [СРНГ 24: 164], простореч. *распекать (ругать, бранить, срамить) на все (всякие) корки* ‘сильно ругать, отчитывать кого-л.’ Начинение (шпиком) составляет и образный фундамент ср.-урал. *нашпиговать* ‘отругать, выбранить’ [СРГСУ 2: 187]. Вкладывание начинки подразумевает, во-первых, интенсивное воздействие на объект (ср. также глаголы *здать, всыпать, вложить*, передающие семантику битья, во многом созвучную семантике ругани); во-вторых, привнесение, введение в объект чего-то особенного, своеобразное «украшение» его. Эти две идеи при «переводе» на язык вербальных действий дают семантику брани, причем во втором случае предполагается скорее непристойная брань — как особо «пикантная» речь.

Интенсивной брани противопоставлена медленная, *вялая* речь, для обозначения которой применяется образ вяления, ср. влад., костр. *вялить* ‘медленно или нерешительно, неохотно говорить’ [СРНГ 6: 78]. Замедленная, «неохотная» речь передается также через образ процеживания жидкостей, причем «фильтр» в данном случае естественный — зубы: разг. *цедить, процеживать (слова)* ‘говорить нехотя, сквозь зубы’.

В номинативный «кадр» попадает и такая кулинарная подробность, как подсыпание, подмешивание муки в процессе жарения, трактуемое

³ Ср. арх., влг. *загибать* ‘класть в качестве начинки в закрытый пирог’ [СГРС 4: 43].

как в-меш-ательство в речь, перевод ее в другое русло. Возможно, этот образ лежит в основе калуж. *перемучать* ‘прерывать, перебивать, не давая договорить’: «Что ты перемучаешь, когда я рассказываю?» (ср. забайк. *перемучать* ‘обваливать в муке’) [СРНГ 26: 168], самар. *подсыпаться* ‘вмешиваться в чужие дела, в чужой разговор’, *подсыпочка* ‘вмешательство в чужой разговор, в чужие дела’ [СРНГ 28: 209–210].

Значительная группа метаязыковой лексики «кулинарного» происхождения связывает речевые акты с действиями по приготовлению конкретных видов пищи, которые «сливаются» со свойствами самой пищи.

Так, протяженная во времени и однообразно «нарастающая» речь (монотонная, с многократными повторами, докучливая) ассоциируется с приготовлением творога, причем центр образа здесь — не столько действия субъекта, сколько качества самого творога — аморфной и увеличивающейся в объеме массы: *творожить*⁴ иркут. ‘говорить вяло, заплетаясь, повторяя одно и то же (о пьяном)’ [СРГС 5: 38], сиб., урал. ‘делать замечание, выговор несколько раз’, курган. ‘говорить монотонно или просить, вымогать что-л.’ [СРНГ 43: 331], заурал. *затворожить* ‘начать много, долго говорить’, ‘начать монотонно, настойчиво просить что-л., вымогать’ [СРНГ 11: 85].

Аналогично организован образ с о л о ж е н и я: действия того, кто готовит солод (*солодит*), соединяются со свойствами самого солода, ср. влг. *осолодить* ‘обругать’ [СРГК 4: 251], ленингр. *насолодить* ‘наговорить, наклеветать’ [СРГК 3: 337], арх., карел. *солодить* ‘сплетничать, наушничать’ [СРНГ 39: 283], влг. *солодить (солодиться)* ‘болтать вздор, делать что-л. попусту’ [КСГРС]. Мотивирующим здесь выступает признак брожения, ср. выводы К. В. Пьянковой о том, что в языковом образе солода проявляется мотив «хаотичного, часто бесцельного, раздражающего движения (подобно движению внутри бродящей жидкости)» [Пьянкова 2008: 127]. Ближе к соложению *приготовление с у с л а*, «рассусоливание»: простореч. *рассусоливать* ‘говорить долго, останавливаясь на ненужных подробностях; надоедливо разъяснять что-н.’, ‘тратить время на долгие разговоры’.

Еще один образ из этого ряда связан с *приготовлением жидких (п у с т ы х) с у п о в*. С одной стороны, их готовят, замешивая на муке, взбалтывающая = *болтая* (характерна игра слов *болтать* ‘мешать’ и *болтать* ‘говорить’); с другой — они булькают = *болтают* сами. В простореч. *разводит баланду* ‘пустословить; говорить ерунду, вздор’ слово *баланда* имеет звукоподражательную природу, поэтому нагрузка образа вновь переходит с действия на его объект (ср. также жарг. *баланда* ‘бестолковый текст, неясная, нечеткая речь’ [БСРЖ: 46]).

⁴Ср. томск. *творожить*, новг., ср.-обск. *творожить* ‘приготавливать творог’ [СРГС 5: 38; СРНГ 43: 331].

Что касается влг. *расщекóлдывать*⁵ ‘говорить бойко, тараторить, рассуждать то-ропливо и резко’ [СРНГ 34: 333], б. м. *саламáтить* ‘говорить пространно, вяло и пусто’ (← *саламáта* ‘пресная, вскипяченная болтушка’) [Даль₂ 4: 130], то эти глаголы скорее реализуют модель «быть подобным *саламату* или *расщеколде*», нежели «готовить эти кушанья». Подробнее см. в параграфе 3.2.1, с. 378.

В а р к а к а ш и ассоциируется с невнятной речью: перм. *каша во рту варíтся* ‘о ком-л., кто говорит невнятно, косноязычно’ [ФСПГ: 163]. Здесь вновь предметный образ сильнее акционального, ср. простореч. *каша во рту* ‘то же’. Сходным образом осмыслиется процесс с т р я п а н и я п е л ь м е н е й: перм. *языком пельмени стряпать* ‘сильно картавить’ [АС 6: 260].

Таким образом, кулинарная метафора нередко балансирует на грани с пищевой и «сползает» в сторону последней, что объясняется активностью пищевых образов при обозначении качеств речи — как внешних, так и содержательных. Для этого используются чаще всего наименования не собственно блюд, а скорее продуктов, а также вкусовых свойств пищи. Речь, слова могут быть *масляными, сладкими, сахарными, медовыми* (= приятными на слух, услаждающими чувства, но и льстивыми, заискивающими и т. п.), *молочными, воложными* (< диал. *волога* ‘жирные продукты’), *сальными, жирными, скоромными* (= непристойными), *кислыми, солеными, горькими* и пр. (примеры из русских и инославянских диалектов см., в частности, в [Пьянкова 2008: 136–137; Толстая 2008: 478–482], см. также параграф 3.1.3 настоящей книги, с. 343).

В текстах художественной литературы — как русской, так и инославянской (и, думается, шире) — собственно кулинарная метафора представлена весьма разнообразно (к примеру, см. [Maćkiewicz 1999: 34–35]): текст (*пища* духовная) может быть *нафарширован* цитатами, *приправлен* островами, *подан под* определенным *соусом* и т. п. Для народной традиции подобный эстетический подход к тексту не столь значим.

* * *

Представив с относительной степенью подробности три наиболее разработанные сферы метафоризации, приведем (не комментируя) примеры из других сфер, служащих основой для производственной метафоры с метаязыковой семантикой.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

- Р а с ч и щ а т ь з е м л ю о т л е с а: влг. *вѣ́косарить* ‘выругать’ (← *косарить* ‘расчищать от леса при подсечно-огневом земледелии’) [СГРС 2: 231; КСГРС], б. м. *коренить* ‘ругать, корить, поносить, бранить, проклинать’

⁵Ср. влг. *расщекóлда* ‘кушанье, род похлебки из картошки и лука, приготовленной на воде’ [СВГ 9: 44].

(← ‘вырывать с корнем, выкорчевывать’) [Даль, 2: 163]; • с е я т ь: народн. *языком что решетом, так и сеет* ‘о словоохотливом, болтливом человеке’ [БСРС: 573]; • б о р о н и т ь: перм. *боронить* ‘болтать; говорить о чем-л. пустом, незначительном, несерьезном’: «Что ты боронишь еко место? Не был я в магазине; не борони уж чё не надо» [СПГ 1: 50], перм. *заборонить* ‘начать говорить вздор’ [Там же: 270], перм. *сборонить* ‘сказать то, чего не следовало говорить; сказать невпопад’: «Уж ты сборонишь всегда, дак хоть стой, хоть пади; где ты слышала эко место?» [СПГ 2: 318], коми *боронить бóроню* ‘говорить неправду, врать’, ‘болтать, пустословить’ [ФСК: 27–28], печор. *костерить да боронить* ‘говорить что-то бестолковое, пустое, незначительное’ [ФСНП 1: 359], брян., калин. *боронить как борона* ‘говорить что-л. глупое, несуразное; быстро говорить, тараторить’, брян. *боронить как борона без клецов* ‘говорить что-л. глупое, несуразное’ (*клец* ‘завертка, закрутка, палка, всунутая меж зубьев бороны’), *голосить как борона* ‘о фальшивом, немелодичном и не в такт пении’ [БСРС: 61], пск. *говорить как борона* ‘о быстро и неразборчиво говорящем человеке’ [ПОС 2: 123], мордов. *бороновать задом наперёд, как борона боронить* ‘выговаривать, произносить слова неправильно, искаженно’: «Гъварят там хърашо или как бърану бъранят?» [СРГМ 1: 40]; • ж а т ь: алт. *косарить* ‘бранить, ругать, «ругаться во весь мах»’ (ср. алт. *косарь* ‘серп’) [СРГА 2/2: 81]; • р ы т ь, к о п а т ь: карел. *рыть слова* ‘клеветать на кого-л., оговаривать’ [СРГК 5: 597], ср.-урал. *процáпать* ‘выругать’ (← ‘прополоть, разрыхлить землю в огороде’) [СРГСУ 5: 38], народн. *язык как лопата* ‘о косноязычно, медленно и с большим напряжением говорящем человеке’, *слово по слову что на лопате подавать* ‘о человеке, говорящем излишне медленно, размеренно’, *язык не лопата* ‘о бойком на язык, остроумном и находчивом человеке, говоруне, краснобае’ [БСРС: 354] и др.

ОБМОЛОТ И ОБРАБОТКА ЗЕРНА

• М о л о т ь: литер. *молоть (чепуху, вздор), молоть языком* ‘болтать, пустословить’, урал. *мéлево* ‘вздор, пустые речи’ [СРНГ 18: 95], пск., твер. *молотильня* ‘сплетница, «колотовка»’, *óмолотень* ‘пустомеля’ [ДО: 116, 160], вят. *отмолóться* ‘отговориться, отказаться, отделаться’ [СРНГ 24: 243], смол. *вымолáчивать* ‘выпрашивать что-л.’ [СРНГ 5: 313], арх. *перемолóть* ‘переговорить все или многое’: «Долго ходила, дак всё перемололи, и что надо и не надо», *перемолóть язык* б. м. ‘устать, говоря’, пск., твер. ‘пересказать что-л. по-своему или извратив’, забайк. *перемól* ‘сказанное не к месту, зря, невпопад или грубо’ [СРНГ 26: 165–166], перм. *наболтать как молотильной палкой* ‘много наговорить’: «Вы, девки, все пишете, а я наболтаю вам как молотильной палкой» [СПГ 1: 537], иркут. *замолол, как мельница*, сиб. *язык как мельница* ‘о болтливом человеке’ [ЧДФ: 159, 165], влг. *немóлотый* ‘о языке: неразвитый, неповоротливый’: «Немолотый язык у тебя, плохо говоришь, всё одно, ничего не поймёшь» [КСГРС] и мн. др.; • т о л о ч ь: юж. *перетолóка* ‘пререкания’ [СРНГ 26: 242],

пск., твер. *перётолочь* ‘болтовня’, *перетóлчины* ‘сплетни, пересуды’ [ДО: 179];
 • **д р о б и т ь** (м у к у): иркут. *дробить дробилкой муку* ‘о человеке с быстрым темпом речи’ [ЧДФ: 158–159].

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО, ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

• **Л и т ь** (м е т а л л): разг. *лить колокола* ‘лгать, распространять ложные слухи; пустословить’, ворон. *новый колокол льют* ‘о ложном слухе’ [СРНГ 14: 164], пск. *заливать пушку крепче олова* ‘о беспардонной лжи, рассказывании небылиц’ [СППП: 108]; • **к о в а т ь**: печор. *оружьё (ружьё) ковать на кого, над кем* ‘наговаривать на кого-л., настраивать против кого-л.’ [ФСНП 2: 144]; • **ч е к а н и т ь**: *отчеканить* литер. ‘о резко расчлененных движениях, речи’, костр., пск., твер. ‘отругать, выбранить’ [СРНГ 24: 362]; • **к л е п а т ь**: простореч. *клепать языком* ‘сплетничать, оговаривать кого-л.’, сиб. *неклёпанный язык* ‘косноязычный человек’ [ЧДФ: 162]; • **п л а в и т ь**: литер. *выплавлиаться*: образно — «Говорил он медленно, вдумчиво и свободно. Урок, очевидно, не был заучен: слова выплавлились тут же и летели к нам, еще не остывшие» <В. Г. Короленко> [ССРЛЯ 2: 1147] и др.

Примыкает к этой сфере также лексика, связанная с обработкой металлических поверхностей (при лужении и пайке). • **Л у д и т ь** (покрывать металлические изделия слоем олова): ряз. *лудить* ‘ругать, бранить кого-л.’ [СРНГ 17: 179], простореч. *лужёная глотка* ‘о человеке, способном громко, без усталости кричать, петь’; • **н а т и р а т ь** **к а н и ф о л ь ю**⁶: *канифолить* перм. ‘ругать, бранить’: «Он стал канифолить их, как только ни ругал» [СПГ 1: 376], яросл. ‘позорить, ругать понапрасну’ [ЯОС 5: 18].

ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• **Л е п и т ь**: *лепить* простореч. ‘болтать чепуху, пустословить’, костр., смол. ‘говорить прямо, откровенно, резко’, ленингр. ‘врать, обманывать’, ряз. *лёпник* ‘болтун’ [СРНГ 16: 364–365], калуж., курск., орл. *вьлепить* ‘сказать что-то на-прямик’ [СРНГ 5: 303], смол. *отлепить* ‘сказать что-л. резкое без стеснения’ [СРНГ 24: 224].

ОБРАБОТКА ЛЬНА

• **Т р е п а т ь**: простореч. *трепать (языком)* ‘болтать, пустословить’, *трепалка* ‘болтушка, сплетница’ (← ‘орудие для трепания льна’); • **ч е с а т ь**: простореч. *чесать (языком)* ‘болтать, пустословить’, ср.-урал. *отпáчесовать* ‘выругать’ (← *пáчесать* ‘второй раз прочесывать лен’) [СРГСУ 3: 87, 120].

⁶Канифоль используется для разных целей (при изготовлении мыла, при проклейке бумаги и пр.) — и в том числе для лужения и пайки, поэтому мы условно включили соответствующую лексику в данную группу.

КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА ШКУР

• Мять кожу: влг. *вѣмьять*⁷ *шубный язык* ‘научиться говорить (о ребенке)’ [СВГ 12: 131], влг. *невѣмьятый язык* ‘нелитературная речь’ [СВГ 5: 89], костр. *перемьять* ‘начать говорить более гладко, правильно’: «Мы-то не можем выколотить его <язык>, перемьять его, штёбы правильный» [ЛКТЭ], ср. также арх. «Язык-от был шубной у старух, не вымят, что наши шубы» [КСГРС], пск. *сы-ромятину валить на кого* ‘незаслуженно обвинять, оговаривать кого-л.’ [БСРП: 655]; • очищать внутреннюю часть шкуры: сиб. *кад́арить* ‘сильно ругать’ (← ‘выделывать шкуры, снимать с них мездру’) [СРГС 2: 15], простореч. *пушить* ‘бранить, ругать кого-л.’ (← ‘в кожевнном производстве: очищать внутреннюю часть шкуры животного, делая ее ворсистой’) [ССРЛЯ 11: 1774], б. м., ворон. *вѣпушить* ‘выругать кого-л.’ (ср. влад. *вѣпушить* ‘очистить шкуру при ее обработке от мездры’) [СРНГ 5: 337].

Сюда же условно можно включить лексику «п о т р о ш е н и я»: арх. *освежить* ‘побранить, поругать’ (← ‘снять шкуру и выпотрошить, зарезав на мясо (животных)’) [СРГК 4: 237], орл. *распотрошить* ‘сильно выбранить, отругать’ (← ‘очистить от потрохов (дичь)’) [СОГ 12: 87].

ПРАЧЕЧНЫЕ РАБОТЫ

• Парить белье: рус. новг. *золить* ‘болтать, говорить попусту’, ‘бранить’ (← ‘парить белье, пряжу в печке, предварительно окунув их в щелок из золы и положив в котел’) [НОС 3: 101]; • стирать: новг. *стирать* ‘сплетничать о ком-, чем-л.’, костр. *дать кому-л. хорошую стирку* ‘сильно раскритиковать кого-л.’ [СРНГ 41: 162]; • полоскать: влг. *ополоскать* ‘обругать’ [СРГК 4: 218]; • утюжить: разг. *утюжить* ‘сильно бранить, поносить’.

* * *

Представим краткие выводы.

Регулярное привлечение технологической метафоры к обозначению речевых актов говорит о восприятии последних как деятельности, «работы». Как любой продукт, язык требует обработки, приготовления, «окультуривания» (варки, печения, обстругивания); косноязычный, неграмотно говорящий человек имеет *неклѣпанный, немолотый, невымьятый язык*.

Из общих свойств речи в метафорических номинациях отражается ее связность (метафоры прядения, плетения, штопки, клепания, лепки), линейность, «строчность» (шитье, боронование), звуковое оформление (звук ткацкого станка, пилы, взбалтываемой похлебки и др.).

⁷Ср. арх., влг. *вѣмьять* ‘сделать мягким, эластичным, размять’ [АОС 8: 30; КСГРС].

В подавляющем большинстве случаев метафорическая лексика с мета-языковой семантикой описывает негативно оцениваемые и экспрессивно воспринимаемые речевые действия. Лидируют по количеству «технологических» обозначений болтовня, пустословие, сплетни, которые связываются с работами, предполагающими множество однотипных движений по созданию однородного, быстро увеличивающегося в объеме или количестве продукта: обмолот, горожение изгороди, плетение и прядение, трепание и чесание льна и др. Близка к болтовне нудная, монотонная речь: ее «обслуживают» обозначения длительных по времени процессов (пиление, приготовление творога).

Другой «лидер» — ругань (брань, ворчливая, сварливая речь), которая кодируется обозначениями действий, дающими интенсивное преобразование объекта. Это разбивание, дробление (копание земли), пере(на)тирание (стирка, лужение), воздействие режущими или колющими орудиями (шитье, кройка, распарывание, строгание рубанком, заколачивание гвоздей, пиление, жатва серпом, потрошение), температурная обработка (печенье, варка), наполнение каким-либо содержимым (начинение выпечки, фарширование).

«Замечена» метафорической лексикой также затрудненная речь — медленная, косноязычная (вяление, копание лопатой), отрывистая (рубка топором), неохотная (процеживание).

Реже с «технологической» точки зрения оценивается речь искусная, содержательная (тонкая вязка, плетение кружев), точная, остроумная (работа молотком, забивание гвоздей).

Доминирование обозначений негативных речевых проявлений над позитивными объясняется как общими закономерностями номинации качеств и действий человека (известно, что отрицательные оценки практически всегда более активны в номинативном плане, чем положительные), так и спецификой восприятия речи — в ее соотношении с другими видами человеческой деятельности. Речь может сравниваться с производством, ремеслом, но это сравнение, помимо подчеркивания сходств, «питается» и различиями. С одной стороны, в иерархии видов человеческой деятельности речевой может быть приписан более высокий статус, чем другим, за счет интеллектуальной составляющей: проецирование речи на сугубо технологические процессы как бы понижает этот статус, порождая негативную экспрессию. С другой стороны, речевая деятельность может считаться более «низкой», чем иные, поскольку она не дает осязаемого, зримого, «полезного» продукта. Такая логика оценок особо важна для народного сознания, склонного лишней раз подчеркнуть противопоставленность производственных процессов и речи как «работы» и «неработы» или же указать на «непродуктивность», утилитарную неполноценность речи: пск. *нечево того говорить, что в горшке не варить* [СППП: 128], перм. *без ниток холст сновать* 'пустословить' [ФСПГ: 345], сиб. *порóжня мельница* 'болтун' [ЧДФ: 163] и т. п.

Несмотря на необходимость «готовить» речь, работать над ней, в наивном сознании она осмысливается как спонтанный процесс. Не случайно в народной языковой традиции к обозначению речевых актов почти не привлекаются названия тех видов деятельности, которые дают «отложенный», не сразу проявляющийся результат: к примеру, при первостепенной роли земледельческих работ в народной жизни их наименования редко подвергаются метафорическому переосмыслению, — а в тех случаях, когда это происходит, номинативно значимым является не результат, а сам процесс (ср., к примеру, *языком что решетом, так и сеет*).

С этим связана и другая особенность наивного восприятия речи: последняя редко оценивается с точки зрения ее архитектоники, «выстроенности» (что очень важно для книжной традиции). Образы строительной сферы тоже показывают скорее процесс обработки материала, нежели результат строительства.

Для носителя народной культуры значима «перформативность» речи, ее действенность, способность выполнять функцию побуждения, отсюда обилие образов, демонстрирующих активное преобразование объекта. Отмечаются такие функции, как этикетная (необходимость «оболванивать» слова для выражения уважительного отношения к людям), эстетическая (значимость искусного плетения = говорения), познавательная (умение «крепить» мысли с помощью слов), но на них обращается меньше внимания. Причины тому — общая прагматичность наивного языкового сознания и особая специализация производственной метафоры, которая — при всех своих возможностях — не в силах объять многообразие проявлений речевой деятельности.

Технологическая метафора речи тесно связана с бытовыми и магическими практиками. К примеру, образ речи как прядения в известной мере «питается» практикой *супрядок* — коллективного прядения, сопровождаемого разговорами и пением. Что касается примеров, демонстрирующих «производственную» символику в сфере магии, то богатая их коллекция (на славянском материале) представлена в [Толстая 2010б: 297–302]: так, ребенка носили на мельницу, чтобы он быстрее заговорил; беременной запрещали шить на себе, чтобы не зашить язык ребенка; не оставляли из тех же опасений на ночь ткацкую основу на стене и др.

Производственная метафора в ряде случаев имеет развитую актантную структуру, гибко накладывается на всю производственную ситуацию. К примеру, за ткаческой метафорой речи стоит следующая ситуация: говорение подается как процесс тканья; речевая способность — как инструмент, орудие для тканья и прядения; качества речи — как свойства материала (ткани), готовые тексты — как продукт, одежда. В данном параграфе описаны процесс и орудие; анализ свойств материала и продукта см. далее, в параграфе 3.1.2. Различные технологические ситуации, будучи представленными в зеркале метафоры, дают разное соотношение элементов ситуации: например, при изображении сферы строительства наиболее ярко выглядят инструменты, а в сфере кулинарии — продукты.

3.1.2. «ТКАНЕВАЯ» МЕТАФОРА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

В рамках производственной метафоры речевой деятельности наиболее активной и обширной является **ткаческая / тканевая** метафорическая модель, включающая в себя многочисленные обозначения речи, в основу которых положены наименования одежды, материалов для ее изготовления, а также процессов прядения, шитья, кройки и т. п. Далее будет рассмотрена лишь часть лексических единиц, реализующих эту модель, — метафорические обозначения различных дефектов речи или отклонений от норм речевого поведения (людей с такими дефектами и отклонениями), созданные на основе наименований **тканей**. Факты русской языковой традиции будут анализироваться с привлечением параллелей из славянских языков (реже романо-германских) и из контактирующих с русским финно-угорских языков.

Выбор этой группы лексики обусловлен тем, что она является более сложной в мотивационном отношении, чем другие составляющие ткаческой модели (например, глагольные обозначения процессов речевой деятельности). Среди реализаций тканевой метафоры есть как известные выражения *суконный язык*, *байковый язык* (обозначение арго петербургских мошенников), а есть и диалектные фразеосочетания вроде *шерстяной язык* или *шубный язык*. Они обладают разной степенью мотивационной прозрачности. Наименее прозрачен, кажется, *байковый язык*: это выражение более всего нуждается в мотивационной поддержке со стороны метафорических «аналогов». Но даже наиболее «ясное» сочетание *суконный язык* получает дополнительную глубину интерпретации, оказавшись включенным в метафорический ряд. Ниже будет представлен анализ лексико-фразеологических данных, систематизированных по наименованиям тканей и материалов, на основе которых образованы изучаемые метафорические слова и выражения. Таким образом, выделяются разделы «Шерсть (шуба)», «Сукно», «Байка», «Кожа», «Шелк» (этим перечнем не исчерпывается набор названий тканей, участвующих в метаязыковых метафорических лексемах и фраземах, но другие названия либо менее продуктивны, либо мотивационно прозрачны. Они будут упомянуты в качестве мотивационных параллелей). Первыми рассматриваются «шерстяные» выражения, поскольку образ шерстяного языка является наиболее многогранным и емким.

ШЕРСТЬ (ШУБА)

Стержнем рассматриваемой нами метаязыковой метафорической модели являются обороты *шерстяной* и *шубный язык*, обладающие наиболее широким спектром значений и дающие наиболее разработанное представление о различных гранях народного восприятия процесса речи и системы языка. По данным лексикографических источников, интересующие нас выражения имеют следующие лингвогеографические характеристики: *шерстяной язык* — арх., влг., костр. [КСГРС; КСРНГ; ЛКТЭ], *шубный язык* — арх., влг., карел., перм., свердл., тобол. [АС; КСГРС;

* Соавтор — Е. Д. Бондаренко.

СТСВ; СВГ; СПГ; СРГК; СРГСУ]. Таким образом, фразеологизмы фиксируются на Русском Севере и в дочерних говорах Среднего Урала и Западной Сибири.

Эти обороты имеют в целом совпадающие спектры значений, поэтому целесообразно описать их совместно. Чтобы не дублировать подачу значений при каждом факте, представим обобщенные формулировки, иллюстрируемые показательными контекстами:

- о речи с артикуляционными дефектами (картавой, шепелявой и т. п., о заикании): арх. «Плохо говорит или не выговаривает слова, дак язык у него шубный или шерстяной»; «Я вот щас шерстяной язык, зубов-от нет»; «У него шерстяной язык, он полузапинается, чего-то не выговаривает. Когда произношение нечеткое»; влг. «А бывает, что и не выговариват человек некоторых букв, так про его и говорят, что у него шубный язык»; арх. «Шубный язык — это когда буквы не выговаривает: “р” не выговаривает или вместо “л” говорит “в”»; «Шубный язык, картавит ли чё, каша во рту, мямля» [КСГРС]; влг. «Шубный язык-то у меня, худо говорю. Слово дак не выговорить другое» [СВГ 12: 106]; тобол. *шубенный язык* ‘так характеризуют выговор того лица, которое пришепетывает, вместо *шуба* говорит *сшуба* и пр.’ [СТСВ: 518];

- о тихой, приглушенной речи: арх. «У него шубный язык, слова-то получаютя глуховато, толстоязыкий он такой» [КСГРС];

- о косноязычной, немногословной речи: влг. «У меня язык-от шубной, эдак не вороциет так ловко. Дак уж я буду по-своему...» [СВГ 12: 132]; карел. *шубный* ‘косноязычный’ [СРГК 6: 913]; арх. «Бывает, что буквы-то пропускают. И потом еще скрытный он. Так это все обобщить — шубный язык. Он как инвалид, этот шубный, и он говорит-то, не все слова поймешь» [КСГРС];

- о речи пьяных: влг. «Пьяный вот нацьнет ляпать шубным языком» [КСГРС]; костр. «Не слушай его, чего несёт-то шубным языком» [ЛКТЭ];

- о детском лепете: влг. «Вот вымнет шубный язык-от, тогда и поймешь, чего говорит» [СВГ 12: 131];

- о нелитературной, диалектной речи, которая оценивается как «неправильная»: влг. «Языки шерстяные у нас, вы культурные, а мы что прежде воротим»; арх. «Шубный язык, деревенский, не может говорить, слабо выговаривает слово»; «Язык-от был шубной у старух, не вымят, что наши шубы»; «Серость в деревне, языки-то шубные, неразвитые языки, говорим мало»; влг. «По шубному языку видно, што вологодский телёпал»; «Шубный язык приехала изучать?»; «Шубные слова все наши записали» [КСГРС]; перм. *шубный язык* ‘невыразительная, неправильная речь’: «Язык-от шубной у нас, у стариков, а у вас, у молодых-то, шёлковый» [СПГ 2: 571];

- о склонности к болтовне, сплетням, злословию: арх. «Вечером меня посватали, наутро вся деревня уж знала, вот у него шерстяной язык, продажный, сплетник»; «У него шубный язык. Болтает и врет. Мелет и мелет. Когда уж шубный язык скажут, то это Емеля настоящий. Так ему и не верят» [КСГРС];

• о речи, содержащей недоброе предсказание: влг. «У меня язык шерстяной: что скажу, то и делается, сказала, что здесь ничего не вырастет, так и вышло» [СВГ 12: 132]; арх. ‘о человеке, который часто предсказывает недоброе’: «Эх, шубный язык, беду гадаешь»; «Шубный язык ты, чего керкаешь⁸!» [СГРС 5: 120]; влг. «Шубный язык заранее все знает» [СВГ 12: 106]. Интересно, что это значение оказалось отраженным в художественном тексте, ср.:

«— Ты же заметил, что я скажу, все сбывается?

— Не заметил, — отозвался Космач.

— Как? Помнишь, зимой, когда рыбачили у мельницы? Я же сказал, не лезь на кромку, провалишься! И ты провалился!

— Да у тебя просто язык шерстяной!

— Ну вот посмотришь!» <С. Алексеев. Покаяние пророков>.

Особенности ввода оборота *шерстяной язык* в текст, кажется, говорят о том, что это в данном случае не окказиональный авторский образ, а известное писателю узуальное выражение. Возможно, автор текста знаком с севернорусскими говорами; нельзя исключить и того, что фразеологизм известен за их пределами.

Данный набор значений⁹ характеризует как план выражения, так и план содержания речи, но акцент делается на содержательной стороне, поскольку из внешних параметров выбираются те, которые препятствуют пониманию смысла (картавость, заикание, приглушенный голос и др.). Таким образом, общий признак, объединяющий данный спектр значений, — *смысловая неполноценность / ненормативность речи*. Значение ‘недоброе предсказание’ производно, по всей видимости, от значения ‘сплетни, злословие’ (другие факторы, обусловившие появление этого значения, будут рассмотрены ниже).

Важным фактором, обуславливающим разработанность этой метафоры и множественность возможных мотивационных решений, является особенность семантики производящих слов *шерсть* и *шуба*. В общенародном (в том числе литературном) русском языке словом *шерсть* обозначается ‘волосняной покров животных’ и ‘волокно (а также сотканная из него ткань), изготовленное из этого волосяного покрова’. Производящее слово *шуба* имеет общенародные (литературные) значения ‘верхняя зимняя одежда из меха, на меху (обычно с длинными лапами)’ и ‘шерстяной покров некоторых животных’. В то же время в говорах ставятся специфические акценты: если носитель литературного языка воспринимает ‘шерстяной покров животных’ как некоторую метафору на базе «одежного» значения (звери «носят» свои шубы «при жизни», как люди), то в диалектах, помимо такого восприятия, делается также акцент на снятой шкуре, пригодной

⁸Ср. арх. *кёркать* ‘говорить недоброе, кошунствовать’ [СГРС 5: 120].

⁹В представленном семантическом перечне слово *язык* употребляется в «коммуникативном» смысле. Особняком стоит значение, связанное с языком «соматическим» (который, как и «коммуникативный» язык, плохо выполняет свои функции): арх. *шубный язык* ‘язык, плохо чувствующий вкус пищи’: «Шубный стал язык — это вроде как обожженный или не чувствует вкуса» [КСГРС].

для изготовления различных изделий — собственно шуб, рукавиц, одеял и др., ср. влг., ленингр. *шуба* ‘шкура, мех (чаще всего овчина)’ [КСГРС; СРГК 6: 912], влг. *шуба* ‘одеяло’ [СВГ 12: 105], арх., влг., ленингр. *шубенки*, арх., влг., карел., ленингр., мурман. *шубницы* ‘меховые рукавицы (как правило, овчинные); варежки из овечьей шерсти’ [КСГРС; СВГ 12: 105–106; СРГК 6: 912–913], арх., влг. *шубный* ‘меховой, шерстяной’ [КСГРС], влг. *шубный* ‘сделанный из овчины’ [СВГ 12: 106] и др. Таким образом, рассматриваемые слова обозначают как волосяной покров животных, так и изделия из него (но шерстяные изделия более тонкие, изготавливаются прядением, шубные — обработкой шкур и шитьем).

Соответственно производная семантика может высвечивать свойства шерсти и шубы как атрибута животных или же как материала для изготовления одежды (самой одежды), т. е. исходить из «природной» или «культурной» трактовки этих реалий. По этой причине мотивация данных фразеологизмов не может не быть комплексной, многогранной. В ходе семантической реконструкции мы постараемся учесть различные грани образа, тесно связанные между собой.

Шерсть — атрибут животных \Rightarrow шерстяной язык и имеет свойства «звериного» языка. Молчаливому или говорящему грубо и невнятно человеку могут приписываться свойства животного: арх. «Шубный язык — это что шерстяной, они все относятся к мехам. С мехами сравнивают, потому что они неровные. Торчмя торчит шерсть у дикого зверя»¹⁰ [КСГРС]. Человека, говорящего как зверь, на Русском Севере называют также *дикошёрстным*, ср. арх. *дикошёрстный* ‘неразговорчивый, некоммуникабельный’, ‘болтливый’, ‘такой, который говорит неправду’: «Дикошёрстный врёт всю дорогу и всё: “Ну, ненормальный, чё-то не хватает у него. Бабушка на фронте, дедушка в тылу”»; «Молоть языком может без конца. Много, дико говорит. Дикошёрстная она» [КСГРС].

Для народного образного мышления вполне естественно приписать свойства языка как орудия коммуникации языку как части тела. Отсюда образ нарастающей на «соматическом» языке или зубах шерсти¹¹, которая вызывает аномалии в речевом поведении¹². Этот образ обнаружен нами во фразеологии славянских, германских и финно-угорских языков. Например, чешские диалектные фразеологизмы содержат представление о том, что выросшая на языке

¹⁰ Образ «торчащих» слов отражен также в смол. *слова торчмя идут* ‘о грубой, неграмотной речи’ [ССГ 10: 48].

¹¹ Ср., кстати, карел. *язык зарастёт (заросся)* ‘о невозможности пошевелить языком’: «Молчать всё время, да язык зарастёт» [СРГК 2: 189].

¹² Отметим, что образ нарастающей шерсти свидетельствует об «озверении» человека не только в плане владения языком, ср., например, новг., пск. *обрастать волчьей (собачьей) шерстью* ‘становиться своевольным, нахальным’, волгоград. *обрастать волчьей шерстью* ‘становиться нелюдимым’ [БСРП: 749]. Вспоминается метафора зарастающих шерстью ушей, которые служили в повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» индикатором интеллектуального «одичания» научных сотрудников.

шерсть «тормозит» речь, становится причиной молчания: *jazyk mi zchlupatěl* («язык у него стал мохнатым») ‘о том, кто сделался молчаливым’, *narostou mi chloupky na jazyku* («у него выросли шерстинки на языке») ‘то же’ [Zaorálek 1963: 141, 143]. Согласно образной фразеологии коми, шерсть на языке влечет за собой косноязычие: литер. *гöна кывъя* («с покрытым шерстью (перьями, волосами) языком») ‘косноязычный’ [КРК: 154], диал. иж. *гöна кылъя, гöна кыла* («с шерстяным языком») ‘шепелявый, неясно говорящий’ [ССКЗД: 87]. Синонимом *шерсти* является *мех*, ср. *мех на языке* ‘о невнятно говорящем человеке’ <Саранск> [ЛЗА]. Изучаемый образ отмечается и как авторская метафора: «...А Вы сказали мне: “Порви, / Порви навек со здравым смыслом!” / Вскочив, махнули помелом, / И разразились диким смехом, — // Стал треугольным в горле ком, / Язык во рту покрылся мехом... / Мех с языка я сбрил мечом. / Мне не впервой, привык — рутина...» <Шурик-медик <псевдоним автора>, интернет-газета «Навязчивая мысль», № 184>¹³.

Наоборот — отсутствие шерсти расковывает речь, ср. влг. *на языке не шерсть* ‘о том, кто говорит раскованно, не стесняясь’: «На языке-то ведь не шерсть, можно хоть чего молоть» [КСГРС], серб. *без длаке на језику (говорити), длаке на језику немати* ‘открыто, без стеснения, без каких-л. предосторожностей (говорить)’ [РСХКНЈ 4: 362]. Рассматриваемый образ может повернуться другой своей гранью: «животная немота» сменяется агрессивностью, несдержанностью в речевом поведении, ср. чеш. *mluvit od srsti* («говорить против шерсти») ‘говорить прямо, естественно, «как Бог на душу положит»’ [Zaorálek 1963: 366], *chlupatý jazyk* («мохнатый язык») ‘о том, кто развязен, несдержан на язык, неприятен своими речами’ [PSJČ 1: 1053], а также нем. *Haare auf den Zähnen haben* («шерсть на зубах иметь») ‘быть зубастым; быть бойким на язык’ [АВВУУ Lingvo x 5].

Говоря о «звериных» аллюзиях *шерстяного языка*, следует упомянуть еще один момент. Как было показано выше, *шерстяной язык* имеет некоторые черты необщезвестного языка и даже языка «посвященных» (ср. значения ‘местный говор’ и ‘недоброе предсказание’). Тайные языки могут получать «животные» наименования, ср. литер. *птичий язык* ‘тайный, закодированный язык’ [ССРЛЯ 11: 1642], жарг. *рыбий язык* ‘воровской жаргон’ [БСРП: 768]¹⁴: это поддерживается важным для народной культуры представлением об особых магических свойствах языка животных, в том числе способности предсказывать будущее [Гура 1997: по указателю (язык животных)]. Таким образом, *шерстяной язык*

¹³ Здесь и далее цитаты из авторских текстов извлечены преимущественно из Интернета. Если цитата встречается на разных сайтах, то она не паспортизируется, дается только указание на автора текста. В том случае, когда автор использует псевдоним или никнейм, дополнительно указывается название сайта. Если же цитата встречается только на одном сайте, приводится и электронный адрес сайта.

¹⁴ Ср. также влг. *говорить телячьим языком* ‘говорить непонятно’: «За озером телячьим языком говорят, а мы правильно говорим» [КСГРС].

(как тайный, магический = звериный) может встать в один ряд с *птичьим* и *рыбьим*.

Фразеологизм *шерстяной язык* в значении ‘недоброе предсказание’ может отсылать также к нечистой силе — к черту. Как известно, наличие шерсти — устойчивая черта внешнего облика этого демонологического персонажа, которая отражена и в языке, ср. рус. диал. *косматый* ‘черт’ [РДС: 577]. «Чертовы» аллюзии, на наш взгляд, содержатся в некоторых обозначениях бранной речи, «чертыхания», ср. забайк. *дать косматого* ‘выругать, выбранить’ [СГСЗ: 114], а также простореч. *мохнатое слово* ‘бранное слово’ <Пермь> [ЛЗА]. Однако предположение о «чертовом следе» в выражении *шерстяной (шубный) язык* по своей доказательной силе выглядит пока весьма слабым и нуждается в дополнительных аргументах, которые могут обнаружиться в ходе дальнейших исследований.

Рассмотрев возможности истолкования *шерстяного языка* в связи с отсылкой к животным (черту?), обратимся к другим мотивационным линиям.

Шерсть ворсистая ⇒ *шерстяной язык* негладкий, грубый. Возможность такой мотивации осознается носителями диалекта, ср. арх. «Шубный язык у него, слова не выговаривает, у шубы ворсинок много — поэтому шубный»; «Речь невнятна, непонятная, букву не выговаривает. Говорят: шубный или шерстяной язык. В речи непорядок. Шерсть шершавая, поэтому и говорят так» [КСГРС]. В данном случае на первый план выходит еще одна сторона изучаемого мотивационного комплекса — тактильные ощущения от шерсти, меха. Они с особой наглядностью отражены в контексте «Речь твоя словно по сердцу шерстит», который приводится В. И. Далем как иллюстрация к твер. *шерстить* ‘царапать, драть, как сукно по телу’ [Даль₂: 630]. Речевые характеристики *гладкий / негладкий, грубый* говорят о естественности восприятия языковой деятельности через призму осязания; ср. коми (рус.) *шершавый язык* ‘кто-л. имеет дефект речи, говорит непонятно, невнятно, нечленораздельно’ [ФСК: 298], а также крылатое выражение *говорить шершавым языком плаката*, восходящее к знаменитому стихотворению В. Маяковского. В польском языке фиксируется оборот *słowo szorstkie* ‘грубое слово’ [Skorupka 2: 144], при этом прилагательное *szorstki* в настоящее время имеет значения ‘шероховатый’, ‘суровый, резкий’¹⁵, ‘незвучный, хриплый’, однако этимологически оно связано с *шерстью*: заимствовано из укр. *шерсткий*, производного от сущ. *шерсть* [Boгуś 2005: 605]. Укр. *шерсткий* ‘жесткий, шероховатый’ также получает ‘речевое’ значение ‘негладкий (о произношении)’, ср.: «Наші голосні і згососні літери в його виходили такими шерсткими» [Гринченко 4: 493].

Именная метафора шерстяного языка как «шершавого», жесткого материала органично дополняется метафорой глагольной: процесс обретения речи

¹⁵ Ср.: «— Nie ma pan większych zmartwiień? — odpowiedziała szorstko» («Нет у пана больших огорчений?» — ответила резко») <A. Osiecka>.

трактуются как обработка шкур, кож, их «смягчение»¹⁶, ср. влг. *вымять*¹⁷ *шубный язык* ‘научиться говорить (о ребенке)’ [СВГ 12: 131]. Язык, не прошедший еще такой обработки, осознается как *невымятый*¹⁸, ср. влг. *невымятый язык* ‘нелитературная речь’: «У нас язык корявой, невымятый»; «Невымятый язык-то, ты говори мне, а то ведь и обижу зазря» [СРНГ 5: 89]; напомним также приведенный выше архангельский контекст: «Язык-от был шубной у старух, не вымят, что наши шубы»¹⁹.

Другая грань образа связана со структурой материала. Ш е р с т ь, м е х — р ы х л ы й, н е п л о т н ы й м а т е р и а л ⇒ *шубная речь* «глухая», негибкая, бесструктурная. Как в предыдущем случае, «рыхлость» материала сказывается и на внешней, и на содержательной стороне речи. Образная трактовка внешних качеств речи (точнее, свойств звучащего голоса) посредством «шубной» метафоры основана на том, что неплотная, толстая материя поглощает звук, «изолирует», приглушает его. Ср. в русских художественных текстах: «...пробовал Никитич по неделям не пить, отрезвлялся, — но не ворочалось назад его исчезнувшее диво: в горле всегда словно чулок шерстяной был заткнут, голос хрипел, и сипел, и дрожал, словно кто Никитича за плечи в это время принимался трясти» <Г. Успенский>; «Говядин прошипел шерстяным голосом, беззвучно» <А. Н. Толстой>; «“Тробы!” — сообщил он горячим, шерстяным голосом» <А. Платонов>; «“На пристани”, — негромким, каким-то шерстяным голосом отвечал Дельми» <Ю. Фридман> и др.

Своеобразное звучание «шерстяного» голоса отмечается и в узуальных сочетаниях со словом «голос», ср. чеш. *chlupatý hlas*: «Vy, kteří máte hlasy příjemně upravené, jděte na kruchtu, a vy kteří máte hlasy chlupaté, jděte dolů a odpovídejte» («Вы, у кого приятные поставленные голоса, идите на хоры, а вы, у кого грубые <букв. “мохнатые”> голоса, идите вниз и отвечайте») [PSJČ 1: 1053], рус. разг. (*у кого*) *голос, будто у него валенок в горле* ‘о нудном, гнусавом и грубом голосе’ [БСРС: 81]²⁰; ср. также англ. *woolly voice* ‘сиплый голос’ [Мюллер 2003: 828], нидерл. *ullen* ‘приглушенный (о звуке)’ [БНРС: 622] и др.

Вообще, свойства голоса нередко получают образную трактовку через свойства ткани. При этом в качестве основы для метафор берутся именно наименования «толстых» тканей, как бы «гасящих» и смягчающих звук. Наиболее

¹⁶ Эта идея отражена, к примеру, и в карел. *kiel’i pehmenöw* («язык смягчится») ‘(кто-то) заговорит’ [ФСКЯ: 77].

¹⁷ Ср. арх., влг. *вымять* ‘сделать мягким, эластичным, размять’ [АОС 8: 30; КСГРС].

¹⁸ Сходный образ «необработанного» языка отражен в влг. *немо́лотый* ‘о языке: неразвитый, неповоротливый’ [КСГРС], сиб. *неклёпаный язык* ‘косноязычный человек’ [ЧДФ: 162].

¹⁹ Помимо образного представления языка как необработанной шкуры, фиксируется еще образ шкуры, вывернутой наизнанку, ср. коми-п. (рус.) «У нас здесь язык шкура навыворот, по-своему говорим» [СРГКПО: 266].

²⁰ Ср. укр. *та годі вав вовну жвати* ‘о невыразительной речи’ [ПП-укр 1990: 293].

известная метафора такого рода — «бархатная», ср. рус. литер. *бархатный голос* ‘о голосе: приятный, нежный, мягкий’, *бархатисто* ‘о приятном звучании голоса’: «Людмила засмеялась, смех ее звучал негромко, бархатисто» <М. Горький> [ССРЛЯ 1: 286–287], чеш. *sametový hlas, bas* («бархатный голос, бас») [PSJČ 5: 29] и др. В текстах встречается также *плюшевый, фланелевый, вельветовый голос*, ср.: «Позади него, приговаривая нежным плюшевым голосом, кто-то чистил апельсин» <А. Мамедов>; «...вельветовым голосом мурлыкала певица Dido» <А. Гришанова>; «Карел Готт — вельветовый голос» <А. Ильин-Беннетт> (URL: <http://ilinsanya.livejournal.com/56734.html>); «Существо смущенно потупилось и мягким плюшевым голосом представилось: “Я — Флонн...”» <Karasu-san> (URL: www.world-art.ru/animation/animation.php?id=5451); «Когда кто-то слышал ее голос (фланелевый мягкий и завораживающий голос), то все сразу оборачивались, чтоб узнать, кто это так говорит» <Эльмира> (URL: www.duslar.ru/forum/framehelper.aspx?g=posts&t=8753) и т. п.

Помимо качеств голоса, образ рыхлого материала может использоваться для обозначения свойств «соматического» языка, ср. арх. *шубный язык* ‘язык, плохо чувствующий вкус пищи’ [КСГРС]. В данном случае точным синонимом *шубного языка* выступает *ватный язык*. Вата — материал, в котором в максимальной полноте воплощено свойство рыхлости, идеальный глушитель и изолятор, — и эта ее «непроводимость» отражена в медицинском термине *симптом ватного языка* ‘об ощущении онемения языка’²¹.

Перейдем к характеристике внутренних качеств речи, «кодируемых» через образы шерсти и шубы. Негибким, неповоротливым языком трудно владеть, говорить искусно, красиво, поэтому *шубный язык* воспринимается как затрудненный, немногословный, невнятный. Здесь у *шубного языка* вновь обнаруживается *ватный* синоним, ср. литер. *ватный язык* ‘о невыразительной, бедной речи’: «Но все это не отменяет, конечно, ватного языка, дурацкого философствования и нагромождения банальностей, сквозь которые приходится продираться...» <Анна Ё-Наринская, «Коммерсант», 2007, № 24>.

Есть и другая сторона содержательной «шубности». Ворсинки, пушинки легки и «эфемерны», расположены неупорядоченно, поэтому данный образ подходит для обозначения болтовни = «облегченной», беспорядочной, неструктурированной речи. Соответствующие значения встречаются в семантическом спектре анализируемых фразеологизмов²².

²¹ Кстати, кроме языка, «немыми» могут быть ноги, ср. литературное выражение *ватные ноги*, у которого тоже есть *шубная* параллель: арх. *шубные ноги* ‘«ватные», онемевшие ноги»: «Ноги шубные бывают: не держат они никак. Стакан пива деревенского выпьешь — и ноги шубные будут» [КСГРС].

²² Ср. также чеш. *hárají se o kozí chlup* («они спорят о козьей шерсти») ‘(они) спорят из-за пустяка’ [VČRS: 241], *vata* ‘вода (в тексте)’ [Там же: 1154], рус. жарг. *катать вату* ‘говорить вздор, обманывать кого-л.’ [БСПП: 72] и др.

Помимо свойств материала, в интересующих нас выражениях могут быть отражены обстоятельства функционирования, использования шерстяных тканей. Ткань и изготовленная из нее одежда — индикатор социального статуса человека. Шерсть — непрестижная, «деревенская» ткань \Rightarrow *шерстяной язык* «простой», крестьянский. На Русском Севере, в зоне с холодным климатом, шерсть, мех, шкура — основной материал для изготовления одежды, которая использовалась едва ли не весь год (даже летом в холодных избах ходили в валенках, на покос надевали шерстяные рукавицы или «наголенники» и др.). Поэтому у шерсти (особенно грубой, плохо обработанной) есть «простонародные» коннотации, которые особенно ощутимы при сравнении с дорогими и изысканными тканями, например, с шелком (подробнее об этом ниже). Эти коннотации могут выступать на первый план в значении ‘нелитературный язык, диалект’.

Итак, «шерстяная» метафора речевой деятельности питается целым комплексом мотивационных признаков, среди которых «звериное» происхождение шерсти, ее тактильные характеристики, структура материала, особенности использования изготовленной из него одежды. Каждый из этих признаков имеет свои особенности актуализации — в отдельных значениях изучаемых фразеологизмов или же в «рисунках» внутренней формы.

Говоря о происхождении сочетаний *шерстяной язык* и *шубный язык*, которые, как говорилось выше, фиксируются в говорах Русского Севера, Среднего Урала и Западной Сибири, необходимо учитывать фактор русско-финно-угорских контактов. Мотивационные параллели обнаруживаются в коми, ср. приведенные выше коми литер. *гöна кывъя* («с покрытым шерстью языком») ‘косноязычный’, диал. иж. *гöна кылъя*, *гöна кыла* («с шерстяным языком») ‘шепелявый, неясно говорящий’, а также в карельских говорах, ср. карел. твер. *šargakiel’i*²³ («шерстяной язык») ‘о косноязычном человеке’: «Šargakiel’i nasul’i šanua viäkel’d’äw» («Косноязычный с трудом слова складывает») [СКЯ-Пунжина: 264; ФСКЯ: 193]. Коми и карельские диалекты соседствуют с говорами, где фиксируются русские «шерстяные» фразеологизмы; в зоне непосредственных и актуальных до сих пор коми-русских контактов находится Ленский район Архангельской области (здесь функционирует и *шубный*, и *шерстяной язык* [КСГРС]), карельско-русских — Пудожский район Карелии (*шубный язык* [СРГК]).

Встает вопрос о направлении заимствования. По нашему мнению, вектор контакта направлен из русского языка в коми и карельский, а не наоборот. «Шерстяные» метафоры не отмечены, судя по имеющимся у нас словарям, в тех финно-угорских языках, которые удалены от ареала русской «шерстяной» модели (в финском, марийском, мордовском, удмуртском, хантыйском и др.). В то же время в славянских языках фиксируются фразеологические обороты, которые, хоть и не имеют строгого

²³ Ср. карел. твер. *šarga* ‘шерстяная ткань, пряжа; домотканое сукно, сермяга’ [СКЯ-Пунжина: 264].

структурного тождества с русскими, содержат сходную образную фактуру (образ растущей на языке шерсти и т. п.). Таким образом, «шерстяную» метафору речевой деятельности в русском языке можно считать исконной.

Сукно

Тканевая метафора, детально прорисованная в мотивационных линиях диалектных оборотов *шерстяной язык* и *шубный язык*, используемая для обозначения «тайного» *байкового языка*, находит свое отражение и в русском литературном языке — в широко известном и наделяемом в настоящее время четкой «бюрократической» привязкой выражению *суконный язык*.

В современном русском литературном языке выражения *суконный язык*, *суконная речь* обозначают «невыразительный, бледный, шаблонный язык» [СлРЯ 4: 304]. Кажется, словарную формулировку «шаблонный» можно усилить: *суконный язык* — бюрократический, казенный, формально-бездушный. В восприятии нынешних носителей языка данный образ прочитывается с опорой на особенности использования сукна: этим материалом покрывают столы в официальных учреждениях, поэтому у слова *сукно* появляются устойчивые «бюрократические» коннотации, ср. разг. *класть (совать) / положить под сукно* «откладывать какое-л. дело, оставлять его без рассмотрения, не давать ему хода», *лежать под сукном* «оставаться без внимания, без движения (о документе, деловой бумаге)» [БСРП: 651].

Однако язык XIX в. и говоры хранят другое содержание образа. Как говорилось выше, В. И. Даль дает выражению *суконный язык* определение «картавый, шепелявый (язык)»; в псковских говорах *язык суконный* — «оскомина»; «*шутл., ирон.* о местном наречии, о человеке, говорящем на местном наречии»: «Нам язык не пряменивать, всё такой будя суконный. Кружева назывались карункам, такие языки суконные были» [СПП: 83], в одесских говорах *суконный язык* — «иностранный язык» [БСРП: 768]. Эти значения повторяют и развивают те смыслы, которые характерны для *шерстяного языка* («оскомина» перекликается со значением «язык, плохо чувствующий вкус пищи»; «иностранный язык» усиливает идею непонятного, объединяющую несколько «шерстяных» значений).

Очевидно, выражение *суконный язык* исходно было весьма точным образным синонимом *шерстяного*. Дальнейшее развитие семантики обусловлено переосмыслением слова *суконный*, получившего «бюрократические» коннотации.

Байка

По определению В. И. Даля, *байковый язык* — «вымышленный, малословный язык столичных мазуриков, воров и карманников» [Даль, 1: 38–39]. Великий русский лексикограф в середине XIX в. составил словарь этого языка (см. современную публикацию в [Даль 1990]) и описал некоторые его особенности: «Столичные, особенно питерские, мошенники, карманники и вору различного промысла, известные под именем мазуриков, изобрели свой язык, впрочем, весьма

ограниченный и относящийся исключительно до воровства. Есть слова, общие с офенским языком: *клёвый* — хороший, *жулик* — нож, *лепень* — платок, *ширмам* — карман, *пропулить* — продать, но их немного, больше своих: *бутырь* — городской, *фараон* — будочник, *стрела* — казак, *канна* — кабан, *камышовка* — лом, *мальчишка* — долото. Этим языком, который называется у них *байковым*, или попросту *музыкой*, говорят также все торговцы Апраксина двора, как надо полагать, по связям своим и по роду ремесла» [Даль, 1: LXXVII].

Почти в одно время с Далем этим языком заинтересовался Вс. Крестовский, который упоминал его (и даже привел около 160 слов) в своем романе «Петербургские трущобы» (1863): «У воров и у мошенников существует своего рода условный язык (*argot*), известный под именем “*музыки*” или “*байкового языка*”. <...> В нем... замечен сильный наплыв слов, звучащих очевидно не славянскими звуками. Не говоря уже о звуках отчасти польских, отчасти малорусских, вы весьма часто слышите в “музыке” слова вполне восточного происхождения. <...> Это смешение объясняется самим составом мошеннического сословия, служащего широким стоком для всех национальностей» (цит. по: [Козловский 1: 29–30])²⁴.

Существует несколько версий относительно происхождения выражения *байковый язык*. Две из них, упоминаемые чаще других²⁵, были сформулированы В. И. Далем: «от *байки*, суконный, картавый? или от глаг. *баить?*» [Даль, 1: 38–39]. Если В. И. Даль подает эти версии как равноправные, то М. Фасмер отдает предпочтение второй: «Возможно, первоначально шуточное образование от *байка* ‘сказка, небылица’» [Фасмер 1: 108]. В этимологической литературе последних лет эту версию поддерживает А. Е. Аникин (не комментируя и сопровождая модальным словом «вероятно») [Аникин РЭС 2: 89]. Такое решение возможно, но оно встречает некоторые возражения. Во-первых, от *байка* ‘небылица’ ни в одной форме существования русского языка не образуется прил. **байковый*. Во-вторых, в основу обозначений тайных языков, вроде бы, не кладутся глаголы типа *баить*, с которыми связаны представления о красноречии (см. далее о восприятии арго как речи малословной, «картавой» и пр. При этом нельзя не признать, что вполне вероятен переход «сказка, небылица» → «что-то ложное» → «неправильное, непонятное»).

Эти сомнения заставляют более внимательно взглянуть в «**тканевую**» **версию происхождения байкового языка**, согласно которой выражение образовано от *байка* ‘мягкая ворсистая хлопчатобумажная или шерстяная, полушерстяная ткань’. Представим аргументы в пользу этой версии.

²⁴ Подробнее о байковом языке и его изучении см. в предисловии А. Л. Топоркова к публикации словарика В. И. Даля [Топорков 1990], а также в книгах В. Д. Бондалетова [Бондалетов 2004: 140–179] и М. Н. Приемышевой [Приемышева 2009/1: 330–335].

²⁵ Другие версии менее вероятны, см., к примеру, предположение о связи выражения *байковый язык* с англ. *buy* ‘покупка, сделка; покупать’ (URL: www.newparadigma.ru/engines/NPforum/read.aspx?m=2301267).

Изучаемое название языка мошенников возникло, скорее всего, внутри арго, а не дано извне, — и значит, в нем реализуются особенности языкотворческой деятельности носителей арго. Один из продуктивных способов словообразования в тайных языках — шифровка известных слов (общенародных, диалектных, просторечных) путем замены их словами той же тематической группы, смысловыми аналогами, в том числе родо-видовыми, и т. п., ср., к примеру, *брюква* ‘тыква’, *волокно* ‘лен’, *клюка* ‘кочерга’, *сандали* ‘сапоги’, *шерстянка* ‘куделя’ [Приемышева 2009/2: 453, 467, 521, 613, 681], *обруч* ‘кольцо’, *бурка* ‘шуба’, *боты* ‘башмаки’, *квас* ‘виноградное вино’, *охота за дичью* ‘кража кур и всякой домашней птицы’, *юбочка* ‘пиджак’ [Козловский 1: 22, 57–58, 68; 3: 136]²⁶.

Можно предположить, что и выражение *байковый язык* — это шифровка, **кодирование некоего смыслового аналога**. «Претенденты» на его роль обнаруживаются как в русских народных говорах, так и внутри арго. Это выражения *шерстяной* или *суконный язык*, которые были описаны выше (с заменой *шерсти* или *сукна* на *байку*).

Существенным аргументом в пользу данной версии является география сочетаний *байковый* и *шерстяной (шубный)* язык. «Шерстяная» («шубная») метафора языка фиксируется именно в той среде, которая окружала Петербург (архангельские, вологодские диалекты, русские говоры Карелии). Эта языковая стихия, несомненно, была известна петербургским мазурикам и являлась благодатной почвой для их языкотворческой деятельности.

Воровское арго «малословно», речь мазуриков воспринимается как «картавая» (ср. *картавые* ‘прозвище жителей г. Коврова (за офенский язык)’ [Даль ПРН 1957: 334]²⁷), в ней много заимствований, в том числе польских, которые воспринимались как «шепелявые», — и эти характеристики наилучшим образом соответствуют свойствам «шерстяного» и «суконного» языка. В то же время они сопротивляются семантике глагола *баять*, который употребляется обычно по отношению к многословной, свободно текущей речи.

Перейдем к описанию **другого возможного «прототипа»** выражения *байковый язык*, который **обнаруживается в рамках арго**. Среди многочисленных разновидностей тайных языков в России видное место занимали арго ремесленников, изготавливавших одежду, — портных, шаповалов, шерстобитов. Языки вальщиков шерсти были особо живучими, поскольку соответствующая профессия пользовалась спросом у населения, — и сохранила актуальность после революции. Из таких арго наиболее известны *жгонский язык*, на котором говорили шерстобиты Костромской и Нижегородской губерний, и *понатский язык*, принадлежавший

²⁶ Здесь приведены как слова из «байкового языка» петербургских мошенников, так и факты других тайных и условных языков, образованные по сходным моделям.

²⁷ Ср. пояснение Г. П. Смолицкой: «Это прозвище дано жителям Коврова потому, что среди них было много коробейников, офеней — торговцев мелким товаром, имевших свой тайный (профессиональный), непонятный окружающим (отсюда и картавый) язык» [Смолицкая 2002: 156].

валяльщикам Пензенской губернии (об этих языках см. в: [Приемышева 2009/1: 275–279, 285–286; Бондалетов 1980: 77–101; Бондалетов 1992: 92–153; Добродомов 2000; Нестеренко 2007] и др.). Для нас важны расшифровки названий этих языков: *жгонский язык* переводится как «шерстяной язык» — из удм. *ыж гон* ‘овечья шерсть’, ‘шерстяной’, ср. также удм. *ыж гон тугись* ‘шерстобит’ (эта версия изложена в [Стрельников 1981: 70] и поддержана в [Добродомов 2000: 8]). Таким же образом трактуется название *понатский язык* — из мордов. (мокша, эрзя) *пона* ‘шерсть’ [Бондалетов 1992: 45]²⁸. Мотивация прозрачна: языки названы по основному объекту ремесла шерстобитов.

Встает вопрос: не могли ли названия аргос шерстобитов повлиять на появление в русских диалектах фразеологизма *шерстяной язык*, обозначающего речевые аномалии? Думается, на него следует ответить отрицательно: выражение *шерстяной язык* варьирует (ср. *шубный* и *суконный язык*); его варианты распространены гораздо шире, чем зона бытования жгонского и понатского языка; кроме того, трудно представить, чтобы носители русских говоров перевели названия аргос на русский. В то же время хорошее знакомство крестьян с самим фактом существования тайных языков шерстобитов (когда последние появлялись в деревнях, им предоставлялись для работы крестьянские избы, и, разумеется, между носителями аргос и диалектов был тесный контакт) могло дать дополнительный смысловой импульс изучаемым фразеологизмам, отражая впечатления деревенских жителей от зашифрованной речи.

Если диалектоносители вряд ли занимались переводом названий аргос, то сами носители аргос вполне могли это сделать. Предположение о том, что *байковский язык* есть результат внутриарготического перевода названий типа *жгонский язык* или *понатский язык*, небесспорно в плане способов арготического словообразования. Несмотря на то, что тайные языки мошенников и ремесленников имеют существенные различия как с точки зрения своей социальной базы, так и внутренней организации, между ними, безусловно, были связи. Жгонский и понатский языки родственны между собой и восходят к офенскому наречию [Нестеренко 2007: 162], а влияние последнего на язык мазуриков отмечалось еще В. И. Далем (см. цитату выше). При этом воровские тайные языки гораздо чаще, чем ремесленные, прибегали к семантическому словообразованию [Бондалетов 2004: 174], не говоря уже о том, что носители аргос неплохо владели техникой перевода с различных языков²⁹.

²⁸ Есть версия (кажется, не получившая поддержки в этимологической литературе) об аналогичной мотивации еще одного названия аргос — офенского языка. В соответствии с ней, слово *офена* восходит к греч. *ὀφύνη* ‘тонкое льняное полотно, привозимое на Русь из Греции’ [Бондалетов 1972: 38].

²⁹ Ср. примеры таких переводов: *Дэус* ‘Бог, Христос’, *ликус* ‘волк’, *микро* ‘мало’, *рок* ‘год’ и др. [Приемышева 2009/2: 490, 550, 566, 610].

Итак, название арго петербургских мазуриков, *байковый язык*, по нашему мнению, производно от слова *байка* в его «тканевом» значении и представляет собой арготический аналог широко употребительных в русских говорах выражений *шерстяной, шубный* или *суконный язык*, обозначающих разные речевые аномалии, или же появилось при переводе на язык мазуриков названий арго шерстобитов, расшифровываемых как «шерстяной язык».

Кожа

Кожа, наряду с шерстью, может рассматриваться как «природный» и «культурный» объект. Свойство кожи быть материалом для изготовления одежды позволяет включить ее наименования в круг рассматриваемых нами фактов. Ср. влг. *кожаный язык* ‘о том, кто неотчетливо, невнятно говорит’ [СРНГ 14: 51], пск. *кожаный язык* ‘о грубой манере разговора’: «У Зинули вашъй кожынный язык» [ПОС 14: 299]. Очевидно, в данном случае подчеркивается грубость, «шероховатость» кожи, шкуры, ср. этимологическое значение этого слова — «козья шкура», а также пск. *кожа* ‘цельная необработанная шкура животного’ [Там же: 296], пск., ряз., литов., эст. (рус.) *кожа* ‘кора дерева’, пск. ‘внешняя оболочка стеблей льна’, смол. *кожанеть* ‘грубеть, скорюзнуть (о коже на руках)’, *кожанка* ‘о давно не бритой бороде’, *кожановатый* ‘загрубевший, твердый, как кожа’ и др. [СРНГ 14: 49–51]. Интересная параллель обнаруживается во французском языке, ср. *cuir* («кожа, шкура (бычья)») ‘неправильное (грамматически) соединение слов в речи (например, *pas-t-à moi* вместо *pas-z-à moi*)’, *faire des cuirs* («делать кожу») ‘неправильно соединять слова (в произношении)’ [АВВУУ Lingvo x 5]; аналогом «кожи» является «велюр»: франц. *velours* ‘неправильное (грамматически) соединение слов в речи’ [Там же].

Кожа, шкура противопоставляются мясу по признаку «внешнее — внутреннее». Такая оппозиция особенно актуальна, думается, для тех территорий, где сильны охотничьи традиции (в том числе для Русского Севера). Кажется, она реализуется и в рамках рассматриваемой нами системной метафоры: арх. *мясной язык* ‘о человеке с правильной речью’: «Говорит хорошо, правильно. Не мясной ли у него язык? Мягкое чё-то — мясной язык» [КСГРС]. Таким образом, правильная, хорошая, *мясная* речь противопоставляется плохой, невнятной, *кожаной*. Невнятная, затрудненная речь может быть не только *кожаной*, но и *костяной*, ср. коми (рус.) *костяной язык* ‘кто-л. заикается, говорит с затруднением, запинаясь’ [ФСК: 52]. Эти факты говорят о том, что изучаемая метафора глубоко «врастает» в систему наивно-анатомических народных представлений.

Шелк

Невнятной, неправильной речи, речи с дефектами, обозначаемой с помощью метафоры негладких, грубых, колючих тканей, противопоставляется правильная, красивая, гладкая речь — и обозначения ее, в основании которых лежит «шелковая» метафора.

О существовании оппозиции *шубный язык* — *шелковый язык* говорит приведенный выше пермский контекст «Язык-от шубной у нас, у стариков, а у вас, у молодых-то, шелковый» (ср. перм. *шелковый язык* ‘плавная, гладкая речь’: «Язык-от шелковой, дак словами кого хошь укладет» [СПГ 2: 571], литер. *говорить как по шелку* ‘говорить гладко, плавно, красиво’). «Плохая» речь противопоставляется плавной и красивой как шероховатое и колючее полотно шерсти — гладкой и блестящей шелковой материи³⁰. Кроме того, как отмечалось выше, шерсть — простая, сводедельная, «деревенская» ткань; напротив, шелк — дорогая³¹, изысканная, «заморская». «Социальное неравенство» шерсти и шелка отражено в болг. диал. *копринена жена с вълнен мъж* («шелковая жена с шерстяным мужем») ‘говорят в том случае, когда муж, в отличие от жены, неученый, простак’ [ФРБЕ 1: 537].

В поэтических текстах изысканность, совершенство языка также ощущается как его «шелковистость», ср.: «Кто создал этот шелковый язык, вспанялы, шелестящий, точный, гладкий...» <В. Жилин>; «Я перевел свой тихий бред на шелковый язык мороза. Ночного неба ломкий свет теперь читается, как проза» <В. Приезжев>.

Однако умение говорить гладко, как по шелку, не всегда оценивается положительно. Красивой речью, как шелком, можно «оплетать», «окутывать» не самое приятное для слушателя содержание, ср. польск. *słowa w jedwab obwiwać* («оборачивать слова в шелк») ‘стараться кому-л. говорить что-л. как можно деликатней, вежливей’ [Skorupka 1: 309]³². Блеск, чрезмерная роскошность шелка, обвивающего слова, обманывает слушающего, скрывает правду, ср. укр. *як (мов, ніби и др.) шовком шиє (гантує)* (употребляется с глаг. *брехати*) ‘очень умело, тонко (врать)’: «Знав я і таких, що в живії очі тобі бреше, як шовком шиє — хоч би моргнув, вражий син!» [ФСУМ 2: 962]; чеш. *hedvábná slůvka dávat někomu* ‘говорить ластивые слова’ («шелковые словечки говорить кому-л.») [Zaorálek 1963: 58]; кашуб. *jedwáb owijac* ‘лицемерно, хотя и сладко говорить’ («шелком оборачивать») [Sychna 2: 92]; польск. *jedwabne słowa / słówka* («шелковые слова / словечки»)

³⁰ Стоит отметить, что шерсть и шелк нередко выступают «в паре». Например, в некоторых детских играх вопрос *Шелк или шерсть?* используется для того, чтобы играющие разбились на команды: те, кто выбирают *шелк*, попадают в одну команду, *шерсть* — в другую [ЖЧРФ 1: 367].

³¹ Ср. нижегор. *дорог* ‘шелк, лоскут шелковой ткани’ [СРНГ 8: 131].

³² В польской фразеологии функцию «окутывающей смысл» ткани может брать на себя и хлопок, ср. *nie owijać słów w bawełnę* («не закутывать слова в хлопок») ‘говорить открыто, правдиво, называть вещи своими именами’ [Skorupka 2: 144], а также «*Niech pan mówi po prostu, bez obwijania w bawełnę*» («Хорошо бы, чтобы пан говорил прямо, не закутывая слова в хлопок») [NKPP 1: 68] и др. В сербской фразеологии такую же роль может играть шерсть, ср. приведенное выше выражение *длаке на језику немати* ‘открыто, без стеснения, без каких-л. предосторожностей (говорить)’. Таким образом, ситуативно шерсть становится синонимом шелка и хлопка. В подобных выражениях на первый план выходит мотив покрытия языка (слов) тканью: снимается покров с языка — открываются и сокрытые смыслы.

‘ласковые, но лицемерные или льстивые слова’ [НКРР 3: 242]; в плане типологии ср. также карел. *šulkkuni kieli* («шелковый язык») ‘лестец’ [ФСКЯ: 207]³³, англ. *silken* («шелковый») ‘лицемерный (о словах, речи)’ [АВВУУ Lingvo x 5]³⁴.

Вообще, излишество, избыточность содержания того или иного положительного признака в сознании носителей языка нередко получает отрицательную оценку. В этом отношении символика *шелка* близка символике *сахара и масла*³⁵, ср. примеры, приводимые К. В. Пьянковой: пск., твер. *sáxaritsya* ‘добываясь чьего-л. расположения, проявлять внимание, заботу, заискивать, льстить’, тобол. *slatítʹ* ‘говорить небылицы, врать’, литер. *масленный* ‘слащавый, льстивый, заискивающий’ и др. Слишком сладкая или жирная пища — это отступление от норм повседневной жизни, соответственно, этими признаками могут наделяться различные не соответствующие нормам действия или речи [Пьянкова 2008: 127].

Если учесть, что *шелк*, обладающий сходной с *маслом* и *сахаром* символикой «избыточности», может развивать те же вторичные значения, то становится понятно, как объяснить еще один «шелковый» фразеологизм со значением речевой деятельности, ср. карел. *шёлковая частушка* ‘непристойная частушка’: «А частушек я умею шёлковых, от них молодые-то краснеют» [СРГК 6: 855]. Это значение тоже имеет аналоги среди «сахарных» и «масляных», ср. ленингр. *масляга* ‘безобразник и сквернослов’ [СРГК 3: 200] и др. (подробнее см. параграф 3.1.3, с. 343). Важный мотивирующий момент состоит в том, что сладкая, жирная пища, роскошные ткани могут получать негативную оценку с точки зрения христианской этики и рассматриваться как связанные с невоздержанностью, распутством.

* * *

Рассмотренные метафорические лексические единицы входят в системные отношения друг с другом. Так, *байка*, *сукно*, *шерсть*, *кожа* дают образную «синонимию», а *шелк* вступает с ними в отношения «антонимии». Системные отношения позволяют, как говорилось выше, прояснить мотивацию темных наименований (*байкового*, *кожаного* и других языков). Помимо коррелятивных смыслов, каждое из интересующих нас названий тканей имеет и свои, специфические. Это связано с особенностями образной номинации, которая пристально всматривается в весь

³³ Скорее всего, в карельский язык это выражение калькировано из русского.

³⁴ Ср. контекст из Интернета, в котором идея лицемерия, льстивости усилена за счет игрового столкновения образов «коммуникативного» и «соматического» языка (последний может использоваться для «лизания»): «5-му каналу <телевидения> можно было смело дать 14-ю награду как каналу, лизнувшему президента откровеннее всех <...>. Это будет награда в номинации “Шелковый язык”». Обыгрывается «тактильная» гладкость и шелковистость языка и «содержательная» льстивость, слащавость.

³⁵ *Масло* и *шелк*, обладая сходством на уровне денотативных признаков (гладкость, матовый блеск), нередко контекстуально соположены и взаимозаменяемы. Ср.: «Касаясь кожи — шелк и масло — блаженства музыка во мне» <О. Андрус>; рус. литер. *как по маслу* ‘гладко’ и *как по шелку* ‘то же’, *масляный голос* и *шелковый голос*.

комплекс свойств и функций соответствующих реалий. Мотивационное и смысловое богатство изучаемой модели позволяет говорить о ее продуктивности и проясняет особенности народной метаязыковой рефлексии.

3.1.3. МЕТАФОРЫ НЕПРИСТОЙНОЙ РЕЧИ

Язык изобретателен во всем — в том числе в описании (номинации) самого себя и собственных проявлений. Такие метаязыковые номинации бывают прямыми и образными, метафорическими. Весьма богата метафорическими моделями система обозначений непристойной речи. В этом параграфе будут представлены некоторые метафорические обозначения и характеристики непристойной речи, которые функционируют в русских народных говорах и просторечии. Выбор этих форм существования языка обусловлен тем, что в народной речи отсутствует языковая норма (но не этическая!) и сохраняется память о ритуальных функциях брани и ее магической силе (об этом см. в [СД 1: 250–253]), и эти обстоятельства могут отразиться в номинации мата. Ниже дается краткий обзор номинативных моделей — без подробного анализа их мотивационного фундамента (мотивационные комментарии даются лишь в некоторых необходимых случаях).

В народном сознании непристойная речь обладает рядом «физических» признаков, в том числе признаком **цвета**. Бранная речь окрашена в **ч е р н ы й ц в е т**: простореч. *черное слово* ‘содержащий упоминание черта, нечистой силы (о брани)’; «Ефим был мужик степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал, черным словом весь век не ругался, и человек был строгий и твердый» <Л. Толстой> [ССРЛЯ 17: 929], простореч. *ругаться по-черному* ‘грубо, непристойно ругаться’ и др. Здесь наблюдается аттракция *черт* ↔ *черный* с последующей эвфемистической заменой первым вторым, ср. простореч. *черный* ‘черт, дьявол, нечистая сила’; в основе такого притяжения — представление о «демонической» природе бранного слова [СД 1: 251]. Синонимом черного выступает с е р ы й: новг. *серые слова* ‘бранные выражения, слова’ [НОС 10: 47]. Кроме того, бранное слово может восприниматься как п е с т р о е, р я б о е: перм. *матька́ как рябка́* ‘много бранных слов’: «Пасут у нас ноне каки-те бабы, дак у их матька-то как рябка» [ФСПГ: 211], ср. также б. м. *пёстрый* ‘сварливый’ [СРНГ 26: 319]³⁶.

Цветовой метафоре близка **грязевая**: черный и серый — цвета грязи; *грязной, нечистой* речи противопоставляется *чистая*, правильная, ср. литер. *грязно ругаться* ‘ругаться, используя непристойные слова’, *грязный* ‘морально нечистый; непристойный, гнусный’. В говорах абстрактная символика «духовной нечистоты» конкретизируется, превращаясь в метафору м у с о р а: пск., твер.

³⁶ Ср. наблюдения Е. И. Якушкиной над сербской этической лексикой: «колористические» основы *чрн-* ‘черный’ и *шар-* ‘пестрый’ порождают семантику общей негативной нравственной оценки и семантику распутства [Якушкина 2003: 48].

мусор, мусора, мусорицина ‘непристойная брань, сквернословие’, пск. *мусорить* ‘сквернословить’ [ПОС 19: 75–76; СРНГ 18: 366], мурман. *кастя* ‘сквернослов’ [СРГК 2: 332], арх., влг., новг., пск. *касть* ‘ругательство, брань’ [СРНГ 13: 118], ср. *касть* арх. ‘сор, мусор’, ‘вонючая, смрадная грязь’, арх., пск., твер. ‘экскременты’ [Там же]. В ряд слов, реализующих «мусорную» метафору, следует включить, по мнению А. В. Хелемендик, новг. *паршійть* ‘ругаться, сквернословить’ [СРГК 4: 401], которое производно от *парша* и родственно словам *перхоть, прах* и т. п. [Хелемендик 2007: 146–147].

Грязью можно о б л и т ь — как и непристойными словами, ср. костр. *заливать матюками, заливной матюк* ‘«отборный» мат’ [ЛКТЭ], а также простореч. *поливать* ‘ругать, «поносить» кого-л.’. Другая грань **жидкостной** метафоры мата проявляется в образе с ы р о г о слова, ср. арх. *сырое слово* ‘нецензурная брань, похабщина’: «Чуть не по ему — сырым словом начнет ругаться, злюшкой до чего» [КСГРС]. Образ «питается» семантикой сырого как неочищенного, неготового, невареного, необработанного, а при переосмыслении — ненормативного.

«Физическое» восприятие мата проявляется также в обширной группе **пространственных** метафор.

Среди них, во-первых, метафоры р а з м е р а. Непристойные слова имеют «б о л ь ш о й размер»: арх. *большие слова* ‘грубые, непристойные выражения’ [Нефедова 2001: 110], перм. *на большую букву послать (посылать)* ‘грубо материть кого-л.’: «Только на большую букву посылают пьяны-то» [ФСПГ: 294], вят. *большая мать* ‘сквернословие, брань’ [ОСВГ 1: 98] и др. Образ большого размера — один из способов выражения идеи интенсивности (← экспрессии) бранной речи³⁷. Он обнаруживает переключки с современным образом «м н о г о э т а ж н о с т и» мата, представленным в просторечии, ср. выражения типа *многоэтажный (трехэтажный, семиэтажный) мат* и т. п.: «Грандиозный многоэтажный мат звенел над этими дорогами в виде единственного утешения» <В. Шульгин>, *покрыть многоэтажным матом*; ср. также арх. *загибать в три этажа* [АОС 15: 416] и пр.

Во-вторых, следует выделить метафорические предикаты мата со значением п о к р ы т и я. Это своего рода перевод метафоры размера на «язык» объема: обладая большим размером, бранное слово способно «объять» большое пространство, ср. простореч. *покрыть, обкладывать, обложить матом*: «Она могла и толкнуть соседку на кухне, и, в случае чего, покрыть матом» <Л. Гинзбург>, «Видя, что со мной шутки плохи, Шварц начал сбавлять свой тон и, наконец, обложив меня просто матом, заявил, что в Тифлисе Заболоцкого знают все, а меня почти никто» <Д. Хармс>.

³⁷ Эта идея выражается по-разному, — например, с помощью образа крепости (и тоже интенсивности), ср. литер. *крепкое слово*.

В-третьих, важную роль играют метафоры движения. Сквернословие трактуется как непрямое движение — сгибание, плетение, вязание: арх. *выгибать матючки́, гнуть мат (ма́ты, мать, матюги́* и др.): «Начьнёт ругаца, гнуть матюги» [АОС 9: 165–166], прибайк. *матюжку загнуть*: «Ребятишки не слушаются, когда и матюжку загну» [СРГС 2: 266], перм. *ма́тька́ загнуть (согнуть)*: «Шибко проворной был, никто ма́тька ему не согнул, все его боялись» [ФСПГ: 125], смол. *загнуть матвея* ‘выругаться’ [ССГ 4: 56], новг. *оплести матюгом* ‘ругаться матом, сквернословить’ [НОС 7: 7], перм. *мата (матюк, матушку) завязать*: «Чё это, сын её мата завязал, совесть-та нету дак» [СПГ 1: 277; ФСПГ: 124]. Характерно также образное представление бранной речи как движения в обратную сторону: влг. *нао́пако ругаться* [КСГРС]³⁸, яросл. *выворотить*: «Вот так выворотила ты словечко» [ЯОС 3: 50], арх. *перевернуть большого матюка* [Нефедова 2001: 66–67], арх. *заворачивать матюги*: «Раньшэ такие матюки заворачивали, весело было» [АОС 15: 416], *посолонный* ‘неприличный, непристойный’: «Посолонны твои слова, вывернутые» (ср. арх. *посолонное дерево* ‘дерево с искривленным на солнечную сторону стволом’) [КСГРС; СРНГ 30: 195].

В-четвертых, продуктивна метафора перемещения, удаления: субъект брани с помощью соответствующей лексики удаляет адресата из своего пространства. Ср. влг. *колёски, картинки и колёски* ‘непристойные, бранные слова’ [СГРС 5: 242; КСГРС], *на возу не увезти* ‘о матерной брани’: «Расстроилася, так накатили, на возу не увезти» [КСГРС], простореч. *послать* ‘грубо обругать кого-л.’, сиб. *послать не меньше матери* ‘выругать матом’ [СРГС 3: 411], перм. *с ма́тька́ катить* ‘грубо, матерно ругаться’: «Нонче што есь родителей с ма́тька катят, нисколь не боятсья» [ФСПГ: 163], сиб. *ка́ти́ть* ‘ругать матом кого-л.’: «Я говорю: “Саша, иди в баню”, — а он меня катил, катил, обматерил, а в баню не пошел» [СРГС 2: 46], влг. *нака́ти́ть*, ср.-урал. *иска́ти́ть* ‘обругать’: «Иска́тил меня последними словами» [КСГРС; ДЭИС] и др.

Удаление сродни уничтожению, разрушению: употребление бранных слов описывается также с помощью обозначений интенсивных **разрушительных действий** — *бить, драть, рвать, крошить* и др. Эта метафора описана А. В. Хелемендик, которая относит к ней перм. *вышибать* ‘произносить бранные, неприличные слова’, сиб. *ободраться матом*, арх. *спушивать* ‘легко, не задумываясь, произносить непристойные выражения’ (ср. *пушить* ‘обдирать шкуру’), перм. *крошить матюки* [Хелемендик 2007: 41–42, 58]. Ср. также костр. *рванина*

³⁸ Ср. влг., олон., пск., твер. *нао́пако* ‘с противоположной стороны; назад, обратно’ [СРНГ 20: 55]. Показательны также другие слова со значением характеристики речи в гнезде *-нак-*: тобол. *нао́пако* ‘неприлично’ [СРНГ 20: 56], влг. *на́киша* ‘человек, говорящий неправильно’ [КСГРС], яросл. *она́куша* ‘человек, который вяло и невнятно говорит, мямля’ [СРНГ 23: 231], казан. *нао́пак* ‘неправильно, нечисто произносить слова’, горьк. *наопа́кишу* ‘непонятно (говорить)’ [СРНГ 20: 55] и др.

‘непристойные слова’ [ЛКТЭ], новг. *пороть* ‘говорить что-л., выходящее за нормы речи’: «Ты что ж эта при девчонках похабину-то порешь!» [НОС 8: 129].

Высокой продуктивностью обладает **пищевая** метафора брани. Во-первых, бранная речь образно трактуется как с о л е н а я или к и с л а я: арх. *солонь* ‘остроумно, но непристойно и грубо’ [Глущенко 2001: 133]³⁹, ср.-урал. *кислое слово* ‘непристойное, бранное слово’ [ЛЗА], влг. *кислёня (кислёня)* ‘употребляется как бранное слово; кислятина’, калуж. *кислотá Тихоновская* ‘употребляется как бранное выражение’ [СРНГ 13: 230, 235]. Во-вторых, брань сравнивается с ж и р н о й, с к о р о м н о й пищей: ленингр. *масляга* ‘безобразник и сквернослов’: «Масляга, он и неподходящее слово выпустит, матерщинник» [СРГК 3: 200], арх. *волóжной* ‘непристойный’ (← *волóжной* ‘жирный (о пище)’ [АОС 5: 42], влг. *молочная частушка* ‘частушка, песня, содержащая непристойные слова’: «Молочные частушки, матюжные песни. Сходите к Наденьке, она их много знает» [СРГК 3: 254], пск. *жирный* ‘непристойный, сальный’ [ПОС 10: 244–245], арх. *скоромное слово* ‘нецензурное слово’ [КСГРС] и др., ср. также арх. *толстый* ‘нецензурный’: «Дед, позагибай им что-нибудь потолще» [СРГК 6: 477]. В «жировых» метафорах переосмысляются «мажущие», «пачкающие» свойства жирной пищи, а также оценка ее с позиции христианской этики как пищи скоромной, связанной с греховным началом, плотским, невоздержанным поведением, распутством (подробнее см. в [Пьянкова 2008: 133–137; Толстая 2008: 478–482; Якушкина 2003: 82–87]).

Пищевой жир может восприниматься как излишество, нарушение повседневной нормы (а избыточность содержания того или иного положительного признака в сознании носителей языка нередко получает отрицательную оценку). Сходным образом трактуется и слишком богатая, нарядная ткань — шелк, отсюда «ш е л к о в а я» метафора мата: карел. *шёлковая частушка* ‘непристойная частушка’: «А частушек я умею шёлковых, от них молодые-то краснеют» [СРГК 6: 855] (об этом см. также параграф 3.1.2, с. 339). Среди **тканевых** метафор непристойной брани есть не только шелковая, но и м а х р о в а я, ср. простореч. *махровый мат*. В этом сочетании переосмысляются свойства махровой ткани, которая имеет множество длинных ворсинок и петель, что создает впечатление неупорядоченности и особой «интенсивности», ср. литер. *махровый* ‘ярко выраженный (о каком-л. отрицательном качестве)’.

Интересна **растительная** метафора непристойной брани. Непристойные слова именуются *ржаными* — в противовес *пшеничным* (приличным), ср. влг. *ржаная песня* ‘песня с обценными словами и сексуальной тематикой’, но *пшеничная песня* ‘песня без обценной лексики и сексуальных тем’: «Ржаные песни — так матюжные. Пшеничные — мягкие песни», «Пшеничные песни пели и ржаные. Ржаные-то: “Мене милка изменила, Самая красивая. Половина ж...ы красная, А другая синяя”», «Пшеничные песни не озорные, а ржаные озорные».

³⁹Ср. литер. *солёный* (о шутке, анекдоте) ‘непристойный’.

«Пшеничные-то: “Задушевный мой товарищ, Выходи на перепляс. Если ты меня не выручишь — И я в последний раз”» [КСГРС] (об этих выражениях, записанных Топонимической экспедицией Уральского университета в Бабаевском районе Вологодской области, см. в [Тихомирова 2009]). Мотивация данных выражений является комплексной. С одной стороны, здесь символически переосмысляются реальные свойства растений: рожь и пшеница противопоставлены по признакам «темный» vs «светлый»; «низкий» vs «высокий» (ср., кстати, смол. *пашанишний* ‘высокий (о женском голосе)’, *ржаной* ‘низкий’ [Пашина 2003: 95]); «грубый (о муке)» vs «мягкий»; «повседневный (о хлебе, выпечке)» vs «праздничный». С другой стороны, значима культурная символика: рожь в народных верованиях может наделяться негативной оценкой, в то время как пшеница — позитивной. К примеру, согласно сербской легенде, рожь проклята Богом за то, что не пожелала пойти в церковь, а пшеница получила благословение Бога и ее носят в церковь, варят «за душу» [СД 4: 373]. Мелиоративная символика пшеницы — в связи с речевой деятельностью — обнаруживается в восточнославянских пословицах, ср. блр. «Пастаў на стол ячменную кашу, а пшанічнае слова — лепей» [ПП-блр 2: 186, № 494], укр. «Дай чоловіку лусту хліба житнього, а слово пшеничне» [ПП-укр 1990: 298, № 21], «Хоч і ячна луста, та пшеничне слово» [Там же: 301, № 109]. Наконец, злаки, если рассматривать их как знаки языка культуры, обладают эротическими коннотациями — это проявляется и в присущей им «общей» символике плодородия, и в конкретизирующих ее мотивах (к примеру, срезание колосьев устойчиво трактуется как потеря девственности). Возможно, отголоски этой символики обнаруживаются в литер. *злачное место* ‘место, где предаются кутежу, разврату и т. п.’.

Образное народное мышление приписывает непристойной брани типичных «носителей», которыми, в первую очередь, являются **животные**. Среди них *с о б а к а* (перм. *держать собаку во рту* ‘сквернословить’, *собаку открыть* ‘извергнуть поток брани’ [ФСПГ 106: 254], сиб. *отпустить кобеля* ‘выругаться матом’, *облайка* ‘женщина, которая часто ругается, сквернословит’, ‘матерщинник’: «Облайка — это тот, кто матом кроет всех подряд» [СРГС 2: 78; 3: 26], арх. *высобачить* ‘отругать, выругать, назвать бранными словами’ [АОС 8: 216] и др.) и *в о р о н а* (костр. *кёркать* ‘сквернословить’ (← *кёркать* ‘каркать’) [ЛКТЭ]).

* * *

При всем разнообразии описанных метафорических моделей их комплекс пронизан внутренними связями и объединен общей оценкой. Дополнить картину поможет изучение неметафорических моделей номинации непристойной речи, которое предполагается осуществить в дальнейшем.

3.1.4. ЯЗЫКОВОЕ ИСПЫТАНИЕ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ*

В Ярославской области был такой обычай: на свадьбе, когда жениху подают блины, его просят сначала *сыскать концы*, а потом разрезать блин и есть. Не знающие местных порядков женихи приходят в замешательство: «Блин круглый, где же тут искать концов?» Гости над ними смеются. «Знающий обыкновение в ту же минуту *найдет концы*: это значит, что должно перекреститься, и тогда уже резать блины» [ЯОС 9: 94]. Как известно, испытания, через которые должен пройти жених, — необходимая составляющая свадебного обряда. В данном случае испытание, по сути, является языковым: жених должен правильно понять значение фразеологизма *сыскать концы*. Не владея им, женихи буквализируют образ, заложенный во фразеологизме, и тщетно пытаются *сыскать концы* у круглых блинов.

Этим примером мы начинаем анализ ситуаций языковых испытаний. Такое условное название предлагается для обозначения игровых ситуаций, которые в народной культуре служат способом своеобразной проверки языковой компетенции участников коммуникации. Языковые испытания разворачиваются так: «экзаменатор», намереваясь соотнести свой опыт с опытом «экзаменуемого» и проверить его смекалку, дает ему задание, которое имеет «лингвистическую» составляющую, т. е. требует правильного понимания значений слов и их употребления. Материалом для анализа послужили произведения русского и польского устного народного творчества (главным образом прозаические) с разной степенью «фольклоризации» — от бытовых нарративов до анекдотов и сказок. В бытовых нарративах ситуации языковых испытаний подаются рассказчиком как реальные истории, однако сюжетные ходы и даже лексические стимулы, инициирующие эти ситуации, нередко повторяются в разных нарративах, что свидетельствует в пользу клишированности и воспроизводимости этих текстов и говорит о правомочности рассмотрения их в одном ряду с «классическими» фольклорными жанрами. Значительное место в кругу изучаемых фактов занимают нарративы, записанные сотрудниками Топонимической экспедиции Уральского университета на территории Архангельской, Вологодской и Костромской областей. Особо выделим тексты, зафиксированные в 2009–2012 гг. в Верхнем Поветлужье — Октябрьском, Вохомском, Павинском районах Костромской области. Данная зона граничит с Вяткой, население разных областей активно контактирует (более того, одни и те же деревни в разные периоды оказывались приписанными то к одной области, то к другой), и наблюдается чрезвычайно активная метаязыковая рефлексия диалектоносителей по поводу различий костромского и вятского говоров (специально об этом см. в [Казакова 2011: 38–42; 2012]). Все это порождает многочисленные тексты, где отражены ситуации

* Соавтор — Е. Д. Бондаренко.

языковых испытаний, которым костромичи подвергают вятчан (*ветчанят, ветчаненков, ветчанух* и др.) или наоборот.

Не случайно в начале этого параграфа был приведен «свадебный» пример: языковые испытания нередко встречаются на разных этапах свадебного обряда и затем — в первые годы совместной жизни молодых. Они становятся для членов новой семьи формой своего рода инициации. Вот некоторые примеры «застольных» испытаний молодых (в первую очередь зятя), найденные Г. И. Кабаковой [Кабакова 2009б: 165–166]. Зятю предлагают *калитку*, а он не понимает, что речь идет о пироге (арх.). Его просят выбрать между *соломатой* и *гогольками*, т. е. толком со сметаной или только с водой, а выбор его затруднен из-за незнания этих слов (влг.). Когда зять пытается отломить пирог, теща говорит ему: «Ешь-ешь, а не *зачинай!* Ешь-ешь, а не *зачинай!*», — и он кладет пирог на место, поскольку думает, «што не *зачинай* дак што не *трогай*», а теща предполагает, «што это надо, штобы он целый взял и съел» (арх.)⁴⁰ [Там же].

Интенция испытания жениха может сочетаться с интенцией намеренного обмана, который, по сути, служит способом отказа при сватовстве. Согласно сюжету польского анекдота «Panna uczyła kawalera mówić “po szlachecku”» («Девушка учила парня говорить “по-шляхетски”»), богатый парень сватался к девушке, которая не хотела выходить за него — вопреки воле родителей. Чтобы его спровадить, она предложила ему научиться говорить «по-шляхетски»: «...как будет *piec* (“печь”)? Это будет *dupa*, а *talerz* (“тарелка”) — это *pizda*, а *widelec* (“вилка”) — это *huj*». Жених приехал к родителям девушки и показал, как он усвоил урок: «Napaliłaś w dupie, jaż mi się po jajcach leje! <...> Postawiłaś pizdę daleko, że *hujem* nie mogę dostać». Родители его прогнали (люблин.) [АЕ UMCS]. Здесь девушка испытывает парня на сообразительность, выдавая обценные слова за «шляхетские». Парень не выдерживает ни испытания на знание языка, предложенного девушкой, ни проверки на речевой этикет у ее родителей.

Почвой для языковых испытаний нередко являются междиалектные различия, обуславливающие незнание или непонимание участниками коммуникации специфических местных слов и выражений. На обыгрывании таких различий построен польский нарратив «Pichna i wścibak» («Пасхальное яйцо и колечко»). Приходит парень к девушке в селение Красноброд (в окрестностях Люблина), а девушка просит его: «Kup mje *wścibak!*» («Купи мне колечко»). Он не понимает, что надо купить. Спрашивает ее: «Dałaś mje *pichny?*» («А ты дала мне пасхальное яичко?»). Она тоже не понимает. Оказалось, она ему не подарила *pisanki* <пасхальные яйца> на Пасху, а он ей за это не купил *pierścionek* <колечко> [Там же]. Молодые люди

⁴⁰ В речи тещи в глаголе *зачинать* актуализируется контекстный смысл ‘не заканчивать, осуществлять что-л. не полностью, не целиком’. Зять же понимает *зачинать* в другом значении, ср. арх., влг. ‘приступать к потреблению, трате чего-л.’ [СРНГ 11: 178].

не понимают друг друга, поскольку используют диалектные синонимы для литературных слов: *wścibak* вместо *pierscionek* и *pichny* вместо *pisanki*. На первый взгляд, интенция языкового испытания здесь отсутствует — и в рассказе описаны непреднамеренные коммуникативные помехи. В то же время сценарий и логика свадебного обряда говорят о том, что герои попали в ситуацию недоразумения не случайно, она «подстроена» самой традицией: готовясь к свадьбе, жених и невеста должны лучше узнать = испытать друг друга, в данном случае — через языковой опыт.

Языковые испытания продолжаются и после свадьбы: костр. «Раньше мне дедушка рассказывал, тоже женился на девке парень в их деревне. И говорит: “Бери *оброть* да иди за лошадей-ту”. Это дело у них к лошадям относится. И вот она ходила-ходила, ходила по дому-ту, по конюшне, может, да везде, нигде эту *оброть* не нашла. У них-то не *оброть* зовут-то этот предмет-то, *узда*! Он пришел, рассердился, принес ей, сунул: “Вот, — говорит, — *оброть*!” А она говорит: “Это ведь, — говорит, — *узда*!” Вот: у ей *узда*, а у него — *оброть*. Потом он ей говорит (запрягать он ее учил лошадь): “Запрягай, — говорит, — лошадь-ту! Надевай *чересседельник-от*!” Это *чересседельник*, а уж по-другому-то он *перебег*, в другой деревне. Вот тебе и понимай, сноха, как знаешь!» [ЛКТЭ]. Молодая жена не может выполнить поручения мужа, т. к. он использует в речи диал. шир. распр. *оброть* [СРНГ 22: 210] и общенар. *чересседельник*, в то время как в тех местах, откуда родом его супруга, эти реалии обозначаются с помощью общенар. *узда* и арх., влг., вят., костр., новг. *перебэг* [СРНГ 26: 23].

В другом тексте повествуется о том, как новая семья проверяла умение невестки печь, к которому «прикладывается» знание местных названий выпечки: костр. «Молодица была с Новосибирска. Решили ей испытать, как она пекот <печет>. Говорят ей: “Испеки *пирогов*!” А она: “А чем их начинять?” А мы смеемся: “У нас *пирог*и не начиняли”» [ЛКТЭ]. Молодая жена имела в виду пирог в общенародном значении ‘мягкое выпечное изделие из раскатанного (обычно дрожжевого) теста с начинкой’, в то время как ее костромские родственники вкладывали в это слово широко распространенное диалектное значение ‘хлеб’ [СРНГ 27: 40]⁴¹.

Вообще, междиалектные различия — самое яркое и разительное проявление несходства языкового опыта для носителей народной культуры. Ср. рассказ носительницы костромских говоров, живущей на пограничье с Вяткой: «У нас

⁴¹ Пирог без начинки становятся источником недоразумений, описанных и в других текстах: костр. «Приехала в гости, они говорят: “Ешь *пирог*и”. Я один сломала — нет ничё, другой — без начинки, дак какие там *пирог*и! А ещё говорят *пирог*и. Я пекла без начинки — дак *мусники*, нет никакой начинки. Да у них *пирог*и, а у нас *мусники* называется» [ЛКТЭ]. В такую же ситуацию попадает невестка — героиня нарратива, записанного на Алтае: ей дают *пирог*, а она не знает, что так называют обычный белый хлеб [Кабакова 2009б: 166].

в *ночёвках* хлеб катают, у ветчанёнков <жителей Вятки> навоз носят. Соседка-ветчануха была у меня. Раз пошутила над нашей девкой: “Дай, — говорит, — *ночёвки*, мне надо навоз выносить”. Та говорит: “Как ты его выносишь в такой-то маленькой посудинке?” Ой, смеялись мы!» [ЛКТЭ]. Сев.-рус., ср.-рус. *ночёвки* (*ночв́а, но́чвы, но́чэвка* и др.) — корытце, деревянный лоток, используемый для различных хозяйственных надобностей: так, костромичи готовят в *ночёвках* тесто, подкидывая его вверх и снова лоя в это корытце; у жителей Вятки *ночёвки* больше размером и используются для переноски навоза [СРНГ 21: 296–297; ЛКТЭ]. Каждый считает свой способ использования реалии наиболее «правильным», а соседский — «неправильным». В нашем примере функции реалий вообще контрастны («высокая» — для хлеба / «низкая» — для навоза), что не может не вызвать комического эффекта.

Еще один сюжет с участием костромичей и вятичей таков: «Вот когда мне первый раз сказали *скутать* печку, я ходила вокруг печи долго. Как печь *скутать*? Не знаю. “Ну, чего? *Скутала*?” — “Нет, а как, я не могла *скутать*!” — “Да, говорит, возьми *закрой* <печную вьюшку>!” У нас *закрывать* печку, а на Вохме — *скутать*» [ЛКТЭ]. Рассказ ведется от имени жительницы Вятки, которая попала в Вохомский район Костромской области, где значение ‘закрыть дымоход печи’ выражается глаголом *скутать* [Там же], — в отличие от общенар. *закрывать* (печь), употребительного на родине рассказчицы.

В сюжетах языковых испытаний, основанных на обыгрывании междиалектных различий, нередко используется схема «пойди туда — не знаешь куда / принеси то — не знаешь что» (носителя чужого диалекта отправляют в неизвестное ему место или за неизвестным предметом). Сюжет «локативного» типа представлен, к примеру, в рассказах о двух *мостах*, ср.: арх. «У вас *сени*, у нас *мост*. Кто чужие, дак не знают. Матрёна пошутила над невесткой: “Принеси с *моста* молока”. А та в потёмках на реку пошла» [КСГРС]; влг. «Сени *мостом* звали. Племяннику из города сказал: “Сходи-ка на *мост*”. А он на реку ушёл» [Там же]; костр. «Внучке говорю: “Пошли на *мост*?” Пришли: “Бабушка — тут чего?”. <Смеется> “Да по-вашему *коридор*”» [ЛКТЭ]. Здесь сталкиваются два смысла слова *мост*: молодые и «чужие» ориентируются на литературное значение ‘сооружение для перехода через реку’, а в речи старших функционирует диалектное (сев.-рус., ср.-рус. *мост*) ‘сени’ [СРНГ 18: 287]. Рассказы о двух *мостах* являются, пожалуй, самыми популярными примерами языковых испытаний на тех территориях, где это слово употребляется в диалектном значении, что подтверждается полевым опытом авторов данного текста и других диалектологов, с которыми нам довелось обсуждать метаязыковые сюжеты. Этой популярности способствуют широкая распространенность обоих слов, присутствие их в активном словарном запасе информантов и бытовая значимость самих реалий.

К числу популярных мест, куда посылают незадачливых приезжих, которые незнакомы с местным диалектом, относятся и разного рода чуланы, кладовки. Их обозначения тоже воспринимаются как яркая дифференцирующая примета говора⁴²: а) костр. ««Сходи, Маша, в *клить!*» <просит бабушка>. Ладно, я выскочила в коридор. А куда идти? Не знаю. Двор — так это *двор*. Кладовка — так *кладовка*. Вернулась. — “Бабушка, ты куда меня послала?” А это, оказывается, *кладовка* по-нашему» [ЛКТЭ]; б) костр. «У нас *сельник* называется, а у ветчанёнков <вятчан> *клить*. Оне к нам приедут, смеялись над ними. Пошлём их в *сельник*, а они и не знают, куда идти» [Там же]. Здесь наблюдается столкновение общенар. *кладовка*, вят., костр. *клить* и костр. *сельник* ‘кладовка, хозяйственное помещение’ [Там же].

Вот пример текста, в котором дается задание принести предмет, поименованный неизвестным словом. Невестка слышит от свекра: «На санях мои *кокольды* возьми иди!» Не поняв слова, она долго искала, но нашла на санях только рукавицы: «Папаша, дак вот *рукавицы*, а больше никаких *кокольдов* там нету!» — «Ха-ха-ха, дак это и есть *кокольды!*» (по рассказу А. С. Горбачевой, с. Карабула Богучанск. р-на Красноярск. края; видеоприложение к [СГБС 1]). В данном случае невестка не знает слова *кокольды* ‘охотничьи рукавицы, сшитые из оленьей, собачьей, лошадиной шкуры, с прорезями на ладонях’ (байк.) [СРГС 2: 84–85]. В другой раз та же невестка получает указание свекрови: «Молодуха, беги, *ступок* принеси!» Та не понимает: «Как, думаю, *ступок?* *Ступку!* Толочь, ну». Ищет ступку, не может ее найти: «Мамаша, дак нету *ступки!*» — «Да как нету, два ящика *ступок* лежит... стоит зараз!» В ящиках невестка находит картошку, которую привыкла называть словом *беленька*: «У нас не зовут *ступком!*» — «А-а, дак недаром ты там долго искала» (по рассказу А. С. Горбачевой, с. Карабула Богучанск. р-на Красноярск. края; видеоприложение к [СГБС 1]). Здесь сталкиваются два диалектных наименования сорта картофеля: *беленька* и *ступки*. Непонимание усиливается из-за того, что у последнего слова есть омоним в общенародном языке (*ступка*): именно на него ориентируется невестка. И еще одна ситуация с участием невестки и свекрови: костр. «Мне подруга рассказывала. Ее муж встретил в армии, он был солдатом, она — белоруска по национальности. Она приехала сюда как раз в Троицу⁴³. Приняли хорошо, пошли в баню. Муж ушел вперед, ее свекровь и говорит: “Возьми подштанники и еще *прикопотки*”. Она говорит: “А я не поняла, что за *прикопотки*, у нас такого названия не было”. Молодая свекровь постеснялась спросить, так ушла без *прикопоток*. И пока шла до бани, все думала, как мужу сказать, что не принесла ему. Что же это такое — *прикопотки?*»

⁴² В ходе полевой работы мы убедились в типичности контекстов типа костр. «У нас *сельник* называется, а у ветчанёнков *клить!*» [ЛКТЭ]. Наименования чуланов и кладовок неоднократно попадали в словарики «местных слов», составляемые диалектоносителями.

⁴³ Троица — деревня в Вохомском районе Костромской области.

Она и представить не могла. Она пришла и говорит, нашла выход: “Ой, я *прикопотки*-то и забыла”. Он говорит: “Да ничего, я и босиком уйду”. И до нее дошло, что *прикопотки* как-то связаны с ногами» [ЛКТЭ]. *Прикопотки* обыгрываются и в другом рассказе: костр. «В магазин пришла, говорю: “Надежда, *прикопотки* есть?” — “Чего?” — “Да *носки*, *носки* это — *прикопотки*”. Она молодая продавщица-то, а *прикопотки* — это старинное слово» [Там же]. Комический эффект этих рассказов основан на том, что женщина, приехавшая из Белоруссии, и молодая продавщица не знают костр. *прикопóтки* ‘носки’ [Там же]. Это слово воспринимается употребляющими его костромскими старожилками как «смешное» (в процессе сбора полевого материала мы не раз замечали, что его упоминание вызывает улыбку информантов), что стимулирует попадание его в метаязыковые анекдоты.

Если можно выделить несколько излюбленных «локусов» языковых испытаний, то предметы, за которыми посылают «экзаменуемых», более разнообразны. Но все же упоминания о некоторых из них повторяются в разных текстах. К числу таких предметов относятся, например, хлеб или пироги. В опольском анекдоте «*Dwie żymły i bułka*» («Две “жимлы” и булка») описывается следующая ситуация. Приходит однажды в пекарню паренек и просит: «Дайте мне две *жимлы* [жым’у] и одну *булку!*» — «Но это ведь одно и то же», — говорит пекарь. — «Куда там! *Жимла* — это *жимла*, а *булка* — *булка*». Пекарь ему продал, а когда паренек уже собирался выйти из магазина, спросил (это был пекарь из Силезии): «Скажи мне, но почему это не одно и то же?» — «Видите, вот эти две *жимлы* — для бабушки и мамы, а вот эта *булка* — для тетки, а она из Сосновца⁴⁴» (URL: <http://www.godka.pl/kawaly/81-dwie-ymy-i-buka.html>). В этом тексте фигурируют два названия булки: польск. литер. *bułka* и силез. *żymła* [SŚ]. Отметим, что слово *żymła*, по-видимому, является фольклорным маркером силезского диалекта: в этом плане показателен анекдот под названием «*O śląskim języku*» («О силезском языке»). Дело было в плену во время последней войны. Сидели вместе англичанин, француз и поляк родом с Олесна⁴⁵. И начали обсуждать, чей язык самый трудный. Англичанин говорит: «Ну вот смотрите, у нас пишется *Churchill*, а произносится *Чарчил*». — «А у нас, — говорит француз, — пишется *de Gaulle*, а произносится *Дэголь*». — «Это еще ничего, — говорит силезец, — а у нас пишется *bułka*, а произносится *жим[ү]а!*» [Simonides 1977: 360].

В рассказах такого плана намерение проверить собеседника на знание языка может быть скрытым (казалось бы, носители диалекта «искренне» забывают о том, что «испытываемый» вряд ли знаком с тем или иным словом), однако его нередко выдают указания на то, что «экзаменатор» решил пошутить, или его смех.

⁴⁴ Сосновец — крупный город в Силезии на юге Польши.

⁴⁵ Город Олесно долгое время входил в состав Силезских княжеств, ныне входит в Опольское воеводство.

Дополнительный маркер испытания — использование нарочито «смешных» или «странных» слов (типа *кокольды* и *прикопотки*)⁴⁶.

Как можно ожидать, языковым испытаниям часто подвергаются дети, чей языковой опыт заведомо невелик. Это легко просчитывается взрослыми — и испытание вновь может стать намеренным обманом. Иногда это ритуальный обман.

Например, в Бабаевском районе Вологодской области существовал такой обычай: перед тем, как начать ткать, детей *посылали за зéвом* к соседке. Ср.: «И мама поставила кросна и говорит: “*Сходи*, говорит, за *зевом* к бабушке Саше”. Я думаю, как это, идти к бабке Саше за *зевом*? Я говорю: “Бабушка Саша, мама *зев* просила”. Она говорит: “Сейчас, пойдем в избу”. Она пришла в избу, потом вдруг стала на лавку, задрала платье свое, задрала сорочку, а раньше ведь без штанов ходили, подняла ногу. Ой, а я с таким ревом домой прибежала, так плачу. Мама хохочет-заливается. Это, когда кросна поставят, так многие посылали, чтобы *зев* хорошее было»; «Меня маленькую, бывало, *посылали за зевом-то*. Хозяйка уставляла кросна, вот меня и отправила: “Наталья, сходи там к Марье, попроси *зева!*” Я почему знаю, что за *зев*, — побежала. Раньше старухи задницу заголят, дак покажут задницу голую, вот и *зев*. Смеются это, издевались»; «Ребятишек иной раз *пошлют за зевом*. Парнишке матка сказала: “*Иди* к тетке Матрене *за зевом!* Чтоб кросна хорошо завелися, матке надо *зева!*” К Матрене пошел, она его под подол посадила. Это, мол, *зев*. Он-то заревел» [СГРС 4: 259; КСГРС].

⁴⁶ Есть случаи, где отличить испытание от «обычного» языкового недоразумения очень трудно. Так, в вологодском анекдоте описана такая ситуация. Мать, посылая сына к теще, говорит: «Ты пойдешь туда... *покуражься* немножко». В гостях у тещи парень вышел из-за стола и пошел в одной рубашке в лютый мороз на улицу. Когда его нашли, он сильно замерз: «Ты чево убежал?» — «А я, — г(овор)ыт, — *к-к-кура-а-ажусь*» [Морозов, Слепцова 2004: 493]. По всей видимости, сын перепутал два близких по звучанию слова: арх., влг., карел. *курáжитья* ‘веселиться’ [СРГК 3: 61; КСГРС] и арх. *куржítься*, свердл. *куржáться*, арх., влг. *кúржеть*, сев.-рус. *кúржáветь* и др. ‘покрываться инеем’ [КСГРС; СРНГ 16: 123–124]. Кажется, здесь нет собственно испытания, но на него косвенно указывает сама ситуация «мать послала сына», а также ее исход (сын пострадал из-за того, что перепутал слова). В ряде случаев интенция испытания вообще не прочитывается — и можно говорить о сюжетах, в центре которых — ситуация языкового недоразумения. Вот пример текста о таком недоразумении: «Приехали <костромичи> на Вятку. Хозяйка говорит: “Ладно, девочки, я пойду *постряпаю!*” Вечером садимся за стол, я смотрю — никакой стряпни нет. Как так? На следующий день то же самое. А потом одна из гостей говорит: “А я посмотрела в окно, а она у коровы управляется!” У нас-то говорят *управляется*, а там *стряпают*» [ЛКТЭ]. Недоразумение произошло из-за того, что костромские гости имели в виду общенар. *стряпать* ‘выпекать какие-л. кушанья из муки и других продуктов’, а хозяйка с Вятки — сев.-рус., ср.-рус. *стряпать* ‘заниматься домашним хозяйством и ухаживать за скотом’ [СРНГ 42: 60]. В следующем примере приходят в противоречие друг с другом языковые компетенции носителей костромских и ярославских говоров: костр. «Девка из Костромы была, приехала к родителям мужа в Ярославскую область. Они молодке-то и говорят: “Чего у тебя мужик-от все бегаёт с *грохотом*, чего-то носит?” Она говорит: “Тихо он бегаёт, без грохота”. А они смеются. У них-то траву носят в *грохоте*, а у нас в *мякильнике*» [ЛКТЭ]. Анекдотическая ситуация создается за счет столкновения общенар. *грохот* ‘оглушительный звук, шум’ и яросл. *грохот* ‘большая корзина из прутьев, драмки или коры липы; служит для переноски на спине сена, соломы, мякны и др.’ [ЯОС 3: 109–110].

В основе обмана — игра разными значениями слова *зев* (*зэво*). Первое — диал. шир. распр. *зев*, арх., влг. *зэво* ‘пространство между верхними и нижними нитью основы, куда при тканье пропускается челнок’ [СРНГ 11: 242; СГРС 4: 258–259]. *Зевание*⁴⁷ — важнейшее действие при тканье: «Не ленись ткать, зевай поцяшше» [Громов 1992: 70], ср. приветствия-пожелания ткающим: ср.-урал. *зев в бёрдо*, костр., новосиб., перм., ср.-урал. *зев в крósна* [СРНГ 11: 242; ЛКТЭ]. Второе значение слова *зев* (*зэво*) — ‘vulva’ — не зафиксировано, кажется, словарями⁴⁸, но является прозрачной метафорой, которая поддерживается тем, что для образования зева ткачиха должна *переступить, переходить*, т. е. нажимать поочередно ногами на подножки (педали) ткацкого станка [СРНГ 26: 233]. Мотив хождения в связи с зевом обыгрывается и в другом варианте — шутливо-гиперболическом: ткачихе желают такого большого зева, чтобы через него мог пройти человек, ср. перм. *зев в кросна, чтоб я прошла* [СПГ 1: 324]. Значение ‘vulva’ реализует, кажется, «двойную» метафору: перенос из сферы ткачества в сферу соматики дополняется переносом на основе общенародного *зев* ‘выход из полости рта в глотку’, ‘устар. рот, пасть, глотка’, дающим проекцию телесного «верха» на телесный «низ» (аналогию можно усмотреть в разных соматических значениях слова *губа*). Языковая метафора в данном случае подкрепляется продуцирующей символикой вульвы (см. в [СД 1: 494]), что должно было магически способствовать успешному тканью. Эффект обмана возникает из-за заведомого незнания детьми «эротической» семантики *зэва*. Очевидно, здесь включается продуцирующая функция обмана, известная народной культуре, хоть и нечасто используемая: к примеру, считалось, что ложь благоприятствует разведению домашней птицы, крашению пряжи [СД 3: 460; Толстая 1995: 112]. Таким образом, языковая и «жизненная» невинность детей, которых обманывали, посылая за *зэвом*⁴⁹, служила залогом эффективности магических действий, обеспечивающих удачное тканье.

По отношению к детям интенция языкового испытания может сопровождаться интенцией обучения языку: детям помогают освоить слова, которые им пока неизвестны, ср. костр. «Смеялись бабки над маленькими ребятишками: “Сходи, посмотри, нет ли *бычка*?”» А он: “Нет никакого *бычка*, одна телушечка ходит”» [ЛКТЭ]. Шутка основана на том, что дети не владеют переносным значением слова *бычок* — костр. ‘небольшое облако, тучка’ [Там же]. В следующем примере

⁴⁷ Ср. костр. *зевать* ‘делать зев в основе движением ниченок от нажатия на подножки’ [Громов 1992: 71].

⁴⁸ При этом значение ‘vulva’ не является, по всей видимости, номинативно свободным и функционирует именно в контексте описанного обряда.

⁴⁹ Отметим, кстати, что значимость участия детей в ткаческой обрядности подчеркивается тем, что это участие сопровождало не только начало, но и конец тканья. Так, в Костромской области при завершении тканья детей посылали *слушать ниченицу* (палочка с нитяными петлями, в которые продеваются нити основы). Дети засовывали ниченицу под одежду и слушали под окном какого-нибудь дома: «Что услышишь, так и жить будем весь год» [ЛКТЭ].

намерение обучить ребенка новому слову выражено более явно. Мальчику говорят: «Гриша, сходи-ка посмотри: квашня-то *сходит* ли?» Он побежал, двери открыл, поглядел, захлопнул: «Нет, мама, ещё на голбце стоит, не *сходит*!» — «Дак посмотри, тесто-то поднимается или нет, квашня-то *сходит* ли?» Он опять побежал, залез на голбец, посмотрел: «Нет, мама, ещё до края-то не дошло» (костр.) [Там же]. Мать пытается пояснить мальчику, что означает глагол *сходить* применительно к тесту, поставив это слово в ряд с синонимом *поднимается*.

Специфическая интенция обучения присутствует у бабушек (дедушек) по отношению к внукам. Как правило, бабушки учат внуков, приехавших из города, диалектным словам. Ср.: «Внук приехал, ходит по дому, я ему и говорю: “Возьми на *бурнучке лопоть* и унеси на *потолок*!” Вот он ходил-ходил, искал-искал, пришел: “Бабушка, я не знаю, что ты меня попросила”. Ну, я смеюсь, говорю: “Пойди на *крыльцо*, возьми *одежду* там и унеси на *чердак*”» (костр.) [ЛКТЭ]. В данном случае бабушка, желая пошутить над внуком, но в то же время «окунуть» его в местный быт, «шифрует» общенар. *крыльцо*, *одежда* и *чердак* с помощью их диалектных аналогов, бытующих на территории Костромской области: *бурнучок*, *лопоть*, *потолок* [Там же].

Чаще всего родители «испытывают» детей, но иногда дети перехватывают инициативу: костр. «Учили буквы говорить, а паренек смысленный был, все по-своему скажет. Давно буквы знает, над мамкой смеется. “— Скажи *рама*, *рама!*” — “*Окольница*”. — “Скажи *мясо*”. — “*Говядина*”» [ЛКТЭ]. Шутка основывается на мнимом незнании слов *рама* и *мясо*, которые трудны для произнесения и могут обнаружить неумение мальчика выговорить дрожащий *p* и свистящий *s*. Находчивый мальчик в первом случае заменяет общенар. *рама* на широко распространенный диалектный синоним *окольница* [СРНГ 23: 146–147], а во втором — гипероним *мясо* на гипоним *говядина*.

Ситуация, когда родители сами не в силах сдать языковой «экзамен», представлена в опольском анекдоте «O Prusach» («O “прусах”»). Его герои — отец и сын, которые везут на ярмарку мешки пшеницы. Один мешок разорвался — и мука стала рассыпаться. Сын увидел это и кричит: «Tato, *prusy* (“сыплется”⁵⁰)!» Отец не понял и ответил: «*Prusy nie Prusy, ale mąka trza sprzedać*» («Прусы не прусы, а муку надобно продать»). А когда приехали на торг, один мешок был пустой [Simonides 1977: 85]. В этом тексте имеет место игра омоформами, в которой сталкиваются глагол *prusy* (*pruszy*) в форме 3 л. ед. ч. наст. вр. от *pruszyć* ‘сыпать’ и этноним *Prusy* ‘пруссы’.

В фольклорных текстах с выраженной и развитой системой поэтических средств (например, в сказках) языковые испытания могут обретать особые жанровые рамки, превращаясь в специфический тип метаязыковых загадок.

⁵⁰ *Prusy* вместо *pruszy* вследствие замены шипящих свистящими (отражение мазурского произношения).

Рассмотрим русскую сказку о солдате, жадной старухе и петухе, представленную многочисленными вариациями. По сюжету одной из них («Петан Петанович»), солдат ночует у жадной бабы, которая его не кормит, а для себя тем временем варит петуха. Солдат догадался об этом — и, когда баба отвернулась, вытащил петуха из горшка, положил в свой ранец, а в горшок — лапоть. «Баба ему: “Вот что, кормилец-солдатушка, не слыхал ли ты, где проживает такой *Петан Петанович*, *Печанской губернии*, *Заслонского уезду*, *Горшевской волости*?” Солдат будто не понял: “Как же матушка, слыхивал! Только он уехал в *Сумскую губернию*, в *Запечный уезд*, а вместо его *Плетан Плетанович* живет”. Баба не поняла. А ушел солдат — хватя за горшок, а там лапоть вместо петуха» (пск.) [РБС: 198, № 137]⁵¹. Герои подвергают друг друга взаимному испытанию: баба, гордая тем, что обманула солдата, укрыв от него петуха, хочет закрепить успех и провести солдата еще «языковым» способом, предлагая ему загадку, где зашифрованы *петух*, *печь*, *заслонка*, *горшок*; солдат обращает «оружие» бабы против нее же самой, предлагая ей ответную загадку, скрытыми денотатами которой являются *сумка*, *за плечами*, *лапоть*. Стоит обратить внимание на изобретательный «язык» шифра: используются квазиимена — «фантомные» антропонимы и топонимы, полученные в результате шифровки соответствующих нарицательных слов. При этом собственными именами наделяются предметы, которые их не имеют (лапоть, печь и др.); сами они обладают непривычно прозрачной внутренней формой, которую в то же время трудно прочесть, поскольку она не дает прямого указания на денотат, а лишь намекает на какие-то его свойства (лапоть *плетеный* → *Плетан*) либо гипертрофирует их (печь — микролокус, но названа *губернией*, а ее содержимое — *уездом* и *волостью*).

Вообще, создание квазислов, с помощью которых проверяется смекалка персонажей фольклорных произведений, можно считать если не распространенным, то вполне закрепленным приемом поэтики сказок и анекдотов. Интересны два следующих примера, русский и польский, в которых реализуется одна и та же сюжетная схема. Вот русский анекдот: «Шли вохмяки и ветчаненок в Шабалино. Ветчаненок потерял два хлеба, два яйца, они были кнутом перевязаны. Жалуется вохмяку: “Потерял два *выкатка*, два *вылубка* и *стеганцом* перевязано”. А вохмяк говорит: “Я нашел два *мяконика*⁵², два *яйца* и *кнудом* перевязаны”. Тот говорит: “Не мое”» [ЛКТЭ]. Герои анекдота — *ветчанята* и *вохмяки* (жители, соответственно, Вятки и Вохмы — Вохомского района Костромской области). При этом текст записан в Вохме — и подан с позиций *вохмяка*, чьи слова (*мяконик*, *яйцо*, *кнут*) для рассказчика «нормативны». Аналоги этих слов в речи *ветчаненка* (*выкаток*, *вылубок*, *стеганец*) являются выдуманными, искусственно сконструированными, их значение можно понять благодаря прозрачной внутренней форме. За попыткой

⁵¹ Варианты этого текста см. в [ЖЧРФ 2: 383–384, 422; РБС: 199–200, № 138 и др].

⁵² Ср. влг., костр. *мяконик* ‘хлеб из мелко смолотой муки’ [СРНГ 19: 79].

такого конструирования скрывается пресуппозиция, согласно которой *wetchnąta* говорят странно, чудно — и зачем-то переделывают «нормальные» слова.

Сюжет малопольского анекдота «*Węgier i góral*» («Словак⁵³ и гураль») таков. Отправился словак в путешествие и взял с собой три *powolenia* и *naślik* масла. Положил все это во *wreciu* и привязал кнутом к коню. Пришел час обеда, словак ищет свой паек, а оказывается, что он его где-то по пути потерял. Остановил коня, а сам решил вернуться назад: вдруг где-нибудь еще найдет на дороге свой мешок. Навстречу ему едет гураль. Словак спрашивает его: «Эй, человек, не находил ли ты случайно три *powolenia* и *naślik* масла во *wreciu*?» Гураль (а он-то и нашел мешок) не понял, что ему сказал этот человек, и говорит: «Этого не находил, а нашел три *placki* (“лепешки”) и *króźlik* (“круг”) масла в *worku* (“мешке”)». Словак тоже не понял гуралья, грустно сказал: «Ах, это не то, что я потерял», — и пошел дальше искать свою потерю. А лепешки и мешок достались гурально [Kosiński 1883: 32]. В данном случае на квазиязыке говорит словак. Лексемы *powolenie*, *naślik*, *wreć*, по всей видимости, являются выдуманными: они отсутствуют в доступных нам польских диалектных словарях и в картотеке Словаря польских говоров [KSGP]. Единственным похожим словом является *wreco* (*wrecko*) ‘мешок’, заимствованное в польские диалекты из словацкого⁵⁴.

Имитируя слова чужого диалекта или языка, герои фольклорных текстов могут использовать единую модель, позволяющую создавать довольно длинные ряды квазислов. Этот прием представлен в польском анекдоте «*Ojciec uczył jedynaka*» («Отец учил единственного сына»). Отец узнал, что его сын, отправленный учиться в город, бездельничал и пропускал занятия. Он приехал за сыном:

- Ну, чему ты научился?
- Да латыни чуть-чуть научился.
- <...> А как «конь» будет на латыни?
- *Konianczyk*.
- А «повозка»?
- *Wozanczyk*.
- А «вилы»?
- *Widelczyk*.

— *Bierz wozanczyka, bierz konianczyka, i zakładaj do tego wozanczyka, i bierz widelczyk i nakładaj gumnianczyk!* («Бери повозку, бери коня, запрягай в эту повозку, бери вилы и накладывай навоз!») (хелм.) [AE UMCS].

⁵³Текст записан на территории Гуральских Бескид, на границе Польши и Словакии. Скорее всего, в данном случае слово *węgier* обозначает не этнического венгра, а словака (это предположение М. Якубович (Краков), которое опирается на диалектное употребление слова, известное в польских говорах).

⁵⁴Сердечно благодарим М. Якубович за проверку слов по картотеке Словаря польских говоров и за информацию о лексеме *wreco*.

Невежественный, но находчивый сын «моделирует» латинские слова, подставляя к польским формант *-czyk*. Этот прием разгадан отцом, создавшим квазилатинский текст, с помощью которого он отправляет бездельника работать. В данном случае ситуация языкового испытания выглядит как настоящий экзамен, в ходе которого сын пытается обмануть отца, но оказывается обманутым сам.

Есть фольклорные тексты, описывающие ситуацию «реального» испытания в каком-нибудь ремесле, не предполагающего языковой подоплеку, однако «экзаменуемый» герой переводит задачу в языковую плоскость. Именно так ведет себя герой польского фольклора Совизджал⁵⁵ — бродячий ремесленник, плут и шут-озорник, надевающий на себя маску незадачливого простака. Он нанимается подмастерьем к разным мастерам — и проваливает те задания, которые от них получает. Когда мастер-пивовар просит его: «*Mój kochany, nie zapomnijże tutaj włożyć chmielu do piwa*» («Мой милый, не забудь положить хмель в пиво»), Совизджал бросает в котел пса пивовара, которого звали *Chmiel*. Получив от портного задание *skroić parę butów* («скроить пару ботинок»), плут кроит ботинки, но... для собак: «*Trzeba było mówić, dla kogo się chce butów*» («Нужно было говорить, для кого нужны ботинки»). В ответ на просьбу портного: «*Przyrzuć mi te rękawy*» («Приметай мне эти рукава»), Совизджал приметывает один рукав к другому. «Что же ты делаешь?», — спрашивает портной. — «*Przyrzucam rękawy*» («Приметываю рукава»), как мастер приказал». Реагируя на возмущение портного, Совизджал заявляет: «Ха, так надо было понятней говорить» (малопольск.) [Ciszewski 1887: 61–62]. В первой из этих ситуаций Совизджал «путает» омонимы — нарицательное *chmiel* и кличку собаки *Chmiel*. Во второй и третьей — «игнорирует» особенности сочетаемости слов, стоящего за ними типового сценария: *buty* ‘ботинки’ «по умолчанию» носятся людьми, а не собаками; глагол *przyrzucac* ‘приметать, пришить крупными стежками’ имплицитно указывает на присоединение более мелких деталей костюма к основным, а не на соединение мелких частей друг с другом. Таким образом, Совизджал переворачивает ситуацию испытания: он находит у «бытийного» задания «лингвистическую» подоплеку и умело этим пользуется, чтобы проучить своих хозяев.

* * *

Подведем итоги.

Ситуации языковых испытаний встречаются в народной традиции сравнительно редко, но вместе с тем занимают вполне определенное и значимое место в ряду форм общественного контроля за знанием языка, который является основным способом передачи социокультурного опыта. Носители традиционной культуры не сдают экзаменов на знание языка, но коллектив говорящих «снизу»

⁵⁵ Этот образ ведет свое происхождение из фольклора северной Германии: Совизджал (*Sowizdrzal, Sowiźrzał*) — польский «собрат» Тиля Уленшпигеля.

контролирует эти знания — в том числе в форме игровых языковых испытаний. Такие испытания весьма разнообразны с точки зрения культурных сценариев, в которые они включены, состава участников, обыгрываемых языковых явлений, прагматического «рисунка» (сочетания различных намерений говорящих).

Языковые испытания основаны на столкновении **участников с разной языковой компетенцией**. Они противопоставлены по возрасту (ребенок / взрослый), месту жительства (жители разных территорий, горожанин / житель деревни), социально-экономическому положению (барин, богач, хозяин / работник, слуга, солдат), семейному статусу (зять, невестка, сын, жених / теща, свекровь, мать, невеста), этноязыковой принадлежности (инородцы / сообщество говорящих на основном языке какой-либо территории, страны и др.)⁵⁶. Большой опыт приписывается тем коммуникантам, которые перечислены в правой части оппозиций (обозначим их А), меньший — коммуникантам в левой части (Б).

Каковы **намерения** участников этой ситуации? Во-первых, следует выделить основную интенцию языковых испытаний — «испытательно-посвятительную»: языковое испытание призвано служить одним из способов социализации новых членов сообщества. При реализации таких намерений коммуникант А, владеющий «более правильным» (местным) языком, выясняет границы языковой компетенции Б, — как правило, «чужака», недавно введенного в новый коллектив (ср., к примеру, рассказы об испытаниях зятя, невестки, «внучки из города» и других «новичков», не знающих местного говора).

Во-вторых, намерение испытать собеседника может сопровождаться интенцией обучения языку (особенно в тех случаях, когда в роли «испытываемых» выступают дети).

В-третьих, интенция испытания иногда соседствует с интенцией умышленного обмана: А знает объем языкового опыта Б — и, пользуясь этим знанием, пытается поставить его в неловкое положение (ср. текст о невесте, которая учила жениха говорить «по-шляхетски»), обмануть или провести его (анекдоты о Совизджале). Возможен двойной обман: замысел обмануть Б рождается у А, опрометчиво недооценивающего языковой опыт собеседника, — и в результате Б оказывается хитрее (сказка о Петане Петановиче, о сыне, говорящем с отцом на квазилатыни, и др.).

В-четвертых, выделяются ситуации магического обмана, являющегося формой ритуального поведения и имеющего, в частности, продуцирующую функцию (магический обман детей, которых посылали к соседке *за зевом*, чтобы обеспечить удачное тканье).

⁵⁶ В рассмотренных выше примерах были представлены не все перечисленные участники ситуаций языковых испытаний. Данный перечень учитывает весь имеющийся у нас материал, но и он, вероятно, не является исчерпывающим.

Интенции, проявленные в ситуациях языковых испытаний, могут быть выделены с разных позиций (по отношению к инициатору испытания) — изнутри и извне. Внутренняя позиция — это позиция самого героя фольклорного текста, высказываемая от лица участника коммуникации, «затяевшего» проверку собеседника. О внешней позиции следует говорить тогда, когда в тексте не эксплицировано желание героя проэкзаменовать адресата, но оно присутствует в самой логике произведения, принадлежит как бы его автору, творящему текст с определенным намерением. В большинстве проанализированных ситуаций проявлена внутренняя позиция; случаи реализации внешней специально оговаривались (ср., к примеру, польский рассказ о женихе и невесте, которые якобы не поняли, какой подарок каждый из них должен подарить другому).

Языковые явления, лежащие в основе ситуаций недоразумений, связаны с различными аспектами языка — системно-структурными, социальными, когнитивными. Чаще всего осмысляется социально обусловленная многослойность лексической системы, несовпадение и подвижность границ лексических групп для разных носителей языка, что приводит к обыгрыванию следующих явлений:

— использование одного слова (или близких слов) для обозначения разных реалий: • полисемия: в одной языковой системе (*бычок* ‘животное’ и ‘облако’, *сходить* — о человеке и о тесте), междиалектная полисемия (*ночѣвки* как емкость для выкатывания хлебов или переноски навоза); • омонимия: омоформы (польский глагол *prusy* и этноним *Prusy*, нарицательное *chmiel* и зооним *Chmiel*), словообразовательные омонимы (*зачинать* ‘не заканчивать, осуществлять что-л. не полностью’ и ‘приступать к потреблению, трате чего-л.’); • паронимическая аттракция (*курáжитья* ‘веселиться’ и *курж́итья*, *курж́атья*, *кúржэ́ть*, *кúрж́авэ́ть* и др. ‘покрываться инеем’);

— употребление разных слов для обозначения одной реалии: • синонимия: в одной языковой системе (*рама* // *окольница*), междиалектная синонимия (*рукавицы* // *кокольды*, *беленька* // *ступки*, польск. *wścibak* // *pierścionek* ‘колечко’).

Внимание к этим феноменам во многом определяется «диалектностью» народного восприятия языка, не случайно в центре внимания носителей народной культуры оказываются прежде всего междиалектная синонимия и полисемия.

Что касается когнитивных сторон языка, то в первую очередь обдумывается соотношение слова и вещи, слова и понятия, ср. попытки буквализации внутренней формы слов (*сыскать концы* ‘перекреститься перед едой’), игнорирования особенностей актантной структуры значения (польск. *buty* ‘ботинки’ для собак, а не людей), фальсификации слов, предполагающей, к примеру, придумывание квазислов, новых имен для известных предметов (*Плетан Плетанович* — лапоть, *стеганец* — кнут) и др.

3.2. НАЗВАНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПИЦЦИ*

3.2.1. ПУСТОЙ СУП И НЕКРЕПКИЙ ЧАЙ

«Что едим, так и жизнь живём»

(из полевых записей в Вологодской области)

Согласно русским народным пищевым канонам, «настоящий» суп должен быть наваристым, густым, жирным, а чай — крепким и сладким. Жидкий (и, как правило, постный) суп и некрепкий чай (или чай без сахара, молока) — реалии, на первый взгляд, малозначительные, но они «оттеняют» свойства «настоящего» супа и чая, а потому получают при осмыслении в народной культуре четко выраженную оценку (преимущественно негативную) и множество наименований (большой частью экспрессивных, шутливых, иногда основанных на метафоре) в общенародном языке, а особенно в просторечии и говорах (реже в жаргонной речи); обозначения «качественного» супа и чая встречаются не так часто. Рассмотрим некоторые мотивы и способы номинации этих реалий, используя в качестве основного материала лексические и фразеологические единицы русских народных говоров и просторечия (реже — литературного языка и жаргонов) и привлекая в ряде случаев инославянские параллели.

Чаще всего рассматриваемые значения передаются качественными прилагательными (и образованными от них существительными), которые выражают идею **недостатка, отсутствия, нехватки** чего-либо (С. М. Толстая называет такие прилагательные каритивными [Толстая 2008: 50–98 и др.]). При этом универсальным определением для подобного рода блюд, наверное, можно считать слово *пустой*, ср. литер. *пустой суп*, *пустые щи*, *пустой чай*, арх., калин., карел. *пустовáра* ‘«пустые» щи’ [СРНГ 33: 144], горьк. *пустовы́тнный* ‘не содержащий мясного и молочного, постный (о пище)’ [Там же: 145] и мн. др.

В *пустом чае* недостает *з а в а р к и* (литер. *слабый, жидкий чай*, влг. *тихой*: «Больно тихой чай, совсем не тот вкус, запаху почти нет» [СРГК 6: 464], р. Урал *скудный* [СРНГ 38: 177], дон., орл., смол. *редкий* [СРНГ 35: 19], арх. *тонкий* [Подвысоцкий 1885: 173], б. м. *жидкопяс* [Даль₂ 1: 409]), *с а х а р а* или *м о л о к а* (простореч. *простой, пресный чай*, забайк. *постный* [СРНГ 30: 230], новосиб. *порожнный*: «Порожнный чай не белят и сахару не кладут» [Там же: 71], влг. *глухой* [КСГРС]).

В *пустом супе* не хватает *ж и р а*, *з а п р а в к и* (литер. *постные щи*, оренб. *сухой суп* [СРНГ 43: 13]⁵⁷, влг., оренб. *простой суп* [КСГРС; Малеча 3: 445], *порож(з)ница* ‘пустая варка, пустые щи или каша, в пост или когда нет ничего’ [Даль₂ 3: 319], смол. *порожний* ‘постный (о еде)’: «Суп у меня сегодня порожний» [ССГ 8: 176],

* Соавтор — К. В. Осипова.

⁵⁷ Ср. польск. *sucha zupa*, а также другие примеры «сухих» названий пищи [Толстая 2008: 60].

ср. польск. диал. *ślepy rosół* ‘суп из овощей без жира’, чеш. диал. *slepá polívka* ‘то же’, *ślepy rybu* ‘постный суп с картошкой’ [Толстая 2008: 147]), мяса (новг. *пустоварка*, *пустоваря* ‘суп без мяса’: «Вода, картошка и овсяная крупа — вот и пустоварка. Ну у их мясца-то нет, только пустоваркой и кормили» [НОС₂: 981]), гуши (литер. *жидкий суп*, азерб., дон., краснояр., курск., орл., смол., ставроп. *редкий*: «Наварила супу, а он редкий, пожадила мясу» (азерб.) [СРНГ 35: 19], яросл. *гольшиа*, твер. *голызня*, влад., костр., яросл. *гольшика*: «Вот как работаем, а домой как придёшь, дак и бузи голышку» (костр.) [СРНГ 6: 345, 347], влг., вят., костр., перм., урал. *жиделяга* [СРНГ 9: 169]) или аромата (смол. *бездушный* ‘не имеющий запаха, аромата; безвкусный’: «Суп биз мяса такей бяздушный, хуть ты вон выливай, и ни пахнуть ничим» [ССГ 1: 147]). В целом же *пустым* блюдам недостает питательности, ср. карел. *тонкий* (о пище) [СРГК 6: 480], влг. *слабая пицца* ‘малопитательная пицца’ [СРНГ 38: 211]. На другом полюсе оппозиции — пицца *густая*, *жирная* (так можно сказать не только о супе, но и о чае, ср. арх., влг., костр. *жирный (-ой)* ‘крепкий, хорошо заваренный (о чае)’: «Девушки, кто какой чай-то пьёт, жирной али нет?» (арх.) [СРГК 2: 64; ЛКТЭ]). Супы называют *толстыми* (ср.-урал. *толстые ити* ‘густые щи’ [ДЭИС], кемер., новг., томск., яросл. *толстые щи* ‘то же’ [СРНГ 44: 214], ср. также арх. *толстое пиво* ‘густое’ [Подвысоцкий 1885: 173]), *скоромными*, *воложными* (ср. арх., влг. *волóжный* ‘содержащий много жира, масла’: «Суп-от сѣдни воложный такой» (влг.) [СГРС 2: 153]) и др. Слабому чаю противопоставлен *крепкий*, *дюжий* (ср. арх. *дюжий*, *дюжей* ‘концентрированный, крепкий (чай)’: «Иногда, как цаю напьюсь дюжого, да мне и не заспать никак» [СРГК 2: 18]).

Признак нехватки в супе или чае «содержания» может быть выражен не только качественными прилагательными, но и другими способами. Встречаются прямые указания на отсутствие необходимых составляющих блюда: вят. *нескладуха* ‘суп из лука и картошки без мяса’: «Нескладуху хоть свари, хоть горяченького поедим» [ОСВГ 6: 237]. Среди опосредованных обозначений таких блюд есть атрибутивные сочетания, в составе которых определяемый компонент указывает на основное содержимое супа или чая — воду. Каритивно можно представить воду как суп без питательных ингредиентов или чай без заварки, ср. перм. *жареная вода* ‘слабо заваренный чай или квас’ [ФСПГ: 52], жарг. *варводичка* (из *варѣная водичка*) ‘очень жидкий суп’. Кстати, «переворачивая» эту модель, можно получить иронические наименования собственно воды, кипятка как неполноценного чая (или другого напитка). Для носителей диалекта это «чай», «квас», «вино» гусей и уток (вят., ср.-урал. *гусиный чай* [ДЭИС; КСРНГ], перм. *гусиной квас*: «Пить-то у нас вам нечѣ подать, разве только гусиной квас, вода только проста» [ФСПГ: 164], оренб. *утиный квас* [Малеча 2: 182], польск. диал. *gęsie wino* («гусиное вино») [Karłowicz 2: 183]), для носителей жаргона — кола, текущая из-под крана (укр. жарг. *кран-кола* [Аркушин 2005: 45]). Признак пищевой неполноценности может быть образно выражен и путем указания на неполноценность «социальную»: пск.,

твер. *холостя́нка* ‘пустая похлебка без рыбы и без мяса’ [КСРНГ; Даль, 4: 560], арх. *цыганская уха* ‘то же’ [КСГРС].

Из «физических» свойств жидкой пищи выделяется **цветовая характеристика**. Есть наименования, отражающие реальный цвет постных супов, которые нередко готовятся из капусты или зелени: литер. *зелёные щи* ‘щи, приготовленные из листьев шпината, щавеля или молодой крапивы’, бурят. *зеленушка* ‘холодный суп из свежих овощей; окрошка’ [СРНГ 11: 249], влг. *зелёная уха* ‘пустой суп’: «Зелёная уха ненастояща, не рыба, а лук да картошка» [КСГРС] и др. Цветовой эпитет может иметь и иной смысловой акцент: подчеркивается не столько цвет основных ингредиентов, сколько отсутствие в супе мяса или жира, сметаны, молока (т. е. *забелы, подбелки*⁵⁸ и т. п.). В этом случае супы «окрашены» в синий, черный или серый цвет: перм. *синяя похлёбка* ‘картофельный суп без мяса и жира’: «Они без денег сидят, придёшь — одну синюю похлебку хлебают, из картошечки» [СРГЮП 2: 429], ср.-урал. *чёрные щи* ‘пустые щи, не приправленные сметаной’ <д. Кунгурка Ревдинск. р-на Свердловск. обл.> [ЛЗА], ворон. *серый квас* ‘постная, без мяса окрошка’: «Ели серый квас, не забеленый ништо» [СРНГ 37: 226]⁵⁹. Подобная цветовая характеристика таит в себе оценку, которая становится явной в тех случаях, когда черный суп символизирует отказ при сватовстве: рус. ср.-урал. *налить чёрных щей* ‘отказать при сватовстве’, блр. *даць чорнай поліўкі*, польск. *dostać (dać) czarną (szarą) polewkę* («получить (дать) черный (серый) суп») ‘то же’ и др. Отказная символика основана на признаке «пустой, лишенный содержания, будничной, “непрестижной”», противопоставляющем такую пищу жирной, вкусной, праздничной (подробнее см. [Березович 2007: 254–255]).

Цветовые обозначения слабого чая организованы иначе. Крепкий и слабозаваренный чай противопоставлены по насыщенности цвета, ср. влг. *красный* ‘крепкий (о чае)’, *краснинá* ‘крепость, насыщенность чая’, но при этом *некрасный* — ‘некрепкий (о чае)’: «Красного тебе чаю?», «Я всё боле некрасный чай пью, с красного спится хуже», «Для краснины хоть варенье положи» [КСГРС]. *Некрасный чай* иначе может быть назван *белым*: печор. *белый (белёный) чай* ‘многократно заваренный чай’ [ФСНП 1: 39]⁶⁰. Цветовой эпитет *белый* лежит в основе некоторых обозначений жидкого чая, пародирующих «красивые» названия чайных сортов: разг. *чай* — *белая роза*, *чай* — *белые ночи* [СФСРЯ: 67–68]. Чаще всего названия некрепкого чая метафорически уподобляют его какой-то светлой жидкости. Это может быть м о ч а (рус. простореч., жарг. *моча* ‘о напитках недостаточной крепости, плохого цвета, разбавленных водой’, *моча (писа, писи) сиротки Хаси* ‘то же’, *писи пани Хаси, бычьа (верблюжья) моча* [Белянин, Бутенко 1993: 29, 51], *моча*

⁵⁸ Ср. диал. шир. распр. *забела* ‘сметана, сливки или молоко как приправа к пище, к чаю’ [СРНГ 9: 250–251], костр. *подбёлка* ‘то же’ [ЛКТЭ] и др.

⁵⁹ Ср. литер. *серые щи* ‘щи, приготовленные из верхних, зеленых листов капусты’.

⁶⁰ Ср. также следующее выражение из терминологии чайной торговли: *закрашивать чай* ‘посыпать поверх плохого чая чай лучшего качества (о методе фальсификации чая)’ [Соколов 2012: 345].

дохлого бегемота, моча (писи) сиротки Аси [БСРП: 414, 502], моча дикого осла, архиепископа Макария пи-пи <Москва> [ЛЗА], арх. моча Кузьмича (Ильича), моча лошади, влг. моча дохлого поросенка [КСГРС], костр. кобыля ссяка [ЛКТЭ], смол. сцяки 'о плохом жидком кушанье': «Не суп, а сцаки» [СРНГ 34: 80], блр. простореч. *мачай* (< *мача* + *чай*), польск. простореч. *siki Weroniki* и др.)⁶¹; речная (озерная) вода (арх. *уфтюга* 'слабо заваренный чай': «Уфтюгу каку-то пьём, жёлтенька водичка. “Уфтюга” в шутку говорим, речка у нас такая», *белое море*: «Ну, белое море заварила» [КСГРС], простореч. *байкал* 'слабо заваренный чай'⁶² [ССРГ: 22]). Сопоставление с речной водой (на этот раз для жидких щей) кроется также в присловье: «Эти щи по заречью шли, да по воде к нам пришли» [Даль₂: 657].

«Географические» образы в составе названий некрепкого чая воплощают также признак прозрачности, тесно связанный с цветовой характеристикой. Самый популярный из них — образ Москвы, задающей своеобразный «предел видимости», ср. простореч. *Москву видать* 'о прозрачном жидком чае', арх., влг., костр. *Москва видко* (*видно, видать*) [КСГРС; ЛКТЭ], костр. *Москва из чайника видна*: «Долей ещё заварки, а то вон у тебя Москва из чайника видна!» [ЛКТЭ] и др.⁶³ В качестве ожидаемой пары к *Москве* может добавиться *Питер* (*Ленинград*): костр. *Москву и Питер видно*: «Это чай-от жидкой, Москву и Питер видно» [ЛКТЭ]. Интересен следующий контекст, в котором дается не пространственная, а «социальная» реинтерпретация образов двух столиц: костр. «Жидкий чай — Москва и Ленинград, ничего в их нет, пусто в чае, как в городе» [КСГРС]. На разных территориях есть и свои локальные «пределы видимости»: в Петербурге — *Кронштадт* (<чай> *что из Петербурга Кронштадт видно* [СФСРЯ: 67]); в Костромской области — *Кострома* (*Кострому видать* [ЛКТЭ]); в Вологодской области — *Вологда* (*вологодское видать* [КСГРС]); в Архангельской области — *Вонга*⁶⁴ и *Вологда* (*Вонга видна* [АОС 5: 79], *Москва и Вологда видать*: «Чай-от, скажут, моча Кузьмича, Москва и Вологда видать» [КСГРС]); в Южном Прикамье — *Иштеряки*, *Харино* и *Хутора*⁶⁵ (*Иштеряки* (*Харино, Хутора*) *видать* 'о слабо заваренном чае': «Что мало налила — Иштеряки видать. Слабый чай-то. А раньше татары-то по-другому говорили: “Ой, Харино видать, Хутора видать”. <...> Хутора — туто раньше деревня была» [СРГЮП 1: 123]) и др.

Встречаются и другие образы, передающие идею прозрачности чая через «зрительные впечатления»: прииртыш. *заячы глаза видать* [СРСГСП 1: 226]⁶⁶,

⁶¹ Ср. также жарг. *кобыля моча* 'сильно разбавленное пиво', *моча старухи Изергиль* 'компот в школьной столовой' [БСРП: 414].

⁶² В словаре дается комментарий: «В основе метафоры — чистота воды озера Байкал» [ССРГ: 22].

⁶³ Ср. также костр. *Москва-родня видно* 'о тонком куске хлеба или сыра': «Как тонкий отрешень — так вся Москва-родня видно» [ЛКТЭ].

⁶⁴ Деревня на Пинеге неподалеку от д. Валдокурье, где записано данное выражение.

⁶⁵ Деревни в Уинском районе Пермского края.

⁶⁶ Ср. также жарг. *желтые глаза* 'слабо заваренный чай' [БСРП: 122].

влг. *родителей видно*: «Мама говорила: “Ну, налила чай! Родителей видно!”», *сам себя видишь*: «Чай пустой совсем, сам себя видишь» [КСГРС].

Пустые супы тоже могут быть жидкими и прозрачными, ср. простореч. *Москва на воде* [ЯСМ: 354], костр. *Москва видать*: «Это суп, это значит прозрачный, там ничего нет, в тарелку нальёшь, так и Москва видать, там рисунок видно, не жирный» [ЛКТЭ], мордов. (рус.) *дно видать*: «Заелси щас нарот, а бывала сядиш суп хлябать, а он дно видать» [СРГМ 1: 185], новг. *потолок видать*: «Нальёт какого-то супа потолок видать» [НОС₂: 113]. Напротив, супы, приготовленные путем замешивания, могут напоминать по цвету и консистенции мутную жидкость или жидкую грязь: вят. *бутормáга* ‘грязный поток воды’, свердл. ‘жидкая пища, напиток, плохо приготовленные, неудавшиеся» [СРНГ 3: 313], арх., влг. *тяниá* ‘постная похлебка’, ‘жидкая грязь’ [КСГРС], ср. польск. диал. *burlęta* ‘плохая, жидкая пища’, ‘грязь’; *chlupaczka* ‘грязь’, ‘жидкий, пустой суп’ [SGŚ 3: 68; 4: 82] и др. Из зрительных впечатлений от пустого супа важно и то, что в нем не поблескивают капельки жира: костр. *ни блёздошки, ни звёздочки* ‘о пустом супе’: «А из глухаря ни блёздошки, ни звёздочки — пустой суп» [ЛКТЭ], жарг. арм. *суп «майор»* ‘очень жидкий суп (одна блёстка жира похожа на одну звезду майора)’ [БСРП: 652]; в качестве анти-тезы ср. петерб. *щи с прозументом* ‘щи с разводами жира или сала» [СРНГ 32: 143].

Что касается **технологии приготовления** пустых супов, то, в отличие от густого супа, жидкую похлебку чаще всего замешивают (*взбалтывают*), — например, на муке, ср. литер. *болтушка*, свердл. *баламутка* ‘постный гороховый суп’ [ДЭИС] и др. Мотив болтания-бульканья жидкого супа (признак «булька-нья» тоже отличает пустой суп от густого), поддержанный игрой слов *болтать* ‘мешать’ и *болтать* ‘говорить’, и оценка постной пищи как пустой отражается в семантической модели ‘жидкий суп’ ↔ ‘пустые разговоры’, ‘тот, кто ведет пустые разговоры, болтун’ (эта модель подробно комментируется далее, в параграфе 3.2.2, с. 378).

Говоря о технологии приготовления пустых супов, упомянем также жарг.-простореч. *кондёр, кандёр* ‘жидкая тюремная пища, похлебка’ [БСРЖ: 275], ср. также брян., орл., тул. *кондёр* ‘пшеничный суп (обычно заправленный салом или маслом с луком)’: «От кондёру ноги задеру» [СРНГ 14: 246], орл. *кандёр* ‘суп из просяной крупы’ [ССГ 5: 14]. Такая похлебка варилась часто из «ободранного» пшена, на основании чего О. Н. Трубачев выделил в слове *кондёр* корень *драть* ‘шелушить’, приставку *ко-* и вставной элемент *н* [Фасмер 2: 179]. В современном просторечии у этого слова фиксируется новый вариант — *кондэй (кандэй)*: «Кан-дей — простой рецепт: вода и просо» (URL: <http://otvet.mail.ru/question/1234715>); ср. бранное присловье «Суп кондей из бараньих м...дей». Думается, эта лексема возникла вследствие притяжения более распространенного *кондёр, кандёр* к слову уголовного жаргона *кандэй, кондэй* ‘карцер, штрафной изолятор’, ‘тюрьма’ [БСРЖ: 241], ср. также ворон. *кандэйка* ‘тюрьма’ [СРНГ 13: 38], что говорит о наличии у жидкой пищи «тюремных» ассоциаций (об этом см. ниже).

Возможно, мотивационное сходство с *кондёром* имеет костр. *лощёнка* ‘пустой суп’: «Лошонку сварила, хорошего нет ничего» [ЛКТЭ]. Это название образовано от глаг. *лощить*; в гнезде праслав. **loščiti* (и соотносительного с ним **loskati*), среди прочих, есть значения ‘драть, бить, наносить удары’ [ЭССЯ 16: 96, 80–81]. Нельзя исключать и иных мотивационных возможностей. У производных от **loščiti* / **loskati* отмечены также значения ‘болтуня, трещотка, тараторка’, ‘сварливая женщина’ (рус. диал. *лоскотуха*), ‘шорох, шум’ (др.-рус. *лоскоть*) и др. [Там же: 82–83]. Смысловая «связка» ‘болтун’ ↔ ‘булькающий суп’ повторяется в нескольких лексических гнездах (см. параграф 3.2.2, с. 378). Наконец, у продолжений **loščiti* / **loskati* представлено значение ‘хлебать, чмокать (губами)’, которое может отражать впечатление от поедания супа, ср. костр. *похлебёнька* ‘пустой суп’ [ЛКТЭ], ср.-урал. *ухлёбка*, *похлебёнь*, *похлебёц* ‘то же’ [ДЭИС].

Жидкий суп и чай могли быть приготовлены из остатков полноценного блюда — ср. простореч. *ополоски* ‘о жидком, спитом чае’, ср.-урал. *скоблянка* ‘суп-скороварка «из ничего»’ [ДЭИС], пск., твер. *помыва* ‘жидкая, невкусная пища’ [СРНГ 29: 235], ленингр. *ополбщина* ‘то же’, *полбщанный* (чай) [СРГК 4: 219; 5: 61]. Мотив полоскания, поддержанный рифмой *щи* — *полощи*, может развиваться и в другом направлении: суп (чай) настолько жидок, что им, как водой, можно мыться или полоскать в нем белье: рус. «Каша да щи, хоть рот полощи» [Иллюстров 1915: 404], «Щи — хоть ноги (штаны) полощи» [БСРП: 762], влг. «Щи — хоть белье полощи!» [КСГРС], костр. *портянки полоскали* ‘о слабом чае’: «Портянки полоскали — чай худо заварен» [ЛКТЭ], «Постные щи — хоть порты полощи!» [Даль ПРН 1957: 813], укр. «Борщ такой, хоть голову мой» [В. Щ. 1899: 269], «Хоч голову мий!» [Номис 1864: 539]. В плохом, жидком супе мог «побывать» и овечий или лисий хвост, ср. блр. диал. *авеччы хвост пабаўтаўся*: «Якая табе яда надо, авеччы хвост пабаўтаўся і еж» [Юрчанка 2002: 85], кашуб. *lès ogonaq... zakreçil* («лис хвостом замешал») [Sychta 2: 353].

Сюжет полоскания чего-либо в жидком супе, несущий шутливо-негативную экспрессию, развивается и в «эротическом» ключе, ср. рус. «Щи — хоть жопу (м...де) полощи» [Снегирев 1995: 588], «Щи — хоть хрен (х...) полощи». Появление жидкого супа к обеду — это своего рода подмена, гарантирующая эффект обманутого ожидания: вместо сытных, наваристых щей человек получает «кукиш», ср. арх. «Ритатуй, ритатуй, посередке х...!» [КСГРС] (о слове *ритатуй* подробнее см. в параграфе 3.2.2). Сходная символика обнаруживается и в блр. диал. *грыб пабаўтаўся* ‘о блюде с непитательной заправой’ [Юрчанка 2002: 101], где *грыб* эвфемистически заменяет *penis*. Такой суп и его приготовление, естественно, может описываться с помощью бранной и ненормативной лексики (или заменяющих ее эвфемизмов), ср. влг. *матюк* [КСГРС], костр. *м...деница* [ЛКТЭ], арх., влг., костр. *голожопица*, костр. *голон...дица*, влг. *голозадница*⁶⁷: «Суп из картошки,

⁶⁷ Здесь значима, конечно, и семантика компонента *гол-* (ср. выше об участии слов с корнем *гол-* в обозначении пустых супов и слабых чаев), а кроме того, мотив бедности.

лука да воды голожопицей мы звали, без мяса-то, а голод-от заставляет» (костр.), «Голожопицу всё едим. Что едим, так и жисть живём» (влг.), «Голожопица — картошка, вода, соль, можно чесноцёг, да йесьли йесь — сальця» (арх.), «Один щавель и вода, голоп. . . дица, в войну больше ничего не было» (костр.), «Голозадницу таку хлебала: рыбка бегаёт по дну — хер поймашь хоть одну» (влг.) [СГРС 3: 80; АОС 9: 259; ЛКТЭ]; ср. также польск. диал. *pitk* (*pitak*) 'penis', *pitolić* 'coire', 'плохо готовить', *pituch* 'жидкое блюдо из картофеля' [Karłowicz 4: 113]. В контекстах к таким словам тоже может звучать тема обмана: влг. «Голожопица, ничего там нет, суп как жопу показывает» [КСГРС].

Наконец, возвращаясь к особенностям приготовления пустых супов, следует отметить скорость их варки. Из-за своего скудного состава они обычно довольно быстро готовятся, что отражено в костр. *скороварка* 'пустой суп' [ЛКТЭ], ср.-урал. *крутоварка* 'то же' [ДЭИС], новг. *ленивые щи* 'щи без мяса, постные щи' [НОС 12: 117] (ср. литер. *ленивый* 'о кушаньях: приготовленный более быстрым способом'). В сочетаниях типа *ленивые щи* свойство лени шуточно приписывается продукту, хотя, разумеется, за этим определением скрывается характеристика повара, которому не хочется «связываться» с блюдом, требующим длительного времени приготовления. Эта характеристика выходит на первый план в влг. *бобьльский суп* 'пустой суп' [КСГРС], ср. влг. *бобьль* 'лентяй, бездельник' [Там же]. Вероятно, такие супы воспринимаются как недоваренные, «сырые»: ленингр. *суровые щи* 'постные щи': «Суровые щи — без мяса щи иногда варят» [СРГК 6: 933], оренб. *суровый борщ* 'постный борщ': «Суровый борщ, ничё там нет, одне овощи», перм. *суровые* 'недоваренные щи' [СРНГ 42: 283]⁶⁸. Такое предположение основано на том, что слово *суровый* связано чередованием гласных с *сырой* (**surъjъ*) [Фасмер 3: 807]. Впрочем, в мотивации *суровых щей* или *борща* может быть отражен не собственно признак «сырости», а более широкая идея нехватки чего-либо, своеобразного «аскетизма», грубости пищи, ср. другие значения из смыслового спектра *сурового*: 'жесткий (о воде)', 'прохладный (о погоде)', 'мелкий (о рыбе)', 'черствый (о хлебе)', 'грубый (о холсте, пряже)' и т. п. [СРНГ 42: 283–284].

Среди обозначений пустых супов значительное место занимают слова и фразеологизмы, характеризующие их **состав**, присутствующие в них **ингредиенты**. Многочисленны наименования, во внутренней форме которых содержится прямое упоминание какого-нибудь «опорного» компонента пустого супа: новг. *крупёня* 'постный суп из крупы': «Часто варили раньше крупеню. Это постный суп, без мяса, с крупами» [НОС 4: 155], калин., ленингр. *зущерные щи* 'постные щи,

⁶⁸ К этому же гнезду принадлежит, к примеру, и слово *суровёга*, которое называет блюда, вообще не подвергающиеся варке: *суровёга* орл., тульск. 'гречневое тесто, приготовленное на квасе или кислом молоке и политое постным маслом': «Суровегу прежде приготавливали так: в квас засыпали гречневую муку, солили и ели», орл. 'толокняная похлебка с брусникой на квасе' [СРНГ 42: 279].

с одной крупой, без всякой приправы' [СРНГ 7: 252], костр. *лукопéрица* 'пустая похлебка с луком': «Раньше где мяса-то было, по праздникам только, а так лукоперицу делали: лука да картошки кидали, да чего ж» [ЛКТЭ], пск. *ершеви́ца* 'постная похлебка из ершей, кваса и лука' [СРНГ 9: 36], свердл. *травяну́шка* 'похлебка, сваренная из травы': «В войну-то одной травянушкой и жили» [СРНГ 44: 346], свердл., удм. *пика́нница* 'суп из пикана' (ср. вят., перм., свердл., удм., урал. *пика́н* 'крупное травянистое растение со съедобным стеблем: борщевник, дягиль, дудник и др.') [СРНГ 27: 23], перм. *пи́стеиница* 'похлебка из полевого хвоща' (ср. *пи́стик* 'молодой полевой хвощ; пестик') [СРГЮП 3: 331, 332] и мн. др.

Некоторые ингредиенты супов могут получить шутовское переосмысление. Так, кислый запах и вкус капусты отражен в ленингр., моск., новг., пск., твер. *купоро́сные щи* 'щи из одной капусты (без мяса или рыбы)': «Сварить хоть похлебки, да брошу грибки, а то всё щи, да щи-то купоросны, надоели» (твер.), «Ето щи называются купоросны, что пусты, то без мяса» (ленингр.) [СРНГ 16: 104; СРГК 3: 61]; «В посту уж отдохнём от скоромного: едим щи купоросные» (новг.) [НОС₂: 1320]⁶⁹. Откуда это наименование, если собственно *купорос* (так до начала XX в. называли серную кислоту) характерного запаха не имеет (хотя может вызывать раздражение при дыхании)? Дело в том, что в быту использовалась скорее не сама серная кислота, а олеум — неочищенная серная кислота, которую получали нагреванием железного купороса. Ее называли *купоросным маслом*. Серная кислота с примесями и в различных соединениях приобретала резкий едкий запах (это происходило, к примеру, с олеумом, хранившимся в закрытой емкости). Таким образом, специфический «аромат» щей с капустой (ср. пск., твер. *капустник* 'о ком-л. или чем-л. плохо пахнущем' [СРНГ 13: 60]) вполне мог ассоциироваться с запахом «купороса».

Но для наших целей интересны не столько «рецептурные» наименования, сколько характеризующие (качественные) номинации. Описывая состав жидкого супа, язык обращает внимание на малое количество ингредиентов, ср. шуточные идиомы типа влг., ср.-урал. *крупина за крупинкой бегаёт с дубиной* [КСГРС, ДЭИС], пск. *крупины за крупинкой (от крупины) <гоняются> с дубиной, крупина с дубиной* [СППП: 48], блр. диал. *крупіна крупіну гоніць, а трэцяя шью ловіць* 'о жидком супе' [СПЗБ 2: 531], простореч. *крупінка за крупінкай бегаюць з дубінкай* [сообщено Т. В. Володиной]. Кроме того, при описании ингредиентов вновь звучит тема обмана и подлога: суп готовится из того, что н е л ь з я с в а р и т ь (ср., к примеру, костр. *суп из кункиных губ*: «У меня сегодня суп из кункиных губ. Туды ложится

⁶⁹ Ср.: «Потом дурное питание: я все время ученья ел только так называемые *купоросные щи*, то есть из одной протухлой капусты, без всего!» <А. Ф. Писемский>; «25–35 копеек берут они, эти бабы-торговки, за чашку щей, которые и название носят *щей арестантских, купоросных*, и слывут везде с таким приговором: “Наши щи хоть кнутом хлещи, пузыря не вскочит и брюха не окормят”» <С. В. Максимов. «Сибирь и каторга»>.

свёкольный лист, свёкла, картошка, яйцо, лук» [ЛКТЭ]⁷⁰), из того, что не положено по рецептуре для данного вида блюд (арх., влг. *уха из петуха*: «У кого семьи большие, только цыганскую уху и ели: воду покипятят, посолят, перчик бросят и едят уху из петуха» (арх.) [КСГРС]), или из того, что вообще не существует, из «материализованного» отсутствия (смол. *нисчѣмник* ‘суп, ничем не заправленный’: «Нишшимник — эта суп такей, кали туды ничога не кладуть», *нисчѣмный* ‘без заправки, постный’: «Сяни суп задобрила, а заутри нишшимный» [ССГ 7: 96], простореч. *с нѣтом* ‘без начинки, приправы, пустой (о супе, пирогах и др.)’ [БСПП: 433]).

Отсутствие должных составляющих чаепития может компенсировать беседа, что выщучивается в костр. *чай с языком* ‘слабый чай или чай без сахара’: «Чего простой чай пьешь? Чай с языком-от не пьют у нас» [ЛКТЭ]. Что касается супа, то необходимо вспомнить известную русскую народную сказку о солдате, варившем кашу из топора, ср. рус. новг. *колун варить* ‘варить пустой суп’: «Рыбака душа не морит: рыбы нет — колун варит» [НОС 4: 93]⁷¹, арх. *из топора наварить* ‘сварить пустой суп’: «Нечего класти, так демьянову уху или <ели>: одна вода, из топора её наварим» [КСГРС]. «Навар» в таких щах может получаться не только от топора, но и от насекомых или мышей (крыс) — «ингредиентов» несъедобных и непитательных, «псевдомяса»: «Живем не мотаем, а пустых щей не хлебаем: хоть и сверчок в горшок, а все с наваром бываем»; «Дичь во щах — а все тараканы» [Даль ПРН 1957: 810, 813], польск. «Dobry żur, kije w nim szczur» («Хорош жур <жидкая кислая постная похлебка>, если в нем крыса») [НКРР 3: 968]. В современной традиции такое «псевдомясо» в пустом супе фигурирует в анекдотах: «“Официант, у меня муха в супе!” — Муха, возмущенно: “Он еще называет ЭТО супом!”» (URL: <http://hahatun.com/2006/08/17/restoran-267.html>). Подобные выражения в какой-то мере оправдывают оплошность хозяйки или повара, ср. «В щах таракан — тот же махан <мясное>» [Даль ПРН 1957: 816], «Муха не прокусит брюха», «Таракан не муха: не взмутит брюха» [Даль, 2: 362]. Отметим, кстати, что логическим продолжением мотива обмана становится тема грабежа: новг. *грабительные щи* ‘постные щи’ [СРГК 6: 933]. Показательна и поговорка «Вор горох: воду оставил, а сам ушел <т. е. жидок>» [Даль ПРН 1957: 814], которая намекает на то, что в пустой пище после кражи ценного содержания осталась одна вода (ср. также *вор* ‘обыденный

⁷⁰ В этом наименовании отражены, по всей видимости, и эротические мотивы, основанные на языковой игре: рус. диал. шир. распр. *губы* ‘грибы’ ↔ ‘vulva’, при этом слово *кунка* является распространенным обозначением женских половых органов (интерпретацию *кункиных губ* см. в [Березович 2007: 255, 266]).

⁷¹ Ср. также дон. *варить топор* ‘о полном отсутствии съестного’: «Ничиво нету — ну и вари топор», *жареные гвозди (гвоздички)* ‘об отсутствии съестного’: «Ждутъ дети жаринава. А я гаварю: “На третья жаринны гвозди”», *жарить топор с долотом* ‘о невозможности приготовить какую-то особую пищу’ [БТДК: 67, 105, 151].

квас, на скорую руку»; «Квас вор: воду в жбан свел, а сам ушел» ‘о жидком квасе’ [Даль₂ 3: 130, 713]).

Жидкий суп и чай — продукты, как правило, низкого качества, а значит, могут охарактеризовать **того, кто их приготовил**: *Какова Устинья, таково у ней ботвинье* [Даль₂ 1: 339], пск. *Какова Аксинья, таково и ботвинья* [Там же; СППП: 124]. Обобщенный — несмотря на «квазииндивидуализацию» с помощью личных имен — образ неумелой хозяйки отражен в арх. *устиньина ботвинья* ‘жидкие щи’ [КСГРС], перм. *агапин чай* ‘чай некрепкой заварки’: «Пейте, девки, чай, не брезгуйте. Чай некрепкий — агапин чай» [СПГ 2: 521; СРГЮП 3: 337].

В архангельских говорах фиксируется ряд шуточных фразеосочетаний, указывающих на личное имя незадачливого повара (или поварихи), который готовит «лжеуху» (на самом деле — пустой суп без рыбы). Это *А л ь к а*⁷²: *алькина уха* ‘суп из воды и лука’ [КАОС]; *В а с ь к а*: *васькина уха* ‘пустой суп’: «Васькина уха — картошка накрошенная, в воде сваренная; луковку ещё накрошат — вот и васькина уха», «Васькина уха — уха-безрыбица: сухари накрошат, перчику положат, луку покروشат» [КСГРС]; *Д е м ь я н*: *демьянова уха* ‘пустой, ненаваристый суп’, ‘блюдо из лука, прожаренного со сливками или молоком, в который накрошили хлеб’: «Демьянова уха — варили, когда нечего было есть. Раньше варили из хлеба, картошку накрошат», «Детей-то много было, нечего было есть, вот и фуркают — едят демьянову уху», «Жидкая, худая, нерыбная — демьянова уха. Если в грибнице грибов мало, скажут “демьянова уха”», «Скотину держали, мясо всегда было, демьянову уху не или», «Демьянова уха — то старинное слово, и до войны говорили» [КСГРС], «Демьянова уха — картошку накрошат, посолят, вот и получается. Луковицу скрошат туда» [КАОС]; *Е г о р*: *егорова крошанка*, *егорова уха* ‘похлебка из сухарей и зеленого лука (обычно без рыбы)’: «Поешь крошанки-то, зря, что ли, луку крошила. Егорову уху и то есть не хочет» [СРГК 6: 659], «Безгрешная уха — егорова уха — рыбы нет, суха» [КАОС], ср. также близкий факт, отмеченный в вологодских говорах: *уха егорка* ‘грибной суп’: «Уху егорку из грибов варили» [КСГРС]; *У л я*: *улина уха* ‘всякий суп без рыбы’: «Картошки покрошишь да крупки маленько, да водички — улина уха», «Улина уха, картошка и крупа — были худы годы», «А улину-то уху торговали, а мясо-то сами хлебали, ели» [КАОС].

Кажется, модель «притяжательная форма личного имени + уха = ‘пустой суп’» — исключительно архангельская (кроме одной фиксации *ухи егорки* в соседних вологодских говорах)⁷³, при этом она вполне устойчива: отмечается различными источниками [КАОС, КСГРС, СРГК] в разных районах (Каргопольском, Ленском, Онежском, Приморском, Холмогорском, Шенкурском) огромной

⁷² В архангельских говорах *Алька* обычно выступает как деминутив к именам *Алевтина* или *Александр*.

⁷³ Данная модель не фиксируется в доступных нам диалектных словарях и картотеках по другим говорам, в том числе в картотеке сводного Словаря русских народных говоров.

области — от запада до востока. Это объясняет присутствие во фразеосочетаниях слова *уха*: рыба — основная пища жителей Архангельской области, которых, как известно, дразнили *трескоедами*. Встает вопрос, чем обусловлен выбор имен «поваров». Остановимся на нем подробнее.

Наиболее очевидный (и при этом вполне вероятный) ответ таков: имена случайны, а направленность их выбора только в том, что он осуществлен из списка тех имен, которые могли принадлежать представителям простого народа. Носитель имени — любой крестьянин (к примеру, *Алька, Васька, Демьян, Егор, Уля*), рацион которого, за редким исключением, был скудным и незатейливым: у него зачастую нет рыбы на уху — и он сидит на картошке, луке и грибах. В пользу такого предположения свидетельствует весьма высокая вариативность имен в составе фразеосочетаний. В то же время к некоторым именам из этого списка можно дать дополнительные комментарии.

Нередко отантропонимические дериваты в апеллятивной диалектной лексике восходят не собственно к личным именам, а к календарным наименованиям (хрононимам)⁷⁴. Выражение *егорова уха (егоркова крошанка)*, возможно, имеет опосредованную связь с хрононимом *Егорьев день* (день св. Георгия, 23 апреля / 6 мая)⁷⁵. Стоит обратить внимание, что *егорова уха* означает не только ‘пустой суп’, но и ‘уха, сваренная из рыбы разных видов’ [АОС 13: 28], а в качестве родового слова для названия этой похлебки встречается как *уха*, так и *крошанка*. Известно, что в Архангельской области на Егорьев день и близкий ему временной период приходился ход (и, соответственно, лов) самой разной рыбы, ср. арх. *егорьевская сельдька (сельдь)* ‘мелкий сорт сельди, ежегодно появляющийся в Северной Двине с 23 апреля / 6 мая’ [СРНГ 8: 317; СГРС 3: 302], арх. *егорьевская щучка* ‘щука, появляющаяся около 23 апреля / 6 мая’: «А шестого мая будет Егорий, так егорьевская щучка, ставят курьи» [АОС 13: 31], *егорьевский ход* ‘ход рыбы около 23 апреля / 6 мая’ [Бернштам 2009: 157], ср. комментарий Т. А. Бернштам: «Егорьевский и успенский ходы сельди — то же, что весенние всходы и уборка хлебов для земледельческих широт России» [Там же]. Вполне логично, что в это время рацион архангельских крестьян был особенно насыщен рыбой, а ее остатки составляли основу похлебки-*крошанки*.

⁷⁴ К примеру, некоторые отантропонимические названия постных похлебок и других блюд, зафиксированные в польских говорах, мотивированы названием периода, когда они употреблялись. Выражение *gola zośka* («голая зоська») ‘блюдо из воды и лука с вареным картофелем’, образованное от имени *Zofia*, обозначало бедную пищу, поедавшуюся в голодное время, «пик» которого приходился на период около дня св. Зофии (*św. Zofia*, 15 мая). Постный суп *chuda jewa* («худая ева») готовили в Сочельник (24 декабря), на который выпадали именины Евы. *Nagie józefki* («голые йозефы») ‘картофельные клецки без добавления муки’ стряпали около дня св. Иосифа (*św. Józef*, 19 марта), когда запасы муки были уже израсходованы (об этом см. в [Kucharzyk 2010: 143–144]).

⁷⁵ Вообще, восприятие апреля и начала мая как времени голодного (кончались зимние припасы и проходил Великий пост) закреплено в народной хрононимии, ср. вят., сев.-рус. *Марья-Пустые щи* ‘1/14 апреля, день преподобной Марии Египетской’: «Марья-Пустые щи, запас капусты на исходе» [РНК: 248].

Очевидно, что в составе *крошанки* изначально присутствовала рыба, а с течением времени блюдо видоизменилось — уха начала противопоставляться всякой мясной, питательной похлебке, требующей долгого приготовления, ср.: «Мясо дорого, так мать егорова уха еси», «Как есь нечего — “Бабушка, да делай мне егоровой ухи”», «Егорову уху варим — сухари, масло, лук, сольцы зальёшь кипятком» [АОС 13: 28]. Надо учесть и то обстоятельство, что рыба, которая ловилась в канун Егорьева дня, еще не «нагулялась» после зимы, — и поэтому уха из такой рыбы вряд ли могла быть очень жирной и наваристой. Таким образом, использование имени *Егор* как производящей основы для *егоровой ухи* может объясняться переосмыслением хрононима *Егорьев день* (хотя «простонародные» коннотации антропонима *Егор* и общую поддержку со стороны антропонимической модели номинации пустых супов тоже нельзя сбрасывать со счета).

У других имен, функционирующих в рамках рассматриваемой модели, «календарные» связи, кажется, отсутствуют. Особое внимание привлекает имя *Демьян*, участвующее в сочетании *демьянова уха*, которое совпадает с названием известной басни И. А. Крылова. Как мы предполагаем, имя *Демьян* появилось в составе выражения, обозначающего пустой суп, по той причине, что за ним стоят такие ассоциации, как простонародность, связь с крестьянством и бедность. Не случайно крестьянский поэт Ефим Придворов в качестве творческого псевдонима выбрал имя *Демьян Бедный*⁷⁶. Интересно, что антропоним *Демьян* — только в деминутивной форме *Дёмка* — присутствует в обозначении другого пустого блюда, ср. влг. *дёмкины рыжики* ‘кушанье из картошки, лука, хлеба’: «Ничего поисть нет, только дёмкины рыжики. Картошечки немножко наварим, да лучка, да хлебца накрошим. А рыжиков никаких там и нет, только так шутят» [КСГРС]⁷⁷.

Но как связаны архангельский диалектный фразеологизм *демьянова уха* и крыловская басня⁷⁸, в которой уха, сваренная «гостеприимным»

⁷⁶ Думается, что сочетание *одемянить литературу* (сделать ее крестьянско-пролетарской, призвать в нее десять тысяч ударников и пр.), фигурировавшее в публицистике конца 1920-х — начала 1930-х гг. «питалось» не только именем *Демьяна Бедного*, но и общими коннотациями антропонима *Демьян*.

⁷⁷ За именем *Дёмка* можно усмотреть и некоторый коннотативный фон, связанный с действием обмана или его субъектом, ср. новг., твер. *дёма* ‘тот, кто обманывает, плутует’, твер. *дёмка* ‘то же’, *дёмить* ‘лукавить, обманывать’ [СРНГ 7: 349]. Имя *Дёма (Дёмка)* могло появиться среди обозначений обманщиков вследствие притяжения к слову *демон*, ср. твер. *демёшка* ‘сатана, демон’, *демёшкины (дёмшины) ребята* ‘нечистые духи, черти’ [Там же] (см. такое объяснение *дёма* ‘плут, обманщик’ в [Фасмер 1: 497]). О наделении обманщика личным именем см. в [Кучко 2013], где приводятся и другие имена субъектов обмана (например, *Макарка, Алёша, Вакула*). Однако «обманнные» слова имеют узкий ареал (новг., твер.), не совпадающий с ареалом фразем *дёмкины рыжики* (влг.) и *демьянова уха* (арх.). Кроме того, эта версия может рассматриваться для объяснения коннотаций имени *Дёмка*, а не *Демьян*. Все это делает ее весьма уязвимой.

⁷⁸ Стоит напомнить ее мораль: «... Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь: Но если помолчать во время не умешь И ближнего ушей ты не жалеешь, То ведай, что твои и проза, и стихи Тошнее будут всем Демьяновой ухи».

Демьяном, — чрезмерно назойливое, неумеренное угощение, не согласующееся с желанием и аппетитом гостя, ср. литер. *демьянова уха* ‘неодобр. о том, что назойливо предлагают, навязывают кому-л. против его воли в неумеренном количестве’⁷⁹? Как считают фразеологи, литературная идиома порождена именно басней Крылова [РФ: 716], ее приводят как пример «лакунарного фразеологизма, появившегося на основе произведения художественной литературы» [Байрамова 2013: 171]. Думается, диалектная и литературная фраземы никак не связаны между собой по происхождению. Скорее всего, Крылов не знал архангельского выражения. В то же время сам факт сотворения великим баснописцем идиомы, совпадающей по форме с диалектной, говорит о том, насколько органичной была его «народность».

Что касается имен *Алька*, *Уля* и *Васька*, то здесь трудно дать комментарий. Вероятно, повторим, это «случайные» народные имена, втянутые в сферу действия модели.

Завершив рассмотрение сочетаний с участием слова *уха* и личных имен, вернемся к аналогичному им по структуре выражению *дёмкины рыжики* ‘кушанье из картошки, лука, хлеба’, которое было упомянуто выше. Оно записано на востоке Вологодско-Костромского пограничья, в Никольском районе Вологодской области. В этой же зоне (в Шарьинском районе Костромской области) отмечены два других выражения со словом *рыжики*: костр. *куликóвы рыжики* ‘похлебка из воды и хлеба’: «Голодно было, хлеба в воду накрошим и хлебаём. Вот куликовы-те рыжики. Буди, на болоте рыжиков нет, вот и назвали», *чичины рыжики* ‘блюдо из кваса, хлеба и растительного масла’ [ЛКТЭ]. Учитывая контекст, иллюстрирующий сочетание *куликовы рыжики*, стоит предположить, что в нем фигурирует название птицы *кулик* — как известно, болотной. Что касается *чичинных рыжиков*, то «героя» этого выражения установить пока не удалось.

Осмывая параллелизм сочетаний со словами *уха* и *рыжики*, следует заключить, что у них есть общая мотивирующая пресуппозиция: *уха* и *рыжики* означают ценимые в той или иной местности блюда, а притяжательное прилагательное чаще всего указывает на того, кто «понижает статус» блюда (не имеет нужных продуктов, не способен приготовить и т. п.).

Еще один мотив, встречающийся в «дискурсе» пустой пищи и указывающий на того, кто ее приготовил, — «национальный». О хозяйке, заварившей жидкий

⁷⁹ Вот иллюстрация к такому значению идиомы: «Но его хлебосольство порой становилось хуже демьяновой ухи» <В. О. Ключевский>. Однако идиома, вероятно, могла иметь и другие контекстные смыслы. Так, в рассказе И. А. Гончарова «Уха» *демьянова уха*, судя по всему, — ‘уха из разных видов рыб’: «Часа в три дня явились и мужчины с рыбой для ухи. Уха вышла на славу, совершенно *демьянова уха*. Женщины набрали сухих ветвей, развели огонь, все молча налили большую кастрюлю водой, вскипятили, положили туда живых стерлядей, ершей, сазанов и стали варить уху». Этот рецепт схож с той ухой из разных сортов рыбы (сазанов, ершей и стерляди), которую варил крыловский герой. Возможно, Гончаров, вспоминая крыловский текст, использовал известную идиому с иным смысловым акцентом.

чай, говорит присловье «Чай жидок, а хозяйка русская», основанное на ложной ремотивации *жидкий* ↔ *жид* (еврей). Такая ремотивация поддерживается стереотипным представлением о скупости евреев, ср. популярный анекдот о Рабиновиче, которого перед смертью спросили, как ему удавалось заваривать великолепный чай. Рабинович открыл секрет: «Евреи, не жалейте заварки!». «Национальную» тему продолжает простореч. *китаец* ‘о жидком чае’, в котором тоже можно усмотреть ремотивацию: номенклатурное *китайский чай* подменяется цветовой характеристикой (цвет кожи китайца), ср. простореч. *китайцы* ‘иронично о тех, кто сушил спитой чай, а потом выдавал его за настоящий «китайский»’ [ЯСМ: 254]. В польской фразеологии отражены народные представления о том, что жидкий чай заваривают чехи, ср. польск. *slaby jak czeski czaj* [Турра 2011: 264]. Как плохое и некачественное может расцениваться непривычное русскому вкусу блюдо другой национальной кухни, ср. оренб. *салма́* ‘кушанье вроде саламата: кусочки тонко раскатанного теста, опускаемые в похлёбку, в мясной бульон, наподобие лапши’, ‘прозвище татар, намек на любимое национальное блюдо’, ‘всякая плохая похлебка’ [Малеча 4: 15]. Стоит напомнить и приведенное выше архангельское сочетание *цыганская уха*: в этом названии сильна каритивная мотивация (*цыганское* как неполноценное, аномальное и т. п.).

Язык может рассказать не только о том, кто готовит жидкую пищу, но и о том, **кто, когда и где ее употребляет**. Жидкий суп ели преимущественно во время поста, что дает основания обыгрывать его «святость»: «Порозжая (порожня) еда свята, да не сладка (да жидка)» [Даль, 3: 319], арх. *безгрешная уха* ‘похлебка из сухарей, соли и перцу’ [СРГК 6: 659], ‘пустой суп’: «Безгрешная уха — лук да хлеб накрошат, вот и вся уха, без рыбы» [КАОС], *монастырский суп*: «Здесь варили монастырский суп: картошку варили, в этой же воде толкли. Он назывался монастырским, потому что постный» [КСГРС]⁸⁰, простореч. *суп с молитвой* ‘постный суп’⁸¹. При этом

⁸⁰ Отметим, что представления о *монастырских супах*, отраженные в русской языковой стихии, весьма амбивалентны. В современном дискурсе *монастырский суп*, — как правило, постный (см. рецепты на различных кулинарных сайтах), а вот *монастырская уха* — блюдо весьма богатое и скоромное, ср.: «*Уха монастырская* — не знаю, почему она получила такое название. Может быть потому, что некоторые священнослужители были гурманами и чревуоюдниками. Отличие такой ухи от обычной в том, что варится она на курином бульоне» (URL: <http://www.povarenok.ru/recipes/show/10295/>). Об устойчивости «церковных» мотивов в названиях рыбных блюд (на фоне «монархических» в наименованиях мяса) рассуждает в своем шутовском посте в «Facebook» Т. Н. Толстая: «Видела в магазине буженину “Имперскую” и свинину “По-царски”. Я не понимаю, почему монархические мечтания приписываются свинье, а баранина, например, никогда в претензиях на трон не была замечена. Рыба при этом пошла по линии РПЦ: *уха монастырская, уха архиерейская, рыбно-овощные котлеты монастырские*, этсетера. Это можно понять: пост и прочее. Но что делает свинья в порфире, я как-то не понимаю. Не чувствую, что ли» (01.09.2013).

⁸¹ Ср. также костр., перм., яросл. *пирог с молитвой*, новг., ростов., яросл. *пирог с амином* (с амином) ‘пирог без начинки’ [СРНГ 18: 217; 27: 39; Морозов 2012: 16], краснояр., свердл. *молитвенник* ‘пирог без начинки; лепешка без приправы’ [СРНГ 18: 219; СРГСУ 2: 135], вят. *с постной молитвой испечь* ‘без начинки испечь’ [СРНГ 30: 230] и др.

жидкая пища ассоциируется с голодом, нуждой, бедностью: костр. *голодаиха* ‘пустой суп’ [ЛКТЭ], арх., влг., костр. *нужда* ‘то же’: «Нужду варишь: лук-от с хлебом заваришь кипятком» (арх.), «Сёдни я нужды наварила — мука, картошки наложила, а мяса-то нет» (влг.), «Нужда, знаешь, суп варили, это в войну всё. Лук и всё. Сваришь — оно вроде как уходит» (костр.) [КСГРС; ЛКТЭ; СРНГ 21: 312], ср. также польск. простореч. *bieda* ‘то же’ [сообщено Е. Бартминьским]. Эта связь проявляется не только во внутренней форме самих «пищевых» слов, но и в производных от них: рус. диал. шир. распр. *мурцѡвка*, *мурсѡвка* ‘кушанье из хлеба, лука, растительного масла и соли (иногда также сметки и яиц), залитых водой или квасом, тюря’ → бурят., иркут., краснояр. *мурцѡвка* ‘мучительные хлопоты; неурядицы, горе’, иркут. *хлебнуть мурцѡвки* ‘узнать горя, хватить лиха’ [СРНГ 18: 359–360]. Пустое кушанье может символизировать горе, нужду, а горе, в свою очередь, может «опредмечиваться» в виде кушанья: вят. *вздыхаленка* ‘бесхлебица, голод’: «Одну вздыхаленку едим» [СРНГ 4: 263].

Жидкий, пустой суп считался блюдом бедных крестьян, о чем говорит, к примеру, влг. *крестьянский суп* ‘пустой суп’: «Суп крестьянский: ни луку, ничё в нём нет, а я зову дак суп бобыльский» [КСГРС]. Есть и примеры на обратную модель (обозначения крестьян, образованные от названий бедной пищи), ср. бурят. *бурдѡшник* ‘устар., пренебр. о бедном крестьянине’: «Кулаки нас раньше так бурдушниками и называли. Дескать, кроме бурдука у вас на зуб и положить нечего» ← *бурдѡк* ‘кушанье в виде жидкой каши из муки и воды’ [СРГС 1: 102]. Показателем достатка и соответствующего ему высокого социального статуса могла быть и крепость чая. Крепкий чай пили купцы, баре и духовенство, жидкий — простой люд, ср. арх. *купеческий* ‘хорошо заваренный (о чае)’: «Когда хорошо заваривают <чай>, так это купеческий» [КСГРС]; «Барин пьет, пока хочет; поп пьет, пока чай красный; купец пьет, пока пот прошибет; а мужицкий аппетит — сколько воды хозяйка накипятит» [Иллюстров 1915: 415].

Язык отражает способность таких продуктов стать меткой определенной эпохи, которая считается особо голодной из-за социальных катаклизмов: костр. *пятилетка* ‘пустой суп’: «Пятилетка — мяса нету, сдали государству», *мясповинность* ‘то же’ [ЛКТЭ]. Последнее слово образовано на основе одноименного канцеляризма (< *повинность*, выплачиваемая мясом), стоящего в ряду других обозначений *повинностей*, ср. *молповинность* ‘налог молоком’, *яйповинность* ‘налог яйцами’, *дорповинность* ‘налог, отрабатываемый на строительстве дорог’ [Там же]⁸².

⁸² К сожалению, материалы ЛКТЭ не позволяют указать, в каком временном интервале костромские колхозники облагались этими повинностями. С уверенностью можно сказать лишь то, что в этот период входят 1930-е гг. и первые годы после Великой Отечественной войны.

В советское время (главным образом в 1930–1940-е гг.) в особо «рыбных» районах Архангельской области, где были рыболовецкие колхозы⁸³, существовало такое правило: пойманная рыба полностью сдавалась государству, рыбакам не разрешалось брать себе ничего. Боясь быть уличенными в присвоении государственной рыбы, колхозники и вовсе перестали варить уху или делали это крайне редко, ср. арх. «Конечно, на тонях сидели на колхозных, дак иной раз бригадир и даст на ушку», «Рыбы не было. Если слышали — за пропаганду могли увезти, не сталинска — перепиши — советская уха» [КАОС]. В результате *сталинской* или *советской ухой* стали называть всякую безрыбную похлебку или похлебку на рыбном бульоне, но без рыбы, ср. арх. *сталинская уха*: «Сталинская уха — из картошки и лука», *советская уха*: «За “советскую уху” <слова> могли посадить. <...> До и после войны, в войну варили, потом стала рыба появляться», «Советская уха — с рыбы наварка, туда яичко да зелени покрошат — тюрю такая получалась»; «Тут уж говорили — советской ухи похлебаешь. Рыбы нету — картошечки накрошишь, какой крупички — давайте советской ухи» [Там же].

Голодное время ассоциируется не только со Сталиным, но и с другими государственными деятелями, ср. простореч. *керенский чай* ‘некрепкий чай’ [сообщено Г. И. Кабаковой], *гайдаровский суп* ‘суп из картошки с луком, без мяса’ <Киров> [ЛЗА]⁸⁴. Проводниками продовольственной политики государства были руководители на местах: влг. *председателей суп* ‘пустой суп’: «Суп из топора, рататуй, председателей суп — картошка да вода» [КСГРС], ср. также костр. *комиссарик* ‘картофельная лепешка без муки’: «Из картошки стряпали драники, комиссарики-то. В голодные годы муки комиссары не оставили», «Из картошки трахмал достанут, а из отёрышей этих пекли комиссариков. Комиссары-то последнее отняли» [ЛКТЭ]⁸⁵.

Голодным может быть не только время, но и место, поэтому постная пища становится непременным атрибутом тюрьмы, ср. устойчивое сочетание *тюремная баланда*, *арестантский суп*. В связи с темой тюрьмы стоит вспомнить и жарг.-простореч. *кондёр*, *кандёр* ‘жидкая тюремная пища, похлебка’ (см. выше).

⁸³ Это главным образом районы на побережье Белого моря, в низовьях Северной Двины и Мезени — Приморский, Онежский, Мезенский, Холмогорский.

⁸⁴ В ряду шуточных названий некачественных продуктов, отсылающих к именам государственных деятелей, можно назвать и польск. простореч. *lupież Breźniewa* («плешь Брежнева») ‘чай низкого качества, похожий на пыль, который продавали в брежневские времена’ [сообщено С. Небжеговской-Барминьской].

⁸⁵ Можно привести еще следующие фразеосочетания: влг. *председатель поссал*, *комиссар поссал* ‘о некрепком самогоне’: «Первач-от крепкий, а потом слабое делается, председатель поссал или комиссар поссал» [СГРС 5: 290]. Они вписываются в ряд наименований некрепких напитков, в основе которых образ мочи (см. выше), однако выбор комиссара и председателя в качестве «героев» мотивирован, очевидно, тем, что с ними связаны представления о бедной, некачественной пище в голодные времена.

Естественно, что пустой суп оказывается весьма непитательным: «Щи хоть кнутом хлещи, пузыри не вскочат, брюха не обкормят» [Иллюстров 1915: 401], «Siedem łokci żuru nagotuje — chłep, chłep, w dupie pustki» («Семь стаканов жура наготовит — хлоп, хлоп, в заднице пусто») [НКРР 3: 968]. Употребление жидкой похлебки может быть весьма чреватым для здоровья: «Этот суп только пучит пуп» [Даль ПРН 1957: 815], новг. *свисту́нья* ‘жидкая овсянка, иногда с мясом’ [Даль₂ 4: 151], арх. *свисту́ха* ‘похлебка из отвара репы с квасом, дрожжами и хлебом’, пск., твер. *свисту́ха* ‘понос’ [СРНГ 36: 302]⁸⁶; ср. также влг. *брюходуй* ‘пиво, приготовленное второй раз на том же сусле’ [СРНГ 29: 117]. Иной образный поворот этой темы — в рус. простореч. *суп-бегунец* ‘овощной суп’ (съешь и «бежишь» в туалет), перм. *драповая похлебка* ‘дешевая похлебка в «обжорке»’ [СРНГ 8: 175] (от *драпать?*); возможно, сюда же влг. *лётный суп*: «В армии я был — лётный суп звали. Вода да капуста. Опозорен этот суп» [КСГРС]. Сходная идея заложена и в польск. *oblecistodolka* ‘вид похлебки’ [SW 3: 472]: это слово, образованное от *oblecieć* ‘облететь’ + *stodola* ‘овин’, ‘хата’, прочитывается как «та, которая заставляет бежать вокруг дома (в туалет?)».

Отсюда понятно, что непитательные супы такого рода могли отдаваться животным: смол. *хуть ты на сабаку лей* ‘плохое кушанье’ [Добровольский 3: 77], блр. диал. *хоць на сабаку вылі (злі)* ‘о жидкой пище: совсем не вкусная’: «Сягонячы наварыла капусты — хоць на сабаку вылі» [СБНФ: 292], ср. орл. *собачина* ‘о плохом угощении’: «Мое вам почтенье, да нечего дать: была собачина, да вся потрачена» (поговорка) [СРНГ 39: 147], яросл. *свинячий* ‘негодный к употреблению, плохой’ [СРНГ 36: 291].

* * *

Не только сама жидкая пища, но и ее названия обманывают ожидания. Но это «обман наоборот»: за обозначениями скудной и бесцветной пищи кроется богатый и колоритный фрагмент народной жизни.

3.2.2. РАТАТУЙ И ТАРАТОР

В русском языке есть забавное словечко *ратату́й* (с вариантами *ротату́й*, *рототу́й*, *ритату́й*, *ракату́й*), чаще всего выступающее в значении ‘постный суп’. Это слово, как представляется, недооценено лексикографами и этимологами. Оно не обнаружено нами в словарях литературной и просторечной лексики

⁸⁶ Ср. также арх. *свистуна́ принесли* ‘о пиве третьего слива’: «Как пиво сливали, говорили: первый бег, он самый хороший, самый крепкий, второй бег, третий бег, третий самый плохой, о нем говорили: свистуна принесли» [КСГРС]. Слова *свистуха*, *свистун* и *свистунья* мотивационно близки другим обозначениям пищи, звуковой состав которых отражает физиологическую реакцию организма на ее употребление (подробнее о них см. ниже, в параграфе 3.2.2, с. 377–378).

русского языка и даже в словаре В. И. Даля. Слово «получило прописку» только в диалектных лексикографических источниках [АС, КСГРС, ДЭС, ЛКТЭ, НОС, СВГ, Селигер, СОГ, СРНГ, ССГ], которые зафиксировали его в трех основных группах русских говоров — северновеликорусских, южнорусских, среднерусских (арх., влг., костр., новг., орл., перм., свердл., смол., твер., яросл.). Таким образом, изучаемая лексема не имеет замкнутого ареала; более того — она известна горожанам: как показали данные достаточно случайного опроса, слово отмечается в речи жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Томска, Хабаровска. Думается, корректнее всего считать это слово фактом общерусского просторечия.

Опишем подробнее значения изучаемого слова, отмеченные диалектными словарями. *Рататуем* обычно называется постный суп, основные ингредиенты которого — картошка и лук, иногда еще зелень или крупа (костр. «Суп рататуй немясной, он никакой, лук пожаришь, картошку — и всё», «Раньше, вот я когда была в детстве, не было совсем еды, варили суп: картошку, лук, соль, вода. Лёгкий суп, рататуй. Пустой, без мяса, лёгонький. Вот он и баландá. Можно называть его и баландой, и рататуем» [ЛКТЭ], арх. «Рататуй можно так назвать — овощи, картошка да крупа» [КСГРС]); те продукты, которые «под рукой» (арх. «В суп-рататуй, что было в мешках амбарных, собрала и сложила», «Намешаешь всего: один картошки, другой рыбы. Эвон ритатуй изготовили — как ассорти» [КСГРС]; смол. «Я сяни рьтатуй сварила: сыбрала кой што» [ССГ 9: 122]). *Рататуй* варится на скорую руку (орл. *rutatúy* ‘суп на воде, приготовленный на скорую руку’: «Мамкъ ритатуй здельль надься, уж очинь вкусный» [СОГ 12: 167]) и отличается простотой приготовления (смол. «Ина дажа рьтатуй сварить ня можьть» [ССГ 9: 122]). Иногда *рататуем* называют даже не суп, а воду, квас или молоко с крошенным хлебом: смол. *rutatúy* ‘молоко с подкрошенным в него хлебом’ [Там же], арх. *rutatúy* ‘квас или вода с хлебом’: «Ты чё сегодня ел? Рататуй, квас с хлебом или воду с хлебом» [КСГРС]. Слово *рататуй* употребляется и как шутивное обозначение неудачной, плохо приготовленной пищи, пищи низкого качества: арх. «Ритатуй у нас шутейное слово. Суп ритатуй зовут, хозяйка когда плохо сварит» [КСГРС]. В городском просторечии к этим значениям добавляется еще и ‘тюремная (лагерная) еда, баландá’ [ЛЗА].

«Незатейливость» состава супа становится предметом многочисленных шуток, ср. арх. «Пустой суп, по краям картошка, а в середине гвоздь. Вот и есть рататуй», влг. «Рататуй суп пустой, бедный, говорят, суп рататуй, по бокам картошка, а в середке матюк», «Наварим суп пустой, лука да картошки: “Ну-ко, иди нужду хлебать!” А кто ешшо рататуем назовёт, голожопицей, матюком каким» [КСГРС]. «Эротические» мотивы («в середине гвоздь», «в середке матюк» и т. п.) возникли не без влияния рифмы *...туй — х...й*. Кроме того, «матюк» в данном

случае — это своего рода «кукиш» на языке пищи: вместо сытных щей человек получает практически пустую водичку.

Помимо самого слова *рататуй* и его ближайших вариантов, перечисленных выше, в русских диалектах существует целый ряд синонимичных ему лексем, содержащих разные комбинации звуков из комплекса *m-(n)-p-a-y-(й)*, ср. арх. *потатуй* ‘постный суп’: «Потатуй — чё ли положат — положить-то нечего было»; «Суп-потатуй: чё там? Картошка, лук, крупа — это называется суп-потатуй» [КСГРС]; арх. *прататуй*, *протатуй* ‘то же’: «Прататуй варил: кислица, крупа, картошка, сметанка — хороший суп!», «Суп-протатуй — по краям капуста, а в серёдке пусто, по краям картошка — а тут ещё немножко» [Там же]; влг. *растатюра* ‘кушанье, род похлебки из картошки и лука, приготовленной на воде’ [СВГ 9: 38]; арх. *ратата* ‘пустой суп’: «Ратата в войну: картошка, травка, а мяса нет» [КСГРС]; мордов. *ритатон* ‘картофельный суп с луком’: «Анкь-ть дажь ритатоп сварить ни можът» [СРГМ 2: 1081]; ср.-урал. *трататуй* ‘суп-скороварка «из ничего»’: «Как ись неково, так и придумывашь трататуй» [ДЭИС]; арх., влг. *тратата*, арх. *трататуй* ‘постный овощной суп (как правило, картофельный)’: «Тратату сварят, картофельну, постну. Крупы положат да» (арх.), «Сварила тратату, картошка с луком и водичка — вот и тратата. А кто матюком» (влг.), «Трататуй — это варят супчик, картошку растолкут, совсем жиденько, негустой чтоб, ещё немного гороху, если есть, — и всё» (арх.) [КСГРС]; влг. *тратата*, *трататуй* ‘бурда, невкусное варево’: «Наварила тратату, никто не станет исть» [Там же] и др.

Слова со значением ‘постный жидкий суп’ и сходным звуковым составом отмечены и в западнославянских языках, ср. польск. *ratatajka* ‘похлебка на горячей воде с мукой’ [SW 5: 479; Karłowicz 5: 12], кашуб. *rututu* ‘картофельный суп’ [Sychta 4: 370]. Кашубское слово рассматривалось в этимологической литературе: В. Борысь сравнивает его со звукоподражательным польск. диал. *ru-tu-tu* ‘звук бубна’, — таким образом, суп получает название по физиологическим реакция организма на его употребление (выделение газов) [SEK 4: 221]. Если перенести эту мотивационную логику на русский языковой материал, то можно сопоставить рус. *трататуй*, *рататуй*, *тратата* и т. п. со звукоподражанием *тра-та-та-та-та*, изображающим равномерный стук, шум (барабанную дробь, пулеметную очередь или физиологическую реакцию организма). Для этой шутиливой мотивировки обнаруживаются параллели в некоторых других названиях супов, которые отражают «музыкальное» влияние пищи на организм человека, ср. арх. *быр-быр-быр* ‘гороховый суп’: «Наварила быр-быр-быр из гороху, наешься его — в животе-то быргат», *быргуша* ‘гороховая каша’: «Быргушу варили из гороху; съешь — в животе-то быргает» [КСГРС], простореч. *музыкальный суп* ‘гороховый суп’; ср. также новг. *свистунья* ‘жидкая овсянка, иногда с мясом’, арх. *свистуха* ‘похлебка из отвара репы с квасом, дрожжами и хлебом’ — и пск., твер. *свистуха* ‘понос’ (подробнее о последних словах см. в параграфе 3.2.1,

с. 375). Наиболее «эффективным» воздействием на кишечник обладает горох, ср. орловское шутивное название гороха *гузнострёл*, *гузнопál* [СРНГ 7: 209]. Очевидно, поэтому в просторечии слово *тратата* появляется именно в значении ‘гороховый суп’: «Захожу в ресторан, подают меню, я вижу название блюда и удивленно спрашиваю у официанта: “Что это у вас за суп такой под названием *тратата*?” Он удивленно: “Обычный суп, гороховый...”» (из выступления Г. Ветрова в передаче «Смеяться разрешается», телеканал «Россия», 16.03.2008).

Вообще, сочетание *r-a(u)-t* может изображать не только физиологические реакции, диапазон «звукописи» у него гораздо шире, ср., к примеру, чеш. *ratata*, *ratatata* ‘о стуке, шуме и др.’ [PSJČ 4/2: 627], словен. *ràtata* ‘подражание звуку бубна’ [SSKJ 4: 322], польск. *ru-tu-tu* ‘то же’ [Karłowicz 5: 75], англ. *rat-tat* ‘громкий стук в дверь’ [АВВУУ Lingvo x 5] и т. д. Звукоизобразительный потенциал этого сочетания включает и имитацию невнятной или малосодержательной человеческой речи, ср. например, рус. простореч. *тараторить*, *тарактеть* ‘быстро и невнятно говорить’, влг. костр. *растату́ривать* ‘говорить, рассуждать, много болтать попусту’, ‘тараторить’ [СРНГ 34: 249], р. Урал *растату́риха* ‘болтунья’ [Малеча 3: 520; СРНГ 34: 249], укр. *тарактуха*, *таратуля*, *таранда* ‘тот, кто бормочет, болтает’ [Аркушин 2: 192–193], серб. *тртљати* ‘говорить много и попусту, болтать’ [РСХКJ 6: 313], кашуб. *rutotac* ‘стучать, тарактеть’ [Sychta 4: 370] и мн. др.

Тема звука, звучания сопровождает многие наименования жидкой пищи и выходит на первый план в их семантических связях, ср. рус. простореч. *брандахлыст* ‘о негодном напитке, плохом жидком кушанье’, *суп-брандахлыст* [ССРЛЯ 1: 604] — и влг., перм. *брандахлыст* ‘болтун, сплетник’ [СРНГ 3: 148]; простореч. *баланда* ‘тюремный или лагерный суп (очень жидкий и водянистый)’ — и жарг. *баланда* ‘бестолковый текст, неясная, нечеткая речь’ [БСРЖ: 46], пск. *разводить баланду* ‘говорить попусту, болтать вздор’ [ПОС 1: 99]; влг. *рощекóлда* (*росщекóлда*, *росщёкóлда*) ‘похлебка с луком и картошкой’ [КСГРС], *расщекóлда* ‘кушанье, род похлебки из картошки и лука, приготовленной на воде’ [СВГ 9: 44] — и влг. *расщекóлдывать* ‘говорить бойко, тараторить, рассуждать торопливо и резко’, влг., иркут. *расщекóлда* ‘человек, любящий балагурить, шутить, острить, болтать’ [СРНГ 34: 333], яросл. *ровно щеколда молоть языком* ‘о бойкой на язык женщине’ [ЯОС 8: 134]; б. м. *саламата* ‘прессная, вскипяченная болтушка’ — и *саламатить* ‘говорить пространно, вяло и пусто’ [Даль₂ 4: 130] и др. Очевидно, звуковые мотивы объясняются не только физиологическими последствиями употребления супов, но и их консистенцией (в отличие от густого жидкий суп «булькает», ср. «Щерба да уха на языке верещит (жидка)» [Даль ПРН 1957: 815]), а также технологией приготовления (суп замешивают, взбалтывают, ср. рус. литер. *болтушка*, смол. *болтенка* ‘род похлебки, жидкой мучной кашицы’ [СРНГ 3: 81], свердл. *баламутка* ‘постный

гороховый суп' [ДЭИС], кашуб. *chlubotka* 'какой-л. жидкий суп', 'болтливая женщина' [Sychta 2: 27] и др.)⁸⁷.

Сеть семантических связей слова *рататуй*, близких ему фонетически лексем вроде *рататай*, *растатура*, а также других наименований пустых супов может быть расширена. На основе таких признаков реалий, как «незатейливость», специфика технологии приготовления, низкая вкусовая и пищевая ценность, возникает широкий круг экспрессивных значений. Приведем некоторые из них.

- **Суета, хлопоты, неурядицы:** свердл. *растатуй* 'ссора', иркут. *растатюра*, дон. *растатурица* 'беспорядки, неразбериха', вят. *растатура* 'разногласия, раздор', дон. *растатурия* 'помехи, мешающие исполнению задуманного' [СРНГ 34: 248–249], диал. шир. распр. *мурсówka*, *муриówka* 'кушанье из хлеба, лука, растительного масла и соли, залитых водой; тюря' — и иркут., краснояр. *муриówka* 'мучительные хлопоты; неурядицы, горе' [СРНГ 18: 359–360];

- **знак отказа (при сватовстве):** арх. *рататуй плеснуть* 'отказать при сватовстве', свердл. *налить черных щей*, ср. также блр. *даць чорнай поліўкі*, польск. *dostać (dać) czarną (szarą) polewkę* («получить (дать) черный (серый) суп») (см. выше, в параграфе 3.2.1, с. 361);

- **вздор, чепуха, «пустое»:** арх. *рататуиха* 'ерунда, чепуха'; литер. *бурда* 'невкусное варево', пск. *бурда-мурда* 'о постном водянистом супе' [ПОС 2: 216] — и литер. *бурда* 'путаница, вздор, чепуха'; простореч. *балáнда* 'похлебка, суп' — и 'что-н. плохое, малоценное'; ср. польск. диал. *paćara* 'мука, заваренная водой, «болтушка»' — и 'шутл. что-то плохое' [GŚ: 46], кашуб. *polévka* 'похлебка, суп' — и *gadac krëpë z polévka* 'плести, говорить пустое' [Sychta 4: 125];

- **нерасторопный человек, разный:** рус. латыш., литов. *растатуй* 'растяпа, разгильдяй', орл. *растатура* 'о несообразительном, неповоротливом человеке' [СРНГ 34: 248], яросл. *рататай* 'разиня' [ЯОС 8: 128]; литер. *тюря* 'кушанье из крошеного в квас или в воду хлеба с солью, луком' — и перен. 'о вялом, нерасторопном человеке' [ССРЛЯ 15: 1221]; простореч. *суп-брандахлыст* — и пск., твер. *брандахлыст* 'нерасторопный человек; разгильдяй' [СРНГ 3: 148]; ср. также польск. *barszczyk* 'жидкая свекольная похлебка', 'о человеке мягком, нерешительном, без собственного мнения' [Adalberg 1889: 14].

В то же время есть целая группа значений слова *рататуй* (*рататуй*), которая стоит особняком и не встречается у других названий жидких кушаний:

- **клоун, шут:** дон., орл., смол. *рататуй* 'паяц, клоун, петрушка' [СРНГ 34: 337], орл. *рататуй*, *рататуешник* 'то же' [СРНГ 35: 106];

⁸⁷ Ср. также сербские данные, которые любезно сообщил нам Л. Раденкович: на востоке Сербии о постном супе говорили «Чорба чок — месо јок» («Суп “звенит” — мяса нет»), — вероятно, таким образом обыгрывалась «звнящая пустота» постной похлебки. Интересно также сербское диалектное обозначение холодного супа из квашеной капусты и жареного перца — *диллиндика* [Динић 1988: 1988], фонетически переключившееся с серб. диал. *диллик* 'звучание' (речь идет не об истинной этимологии этого слова, являющегося, вероятно, тюркизмом, а о синхронном восприятии его звукового облика).

- т а н ц о р: орл. *ритатуй* ‘тот, кто танцует, танцор’ [СОГ 9: 166];
- к у к л а, п у г а л о: орл. *ритатуйчик* ‘кукла’ [СРНГ 35: 106], орл. *ритуй* ‘огородное пугало’ [СОГ 9: 167];
- п о п р о ш а й к а, п р о х о д и м е ц: арх. *ритатуй*: «Ритатуев нагонено к нам на строительство — чёрные, не по-нашему говорят. Вломились: картови ты нам надавай. Ритатуй ты, лешак, не клянчи» [КСГРС];
- с т р а н н о (п л о х о) о д е т ы й ч е л о в е к: перм. как *москóвский ритатуй* ‘о ком-л. необычно одетом’: «Чё ты снарядился как московский ритатуй?» [ФСПГ: 314], смол. *рататуйха* ‘бран.; жен. к *рататуй*’: «Надень плаття, а то ходиш рьтатуиха, неслух ега» [ССГ 9: 122], орл. *ритатуй* ‘о несуразно, нелепо одетом человеке’ [СОГ 9: 166] и др.

Для значений последней группы (‘клоун’, ‘кукла’ и др.)⁸⁸ базовым, как представляется, можно считать *рататуй* ‘клоун, петрушка’. Дело в том, что знаменитый Петрушка русского народного театра имел полное имя *Петр Иванович Уксусов* или *Ванька-Рататуй* (южнорусский вариант *Ванька-Рю-тю-тю*). В своих выступлениях Петрушка называл и обыгрывал свое прозвище: «Так вот я каков, Петрушка!.. Ах (ударяет себя по лбу), забыл! Петрушка-то Петрушка, а прозвище как?.. *Ра-та-туй!*.. Слышите? *Ра-та-туй!*..» [Некрылова 1988: 76, 80]; ср. также свидетельство, приведенное в «Словаре русских народных говоров»: «Петрушка, главный герой всем известной кукольной комедии, название получил от припева им на шарманке *туй-туй-рата-туй*» [СРНГ 34: 337] (действительно, выступление Петрушки часто сопровождалось игрой шарманки). Кроме того, звукоподражание *ра-та-та* и *рю-тю-тю* могло имитировать звук бубна, который был одним из главных инструментов народного театра⁸⁹.

Здесь мы неминуемо подходим к непростому вопросу о происхождении рус. *рататуй*. Можно предположить, что *рататуй* (и многочисленные варианты) ‘пустой суп’ и *рататуй* ‘клоун, шут’ возникли независимо друг от друга, реализуя сходные фоносемантические модели: высокая экспрессивность звукокомплекса, включающего в себя звуки *p-t-a-y* (и подобные) определила

⁸⁸ Мы не включили в список только ворон. *ритатуй* ‘литература’ [СРНГ 35: 106], которое, вероятно, тоже каким-то образом связано с данным гнездом, но для выяснения характера этой связи нужен больший объем сведений о значении этого слова и контекстах его употребления.

⁸⁹ Авторы «Этимологического словаря белорусского языка», объясняя рус. диал. *ритатуешник* ‘клоун, комедиант’, *ритатуй* ‘комедиант’, ‘дурень, придурок’, *ритатуйчик* ‘кукла’, блр. диал. *рытатуйня*, *рытатуйнасць*, *рыстатуйня*, *рыстатуйнасць* ‘дурнота’, *рытатуйный*, *рыстатуйный* ‘бестолковый, дурной’ и др., приводят две этимологические версии. С одной стороны, эти слова, возможно, являются экспрессивным образованием от *рататуй* ‘французское блюдо’. С другой, ср. чеш. *řítiti se* ‘сбрасывать, скидывать’, серб.-хорв. *рѣтати се* ‘лягаться, брыкаться’, ‘бить задними ногами (о коне)’, болг. *рѣтам*, *рѣтам* ‘брыкаться, лягаться’, которое восходит к праслав. **rjutiti*, *rutiti* ‘лягаться, брыкаться’ [ЭСБМ 11: 244–245]. Мы придерживаемся иной точки зрения относительно происхождения этих слов, которая будет изложена далее в основном тексте параграфа.

его выбор в качестве основы и для названия супа, и для имени клоуна. Обладая яркой экспрессией — на уровне как формы, так и содержания — эти слова активно развивали производные значения, что привело к формированию общего морфосемантического поля. Возможно, под влиянием этого поля среди названий супа типа *ратата*, *тратата* и т. п. в качестве основного закрепился именно вариант *рататуй*, совпадающий с обозначением клоуна (еще одна причина выбора *рататуй* в качестве наиболее частотного обозначения пустого супа будет названа ниже). Кроме того, под влиянием поля появились лексемы, которые трудно отнести к какой-то одной из двух взаимодействующих лексических систем, ср. калуж. *путатуй* ‘о простоватом, придурковатом человеке’ [СРНГ 35: 106], орл. *путатуй* ‘несобранный, неловкий, неумелый человек’: «Ах ты, ритатуй! Усе у тебе ни славь богу» [СОГ 9: 166], арх. *путатуй* ‘бранно о человеке’: «Ритатуями старухи ругались: иди отсюда, ритатуй» [КСГРС], смол. *рататуй* ‘о непослушном, действующем наперекор’: «Ах ты, рататуй!» [ССГ 9: 123], калуж., тульск. *путатуй* ‘бранное слово’: «Ритатуя-та дал бог мне такого дурака <о муже>» (калуж.) [СРНГ 35: 106].

Но «биография» изучаемых слов еще сложнее: в процессах взаимодействия участвуют не два, а три словесных гнезда! Третьим «ингредиентом» стало рус. простореч. *рататуй* ‘овощная смесь, ассорти’, которое является французским заимствованием. Кратко охарактеризуем французский источник.

Французское слово *ratatouille* имеет три основных значения: ‘варево, плохо приготовленное рагу’, ‘разновидность рагу (провансальское рагу)’, ‘взбучка, серия ударов’ [Petit Robert: 1898; АБВУУ Lingvo x 5]. Словари, фиксирующие это слово с 1778 г., считают исходным значение ‘рагу, грубая еда’. *Ratatouille* возводится к глаг. *touiller* ‘протыкать’ (из нар.-лат. *pertusiare* ‘то же’) и его экспрессивным формам *ratouiller* и *tatouiller* ‘крутить, размешивать, взбалтывать’ (см. [Petit Robert: 2175, 1898]). Дериватом слова *ratatouille* является сокращение-апокопа *rata* в значениях ‘тушеная картошка, фасоль’, ‘жратва», плохая еда, скверная пища’, ‘солдатский (непитательный, невкусный) суп’ и др., причем особое распространение это слово имеет в арго [АБВУУ Lingvo x 5; DAFF; RD].

Сохраняя исходную пейоративную семантику, слово *ratatouille* вместе с тем активно развивает (особенно в XX в.) нейтральное пищевое значение ‘разновидность овощного рагу’. Это блюдо, распространенное на юге Франции, чаще всего готовится из кабачков, помидоров, ямайских перцев, баклажанов, лука, жаренных в оливковом масле. В современной кухне рататуй существует во множестве «версий» (рататуй с рисом; блины с начинкой «рататуй»; рататуй с томатным фондю; рататуй с курицей и йогуртовым соусом и т. п.), в том числе — в суповой. Рататуй приобрел широкую известность еще и как разновидность «фастфуда» — смеси замороженных овощей (в Россию продукт с таким названием чаще всего поставляется из Польши). Иногда рататуй можно встретить в консервированном

виде в жестяных банках. Этот «пакетно-баночный» рататуй — предельно дешевая и демократичная еда.

В последние годы это слово приобрело «второе дыхание» благодаря одноименной анимационной комедии, созданной режиссером Бредом Бёрдом. Популярность мультфильма (он получил 10 «Оскаров»; после мировой премьеры, состоявшейся летом 2007 г., был показан во многих странах мира; на его основе создана одноименная электронная игра) сделала слово «рататуй» воистину интернациональным. Героем мультфильма является парижский крысенок Реми, который любит хорошую еду и мечтает стать шеф-поваром в лучшем французском ресторане. Создатели фильма, несомненно, обыгрывают аттракцию франц. *ratatouille* к англ. *rat* 'крыса'. Согласно концепции мультфильма, Реми вызывает недоумение окружающих тем, что готовит на суд строгому гурману-эксперту самое простое деревенское блюдо под названием *ratatouille*. Как видим, французское слово тоже воспринимается экспрессивно и обладает сильными аттрактивными возможностями.

Каково же участие французского *ratatouille*-ассорти в судьбе русского *рататуйя*-супа? Думается, отрицать это участие нельзя, однако определить его степень очень сложно. С одной стороны, можно привести доводы в пользу французского происхождения русского названия супа: 1) русское слово точно соответствует французскому по форме и имеет близкий смысл; 2) русская лексема фиксируется только лексикографическими источниками XX в. — как раз в то время, когда французское слово приобрело практически интернациональный характер. С другой стороны, есть аргументы в пользу того, что русское слово не может иметь только французский источник: 1) помимо самого слова *рататуй*, отмечается большое количество подобных ему в формально-смысловом отношении лексем, «звуковой разброс» которых (*номатуй*, *тратата*, *растатура* и пр.) не удастся объяснить адаптацией французского заимствования; 2) обширное гнездо названий пустого супа, включающих звуки *p-t-a-y*, функционирует в народных говорах — форме существования языка, которая весьма далека от проникновения галлицизмов; 3) названия пустого супа со звуками *p-t-a-y* могут быть объяснены на русской почве и имеют в русском языке мотивационные параллели (в плане как «левой»), так и «правой» мотивации); 4) у русского слова есть формально-смысловые параллели в польск. *ratatajka* и кашуб. *rututu*, которые вряд ли можно объяснить французским заимствованием.

* * *

В итоге вырисовывается следующая картина. Русское слово *рататуй* 'постный суп' сформировалось в ряду других исконных слов фоносемантического плана, имитирующих своим обликом звук приготовления супа или звуковой эффект от его употребления, а также «впечатления» от его консистенции. Эта лексема имеет широкую сеть переносных значений, в том числе характеризующих

человека. Особое распространение в языке получила именно форма *рататуй* (при наличии близких *растатура*, *тратата* и т. п.) под влиянием гнезда рус. *рататуй* ‘клоун, петрушка’, содержащего сходные в формально-смысловом плане элементы, а также (и, думается, в большей степени) под влиянием французского заимствования *рататуй* ‘овощное ассорти’, проникновение которого в русскую разговорную речь связано с импортом соответствующей реалии.

Как следует из вышесказанного, вопрос о происхождении *рататуя* не мог быть рассмотрен без широкого сопоставительного контекста. Поиски слов, созвучных *рататую*, привели нас, среди прочего, к знаменитому *таратору*. Это холодный постный суп, популярный в летнее время в Болгарии. В его состав входят кислое молоко (несладкий йогурт или даже вода, подкисленная уксусом), огурцы, чеснок, грецкий орех, укроп, растительное масло, вода, соль, специи. С некоторыми вариациями это блюдо популярно и в соседних странах — Турции, Македонии и Албании. В этих странах таратор чаще готовится не как суп, а как закуска (салат). Сходный состав имеет греческий соус цацики. Кроме того, таратор известен в юго-восточной части Сербии, а также в части нынешнего Косова, ср. серб. *таратѠр*, *таратѠр* ‘салат из свежих огурцов, простокваши и чеснока’ [Жугић 2005: 384], ‘мелко нарезанные свежие огурцы в простокваше или уксусе с чесноком’ [Елезовић 2: 301] и др.

Болг. *таратѠр* (диал. *търътър*), серб. *таратѠр* — этимологически проблемное слово. По мнению большинства этимологов, это балканский турцизм, ср. тур. *terator*; дальнейшие этимологические связи окончательно не прояснены [Skok 3: 444]. Есть версия о том, что турецкое слово является греческим заимствованием, ср. греч. *tarachton* ‘жидкое молозиво’ [Eren 1999: 394, вслед за Theodorides 1974]⁹⁰. П. Скорчев придерживается персидской версии происхождения турецкого слова, предлагая в качестве этимона перс. *tara* ‘чеснок’ (излагается по [Todorov 1999–2000: 185]). Последняя (насколько нам известно) публикация по этому поводу принадлежит Т. Тодорову, который связывает турецкое слово с перс. *tārotūr* ‘крошка’ [Ibid.: 186]. Среди этимологических гипотез есть единственная исконная — версия Ст. Младенова о связи болгарского слова с гнездом **ter-* ‘тереть, измельчать’, к которому принадлежит, в частности, рус. *тараторить* ‘болтать’, чеш. *trátořiti*, серб. *тѠросити* ‘то же’ [Младенов 1941: 629]. Если греческая версия имеет уязвимую формальную сторону, то персидские недостаточно убедительны в плане семантики (а версия П. Скорчева — также с точки зрения словообразования). Что касается версии Ст. Младенова, то при всей ее привлекательности в свете той логики, которой мы придерживаемся для объяснения рус. *рататуй*, она тоже встречает возражения: если *рататуй* имеет мощные и разветвленные формально-семантические связи в системе русского языка (и, как говорилось, весьма сильный дополнительный импульс со стороны французского заимствования),

⁹⁰С литературой вопроса нас познакомила М. Рачева, за что выражаем ей глубокую благодарность.

то болгарское слово, насколько можно судить по имеющимся данным, лишено такой системно-языковой поддержки. Оно не окружено собственно болгарскими словами звукоподражательного или звукоименного плана, не имеет «партнеров», с которыми вступает в отношения «правой» и «левой» мотивации. Важен и такой психолингвистический момент: если русское слово *рататуй* непременно вызывает улыбку у носителей языка, то болгары воспринимают *таратор* совершенно серьезно. Однако совсем сбрасывать со счетов исконную версию пока нельзя: обнаружение дополнительного болгарского диалектного материала, возможно, создаст для нее более прочную доказательную базу (тем более что заимствованные версии имеют свои изъяны).

* * *

Сравнение похожих по форме и содержанию слов — извечное занятие лингвиста. Иногда такое сопоставление приводит к установлению их родства или типологического сходства. Иногда оно дает отрицательный результат, позволяя особо выпукло увидеть различия в том языковом «контексте», в котором созданы и функционируют слова, а значит, более четко сформулировать параметры этимологических решений. Кажется, именно так пока приходится расценивать сравнение русского *рататуйа* и болгарского *таратора*. Дальнейшие исследования, возможно, переставят акценты.

3.3. ОБ ОДНОМ ИЗ СПОСОБОВ «ИЗМЕРЕНИЯ» СКОРОСТИ ДЕЙСТВИЯ В ЯЗЫКЕ*

Различные категории времени, в том числе категория скорости, абстрактны и относительны, — и это заставляет носителей языка искать наивные эталоны движений, действий, с помощью которых можно «измерять» скорость по шкале «быстро — медленно».

Так, быстрота ассоциируется с энергичными, интенсивными действиями: б и т ь, р е з а т ь, с е ч ь, с т р и ч ь: смол. *дѣжгати* 'о быстром действии, движении' ← 'сечь кого-л. чем-л. гибким' [СРНГ 8: 44], *бузовати* 'быстро, энергично делать что-л.' ← 'ударять, бить' [ССГ 1: 280], пск., твер. *стриг* 'употребляется для обозначения быстрого, резкого действия' [СРНГ 41: 338]; х в а т а т ь: арх. *охватывать* 'быстро что-л. делать, быстро работать' [СРНГ 25: 28]; к р у т и т ь: влг. *окручивать* 'сделать что-л. очень быстро' [СРНГ 23: 169] и др. Медлительность же связывается с действиями и движениями разнонаправленными, имеющими обычно небольшую амплитуду и осуществляемыми многократно:

* Соавтор — Е. О. Борисова.

тереть, мять: сиб. *терётся-мяться* 'медлить, мешкать' [ФСРГС: 196]; качаться, шатать: влг. *вихляв́ать* 'лениться, работать медленно' [СРНГ 4: 304]; ерзать, ворочаться: ср.-урал. *гомозиться* 'копошиться, медленно делать что-л.' ← 'беспокойно вести себя, ворочаться' [СРГСУ 1: 120]; топтаться на месте: *семерить* влг. 'быть нерешительным, колебаться, медлить' ← арх., влг. 'переступить с ноги на ногу, топтаться на месте' [КСГРС; СРНГ 37: 150] и т. п.

Помимо подобных простейших движений и действий, эталонами скорости могут выступать более сложные, «развернутые» действия, которые образуют различные виды трудовой, хозяйственной, бытовой жизнедеятельности человека. Их обозначения становятся основой для развития переносных значений, характеризующих любое быстрое или медленное действие, а также включаются во фразеологизмы со «скоростной» семантикой. Такие обозначения, функционирующие в русских народных говорах, будут анализироваться в данном параграфе.

Выявление наименований различных видов работы и отдыха, которые вызывают переносные «скоростные» значения, имеет смысл не только для воссоздания наивных языковых представлений о скорости. Эти наименования добавляют новые краски и детали в нарисованную языком картину человеческой деятельности, помогают увидеть последнюю с ценностной стороны, поскольку скоростные характеристики, тесно связанные с оценкой результативности работы, учитываются в «ранжировании» занятий человека с точки зрения их значимости и целесообразности.

Важно отметить, что оппозиция «быстро — медленно» воплощается во вторичных значениях слов, называющих разные виды работы и отдыха, асимметрично: быстрые действия очень редко снабжаются закрепившимися в языке эталонами, которые связаны с какими-либо занятиями человека, а медленные, как будет показано ниже, представлены достаточно ярко и выразительно. Как это можно объяснить? Очевидно, дело в том, что основные крестьянские работы (сев, пахота, жатва, косьба, молотьба, рубка леса и др.) предполагают энергичные и интенсивные действия, должны делаться споро и скоро. Признак быстроты выполнения таких работ входит в семантику их обозначений «по умолчанию» — и его отдельная актуализация в переносных значениях попросту не требуется. Что касается признака медлительности, то он для крестьянского труда в известной мере аномален, поэтому «медлительные» занятия специально выделяются и акцентируются. Изучаемая лексика в большинстве случаев экспрессивна, временной (скоростной) показатель сочетается в значениях слов с оценочными характеристиками: «медленно» — и «неумело», «бестолково», «с пустой тратой времени» и др.

Представим материал — русские диалектные лексемы (преимущественно глагольные) и фразеологизмы, сгруппированные по тематическим сферам первичных значений.

Сфера **строительства** представлена обозначениями подготовительных или «отделочных» работ. Это процесс конопачения: ленингр. *конопáтиться* ‘что-н. долго и медленно делать’ [СРГК 2: 415]; отделения дранки: пск. *как дранку тягáть* ‘очень медленно делать что-л.’ [СППП: 94]; строительства изгородей: *заты́нивать* арх. ‘делать что-л. медленно, бестолково; канителиться’ ← арх., калин. ‘обносить что-л. забором, частоколом; загораживать’ [СРНГ 11: 118]. Картина промедления создается здесь однообразием движений, их небольшой амплитудой и разнонаправленностью (в случае конопачения), а также за счет самих объектов действий: длинная дранка дает ощущение «тягучести», пакля и мох — бесформенности, а множественность кольев изгороди — нагромождения.

В сфере **полеводства** выделяется лишь один вид деятельности — вскапывание, которое представляет собой серию частых возвратных движений с небольшой амплитудой. Для обозначения медлительных действий используются глаголы с корнем *коп-* и различными экспрессивными «добавками»: разг. *копáться* ‘медленно делать, выполнять что-л., долго возиться с чем-л.; мешкать’, влад., олон. *закáпываться* [СРНГ 10: 117], зап. *копырсáть* ‘то же’ [СРНГ 14: 303], эст. *копóх-копóх* ‘употребляется для обозначения действия по значению глагола *копаться* — делать что-л. медленно’: «Копох-копых, никак не справится» [Там же: 296] и др. Интересно перм. *марéну копáть* ‘медленно что-л. делать’: «Каку марену ты там, девка, копашь, руками шёшь; на машине-то скоряя» [ФСПП: 168], где важен объект выкапывания — марена, травянистое растение с ползучими ветвистыми корнями, которые используются как краситель⁹¹. Корни марены нужны для окрашивания тканей в большом количестве, а копать ее долго и трудно.

Медлительность ассоциируется и с **пастушескими** занятиями — с вождением гуртов волов или лошадей: влад., ворон., калуж., курск., орл., смол., тульск. *волово́дить* ‘затягивать исполнение чего-л., медлить с чем-л.; попусту тратить время’: «Ну что они воловодят? То ль или се ль делали б поскорее» [СРНГ 5: 45–46]⁹², дон. *волово́диться* ‘делать что-л. слишком медленно, медлить’: «И чиво ана там валаводица так долга» [БТДК: 84] (ср. также калуж. *волово́дство* ‘проволочка, задержка в чем-л.’ [СРНГ 5: 46]), влг. *коново́диться* ‘что-н. медленно делать по хозяйству’ [СРГК 2: 415]. Вновь на формирование изучаемой семантики накладываются отпечаток представления об объекте действия: вол или корова сами по себе олицетворяют медлительность, ср. иркут. *воло́вый как бык* ‘медлительный, нерасторопный человек’ [ФСРГС: 30], сиб. *шевелиться, как корова* ‘копаться; медленно делать что-л.’ [Там же: 220], томск. *волово́й* ‘неповоротливый’ [СРНГ 5:

⁹¹ Ср. влг., новг., олон., сев. *марéнник* ‘сарафан из домотканой шерстяной ткани, окрашенной мареной’, *марéнный* ‘коричнево-фиолетовый (о цвете домотканых юбок, окрашенных мареной)’ [СРНГ 17: 372].

⁹² Ср. приводимый в «Словаре русских народных говоров» комментарий собирателя В. И. Чернышева: «Слово, вероятно, происходит от “волов водить”, гурты которых, бывало, медленно перенялись через эти края <Калужскую губернию> с юга» [СРНГ 5: 46].

46], башк. *доёна* ‘о медлительном, неповоротливом человеке’ ← ‘дойная корова’ [СРГБаш] и др.

В сфере **транспортной деятельности** выделяется передвижение по воде. Водный транспорт в целом «медлительнее» сухопутного, но особо «неторопливы» сплавные плоты и грузовые судна. Рассмотрим вологодский глагол *каравани́ться* ‘долго и медленно делать что-л., возиться, «копаться»’: «Чего дедка там караванится, позови деда-от» [СГРС 5: 67], образованный от *караванка* арх., влг. ‘плот или плоты с продуктами, кухней и пр. хозяйственными помещениями, идущий по реке за сплавными бревнами по окончании молевого лесосплава’, арх. ‘процедура, завершающая лесосплав: после сплавных плотов остатки леса сплавливали по реке молею’ [Там же]. Такие плоты сопровождали рабочих, которые расчищали реку от сплавных бревен, прибывшихся к берегу, разбирали заторы. На плотах рабочие спали и ели. Очевидно, глагол *каравани́ться* мотивирован «удвоенным» признаком медлительности: медленно осуществляется процедура *караванки* (подбор бревен) и медленно плывет сам плот, который, к тому же, проходит по реке последним, после всех прочих видов сплавного транспорта и леса, сплаваемого молевым способом. Показателен контекст, устанавливающий связь между производящей основой и производным глаголом: «Караванка-то медленно шевелилась, вот и скажем: “Чего ты караванишься?”» (влг.) [КСГРС].

Не были скоростным транспортом и *паузки*, ср. арх., беломор., влг., волж., краснояр., новг., сев.-вост. сиб., томск., якут. *пáузок* ‘грузовое речное судно с малой осадкой (барка, лодка и т. п.)’, используемое обычно на мелководных, а в период паводков и на несудоходных участках рек’ [СРНГ 25: 282; КСГРС], ряз., сиб. *пáузиться* ‘плыть с неглубокой осадкой’, влг., костр., перм., твер., яросл. *пáузиться*, волж., новг., перм., твер. *пáузить* ‘перекладывать груз с больших судов на маленькие (паузки) при прохождении по мелководью, перекатам, порогам’ [СРНГ 25: 281]. Представление о медлительности этих судов создавалось не только за счет собственно передвижения, но и потому, что им приходилось останавливаться, чтобы перекладывать груз. Это отражено в влг. *пáузиться* ‘делать что-л. слишком медленно’: «Цево паузишьси-то? Меры ржи не нагрёб» [СРГК 4: 410]. Есть смысл учесть и возможность притяжения к литер. *пауза*, которое является западноевропейским заимствованием [Фасмер 3: 218], но ему можно отвести только факультативную, вспомогательную роль в формировании семантики промедления у *пáузиться*. Основой для формирования такой семантики стало не это литературное слово, а диал. *пáузиться* ‘перекладывать груз...’, ‘плыть с неглубокой осадкой’, связь с которым в большей степени удовлетворяет словообразовательным критериям и оправдана семантически. Собственно глаг. *пáузиться* произведен от *паузок* (судя по приставке *па-*, глагол позднее существительного), которое, в свою очередь, следует выводить из **павоз(ъкъ)* ‘то же’ [Там же], ср. новг. *пáвозить* ‘перевозить груз через мелководье на небольших судах, лодках’, *пáвозок* арх., влг., забайк., калин., камч., краснояр., олон., сиб.,

тобол., томск., якут. 'грузовое речное судно, служащее для перевозки грузов по мелководью', арх., влг. 'речное грузовое судно, служащее паромом' [СРНГ 25: 111–112; КСГРС].

Среди занятий **рыболовством** как особо медлительную язык маркирует ловлю с помощью сака, ср. нижегор. *сáкать* 'долго не приступать к какому-л. делу, медлить; отлынивать от работы' ← влг., вят., краснояр., курган., новг., новосиб., перм., свердл., яросл. *сáкать* 'ловить рыбу саком' [СРНГ 36: 48]. Думается, что во вторичном значении отражаются не только свойства самого процесса (его длительность, чередование разнонаправленных действий — набиране рыбы в сак, переворачивание и опорожнение его), но и свойства орудия — сака (большого плетеного мешка). В семантике слов, производных от названий бесформенных емкостей, нередко присутствует признак медлительности: неспособность объекта сохранять определенную форму, по всей видимости, может ассоциироваться с вялостью, отсутствием напряжения в работе. Так, пск., твер. *пехтэ́рнуть* 'медленно делать что-л., тянуть', свердл. *пехтэ́ристый* 'медлительный, неповоротливый' производны от диал. шир. распр. *пéхтэрь* 'заплечный мешок, ранец, кузов, обычно из лыка или бересты', 'мешок из веревок для сена' [СРНГ 26: 341–342]. Аналогичный пример: арх., краснояр., моск., олон., яросл. *кошэ́литься* 'медленно делать что-л.', яросл. *кошэ́левáтый* 'медлительный, нерасторопный (о человеке)', пск., твер. *кошэ́лять* 'медлить, мешкать' [СРНГ 15: 143, 147], костр. *закошэ́литься* 'замедлить' [СРНГ 10: 160], влг., курск., новг., олон., пск., сев., сев.-двин., твер. *окошэ́ливаться* 'мешкать, медлить, не торопиться' [СРНГ 23: 160] образованы от диал. шир. распр. *кошэ́ль* 'небольшой мешок, котомка', 'корзина', 'рыболовная сеть' и др. [СРНГ 15: 144].

Среди женских домашних работ признак медлительности приписывается, конечно, **шittyю, рукоделию** — занятию кропотливому и представляющему собой множество мелких разнонаправленных движений. Ср. арх. *кúрать* 'делать что-л. медленно': «Тихо кураю, кураю, работа не двигается» ← 'заниматься рукоделием (шить, вязать и т. д.)' [КСГРС], карел. *кропанá, кропанíда* 'та, которая медленно выполняет какую-н. работу' ← арх., влг., карел. *кропáть* 'шить, вышивать', 'чинить, штопать' [СРГК 3: 24]; *корпáть* смол. 'работать медленно, копать' [СРНГ 14: 371] ← ворон., пск., твер. 'зашивать одежду, чиниться; вообще заниматься сидячей работой' [Даль, 2: 169]. Особый вид рукоделия — золотошвейное дело, где использовалась тонкая проволока — *канитель*. Ее изготавливали кустарным способом: раскаляли металл и вытягивали клещами. Как известно, этот процесс отражен в литер. *тянуть канитель* 'о медленном, нудном, затяжном деле или разговоре, о досадной потере времени' [РФ: 285], ср. также разг. *канитель* 'делать что-л. с ненужными проволочками; медлить, мешкать', *канитель* 'делать что-л. медленно и бестолково, попусту терять время; возиться', *канитель* 'нудное затяжное дело; досадная потеря времени'. Интересно, что в вологодских говорах слово *канитель* фиксируется во временном значении без негативного

«флера»: влг. *канитэль* ‘отрезок времени, занятый каким-л. видом деятельности’: «За одну канитель хозяйка съездит, наметет поболее ржи» [СГРС 5: 57]. Можно предполагать такой путь формирования этого значения: *канитель* ‘тонкая проволока...’ → ‘время, за которое можно изготовить канитель’ → ‘время, занятое каким-л. делом’. Если учесть, что Вологодская область славится золотошвейным делом, то подобная логика развития семантики («в обход» литературного значения ‘нудное затяжное дело’) вполне вероятна. Вышивание, штопка однозначно воспринимаются как занятия медлительные, а шитье может трактоваться и противоположным образом: печор. *как шьёт* ‘говорится об активном человеке, ловко и быстро выполняющем любую работу в привычном, заведенном ритме’ [ФСНП 1: 339]. В данном случае учитывается поступательный характер быстрых и мелких движений.

Есть еще одно преимущественно женское занятие, относящееся к сфере **гигиены**, которое тоже становится символом промедления: *вошкаться(ся)* костр. ‘искать в голове у кого-л. вшей (медленно, не торопясь)’ → влг., перм., тюмен. *вошкаться(ся)* ‘делать что-л. медленно, вяло; мешкать’ [СРНГ 5: 167; см. также СГРС 2: 194; СПГ 1: 123; СВГ 1: 77]⁹³, влг., вят. *завошкаться* ‘начать возиться, медленно что-л. делать’ [СРНГ 9: 341], вят. *вошкотня* ‘медленное, долгое и трудное дело’ [СРНГ 5: 167–168] и др. Ср. комментарий к развитию значения этого слова, предложенный Ю. А. Кривошаповой: «Искание вшей, согласно народному этикету, изначально являлось не только привычным, но даже полезным и богоугодным занятием. Однако, несмотря на важность и полезность процесса, выбирание вшей требовало немалого времени и сил при весьма сомнительном результате и, видимо, вскоре стало расцениваться как не только трудоемкое, но и бесполезное занятие. Кроме того, в связи с повсеместным повышением уровня гигиены... вшивость, равно как и избавление от нее, стала если не постыдной, то достаточно редкой и крайне неприятной. Таким образом, глагол *вошкаться* с изначальным узким и, в общем-то, нейтральным значением ‘искать вшей’ развивает затем более абстрактную экспрессивную семантику и выступает уже в качестве обозначения долгого трудоемкого занятия, не приносящего явного результата» [Кривошапова 2007: 142]. Стоит добавить, что у глагола *вошкаться*, по всей видимости, изначально сочетались разные мотивировки: направленность действия на вшей как на объект и учет свойств самих вшей, ср. влг., перм. *вошкаться* ‘кишеть, шевелиться’ [СРНГ 5: 167]. У слова *вошкаться* есть и вариант с экспрессивным озвончением: *вожгаться* арх., перм., пск., смол. ‘заниматься каким-л. делом, доставляющим много хлопот, труда; излишне медленно делать что-л.’, перм., свердл., сиб. ‘копаться, мешкать’ [СРНГ 5: 10; СПГ 1: 111]. Отметим также просторечный глагол

⁹³ В настоящее время это слово является, вероятно, фактом общерусского просторечия, ср. *вошкаться* ‘возиться, копаться, подолгу хлопотать’ [БРЭР: 85], а также жарг. *вошкаться* неодобр. ‘долго возиться с чем-л., медлить’: «Весь день с машиной вошкался» [БСРЖ: 108].

с включенным объектом *искáться* ‘ловить на себе и убивать вшей’ [ССРЛЯ 5: 442], на основе которого в современном просторечии сформировалось *искáться* ‘долго и медленно делать что-л., копошиться’. Наконец, значения олон. ‘искать насекомых в волосах’ и арх. ‘делать что-л. медленно, копошиться’ сочетаются в смысловой парадигме глаг. *копошítь* [СРНГ 14: 296–297].

Как медлительные трактуются и некоторые действия из сферы **богослужения и магических практик**. Среди процедур христианского богослужения выделяется *катавáсия* ‘церковное пение, исполняемое обоими клиросами, сходящимися для этого на середину церкви’. Как известно, в русском просторечии (первоначально в речи семинаристов в конце XVIII в. [ЭСРЯ 2: 89]) на основе этого значения появилось переносное — *катавáсия* ‘суматоха, беспорядок, возня’: при схождении хоров с возвышения на середину церкви возникало впечатление путаницы, замешательства (не последнюю роль в формировании переносного значения сыграл и облик слова, воспринимающегося в русском языке как «смешное»). Значение суматохи (и близкие ему) фиксируется и в говорах: перм., самар. *катавáсия* ‘неразбериха’ [СРНГ 13: 120], влг. *каталáсия* ‘беспорядок, суматоха’ [СВГ 3: 44], пск., твер. *катавáситься* ‘устраивать беспорядок; производить свалку’ [ПОС 14: 35; ДО: 78] и др. Беспорядочное разнонаправленное движение может восприниматься как промедление: влг. *катавáситься* ‘делать что-л. медленно и бестолково, канителиться’ [СРНГ 13: 119], ср. также влад. *катавáситься* ‘долго и безнадежно хлопотать о чем-л.’ [Там же], кубан. *прокатавáсничать* ‘пробездельничать’ [СРНГ 32: 153]. Отметим, что определенный вклад в формирование семантики медлительности и беспорядка вносит ощущение непонятности самой процедуры катавасии (и, конечно, сопровождавших ее песнопений), которое складывалось у пришедших в церковь крестьян⁹⁴.

Непонятны непосвященным и действия колдуна, знахаря. Представления о колдовстве — как вербальном, так и манипулятивном — тоже связываются с эффектом промедления: петерб. *колдовáть* ‘делать что-л. медленно, возиться, копошиться’ [СРНГ 14: 116] (ср. также петерб. *колдовáть* ‘мямить’ [Там же]); карел. *шишкун* ‘медлительный человек’: «Шишкун — это кто тихо делает, повёртывается» ← ‘колдун’ [СРГК 6: 881]; б. м. *пұхториться* ‘копошиться, медленно делать что-л.’ [СРНГ 33: 165], ср. костр. *пұхторить* ‘заговаривать, лечить заклинаниями’ [ЛКТЭ], вят. *пұхтáрить* ‘лечить вообще, лечить нашептыванием’, *пұхтáрь*, *пұхтáрка* ‘лекарь, лекарица деревенские, т. е. из своей же братии. Лечат более наговорами, нашептыванием’ [Васнецов 1907: 266], арх., влг., сев.-двин., тобол. *пұхтáть* ‘лечить заговорами, нашептывать, колдовать’ [СРНГ 33: 165; КСГРС]⁹⁵ и др.

⁹⁴ См., к примеру, историю слова *куролесить* [ЭСРЯ 2: 454].

⁹⁵ Иллюзия непонятной магической речи усиливается за счет заимствованного (предположительно прибалтийско-финского) происхождения этих слов, ср. фин. *puhua* ‘говорить, беседовать’, карел.-ливв. *puhua* ‘разговаривать; читать заклинание, заговор’, вепс. *puhe* ‘заклинание, заговор’ и др. [Востриков 1981: 33–34].

Мерой затраченного времени и скорости может быть длительность досуга, отдыха. Медленное действие представляется как слишком долгий **прием пищи**: пск., твер. *разъедаться* ‘медлить, мешкать’ [СРНГ 34: 76], амур. *дувáнить* ‘слишком долго что-л. делать, медлить’ ← ‘долго пить чай, сидеть за чаепитием’ [СРНГ 8: 244], костр. *бочёрничать* ‘медленно делать что-л.’ ← ‘устраивать застолье’ [ЛКТЭ]; ср. также арх. *брáжничать* ‘проводить время за едой и питьем’ ← ‘коротать время’: «Вечёр долго бражницяла» [АОС 2: 99]. Гиперболизированно неторопливое принятие пищи отражается и в простореч. *в час по чайной ложке* ‘очень медленно, понемногу’, перм. *по лóжке в час* ‘мало, медленно’ [ФСПГ: 404] и т. п. В приведенных языковых фактах осмысляется не столько процесс приема пищи как таковой, сколько организация трапезы⁹⁶, т. е. соотношение времени работы и отдыха: слишком длительная трапеза означает, что на отдых тратится больше времени, чем следует. Время, которое должно тратиться на еду и особенно на «чаевничанье», в народной культуре четко отмерено, ср. перм. *только один раз чаю выпить* ‘шутл. незначительно по времени’: «Тут иди-то до Сейвы — только один раз чаю выпить» [Деревня Монастырь 2003: 86]⁹⁷. Многократное «распивание чаев» признается распространенной практикой, но трактуется как наносящее ущерб работе, ср. просторечные выражения *чаи гонять*, *чаи распивать*, для которых типичны контексты вроде «Им бы только чаи распивать», «Пока вы тут чаи гоняете, мы столько дел переделали» и т. п. Нормирована не только длительность приема пищи, но и, конечно, само «расписание» трапез, — и отступление от этого расписания тоже воспринимается как промедление, ср. перм. *поздáя пáужна*⁹⁸ ‘о медлительном, нерасторопном человеке’: «Невестка у нас всегда сзади, как поздая паужна» [ФСПГ: 255]. «Гедонистическое» отношение к еде в ущерб работе осуждается, ср. контекстную семантику и развитие значений печор. *из чашки ложкой* ‘с удовольствием, аппетитом (есть)’: «Ни скота не заготовил, ни дрова — ничё не делает, только из чашки ложкой», «Он только из чашки ложкой, а для семьи ничё не может» → ‘неохотно, лениво, медленно (работать)’: «Ну уж и робит — из чашки ложкой», «Мне таки работники из чашки ложкой не нужны, иди домой, сама, бат, лучше сроблю» [ФСНП 1: 289]. «Антонимичная» ситуация отражена в сиб. *до роту ложку не донести* ‘очень быстро сделать что-л.’: «Ты уже пришел, а я до роту ложку не донесла» [ФСРГС: 63].

⁹⁶ Значение медлительности развивают также более «физиологичные» глаголы, связанные не с организацией трапезы, а собственно с процессом жевания (глодания, сосания): влг. *дв́ячить* ‘жевать, пережевывать’ ← ‘делать, исполнять что-л. медленно’: «Эк он там двячит, не можно и дожждаться» [СРНГ 5: 167], урал. *мусóлиться* ‘вяло, медленно делать что-л.’ ← влад., калуж., орл., перм., терск. *мусóлить* ‘сосать, глодать (чаще кости)’ [СРНГ 18: 365–366]. Субъектами действия здесь большей частью являются животные.

⁹⁷ Подобные единицы наивной хронометрии представляют большой интерес, но, кажется, еще не анализировались. Ср. также яросл. *жить три бани осталось* ‘об очень старом или больном человеке’ [ЯОС 4: 48].

⁹⁸ Ср. перм. *пáужна* ‘прием пищи в середине дня, обед’ [СПГ 2: 79].

Кроме трапезы, медлительные действия могут осмысляться через призму некоторых форм культурного досуга, а именно **игры на музыкальных инструментах**, ср. иркут. *размузыкивать* ‘проявлять медлительность’: «Чего размузыкиваешь? Говори быстрее», ср. также иркут., колым. *размузыкивать* ‘проводить время в праздных разговорах’: «Ну нечего тут размузыкивать, давай марш работать» [СРНГ 34: 28]. Язык называет и конкретные инструменты, игра на которых ассоциируется с промедлением: это волынка и варган, издающие тягучие монотонные (не изменяющиеся по высоте) звуки, ср. литер. *волынка* ‘замедляемая работа, бесполезная трата рабочего времени’, *затягивать, тянуть (заводить, завести) волынку* ‘тянуть, медлить в работе, вообще затягивать какое-л. дело’, иван. *заволыниться* ‘затянуть, замедлить с выполнением чего-л.’ [СРНГ 9: 334], новг. *свольниться* ‘намеренно протянуть время без дела’ [СРГК 6: 19], пск. *варганить* ‘делать что-л. медленно’ [ПОС 2: 33]⁹⁹. Отметим, что глагол *варганить* во временных значениях энантиосемичен, ср. влг., орл., томск. *варганить* ‘быстро делать что-л., мастерить, изготавливать’ [СРНГ 4: 46]. Очевидно, такая энантиосемия возникла на основе значения ‘делать что-л. кое-как’, которое, в свою очередь, производно от представления о примитивности варгана. «Кое-как, примитивно» — это может быть и быстро (если не думать о результате), и медленно (если неумело).

Промедление связывается не только с конкретными видами досуга, но и вообще с **праздностью, развлечением, удовольствиями**. Приведем примеры многозначных слов (преимущественно глаголов), в парадигмах значений которых сочетаются значения ‘медлить’ и ‘праздновать, развлекаться’ (по отношению к этим языковым фактам не решается вопрос о производности одного значения от другого — и речь идет именно о сочетании значений): влад. *вальяжничать* ‘медленно, неторопливо делать что-л.; мешкать’ — и новг., олон., яросл. *вальяжничать* ‘вести праздный образ жизни, бездельничать’ [СРНГ 4: 33]; арх. *глуздатся* ‘медлить, мешкать’ [СРНГ 6: 208], свердл. *разглуздатся* ‘задержаться, промедлить’ [СРНГ 33: 303] — и *глуздать* влг., новосиб., тобол., челяб. ‘предаваться удовольствиям; развлекаться’, перм. ‘иметь развлечение, занятие (о детях)’ [СРНГ 6: 208], влг. *глуздать* ‘забавляться, веселиться’, ‘развлекать, забавлять, тешить’ [СВГ 1: 112], свердл. *разглуздатся* ‘разыграться’ [СРГСУ 5: 53]; смол. *марудить, морудить* ‘медлить, мешкать; забавляться’ [ССГ 6: 80; СРНГ 18: 289]; *меледа́* яросл. ‘промедление, мешканье’, влг. ‘о медленно выполняемой работе’, ‘о медлительном человеке’, влг., вят., енис., костр., новг., перм., яросл. *меледуть* ‘медлить, мешкать’ [СРНГ 18: 96] — и б. м. *меледа́* ‘праздное препровождение времени’, *меледуть* яросл. ‘бездельничать, гулять, отрываться от работы’, костр. ‘проводить время’, ‘праздновать, гулять во время праздников’,

⁹⁹ Ср. польск. диал. *drumla* ‘язвительно о женщине медлительной, малосообразительной’, производное от *drumla* ‘варган’ [Kaś 2003: 152].

‘грызть семечки’ [ЛКТЭ; СРНГ 18: 96]; нижегор. *pošěnykatsya* (?) ‘забавиться, помешкаться’ [Даль₂ 3: 373] и др.

В связи с обсуждаемым сочетанием значений отметим группу слов с корнем *-бав-*, в которую входит литер. *забава*. Это гнездо чрезвычайно богато семантически, и среди разнообразных смысловых линий в нем представлены значения промедления, мешканья, проволочки: ворон., зап., курск., орл., пск., твер., юж. *бáвить* ‘медлить, мешкать, тянуть, делать что-л. нескоро’: «Не бафся, быстреей дамой приходи» (пск.), ворон., курск., орл., пск., ряз., смол. *бáвиться* ‘то же’ [ПОС 1: 89; СВоронГ 1: 51; Даль₂ 1: 35; СРНГ 2: 31], б. м. *бáва* ‘задержка, проволочка’ [СРНГ 2: 31], юж. *набáвиться* ‘провести время, помешкаться’ [СРНГ 19: 103], пск., твер. *пробавляться, пробáвиться* ‘медлить, мешкать’ [СРНГ 32: 78] и др. Указанные значения тесно взаимодействуют с семантикой забавы, развлечения, баловства: *бáвиться* курск., орл., перм. ‘забавляться’: «Вам бы только бавиться, хлебом не корми» (перм.) [СПГ 1: 14; Даль₂ 1: 35; СРНГ 2: 31], пск. ‘заниматься не тем, чем нужно, проводить время за разговорами и балясами’ [ПОС 1: 89], *бáвить* ворон. ‘рассказывать сказки, забавлять разговором’ [СВоронГ 1: 51], новг. ‘баловать’ [СРГК 1: 28], *бáва* ‘забава, игрушки’ [Даль₂ 1: 35]; новг. *бавáльство* ‘баловство’: «У их одно бавальство теперь» [НОС 1: 21], литер. *забава* ‘развлечение, потеха’, *забавляться* ‘проводить время в развлечениях, развлекаться’, *пробавляться* ‘проводить время, занимаясь, развлекаясь чем-л.’ и пр. Можно предполагать следующую логику развития значений. Если принять распространенную точку зрения, трактующую **baviti* как каузатив к **byti*, то его исходное значение — ‘заставлять жить, быть, вызывать бытие’, а дальнейшее смысловое развитие выглядит так: ‘пре-бывать где-л., оставаться’ → ‘задерживаться, медлить’ → ‘развлекаться, забавляться’. Заметим, что свой вклад в формирование этой цепочки внес семантический компонент ‘продлевать, прибавлять, увеличивать’, связанный с каузативным значением *быть* ‘заставлять быть’, ‘вызывать бытие’: увеличение ассоциируется с медлительностью, при которой возрастает количество затраченного на действие времени.

Если «укрупнить» (излишне выпрямляя) нарисованную схему, то можно увидеть, что «концепция», заложенная в рассмотренном гнезде, трактует жизнь как промедление. Есть и обратное движение семантики: промедление — это жизнь. Такая логика представлена в гнезде глагола **měšykati*, являющегося, по всей видимости, расширением **měšati* ‘месить, мешать’. Как указывает И. П. Петлева, глагол **měšati* обозначает конкретное, но сложное действие: медленные (круговые, колебательные) движения (с усилием) небольшой амплитуды, производящиеся достаточно долгое время практически на одном месте. Отсюда естественно развитие таких значений, как ‘мешкать, препятствовать’, ‘медлить, мешкать’, ‘ждать’, ‘долго пребывать на одном месте’, ‘пребывать, жить’ [Петлева 1989: 70]. Эти значения распределяются по славянским языкам: русский язык усиливает в значении ‘долго делать что-л. на одном месте’ т е м п о р а л ь н ы й компонент — ‘делать

что-л. долго, медленно, задерживать выполнение дела': литер. *мѣшкати* 'не торопиться, не спешить с чем-л.; медлить', 'быть где-н. дольше, чем нужно, задерживаться', олон., пск. *замѣшка* 'задержка, промедление' [СРНГ 10: 240], олон., свердл., урал. *мешкотá* 'медлительность, мешкание', моск. *с мѣшкотью* 'медленно, долго' [СРНГ 18: 149–150], влг. *мешкнѹть* 'помедлить, подождать' [СРГК 3: 237], карел., мурман., новг. *мешкотлѣво* 'медленно, с большой затратой времени' [Там же: 238; СРНГ 18: 150] и др. Польский же акцентирует в семантике 'долго делать что-л. на одном месте' л о к а т и в н у ю составляющую: *mieszkać* 'жить, проживать где-л.' (подробнее об этом см. [Boryś 2005: 326–327]).

Формула «**жизнь — промедление**» — это, конечно, только одна сторона языковой концепции жизни, которая исходит из понимания последней как наращивания, увеличения, накапливания времени и расширения пространства. Промедление — это и есть накапливание времени, а о возможности восприятия его как пространственной «экспансии» (которую надо обсуждать отдельно и подробно) говорят хотя бы такие факты, как простореч. *ширяться* 'делать что-л. медленно, копаться' ← 'слоняться без дела', арх., свердл. *проширяться* 'провозиться (с какими-л. делами), промешкать' [СРНГ 33: 49] и др.; ср. также приведенные выше примеры, которые демонстрируют формирование семантики медлительности на базе слов, обозначающих разнонаправленные действия (*сакать, катаваситься*) или действия, связанные с «заполнением» пространства однонаправленными движениями (*затынивать*).

Жизнь есть промедление в том смысле, что медлительность дает возможность ощутить, почувствовать время. Скорость, быстрота растворяется в действии, в событии, а медлительность, задержка, ожидание¹⁰⁰, бездействие — ситуации, в которых человек сталкивается со временем. Таким образом, промедление «уравняется» не только с самой жизнью, но и со временем: при «оязыковлении» представлений о медленных действиях используются те же модели, что при языковой концептуализации собственно времени, ср. литер. *повременить, погодить* и т. п. Не случайно *проводят время* обычно в таких занятиях, которые сродни промедлению, т. е. отрицают интенсивное действие и носят несколько «эпикурейский» характер. Непривычны для уха контексты вроде **Я проводила время за мытьем полов или чтением лекций. Время проводят обычно приятно*, в праздности, в бездействии или медленных действиях, ср. костр. *водить время* 'медлить': «Чего не шевелишь-ся, время только водишь?», «Эка потѣма, время водит, ничего не робит» [ЛКТЭ].

¹⁰⁰ Ср. сочетание семантики медлительности и задержки в семантической структуре деривационных гнезд или парадигмах значений некоторых слов: влг., калуж., коми, ленингр., олон., перм. *норовить* 'ждать, ожидать' — и перм. *норовить* 'мешкать' [СРНГ 21: 282]; арх., влг. *манить* 'дождаться', арх. *маниться* 'ждать' [СРНГ 17: 361] — и арх., влг. *манить* 'медлить, мешкать', арх. *маниться* 'мешкать, задерживаться, медлить' [Там же], арх. *заманиваться* 'задержаться, замешкаться' [СРНГ 10: 234], арх., беломор., влг. *промáна* 'пустая трата времени, промедление, проволочка' [СРНГ 32: 179], орл. *спромáну* 'медля с выполнением обещанного, обманывая; обманом' [СРНГ 40: 270].

Промедление — это нередко своего рода отказ от работы, ср. перм. *не куёт не мелет* ‘не предпринимает никаких действий; медлит, мешкает’ [ФСПГ: 165], яросл. *не пашет не сеет* ‘то же’ [ЛКТЭ]; в разговорной литературной речи этим выражениям соответствует *не шьет не порет* ‘о том, кто бездеятелен, делает что-н. вяло, еле-еле’ [ТСлРЯ 2007: 1108], в просторечии — *не рисует не танцует* и т. п.

* * *

Возвращаясь после этих общих рассуждений к диалектному материалу, который анализировался выше, отметим следующее. Одним из способов передачи представлений о скорости в русском языке является подбор «эталонов» из разных сфер человеческой жизнедеятельности, которые фиксируют скорость выполнения какой-либо работы, протекания занятий. При этом, как говорилось выше, представления о быстрых действиях очень редко формируются с участием подобных эталонов — и «нагрузка» этой модели падает на обрисовку таких занятий человека, которые ассоциируются с медлительностью, промедлением. Среди них практически нет основных крестьянских работ (сева, молотьбы и пр.), за исключением одного вида деятельности из сферы полеводства — копания земли. Строительство представлено отделочными или вспомогательными работами: конопачение, строительство изгородей, щепание лучины (дранки). Выделено пастушество (вождение гуртов волов и лошадей), издавна стоящее особняком в наборе традиционных сфер деятельности. Из области промыслов отмечено рыболовство (ловля рыбы саком). Среди разных видов передвижения с помощью транспорта выбрано передвижение по воде: «караванка» (сплав на плоту, ведущем подбор бревен на берегах по окончании лесосплава) и плавание на грузовом судне с неглубокой осадкой (включая перекалывание грузов с больших судов на маленькие). Сфера женских домашних занятий представлена шитьем, штопкой, золотошвейным делом, а также такой гигиенической процедурой, как поиск насекомых (вшей) в голове. Из области богослужения маркирована процедура катавасии (схождение клиросов на середину церкви), а из области магических практик — произнесение заклинаний, колдовство. «Промедлением» считается трапезничанье — особенно чаепитие (не говоря о физиологической стороне приема пищи — собственно жевании, глотании). Выделены некоторые сферы «культурного досуга» — музицирование, включая игру на волынке и варгане, а также сфера досуга, празднований, развлечений и забав в целом.

Таким образом, «медленными» считаются преимущественно те занятия, которые являются вспомогательными по отношению к основному крестьянскому труду (рыбная ловля, транспортировка грузов, отделка жилья), «женскими»¹⁰¹,

¹⁰¹ Отметим, что характеристика людей по скорости выполнения ими каких-то действий, мобильности имеет «гендерную» составляющую: признак медлительности, нерасторопности чаще приписывается женщинам, чем мужчинам.

относятся к сфере религии, магии, трапезничания, «культурного досуга». Гиперболизируя ту трактовку медленной работы, которая заложена в этом перечне, язык даже «придумывает» вовсе бесполезные или абсурдные эталоны медлительных занятий: литер. *тянуть kota за хвост*, пск. *как быка на баню тащить* 'о делающем что-л. крайне неохотно, медленно и неуклюже человеке' [СППП: 89], ворон., тульск. *кислое молоко продавать* 'медленно, тихо идти, ехать' [СРНГ 13: 235], яросл. *бисером коровник обшивать* 'делать что-л. медленно' [ЛКТЭ]. Медлительность ведет в конечном счете к бездействию, а потому выделяется народным языком как своего рода аномалия (а аномалии, как известно, значительно чаще маркируются, чем нормы).

Проведенный анализ помогает более детализированно представить ту картину работ и занятий человека — в их соотношении с «неработой», — которая существует в русском народном языковом сознании, подходящем ценностно к самому течению «трудов и дней».

Раздел IV

СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В ТОПОНИМИИ

Как говорилось в предыдущих разделах этой книги, в круг задач современной семантико-мотивационной реконструкции входит не только объяснение значения этимона, но и воссоздание всей полноты номинативной и культурно-прагматической ситуации, способствовавшей появлению как отдельных слов, так и целых лексико-семантических полей и их последующему смысловому развитию. Эти задачи должны быть по-своему преломлены применительно к разным участкам лексикона, в том числе к народной топонимии. О возможности использования в топонимических исследованиях принципа семантической мотивированности, предполагающего учет своеобразия лексики, которая употребляется в географических названиях, более сорока лет назад писал А. К. Матвеев [Матвеев 1969]. За это время были накоплены конкретные семантико-мотивационные решения, приложимые к отдельным топонимам, осуществлены семантические классификации некоторых региональных топонимиконов, предложены методические приемы реконструкции топонимической семантики, изучен ряд общих закономерностей организации семантического пространства топонимии. На нынешнем этапе есть необходимость, оглядываясь на сделанное, уточнить уже известные задачи семантико-мотивационной реконструкции в области топонимии и сформулировать новые. Некоторые из них будут прокомментированы ниже.

Консервирующие свойства топонимии хорошо известны — и они обусловили ее способность служить незаменимым источником разного рода информации — фонетической, словообразовательной, морфологической и др. В ряде исследований с успехом осуществлена реконструкция тех или иных лексических единиц на основе топонимических свидетельств. Из последних

работ следует особо отметить фундаментальную монографию В. Л. Васильева «Славянские топонимические древности Новгородской земли», в которой, среди прочего, показано, что географические имена говорят об употребительности в средневековых говорах Новгородской земли многих давно забытых на этой территории апеллятивов¹, а также позволяют реконструировать вероятные древние апеллятивы, не зафиксированные в независимом употреблении² [Васильев 2012: 662–663]. Безусловно, реконструкция собственно лексем дает бесценные результаты и должна занимать все большее место в топонимических исследованиях, но сейчас хотелось бы обратить внимание на реконструкцию **семантического объема и прагматических особенностей известных слов** (особенно многозначных) **с опорой на топонимию**. Этот аспект семантико-мотивационной реконструкции географических названий наименее изучен в настоящее время, он и будет рассматриваться в данном разделе. Кроме этого, будут затронуты вопросы интерпретации **специфических топонимических моделей**, не поддерживаемых нарицательной лексикой, а также пойдет речь об осмыслении **взаимопереходов в проприальной и апеллятивной сферах**.

Несколько уточнений относительно объекта и ракурса анализа. Уделяется внимание не «штучной» работе с темными фактами, а системной интерпретации топонимических рядов и полей. Рассматриваются проблемы внутренней (внутриязыковой) реконструкции, не комментируются вопросы контрастивного или контактологического изучения семантики топонимов. Не ставится задача во всех деталях проанализировать конкретные топонимические данные, которые будут представлены как иллюстрации к тому или иному аспекту семантической реконструкции топонимов.

Основным материалом для этого раздела послужили полевые записи Топонимической экспедиции Уральского университета (ГЭ УрФУ), выполненные преимущественно на Русском Севере (в Архангельской и Вологодской областях), а также в Костромской и Ярославской областях, на Среднем Урале, в Западной Сибири. Следует оговорить одну частную особенность рассмотрения материала. В ряде случаев при названиях приводятся мотивирующие контексты, данные носителями народной топонимии. Разумеется, такие контексты могут отражать сугубо индивидуальную расстановку смысловых акцентов или же содержать позднейшее переосмысление первоначальных мотивов номинации (при этом безусловные примеры ложной этимологии не брались во внимание). В наши задачи не входит выявление истинного первоначального мотива номинации для каждого из приводимых названий; из контекстов

¹ Ср. *борие* 'бор, сосновый лес', *вяжа*, *вяжище* 'место обитания бобров', *зермя* 'бобровая запруда', *коломище* 'могильник', *поника* 'место ухода воды под землю' и др.

² Ср. **березуи* 'березовый лес', **озерева* 'озерное место, пересыхающее озеро', **рака*, *ракома* 'ложбина, удлинённая впадина, желоб', **ретьжь* 'ссора, распря', **хутьнь* 'желание, хотение; желанное место (или 'место погребения?')', **чавьница* 'топь, сырое место' и др.

важно почерпнуть спектр возможных мотивировок. Даже в том случае, когда мотивировки явно вторичны по отношению к какому-либо конкретному топониму, они представляют интерес для исследователя, фиксируя модель деривационно-мотивационных связей, актуальную для языкового сознания. Потенциалы восприятия и создания имени обратимы: то, что отражается в актах рефлексии по поводу названия, может быть реализовано в номинациях. Таким образом, этот источник информации используется как вероятностный, а соответствующая информация при необходимости верифицируется с помощью данных других источников.

4.1. «НЕСИСТЕМНЫЕ» ТОПОНИМЫ

К настоящему моменту накоплены описания семантических моделей в топонимии отдельных территорий, называющей различные классы географических реалий (преимущественно населенные пункты и гидрообъекты). Таких описаний недостаточно (точнее, очень мало) для «покрытия» территории России, но достаточно для того, чтобы составить представление о наиболее продуктивных моделях. «Сухой остаток» образуют семантические типы, реализуемые единичными названиями в каждом региональном топонимиконе, которые зачастую остаются не проинтерпретированными, поскольку смысловые параллели для них обнаруживаются лишь за пределами локальных систем, в топонимии другого района, области, края. В первую очередь это касается основ, не связанных напрямую с типичным денотативным пространством топонимии (ландшафт, флора, фауна, постройки и пр.). Задача современного этапа видится во **включении подобных «несистемных» названий в максимально широкий контекст** макросистемы русской топонимии, что позволяет увидеть их варьируемую повторяемость, дающую ключ к интерпретации.

Примером могут служить «**деятельностные**» топонимы, обозначающие разовые события или повторяющиеся ситуации, связанные с географическими объектами (обзор таких названий, выполненный в «первом приближении», представлен в [Березович 2009: 199–278]). К примеру, есть названия, в которых отражена ситуация передвижения на лошадях. В некоторых труднопроходимых местах (возвышенных, заболоченных и др.) лошадь приходится распрягать или погонять, ср.: г. *Распрягáльница*: «Трудно проехать, лошадь распрягали» <Бабуш, Демьяновский Погост>; часть д. *Вы́прягово*: «Выпрягали лошадей: такая грязь была, что не проехать» <Влгд, Прилуки>; пок. *Выпрягáльница* <К-Б>; поле *Выпрягáнихи* <К-Г>; г. *Мызгúнья*: «Лошади станут на ёй и не идут, вот и мызгаешь, — клиць это такой, чтобы она двигалась, — горку Мызгуньей и прозвали» <Кон, Вершинино>; г. *Сы́нькало*:

«Крутая гора, сынькали там, лошадки-то не шли» <Вох, Кекур>; ур. *Погонялка* <Плес>; г. *Понужалка* <Ревд>³ и др.

Неровные места, где трудно пройти, могут получить названия, рисующие образ переломанных или хромых ног: поле *Разломінога*: «Есть провалы, проломы» <Плес, Карельское>; пок. *Изломіноги* <Тот>; г. *Костоло́мная Гора* <Нянд>; ур. *Костоло́миха* <Он>; ур. *Хлопоно́гое Поле*: «Всё как в кочках таких, вот и Хлопоное, ноги-те переломашь» <Вох, Никола>; поле *Шаварло́гая Новина́* <Кр-Уф>; г. *Куля́вая Гора* <В-Т>⁴; бол. *Кривонóгое* <У-Куб>; поле *Кривонóгий* <Шенк>; пок. *Хромáя* <Пин>; пок. *Хромóй Угор* <К-Б>; поле *Хромíхи* <Вин> и т. п.

Номинативно отмечены сырые (болотные) леса с искривленными стволами деревьев, удобными для изготовления санных полозьев или *бала* — приспособления для гнутья полозьев: лес *Ба́льный Лесок*: «Ёлки на бала вырубали мужики» <Окт, Малая Стрелка>; бол. *Ба́льная Лы́ва* <Вель>; бол. *Сала́зкино Болото*: «На салазки вырубает берёзки, на полозья» <Бабуш, Дор>; лес *Полозкі*: «Полозки заготавливали» <Ревд, Кунгурка>; бол. *Пóлозово* <Холм>; бол. *Полозовік* <Кадый>.

Каждое такое название единично в своей весьма обширной системе (скажем, среди нескольких тысяч топонимов), но в масштабах макросистемы традиционной русской топонимии указанные модели явно выделяемы, что дает основание интерпретировать темные факты (вроде *Шаварлогая Новина*, *Мызгунья*, *Бальный Лесок*).

4.2. ЛИНГВОСТАТИСТИКА И СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Появление электронных способов хранения информации и создание баз данных облегчают **использование лингвостатистического анализа** при семантической реконструкции географических названий. Он особо эффективен по отношению к «топонимии больших чисел», т. е. к обширным именованным массивам, в пределах которых наиболее явно прослеживаются закономерности распределения частотности названий, принадлежащих определенным тематическим группам и рядам. Уже не раз говорилось о том, что близкие или равноценные с логической точки зрения понятия нередко оказываются неравномерно отраженными в географических названиях (это относится к топонимам, содержащим в своем составе, например, указание на стороны света,

³ Ср. арх. *мызгать*, костр. *сынькать*, диал. шир. распр. *пону́жать* 'погонять, понукать (лошадей, быков и др.)' [КСГРС, ЛКТЭ].

⁴ Ср. костр. *хлопоно́гий* 'хромой, кривоногий' [ЛКТЭ], енис., зап., ряз., смол., юж. *куля́вый* 'то же' [СРНГ 16: 77], ср.-урал. *шаварло́гий* 'кривоногий' [СРГСУ 7: 40].

цветовые характеристики, числовые показатели и т. п., см. в [Березович 2009: 50–63, 197–198 и др.]), что свидетельствует об избирательности топонимической номинации и повышает значимость этнолингвистической интерпретации топонимов. Кроме того, анализ частотности отдельных основ в топонимии (и в целом в ономастике) может оказать существенную помощь в воссоздании картины бытования соответствующих нарицательных слов, выяснении степени их распространенности, семантических объемов и др. Это особенно важно, если учесть, что диалектная речь не фиксируется на письме, поэтому анализ лексической частотности затруднен.

К примеру, была изучена частотность реализаций различных основ, обозначающих дневных хищных птиц, которые представлены в топонимии Русского Севера, Верхнего Поволжья и Среднего Урала. Были отобраны названия птиц, в зону обитания которых входят указанные территории. Среди выбранных орнитонимов как литературные (*балабан, беркут, канюк, кобчик, коршун, кречет, орел, пустельга, сапсан, сарыч, скопа, сокол, ястреб*), так и диалектные (например, ср.-урал. *берк* ‘беркут’, влг., карел., ленингр., моск., новг., олон. *габу́к*, влг., ленингр. *гагу́к* ‘ястреб’, влг. *кобу́к* ‘ястреб; птица семейства ястребиных’, арх. *гальча́тник* ‘хищная птица, ястребок (?)’, арх. *корша́к* ‘коршун’, ср.-урал. *скоба́* ‘скопа’, арх. *ча́пус* ‘хищная птица (какая?)’, арх. *чили́жник* ‘ястреб мелкой породы’ и др.; список диалектных слов для проверки составлялся с опорой на [Лысова 2002; ДЭС])⁵.

Поиск топонимических реализаций указанных основ показал, что в русских по происхождению географических названиях представлены немногие из них⁶: *балабан, канюк (каня), коршун (коршиак), кречет, орел, скопа, сокол, ястреб*.

Из таблицы следует, что больше половины всех названий составляют топонимы, образованные от основы *сокол*⁷. К сходным результатам пришел биолог А. В. Кузнецов, изучивший (на материале географических карт) названия одного типа объектов — болот Архангельской, Вологодской и Костромской областей. По его данным, 53 % названий болот, в которых отражены обозначения хищных птиц, хранят указанную основу [Кузнецов 2010: 8].

⁵ При этом из списка пришлось исключить те наименования, которые заведомо не могут быть верифицированы как производящая база для топонимов (или же такая верификация очень трудоемка) вследствие омонимии или многозначности основ, ср., к примеру, арх. *ворон* ‘коршун’, *воронёнок* ‘ястреб, коршун’, арх. *курятник* ‘ястреб-тетеревятник’, *орел-рыболов* ‘поморник’, ср.-урал. *тетёрник* ‘ястреб-тетеревятник’ и др.

⁶ Анализ сделан в «первом приближении», в нем есть ряд допущений. Так, не принимались во внимание топонимы на *-ово* (типа *Соколово, Орлово*), поскольку здесь велика вероятность отантропонимических наименований (в расчет брались только те единичные названия на *-ово*, которые информанты объясняют в связи с птицами). Не учитывались и топонимы, образованные от наименования лица по роду занятий (*сокольник*).

⁷ Приношу сердечную благодарность И. И. Муллонен, которая поделилась своими наблюдениями над особой частотностью основы *сокол* в топонимии, что стимулировало мои занятия этим вопросом.

**Представленность в топонимии различных названий,
мотивированных обозначениями хищных птиц**

Топооснова	Примеры топонимов	Кол-во фиксаций ⁸ топонимов	Доля (в %)
сокол	г. <i>Сокол</i> , <i>Соколёна</i> , оз. <i>Сóкол-òзеро</i> , бол. <i>Соколиное Болото</i> , <i>Соколий Мох</i> , <i>Соколя Гладь</i> , о-в <i>Соколий</i> , мыс <i>Соколий Мыс</i> , лес <i>Сокбличья Роща</i>	330	55,5
орел	г. <i>Орёл</i> , <i>Орлиное Гнездо</i> , мыс <i>Орлёц</i> , <i>Орлиный Нос</i> , оз. <i>Орлёвое</i> , бол. <i>Орлихи</i>	94	15,8
ястреб	р. <i>Ястребёц</i> , поле <i>Ястребиное</i> , бол. <i>Ястребиха</i>	58	9,7
канюк (каня)	поле <i>Канюкóво</i> , ур. <i>Канюкóво Гнездо</i> , пок. <i>Кáнин Нос</i>	38	6,4
коршун (коршак)	пок. <i>Коршакí</i> , о-в <i>Коршунок</i> , поле <i>Коршунíха</i>	38	6,4
балабан ⁹	г. <i>Балабáнова Гора</i> , поле <i>Балобáниха</i>	20	3,4
скопа	г. <i>Скопинó Гнездо</i> , оз. <i>Скопинó-озеро</i>	16	2,7
кречет	о-в <i>Кречета</i>	1	0,2
Всего		595	100

Эта статистика нуждается в отдельном анализе, а сейчас можно лишь самым предварительным образом обозначить причины такой неравномерности показателей, которая не кажется предсказуемой (сокол, скажем, является менее заметной и крупной птицей, чем некоторые другие из представленного перечня). Среди причин есть экстралингвистические и собственно лингвистические. В числе первых следует особо выделить традиции соколиной охоты. В Архангельской, Вологодской и Костромской областях были поселения сокольников (о чем, среди прочего, говорят ойконимы типа *Сокольники*, *Сокольниково*), образовавшиеся, судя по всему, в XIV—XV вв. Сокольники по оброку занимались промыслом соколов, которые поставлялись к царскому двору [Кузнецов 2010: 8–9]. Естественно, это стимулировало выделение (посредством топонимов) мест обитания птиц. Думается, названный фактор довольно значим, но, конечно, он не может быть единственным объяснением столь резкого преобладания топонимов, образованных от основы *сокол*: во-первых, для охоты отлавливали не только соколов, но и ястребов, орлов; во-вторых, ареал названий от основы *сокольники* значительно

⁸ Здесь и далее статистические данные означают количество полевых фиксаций топонимов (одно и то же название отмечено в картотеке несколькими фиксациями, в среднем тремя). Разумеется, такие сведения являются менее корректными, чем данные собственно о количестве топонимов, реализующих ту или иную модель, однако для целей, поставленных в этой работе, они приемлемы, поскольку позволяют составить общее представление о продуктивности той или иной модели.

⁹ Топонимы, образованные от этой основы, встречаются на Урале, но не фиксируются на Русском Севере, что связано с местами обитания птицы.

уже, чем ареалы топонимов *Сокол*, *Соколий*, *Соколиный* и т. п. Другие экстралингвистические факторы — особенности гнездования птиц, близость / удаленность от человека (присутствие или отсутствие их в его жизненном пространстве), количественная представленность, размер и «заметность», степень опасности этих птиц для домашних животных и т. д.

Большое значение, думается, имеют факторы собственно языковые. Особая частотность топонимов, образованных от основы *сокол*, очевидно, отчасти определяется смысловой емкостью и выразительными возможностями этой основы. Во-первых, слово *сокол* обладает наиболее диффузной семантикой, обозначая различные виды птиц семейства соколиных (к этому семейству относятся также балабан, кречет, пустельга, кобчик и др.). По всей видимости, в народной орнитологической систематике объем слова *сокол* является еще более широким, чем в научной (возможно, *соколами* называют также птиц других — сходных — семейств). Во-вторых, слово *сокол* имеет разработанный коннотативно-оценочный фон, что определяет использование его как производящей основы для топонимов вне связи с собственно птицей. Это слово имеет коннотации «высокий, возвышенный (такой, где могли бы жить соколы)», «быстрый, стремительный», «имеющий форму соколиного крыла», «красивый». Ср. мотивировки топонимов: мыс *Соколок* (рядом мыс *Голубок*): «Боевы таки, острые мыски с двух сторон Гольца» <Прим, Красное>; поле *Соколово*: «Поле по форме похоже на крылья сокола» <Кир, Зайцево>; холм в лесу *Сокóльна*: «Высокая, как соколы летают высоко, потому и Сокольна. Да нет тут соколов-то, это просто назвали так» <В-Уст, Щекино>; пок. *Соколово*: «Соколово на окате, не на ровном месте, как сокол. Тако красиво место» <В-Уст, Полдарса Первая>; ур. *Сокол*: «А тут холм высок, а там узка длинна бережина, называется *Хвост*» <Мез, Азаполье>; руч. *Сокол*: «Быстрый такой ручеек» <Пав, Березовка>; руч. *Соколово*: «В горе в такой, дак как сокол» <Нюкс, Красавино> и др.¹⁰ Показательно, что другие топонимы, в основе которых лежат обозначения хищных птиц, дают сугубо «бытийные» мотивировки: пок. *Орлово Гнездо*: «Там орел гнездо свил» <Лещ, Шегмас>; р. *Коршун*: «Там болото, филины, коршуны живут, вероятно, оттого назвали» <Вил, Гришинская>; г. *Скопино Гнездо*: «В середине болота Лывно горка есть, птицы гнезда там вьют, глухари и другие крупные птицы, эту горку зовут Скопино Гнездо» <Нянд, Шултус> и пр. Мотивировки, указывающие на метафорический характер наименования, встречаются только у топонимов, образованных от основы *орел* (пок. *Орлецы́*: «Высокие такие, как орлы» <В-Т, Тинева>), но гораздо реже, чем у названий с корнем *сокол*.

¹⁰ Возможно, в каких-то случаях топонимы типа *Сокол* являются самостоятельными образованиями, связанными с *сечь*, без посредничества *сокол* 'falco' (подробное рассмотрение происхождения названия птицы, производимого от ***sekt'i*: **sěkti* 'сечь', и омонимичных лексем представлено в [Петлева 2003]), однако, думается, количество таких фактов в топонимии минимально.

Таким образом, сравнение продуктивности топооснов, принадлежащих к определенной тематической группе, помогает охарактеризовать семантическое своеобразие основ.

4.3. СЕМАНТИЧЕСКАЯ «СОЧЕТАЕМОСТЬ» ТОПОНИМОВ

В современной топономастике мало изучена **семантическая «сочетаемость» топонимов**. Если в сфере нарицательной лексики сочетаемость является синтагматическим свойством, то в сфере топонимии она имеет как синтагматические, так и парадигматические черты, поскольку основана на способности топонима вступать в семантические оппозиции с другими названиями, при которых смысловой связи топонимов соответствует пространственная смежность или соотнесенность географических реалий. Наиболее известны семантические пары (ряды, микросистемы) *большой — малый, старый — новый, верхний — нижний* и др., которые имеют широчайшее распространение. Более 20 лет назад были проанализированы основные типы семантических рядов, их функциональные особенности, роль в локальных топонимических системах и т. п. (см. [Березович 1992]), но подробная каталогизация моделей семантической связи топонимов и по сей день не осуществлена¹¹.

Выявление перечня семантических рядов в различных региональных топонимиконах могло бы способствовать решению задач этимологической и мотивационной интерпретации топонимов. Семантическая микросистема создает своеобразный контекст для входящих в нее элементов, внутри которого действует закон смыслового согласования, поэтому анализ конкретного контекста позволяет восстановить реализующееся в данном случае значение онимов, анализ круга контекстов — парадигму значений.

Интересны те связи, которые представлены именно в топонимии, но не засвидетельствованы (или слабо фиксируются) в апеллятивной лексике. Яркий пример такого рода — оппозиция *круглый — долгий*: оз. *Долгая Вадья — Круглая Вадья*: «Долгая Вадья длинная, а Круглая Вадья кругленькая, как яичко» <Лен, Яреньга>; поле *Долгуша — Круглица*: «Долгое оно, а то круглое» <Прим, Ластола>; паш. *Долгая — Круглая*: «Одна круглая, как круг, а вторая не такая круглая» <Вил, Борок>; оз. *Долгий Оньчуж — Круглый Оньчуж* <Холм>; оз. *Долго Вильдозеро — Кругло Вильдозеро* <Он>; бол. *Круглая Мянда — Долгая Мянда* <Бел>; оз. *Долгая*

¹¹ Было бы важно провести такую каталогизацию сначала по отношению к топонимам разных классов (гидронимам, ойконимам и т. п.). К примеру, продуктивный опыт изучения моделей семантической связи в названиях архангельских озер, отражающих признак формы, предложен в [Кабинина 2013].

Стárка — *Круглая Стárка* <Ней>; пок. *Дóлгуша* — *Круглúша* <Кад>; пок. *Долгая Вельга* — *Круглая Вельга* <Чаг> и мн. др. Об этой паре см. также в [Кабинина 2013: 62].

В ряде случаев многозначные и семантически емкие тополексемы входят в состав нескольких оппозиций. Так, тополексема *чистый* выступает в топонимии в составе различных оппозиций, которые можно разделить на две группы. В оппозициях первой группы проявляется известная литературному языку антитеза «не содержащий грязи» — «загрязненный»¹², а другая (более представительная) группа обнаруживает антитезу «безлесный, очищенный от растительности» — «заросший лесом»:

чистый — *глухой*: бол. *Чистый Дóмгиль* — *Глухой Дóмгиль*: «Чистый Домгиль — чистое болото, а Глухой зарос весь» <Вил, Щербинская>; бол. *Чистая* — *Глухая*: «Два болотца в километре, только Глухая в лесу, круглышка така лесом окружена, а Чистая в чистом месте» <Карг, Филипповская>; бол. *Чистое Болото* — *Глухое Болото*: «Болото на полянке, а Глухое Болото — в лесу» <Вил, Борок>; оз. *Чистое Фоминó* — *Глухое Фоминó*: «Одно озеро на поляне, а другое лесом окружено» <Сверд> [Березович 1992: 186]; д. *Туймино Чистое* — *Туймино Глухое* <Вель>; оз. *Чистое* — *Глухое* <Сок>;

чистый (*чистнóй*) — *лесной*: бол. *Чистое* — *Лесное* <Парф>; лог *Чистая Тоня* — *Лесная Тоня* <В-Т>; д. *Чистнóе Петракóво* — *Лесное Петракóво*: «Одно в лесу стояло, а другое на чисти» <Пош, Андриюшино>;

чистый — *согроватый*¹³: бол. *Чистое Болото* — *Согровáтое Болото*: «Одно чистое, а на другом бугры, согры» <Лен, Савкино>;

чистый — *частóй*: бол. *Чистое Болото* — *Частóе Болото*: «На этом болоте далеко видно, ни деревца, всех людей видно, кто за клюквой пришел — поэтому оно называется Чистое, а есть ещё Частое Болото, там, наоборот, деревца растут» <Костр, Починок Чапков>.

Отмечены также «синонимические» пары (сходные по смыслу лексические варианты топонимов, которые обозначают один географический объект), поддерживающие «безлесную» семантику *чистого*:

чистый = *дороватый*¹⁴: бол. *Чистое* = *Доровáтое* <Чухл>;

чистый = *гладкий*: бол. *Чистое* = *Гладкое* (2) <Ваш; В-Уст>;

чистый = *лысый*: г. *Лысая Гора* — *Чистогóрье*: «Там еще Лысая Гора была, где Чистогорье было, там ведьмы живут» <Парф, Родино>.

¹² Ср. еще следующие оппозиции: • *чистый* — *грязный*: руч. *Чистый Дёмкин* — *Грязный Дёмкин* <В-Т>; ур. *Чистая Шáлга* — *Грязная Шáлга*: «Грязная Шалга завалена вся валежником, а Чиста Шалга, понятно, аккуратно место» <Кир, Рыбачкая>; пок. *Чистая Речка* — *Грязная Речка* <В-Важ>; • *чистый* — *дрянной*: пастб. *Чистая Поляна* — *Дряннáя Поляна* <С-Гал>; • *чистый* — *поганный*: оз. *Чистое* — *Поганое* <Кир> (нелишне вспомнить и тот факт, что московские *Чистые Пруды* до XVIII в. назывались *Погаными*, а современное название получили после очистки).

¹³ Ср. арх. *согроватый* 'покрытый кочками, небольшими лесными островами (о болоте)' [КСГРС].

¹⁴ Ср. арх., влг., сев. *дор* 'вновь расчищенное место под сенокос или под пашню' [СРНГ 8: 129].

В русском литературном языке отмеченные «антонимические» пары, кажется, отсутствуют, а в диалектной нарицательной лексике «проскальзывает» только оппозиция *чистый* — *глухой*. Она фиксируется в одном узком контексте — в противопоставлении берез с шероховатыми и с гладкими листьями: арх., влг. *глуши́на, глуши́ца* — *чисто́ха, чисту́ха* [СГРС 3: 42–43; КСГРС; АОС 9: 129], ср. «Цистухой париться можно, а глушина — на веники, пол мести» (влг.) [СГРС 3: 42–43]; «Как гладкий листоцек, востроносой, то называецца цистоха, а у которой шэроховатый, круглой и побольшэ, то называецца глушына» (арх.) [АОС 9: 129].

Отмечалось, что «во всех славянских языках *чистый* применительно к локусам может означать отсутствие (как естественное, так и достигнутое специальными действиями) растительности, деревьев: рус. *чистое поле*; ряз. *чистина* ‘поляна, открытое место’, смолен. *чистик* ‘просека, поляна в лесу’, карел. *чисть* ‘не заросшее лесом место’; с.-х. *чистина* ‘свободное открытое пространство’ и т. п.» [Толстая 2010в: 191]. Топонимические данные усиливают эту смысловую линию в гнезде **čistь*. В большинстве нарицательных фактов такого рода участвует не собственно прилагательное *чистый*, а различные его производные (в рус. *чистое поле* семантика отсутствия растительности находится на втором плане, на первом же — идея пространственной «незанятости», открытого места), ср. перечень производных от **čistiiti* в значениях, связанных с расчисткой земли, в [Куркина 2011: 135–136]. В топонимии же признак отсутствия растительности активен как собственно для прилагательного *чистый*, так и для других родственных слов. Топонимический акцент на «безлесности», разнообразно обыгрываемый в системных связях изучаемого слова, можно считать аргументом в пользу «деятельностной» природы *чистого* как расчищенного, ср. реконструкцию **čistь* как страдательного причастия прошедшего времени от несохранившегося **čidjo*, **čisti* в [ЭССЯ 4: 122].

В тех случаях, когда многозначная лексема оказывается представленной в нескольких различных семантических оппозициях, топонимическое употребление помогает установить лингвогеографическое распределение оппозиций, определить, какой тип семантических отношений наиболее актуален для диалектной системы той или иной территории. Так, в топонимии Русского Севера слово *пресный* встречается в паре с *солёный*, а в топонимии Среднего и Южного Урала, а также Западной Сибири встречаются пары *пресный* — *горький*: оз. *Пресное* — *Горькое* (3 пары) <Приг, У-Иш, Тобол>; оз. *Большое* и *Малое Горькое* — *Большое* и *Малое Пресное* <Челяб>; оз. *Горький Абышкан* — *Пресный Абышкан* <Омск> [Березович 1992: 97] и др., ср. также название с. *Пресногорьковка* в Кустанайской области (по озерам *Пресное* и *Горькое*).

При изучении семантических связей географических названий важно учитывать **относительную продуктивность различных компонентов топонимического ряда**. Семантические связи в некоторых случаях настолько сильны, что под влиянием топонима, реализующего продуктивную модель, появляется

окказиональный топоним, образующий с названием-стимулом смысловую пару. Окказиональность в данном случае связана не с функционированием названия в пределах локальной системы, которой оно принадлежит (в ней оно устойчиво воспроизводится), а определяется по отношению к номинативному фонду топонимикона в целом. В таких «наведенных» топонимах скрываются своего рода **потенциальные слова**, которые вряд ли закрепились бы как факт нарицательной лексики (или имели бы узкую сферу распространения), но проявляются в проприальной системе, которая более восприимчива к потенциальному, поскольку здесь не всегда происходит многосторонняя понятийная отработка плана содержания языкового знака. При этом сами по себе потенциальные слова интересны как демонстрация возможностей какой-либо модели.

Можно рассмотреть это явление на примере топонимов, образованных от обозначений сторон света, имеющих, в свою очередь, устойчивые связи с наименованиями времени суток (года) или приема пищи (которые нередко отражают наблюдения над положением солнца). В массиве этих названий весьма популярны и частотны топонимы, указывающие на север и юг, которые производны от основ *ночь* — *полдень*, *зима* — *лето*¹⁵ (подробнее см. в [Березович 2009: 109–122]). На фоне продуктивных топонимов появляются окказиональные, выделяющие промежуточные направления розы ветров.

О первой паре таких названий автору этой книги уже приходилось писать (см. [Там же: 115]). Р. *Павечёрная* (бассейн р. Юг на территории Никольского района Вологодской области) течет с северо-запада, в нее слева (с севера) впадает р. *Ночная*. Топоним *Павечёрная* не имеет аналогов в топонимии Русского Севера и образован от не засвидетельствованного в нарицательной лексике слова **павечерье* ‘северо-западное направление’ (эта лексема фиксируется только во временном значении, ср. влг. *павечерье* ‘время перед заходом солнца’ [СРНГ 25: 109]).

Любопытна также пара, выявленная А. А. Макаровой: озера *Лётнее* и *Осённое* находятся на берегу р. Андога <Кад>, одно на юге от деревни Ступолохта («На лете оно, на юге»), второе — на северо-западе [Макарова 2012: 92, 446, 491]. Второе название окказионально, для него следует предполагать производящую основу **осень* ‘северо-запад’.

Еще пример: ручьи *Пáбедной* и *Полднeвóй* впадают в р. Нея (бассейн Ветлуги) друг против друга, причем «Полднeвóй с юга, Пáбедной западнее» <Шар, Конево>. Название *Пáбедной* встречается единожды — только в составе этой пары. В его основе, очевидно, диал. *пáбед* (ср. также *паобéдьe*), которое имеет

¹⁵Ср. арх., влг., костр. *ночь*, *зима* ‘северное направление, север’, *полдень*, *лето* ‘южное направление, юг’ [КСГРС; ЛКТЭ]. Точные подсчеты частотности названий затруднены, поскольку данные топонимы могут указывать и на стороны света, и на сезонность использования объекта (особенно *зимние* и *полдневые* топонимы), однако можно с уверенностью сказать, что «географическая» мотивация устойчива. В топонимии Архангельской, Вологодской и Костромской областей насчитывается несколько десятков реализаций модели *ночь* — *полдень* и несколько сотен — модели *зима* — *лето*.

разные значения, связанные со временем принятия пищи, — от второго завтрака до ужина [СРНГ 25: 106, 203]; в рассматриваемом случае следует восстановить **nábed* ‘запад’ ← ‘время после обеда’, ср. новг., пск., твер. *nábed* ‘еда между обедом и ужином’ [Там же: 106].

Есть случаи, когда «слабые» топоосновы фиксируются неоднократно, в составе нескольких топонимов, но такие топонимы каждый раз оказываются включенными в семантический ряд. Так, все названия, образованные от основы *дневной*, входят в соотносительные ряды с топонимами от основы *ночной* и, по всей видимости, «наведены» ими: р. *Ночной Ирдомок* — *Дневной Ирдомок* <Окт>, р. *Дневной Портюг* — *Ночной Портюг* <Меж> (впадают, соответственно, в р. Ирдом и Портюг с севера и с юга), ср. влг. *день* ‘юг (сторона света)’, арх. *дневной* ‘южный (о ветре)’ [СГРС 3: 228, 229]. «Слабость» этой основы по сравнению с основой *полдень* (имеющей десятки «пространственных» реализаций) коренится, наверное, в том, что слово *дневной* маркирует длительный временной отрезок, характеризующийся положением солнца в разных точках, поэтому у него менее точная, «несфокусированная» пространственная семантика¹⁶.

4.4. МНОГОЗНАЧНЫЕ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЛЕКСЕМЫ

В ходе предшествующего изложения были затронуты **многозначные топонимические лексемы**. Хочется остановиться на них подробнее, причем особо выделить **качественные прилагательные** общенародного языка (ясно, что структурные особенности русской топонимии не позволяют так же детально изучать с ее помощью другую категорию слов с повышенной многозначностью — глаголы). Как правило, они приложимы ко многим типам географических реалий, т. е. функционируют в разного рода объектных контекстах, что позволяет анализировать различные значения и оттенки значений.

Ниже приводятся некоторые специфические контексты употребления и далее — соответствующие им значения или смысловые оттенки качественных прилагательных, которые не отмечены или слабо засвидетельствованы литературными и диалектными словарями русского языка. Так, прилагательное *толстый* в топонимии может прилагаться к гидрообъектам, сочетаясь в составе топонимов со словами *ручей*, *озеро* и *разлив*: руч. *Толстой Ручей*: «Когда большая вода,

¹⁶ О значимости наблюдений над положением солнца для топонимической оппозиции *дня* и *ночи* говорит, к примеру, пара пок. *Полднейвой* — *Ночной*: «На Полдневом быстро трава просыхала, а на Ночном медленно: лес рядом, поэтому так называли» <Сок, Телячье>. На основе признака освещенности может сформироваться и более широкий признак света — оз. *Дневное* — *Ночное*: «В одном озере светлая вода, в другом темная» <Вин, Важский>.

он так разливается — кругом ходят» <Лен, Мыс>; руч. *Толстой Ручей* <Карг>; руч. *Толстоё* <Вил>; оз. *Толстоэ́рцо* <Шенк>; старица *Толстой Разлив* <Шар> и др. Такая сочетаемость подтверждает, проясняет и расширяет единственное «водное» значение *толстого*, отмеченное в СРНГ: мурман. *толстой* ‘имеющий значительную глубину, глубокий’: «Толста вода невода подтопила (о реке)» [СРНГ 44: 215]. Думается, дефиниция СРНГ неточна: речь идет не столько о глубине, сколько об «объеме» воды. Таким образом, *толстой, толстый* — ‘п о л н о в о д - н ы й, и м е ю щ и й п р и б ы л ь в о д ы (о гидрообъектах)’.

Весьма определенно высказывается топонимия за еще одно значение *толстого* — ‘в ы с о к и й, к р у т о й (о горе, холме, участке берега)’, ср. сочетания со словами *круча, гора, катище* (арх., влг. *ка́тище* ‘место на высоком берегу реки, откуда скатывали в воду лес, предназначенный для сплава’ [СГРС 5: 99]): берег *Толстáя Круча*: «Высокий там берег» <Ваш, Пиксимова>; г. *Толстой Луг*: «Высокой был луг» <У-Куб, Чирково>; поле *Толстуха*: «Это место выше, бугром таким» <В-Важ, Ореховская>; мыс *Толстой*: «Гора там в середине» <Карг, Масельга>; пок. *Толстая Гора* <Кир>; поле *Толстоё Ка́тище* <Нюкс> и др. Такая смысловая валентность тоже очень слабо проявлена в словарных материалах, ср. перекликающееся с вышеприведенными значение, отмеченное как фразеологически связанное: влг. *толстой изъём* ‘высокий подъем’: «Изъём у него толстой, какой сапог ей погодится» [СРНГ 44: 215], а также арх. *толстик* ‘крутой, возвышенный берег, мыс’ [Там же: 208].

Значение ‘н е с у ж а ю щ и й с я к к о н ц у, и м е ю щ и й т у п у ю и л и п о л у к р у г л у ю ф о р м у, в ы г л я д я щ и й м а с с и в н ы м’ (противоп. *острый* ‘суживающийся, вытянутый к концу’) наиболее близко к литературным значениям *толстого*, но все же не фиксируется в соответствующих словарях. Не отмечено оно и в диалектных лексикографических источниках, которые, по всей видимости, игнорируют его из-за близости к значению ‘имеющий большой диаметр; большой в обхвате, в окружности’. Однако «обхватность» *толстого* все же не осмысливается, судя по имеющимся словарным материалам, как плоскостная форма; возможность проецирования ее на плоскость демонстрирует именно топонимия, в которой есть сочетания *толстого* со словами *мыс*, арх., влг. *нос* ‘мыс’, арх. *кóрга* ‘отмель на реке, озере, море’ [КСГРС]: мыс *Толстый Нос*: «Мыс имеет форму полукруга» <Плес, Вершинино> (ср. также более 30 фиксаций топонима *Толстой Нос* в других районах Архангельской и Вологодской областей); мыс *Толстик*: «Выделяется в озеро большой мыс» <Прим, Яреньга>; ур. *Толстой Мыс* <Кон>; отмель *Тóлсты(е) Кóрги* <Прим>. Показательны и отношения лексической системности, в которые вступают топонимы, образованные от основы *толстый (толстой)*: фиксируется «антонимическая» пара *толстый* — *острый* (мыс *Толстой Нос* — *Вострой Нос* <Выт>) и «синонимическая» *толстый* — *густой* (мыс *Толстый Нос* = *Густой Нос* <Холм>). Для *густого* такая семантика тоже не отмечается словарями, кроме близкого брян. *густой* ‘широкий, в сборку (об одежде); противоп. узкий’ [СРНГ 7: 247].

Наконец, в топонимии просматривается «урожайное» значение *толстого* — ‘о бильный, богатый травой (о покосе, луге)’: пок. *Толсто́е*: «Жирная трава, заливной луг», «Трава там густая, потому и Толстое» <Бел, Панкратовка, Верегонец>; луг *Толсто́й Луг*: «Богатый луг» <У-Куб>; возможно, сюда же пок. *Толстеньё* <Уст>; поле *Толсто́е* <Нянд, Хар> и др.; потенциально «урожайная» семантика заложена и в названиях ягодных и грибных мест: *Толсти́к* <Он>; *Тóлша* <Бел>. Из близких словарных значений ср. новг. *то́лстая земля* ‘удобренная земля’ [СРНГ 44: 214].

Свой вклад топонимические данные вносят в реконструкцию семантики прилагательного *веселый*, что подтверждает и дополняет выводы, изложенные в принципиально важной работе С. М. и Н. И. Толстых по этому поводу [Толстая 2008: 248–274]. Топооснова *веселый* представлена в топонимии Архангельской, Вологодской и Костромской областей солидным числом фиксаций (210), при этом всего 9 % названий обозначают населенные пункты (а именно среди них естественнее всего было бы ожидать реализации современных общезыковых значений, связанных с эмоциональным состоянием и поведением человека, ср., к примеру: д. *Весёлая*: «Деревню переименовали в 1932 году, когда колхоз стал. Говорят: “Теперь весело жить будем”» <Ваш, Веселая>). Подавляющее большинство названий, образованных от основы *веселый*, мотивировано свойствами природных объектов.

Среди них выделяются названия лугов, полей, покосов (55 % от общего количества топонимов с корнем *весел-*): поле *Весёлое (Богатое) Полько́*: «Урожайная с его много» <Вох, Кекур>; пок. *Весели́ца*: «Хорошо тамotka косить, трава высокая» <Бабуш, Косиково>; пок. *Веселый Луг*: «Чистой, суходольной луг» <Кир, Лещево>; пок. *Весёлый Лужок* <Бел>; поле *Веселу́ха* <Он> и др., ср. также бол. *Веселáя*: «Оно небольшое, но на нём растёт клюква-то» <Вох, Тихон>. Эти названия, несущие идею урожайности и изобилия, подтверждают вывод С. М. и Н. И. Толстых: «По отношению к полям **vesel-* означает не только ‘свежий, зеленеющий, растущий’, но и ‘изобильный, плодородный, урожайный, благодатный’» [Толстая 2008: 261]. Данное положение иллюстрируется в работе Толстых двумя древнерусскими контекстами (например, «Гѣлеса убо подобно вештьския приемлюшта пишта, растутъ же и *веселятсѧ* до повелѣния таковыми въздрастьми мѣры и лѣта» <XII в.> [Там же]). Думается, топонимические данные существенно усиливают аргументацию в пользу выделения отмеченной смысловой линии, «привязывая» ее к народной языковой стихии.

Довольно представительна группа обозначений возвышенных мест (20 %): г. *Весёлый Угóрышек*: «С него всю деревню видно» <С-Двин, Ненокса>; поле *Веселу́ха*: «Место очень красивое, вся губерния видна, вот и прозвали Веселуха» <Нянд, Андреевская>; г. *Веселу́хи*: «Веселое место, угорышек такой», «Высокое красивое местечко» <Нюкс, Красавино, Звегливец>; поле *Весёлое*: «Оно на весёлом месте, на угоре» <В-Уст, Едново>; г. *Весёлая Грива*: «Весёлая Грива, она кругом просвечивается. Угор-угор, всё видно, а потом откат», «Здоровая грива,

лес хороший, чистый» <Лен, Лыσιμο, Тохта>; ср. также *Весёлая Горка* (2) <Ваш; Нянд>, *Весёлая Горочка* <Вин>, *Весёлая Горушка* <Кир>, *Весёлая Грива*, *Весёлой Горбуль* <Бел>, *Весёлые Горушки* <Прим> и др. Именно топонимические данные побудили сотрудников ТЭ УрФУ верифицировать подобные смыслы в нарицательной лексике, в результате чего было обнаружено арх., влг. *весёлый* ‘находящийся на высоком месте с хорошим обзором’: «У нас изба-то весёла, далеко видно, всю деревню», «Это поле на весёлом месте, там горка, всё видать», «Весёлое место было, всё видно с угора» [СГРС 3: 77].

Выделяется и группа названий лесов (а также островов леса на болоте и — гораздо реже — болот): лес *Весёлый Бор*: «Сосновый, светлый он, старики так и назвали» <Он, Большой Бор>; ур. *Весёлое*: «Всё сосняк, весело, когда солнце печёт, сосны как шляпы сверху» <Кир, Бозино>; лес *Весёлая Веретья*: «Лес весёлый, сосновый, чистый. Там самая охота, глухари, лоси» <Котл, Яндовище>; бол. *Весёлое*: «Это болото бывает покрыто жёлтыми кувшинками, которые радуют глаз» <Карг, Кудринская> и др.

В этих примерах ландшафтное «веселье» выступает как комплекс взаимосвязанных признаков, образующих в каждом конкретном случае разные комбинации: наполненный светом, освещенный¹⁷, яркий, просматриваемый, дающий возможность обзора, возвышенный, открытый, чистый, сухой. Это визуально воспринимаемые маркеры природного, если можно так выразиться, «здоровья» и «оптимизма», «жизненных сил» природы. К этому блоку добавляется «прагматический», связанный с изобилием, урожайностью, плодородием. *Веселье* задается как свойство природы с обязательным включением в нее человека, который оценивает ее с эстетико-прагматических позиций. Создается впечатление, что *веселыми* называются именно те места, где человеку хотелось бы жить и хозяйствовать (известно, что излюбленными местами для строительства поселений на Русском Севере были возвышенные участки по берегам рек, с хорошим обзором местности, около травянистых лугов и сухих боров). Все это вносит дополнительные штрихи в тот семантический комплекс, который реконструируется для праслав. **vesel-* по данным собственно языковой семантики и культурных контекстов (‘жизненная сила, здоровье, процветание, плодородие’) и согласуется с этимологическим значением этого корня — ‘способный к жизни, жизнеспособный’ (и далее ‘здоровый’) [Толстая 2008: 179, 270]. Особые акценты, которые топонимия ставит на идее света, сопряженность положительной визуальной оценки и идеи природного здоровья и «жизнепорождения» напоминают связь значений в гнезде слав. **kras-*, где отмечается синкретизм колористического (‘красный цвет’) и биологического

¹⁷ Ср. также арх. *весело* ‘с большим количеством света, светло, солнечно, ярко’, ‘полный света, солнечный, яркий; блестящий’ [АОС 3: 150, 151–152], перм. *весёлый* ‘хорошо освещенный, светлый’ [СГСПерМК 1: 215].

(‘жизненная сила’) значений [Толстая 2008: 180]. Сказанное помогает понять концептуальные основы формирования семантики некоторых древнейших слов со значением положительной оценки.

4.5. ПРАГМАТИКА НОМИНАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Установка на учет историко-географических и культурных условий, в которых функционируют объекты номинации, издавна присутствовала в топонимических исследованиях. Углубление метода *Wörter und Sachen* («Слова и вещи») при интерпретации географических названий требует внимания к **прагматике, к ситуации взаимодействия реалии и номинатора**, задающей выбор точки зрения, фокуса эмпатии.

В этом плане небезынтересна ситуация с *поклонными горами* — названиями, представленными в разных областях России. Самая известная в нашей стране *Поклонная Гора* находится в Москве. Есть остроумная версия относительно происхождения ее названия, принадлежащая А. М. Молдовану, который считает, что в столичном топониме реализуется древнее, исходное значение слова *поклонный* ‘наклонный, наклоненный, склоненный’ (гора является пологой, а не крутой), вытесненное затем (вследствие распространения христианского ритуала) значениями ‘относящийся к поклону, связанный с поклонами, поклонением’ [Молдован 2011: 305]. По мнению автора, «эти значения, связавшие слово *поклонный* с поклонами и поклонением, в конечном счете стали его единственными значениями. Поэтому в дальнейшем народные версии о происхождении названия *поклонных гор* складывались на основе этих новых ассоциаций слова *поклонный*. Рассказы о столичной *Поклонной горе* могли давать для таких толкований дополнительный “сюжетный материал”, и в последующее время это могло становиться основанием для номинации иных *поклонных гор*» [Там же].

Такая возможность интерпретации *поклонных гор* допустима, но здесь хотелось бы привести дополнительные соображения, направленные на реконструкцию номинативной ситуации, которая определяет появление *поклонных* топонимов.

В картотеке ТЭ УрФУ по территориям Архангельской, Вологодской и Костромской областей имеется 55 фиксаций топонимов, образованных от основ *поклонный, поклон* (*Поклонная Гора, Поклон-Гора, Поклонный Бор, Поклонница* и др.). В 85 % случаев это обозначения возвышенностей: г. *Поклонная Горка*: «Шли мы в церкву из Балясина Починка, как дойдём до этой горки — церкву видать. Ну, дошли, баслы <благослови> Христос. Поклонимся, умоёмся» <Ник, Крутиха>; г. *Поклонная*: «На этой горе богомольцы кланялись Кирилло-Белозерскому монастырю» <Кир, Вогнема>; г. *Поклонная Гора*: «Кладбище там, родителям

кланялись» <В-Т, Степановская>; уч-к дор. *Поклонное Местечко*: «В церкву в село ходили. Как дойдём до Поклонного Местечка, её видко. Кланялись, одёжу меняли в том месте» <Окт, Даровая>; г. *Поклонная Гора*: «С этой горы было видно 12 церквей в округе, на ней хотели поставить часовенку» <Кир, Благовещенье>; г. *Поклонная*: «С этой горы церковь была видна, сюда народ молиться ходил» <Бел, Юрино>; г. *Поклонная Гора*: «Шли в Петропавловское в церкву, как дойдут до Поклонной Горы, так и церкву видать. Кланялись, крестились» <Пав, Доровица>; г. *Поклонница*: «Церковь там была, вот горе и кланялись» <Бел, Искрино> (эта сводка дополняет материалы, опубликованные в [Березович 2009: 243], а затем в [Молдован 2011: 300–301]). Подобные мотивации есть и у топонимов, зафиксированных в других источниках. Данные о них приведены в [Молдован 2011: 300–301]; хочется добавить к ним лишь новгородские свидетельства: *Поклонная Гора (Поклонница)* есть у д. Болонье: «От Болонья первая — Поклонная Гора, а вторая — Межник, к Пашкину-то. Богомольцы кланялись, увидя с Поклонницы храм»; другая *Поклонная Гора* — у д. Шинково: «Поклонная Гора высокая, солдатам не сподняться» [НОС₂: 180].

Из контекстов следует, что носители традиции отмечают не только особый статус самого сакрального объекта, но и маркированность той точки, с которой открывается вид на этот объект, т. е. границы обзора. Действительно ли такие точки были значимыми настолько, чтобы к ним мог быть «привязан» ритуал поклонения соседнему культовому объекту? По мнению А. М. Молдована, подобные толкования весьма субъективны: «обычай <поклонения> полагали объект поклонения находящимся на самой горе; в силу этого священной считалась сама гора, а не открывающийся с нее вид на соседнюю местность. Так что, стремясь привязать толкование названия разнообразных *поклонных гор* к древним обычаям, современное предание характерным образом лукавит и подгоняет старое наименование под новый религиозный порядок. <...> Не кажутся убедительными рассказы о благочестивых крестьянах, время от времени поднимавшихся на гору, чтобы поклониться дальней церкви вместо того, чтобы сходить в эту церковь» [Молдован 2011: 301–302].

Следует привести некоторые аргументы в пользу особой выделенности и значимости именно точки (границы) обзора. Эта точка может быть отмечена как с помощью *поклонных* топонимов, так и другими способами, — например, названиями, образованными от основ *креститься, молиться, говеть*: ур. *Крещёное Место*: «Со всех мест в церкву в Луптюг ходили. Дойдём до Крещёного Места — её увидим. Крестились, лапти меняли» <Окт, Клюкино>; г. *Богомольная Горка*: «Там молились люди, завидя церковь на следующем холме» <Кир, Коковановская>; ворота *Богомольные Ворота*, недалеко руч. *Говенный Ручей*: «Церковь была в Модно, от Говенного Ручья уже не ели, а говели», «Подходили к воротам и начинали молиться до самой церкви» <Устюж, Плотицье>; бол. *Богомольное*: «В церкву по нему ийти» <У-Куб, Устье> (здесь воспроизведены с дополнениями данные, представленные в [Березович 2009: 242–243]). В таких «ориентированных»

топонимах могут найти отражение не только действия прихожан, но и собственно наименования церквей. Так, недалеко от с. Кунгурка Ревдинского района Свердловской области есть *Зосимова Полянка*, которая названа так по церкви *Зосимы и Савватия*. Сама поляна находится в двух километрах от церкви, на противоположном берегу пруда, но она является той точкой, откуда становится заметной церковь при выходе из леса. Ср. также свидетельство из топонимии Карелии: *Спасова Гора* (д. Кургеницы Медвежьегорского района) названа так, поскольку с нее открывается вид на *Спасскую Церковь* Кижского погоста. Здесь всегда кланялись и крестились. То же самое делали у *Спасовой Луды*, когда со стороны д. Клименицы добирались по воде до Кижей. Отсюда был виден погост [сообщено И. И. Муллонен]. Такие точки могут не иметь собственно языковой маркировки, но выделяются иными символическими средствами. К примеру, «в Кенозерье при подходе к Филипповскому погосту есть маленькая часовня на повороте дороги — именно в том месте, откуда открывается вид на погост. Горы или какого-то возвышения нет, но часовня помечает границу обзора. Это всегда важная точка, которая естественным образом получала название» [сообщено И. И. Муллонен].

Причины выделенности таких точек становятся особенно понятными, если представить природные и культурные условия функционирования приведенных выше топонимов, а также «сценарий» посещения церквей. Церкви строились обычно в крупных селах, находились они, как хорошо известно, на возвышенности или на открытом месте на берегу реки, при этом к ним вели немногочисленные извилистые дороги, проложенные среди лесов и болот. Не будет преувеличением сказать, что на Русском Севере средний по протяженности путь в церковь — около 10–15 километров. В условиях здешнего рельефа (небольшие лесистые холмы, высоких гор практически нет) особо значимым было то место, с которого — при очередном повороте лесной дороги — становилась заметной церковь. Это место не только являлось точкой отправления определенного ритуала (переодевались в выходную одежду, умывались в текущем рядом ручье, кланялись церкви, крестились), но и важным ориентиром, подтверждавшим правильность маршрута. «Ориентационная» роль церквей отражена в целом ряде топонимов Русского Севера: бол. *Церковная Просека*: «По ей шли на церкву, церкву-то далеко было видно» <В-Важ, Ореховская>; просека *Колокольный Просек*: «На него выходишь — видна была церковь наша» <Ваш, Тимошино>; тропа *Никольский Просек*: «Церковь была вроде маяка, из леса шли — ее видели, знали, что на нее выйдем. Из озера в бурю ее видно было, в колокола звонили, чтоб корабли не тонули» <У-Куб, Сергеевское> и др.¹⁸

¹⁸ Будет уместным также напомнить, что в традиционной народной топонимии весьма популярна и продуктивна такая ориентационная модель, которая выделяет наименования некоторого объекта-посредника, ориентирующие по отношению к нему объект наблюдения, удаленный от посредника. Например, бол. *Осецкое* названо так не потому, что оно находится у д. *Осека* <Кад>, а потому что указывает путь в сторону этой деревни (см. обзор таких топонимов в [Березович 2009: 140–141]).

Все это позволяет полагать, что мотивировка названий *поклонных гор* по действию поклонения имеет прагматическое подтверждение. При этом можно допустить и существование иной мотивировки — собственными свойствами объекта («поклонностью», т. е. пологостью, покатостью). Думается, эти мотивировки необязательно должны выстраиваться в некоторой временной последовательности (первична мотивация по характеру склона, а вторична — по действию поклонения). Они могут существовать независимо друг от друга: для каких-то топонимов возможна «эстафета» мотивационных вариантов, а для каких-то — изначальная мотивированность действием поклонения. Топонимия устроена так, что небольшой круг популярных топооснов «обслуживает» огромное количество неповторимых ситуаций с участием географических объектов, поэтому продуктивные топоосновы развивают повышенную многозначность, а также способность к словообразовательной омонимии.

В рамках обсуждения вопроса о культурно-прагматическом контексте появления и функционирования топонимов стоит отметить, что есть целые разряды географических названий, выделение или «акцентирование» которых в значительной мере определяется культурными факторами. К их числу, например, относятся названия ключей и родников. Так, в Верхнем Поветлужье (в Октябрьском районе Костромской области) ТЭ УрФУ не смогла записать ни одного собственного имени ключа или родника. В Среднем Поветлужье (в Шарьинском районе Костромской области) такие названия появились: *Щедрый*, *Ключик у Германской*, *Ключик Скорбящей (Скорбящая)*: «Там вода святая. Икона Скорбящей там вышла. Где икона сказала, часовню поставили. На горе там сосны, к ним подходят, если зубы болят, коры-то брать» <Подолиха>; *Варнава*: «В Бердихе и Подолихе Варнава, праздник Варнава был. По святому Варнаве Ветлужскому. На ключик ходили, Варнавой тоже звали ключ-от» <Бердиха>; *Кузьма (Кузьма-Демьян, Ключик Козьмы и Демьяна)*: «Ключик Козьмы и Демьяна, часовня была на Лысой Горе. Говорят, часовня провалилась. Козьма и Демьян — бессребреники, воду даром дают» <Мишино> и др. В большинстве случаев названия ключей мотивированы обозначениями соответствующих праздников и икон, явившихся, по преданиям, в дни праздников на родниках. Шарьинский район граничит с Нижегородской областью (и частично входил ранее в ее состав), где очень популярны рассказы о святых источниках, см. [Шеваренкова 2004: 85–170]. Актуальность названий родников поддерживается и ныне существующей традицией посещать их во время престольных праздников.

Почему сложилась такая ситуация? Дело в том, что в Верхнем Поветлужье значительно более низкая, чем в Среднем, «плотность» названий праздников (хронимов) и соответствующих имен святых (агионимов), связанных с обозначениями объектов культа. Для Верхнего Поветлужья была типичной ситуация, когда жители 10–20 деревень, относившихся к одному приходу с церковью в крупном селе, имели один и тот же праздник, название которого соотносилось с именем

церкви: к примеру, *Веденьё* (день Введения Богородицы во храм) отмечалось в селе *Веденьё*, где была *Введенская церковь*, — и этот праздник объединял три десятка окрестных деревень. В Среднем Поволжье плотность хронимии гораздо выше: каждый праздник закреплён за 1–3 деревнями, так что на один приход приходится 10 и более праздников. Таким образом, у многих праздников (святых) нет «одноименного» крупного объекта культа. На этом фоне повышается роль маленьких часовен, обетных крестов, водных источников, посвящённых праздникам и соответствующим святым. Информация о чтимых датах и святых как бы «разбрызгивается» в пространстве, она ищет новые способы символического закрепления, — например, в названиях родников.

Итак, в ходе семантико-мотивационной реконструкции топонимов важно воссоздавать культурно-прагматический контекст, который входит составной частью в ситуацию номинации, способствующую появлению обозначений отдельных типов и классов географических объектов.

4.6. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТОПОНИМИИ И АПЕЛЛЯТИВНОЙ ЛЕКСИКИ

Следующий блок проблем связан с сопоставительным изучением номинативного фонда топонимии и апеллятивной лексики.

Необходимо выявить перечень **собственно топонимических мотивационных моделей**, т. е. мотивационных формул, которые не фиксируются во внетопонимическом употреблении, хотя основаны на апеллятивной лексике. Особенно показательны формулы с высокой степенью идиоматичности. Например, к числу собственно топонимических относятся модели своеобразной *наивной метрологии*, в рамках которых функционируют топонимы, обозначающие небольшие речки, ручьи, сырые низины и др., где воды по пояс (и соответственно, чтобы перейти такую речку, надо по пояс раздеться). Это модели «без- + названия одежды, закрывающей нижнюю часть туловища и ноги», «гол- (*мокр-*) + названия соответствующих частей тела», «названия частей тела + *мыть*»: бол. *Беспортóчное*: «Переходили, дак портки сымали, по пояс было» <Кадый, Новый Курдюм>; пок. *Безгáчиха*¹⁹: «Реку вброд без штанов переходили», «Трава высоченная, дождь пройдет — бродили без штанов» <Кад, Порог>; ур. *Голожóпница*: «Чуди там без штанов бегали» <В-Т, Лохома>; пок. *Мокрогúз*: «Рядом болото, бродили по пояс мокрые» <Котл, Кузнечиха>; низина *Оголигúз*: «Переходить надо, дак штаны сымали» <Шар, Коневó>; руч. *Гуздомóйка*: «Его переходить, дак вода до жопы доходит» <Ваш, Вашкозёрки>; р. *Гуздомóя*: «Вода

¹⁹ Ср. диал. шир. распр. *гáчи* ‘штаны, штанины’ [СРНГ 6: 154].

там как раз до гузна» <Кир, Кирбасово>; см. также примеры в [Березович 2009: 182–183]. Небезынтересно выяснить причины, ограничившие сферу реализации подобных моделей проприальными именами. Модели такого рода составляют значимую, но практически не изученную часть мотивационно-номинативного фонда национального лексикона.

Есть смысл продолжить изучение **процессов в сфере взаимных переходов топонимии и нарицательной лексики**. Это имеет большое значение для выяснения особенностей функционирования двух базовых разрядов лексикона, для совершенствования словарной подачи лексического материала. В настоящее время процессы деонимизации («детопонимизации») рассматриваются главным образом применительно к так называемым прецедентным именам, отсылающим к значимым для данной традиции культурным явлениям и событиям, ср. нарицательные слова, образованные от имен *Америка, Вавилон, Ташкент, Черемушки, Шанхай* и др., которые описаны, например, в [Отин 2004]. Не изучен сколько-нибудь полно процесс деонимизации тех имен, которые не являются прецедентными. Речь идет о словах, которые имеют топонимическое оформление, но при этом терминологизировались, о чем свидетельствует возможность внетопонимического употребления их в типичных для нарицательной лексики контекстах. Как правило, толчком для обнаружения таких слов становится именно повторяемость в топонимии.

В качестве примера можно привести топоним *ВЫПОЛЗОВО* (реже *ВЫПОЛЗА, ВЫПОЛЗИХА, ВЫПОЛЗАЛОВКА*; ср. также *ВЫЛАЗОВО* и др.), который фиксируется в картотеке ТЭ УрФУ более 100 раз. Деревни и села с подобными названиями, по данным справочников административно-территориального деления, отмечены по всей России — в Брянской, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Тверской, Ульяновской, Ярославской и других областях. Таким именем, образованным от *выползать* (скорее всего, в более широком, чем литературное, значении, ср. арх. *выползти* ‘выйти наружу откуда-нибудь’ [АОС 8: 95–96]), на Русском Севере и в Верхнем Поволжье обозначают географические объекты двоякого рода. Во-первых, это места у дорог, где люди «выползают» на дорогу (как правило, окраины поселений или граничащие с ними урочища); во-вторых, это недавно образовавшиеся части поселений или хутора, куда «выползли» (переселились) жители из той или иной деревни (здесь возможен еще один поворот образа: хутор как бы «выполз» из основного поселения). Указанные мотивационные варианты могут совмещаться, накладываться друг на друга. Ср. контексты: д. *ВЫПОЛЗОВО*: «Раньше-то ведь не хватало земли. <...> По берегу реки кочки, кругом было много змей. И стали выезжать на это место. И было 8 домов. Вот и назвали деревню Выползово» <Кадый, Завражье>; пок. *ВЫПОЛЗОВО*: «Все выползали на это место», «Мы тут всю жизнь переезжали на лошадях» <Чаг, Марьино, Лешутино>; ур. *ВЫПОЛЗОВО*: «Это место между Керасом и Согрой. У нас говорят: “О, выползли все к нам из всех деревень!”» <В-Т, Керас>; часть д. *ВЫПОЛЗОВО*: «Из Мошни

Выползово выползло» <Вил, Мошня>; хут. *Выползово*: «Выползли туда, дома поставили, вот и Выползово» <Вох, Кекур>; часть д. *Выползова*: «У другой деревни такие Выползовы или у дороги, эта у деревни Юрома» <Пин, Юрома> и др.²⁰ Последний контекст должен был стать для собирателя сигналом к тому, чтобы попытаться записать это слово в апеллятивном употреблении, однако такая запись, к сожалению, не была сделана. В «Архангельский областной словарь» *Выползово* включено как топоним (в Каргопольском и Вилегодском районах) [АОС 8: 95]. Слово квалифицировано как факт нарицательной лексики, кажется, лишь в одном лексикографическом источнике — «Дополнениях к Опыту областного великорусского словаря» (1858): новг. *выползово* ‘домы в конце городов или местечек, составляющие отдельную часть или квартал. В XV и XVI столетиях *выползовами* в селениях назывались конечные двory (оболонья, предместья); они возникли от выселения жителей из посадов или от прибыли народонаселения’ [ДО: 29].

К числу подобных фактов относятся и многочисленные *нахаловки*, распространившиеся как в сельской, так и в неофициальной городской топонимии в XX в., ср. *нахаловка* разг. ‘поселок, появившийся в результате самовольной застройки’ [БТСРЯ: 607], жарг. ‘строение, дом, сарай, времянка и т. п., возведенные без разрешения властей; возделываемый без разрешения участок земли’ [СМА: 275].

Если *выползову* и особенно *нахаловке* «повезло» в смысле лексикографической фиксации, то многие другие единицы такого типа остались «бесхозными». Думается, именно из-за топонимического оформления собирателя нарицательной лексики и лексикографы не проявляют внимания к таким фактам, которые крайне редко попадают в словари.

Среди претендентов на «прописку» в словарях нарицательной лексики можно назвать, к примеру, еще одно слово из той же смысловой сферы, что и приведенные выше, — *притыкино*. Это обозначение той части населенного пункта (или прилегающей к нему небольшой деревни, хутора), которая была построена позднее, чем основное поселение, и воспринимается как «приткнувшаяся» к нему. В картотеке ТЭ УрФУ насчитывается около 70 фиксаций таких названий на Русском Севере, в Верхнем Поволжье, на Среднем Урале, причем практически все топонимы снабжены однотипными мотивационными контекстами, что говорит о прозрачности внутренней формы для носителей топонимии. Деревни с аналогичными названиями отмечены также в Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской и других областях. Удалось найти один контекст, свидетельствующий о возможности терминологического восприятия таких слов: «Понастроили при колхозах новых улиц, притыкины в разных селах у нас появились» <Шар, Старково>.

²⁰Ср. также лес *Вылазгора*: «С Ярбозера дорога проходила, богатых людей там грабили, вылазили» <Ваш, Екимово>. Возможно, название представляет собой народно-этимологическую переработку субстратного топонима.

Как было показано выше, одно из проявлений терминологического характера названий типа *Вытолзово*, *Нахаловка*, *Притыкино* — их широкое (едва ли не повсеместное) использование в топонимии. Следует поставить вопрос о существовании менее заметного и более сложного (в смысле квалификации результатов) процесса деонимизации, результаты которого проявляются только в рамках какой-либо отдельной локальной топонимической системы, но не повторяются в других локальных системах. Такие результаты состоят в возникновении узколокальных географических терминов детопонимического происхождения. Практика полевой работы по сбору географических названий показывает, что это явление активизируется в последние два-три десятилетия. Это происходит в связи с резким сужением топографического горизонта носителей топонимии, которые зачастую не видят целостно линейные объекты: не знают, как текут и куда впадают реки, куда ведут дороги и пр. Причина такой ситуации в конечном счете — разрушение традиционной системы хозяйствования (сенокосения по рекам, лесосплава и пр.), когда линейные объекты утрачивают функцию организатора хозяйственных связей и используются «точечно» (подробнее об этом см. в [Березович 2011: 78–79]). Вследствие сужения пространственного горизонта географические реалии все чаще воспринимаются «кусочками»: человек знает не всю реку, а несколько покосов по ее течению, не болото целиком, а ягодные участки по его краям, не весь лес, а отдельные лесные делянки, не озеро, а участки его берега, и др. Такие покосы, участки, делянки и пр. с течением времени наделяются именами, метонимически перенесенными с названия реки или озера, причем, как правило, в форме множественного числа. В сознании носителей это множественное число читается как обозначение совокупности сходных друг с другом объектов. Однородные элементы, составляющие совокупность, воспринимаются как объекты апеллятивной, а не проприальной номинации.

Вот пример из топонимии Костромского Поветлужья, в котором ТЭ УрФУ работала в 2009–2014 гг. По реке *Кáлюг* (правый приток Ветлуги в ее верховьях) были многочисленные покосы, каждый из которых имел собственное название. Эта река находится в отдалении от деревень, в обозримом (для наших информантов) прошлом туда ездили косить по колхозной разрядке. В настоящее время названия отдельных покосов забылись, они выступают под обобщенным именем *Кáлюгá*. Поскольку ездили к этим покосам не вдоль реки, а по лесной дороге, которая вела к верховьям Калюга, а сама река была очень мелкой и временами пересыхала, многие информанты уже не воспринимают Калюг как реку. Название покосов — *Кáлюгá* — стало актуальнее, чем имя реки. Из формы множественного числа заново восстанавливается форма единственного, но уже с другим значением: **káлюг* ‘лесной покос’. Это слово функционирует как географический термин и фиксируется в условиях полевой работы. В практике своей работы сотрудники экспедиции стараются по возможности отделять друг от друга те этапы опроса, которые направлены на сбор топонимии и нарицательной лексики, чтобы

информанты лучше понимали, что подразумевает в каждом случае сакраментальное «А как называется...?». О переходе *калюга* в разряд нарицательных слов в сознании некоторых информантов говорит то обстоятельство, что это слово не «всплывает» среди других топонимов (при последовательном опросе по разрядам географических объектов или по некоторым маршрутным линиям, по порядку их следования друг за другом), но появляется при сборе географических терминов (когда удается убедить информанта, что сейчас собирателя интересуют не названия отдельных мест, а «общие слова», приложимые к разным местам) — как ответ на вопрос о том, как называются покосы, которые расчищали в лесах (в отличие от покосов по берегам рек), ср.: «По реке луг, а в лесах-то калюг, калюгá в лесах чистили. [А калюга в каком-то одном месте — или в разных лесах могут быть?] В разных лесах калюгá были у стариков» <Окт, Боговарово>. Могут фиксироваться различия в восприятии таких фактов разными поколениями носителей языка: некоторые представители старшего поколения помнят исходный топоним и в их сознании отсутствует деонимизированный географический термин, который употребителен в речи более молодых «пользователей» топонимической системы.

Диалектологи обычно настороженно относятся к таким фактам, — и если даже они оказываются записанными в ходе полевых работ, то их отсеивают составители и редакторы при подготовке словарей. В то же время практика показывает, что подобных слов становится все больше, это результат реальных языковых процессов. Если вписать их в масштабную панораму взаимодействия имен собственных и имен нарицательных, то становится ясно, что перед нами исторически детерминированный вид такого взаимодействия, который нуждается в заинтересованном наблюдении и учете в ходе семантико-мотивационной реконструкции топонимов.

Таким образом, было бы небезынтересно выявить набор названий с «мерцающим» положением на оси «имя собственное — имя нарицательное», что позволило бы определить особенности и закономерности терминологизации, в том числе лингвогеографические, словообразовательные и семантические (названия каких классов географических объектов чаще всего подвергаются апеллативизации? каковы прагматические условия этого процесса? накладываются ли на терминологизацию ограничения со стороны принимающей системы апеллативной лексики? и др.).

* * *

Спектр насущных задач семантико-мотивационной реконструкции в области народной топонимии очень широк. Нами был дан комментарий лишь к немногим. В заключение есть смысл перечислить некоторые не упомянутые выше задачи. Так, в рамках **изучения словообразовательной семантики** в топонимии наибольшее внимание уделялось значениям собственно топонимических

словообразовательных средств, а также сопоставлению семантики одной и той же морфемы в топонимическом и апеллятивном употреблении. Практически не осуществлялось внутриономастическое сравнение значений словообразовательных моделей, которое помогло бы выявить общие черты ономастической словообразовательной семантики и прояснить механизмы специализации разрядов ономастики в плане словообразования²¹. Целый блок задач связан со **сравнением топонимических систем родственных и неродственных языков**: выработка критериев разграничения семантических схождений (генетических или типологических) в топонимии родственных языков; дополнение и корректировка метода семантического моделирования компонентов топонимических систем (при направленной этимологизации топонимов субстратных языков)²² методом внешних и внутренних семантических параллелей; верификация тех приемов реконструкции, которые основаны на поиске семантических (метонимических) калек, и др. Для решения этих исследовательских задач (а также тех, что были более подробно представлены выше) нужен «материальный» фундамент: скорейший ввод в научный оборот электронных баз данных и словарей по русской и иноязычной топонимии, а также активизация полевой работы. В 1990-е гг. во многих научных центрах России она была приостановлена, традиции утрачены, а воссоздать их в новых условиях очень непросто (полевой сбор все более усложняется методически и организационно из-за стремительного исчезновения народной топонимии, определяемого как уходом из жизни поколений ее носителей, так и распадом традиционных природно-хозяйственных связей). Но это необходимо для сохранения и интерпретации огромного лексического массива, хранящего многовековую культурную память.

²¹ К примеру, объектом такого сравнения может быть архаичная отглагольная модель (от императива в форме ед. ч.), представленная в топонимии (ср. названия типа ж/д станция *Незевай*, лес *Трасиногово*, луг *Болисердцѳ*, порог *Растягай*), зоонимии (клички собак *Добывай*, *Помечай*), антропонимии (фамилии *Убейсобачко*, *Продайвода*), хрононимии (*Орина-разрой берега*, *Власий-бей зиму*, *Евдокея-помети*) и др. В топонимии и антропонимии модель имеет преимущественно «нарративную» семантику, обозначая типовые ситуации, связанные с объектом. В зоонимии модель наделена дезидеративным смыслом.

²² Этот метод применяется при работе с контактирующими (засвидетельствованными на одной территории или на смежных) топонимическими системами разных языков и состоит в построении «ономастиологическим путем на материале привлекаемого для сравнения языка (диалекта) сетки апеллятивных компонентов, постулируемых для данной топонимической системы», а затем в наложении ее на реально засвидетельствованную топонимию [Матвеев 2006: 101]. Иными словами, исследователь составляет перечень лексем, которые должны функционировать в контактирующей топонимической системе, и ведет «целестремленный поиск, “направленную” этимологизацию от языка к топониму, а не от топонима к языку» [Там же]. А. К. Матвеев применил этот метод, осуществив перевод на финно-угорские языки ряда компонентов русских топонимических систем. В монографии Н. В. Кабининой [2011] даются дополнительные теоретические обоснования метода, а также представлены результаты последовательного его применения по отношению к топонимии Архангельского Поморья.

Раздел V

ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ В СВЕТЕ ЛЕКСИКИ

В основу данного раздела монографии лег несколько иной, нежели в предыдущих разделах, материал исследования: изучается главным образом не диалектная, а литературная лексика русского языка. Анализируемые лексические единицы обозначают различные социальные и личностные ценности. Ставится вопрос о том, как в семантике этих слов отражается динамика ценностей. Рассматриваются по преимуществу те семантические (и соответствующие им социокультурные) процессы, которые имели место в последние двадцать пять лет — в постсоциалистический период. Обрисована общая панорама лексико-семантических изменений, сгруппированных по темам и мотивам, которые высвечиваются в значениях слов: тема социальной адаптивности, тема «душевного здоровья» и «антиидеализма», тема прагматизма и материального благополучия и т. п. (параграф 5.1). Более подробно прослеживаются судьбы слов *романтика* (на польском фоне) и *самолюбие* (параграфы 5.2, 5.3)¹.

¹ В этом разделе чаще, чем в предыдущих, будут привлекаться к анализу иллюстративные контексты, которые извлечены не из словарей, а из других источников. Контексты, извлеченные из Национального корпуса русского языка [НКРЯ], снабжаются указанием на автора текста (если необходимо — и на дату создания произведения), при этом указание на источник не дается. Некоторые контексты записаны автором книги в ходе наблюдений за живой речью горожан (в первую очередь екатеринбуржцев и москвичей), которые велись в 2007–2014 гг. Если такие записи фиксируют относительно редкие словоупотребления, то ставится помета «личные записи автора» [ЛЗА]. Привлекаются также контексты с актуальных в 2010–2014 гг. интернет-сайтов, обнаруженные через поисковые системы «Yandex» и «Google». Атрибуция контекста отсутствует, если он является достаточно стандартным, повторяется на нескольких сайтах, легко обнаруживается с помощью поисковых запросов. Если же на сайте указан автор, то для отграничения от контекстов из Национального корпуса русского языка ставится помета ИС (интернет-сайт). Польские контексты извлекались из сети Интернет при работе с поисковой системой «Google»; в ряде случаев опорные сочетания, по которым формировался запрос, были обнаружены в Национальном корпусе польского языка [НКJP].

5.1. РУССКАЯ АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI В.: ОТ «СОВЕТСКИХ» ЦЕННОСТЕЙ К «ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫМ»

Общепризнанно, что изменения, которые произошли в русском обществе (как и во многих других постсоциалистических странах) за последние двадцать пять лет, являются революционными. Это в первую очередь перемены в умах и душах, в общественной психологии, в системе ценностей. Ценностные сдвиги отражаются в лексическом составе языка «экстенсивно» (появление новых слов) и менее очевидно, «интенсивно» (изменение сочетаемости, коннотаций, частотности употребления уже имеющихся в языке лексических единиц, возникновение новых смысловых линий, тем в их семантике). «Интенсивный» путь наиболее интересен для лингвистического анализа — не только из-за естественного для науки предпочтения неочевидного очевидному, но главным образом потому, что новации в семантике «старых» слов с наибольшей наглядностью позволяют увидеть «эстафету» ценностей (рассуждения о такой эстафете и примеры анализа слов современного русского языка см. в [Березович 2008; Вепрева 2007; Вепрева, Купина 2007; Гусейнов 2012: 200–205; Ермакова 1997; Зализняк, Левонтина, Шмелев 2008; Кронгауз 2009: 18–105; Кутенева 2008; Левонтина 2010: 13–60; 2011; Мокиенко 2003; Осипова 2011; Пихурова 2005; Плеханова 2013; Пьянкова 2010; Седакова 2010а; Феоктистова 2009; Фролова 2008; 2010; Шмелева 2011] и др.).

Есть смысл сгруппировать изменения в семантике русской аксиологической лексики конца XX — начала XXI в. по объединяющим их темам, мотивам, что позволит более наглядно представить те общие тенденции, которые стоят за семантической историей отдельных слов. Ниже будет осуществлена попытка такого объединения — разумеется, самая предварительная, носящая обзорный характер, без претензии на полный охват тем и способов их лексического воплощения, для чего потребовалась бы не одна монография. Речь будет идти о ценностях не идеологических или общественно-политических, а тех, которые характеризуют духовный мир личности. К анализу будут привлекаться в первую очередь неосемантизмы — «старые» слова с «новой» семантикой, но в некоторых случаях (в целях создания более широкой картины изменений) будут рассматриваться и собственно лексические неологизмы.

Когда изучаются живые сдвиги в лексиконе, необходимо учитывать многообразие дискурсивных слоев внутри национального языка, полифонию голосов, принадлежащих людям разных поколений и разных социокультурных групп. К примеру, автореферентное сочетание *моя карьера* нормально «смотрится» в речи современных прагматически настроенных молодых людей, но его до сих пор избегают многие представители русской интеллигенции старше сорока,

а вслед за ними — и «некоммерчески» ориентированная молодежь (в частности, студенты-филологи, с которыми много общается автор этих строк). Соответственно датировку контекстов, которая будет приводиться в последующем изложении, нельзя понимать прямолинейно, поскольку и после 2000 г. могут появляться контексты, реализующие особенности «старой» семантики обсуждаемых слов. Говоря о новых явлениях в семантике, мы в первую очередь ориентируемся на ту группу говорящих, чья речевая практика питается современными средствами массовой информации, в том числе языком рекламы.

ТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ. В языке советской эпохи негативной окраской обладали некоторые слова, передающие идею социальной адаптивности, — например, *приспосабливаться* (в том числе без дополнения в дательном падеже) и *устраиваться*. Так, в фильме В. Эйсымонта (по сценарию В. Розова) «В добрый час!» (1956), повествующем о выборе будущей профессии, эти глаголы не раз используются для характеристики героев, которые пытаются поступить по благу в институт, «норовят пролезть, устроиться, приспособиться», «зайти в жизнь с черного хода» Особенно ярко отрицательная оценка ощущалась в существительных вроде *приспособленец* и *ловкач*. В языке последних лет эти слова являются если не устаревшими, то устаревающими, а глаголы *приспосабливаться* и *устраиваться* в ряде контекстов имеют вполне положительное звучание, ср.: «Умейте устраиваться — и Вы попадете в перспективную компанию с хорошей заработной платой»; «Вы честолюбивы, амбициозны и стремитесь сделать блестящую карьеру? Придется овладеть умением приспособливаться и выделяться».

Идея социальной адаптивности направляет трансформацию сочетаемости лексемы *компромисс*: в доперестроечное время это слово чаще всего описывало ситуации, когда человек не выполняет собственные моральные императивы (и такие компромиссы оценивались отрицательно). Вот некоторые показательные контексты: «Ведь, сидя в одиночке, ты не гонишься за фантомом жизненных успехов, не лицемеришь, не дипломатничаешь, не идешь на компромиссы с совестью» (1990) <Е. Гинзбург>; «Затем на компромиссы, на всякое унижение, на любую расплюевщину падче нас нет» (1978) <Ю. Домбровский>; «За сто лет вы, “аристократическая раса”, люди компромисса, люди непревзойденного лицемерия и равнодушия к судьбам Европы, вы, комически чванные люди, сумели поработить столько народов, что, говорят, на каждого англичанина работает пятеро индусов, не считая других, поработенных вами» (1928–1935) <М. Горький>. Сейчас слово *компромисс* по преимуществу звучит в ситуациях межличностного взаимодействия — и расценивается положительно: «Поэтому всегда нужно искать компромисс, совмещающая приятное с полезным» (2004) <И. Складаров>; «Семейным Скорпионам нужно быть готовыми к компромиссу, не забывать о том, что их супруг(а) имеет право на собственное мнение» (2002) <Гороскоп на неделю>. Интересно, что указание на адресата «компромиссного поведения» при этом слове

в обоих случаях может опускаться, — но именно общий концептуальный фонд ценностного сверттекста эпохи определяет оценочное прочтение «старых» фраз типа *способность пойти на компромисс* (предполагается *своя совесть*) и «новых» вроде *умение найти компромисс* (предполагаются *другие люди*).

Практически вышло из употребления слово *бескомпромиссный*, имевшее, начиная с 1920-х гг., положительную окраску, ср.: «Жертвенная и бескомпромиссная молодежь есть всегда главный, движущий рычаг в революционной борьбе» (1935) <М. Георгиевский>. Наличие такой коннотации «аккомпанировал» негативный фон слов вроде *соглашатель* и *примиренец*. Попытки вписать слово *бескомпромиссный* (и сочетание *без компромиссов*) в рекламный «новояз» выглядят забавно, но они симптоматичны: «Новый Lexus-250 погружает вас в атмосферу бескомпромиссного комфорта <реклама автомобиля>»; «Образ жизни, о котором вы мечтали, станет реальностью в элитном квартале “Литератор” без малейших компромиссов. Вы сможете реализовать свое стремление к абсолютному комфорту во всем, сделав выбор среди множества вариантов продуманного до мельчайших деталей предложения квартир».

Устарели и распространенные раньше в книжном стиле «зоологизмы» *мимикрия* и *хамелеон*, которые в негативном ключе описывали способность человека приспосабливаться к ситуации.

Активизировались положительные поведенческие характеристики *гибкий*, *лояльный*: «Агрессия лишает тебя возможности показать, какой ты гибкий, тактичный и раскрепощенный человек» (2005) <журнал «Лиза»>; «Мы достаточно гибкие люди, чтобы противопоставить историческим формам не менее сильные современные формы» (2002) <А. Филимонова>.

Слово *комфортный*, которое стало в последние годы употребляться особенно часто (см. [Левонтина 2010: 59–60; Фролова 2010]), приобрело дополнительную «человеческую» валентность. Сочетание *комфортный человек* два десятилетия назад было бы невозможным, а в настоящее время оно начинает фиксироваться, ср.: «Комфортный человек — внимательный, добрый, заботливый. Идет на компромисс. С человеком одинаково легко и болтать и молчать. Входит в любую ситуацию, умеет подстраиваться под людей». Интересно, что «старое» сочетание *удобный человек* (*удобные люди*) отнюдь не было синонимом *комфортного*; в доперестроечное время оно несло скорее негативный смысл, обозначая того, кем можно манипулировать, ср.: «...новый начальник генерального штаба представлялся мне просто удобным человеком для Сухомлинова, как не мечтавший, подобно своим предшественникам, о самостоятельном и не подчиненном военному министру положении» (1947–1953) <А. А. Игнатьев>; «Смелых не нашлось... Удобные люди, сменившие “бывших”, стараются не повторять ошибок предшественников-погорельцев. Многие из них уже знают “волшебные правила”, строгое следование которым позволяет уверенно сидеть в высоких начальственных креслах: <...> умение угадывать желание “государя” и его свиты, имитация

бурной деятельности и рапорты об успехах» (1999) <В. Баранец>. Отрицательная оценка здесь понятна: в стереотип положительного героя советской интеллигенции (инженера, физика, который «идет на грозу», и др.), входило представление о его «неудобности», т. е. принципиальности, умении отстаивать свою позицию, ср.: «Не побоюсь сказать, что в отстаивании своих идеалов он проявлял солженицынскую, сахаровскую стойкость. Поэтому и был неудобным человеком» (1995–1999) <И. Кио>. Знаковыми для той эпохи были строчки П. Когана: «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!»

Слово *принципиальность* воспринималось в «прежнем» русском языке скорее положительно, чем отрицательно, хотя еще в тургеневские времена прямолинейное следование устаревшим «принципам» могло ассоциироваться с консерватизмом и ограниченностью. В речи нынешней молодежи *принципиальность* имеет негативную окраску, поскольку соответствующая черта приравнивается к запретительству, связывается со сферой официоза, партийно-комсомольских характеристик, собраний и т. п., и противопоставляется гибкости, умению гасить конфликты и чувствовать ситуацию, отсюда появление сочетаний, где *принципиальность* выступает с глаголами *изобразить, разыгрывать, выпячивать* и прилагательными *лишняя, ненужная, тупая (дурацкая, идиотская), твердокаменная* и т. д., ср.: «Подцепит мужика с положением и изображает принципиальность и недоступность»; «И если есть какие-то не улаженные еще моменты, идите на компромисс, оставив узколобую принципиальность и гордые позы до лучших времен»; «Мало кто будет себя представлять для потомков в невыгодном свете, поэтому даже форменный гад будет выставлять себя невинной жертвой либо выпячивать свою монументальную принципиальность»; «Всего, чего вы сейчас хотите, куда проще будет добиться, идя на компромисс, чем проявляя твердокаменную принципиальность».

Модным в образованных кругах (хотя недостаточно семантически освоенным) стало слово *толерантность*.

«Личная» тема. Акцентирование личной сферы проявляется, в частности, в рекламном стиле «интимизации», которому присуще частое употребление личных местоимений первого и второго лица, использование посессивных местоимений *мой* и *твой* в качественном смысле — ‘соответствующий моим / твоим (высоким) требованиям’, ср. рекламные слоганы вроде «Это мой банк», «Это твоя зубная паста» и пр. Тема «отдельности» личности отчетливо звучит в популярном девизе «Это мои (твои, его) проблемы», который нередко создает антитезу «старым» девизам вроде «Чужой беды не бывает». Повысилась употребительность слов *личный* и *частный* (передачи «Личный взгляд», «Личное дело», «Частное мнение» и пр.). Чрезвычайное распространение получили слоганы «Полюби себя!», «Для себя, любимой (любимого)», которые были совершенно невозможны в советское время (кажется, ирония, сопутствующая им еще в 1990-е гг., в настоящее время

отступает). Сложилась парадоксальная в словообразовательном плане ситуация: сочетание *любить себя* должно быть той лексической почвой, которая «питает» слово *самолюбие* ‘чувство собственного достоинства, сочетающееся с ревнивым отношением к мнению о себе окружающих’, но в современном русском языке отношения производности не выстраиваются, поскольку глагольно-местоименное сочетание обрело идиоматический смысл и далеко ушло от «старого» *самолюбия* (подробнее см. параграф 5.3).

Стирается отрицательная оценка, неизменно присутствовавшая в советское время в семантике слова *эгоист*, которое «становится притягательным названием или модной торговой маркой, например, *Эгоист generation — журнал для тех, кто себя любит; Ресторан “Эгоист” — создан эгоистами для эгоистов...*» [Шмелева 2011: 97]. «Улучшились» коннотации слов *индивидуалист, амбиции* (о последнем см. [Левонтина 2010: 20–21]), «ухудшились» — слова *коллективизм*, который в речи молодежи понимается в первую очередь как стадное чувство, ср.: «В уггах <вид обуви. — Е. Б.> ходят все, а русскому человеку свойственен коллективизм (читай *стадное чувство*)»; «Главный признак дурака — стандартность внешности и поведения. Дурак — большой коллективист».

Заметным стал пласт лексики, означающей сферу интересов личности: *личное пространство, позиционировать себя*. Входит в моду в «элитных» кругах словечко *прайвеси*: «Англо-саксонское понятие “прайвеси” удобно легло на наше отечественное равнодушие и “моя хата с краю”»; «Уважение к прайвеси надо воспитывать еще в детстве. Как? Прежде всего, уважать личное пространство самого ребенка. Ведь детям, выросшим без ощущения собственного “угла”, трудно признать право другого человека на неприкосновенность личных границ» <Н. Сойнова> (ИС)².

Показательна активизация употребления и существенная модификация значений слов *самодостаточный, самодостаточность*. Вплоть до последнего десятилетия эти слова встречались весьма редко, вследствие чего не включены в академический «Словарь современного русского литературного языка» (1948–1965). В 1992 г. они фиксируются с пометой «книжное» в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, где *самодостаточный* трактуется как ‘самодовлеющий’ [ТСЛРЯ 1992: 694]. При этом коннотативный фон данных слов был весьма противоречивым, нередко они фигурировали в негативных контекстах, ср.: «Будущее решает не цивилизация, а сострадание и самоограничение. Самодостаточность — это самообольщение. Нельзя внушить себе, что мне хорошо» (1992)

²Появляются и неологизмы, в значениях которых отражены более частные аспекты «личностной» темы, ср., к примеру, слово *селфи* ‘снимок самого себя, сделанный на мобильный телефон или фотокамеру’. Несмотря на то, что это слово имеет весьма узкое значение, его появление весьма симптоматично: еще лет десять назад такие фотографии делались, но практически не афишировались. В последнее время публикация их в социальных сетях уже, кажется, не оценивается как проявление нескромности фотографа.

<В. Крупин>; «...она окунулась в море специфически советского убожества, не ведающего ничего, кроме себя самого, а потому неискоренимого. Именно эта безысходная самодостаточность серости угнетает в русской провинции» (1991) <Н. Климонтович>. Более ста лет назад замечательно определил *самодостаточность* (как проявление индивидуализма в оппозиции коллективизму) В. Соловьев в своем «Оправдании добра»: «С одной стороны, гипнотики индивидуализма, утверждая самодостаточность отдельной личности, из себя определяющей все свои отношения, в общественных связях и собирательном порядке видят только внешнюю границу и произвольное стеснение, которое должно быть во что бы то ни стало упразднено; а с другой стороны, выступают гипнотики коллективизма, которые, видя в жизни человечества только общественные массы, признают личность за ничтожный и преходящий элемент общества...».

Негативный «привкус» *самодостаточности* в доперестроечное время поддерживался отрицательной оценкой, заложенной в некоторых других словах на само-: *самовлюбленность, самолюбование, самонадеянность, самоволие* и др. Важно при этом напомнить о позитивном смысле слова *самоотверженность* и принципиальной для русской интеллигенции установке на «неудовлетворенность собой» как на источник личностного развития: «Человек есть существо собой недовольное, неудовлетворенное и себя преодолевающее в наиболее значительных актах своей жизни» (1936) <Н. Бердяев>.

В 1998 г. в словари попадает новое значение *самодостаточного* — ‘о человеке, обладающем большой степенью внутренней независимости’ [БТСРЯ: 1143]. На протяжении последних 10 лет слово отмечается преимущественно в «позитивных» контекстах: «Когда ты осознаешь свою полноценность, свою самодостаточность — ты никогда не будешь пытаться манипулировать чувствами другого человека» (2003) <Г. Копанев>; «И четвертое — завидная стойкость и способность выживать в одиночку, то есть самодостаточность высочайшей пробы» (2001) <В. Скворцов>; «Самодостаточный человек уверен, спокоен, доброжелателен. Самодостаточный человек силен привлекающей силой. С таким человеком всегда спокойно и хорошо рядом».

Произошли модификации слов, описывающих нестандартное поведение личности в обществе. К примеру, явно снижается употребительность лексемы *чудак*, фактически исчезло слово *чудик* (называвшее героев В. Шукшина и подобных им людей). Чудаки и чудики оценивались по-разному, но положительная оценка и искренняя симпатия к ним, кажется, преобладала³. При этом активизируется слово *маргинал*; прилагательное *неформатный* (и даже *неотформатированный*)

³ Ср.: «...забыл, когда последний раз встречал на улице тех самых физиков-лириков, банально обычное интеллигентное лицо немного не от мира сего в очках и с шевелюрой, занятое решением проблемы отправки человечества к Марсу. Ведь были же они, я же помню. Лет двадцать назад еще были» (2013) <А. Бабченко> (ИС).

начинает употребляться как характеристика человека. Нестандартное поведение стало восприниматься не только как индивидуальное отклонение от нормы, непредсказуемое чудачество, но и как вполне понятная для социума система действий, разворачивающихся по «нерегулярному», но предсказуемому сценарию: «Я могу отнести человека к маргиналам, если он вместо привычной социальной лестницы “школа — институт — работа (свадьба, дети) и т. д.” забил на учебу и уехал в Тибет, стал монахом, совершил кругосветку и ограбил банк. <...> Если ты не работаешь на работе официально, если не платишь налоги, если ты путешествуешь автостопом или просто по миру и живешь, допустим, в яхте, то ты — маргинал» <А. Мухачев> (ИС); «Есть тусовка и есть неформатные люди. Не поступают на коммерческие специальности, пишут стихи и ездят автостопом».

ТЕМА ПРАГМАТИЗМА И МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ. У ряда слов с оценочной семантикой появились «прагматичные» и даже «коммерческие» оттенки значений, ср. *достойный* ‘обеспечивающий хороший уровень жизни’ (подробнее см. [Ве-прева, Купина 2007]), *успешный* ‘финансово состоятельный и имеющий высокий карьерный рост’ (см. [Левонтина 2010: 16–20; Осипова 2008; 2011]). У слова *позитивный*, частотность которого резко возросла, в молодежной речи появился смысловой оттенок ‘прагматично позитивный, способствующий удовлетворению потребностей’, ср.: «Это позитивный учебник, без лишних рассуждений и всякой муры, то, что надо для экзамена»; «Позитивная пироженка, съела — и полдня сытая» <Екатеринбург> [ЛЗА].

Ощутимо и обратное — нейтрализация негативных коннотаций у слов с «прагматичными» значениями: *престижный*, *продажный*, *рыночный*. Уже несколько устаревшим кажется ироничное обращение героя В. Гафта в фильме Э. Рязанова «Гараж» (1984) к «прожженной» директорше рынка: «Рыночная Вы моя!»

Слово *мещанство*, которое со времен Чехова и Горького означало для русской и советской интеллигенции одну из основных антиценностей, утверждавшую примат материальных ценностей над духовными, практически не звучит в современном дискурсе и постепенно становится историзмом.

Не любила прежняя интеллигенция и *сытость*, которая трактовалась как «мировоззренческая ориентация на материальный комфорт, покой и благополучие» [Пьянкова 2010: 490], ср. один из приводимых К. В. Пьянковой типичных «старых» примеров: «Дети, выросшие в тепле, неге и сытости, вырастают духовно пустыми» (1926) <А. В. Ельчанинов>. Во многих современных текстах проявляется утрата негативных коннотаций у этого слова, которое ведет себя, по сути, как аналог *материального благополучия*: «Сытость становится вполне приемлемым вариантом жизненного идеала — комфортной, обеспеченной, успешной жизни. . . и даже дискутируется как возможный (или невозможный) вариант “национальной идеи” (ср. заголовки статей “Сытость — это рай”, “Национальная идея — хорошая сытая жизнь”))» [Пьянкова 2010: 492].

Любопытно, что анализирувавшееся выше (в связи с «личной» темой) слово *самодостаточный* обнаруживает в своем семантическом наполнении и «коммерческие» нотки. *Самодостаточность* не только характеризует внутренний мир человека, но все ощутимее «сдвигается» в сторону указания на материальную независимость и состоятельность. Именно благодаря этому смыслу слово стало частотным эпитетом при самопрезентации на многочисленных сайтах знакомств, ср. контексты вроде: «Красивый отец для зачатия ребенка. Нужна позитивная самодостаточная девушка с собственной жилплощадью»; «Интересная самодостаточная девушка, 37/178/62, ищет симпатичного...»; «Валера, 27 лет, самодостаточный, менеджер в крупной фирме, хочет познакомиться...» и т. д. Сходным образом устроен дискурс телепередачи «Давай поженимся»: «Она самодостаточная, она зарабатывает уже много»; «Не надо меня под крыло брать, я самодостаточный взрослый мужчина»; «Ищу самодостаточного блондина, с которым уютно бродить по улочкам Европы» и др. Это «коммерческое» значение развивается не только исходя из собственной семантической «программы» слова, но и калькирует англ. *self-made* ‘обязанный всем самому себе, сделавший себя сам’, в семантике которого есть акцент на «финансовой» составляющей: «*Self-made* is used to describe people who have become successful and rich through their own efforts, especially if they started life without money, education, or high social status» («Слово *self-made* используется для характеристики людей, которые стали успешными и состоятельными благодаря своим собственным усилиям, особенно если они начали свой путь без денег, образования или высокого социального статуса») [АВВУУ Lingvo x 5]. Характерно, что обсуждаемое английское слово не только сообщает русскому аналогу свою «смысловую энергию», но и напрямую заимствуется, хотя употребляется пока в русских текстах весьма редко: «Селфмейды есть всегда, просто они не всегда такого уровня, как Гейтс. Например, ребенок из Новокузнецка из семьи алкоголиков имеет способности, хорошо учится, встречает случайно людей, которые его вдохновляют, идет в универ, заканчивает с отличием, потом едет в Москву, работает, становится начальником отдела в Сбербанке с зарплатой с 6 нулями. Вот тебе и селфмейд» <И. Мананников> (ИС).

В советское время популярным было слово *самоуправление*, в котором корень *само-* имел не личностный, а сугубо «коллективистский» смысл: ‘форма управления, порядок, при котором общество, какая-л. организация и т. п. самостоятельно решает вопросы внутреннего управления’ [ССРЛЯ 13: 144]. Сейчас это слово употребляется все реже и реже. «На горизонте» делового дискурса (с быстрым переходом в речь молодежи) появилась полукалька *самоменеджмент*, имеющая уже отнюдь не «общественное» значение. *Самоменеджмент* — умение человека так организовать жизнь, чтобы добиться в первую очередь материального успеха: ‘работа над собой в рамках личного развития и освоение методов деловой активности, связанных с управлением деньгами и проектами’, что должно привить человеку «умение выстраивать конкурентоспособную стратегию и знать ключи

к счастью» (ИС). Интересно, что английский источник — слово *self-management* — означает не только работу личности над собой, но и самоуправление предприятий [АВВУУ Lingvo x 5]. В современном русском слова *самоуправление* и *самоменеджмент* далеко отстоят друг от друга, ассоциируясь с разными по ценностным ориентирам эпохами. Говорящим не приходит в голову, что эти слова — «близнецы», образованные по одной и той же модели.

Тема «душевного здоровья» и «антиидеализма». Данная тема, тесно переплетающаяся с предыдущей, обнаруживает победу Штольцев над Обломовыми в том варианте духовной жизни общества, который насаждается многими СМИ и рекламой.

В круг аксиологической лексики (преимущественно в молодежной речи) вошли слова *нездоровый* и *здоровый*, *без комплексов*, оценивающие соответствие поведенческой и мировоззренческой норме. Фиксируется устойчивая сочетаемость прилагательного *здоровый* со словами *пофигизм* и *эгоизм*, ср. название книги Н. Ром «Как выработать здоровый пофигизм, или 12 шагов к уверенности в себе» (2007). В то же время *нездоровыми (излишними)* считаются проявления «активной жизненной позиции», «душевного подъема» — *энтузиазм*, *рвение*, *пристрастие*, *интерес*, *ажитоаж*, *экстаз* и т. п. Ср.: «Тетя нашего ученого и его друг беспокоились за его нездоровый энтузиазм к науке и отсутствие увлечений, общепринятых среди простых людей»; «Сегодня демонстрировала нездоровое рвение к учебному процессу, жажду знаний и просто бытового героизма — пришла в универ со страшными коликами»; «Только не показывай эту книжку профессору, а то опять проявит к ней нездоровый интерес».

Отрицательный подтекст чувствовался раньше при употреблении сочетания *практичный человек (люди)*: «А то, что практичные и целеустремленные люди считают занудством, — это доброта, это огромная и неутолимая потребность в сочувствии, в человеческом общении» (1975) <Ю. Сергеев>; «Если практичные люди каким-то чудом когда-нибудь и впрямь сумеют учредить на Земле свой скромный рай — с комфортом, но без поэзии, — мир вполне может погибнуть не от атомной бомбы, а от скуки» (2001) <А. Мелихов>. Сейчас *практичный человек* оценивается положительно: «Вы надежный, практичный, реально мыслящий человек, предпочитающий, чтобы вас ценили за хорошую работу. <...> Люди, принадлежащие к данной категории, — прекрасные организаторы, способные брать на себя ответственность за других. Они являются опорой любого общества» (2004) <С. Лазебная>.

Существенные изменения претерпело слово *романтика*. В русском языке доперестроечного времени с ним связывалось специфическое предметное поле (дальняя дорога, костер, рассвет, песни под гитару и т. п.), за которым стоит бытовая неустроенность и несовместимость с комфортом. В постсоветское время такая романтика утрачивает для молодежи притягательную силу — и соответствующее употребление слова уже неактуально (подробнее см. параграф 5.2).

«Деромантизация» затронула и слово *пафосный*, которое в молодежной речи нередко «перекидывается» на новый круг денотатов из области мира материального, означая что-то изысканное и слишком дорогое, ср. сочетания вроде *пафосное кафе*, *пафосные стразы*, *пафосный салат* и пр.: «Есть ли еще места в новогоднюю ночь в каком-нибудь кафе — желательнее не очень пафосном, чтобы комфортно себя чувствовать?»; «Классный гламурно-пафосный ремень. Стразы, крепления прочные, пряжка удобная. Кожа искусственная, лакированная»; «Birkin от торгового дома изготавливаются только на заказ, да и стоимость подобного пафосного изделия может стартовать от 7–8 тысяч и финишировать в районе 30–40 тысяч долларов за штуку» (подробнее о современном употреблении этого слова см. [Фролова 2008]).

Вместо «идеалистического» *призвания* молодежь все чаще говорит о *карьере* (жизнь этого слова проанализирована в [Феоктистова 2009; Шмелева 2011: 98–101]).

Еще одна подобная пара — *творчество* и *креатив*. Слово *творчество* по своему коннотативному фону наилучшим образом связывается с девизом «не продается вдохновенье» — в то же время *креатив* делает акцент на строке «но можно рукопись продать». Прилагательное *креативный* фигурирует в названиях должностей и структур (*креативный директор*, *менеджер*, *бюро*, *агентство*, *отдел*, *совет*), оно является характеристикой далеко не только творческого потенциала, но не в последнюю очередь — деловых качеств человека, включая предприимчивость, активность, инициативность: «Это очень креативный человек, он и актер, и продюсер, и даже президент анимационной компании». В таком наполнении слова определенную роль играют собственно технические факторы — притяжение *креативный* к *реактивный* и *активный*. Интеллектуальные «объекты», на которые направлен *креатив*, являются объектами купли-продажи, поэтому нематериальное *вдохновение* (с которым дружит *творчество*) совсем не является спутником *креатива*. Возможно полярное расхождение *творчества* и *креатива*: «Это раньше творили, а теперь разве так скажешь? Если попсовый композитор пишет песню, это не творчество, это он задвигает креативчик» (подробнее об этой лексеме см. [Вепрева 2009]).

В число положительных качеств вошла *адекватность*, трактуемая как умение здраво (рационально) оценивать обстановку, ср.: «Президент — это своего рода топ-менеджер, управляющий всей страной. Он умный, адекватный человек, никогда не превышающий пределы своих полномочий». Вслед за *адекватностью* активизировалась и *вменяемость*: «Он, кажется, вполне вменяемый, без лишнего пафоса»; «Машка вменяемая пока, не будет вопросы преподавателю задавать, других задерживать». Если раньше оба эти слова, употребляясь по отношению к человеку, означали психиатрический диагноз («состояние психически здорового человека, при котором он способен давать себе отчет в своих действиях и руководить ими»), то сейчас они имеют более широкий смысл, за ними стоит

«трезвая» жизненная позиция, «нормальность», предполагающая антиидеализм, умение погасить «высокие порывы» или отсутствие таковых.

ТЕМА ЖЕСТКОСТИ, НАСТУПАТЕЛЬНОСТИ, АГРЕССИИ. С одной стороны, сама жизнь, действительность «наступает» на людей, ср. активное сейчас слово *вызов*, калькирующее английское *challenge*. О его жизни в современном русском языке, которая включает употребления в анекдотически выглядящих контекстах вроде «И еще больший вызов — засохшая свекла <реклама пятновыводителя>» (см. в [Левонтина 2010: 13–16]). Эти *вызовы* заставляют не жить, а *выживать*, не *позволяют расслабиться* и пр. С другой стороны, жесткость требуется и от человека, ср. возросшую частотность сочетаний типа *жесткий ответ*, *жесткая реакция*, *жесткое решение*, *жесткий стиль управления* и тенденцию к снятию отрицательной оценки, чувствовавшейся в них раньше: «Здесь уместен только жесткий и внятный ответ»; «Бизнес-тренинг: “Переговоры: жесткий стиль”»; «Нужна адекватная жесткая реакция, только она может внести ясность». В целом ряде контекстов нейтрализуется и негативная окраска слова *агрессивный* — если имеется в виду наступательный, энергичный стиль поведения (об этом слове см. [Там же: 22]).

ТЕМА «ЛЕГКОСТИ БЫТИЯ». Эта тема в известной степени противоположна предыдущей. Ценностью стала возможность *получить удовольствие*, *испытать наслаждение* и пр., что подтверждается высокой частотностью соответствующих слоганов, которые раньше, в доперестроечное время, практически не звучали, поскольку получение удовольствия никак не входило в число высоких человеческих устремлений. Слово *позитивный*, о котором говорилось выше, включает в свою положительную программу не только «полезность», но и «приятность»: *позитивные люди* умеют доставлять удовольствие от общения, с ними легко, просто и радостно: «Позитивного человека хочется угостить чем-то вкусеньким»; «Друзья знают, что я позитивный человек, и зовут на все тусовки»; «Позитивные люди много улыбаются! Это самая видимая их черта, которая так всем нравится». Такие люди не будут никого *строить*, *напрягать*, *парить*, *грузить*. Эти и другие жаргонные глаголы, негативно оценивающие посягательство на свободу, получили в последнее время большое распространение и тоже пропагандируют — от противного — необременительность человеческих взаимоотношений: «Ненавижу, когда меня грузят всякими моральями. Если парень скажет мне хоть одно напрягающее слово, тут же брошу, зачем мне такой зануда».

ТЕМА ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ. У ряда слов появилась «эротическая» составляющая семантики: *откровенный* (в сочетаниях *откровенное фото*, *откровенное видео*, *откровенные фантазии*, *откровенные подробности*, *откровенный купальник*), *горячий* (показательны сочетания *горячий парень* и даже *горячая девушка*; ср. контексты: «Эти штучки для горячих парней» (реклама презервативов); «Горячие

девушки подарят тебе незабываемую ночь»), *возбудить, возбудиться* (ср. слоган с эротическим рисунком в салоне оргтехники — «Возбуди разум!») и др. Возникли новации в семантике слова *ориентация*: в СМИ стала популярной запретная раньше тема различий в сексуальной ориентации (традиционной / нетрадиционной), что обусловило «конденсированное» словоупотребление, когда *ориентация* без определений понимается в «сексуальном» смысле (вопрос «Какой он ориентации?» можно истолковать именно так). Ощутима и обратная тенденция, которая заключается в экспансии слов сексуально-эротической сферы в сферу лексики с семантикой общей оценки, ср. в молодежном жаргоне — *сексуальный, эротичный* ‘очень хороший, высокого качества, «классный»’: «Эротичные кроссовки купил, клёво!»; «В столовке сегодня новые булочки продают, такие эротичные, с маком»; «Такое сексуальное крылечко сделали к магазину, красота» <Екатеринбург> [ЛЗА]. О широкой употребительности этих слов свидетельствует тот факт, что они встречаются в сферах телевидения и кинематографа. К примеру, модельер С. Зверев в телепередаче «Полный фэшн» (канал «Муз-ТВ») говорил, обращаясь к сыну-подростку: «Смотри, какие сексуальные блины с клубникой! О-о, какие сексуальные блины!» Герой фильма А. Велединского «Географ глобус пропил» (2013), сплавляясь по бурной уральской реке, пытается передать впечатления от величественной и прекрасной природы, воскликнув: «Эротичненько!»

* * *

Как уже говорилось, выше были представлены далеко не все темы, проявляющиеся в русских аксиологических неосемантизмах. Разумеется, набор тем и их наполнение постоянно модифицируются.

Описанные изменения привели к результатам, которые в большинстве своем не являются специфически русскими, но затрагивают Европу и весь глобализованный мир. В ряде случаев уникальна «стартовая» семантика, поэтому индивидуален сам путь, который проделывает меняющееся слово, но он дает типовой результат, калькирующий и тиражирующий особенности словоупотребления в «универсальном» языке глобализованного общества (в первую очередь — в языке рекламы). Мы не указывали (за редкими исключениями) источники калькирования и параллели в других языках именно потому, что соответствующие примеры вполне тривиальны. Интересны для изучения не межъязыковые соответствия, а пути вхождения калек в русский язык, степень (глубина) и формы трансформации традиционной семантики. Можно ли прогнозировать, как поведут себя отдельные «списанные» с иностранных образцов значения, будут ли они фигурировать в каком-либо ограниченном дискурсивном пласте — либо перешагнут за его пределы и вторгнутся в какой-то широкий социолект (в том числе в интержаргон) или даже литературный язык?

Так, в наши дни можно задуматься о семантическом будущем *друга* и *дружбы* — русских слов, обладающих яркой национальной спецификой и не имеющих

точных соответствий в европейских языках (о русской модели дружбы на инокультурном фоне см. [Вежбицка 1999: 340–375]). Понятие русской дружбы предполагает интенсивное и задушевное личное общение и готовность помогать, что не акцентировано, к примеру, в семантике английского слова *friend* [Там же: 348]. К употреблению слова *друг* русские относятся с трепетом и ответственностью: «...в ситуации, когда носитель английского языка может описать кого-либо “a friend of mine”, носитель русского языка вынужден подвергнуть отношение значительно более глубокому анализу и решить, следует ли описывать человека, о котором идет речь... как *друга, приятеля, товарища* или *знакомого*» [Там же: 345]. В последние годы в различных социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» и др.) появились беспрецедентные для русского языкового сознания словоупотребления, означающие действия по установлению / прекращению контактов между пользователями сети, вроде *добавить друзей, назначить другом, подсказка подружиться, уведомлять о новых друзьях (об отказах в дружбе, об окончании дружбы)* и т. п. Непривычны для традиционных представлений о дружбе и сами ситуации, в рамках которых разворачивается сетевое взаимодействие людей: виртуальное общение зачастую ни к чему не обязывает и не предполагает глубины и задушевности, означая лишь собственно ситуацию контакта, наличие еще одного канала связи (помимо телефона и др.).

Какова сфера употребления лексики и фразеологии, связанной с «сетевой» дружбой? Можно с уверенностью говорить, что сейчас этот лексический пласт вышел за пределы сетевых команд и широко функционирует в молодежном сленге, ср., к примеру, анекдот, описывающий диалог между дедом и внуком, который может произойти через сорок лет: «— Дедушка, а как ты с бабушкой познакомился? — Охо-хо, внучек... Она меня в друзья добавила». При этом в ряде случаев «сетевая» дружба противопоставляется «настоящей», действительной: «Если человек есть у меня “ВКонтакте”, это еще не значит, что мы с ним действительно дружим»; «Мы выяснили, что он защищает государство, а я народ, а так как наше государство — враг нашему народу, то дружить у нас с ним получится разве что на “Одноклассниках”»; «Она попросилась в друзья, я добавила, но мы не общаемся даже при встрече». В то же время фиксируются многочисленные словоупотребления, в которых граница между действительной и «сетевой» дружбой стирается: «У меня “ВКонтакте” есть страничка. Я недавно добавила одну девчонку, теперь мы с ней дружим»; «Дружу я с одной девочкой на работе, она в другом отделе работает, но мы взаимодействуем. А дружим мы с ней хорошо — даже “ВКонтакте” друг друга добавили! Обедать еще ходили вместе несколько раз в кафе, домой вместе ездили. В общем, в целом хорошо общаемся»; «Она нашла меня на “Одноклассниках”, добавила в друзья, мы дружили года два, ходили в клуб, рефераты друг у дружки списывали. Но такая зануда оказалась, я ее удалила из друзей, а обижается она, — мне все равно, теперь не встречаемся»; «У меня в друзьях теперь много знакомых по музыкальной школе».

Контексты демонстрируют как «симбиоз» виртуальной и реальной дружбы, так и устранение тех тонких, но важных «перегородок», которые отделяли в русском языке *друга* от *знакомого* или того, с кем *просто общаются*. Понятие о дружбе, которая «познается» записками в сети, перерастающими в совместное хождение в клуб или кафе, далеко от традиционного русского *дружья познаются в беде*.

Таким образом, в молодежный сленг уже внедрилась «странная» для русского языка практика употребления слов *друг* и *дружба*. Время покажет, как будет разворачиваться дальнейшее взаимодействие традиционного и нового словоупотребления, но важные последствия для русской лексики ценностей здесь очевидны, поскольку речь идет о краеугольном аксиологическом концепте.

* * *

Каждое из описанных изменений по отдельности не таит сюрпризов для включенного наблюдателя, но в совокупности они производят определенное впечатление, удивляя стремительностью и масштабом незаметных на первый взгляд перемен. Можно сетовать, что «новояз» создает противопоставление говорящих на нем «детей» и во многом не приемлющих его «отцов», что он порывает с традициями русской литературы и культуры в целом, но мы знаем, что подобные lamentации, естественные для гражданина, непродуктивны для исследователя, которому важно выбирать определенные «точки замеров» и фиксировать происходящие сдвиги, определяя их место во времени и пространстве.

5.2. РОМАНТИКА*

Языки стран социалистического лагеря объединялись в своеобразный «идеологический языковой союз», который управлялся общими законами не только создания и существования, но и распада [Седакова 2008: 429]. Общие закономерности наиболее очевидны в процессах входа и выхода из системы языка пластов лексики, обозначающей нарождающиеся и отмирающие реалии общественной жизни, феномены актуальной идеологии. Менее заметны (и менее изучены) они в семантике тех слов, которые не входят в «первый эшелон» злободневной идеологической лексики, но обозначают духовные ценности, значимые для многих поколений. Рассмотрим слово «романтика» (и его дериваты) в русском и польском языках периода социализма и в постсоциалистическую эпоху.

Слова «романтика» и «романтизм» имеют несомненную национально-культурную специфичность, ср. высказывание Ч. Милоша: «Романтизм — слово, имеющее много значений, и разных, в зависимости от языка и страны. Нечто

* Соавтор — Л. А. Феоктистова.

особое оно означает в немецкой литературе и английской. Нечто особое в русской. В любом случае мы сделали бы ошибку, пытаясь втиснуть это понятие в какую-либо рубрику из энциклопедии» [Miłosz 2004: 7].

Высокая аксиологичность романтики (как мироощущения) в том, что она нацелена на поиск идеалов. И для русских, и для поляков романтика имеет особое звучание, поскольку связана с автостереотипами национальностей. Русские нередко представляют себя романтиками-мечтателями (идеалистами), ср.: «Настоящий русак у нас — беспочвенный романтик, и режим был беспочвенно романтическим, полагавшимся на мировую революцию, инициативу снизу, соцсоревнование и победу коммунистического труда» <В. Пьецух>; «У русского человека, как романтика по преимуществу, очень много предрассудков: ни наука, ни скептицизм, ни жизнь, часто очень неласковая, не могут еще выбить их из него» <Н. Златовратский>. Поляки же видят своих соотечественников как романтиков-патриотов, борцов за национальную независимость [Бартминьский 2005: 179], ср.: «W Polakach jest bardzo wiele romantyzmu i żarliwego patriotyzmu» («В поляках очень много романтизма и горячего патриотизма») <Э. Мистевич>; «Jesteśmy bowiem w głębi duszy ciągle romantykami i dlatego właśnie lubimy potrząsać szabelką, najlepiej za wolność naszą i waszą, Boga i Ojczyznę» («Ибо в глубине души мы все еще романтики и именно поэтому любим потрясти сабелькой, лучше за свободу вашу и нашу, Бога и Родину») <Й. Кубяк>; «Patriotyzm polski był i jest patriotyzmem romantycznym, nawet w okresie pozytywizmu. Pozytywizm był też romantyczny, tylko wymagał nieco innego poświęcenia niż walka zbrojna za Ojczyznę. <...> Polak zawsze będzie wielkim romantykiem, a Ojczyzna jest dla niego pojęciem wzniosłym. Innego patriotyzmu nie znamy» («Польский патриотизм был и остается патриотизмом романтическим, даже в эпоху позитивизма. Позитивизм тоже был романтическим, только требовал несколько иных жертв, чем вооруженная борьба за Родину. <...> Поляк всегда будет большим романтиком, а Родина для него — возвышенным понятием. Другого патриотизма не знаем») <В. Поляк>. Вероятно, акцент на романтизме в автостереотипе поляка более ощутим, чем у русского, — особенно если учесть историческое прошлое и порожденную им богатую культурную традицию, символами которой стали Мицкевич и Шопен⁴.

⁴ Ср.: «Mit bohaterski romantyzmu okazał się najbardziej trwałym polskim mitem. <...> Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź prawdopodobnie tkwi w historii, która stała się częścią tożsamości, w trwałym uformowaniu polskiej mentalności jako “romantycznej”. Nie przypadkiem popularne wyobrażenie o Polakach i wśród nich samych, i wśród narodów świata przedstawia ich ciągle jeszcze jako “romantyków”. Otóż, jak się wydaje, ta polska “romantyczność” polega przede wszystkim na określonym stylu patriotyzmu, ukształtowanego przez literaturę» («Героический миф романтизма оказался наиболее устойчивым польским мифом. <...> Почему так происходит? Ответ, вероятно, коренится в польской истории, которая стала частью современности, в устойчивом укладе польской ментальности как “романтической”. Не случайно популярное представление о поляках и среди них самих, и среди народов мира постоянно изображает их еще как “романтиков”. Таким образом, как кажется, эта польская “романтичность” основана прежде всего на определенном стиле патриотизма, сформированного литературой») <М. Янион>.

Вместе с тем идеалы изменчивы и в известной мере определяются историческими обстоятельствами: «Каждое время рождает свою романтику» <Д. Гранин>. Эти изменения обуславливают смысловые модификации рус. *романтика* / польск. *romantyka* в изучаемый период.

Для русского и польского языков эпохи социализма характерна романтизация революций и войн, что проявляется в таких сочетаниях, как *революционный романтизм*, *романтика борьбы за свободу, за народ*, *romantyzm rewolucyjnych barykad*, *romantyka walk partyzantskich* и др.

Борьба продолжалась и в мирное время, когда нужно было восстанавливать народное хозяйство, отсюда *романтика труда*, *романтика дня*, *трудовых будней*, и т. п.: «Я хочу показать суровую романтику опасного и изматывающего труда» <М. Сенин>; «Это стихотворение, — подумал я, — больше всего подойдет для радио. Штормы, шквалы — романтика рыбацких будней» <В. Аксенов>; «Романтика труда пронизывает всю ленту “Мы — рабочий народ”» <Т. Кулаковская>; «Всюду ты свой человек, двадцать камер на боку, романтика будней, трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете» <А. Драбкина>.

В польском языке сочетания типа *romantyzm pracy* тоже встречаются, но, кажется, гораздо реже, чем в русском (и, как нам представляется, нельзя говорить об их активизации в определенную эпоху). Ср.: «Uczeń Wolskiego Aleksander Matejko stwierdził, że był on jednym z ostatnich romantyków pracy, upominającym się o polepszenie doli każdego pracownika najemnego» («Ученик Вольского Александр Матейко утверждал, что он <Вольский> был одним из последних романтиков труда, требующим улучшения доли каждого наемного работника») <Б. Кравчик>.

Притягательной силой обладала та деятельность, которая связана с *романтикой странствий*, борьбой с природной стихией (работа летчика, моряка, геолога, строителя дорог и т. п.), ср.: «Дорога на океан — это романтический, полный героизма труд людей» <В. Захарченко>; «У дорожников своя романтика труда. Они семьями кочуют с одного участка на другой. Прорубают просеки, срезают горки, заваливают овраги, строят мосты и устраивают кюветы» <А. Кудреватых>.

Особый оттенок появился в языковом образе романтики в 1960-е гг., во время «оттепели» в Советском Союзе. Эта эпоха была проникнута *романтическими настроениями*, ожиданиями перемен. Новизна романтизма этого периода заключается, с одной стороны, в высвобождении личностного начала, с другой — в поисках того, что могло бы составить антитезу рутине повседневной «негероической» жизни. Эти мотивы наиболее ярко проявляются в бардовской песне, питавшей (как в России, так и в Польше) не одно поколение любителей «*romantycznych ballad gitarowych, poezji, sztuki*» («романтических гитарных баллад, поэзии, искусства»).

За советской романтикой 1960–1980-х гг. стоит намерение «жить километрами, а не квадратными метрами» <Ю. Кукин>, она связывается со специфическим

предметным полем (костер, рассвет, дальняя дорога, песни под гитару и т. п.), предполагающим бытовую неустроенность и несовместимость с комфортом. Характерно сочетание *романтика «антибыта»*, у которого есть польский аналог: *romantyka przeciw nudzie codziennego życia* («романтика против рутины будничной жизни»).

Основные мотивы в комплексе представлений о романтике нашли отражение в программном стихотворении Э. Асадова:

Прихлынет тоска или попросту скука	А рядом незримо стоит Романтика
Однажды присядет к тебе на порог,	И улыбается в темноту.
Ты знай, что на свете есть славная штука —	А где-то в тайге, в комарином гуде,
Романтика дальних и трудных дорог.	Почти у дьявола на рогах,
Экзотика... Яркие впечатленья.	Сидят у костра небритые люди
Романтика с этим не очень схожа.	В брезенте и стоптанных сапогах.
Она не пираты, не приключенья,	Палатка геологов — сеть и пригнуться.
Тут все и красивей гораздо, и строже:	Приборы, спецовки — сплошной неуют.
Соленые брызги, как пули, захлопали	Скажи о романтике им — усмехнутся:
По плитам набережной Севастополя,	— Какая уж, к черту, романтика тут?!
Но в ночь штормовую в туман до утра	Но вы им не верьте! В глухие чащобы
Уходят дозорные катера.	Не рубль их погнал за родимый порог.
А возле Кронштадта грохочет Балтика.	Это романтики чистой пробы,
Курс — на Вайгач. Рулевой на посту.	Романтики дальних и трудных дорог!

Некоторые из этих мотивов оказались подхваченными языком идеологии — и изучаемое слово вошло в арсенал «комсомольской» лексики. Яркое свидетельство тому — появление в «застойные» годы в Советском Союзе множества комсомольских и пионерских отрядов, молодежных лагерей, периодических изданий и пр. под названиями «Романтик» или «Романтики».

Постепенно из сферы трудовой деятельности романтика уходила в сферу проведения досуга — «ближний» (внутри страны), «самодельный» туризм, который, как и странствия предыдущих эпох, предполагал уход от цивилизации и борьбу с природной стихией. Эта тенденция становится наиболее ощутимой в 1980-е гг.

В постсоциалистическое время в культурно-языковом сознании носителей русского и польского языков происходит **«ревизия» романтизма** — и существенным образом меняются коннотации, денотативное поле и сочетаемость изучаемых лексем.

Во-первых, усиливается негативная оценка *идеализма* и *созерцательности*, сопровождающих романтику, — зато повышается позитивная оценка *расчетливости*, *практичности* и *прагматичности* (см. параграф 5.1, с. 431).

Во-вторых, романтика вытесняется из сферы «самодельного» туризма в область туризма международного с присущим ему бытовым комфортом. Показательно новое «романтическое» имятворчество: пансионаты в курортных городах получают название «Романтика», такое же имя носит пляжный набор (полотенце,

коврик, шлепанцы и др.), а пляжный лежак называется «Романтик» (ср.: «Лежак “Романтик” — незабываемый комфортабельный отдых под южным солнцем!»).

Смысловая ниша, образовавшаяся на месте прежней «неустроенной» *романтики*, в какой-то мере восполняется, с одной стороны, *экзотикой*, с другой — *экстримом*, который позволяет *выбросить адреналин*, испытать *острые ощущения* и т. п., ср. рекламу на сайте польской туристической фирмы: «Wszystkich tych, którym romantyzm kojarzy się ze wspólnym przeżywaniem niecodziennych i pełnych adrenaliny sytuacji zapraszamy do Czech na sport i inne aktywne czynności, których doświadczenie wzmocni nasze uczucia i wzbogaci je o niecodzienne przeżycia» («Всех тех, для кого романтизм связывается с совместным переживанием необычных и полных адреналина ситуаций, приглашаем в Чехию для занятий спортом и другой активной деятельностью, которые закаляют наши чувства и обогащают их необычными ощущениями»).

В-третьих (и это наиболее заметно), актуализируется «любовный подтекст» романтики: «ужин на двоих (влюбленных)» — *романтический ужин (при свечах)*, *romantyczna kolacja*; «путешествие влюбленных» — *романтическое путешествие*, *romantyczna przygoda* и др.; фиксируется даже *bieg romantyczny parami* («романтический бег парами»)⁵. Ср. контексты: «Бесконечное восхищение в глазах красотки, покрасневшее от пока не высказанной благодарности личико, поцелуй в награду, романтический ужин, шелковое постельное белье...» <журнал «Хулиган»>; «Иногда даже не так важен партнер и его качества, сколько то, как он “обставляет” роман: свечи, рестораны, камин, дорогие подарки, романтические путешествия...» <В. Николаевский>. Показательно рассуждение пожилой учительницы русского языка и литературы, которая воспринимает новую сочетаемость с большим недоумением: «Если б мне раньше сказали “*романтический ужин*”, я подумала бы, что это ужин у костра с печеной картошкой и отрядом друзей. Теперь это двое влюбленных в дорогом ресторане...» [ЛЗА]. Создается впечатление, что *романтическая любовь* из возвышенно-трагического чувства превращается в рекламно-медийном дискурсе в галантную ритуализацию сексуальных отношений.

В-четвертых, язык рекламы порождает «овеществление» романтики: акцент переносится с чувствующего, романтически настроенного субъекта на весь мир товаров и услуг, которые способны вызвать в нем соответствующее настроение и чувства, отсюда название стиля «романтика» (или «романти́к» — с подчеркнуто «иностранным» ударением) в одежде, прическах, мебели, интерьере и пр. На смену «неустроенной», «антибытовой» романтике прежних лет пришла новая

⁵ «Любовное» значение попадает в новые словари польского языка (в «классическом» словаре второй половины XX в. [SJPD] оно отсутствовало), ср. «*Romantyczne jest to, co odnosi się do uczuć miłosnych*» («Романтическое (романтичное) — это то, что относится к любовным чувствам») [ISJP 2: 458].

«антуражная» романтика, которая характеризуется установкой на старомодность (весьма недешевую и с претензией на изысканность) и призвана вызывать «женственно-любовные» ассоциации, ср.: «Этот диван в стиле романтик располагает к романтике, позволяет утопать в роскошной мягкости»; «Сделаем свадебные фотографии в стиле романтик и гламур»; «Wieszak romantyczny. Ażurowy wzór uzyskano przez laserowe cięcie arkusza cienkiej blachy. Sam w sobie jest bardzo dekoracyjny, dostępny w kolorach błyszczącym białym i czarnym» («Романтичная вешалка для одежды. Ажурный узор получен лазерной резкой тонколистового железа. Сама по себе очень декоративная, есть блестящего белого и черного цветов»); «Romantyczny sweterek. Romantyczne żaboty, falbanki i kokardy są ważnym elementem stylizacji w ramach wiktoriańskiego, romantycznego trendu» («Романтичная кофточка. Романтичные жабо, оборки и банты являются важным элементом стилизации в рамках викторианского романтического тренда»); «Tegoroczny “historyczny romantyzm” różni się przede wszystkim objętością. Królują falbaniaste sukienki i spódnice złożone z kilku warstw, a także warstwowe, fantazyjne toru» («“Исторический романтизм” этого года отличается прежде всего объемом. Господствуют платья с оборками и брюки, <сложенные> в нескольких слоев, а также многослойные, фантазийные топы») и др. Эта «любовно-вещественная» семантика практически терминологизировалась, ср. классификацию мужской парфюмерии, которая делится на *дневную*, *офисную* и *романтическую* (вечернюю или ночную). Характеристика стиля (одежды, «вещного мира» и т. п.) иногда шутливо проецируется на личность того, кто этому стилю привержен: «Он как истинный романтик Завязал на шее бантик. Стильный-мыльный, фу-ты, ну-ты, Мозга нету, пальцы гнуты»; «Гламурная девочка — ужас, что за дура! Девочка “романтик” — прелесть, что за дурочка!» [ЛЗА].

* * *

Сходство русских и польских инноваций в семантике слова «романтика» (при различиях акцентов в смысловом наполнении слова в период «до глобализации») свидетельствует о вхождении языков бывших социалистических стран в новый «идеологический языковой союз» — глобальное, преимущественно англоязычное (или «англоцентричное») информационное пространство.

5.3. САМОЛЮБИЕ

Есть такие «ценностные» слова, значения которых, казалось бы, не должны испытывать сдвигов во времени, пространстве и социуме. К их числу априорно можно отнести *самолюбие*. Предположение о его смысловой неизменности (или минимальной изменчивости) основывается на двух аргументах — понятийном

и собственно языковом. Первый состоит в том, что самолюбие предполагает обращенность человека к самому себе, а это «чувство», если не ахронично, то, по крайней мере, в самой малой степени зависит от изменений политической, социальной и культурной жизни общества. Вторым аргументом в том, что слово *самолюбие* на всех этапах своего существования в языке сохраняет прозрачную внутреннюю форму, что, как известно, должно «сдерживать» развитие значения.

В то же время исследование, результаты которого изложены в данном параграфе, посвящено как раз смысловым вариациям, наблюдаемым у этого слова в различные периоды времени и в разных социальных стратах. За словом *самолюбие* стоит такой мощный и многогранный концепт, что для его исчерпывающего описания понадобилась бы отдельная обширная монография. Поэтому в рамках настоящей работы будут приведены лишь некоторые иллюстрации к тезису об изменчивости концепта, наблюдаемой вопреки априорным соображениям, изложенным выше.

Анализ концептуального наполнения слова *самолюбие* в современном русском литературном языке на фоне некоторых других слов из его синонимического ряда (в первую очередь *достоинства* и *гордости*) осуществлен А. В. Санниковым в [НОСС: 292–297; Санников 2006: 447–454]. Принимая во внимание выводы А. В. Санникова, мы реализуем иные хронологические и социолингвистические параметры исследования: во-первых, будет предпринята попытка наметить закономерности изменений смыслового наполнения слова *самолюбие* во времени; во-вторых, будет рассматриваться судьба этого слова в иных, нежели русский литературный язык, пластах, контрастных по отношению друг к другу, — **русских народных говорах** и **языке современной рекламы**. Таким образом, рамки исследования будут расширены в указанных аспектах, но сужены в смысле охвата языковых проявлений концепта: нас интересуют не все его стороны, а только **оценочный компонент** в его составе.

1. Анализ словарей русского литературного языка конца XVIII — начала XXI в. позволяет увидеть некоторые изменения в оценке *самолюбия*, которая представлена в словарной дефиниции, иллюстративном материале, оценочных пометах.

Так, первый из интересующих нас словарей, «Словарь Академии Российской», фиксирующий язык конца XVIII в. (годы издания — 1789–1794), дает к слову *самолюбие* относительно нейтральную дефиницию ‘любовь, пристрастие к самому себе’, но снабжает его контекстом ярко негативного свойства (он является единственным): *Самолюбие есть порок, ослепляющий разум* [САР 6: 20].

В. И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка», составленном в середине XIX в., включает резко отрицательную оценку в собственно дефиницию: *самолюбие* ‘самострастие, пристрастие к себе, суетность и тщеславие во всем, что касается своей личности; щекотливость и обидчивость, желание первенства, почета, отличия, преимуществ перед другими (*себялюбие* больше

относится к корысти)»: *Польстив самолюбию его, можно им управлять. Где затронута самолюбие его, там уж он не уступит* [Даль₂ 4: 134]. В эту же статью включены обозначения субъектов самолюбия: *самолюб, самолюбец, самолюбка, самолюбица* — ‘человек самолюбивый, честолюбивый, который любит почет и лесть, везде хочет быть первым и требует признанья достоинств своих, ставит себя выше других’: *Самолюб никому не люб* [Там же].

В «Толковом словаре русского языка» (1935–1940) Д. Н. Ушакова *самолюбие* представлено как ‘высокая оценка своих сил, сочетающаяся с ревнивым отношением к мнению о себе окружающих; чувствительность к мнению окружающих о себе’: *Человек большого самолюбия. Ложное самолюбие. Болезненное самолюбие. Щадить чье-н. самолюбие*. «Этого, пожалуй, автору не говорите, из сожаления к молодости и авторскому самолюбию, самому беспокойному из всех самолюбий: нужен талант, а его тут и следа нет» <И. Гончаров> [Ушаков 4: 36]. Как видим, отношение к описываемому феномену несколько улучшилось: базовый компонент дефиниции — ‘высокая оценка своих сил’ — не содержит отрицательного отношения к объекту описания; негативная нотка добавляется во второй части дефиниции (‘р е в н и в о е отношение к мнению окружающих’), а особенно — в контекстах.

Очередное повышение оценки (и весьма существенное) ощущается в следующем по времени лексикографическом произведении — «Словаре русского языка» С. И. Ожегова. В одном из ранних изданий (1953) *самолюбие* трактуется как ‘чувство собственного достоинства, соединенное с ревнивым отношением к мнению о себе окружающих’ [Ожегов 1953: 640]. Как видим, дефиниция отождествляет *самолюбие* с *чувством собственного достоинства*, которое имеет однозначно положительную оценку (ср. *достоинство* ‘совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также сознание ценности этих свойств и уважения к себе’ [Там же: 151]). Для положительной оценки важна морально-нравственная составляющая, которая не проявлялась в более ранних определениях *самолюбия*. В то же время оценка в представленной дефиниции амбивалентна за счет сохранения компонента ‘р е в н и в о е отношение к мнению окружающих’.

Интересно, что в дальнейшем слово *ревнивый* изымается из дефиниций *самолюбия*. Ср. толкование «Словаря современного русского литературного языка» (1962): ‘чувство собственного достоинства, обычно сочетающееся с повышенной чувствительностью к мнению о себе окружающих’ [ССРЛЯ 13: 110]. Повышенная чувствительность «мягче» ревности (последняя в большей степени, чем первая, мешает субъекту здраво реагировать на мнение окружающих), что дает возможность оценке, отраженной в дефиниции слова *самолюбие*, подняться еще на шагок вверх.

Следующее повышение градуса оценки, отраженное в «Толковом словаре русского языка...» (2007), происходит за счет включения в дефиницию слова

самоуважение и исключения из нее упоминаний о ревнивых или чувствительных реакциях самолюбивого человека на чужое мнение: *самолюбие* ‘чувство собственного достоинства, самоуважения, самоутверждения’ [ТСЛРЯ 2007: 853].

Другой словарь рубежа XX—XXI вв. — «Новый объяснительный словарь синонимов русского языка» — в целом солидарен с этой трактовкой. *Самолюбие* включается в один синонимический ряд с *гордостью* и *достоинством* — с общей для ряда дефиницией ‘свойство человека Y, состоящее в том, что он осознает свою ценность в качестве X-а и ведет себя так, чтобы другие люди тоже признавали эту его ценность’ [НОСС: 292]. При этом в словаре демонстрируется и оценочная амбивалентность слов из данного ряда. Указано, что ряд *самолюбие* — *гордость* — *достоинство* соприкасается со следующими рядами синонимов и отдельными лексемами: 1) *самоуважение*; 2) *тщеславие, честолюбие, амбиция, претензия* (‘настойчивое стремление получить признание другими каких-л. свойств, качеств, достоинств, приписываемых себе’); 3) *самоуверенность, самонадеянность, самоуверенность*; 4) *эгоизм, себялюбие*; 5) *высокомерие, надменность, кичливость, заносчивость, спесь, чванство, гонор*. Лексема *самоуважение* оценивается положительно. Лексемы рядов 2)–5) в большей или меньшей степени выражают отрицательную оценку поведения или свойств человека со стороны говорящего [НОСС: 292].

Анализируя материалы словарей в плане оценочной окраски изучаемого слова, отметим еще словарные пометы, описывающие оценку, при подаче производных от *самолюбия*. Так, в «Словарь современного русского литературного языка» включены суффиксальные производные с резко негативными суффиксами со значением пренебрежения и уничижительности: разг., уменьш.-пренебр. *самолюбьице*: «И тут на первом месте самолюбьице — грош, фальшивый грош, никому не нужный» (1873) <М. Мусоргский>; разг., уменьш.-уничиж. *самолюбьишко*: «У них ни патриотизма, ни любви к литературе, а одно самолюбьишко» (1888) <А. Чехов> [ССРЛЯ 13: 111]. Как видим, при указанных словах даются контексты XIX в.; в современные словари эти производные не включены, поскольку ощущаются как устаревшие.

Итак, в словарях русского литературного языка конца XVIII — начала XXI в. ощутима временная динамика оценочного компонента в значении слова *самолюбие*. Оценка с течением времени неуклонно повышается — от осознания самолюбия как порока до приравнивания его к чувству собственного достоинства. Несмотря на «позитивизацию» *самолюбия*, словари показывают **оценочную амбивалентность** этого слова: негативный компонент измеряется остротой реакции самолюбца на чужое мнение.

Выводы об оценочном наполнении *самолюбия* в русском литературном языке есть смысл дополнить беглым анализом особенностей контекстной семантики слова. О негативной оценке свидетельствует способность слова образовывать оценочные сочетания с прилагательными *непомерный, неумеренный, неумный,*

больной, болезненный, раздутый, описывающими чрезмерную, по мнению говорящего, степень свойства: «Я запнулась, не желая произносить слова, могущего задеть ее болезненное самолюбие» (1901) <Л. Чарская>; «Из всего, что Львов рассказывает о Задунайском, можно вывести такое о нем заключение: великий ум, необычайная твердость души, огромные познания, но черствое сердце и непомерное самолюбие» (1806–1809) <С. Жихарев>; «Его природные душевные качества — постоянная неудовлетворенность и болезненное самолюбие — теперь, под влиянием объективных обстоятельств, еще более развились и обострились» (1998) <Ю. Елагин> и др. Самолюбие негативно, когда оно имеет целью свою выгоду в ущерб другим — и противопоставлено той черте, которая несомненно положительна как для русской классики, так и для текстов советского времени (особенно для последних) — с а м о о т в е р ж е н н о с т и: «В основе благородных чувств лежит человечность, самоотверженность и глубокая снисходительность к людям» (1881–1882) <М. Салтыков-Щедрин>; «Я лично ручаюсь за высокие нравственные и гражданские достоинства, за честность и самоотверженность каждого из них» (1986) <А. Сахаров>; «Это то инвариабельное, что унаследовано из глубины веков и как нравственный эталон дошло до нас в обогащенном советской цивилизацией виде: приоритет идеальных побуждений, служение общему делу, высшим идеалам, социальная справедливость, солидарность, нестяжательство, аскетизм, самоотверженность, дисциплина» (1992) <Л. Сигал>.

В то же время возможна положительная оценка самолюбия. Так, слово может сочетаться с прилагательным *здоровый*, указывающим на нормальную степень свойства: «Здоровое самолюбие человеку необходимо» (о такой сочетаемости см. в [НОСС: 294]); ср. также: «Здоровое самолюбие дарит жизнь, болезненное — живет разложением» <Л. Сухоруков> (ИС). Самолюбие считается положительной чертой только в том случае, если оно становится двигателем позитивных в волевом или этическом плане поступков, созидательной деятельности. У «хорошего» самолюбия «деятельностная» природа: «*Самолюбие*, в отличие от *гордости*, способно обозначать свойство человека, заставляющее его действовать, решать возникающие проблемы: “Самолюбие заставляло его тренироваться каждый день по несколько часов”» [НОСС: 293]. Ср. примеры из художественных текстов и публицистики: «Приятнее всего было мне прочесть отзывы журналов о “Записках маркёра”, отзывы лестные. Радостно и полезно тем, что побуждало к самолюбию и деятельности» (1855) <Л. Толстой>; «Я чувствую себя создателем, и это льстит моему самолюбию» (2003) <И. Олейников>; «Но они в любом случае выполняют важную воспитательную роль — будят у местных самолюбие и желание работать» (2002) <Е. Бирюкова>. В тех ситуациях, когда самолюбие созидательно, оно, как правило, помогает человеку преодолеть себя в каких-то сложных обстоятельствах: «По окончании старцевой речи прервалось молчание, тронутое самолюбие юношей заставило каждого стараться разрешить задачу с верными доказательствами: дав слово, что ежели оные опровергнутся и докажется им, что они неправы, то

последовать тому, что от него повелено будет» (1782) <Н. Новиков>; «Все держалось на самолюбии и крайней необходимости» (1983–1984) <В. Песков>.

Работа, стимулируемая самолюбием, нередко предполагает соревнование: «Педагогическая дисциплина вся направлена к тому, чтобы развить самолюбие воспитанников и заставить соревноваться друг другу тех из них, которые по природным своим способностям могут выйти на эту арену; остальные должны сидеть смиренно и не мешать» (1856) <К. Ушинский>. Ситуации, в которых проявляется самолюбие, нередко щекотливы и неоднозначны в этическом плане, но оно иногда помогает не сломаться, выйти из них с честью: «Пришла горькая пора отрезвления и правильной самооценки — мы нищие, мы отстали от Запада во всем на десятки лет, и единственное, что у нас есть, как это ни странно, — самолюбие, чувство собственного достоинства и патриотизм» (2000) <Э. Рязанов>; «Наконец самолюбие мое, жестоко уязвленное, заставило меня встать со стула и откланяться» (1793) <Н. Карамзин>; «Особенно привязан к ней я не был (через пять лет, в Берлине, я ее по небрежности потерял), но на меня смотрели из окон, и пыл молодого самолюбия заставил меня сделать то, на что сегодня бы никак не решился» (1954) <В. Набоков>. При этом способ достижения цели может оцениваться негативно: «Как и всех своих детей, она очень любила его, но именно потому у нее кипело сердце и ей хотелось возмутить его, задеть его самолюбие, оскорбить, — лишь бы заставить придать цену ее словам и ее понятию о жизни» (1902) <М. Арцыбашев>; «Оскорбляя беспрестанно самолюбие других народов, вы заставите наконец их очнуться от их непонятного и позорного сна» (1830) <М. Загоскин>.

Количество контекстов, в которых проявляется положительная оценка деятельностной природы самолюбия, со временем (особенно к концу XX — началу XXI в.) увеличивается. Обнаруживаются тематические сферы, наиболее богатые такими контекстами. В их числе с п о р т и в н а я с ф е р а: «Главное в том, что спартаковцы ни рвення, ни спортивного самолюбия даже и не пытались продемонстрировать» (2002) <Л. Александров>; «Ему очень тяжело, но запас скорости есть, самолюбие тоже» (2011) <Н. Зетилев, «Советский спорт»>; «У ребят есть самолюбие и желание закончить чемпионат с медалями» (2011) <В. Антонов, «Советский спорт»>; «Самолюбие помогло амбициозному “Арсеналу” обыграть “Шахтер”» <В. Евтушенко> (ИС). В числе ценных качеств тренера по спортивной борьбе выделяют «убежденность, уверенность, активность, коллективизм, общительность, обостренное чувство чести, долга, самолюбие, доброжелательность, требовательность, ответственность, порядочность, гуманизм, принципиальность, патриотизм, интернационализм, трудолюбие, скромность, самокритичность» <Г. Туманян> (ИС). Есть устойчивое сочетание *спортивное самолюбие*, которое тождественно, по сути, спортивной чести: «Спортивное самолюбие по-своему сопряжено с чувствами ответственности, долга и чести. Эти чувства для человека одаренного, с присущим ему конкретным восприятием действительности, обращены, как правило, к родным, друзьям, перед которыми никак нельзя ударить в грязь

лицом» (ИС); «Я надеюсь, что все будет по-спортивному... <...>. И у немцев, и у датчан есть спортивное самолюбие, ни о тех, ни о других я никогда не слышал, что были такие договорные матчи» (2008) <Э. Кокшаров> (ИС).

Амбивалентная оценка самолюбия ярче всего проявляется в контекстах, авторы которых рассуждают о возможности / невозможности причислить самолюбие к числу пороков. Самолюбие — порок, если из него вырастают эгоизм и презрение к другим: «...я знал его надменный характер и обращение свысока с провинциальными актерами и, признаюсь, боялся за свои отношения с ним, потому что мое самолюбие успело вырасти выше головы — порок, коим наша профессия одержима более всякой другой» (1930) <Ю. Писаренко>. Самолюбие оценивается положительно, если оно подвигает человека к активным действиям при уважительном отношении к другим людям: «“Самолюбие — не порок, а скорее добродетель, если сопровождается усердием и великодушием”, — пояснил Малиновский» (1886) <В. Авенариус>.

2. Иная концепция самолюбия представлена в **русской народной (крестьянской) языковой традиции** и реализована в семантике образований на *самолюб-* и контекстах к ним (по данным диалектных словарей). Гнездо слов на *самолюб-* в русских говорах весьма обширно, в него входят обозначения собственно черты характера (*самолюбство, самолюбие*), субъекта самолюбия (*самолюб, самолюбец, самолюбник, самолюбок, самолюбка, самолюбимка, самолюбница*), совершаемого им действия (*самолюбничать*), свойства этого субъекта (*самолюбый, самолюбимый, самолюбоватый, самолюбный, самолюбчатый*) [ЛКТЭ; Малеча 4: 19; СВГ 9: 89; СРНГ 36: 92–93; СРГС 4: 223; СРГК 5: 629; СРГСУ 5: 107; ЯОС 9: 8 и др.]. Ширина гнезда (как в лексико-словообразовательном, так и в лингвогеографическом плане) говорит о том, что его элементы не являются для говоров искусственными, чуждыми, заимствованными из литературного языка. Это явно внутрдиалектное образование⁶. Аналогичные гнезда есть и в диалектах близкородственных языков, ср., к примеру, блр. *самалюбец, самалюбiмка, самалюбiмец, самалюбiца, самалюбка* [ЧТС: 264].

Анализ словарных дефиниций и контекстов позволяет выявить черты, которые приписываются самолюбцу.

Он себялюбив, эгоистичен, ценит только себя, заботится о себе: р. Урал «Он самолюбник, себя только любит» [Малеча 4: 19]; ленингр. «Ведь она самолюбка, себя пуще всех любит», влг. «Этот такой самолюбный, большого мнения о себе», карел. «Самолюбоватый человек, сам себя только любит. У нас в деревне много самолюбоватых» [СРГК 5: 629].

Он следует своим желаниям, прихотям, избалован: арх. «Она дочку свою дронит, балует, ох испортит, надронит она ее на свою голову,

⁶ Об этом свидетельствует и словообразовательный омоним — арх. *самолюбóй* ‘любой, какой угодно’ [СРНГ 36: 93].

самолюбка будет» [СРГК 5: 629]; ср. арх. *самолюбкой* ‘имея собственное желание’: «Он это всё самолюбкой посмотрел, где и научился» [Там же].

Он крайне болезненно относится к чужому мнению о себе: ср.-урал. «Ох и самолюбной он, не потерпит, штобы хто-то про ево худо сказал», «Баба-та самолюбна. Не дай бог, ежели услышит чё плохо о сибе» [СРГСУ 5: 107].

Он не идет на компромиссы, не слушает других, не считается с ними, игнорирует их, перечит им, делает все по-своему, своенравен и злобен: арх. «Теперь-то самолюбство, ни отца, ни матери не слушают» [СРНГ 36: 93]; костр. «Самолуб — не переговоришь его, всё равно своё тмит», «Самолуб — это который не послушает. Он слышит, а сделает всё по-своему. Сам себя только любит и свою работу ценит» [ЛКТЭ]; сиб. «Ишь какой самолюбный, ни с кем не считается» [СРНГ 36: 93]; карел. «Маша самолюбка, когда себя любит, всё токо рядится», влг. «Самолюбная старуха — как не её, зашумит», «Ненавистный человек, любит самого себя, самолюбимец», карел. «Вредные какие самолюбоваты. Ему б жилось, а вы как хотите пропадайте» [СРГК 5: 629]; ср. также ср.-урал. *самолюбничать* ‘сопротивляться, упрямиться, упираться’: «Вот нащнём здорить <спорить>: друг с друга одёжу стаскивать, самолюбничать там или щё, сразу: “Эй, вас щё тут взяло?” Ежели что не послушашь, сразу на плётку: “Это щё?” Сразу всё, конщашь <об отце и детях>» [ДЭИС].

Он высокомерен, заносчив: карел. «Самолубский <спесивый, заносчивый> народ против прежнего, и завидось есть» [СРГК 5: 629]; ср.-урал. «Самолубничает, зазнаистый какой, нас за людей не считает» [ДЭИС]. Ср. в украинских и белорусских говорах: блр. «Самалубец такі, не падступішся да яго» [СПЗБ 4: 360], укр. «Не говорит’ ни с ким самолюб’уб» [Аркушин 2: 134].

Он не способен помогать другим: омск. «Самолубство кругом, сельсовет это в ума не берет, как помочь человеку» [СРГС 4: 223]; костр. «Самолуб — это кто не заботится о других» [ЛКТЭ].

В его действиях стремление к собственной выгоде имеет следствием полный произвол, беззаконие: арх. «Раньше было много самолюбия-то <произвола>. Вот захотят, дадут вина кому-то, вот на семью и не дадут полного надела» [СРГК 5: 629].

Он стяжатель: карел. «Если самолюбец был, он всё тянул себе, любил себя» [СРГК 5: 629]; перм. «Он уж шибко самолюбник: только себя любит, всё себе домой тащит» [СПГ 2: 315].

Он нелюдим, обособляет себя от общества, стремится отдельно жить: костр. «Нелюдимку такого самолюбом называли» [ЛКТЭ]; новосиб. «Они каки-то особы, самолюбные, живут сами по себе» [СРГС 4: 223].

Он имеет особый, отдельный от других режим питания — ест отдельно: костр. «Самолубые нынче детки, берут конфетки,

едят поволоча <между приемами пищи>, мы и хлеба не схватим [ЛКТЭ]»; арх. «С робятами да с женой отдельно ел, то не старOVER, а самолюбок, а у нас все совместно» [СРНГ 36: 93]; стряпает то, что хочет сам: перм. «На домашке <при ведении домашнего хозяйства> самолюбничают, стряпают чё-нинабудь, делают чё хочут» [Там же]; проявляет брезгливость, избирательность в еде: костр. «Самолуб не ест — выбирает, брезгует. Если то не хочу и этого не хочу — у нас скажут *самолуб*» [ЛКТЭ].

Особо выделена же н щ и н а, являющаяся носителем самолубия: перм., свердл. *самолубница* [СРГСУ 5: 107; СРНГ 36: 93], костр., яросл. *самолубимка* ‘самолубивая женщина’ [СРНГ 36: 92; ЯОС 9: 8], влад., горьк., моск., орл., яросл. *самолубка* ‘себялюбивая женщина’: «Она самолюбка страшная» (яросл.); «Уж дочь у нее такая самолюбка была, токо себя любила. Самолюбка невестка у меня, никого не слушает, что ни скажи, все по-своему делает» (моск.) [СРНГ 36: 92–93]. Интересно, что в литературном языке картина несколько иная: выражение *мужское самолюбие* маркировано гораздо ярче, чем *женское*⁷. Это объясняется общей концепцией самолубия: раз в значении слова в литературном языке акцент ставится на деятельностной природе этого качества, то носителем его является в первую очередь мужчина. В говорах же подчеркивается антиобщественный характер самолубия, а такие антиобщественные свойства, как капризность, взбалмошность и пр., в первую очередь приписываются женщинам.

Эта «капризная» нота в семантике поддерживается приравниванием *самолубия* к *своенравию*, что подтверждается контекстной синонимией этих слов: томск. «Самондравный <своенравный> человек, когда он самолюбный» [СРНГ 36: 93]. Применительно к литературному языку исследователи не включают *своенравие* в ряд синонимов *самолубия*; в говорах же эти слова, по сути, тождественны, ср. краснояр., петерб. *самондрáвец* ‘себялюбивый человек’: «Вишь, самондрáвец какой, всё об себе только» (петерб.), «Самондрáвец — это как наш Серёжка, себя шибко любит» (краснояр.); иван., костр., яросл. *самондрáвка* ‘своенравная женщина’; *самондрáвный* арх., влг., зап., краснояр., моск., мурман., ряз., урал., юж.-сиб. ‘своенравный’: «Кто самондравный, тот любит по-своему делать, никого не слушает», краснояр. ‘себялюбивый’: «Самондравный сам себя любит, а люди ему все нехорошие» [Там же: 94]. Еще одним контекстным синонимом является арх., коми, перм. *своено́сый* ‘своевольный, своенравный’, ‘упрямый’: «Вот, вишь, в России народ тяжёлый, своеносый — самолюбый, упрямый» (арх.) [Там же: 312–313]; ср. еще контексты: печор. «Вишь, надумалсе брат: в оной рубашке хотел уйти, такой своеносой», «Ницего жонка, только уж беда своёноса: мужык говорит,

⁷ Так, в составе Национального корпуса русского языка на 10 случаев употребления сочетания *женское самолюбие* приходится 30 *мужских самолюбий*, ср.: «Сталин применял низменные приемы, стремясь ущемить мужское самолюбие Молотова» (1971) <Н. Хрущев>; «Его мужское самолюбие было оскорблено, и он уже заранее примирялся с Метой» (1902) <К. Станюкович> и т. д.

не послушат, на свой нос напрёт, цего ей нать!», «Оболокись живо, своёноса!» [СРГНП 2: 255–256]. Наконец, в число контекстных синонимов можно включить костр. *самóтный* ‘высокомерный, самолюбивый’: «Самотный, самолюбивый парень, за людей нас не считает» [ЛКТЭ]; ср. также бурят. «Поднял нос кверху и ходит самотный такой, гордый. Рядом с нами начальник почты в ряд жил, дак вот он самотный и был» [СРНГ 36: 107].

Негативное восприятие самолюбия проявляется и на уровне диалектного словообразования. К основе *самолюб-* может добавляться уничижительный суффикс *-ишк*: томск. *самолю́бишка* ‘самолюбивый человек’: «Председатель — самолюбешка ён» [СРГС 4: 223].

Случаи, когда *самолюбию* приписывается скорее положительный смысл, очень редки. Лишь в одном из диалектных контекстов реализуется общая с литературным языком смысловая валентность, приравнивающая самолюбие к самоуважению, ср. арх. *самолю́бство* ‘гордость, самоуважение’: «Саша от самолюбства и пошел в совхоз работать» [СРНГ 36: 93]. В другом случае положительный смысл связан с трактовкой самолюбия как личной свободы: арх. *самолю́бие* ‘свобода, самостоятельность’: «К детям не хочу ехать, самолюбия не будет» [СРГК 5: 629].

Таким образом, *самолюбие* в народной традиции гораздо в большей степени «социализовано», нежели в «городской» культуре. Самолюбие отождествляется с эгоизмом, себялюбием. За ним стоит своеволие, неумение жить в обществе. Не акцентируется вообще деятельностная природа самолюбия, его способность подвигать человека на общественно значимые поступки. Самолюбие в крестьянской картине мира может подстрекать только к деятельности негативного плана. У него есть внешние вызывающие или «антиобщественные» поведенческие проявления, связанные с произволом, самоволием, подчинением собственным прихотям: человек перечит другим, стремится сделать назло, «выпендривается», никому не помогает и пр. Слова *самолюб*, *самолюбец* употребляются с эпитетами *страшный*, *ненавистный* и др. В литературном языке *самолюбие* трактуется скорее как личностное свойство. В редких случаях оно приписывается целому сообществу людей, коллективу. В диалектных контекстах это происходит гораздо чаще, ср. томск. «Самолюбчатый <самолюбивый, эгоистичный> народ в Спасе» [СРГС 4: 223], влг. «Самолюбный народ сейчас, сам себе только» [СВГ 9: 89], новг. «Самолюбимый <гордый, самолюбивый> народ по Волхову» [СРНГ 36: 93]. Это еще раз говорит об общественной значимости и оценке самолюбия.

Показательно, что негативная маркировка самолюбия проникает и в такую частную сферу, как особенности приема пищи: самолюбец, как было показано выше, питается отдельно от других, избирателен в еде, готовит то, что хочет сам. Может показаться, что контексты с пищевыми характеристиками самолюбцев достаточно случайны, но это не так. Нам приходилось изучать смысловые особенности лексики, обозначающей нарушения режима питания, что позволило прийти к выводу о том, что в крестьянской картине мира «регламентация приема

пищи не является “личным делом” человека; нарушение порядка в еде становится важным сигналом асоциального поведения (питающийся не вовремя ставит себя вне законов традиционного общежития — а затем закономерно обнаруживаются более опасные в социальном плане черты) и рассматривается как вызов, который человек бросает обществу» [Березович 2007: 33]. Контексты к словам гнезда *самолюб-* дают возможность сделать аналогичные выводы: пищевое поведение дает социально значимые сигналы, которые позволяют «опознать» самолюбца.

Итак, идея самолюбия втягивает в себя такие смыслы, как индивидуализм, сепаратизм, своеволие, стяжательство, — базовые антиценности для крестьянского сообщества.

3. Наконец, обратимся к еще одному социокультурному языковому пласту — **современному языку рекламы** и связанному с ним **молодежному дискурсу**. В рекламе насаждается идеология любви к себе как положительной ценности. Отсюда у слова *самолюбие* в течение последнего десятилетия начинают просматриваться смысловые оттенки, утверждающие потребность человека в саморекламе, внешней демонстрации своего успеха, связанного, как правило, со сферой накопления и потребления.

В дискурсе рекламы и СМИ с 1990-х гг. все более и более настойчиво звучит тезис о любви к себе как залого правильной и успешной жизни. Ср., к примеру, слоган «Твое тело говорит: *Люби себя!*», звучащий в бестселлере Лиз Бурбо «Слушай свое тело». Этот слоган (и ему подобные) сначала был лейтмотивом текстов, рекламирующих, так сказать, средства для красоты тела, но затем он стал распространяться все шире и шире — и сейчас внедрен повсюду (даже реклама газовых и пороховых инструментов проходит под лозунгом «Любим себя и ценим»). Об особой выделенности слогана «Люби себя» говорит проникновение его в ономастику: салоны красоты «Люби себя» <Уфа, Томск>, «Любите себя» <Киев>, салон-парикмахерская «Люби себя» <Чехов>, магазин ароматехнологий «Люби себя» <Екатеринбург>, магазин «Для себя, любимой» <Казань>, интернет-магазин «Для себя, любимых» <Екатеринбург> и пр. Деятельность таких заведений обставлена девизами вроде: «Любить себя можно и нужно. Мастера нашего салона научат Вас любить себя», «Любите себя — будьте красивы», «Любовь к себе — это роман на всю жизнь», «Предлагаем тем, кто в себе души не чаёт, несколько способов сделать общение с собой еще более захватывающим <далее о губной помаде>».

Этот лозунг не встраивается в дискурс большинства представителей старшего поколения носителей русского языка. Он воспринимается с неприятием, раздраженно и иронично. Так, артистка Ия Саввина, относящаяся к поколению интеллигентов-«шестидесятников», в ответ на комплимент поклонницы относительно ее актерского таланта, вспомнила сцену из замечательной пьесы Е. Шварца «Два клена». Работница Василиса спрашивает Бабу-Ягу: «Любишь себя?» Та отвечает: «Я себя, лапочку, не просто люблю. Я в себе, голубке, души не чаю». Ия Саввина комментирует: «Это, конечно, юмор, вы понимаете. Если б

я так себя ощущала, я б давно умерла как актриса» (телепередача «Линия жизни», канал «Культура», 2007).

В текстах русской литературы «дорекламного» периода жизни страны очень редко встречался тезис о любви к себе — наоборот, чаще говорилось *не люблю себя*: «Никто не знает, как я не люблю себя в моих поэмах, начиная с “Каникул”» (1971–1990) <Д. Самойлов>; «Я не люблю себя такой, Не нравлюсь я себе, не нравлюсь!» (1978) <В. Конецкий>; «[Тригорин] Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу...» (1896) <А. Чехов>; «Любя их, я не могу любить себя, но любовь к ним примиряет меня с самим собой, какой я есть, — временно, конечно» (1997) <А. Пятигорский>; «Я люблю другого, но не могу любить себя, другой любит меня, но себя не любит; каждый прав на своем месте, и не субъективно, а ответственно прав» (1920–1921) <М. Бахтин>. Нелюбовь к себе утверждалась как нравственная норма, залог самосовершенствования: «Для того, чтобы точно, не на словах быть в состоянии любить других, надо не любить себя — тоже не на словах, а на деле» (1891) <Л. Толстой>. Любить себя — это недостойно, непонятно, странно, скучно: «Можно отнестись к проблеме спортивно: делать утреннюю гимнастику, переходить к водным процедурам, совершать перед сном длительные прогулки, дышать по системе йогов, голодать раз в неделю. Но для того, чтобы так жить, надо очень сильно любить себя. Мне это скучно» (1964–1994) <В. Токарева>; «Люблю ли себя? Нет, а может быть, да: мне это непонятно и недоступно, как вера в Бога. Зубы у меня плохи, и очень я неряшлив, ноги отличные, руки слабы, а то, что называется талант, — это не я, это сила моей тяготы к миру, выражение моего интереса... Правда, вот чудно, как подумаешь об этом, как это можно любить себя. Я люблю себя мальчиком, но это чувство как-то переходит в сына, во всяком случае, это уже кончено, это не я, есть некоторые поступки, есть написанные вещи, которые я тоже люблю, но это опять уже не я» (1925) <М. Пришвин>. Более того, на любовь к себе мог накладываться нравственный запрет: «Тебе тяжело, да, но нельзя так любить себя! Нельзя себя настраивать, что ты одна страдалница в целом мире. Может быть, другие пережили гораздо больше, чем ты. Задумайся» (1968) <А. Солженицын>. Предпринимались попытки так толковать любовь к себе, чтобы найти ей нравственное оправдание. Оно могло быть в том, чтобы предъявлять к себе высокие требования: «Любить себя — значит быть требовательным к себе» (1973) <В. Леви>, ср. также парадокс Н. Бердяева: «Самые самолюбивые люди — это люди, не любящие себя». Такая любовь предполагает нравственное совершенствование, о котором много думал Л. Толстой: «Дело только в том, что любить в себе: свою душу или свое тело» (1910). Для него ответ на этот вопрос был прозрачен.

В «старой» русской культуре отмечалось существенное расхождение между *самолюбием* и *любовью к себе*. Производящее словосочетание и производное слово далеко разошлись в смысловом плане. Попытки соотнести их встречаются нечасто, преимущественно в текстах XVIII и XIX вв.: «...известно есть, что

самолюбие на многое зло нас приводит, а понеже бог злу противный, то как может оный божественным имяноваться? Ответ. Я вам не просто самолюбие сказал, но любить себя с разумом, то есть прилежать ко снисканию истинного, а не притворного благополучия, а не давать воли неправильному и непорядочному желанию» (1733) <В. Татищев>; «Самолюбие, например, и эгоизм часто смешиваются один с другим, хотя, по мнению моему, оба сии порока имеют свои собственные, совершенно отличные черты и производят разные действия, а потому должны подлежать особенному разделению. <...> Любить себя до некоторой степени позволено и должно; но ставить себя выше ближнего, считать себя лучшим и совершеннейшим, унижая, пренебрегая и презирая других без основания, — вот самолюбие, о котором я говорю!» (1828) <А. Погорельский>; «Самолюбивый человек тот, кто мнением других о себе дорожит больше, чем своим собственным. Итак, быть самолюбивым значит любить себя больше, чем других, и уважать других больше, чем себя» (1889–1892) <В. Ключевский>.

В новом (постсоциалистическом) дискурсе происходит сближение частотнейшего *любить себя* и *самолюбия*. Это сближение, при наличии всех предпосылок, все-таки можно было бы оценивать как маловероятное, поскольку на предыдущем этапе языкового развития значения слов *самолюбие*, *самолюбивый* и выражения *любить себя* разошлись весьма существенно. Надо учитывать еще одно обстоятельство. *Самолюбие* — очень «фразеологизированное» слово, имеющее жестко заданную сочетаемость как с атрибутами, так и с предикатами (*задеть*, *оскорбить*, *унизить*, *льстить* и пр., см. [НОСС: 292–297]), что мешает ему употребляться в новых контекстах. Тем не менее, такие контексты появляются, фиксируя новые оттенки в значении слов *самолюбие* и *самолюбивый*. Последнее в рекламных текстах может означать ‘заботящийся о себе’, причем в идеологии общества потребления.

Яркий пример — рекламная кампания финской водки «Saimaa», ребрендинг которой провело российское агентство «Runway Branding». В рекламе этой водки *самолюбивый* является ключевым словом: «Потребление водки “Saimaa” должно демонстрировать, что человек самолюбив, деятелен и обладает хорошим вкусом»; «В России сделали водку для самолюбивых... <...> Новая эстетика водки “Saimaa” — это культура потребления внутри целого мира образов и символов. Новая эстетика создает идиллический мир водки “Saimaa”, характерными чертами которого являются общее сдержанное настроение, аристократизм и холодность визуального ряда» (ИС). Смысл рекламы: наша водка для богатых людей, которые любят и ценят себя.

Есть и другие свидетельства того, что слова *самолюбивый* и *самолюбие* подвергаются влиянию слогана *люби себя*, вследствие чего формируется их новый смысл. Автор одного из текстов самопрезентаций на сайте знакомств рассуждает так: «Что нужно сделать <чтобы стать любимой>? — Выспаться, поменять работу, вытряхнуть из постели ненужное, заняться своей красотой, своей слабостью,

подчеркнуть уникальность; попробуйте начать с самолюбия — любовь вас заметит, она не ест все подряд — гурманка». Как и в предыдущем тексте, *самолюбие* здесь подается как забота о себе, о своем благе и успехе. Вообще, *самолюбие* — не случайный «гость» в текстах современных брачных объявлений, оно вписывается в «джентльменский набор» успешного человека: «Обаятельная, привлекательная, самолюбивая, обеспеченная, а что ещё надо»; «Обеспечен, самолюбив, самодостаточен, не пью, не курю, матом ругаюсь, сексом занимаюсь». Показательно, что в последнем контексте рядом стоят слова *самолюбив* и *самодостаточен*: они рисуют, так сказать, установку и ее результат. *Самолюбив* — значит ценит себя, главным образом, свою возможность добиться успеха и материального благополучия; *самодостаточен* — значит добился материальной независимости и состоятельности (о новой «коммерческой» составляющей в семантике этого слова, которая в последние годы проявляется в рекламном и «брачном» дискурсе, см. параграф 5.1, с. 430).

Вот как рисуются *самолюбивые* в текстах, извлеченных с различных сайтов и из газет рекламно-«глянцевого» характера, в которых представлены, так сказать, социально-психологические типы современных людей: «Если парень тебе понравился, ты его заарканишь! Ты очень привлекательна и самолюбива. Знаешь себе цену. Иногда ты включаешь свой шарм на полную катушку — и становишься неотразимой! Но можешь и резко оттолкнуть... Ты сама выбираешь парня и ведешь с ним свою игру. Это очень увлекательно!»; «Очень красив, хорошо сложен, очень самолюбив. В постели хорош! Мачо! Может быть как совладельцем какой-нибудь фирмы, так и барменом или менеджером. Шмотки от дизайнеров, загар, белозубая улыбка. Авто — либо большой джип, либо спортивная машина. Себя любит, холит и лелеет. В понедельник хоккей, во вторник футбол, в среду фитнес, в четверг горные лыжи, в пятницу баня, в субботу секс, в воскресенье шопинг. Выбирает исключительно красивых стройных спортивных девушек»; «Каблук или шпилька, высотой более 7 см. Обладательницы такой обуви самолюбивы, привлекательны, хотят, чтобы их заметили. Такую обувь никогда не оденет скромница» и т. п. Подобные перечислительные ряды встречаются и в текстах современного литературного «ширпотреба», ср. контекст из романа с говорящим названием «VIP значит вампир»: «Холеная, самолюбивая, одетая с иголки Ангелина — и нелепый Однорог в семейных трусах» <Ю. Набокова>.

Разумеется, еще рано говорить о новом «рекламно-потребительском» значении слова *самолюбие* в русском языке. Соответствующий дискурс нельзя считать сформированным. Но все же показательно «переключение регистров»: слово *самолюбие* не употребляется в контекстах, описывающих морально-волевою сторону жизни; нет рефлексии относительно способности самолюбия подвигать людей на высокие поступки, — но оно внедряется в контексты, описывающие область материального благополучия и успеха. В этих контекстах *самолюбивый* — тот, кто высоко себя ценит, будучи взыскательным

в «материально-прагматической» стороне жизни. Это обеспеченный потребитель, который может со вкусом ухаживать за собой (в первую очередь, за своим телом), увеличивать свое благосостояние, добиваться хорошей партии и т. д.

Подобные изменения случились со словом *достойный*, которое принадлежит близкому к *самолюбию* гнезду: это слово получило в рекламном дискурсе значение ‘обеспечивающий хороший уровень жизни’ (см. об этом в [Вепрева, Купина 2007]). Популярнейший рекламный слоган «Ты этого достоин (достойна), не правда ли?» основан на специфической пресуппозиции: он предполагает оценку вовсе не высоких морально-нравственных, интеллектуальных, профессиональных качеств человека, а его незаурядных потребительских возможностей. В этом контексте «новое самолюбие» оценивается однозначно положительно; семы, создававшие возможность амбивалентной оценки (отражающие представления о затрудненных контактах самолюбивого человека с окружающими), затушевываются, не получают контекстной актуализации.

* * *

Итак, история рус. *самолюбие* демонстрирует существенные социохронологические сдвиги в оценочном наполнении слова. Этот вывод опровергает изложенные в начале параграфа априорные предположения о семантической стабильности *самолюбия*. После осуществления анализа можно говорить, что названные «факторы стабильности» (обращенность феномена самолюбия к человеку *per ipsum*, — казалось бы, вне социокультурного контекста — и прозрачная внутренняя форма соответствующего слова) если и сработали, то смогли, вероятно, лишь слегка уменьшить амплитуду смысловых изменений и оценок, но не смогли эти изменения предотвратить. Аксиологическая природа этого концепта диктует его тесную связь с социальной жизнью. «Уроки самолюбия» говорят о необходимости тщательного учета социальной и исторической обусловленности ценностной лексики в ходе этнолингвистического исследования.

Литература

- Абраменко, Кулаева 2004 — *Абраменко О., Кулаева С.* История и культура цыган. СПб., 2004.
- Агапкина 1999 — *Агапкина Т. А.* Вещь, образ, символ: колокола и колокольный звон в традиционной культуре славян // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999. С. 210–282.
- Агапкина 2002 — *Агапкина Т. А.* Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.
- Агапкина 2010 — *Агапкина Т. А.* Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика и образ мира. М., 2010.
- Алексеев 1998 — *Алексеев А.* Сюжет «змея мытарств» в композиции русских икон «Страшного Суда» // Церковная археология. Вып. 4. СПб., 1998.
- Алексеевко, Литвинникова 2005 — *Алексеевко М. А., Литвинникова О. И.* Глагольные омонимы в русской диалектной речи. М., 2005.
- Алпатов 2007 — *Алпатов В. В.* Концептуальные основы формирования английских религиозных топонимов: Дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2007.
- Альперин 1956 — *Альперин А. И.* Почему мы так говорим. Барнаул, 1956.
- Анашкина 2007 — *Анашкина О. В.* Ребенок в зеркале русской языковой традиции: семантический и мотивационный аспекты: Дипл. раб. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2007.
- Аникин 1988 — *Аникин А. Е.* Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне. Новосибирск, 1988.
- Аникин РЭС — *Аникин А. Е.* Русский этимологический словарь. М., 2007—. Вып. 1—.
- Аникин СЛБ — *Аникин А. Е.* Опыт словаря лексических балтизмов в русском языке. Новосибирск, 2005.
- Аникин ЭСРЗ — *Аникин А. Е.* Этимологический словарь русских заимствований в языках Сибири. Новосибирск, 2003.
- Аникин ЭСС — *Аникин А. Е.* Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. 2-е изд., испр. и доп. М.; Новосибирск, 2000.
- Анненков 1878 — Ботанический словарь: Справочная книга для ботаников, сельских хозяев, садоводов, лесоводов, фармацевтов, врачей, дрогистов, путешественников по России и вообще сельских жителей / Сост. Н. Анненков. СПб., 1878.
- Антонов, Майзульс 2011 — *Антонов Д. И., Майзульс М. Р.* Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М., 2011.
- АОС — Архангельский областной словарь. М., 1980—. Вып. 1—.
- Апанасенко 2007 — *Апанасенко Э. Г.* Концепт «Русские»: денотативные границы, возможности и перспективы (на материале произведений Ф. М. Достоевского и современной публицистики) // Россия и АТР. Владивосток, 2007. С. 130–137.

- Апресян 1995 — *Апресян Ю. Д.* Избранные труды. М., 1995. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография.
- Аркадьев, Крейдлин 2011 — *Аркадьев П. М., Крейдлин Г. Е.* Части тела и их функции (по материалам русского языка и русского языка тела) // Слово и язык. Сб. к восьмидесятилетию акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2011. С. 41–54.
- Аркушин 1–2 — *Аркушин Г. Л.* Словник західнополіських говірок. Луцьк, 2000. Т. 1–2.
- Аркушин 2005 — *Аркушин Г. Л.* Словник евфемізмів, уживаних у говірках то молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. Луцьк; Люблин, 2005.
- Арутюнова 1999 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1999.
- Арьянова 1–3 — *Арьянова В. Г.* Словарь фитонимов Среднего Приобья. Томск, 2006–2008. Т. 1–3.
- АС — Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Пермь, 1984–2011. Вып. 1–6.
- АстрКТЭ — астрономическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- Атрошенко 2012 — *Атрошенко О. В.* Русская народная хрономимия: системно-функциональный и лексикографический аспекты: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2012.
- Ахметова 2012 — *Ахметова М. В.* Города как родственники (об одном типе метафорического употребления терминов родства в русском языке) // Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства. СПб., 2012. Вып. 13. С. 111–147.
- Ахтаров 1939 — Материали за български ботаниченъ речникъ / Събр. Б. Давидовъ и А. Явашевъ; ред. Б. Ахтаровъ. София, 1939.
- Байрамова 2013 — *Байрамова Л. Ф.* Лакунарная славянская фразеология как национальный компонент лингвокультуры // Национальное и интернациональное в славянской фразеологии: XV Междунар. съезд славистов (20–27 августа 2013 г., Минск, Беларусь). Greifswald, 2013. С. 170–173.
- Баранов, Добровольский 2009 — *Баранов А. Н., Добровольский Д. О.* Метафора и стереотип (на материале метафорических переосмыслений России и ГДР в СМИ) // Стереотипы в языке, коммуникации и культуре. М., 2009. С. 315–336.
- Бартминский, Небжеговская 1999 — *Бартминский Е., Небжеговская Ст.* Языковая картина польского рая и ада // Славянские этюды. Сб. к юбилею С. М. Толстой. М., 1999. С. 58–70.
- Бартминский 2005 — *Бартминский Е.* Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике / Пер. с польск. М., 2005.
- БД — Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962–1981. Кн. 1–10.
- БДКА — Каргопольский архив этнолингвистической экспедиции Российского государственного гуманитарного университета: база данных (лаборатория фольклора РГГУ, Москва).
- БДПА — Полесский архив этнолингвистической экспедиции Института славяноведения РАН: база данных (Институт славяноведения РАН, сектор этнолингвистики и фольклора).
- Белова 2000 — *Белова О. В.* Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.
- Белова 2004 — «Народная Библия»: Восточнославянские этимологические легенды / Сост. и коммент. О. В. Беловой. М., 2004.

- Белова 2005 — *Белова О. В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005.
- Белова 2006 — *Белова О. В.* Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое исследование): Дис. ... д-ра филол. наук. М., 2006.
- Белова 2009 — *Белова О. В.* Радуга // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 2009. Т. 4. С. 386–389.
- Белова, Толстая 2009 — *Белова О. В., Толстая С. М.* Рай // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 2009. Т. 4. С. 397–400.
- Беломорские старины — Беломорские старины и духовные стихи / Собр. А. В. Маркова. СПб., 2002. (Памятники русского фольклора).
- Белянин, Бутенко 1993 — *Белянин В. П., Бутенко И. А.* Толковый словарь современных разговорных фразеологизмов и присловий. М., 1993.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика / Пер. с франц. М., 1974.
- БЕР — Български етимологичен речник. София, 1971—. Т. 1—.
- Бережная 2003 — *Бережная Л. А.* «Одесную» и «ошую». Русские и русинские православные иконы «Страшного Суда» на рубеже эпох // Человек между царством и империей. Сб. материалов междунар. конф. М., 2003. С. 454–485.
- Березович 1992 — *Березович Е. Л.* Семантические микросистемы в русской топонимии: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1992.
- Березович 1999 — *Березович Е. Л.* Русская национальная личность в зеркале языка: В поисках объективной методики анализа // Русский язык в контексте культуры. Екатеринбург, 1999. С. 31–42.
- Березович 2000 — *Березович Е. Л.* Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000.
- Березович 2006 — *Березович Е. Л.* «И все люди, да всяк человек по себе»: к вопросу о семантико-прагматической программе слова *люди* // Рус. яз. в науч. освещении. 2006. № 1 (11). С. 195–226.
- Березович 2007 — *Березович Е. Л.* Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М., 2007.
- Березович 2008 — *Березович Е. Л.* «Отцы и дети» в лексической семантике (о «поколенческих» различиях в значениях слов аксиологической сферы в языке современного города) // Язык современного города. Тез. докл. междунар. конф. «Восьмые Шмелевские чтения». М., 2008. С. 25–28.
- Березович 2009 — *Березович Е. Л.* Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Пространство и человек. М., 2009.
- Березович 2011 — *Березович Е. Л.* «Перед нами — дороги новые...»: размышления о работе Топонимической экспедиции Уральского университета в первое десятилетие XXI в. // Вопр. ономастики. 2011. № 2 (11). С. 70–88.
- Березович, Виноградова 2012 — *Березович Е. Л., Виноградова Л. Н.* Шуликуны // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 2012. Т. 5. С. 583–585.
- Березович, Гулик 2002 — *Березович Е. Л., Гулик Д. П.* Ономаσιологический портрет «человека этнического»: принципы построения и интерпретации // Встречи этнических культур в зеркале языка в сопоставительном лингвокультурологическом аспекте. М., 2002. С. 232–253.
- Березович, Кривошапова 2006 — *Березович Е. Л., Кривошапова Ю. А.* Этнонимическая модель в славянских названиях насекомых // *Studia Etymologica Brunensia*. 3. Praha, 2006. S. 17–35.

- Березович, Кривошапова 2011 — *Березович Е. Л., Кривошапова Ю. А. Сибирь* в русской языковой традиции (на иноязычном фоне) // *Пространство и время в языке и культуре*. М., 2011. С. 110–157.
- Березович, Пьянкова 2008а — *Березович Е. Л., Пьянкова К. В. Рататуй и таратор* // *Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика: У част акад. Светлане Толстој*. Београд, 2008. С. 81–95.
- Березович, Пьянкова 2008б — *Березович Е. Л., Пьянкова К. В. «Эти ши по заречью шли...»* // *Живая старина*. 2008. № 4. С. 43–46.
- Березович, Рут 2000 — *Березович Е. Л., Рут М. Э. Ономасиологический портрет реалии как жанр лингвокультурологического описания* // *Изв. Урал. гос. ун-та*. 2000. № 17. Гуманитарные науки. Вып. 3. Филология. С. 33–38.
- Березович, Седакова 2012 — *Березович Е. Л., Седакова И. А. Славянские соматизмы «кожа» и «шкура» и их вторичные значения* // *Изв. РАН. Сер. лит. и яз.* 2012. Т. 71. № 6. С. 12–24.
- Березович, Феоктистова 2009 — *Березович Е. Л., Феоктистова Л. А. Семантические инновации в аксиологической лексике русского и польского языков* // *Славянские языки и культуры в современном мире. Тр. и материалы*. Москва, МГУ, 24–26 марта 2009 г. М., 2009. С. 258–259.
- Бернштам 2009 — *Бернштам Т. А. Народная культура Поморья*. М., 2009.
- Бессонов 1863 — *Калѣки перехожіе. Сб. стиховъ и изслѣдование П. Безсонова*. Вып. 5. М., 1863.
- Бјелетић 1999 — *Бјелетић М. Кост кости (делови тела као ознаке сродства)* // *Кодови словенских култура*. Београд, 1999. Бр. 4. Делови тела. С. 48–67.
- Бјелетић 1999 — *Бјелетић М. Исковрнути глаголи: Типови ескспресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу)*. Београд, 2006.
- БЛДР — Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева [и др.]; ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). СПб., 1999. Т. 3.
- БлрМ — Беларуская міфалогія. Энцыклапедычны слоўнік. Мінск, 2004.
- БНРС — Большой нидерландско-русский словарь. М., 2006.
- Бован 1979 — *Бован В. Српске народне загонетке са Косова и Метохије*. Приштина, 1979.
- БолгМ — Българска митология. Енциклопедичен речник / Съст. А. Стойнев. София, 2006.
- Бондалетов 1972 — *Бондалетов В. Д. Греческие элементы в условных языках русских торговцев и ремесленников* // *Этимологические исследования по русскому языку*. М., 1972. Вып. 7. С. 19–62.
- Бондалетов 1980 — *Бондалетов В. Д. Условные языки русских ремесленников и торговцев. Словопроизводство*. Рязань, 1980.
- Бондалетов 1990 — *Бондалетов В. Д. Иноязычная лексика в русских арго*. Куйбышев, 1990.
- Бондалетов 1992 — *Бондалетов В. Д. Финно-угорские заимствования в русских арго*. Самара, 1992.
- Бондалетов 2004 — *Бондалетов В. Д. В. И. Даль и тайные языки в России*. М., 2004.
- Бонч-Осмоловская, Рахилина, Резникова 2009 — *Бонч-Осмоловская А. А., Рахилина Е. В., Резникова Т. И. Глаголы боли: лексическая типология и механизмы семантической деривации* // *Концепт БОЛЬ в типологическом освещении*. Київ, 2009. С. 8–27.
- Борисова 2005 — *Борисова О. Г. Кубанские говоры. Материалы к словарю*. Краснодар, 2005.
- БРФС — Болгарско-русский фразеологический словарь / Сост. А. Кошелев, М. Леонидова. М., 1974.
- БРЭР — *Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи*. СПб., 2004.

- БСРЖ – Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
- БСРП – Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. М., 2008.
- БСРС – Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских народных сравнений. М., 2008.
- БСЭ – Большая советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1949–1958. Т. 1–51.
- БТДК – Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.
- БТСРЯ – Большой толковый словарь русского языка / Сост., гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 1998.
- Булах 2005 – Булах М. С. Цветообозначение семитских языков в этимологическом аспекте: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2005.
- Быков 1994 – Быков В. Русская феня. Словарь современного интержаргона асоциальных элементов. Смоленск, 1994.
- БЭ – Библейская энциклопедия. [Репр.]. М., 1990.
- Вайль, Генис 2001 – Вайль П., Генис А. Русская кухня в изгнании. 3-е изд. М., 2001.
- Вакарелска-Чобанска 2005 – Вакарелска-Чобанска Д. Речник на самоковския говор. София, 2005.
- Варбот 1972 – Варбот Ж. Ж. Заметки по славянской этимологии (слав. **koristъ*, русск. *скряга*, *намокнуть* ‘научиться’, *дроля*, *-начить*) // Этимология. 1970. М., 1972. С. 65–84.
- Варбот 1984 – Варбот Ж. Ж. Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984.
- Варбот 2012 – Варбот Ж. Ж. Исследования по русской и славянской этимологии. М.; СПб., 2012.
- Васильев 2012 – Васильев В. Л. Славянские топонимические древности Новгородской земли. М., 2012.
- Васнецов 1907 – Васнецов Н. М. Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора. Вятка, 1907.
- Вежбицка 1999 – Вежбицка А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
- Вепрева 2007 – Вепрева И. Т. Об «отмывании» слов в современном политическом дискурсе // Политический дискурс в России – 10. Материалы X юбилейного Всерос. семинара. М., 2007. С. 52–61.
- Вепрева 2009 – Вепрева И. Т. Креатив *креатива*, или о функционировании лексемы *креатив* в современном русском языке // Лингвистика креатива. Екатеринбург, 2009. С. 112–123.
- Вепрева, Купина 2007 – Вепрева И. Т., Купина Н. А. Актуальное слово дня: *достойная жизнь* // Русский язык за рубежом. 2007. № 3. С. 90–93.
- ВершС – Вершининский словарь / Гл. ред. О. И. Блинова. Томск, 1998–2002. Т. 1–7.
- ВЛРС – Верхнелужицко-русский словарь / Сост. К. К. Трофимович. М.; Бауцен, 1974.
- Володина 2009 – Валодзіна Т. В. Цела чалавека: слова, міф, рытуал. Мінск, 2009.
- Воробьев 1996 – Воробьев В. В. Теоретические и прикладные вопросы лингвокультурологии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1996.
- Воронцова 2002 – Воронцова Ю. Б. Коллективные прозвища в русских говорах: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002.
- Воронцова 2011 – Воронцова Ю. Б. Словарь коллективных прозвищ. М., 2011.
- Востриков 1981 – Востриков О. В. Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья // Этимологические исследования. Свердловск, 1981. Вып. 2. С. 3–45.

- Вражиновски 2000 – *Вражиновски Т.* Речник на народната митологија на Македонците. Прилеп; Скопје, 2000.
- ВС – Ветлужская сторона. Фольклорный сборник. Кострома, 1996. Вып. 2.
- ВФ – Вятский фольклор. Народный календарь. Котельнич, 1994.
- В. Щ. 1899 – *В. Щ.* Пища и питье крестьян малорусов с некоторыми относящимися сюда обычаями, поверьями и приметами // Этнографическое обозрение. 1899. № 1–2. С. 269.
- Гак 2010 – *Гак В. Г.* Языковые преобразования: Виды языковых преобразований. Факторы и сферы реализации языковых преобразований. 2-е изд., испр. М., 2010.
- Галинова 2000 – *Галинова Н. В.* Этимолого-словообразовательные гнезда праславянских корней со значениями ‘гнуть’, ‘вертеть’, ‘вить’ в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
- Ганцовская (рукопись) – *Ганцовская Н. С.* Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и Унжи (с эпицентром акающих говоров). Рукопись.
- ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник. Львів, 1997.
- Герасимов 1898 – *Герасимов М. К.* Из Череповецкого уезда Новгородской губернии: Пословицы и поговорки, приметы и обычаи // Живая старина. 1898. Вып. 1. С. 122–123.
- Геров 1–5 – *Геров Н.* Речникъ на българския език. Пловдив, 1895–1904. Ч. 1–5.
- Гин 1992 – *Гин Я. И.* Днепр – Непра – Лелепр: О поэтике гидронима в фольклоре и литературе // Язык русского фольклора. Петрозаводск, 1992. С. 109–117.
- Глущенко 2001 – *Глущенко О. А.* Наречия образа действия в архангельских народных говорах: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
- Голев 1989 – *Голев Н. Д.* Динамический аспект лексической мотивации. Томск, 1989.
- Горбач 1965 – *Горбач О.* Північно-наддністрянська говірка й діалектний словник с. Романів Львівської області. Мюнхен, 1965.
- Горбач 2006 – *Горбач О.* Арго в Україні. Львів, 2006.
- Горюнова 1995 – *Горюнова О. А.* Русский этнический образ: прямые и обратные ассоциативные связи // Этническое и языковое самосознание. Материалы конф. М., 1995.
- Григорян 1975 – *Григорян Э. А.* Словарь местных географических терминов болгарского и македонского языков. Ереван, 1975.
- Гринченко 1–4 – Словарь украинского языка / Сост. Б. Гринченко. Киев, 1907–1909. Т. 1–4.
- Грищенко 2012 – *Грищенко А. И.* Между русскими и россиянами: Современная русская публицистика в поисках новых этнических номинаций // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История и филология. 2012. Т. 11, вып. 11: Журналистика. С. 124–131.
- Громов 1992 – *Громов А. В.* Словарь лексики льноводства, прядения и ткачества в костромских говорах по реке Унже. Ярославль, 1992.
- Громов 2000 – *Громов А. В.* Жгонский язык: Словарь лексики пимокатов Макарьевского, Мантуровского и Нейского районов Костромской области. М., 2000.
- Грунтов 2007 – *Грунтов И. А.* «Каталог семантических переходов» – база данных по типологии семантических изменений // Диалог 2007. Компьютерная лингвистика и информационные технологии. Материалы конф. М., 2007. С. 157–161.
- ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1982–. Вып. 1–.
- Гура 1997 – *Гура А. В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Гура 2003 – *Гура А. В.* К семантической реконструкции славянской свадьбы: основные мотивы // Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд славистов. Любляна, 2003 г. Докл. рос. делегации. М., 2003. С. 107–118.

- Гура 2012а – *Гура А. В.* Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М., 2012.
- Гура 2012б – *Гура А. В.* Шукура // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 2012. Т. 5. С. 579–581.
- Гусейнов 2012 – *Гусейнов Г.* Нулевые на кончике языка. Краткий путеводитель по русскому дискурсу. М., 2012.
- Даль₂ 1–4 – *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1880–1882 (1989). Т. 1–4.
- Даль₃ 1–4 – *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. СПб.; М., 1903–1909. Т. 1–4.
- Даль 1990 – *Даль В. И.* Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка // *Вопр. языкознания.* 1990. № 1. С. 134–137.
- Даль ПРН 1957 – *Даль В. И.* Пословицы русского народа. М., 1957.
- Даль ПРН 1993/1–3 – Пословицы русского народа / Сб. В. Даля. М., 1993. Т. 1–3.
- Даль РОС – *Даль В. И.* Русско-офенский словарь // *Бондалетов В. Д. В. И.* Даль и тайные языки в России. М., 2004. С. 351–440.
- Деревня Монастырь 2003 – *Деревня Монастырь на Каме-реке.* Сб. фольклорно-этнолингвистических материалов по Гайнскому району / Сост. И. А. Подюков. Пермь, 2003.
- Дзендзелівський 1987 – *Дзендзелівський Й. О.* Програма для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови. Київ, 1987.
- Дилакторский 2006 – *Словарь областного вологодского наречия.* По рукоп. П. А. Дилакторского 1902 г. Репр. СПб., 2006.
- Динић 1988 – *Динић Ј.* Речник тимочког говора. Београд, 1988. [Српски дијалектолошки зборник. Књ. 34].
- ДО – Дополнения к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858.
- Добровольский 1–4 – *Добровольский В. Н.* Смоленский этнографический сборник. СПб.; М., 1891–1903. Ч. 1–4.
- Добродомов 2000 – *Добродомов И. Г.* О жгонском языке // *Громов А. В.* Жгонский язык. Словарь лексики пимокатов Макарьевского, Мантуровского и Нейского районов Костромской области. М., 2000. С. 4–12.
- Добролюба 2007 – *Добролюба Г.* Из спостереження над етнонімами як складовими української поліської фразеології // *Етнолінгвістичні студії.* 1. Житомир, 2007. С. 95–104.
- Долгачев 1986 – *Долгачев И. Г.* Язык земли родного края. Волгоград, 1986.
- Дрвошанов 2005 – *Дрвошанов В.* Анатомската лексика за човекот во македонските говори. Скопје, 2005.
- ДСБ – Дыялектный слоўнік Брэстчыны. Мінск, 1989.
- ДСРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения / Под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург, 1996.
- Дыбо 1991 – *Дыбо А. В.* Семантическая реконструкция в алтайской этимологии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1991.
- ДЭИС – Традиционная культура Урала: Диалектный этноидеографический словарь русских говоров Среднего Урала [Электронный ресурс] / Авт.-сост. О. В. Востриков, В. В. Липина; Свердлов. обл. Дом фольклора; каф. рус. яз. и общ. яз-ния УрГУ. Екатеринбург, 2009. 1 CD-ROM.

- ЕБНМ – Българска народна медицина. Енцикл. / Съст. и общ. ред. М. Георгиев. София, 1999.
- Евтушенко 2007 – *Евтушенко О. В.* Фрагменты структуры концепта «Россия» // Язык как материя смысла. Сб. ст. в честь акад. Н. Ю. Шведовой. М., 2007. С. 623–635.
- Еда по-русски 2013 – Еда по-русски в зеркале языка / Н. Н. Розанова, М. В. Китайгородская, У. Долешалъ, Д. Вайс и др. М., 2013.
- Елезовић 1–2 – *Елезовић Г.* Речник косовско-метохиског дијалекта. Београд, 1931. Св. 1–2.
- Емельянович 2001 – *Емельянович В. М.* Да слоўніка фразеалагізмаў Берасцейшчыны // Жывое наша слова. Дыял. зб. Мінск, 2001. С. 301–307.
- Еремина 2003 – *Еремина М. А.* Лексико-семантическое поле «Отношение человека к труду» в русских народных говорах: этнолингвистический аспект: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.
- Ермакова 1997 – *Ермакова О. П.* Тоталитарное и посттоталитарное общество в семантике слов // Русский язык. Ороле, 1997. С. 121–165.
- ЕРСЈ – Етимолошки речник српског језика. Београд, 2003–. Св. 1–.
- ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. Київ, 1982–2012. Т. 1–6.
- Ефименкова 1980 – *Ефименкова Б. Б.* Севернорусская причеть. Междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшенги (Вологодская область). М., 1980.
- Жайворонок 2006 – *Жайворонок В.* Знаки української етнокультури. Слов.-довідник. Київ, 2006.
- Жмурко 2001 – *Жмурко О. И.* Лексика природы. Опыт тематического словаря говоров Ивановской области. Иваново, 2001.
- ЖС – Жывёльны свет. Тэматычны слоўнік. Мінск, 1999.
- Жугић 2005 – *Жугић Р.* Речник говора Јабланичког краја. Београд, 2005. [Српски дијалектолошки зборник. Књ. 52].
- Журавлев 2002 – *Журавлев А. Ф.* Об этимологии русского *детинец* – ‘крепость’ // Рус. речь. 2002. № 1. С. 113–117.
- Журавлев 2005 – *Журавлев А. Ф.* Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005.
- Журавлев 2010 – *Журавлев А. Ф.* Интуиция этимолога // Этимология. 2006–2008. М., 2010. С. 3–23.
- Журинская 1979 – *Журинская М. А.* Об именах релятивной семантики в системе языка // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. М., 1979. Т. 38/3. С. 249–260.
- ЖЧРФ – Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1: Младенчество. Детство. М., 1991; Вып. 2: Детство. Отрочество. М., 1994.
- Завьялова, Англицкене 2005 – *Завьялова М., Англицкене Л.* Стереотип поляка глазами литовцев // *Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury.* Lublin, 2005. № 17. S. 145–186.
- Загадки-блр – Загадки. Мінск, 1972. (Беларуская народная творчасць).
- Загадки-укр – Загадки. Київ, 1962. (Українська народна творчість).
- Зализняк Анна А. 2006 – *Зализняк Анна А.* Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.
- Зализняк Анна А. 2009 – *Зализняк Анна А.* О понятии семантического перехода // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Междунар. конф. «Диалог 2009» (Бекасово, 27–31 мая 2009 г.). Вып. 8 (15). М., 2009. С. 107–111.
- Зализняк Анна А. 2013 – *Зализняк Анна А.* Русская семантика в типологической перспективе. М., 2013.

- Зализняк, Левонтина, Шмелев 2008 – *Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Эволюция ключевых концептов русского языка в XX веке: аспекты изучения // *Вестн. РГНФ.* 2008. № 1. С. 120–127.
- Зверева 2013 – *Зверева Ю. В.* Наименования человека по отношению к браку в пермских говорах // *Вестн. Перм. гос. ун-та. Рос. и зарубежная филология.* 2013. Вып. 1 (21). С. 28–36.
- Зимин 2008 – *Зимин В. И.* Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. М., 2008.
- Иванович, Петранович 1976 – *Иванович С., Петранович И.* Русско-сербский словарь. М., 1976.
- Івченко 1999 – *Івченко А. О.* Українська народна фразеологія: Ономазіологія, ареали, етимологія. Харків, 1999.
- Иллюстров 1915 – *Иллюстров И. И.* Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. Сб. русских пословиц и поговорок. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 1915.
- Ильнич 2011 – *Ильнич Т. К.* Возрождение праздника сбора и переработки иван-чая // IX Конгресс этнографов и антропологов России. Тез. докл. Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. Петрозаводск, 2011. С. 274.
- ИРФС – *Левинтова Э. И., Вольф Е. М., Мовшович Н. А., Будницкая И. А.* Испанско-русский фразеологический словарь. М., 1985.
- ИЭРГА – Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая / Под ред. Л. И. Шелеповой. Барнаул, 2007–. Т. 1–.
- Кабакова 2001 – *Кабакова Г. И.* Антропология женского тела в славянской народной традиции. М., 2001.
- Кабакова 2009а – *Кабакова Г. И.* Повитуха // *Славянские древности. Этнолингвистический словарь.* М., 2009. Т. 4. С. 82–84.
- Кабакова 2009б – *Кабакова Г. И.* Родня за столом // *Категория родства в языке и культуре.* М., 2009. С. 159–169.
- Кабинина 2011 – *Кабинина Н. В.* Субстратная топонимия Архангельского Поморья. Екатеринбург, 2011.
- Кабинина 2013 – *Кабинина Н. В.* Народная топонимическая геометрия (на материале названий озер Архангельской области) // *Вопр. ономастики.* 2013. № 2 (15). С. 60–90.
- Казакова 2011 – *Казакова Е. Д.* *Вятка и вятчане* в русской языковой традиции // *Вопр. ономастики.* 2011. № 2 (11). С. 19–50.
- Казакова 2012 – *Казакова Е. Д.* Вятчане глазами костромичей // *Живая старина.* 2012. № 2. С. 41–44.
- КАОС – картотека Архангельского областного словаря (МГУ им. М. В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра русского языка).
- Караџић 1965 – *Караџић В. С.* Сабрана дела. Књ. 9. Српске народне пословице. Београд, 1965.
- Качинская 2011 – *Качинская И. Б.* Термины родства и языковая картина мира (по материалам архангельских говоров): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2011.
- Квасова 2003 – *Квасова М. Д.* Как избежать конъюнктивита. М.; СПб., 2003.
- Кипарский 1956 – *Кипарский В. Р.* [Рец. на:] *Max Vasmer. Russisches etymologisches Worterbuch, I, II, III (2 Lief.).* – Heidelberg, 1950–1955 // *Вопр. языкознания.* 1956. № 5. С. 130–138.
- Киреевский 1–2 – *Песни, собранные П. В. Киреевским.* Новая серия / Изд. О-вом любителей рос. словесности при Имп. Моск. ун-те. М., 1911–1929. Вып. 1–2.

- Кобозева 1995 – *Кобозева И. М.* Немец, англичанин, француз и русский: выявление стереотипов национальных характеров через анализ коннотаций этнонимов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1995. № 3. С. 102–116.
- Коваль 1998 – *Коваль В. И.* Восточнославянская этнофразеология: деривация, семантика, происхождение. Гомель, 1998.
- Ковачев, Тотевски 1998 – *Ковачев С., Тотевски Т.* Речник на троянския говор. Троян, 1998.
- Козловский 1–4 – Собрание русских воровских словарей / Сост. В. Козловский. Нью-Йорк, 1983. Т. 1–4.
- Колосова А. 2008 – *Колосова А. А.* Образ России через призму восприятия национального характера // Образ России извне и изнутри. Калуга, 2008. С. 81–84.
- Колосова 2009 – *Колосова В. Б.* Лексика и символика славянской народной ботаники: Этнолингвистический аспект. М., 2009.
- Колосова 2010 – *Колосова В. Б.* «Чужие» растения в русских говорах // Рус. речь. 2010. № 2. С. 94–97.
- Кондратенко 2000 – *Кондратенко М.* Лексика народной метеорологии. Опыт сравнительного анализа славянских и немецких наименований природных явлений. München, 2000.
- Коновалова 2000 – *Коновалова Н. И.* Словарь народных названий растений Урала. Екатеринбург, 2000.
- Копач 2004 – *Копач О. И.* Номинация водных объектов в белорусском и английском языках: ономаσιологический аспект (на материале гелонимов Белоруссии и США): Дис. ... канд. филол. наук. Минск, 2004.
- Коровушкин 2000 – *Коровушкин В. П.* Словарь русского военного жаргона. Екатеринбург, 2000.
- Кошкарева 1993 – *Кошкарева А. М.* Материалы для областного словаря (Специальная лексика северных районов Тюменской области). Ч. 1. Лексика рыболовства. Нижневартовск, 1993.
- Кралик 2006 – *Кралик Л.* Из словацкой диалектной лексики: deethnonymica // Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Ж. Ж. Варбот. М., 2006. С. 161–169.
- Крейдлин, Переверзева 2009 – *Крейдлин Г. Е., Переверзева С. И.* Части тела в русском языке и русской культуре: проект Института лингвистики РГГУ // Лингвистика для всех: Летние лингвистические школы 2007 и 2008. М., 2009. С. 173–183.
- Кривоногова 1999 – *Кривоногова М. М.* Национальное своеобразие фразеологических единиц различных вариантов одного языка (на примере французского языка в Квебеке и Франции) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 294–299.
- Кривошапова 2007 – *Кривошапова Ю. А.* Русская энтомологическая лексика в этнолингвистическом освещении: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2007.
- КРК – *Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Коснырева Р. И.* Коми-роч кывчукор. Сыктывкар, 2000.
- Кронгауз 2009 – *Кронгауз М. А.* Русский язык на грани нервного срыва. 2-е изд., стер. М., 2009.
- Крюкова, Супрун 2002 – *Крюкова И. В., Супрун В. И.* Реки и водоемы Волгоградской области. Гидронимический словарь. Волгоград, 2002.
- КСГРС – картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).

- КСРНГ – картотека Словаря русских народных говоров (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург).
- КСЧ – Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны. Менск, 1929.
- Кузнецов 2010 – *Кузнецов А. В.* Топонимика болот Европейского Севера: наследие соколиных помытчиков // Сокольниковый вестник. 2010. № 3. С. 7–10.
- Куркина 2011 – *Куркина Л. В.* Культура подсечно-огневого земледелия в зеркале языка. М., 2011.
- Кутенева 2008 – *Кутенева Т. А.* Смысловая динамика идеологием советской эпохи: от идеологии, пропаганды и агитации до пиара: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008.
- Кучко 2012 – *Кучко В. С.* Мир семьи в лексике Поветлужья // Живая старина. 2012. № 2. С. 44–46.
- Кучко 2013 – *Кучко В. С.* «Обманщик» и «обманутый» в зеркале русской диалектной лексики // Рус. речь. 2013. № 4. С. 97–102.
- Кушкова 2005 – *Кушкова А. Н.* В центре стола: зенит и закат салата «Оливье» [Электронный ресурс] // Новое лит. обозрение. № 76. 2005. № 6. С. 278–314. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/76/ku23.html>.
- Лавров 1899 – *Лавровъ П. А.* Апокрифические тексты. СПб., 1899. [Сб. отд. рус. яз. и словесности Имп. акад. наукъ. Т. 67. № 3].
- Леви 2008 – *Леви Ю. Э.* Современный образ России: миф и реальность // Образ России извне и изнутри. Калуга, 2008. С. 97–107.
- Левонтина 2010 – *Левонтина И. Б.* Русский со словарем. М., 2010.
- Левонтина 2011 – *Левонтина И. Б.* Русский язык и ценности общества потребления // Вопр. культуры речи. М., 2011. Вып. 10. С. 26–31.
- Леонтьева 2003 – *Леонтьева Т. В.* Интеллект человека в зеркале русского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.
- ЛЗА – личные записи автора (материалы современной русской городской разговорной речи).
- ЛКТЭ – лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- Лысова 2002 – *Лысова Е. В.* Орнитонимия Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002.
- Любенов 1993 – *Любенов Р.* Бурел: Говор, фольклор, этнография. София, 1993.
- Лютикова 2000 – *Лютикова В. Д.* Словарь диалектной личности. Тюмень, 2000.
- Макарова 2012 – *Макарова А. А.* Русская озерная гидронимия Белозерья: системно-функциональный аспект: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2012.
- Максимов 1994 – *Максимов С. В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994.
- Малеча 1–4 – *Малеча Н. М.* Словарь говоров уральских (яицких) казаков. Оренбург, 2002–2003. Т. 1–4.
- Марков 2002 – *Марков А. В.* Былинная традиция на Зимнем берегу Белого моря // Беломорские старины и духовные стихи / Собр. А. В. Маркова. СПб., 2002. С. 996–1011.
- Марковић 1986 – *Марковић М.* Речник народног говора у Црној Реци // Српски дијалектолошки зборник. 32. Београд, 1986. С. 243–500.
- Матвеев 1969 – *Матвеев А. К.* Значение принципа семантической мотивированности для этимологизации субстратных топонимов // Этимология. 1967. М., 1969. С. 192–200.

- Матвеев 1985 – *Матвеев А. К.* Топонимия Урала. Свердловск, 1985.
- Матвеев 2004 – *Матвеев А. К.* Субстратная топонимия Русского Севера. М., 2004. Ч. 2.
- Матвеев 2006 – *Матвеев А. К.* Ономатология. М., 2006.
- Матвеев 2007 – *Матвеев А. К.* Субстратная топонимия Русского Севера. М., 2007. Ч. 3.
- Махрачева, Ипполитова 2013 – *Махрачева Т. В., Ипполитова Д. С.* Народные представления об аде и рае на Тамбовщине // Традиционная народная культура Тамбовского края. Сб. ст. молодых исследователей. Т. 1–2. Тамбов, 2013. Этнолингвистические, археологические, музееведческие очерки.
- Меркулова 1988 – *Меркулова В. А.* Проблема семантической реконструкции в этимологическом словаре // Этимологические исследования. Вып. 4. Свердловск, 1988. С. 4–7.
- Меркулова 1993 – *Меркулова В. А.* [Рец. на:] Словарь вологодских говоров. А–Г. Вологда, 1983 // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1988–1990. М., 1993. С. 195–196.
- Меркурьев 1979 – *Меркурьев И. С.* Живая речь кольских поморов. Мурманск, 1979.
- Меркурьев 1997 – *Меркурьев И. С.* Пословицы и поговорки Поморья. СПб., 1997.
- Мечковская 2000 – *Мечковская Н. Б.* Метаязыковые глаголы в исторической перспективе: образы речи в наивной картине языка // Язык о языке. М., 2000. С. 363–380.
- Мечковская 2002 – *Мечковская Н. Б.* Национально-культурные оппозиции в ментальности белорусов (на материале белорусских паремий и фразеологизмов с этнолингвонимами и топонимами) // Встречи этнических культур в зеркале языка: (в сопоставительном лингвокультурном аспекте). М., 2002. С. 215–231.
- Минкин 1976 – *Минкин А. А.* Топонимы Мурмана. Мурманск, 1976.
- Митрофанова 1968 – Загадки / Подгот. изд. В. В. Митрофановой. Л., 1968.
- Михайлова, Исакова 2008 – *Михайлова О. А., Исакова Т. Н.* Образ России глазами уральских студентов // Образ России извне и изнутри. Калуга, 2008. С. 217–221.
- Михельсон 1–2 – *Михельсон М. И.* Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний. СПб., 1901–1902. Т. 1–2.
- Младенов 1941 – *Младенов Ст.* Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
- Младенов 1951 – *Младенов Ст.* Български тълковен речник с оглед към народните говори. София, 1951. Т. 1.
- МНМ – Мифы народов мира. М., 1991–1992. Т. 1–2.
- Мокиенко 1999 – *Мокиенко В. М.* Образы русской речи: Историко-этимологические очерки по фразеологии. СПб., 1999.
- Мокиенко 2003 – *Мокиенко В. М.* Депатетизация патетизмов в современном тексте // Современные языковые процессы. СПб., 2003. С. 123–126.
- Молдован 2007 – *Молдован А. М.* Слыхали мы и не такие лясы // Рус. речь. 2007. № 2. С. 115–119.
- Молдован 2011 – *Молдован А. М.* Поклонная гора // Слово и язык. Сб. ст. к восьмидесятилетию акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2011. С. 298–306.
- Морозов 2012 – *Морозов И. А.* Пища «богатая» и «бедная»: пищевые маркеры социокультурных иерархий // Этнографическое обозрение. 2012. № 5. С. 13–23.
- Морозов, Слепцова 2004 – *Морозов И. А., Слепцова И. С.* «Круг игры». Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–XX вв.). М., 2004.
- МРС – Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и авт. коммент. О. А. Черепанова. СПб., 1996.

- МСЮВ – Материалы к истории старообрядчества Южной Вятки (по итогам комплексных археографических экспедиций МГУ им. М. В. Ломоносова). Сб. документов / Сост. В. П. Богданов и др. М., 2012.
- МФУЗ – Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера. Екатеринбург, 2004–. Вып. 1–.
- МЧТ – Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник / Съст. и ред. М. Георгиев. София, 2008.
- Мюллер 2003 – *Мюллер В. К.* Новый англо-русский словарь. М., 2003.
- Насовіч 1983 – *Насовіч І. І.* Слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1983.
- НБАРС – Новый большой англо-русский словарь. М., 2002. Т. 1–3.
- НБШВРС – Новый большой шведско-русский словарь. М., 2007.
- Некрылова 1988 – *Некрылова А. Ф.* Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII – начало XX века. Л., 1988.
- Непокупный 1976 – *Непокупный А. П.* Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976.
- Нестеренко 2007 – *Нестеренко О. А.* Арго костромских и пензенских шерстобитов в сопоставлении // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. Сектор молодых ученых. 2007. № 3 (7). С. 160–162.
- Нефедова 2001 – *Нефедова Е. А.* Экспрессивный словарь диалектной личности. М., 2001.
- Никифоровский 1897 – Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах / Собр. в Витебской Белоруссии Н. Я. Никифоровский. Витебск, 1897.
- НКРЯ – Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://rus-corpora.ru/>.
- Новаковић 1877 – Српске народне загонетки / Уред. и изд. Ст. Новаковић. Београд и Панчево, 1877.
- Номис 1864 – *Номис М.* Українські приказки, прислів'я і таке інше. СПб., 1864.
- Номис 1993 – Українські приказки, прислів'я і таке інше / Укл. М. Номис; упоряд., приміт. та вступ. ст. М. М. Пазяка. Київ, 1993.
- НОС – Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–1995. Вып. 1–12.
- НОС₂ – Новгородский областной словарь / Изд. подгот. А. Н. Левичкин, С. А. Мызников. СПб., 2010.
- НОСС – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. 2-е изд., испр. и доп. М.; Вена, 2004.
- Образ России извне и изнутри 2008 – Образ России извне и изнутри. Сб. ст. / Под ред. Е. Ф. Тарасова (отв. ред.), Н. В. Уфимцевой, Е. А. Аршавской. Калуга, 2008.
- Ожегов 1953 – Словарь русского языка / Сост. С. И. Ожегов; под общ. ред. акад. С. П. Обнорского. 3-е изд. М., 1953.
- Онишкевич 1–2 – *Онишкевич М. Й.* Словник бойківських говірок. Київ, 1984. Ч. 1–2.
- Онищенко 2009 – *Онищенко М. С.* Оценочность концептов «русские» и «американцы» в русском языковом и когнитивном сознании // Дискурс, концепт, жанр. Нижний Тагил, 2009. С. 204–219.
- Опыт – Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук. СПб., 1852.
- ОСВГ – Областной словарь вятских говоров. Киров, 1996–. Вып. 1–.
- Осипова 2008 – *Осипова М. А.* «Успех», «удача» и ошибки атрибуции // Категории жизни и смерти в славянской культуре. М., 2008. С. 25–47.

- Осипова 2011 – *Осипова М. А.* Категоризация себя и другого (авторереферентность сочетаний *мой успех, я успешна*) // *Вопр. культуры речи*. М., 2011. Вып. 10. С. 31–36.
- Отин 1989 – *Отин Е. С.* Структурно-семантические отношения в топонимических парах (гидроним-аугментатив и гидроним-деминутив) // *Рус. языковедение*. Киев, 1989. Вып. 19. С. 124–129.
- Отин 2004 – *Отин Е. С.* Словарь коннотативных собственных имен. Донецк, 2004.
- Очерки 2005 – *Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков* / Отв. ред. А. П. Непокупный. Киев, 2005.
- Павлова 2012 – *Павлова А. В.* Можно ли судить о культуре народа по данному его языку? [Электронный ресурс] // *Антропологический форум*. 2012. № 16 Online. С. 3–60. URL: <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/016online/pavlova3.pdf>.
- Пашина 2003 – *Пашина О. А.* К вопросу о взаимодействии культурных текстов: жатва и свадьба // *Смоленский музыкально-этнографический сборник*. М., 2003. Т. 1. С. 86–97.
- Пашенко 1–2 – *Пашенко В. А.* Материалы к словарю фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Читинской области. Чита, 1999. Ч. 1–2.
- ПГ – *Пословицы и гаданки* / Изб. и ред. д-р К. Пенушлиски. Скопје, 1969.
- Петлева 1972 – *Петлева И. П.* О семантических истоках слов со значением ‘скупой’ в русском языке // *Этимология*. 1970. М., 1972. С. 207–216.
- Петлева 1989 – *Петлева И. П.* Этимологические заметки по славянской лексике. XVI // *Этимология*. 1986–1987. М., 1989. С. 64–71.
- Петлева 1996 – *Петлева И. П.* Архаические префиксы в русских говорах // *Этимологические исследования*. Екатеринбург, 1996. Вып. 6. С. 31–38.
- Петлева 2003 – *Петлева И. П.* Этимологические заметки по славянской лексике. XXI (**poskoplъ*; **sokolъ*) // *Этимология*. 2000–2002. М., 2003. С. 16–23.
- Петрухин 2004 – *Петрухин В. Я.* Евстратий Постник и Вильям из Норвича – две пасхальные жертвы // *Праздник – обряд – ритуал в славянской и еврейской культурной традиции*. М., 2004. С. 84–103.
- Петрухин 2009 – *Петрухин В. Я.* Сани // *Славянские древности. Этнолингвистический словарь*. М., 2009. Т. 4. С. 541.
- ПЗ – *Полесские заговоры (в записях 1970–1990 гг.)*. М., 2003.
- Пипер 2004 – *Пипер П.* Прилагательное *руски* в вербальных ассоциациях сербов // *Коммуникативное поведение*. Воронеж, 2004. Вып. 19: *Коммуникативное поведение славянских народов: Русские, сербы, чехи, словаки, поляки*. С. 183–188.
- Пихурова 2005 – *Пихурова А. А.* Судьба советизмов в русском языке конца XX – начала XXI века: На материале словарей и текстов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2005.
- Пичхадзе 2003 – *Пичхадзе А. А.* Радуга // *Новое в русской этимологии*. М., 2003. С. 190–191.
- Плеханова 2013 – *Плеханова Е. К.* Смысловая динамика лексемы «пафос»: Магистерская дис. / Урал. фед. ун-т. Екатеринбург, 2013.
- ПЛНМ – *Никончук М. В., Никончук О. М., Мойсієнко В. М.* Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. Житомир, 2001.
- Плунгян, Рахилина 1996 – *Плунгян В. А., Рахилина Е. В.* «С чисто русской аккуратностью...»: (К вопросу об отражении некоторых стереотипов в языке) // *Моск. лингв. журн.* 1996. Т. 2. С. 340–351.
- Поветкин 1997 – *Поветкин В. И.* Музыкальный инструментарий древнего Новгорода // *Живая старина*. 1997. № 2. С. 46–50.

- Подвысоцкий 1885 – *Подвысоцкий А. И.* Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
- Подюков, Черных 2004 – *Подюков И. А., Черных А. В.* Масленица в Прикамье (конец XIX – первая половина XX в.). Пермь, 2004.
- Покровский 1887 – *Покровский Н. В.* Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства // Труды VI Археологического съезда в Одессе. Одесса, 1887. Т. 3.
- Покровский 1994 – *Покровский Е. А.* Детские игры: преимущественно русские. Репр. 1895 г. СПб., 1994.
- Попов 1991 – *Попов С. В.* Топонимия Белого моря // Вопр. топонимики Подвинья и Поморья. Архангельск, 1991. С. 45–54.
- Попов 1996 – *Попов Г. И.* Русская народно-бытовая медицина. По материалам этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева // Торэн М. Д. Русская народная медицина и психотерапия. СПб., 1996. С. 277–471.
- Попова 2012 – *Попова А. Р.* Лексико-фразеологический комплекс как результат реализации креативного потенциала лексической единицы. Орел, 2012.
- Попова 2013 – *Попова А. Р.* Лексико-фразеологический комплекс как результат реализации креативного потенциала лексической единицы: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Орел, 2013.
- Поповичева 2001 – *Поповичева И. В.* Культурная семантика некоторых диалектных названий // Материалы к лингво-фольклорному атласу Тамбовской области. Тамбов, 2001. Вып. 3. С. 84–94.
- ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967–. Вып. 1–.
- Поспелов 1979 – *Поспелов Е. М.* Материалы к топонимическому словарю Московской области // Проблемы восточнославянской топонимии. М., 1979.
- ПП-блр 1–2 – Прыказкі і прымаўкі. Мінск, 1976. Кн. 1–2.
- ПП-укр 1989 – Прислів'я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини. Київ, 1989. (УкрНТ).
- ПП-укр 1990 – Прислів'я та приказки: Людина. Родина. Життя. Риси характеру. Київ, 1990. (УкрНТ).
- ПП-укр 1991 – Прислів'я та приказки: Взаємини між людьми. Київ, 1991. (УкрНТ).
- Правда, Кошова 2004 – *Правда Е. А., Кошова И.* Русские в восприятии словаков (экспериментальное исследование стереотипов восприятия) // Коммуникативное поведение. Вып. 19: Коммуникативное поведение славянских народов: Русские, сербы, чехи, словаки, поляки. Воронеж, 2004. С. 188–194.
- Правда, Яурова 2004 – *Правда Е. А., Яурова Т. В.* Русские в восприятии сербов (экспериментальное исследование стереотипов восприятия) // Коммуникативное поведение. Вып. 19: Коммуникативное поведение славянских народов: Русские, сербы, чехи, словаки, поляки. Воронеж, 2004. С. 194–199.
- Приемышева 2009/1–2 – *Приемышева М. Н.* Тайные и условные языки в России XIX века. СПб., 2009. Ч. 1–2. Приложения.
- Пурицкая 2009 – *Пурицкая Е. В.* Вербализация народных представлений о языке носителями диалекта (на материале псковских говоров): Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2009.
- Пушкарева 2005 – *Пушкарева Н. Л.* «Мед и млеко под языком у нее». (Женские и мужские уста в церковном и светском дискурсах России X – начала XIX в.) // Тело в русской культуре. М., 2005. С. 78–102.

- Пьянкова 2008 – *Пьянкова К. В.* Лексика, обозначающая категориальные признаки пищи, в русской языковой традиции: этнолингвистический аспект: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008.
- Пьянкова 2010 – *Пьянкова К. В.* *Сытый голодному не товарищ*: фрагмент русских представлений о сытости // *Язык и общество в современной России и других странах*. Междунар. конф. Москва, 21–24 июня 2010 г. Докл. и сообщ. М., 2010. С. 489–492.
- РасС – *Раслінны свет. Тэматычны слоўнік*. Мінск, 2001.
- РБЕ – *Речник на българския език*. София, 1977–. Т. 1–.
- РБС – *Русская бытовая сказка*. Л., 1987.
- РДС – *Русский демонологический словарь* / Авт.-сост. Т. А. Новичкова. М., 1995.
- РМЈ – *Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања*. Скопје, 1961–1966. Т. 1–3.
- РНК – *Атрошенко О. В., Кривошапова Ю. А., Пьянкова К. В.* *Русский народный календарь*. Этнолингвистический словарь / Науч. ред. Е. Л. Березович. В печати.
- Ровинский 1900 – *Ровинский Д.* *Русские народныя картинки*. СПб., 1900. Т. 1.
- Родионова 2000 – *Родионова И. В.* *Имена библейско-христианской традиции в русских народных говорах*: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
- Романова 2013 – *Романова Т. П.* «Русское поле» в рекламной номинации // *Вопр. ономастики*. 2013. № 2 (15). С. 164–173.
- РПК – *Русские плачи Карелии* / Под ред. проф. М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1940.
- РСв – *Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И.* *Русская свадьба. Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области)*. М., 1985.
- РСГВ – *Речник српских говора Војводине*. Нови Сад, 2000–. Св. 1–.
- РСХКЈ – *Речник српскохрватског књижевног језика*. Нови Сад; Загреб, 1967–1969. Књ. 1–3; Нови Сад, 1971–1976. Књ. 4–6.
- РСХКНЈ – *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*. Београд, 1959–. Књ. 1–.
- РТА – *Русская топонимия Алтая* / Под ред. И. А. Воробьевой. Томск, 1983.
- Рубцова 2009 – *Рубцова С. Ю.* *Толковый англо-русский словарь имен собственных в интертекстуальном аспекте*. СПб., 2009.
- Руссо 2008 – *Руссо М. М.* *Типология семантических переходов в области «наивной биологии»* // *Вопр. филологии*. 2008. № 3. С. 92–100.
- Руссо 2012 – *Руссо М. М.* *Неогумбольдтианская лингвистика и рамки «языковой картины мира»* [Электронный ресурс] // *Лингвистика и методика преподавания иностранных языков*. М., 2012. Вып. 4. С. 148–176. URL: http://www.iling-ran.ru/library/sborniki/for_lang/2012_04/sbornik_kiya.pdf.
- Рут 1988 – *Рут М. Э.* *Взаимодействие языков в области народной астрономии* // *Русский язык в его взаимодействии с другими языками*. Тюмень, 1988. С. 84–89.
- Рут 1992 – *Рут М. Э.* *Образная номинация в русском языке*. Екатеринбург, 1992.
- Рут 2008 – *Рут М. Э.* *Образная номинация в русской ономастике*. М., 2008.
- РФ – *Бирих А. К., Мокшенок В. М., Степанова Л. И.* *Русская фразеология. Историко-этимологический словарь*. М., 2005.
- Рыбников 1–4 – *Песни, собранные П. Н. Рыбниковым*. М., 1861–1862. Ч. 1–2. Петрозаводск, 1864. Ч. 3. СПб., 1867. Ч. 4.
- Сабанеев 1959 – *Сабанеев Л. П.* *Жизнь и ловля пресноводных рыб*. Киев, 1959.
- Садовников 1996 – *Загадки русского народа: Сб. загадок, вопросов, притч и задач* / Сост. Д. Н. Садовников. М., 1996.

- Санников 2006 – Санников А. В. Понятия достоинства и смирения // Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М., 2006. С. 405–470.
- САР – Словарь Академии Российской (1789–1794). М., 2001–2005. Т. 1–6.
- СБНФ – *Мяцельская Е. С., Камароўскі Я. М.* Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі. Мінск, 1972.
- СБукГ – Словник буковинських говірок. Чернівці, 2005.
- СВГ – Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983–2007. Вып. 1–12.
- Свицова 2008 – *Свицова А. А.* Россия в пословицах // Образ России извне и изнутри. Калуга, 2008. С. 146–150.
- СВолгО – Словарь донских говоров Волгоградской области. Волгоград, 2006–2009. Вып. 1–6.
- СВоронГ – Словарь воронежских говоров. Воронеж, 2004–. Вып. 1–.
- СВЯ – *Зайцева М. И., Муллонен М. И.* Словарь вепского языка. Л., 1972.
- СГБС – *Афанасьева-Медведева Г. В.* Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири. СПб., 2007–2008. Т. 1–4; Иркутск, 2010–. Т. 5–.
- СГЛВ – *Дьякова В. И., Хитрова В. И.* Словарь географической лексики Воронежского края (с историческими комментариями). Воронеж, 2009.
- СГРС – Словарь говоров Русского Севера / Под ред. чл.-корр. РАН А. К. Матвеева. Екатеринбург, 2001–. Т. 1–
- СГСЗ – Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1999.
- СГСПермК – Словарь русских говоров севера Пермского края / Гл. ред. И. И. Русинова. Пермь, 2011–. Вып. 1–.
- СГУ – Словник гидронімів України. Київ, 1979.
- СГЦКК – Словарь говоров центральных районов Красноярского края. Красноярск, 2003–. Вып. 1–.
- СГЮВП – *Муллонен И. И., Азарова И. В., Герд А. С.* Словарь гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь). СПб., 1997.
- СД – Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 1995–2012. Т. 1–5.
- Седакова 2001 – *Седакова И. А.* Цветообозначения и их место в символике славянских родин // Кодови словенских култура. 5. Београд, 2001. С. 57–65.
- Седакова И. 2004 – *Седакова И. А.* Купание младенца // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 2004. Т. 3. С. 51–54.
- Седакова 2007а – *Седакова И. А.* Балканские мотивы в языке и культуре болгар. Родинный текст. М., 2007.
- Седакова 2007б – *Седакова И. А.* Лингвокультурные основы родинного текста болгар: Дис. ... д-ра филол. наук. М., 2007.
- Седакова 2008 – *Седакова И. А.* Распад «идеологических» языковых союзов: универсальное и специфическое // Славянское языкознание. XIV Междунар. съезд славистов. Докл. рос. делегации. М., 2008. С. 429–450.
- Седакова 2010а – *Седакова И. А.* Базовые ценности и их метаморфозы (от выживания до «искусства жить» // Язык и общество в современной России и других странах. Междунар. конф. Москва, 21–24 июня 2010 г. Докл. и сообщ. М., 2010. С. 492–496.
- Седакова 2010б – *Седакова И. А.* Фольклорно-языковой образ *истуга* у болгар (на материале народной медицины) // Топоровские чтения. I–IV. Избр. М., 2010. С. 171–180.
- Седакова О. 2004 – *Седакова О. А.* Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004.

- Селигер – Селигер: Материалы по русской диалектологии: Словарь / Под ред. А. С. Герда. СПб., 2003–. Вып. 1–.
- Семенов 1–5 – *Семенов П.* Россия: Географическо-статистический словарь Российской империи: СПб., 1863–1885. Т. 1–5.
- Семенова 2006 – *Семенова А. В.* Идеографическая классификация кашубской фразеологии и языковая картина мира кашубов: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.
- Сергеева 2004 – *Сергеева Л. Н.* Материалы для идеографического словаря новгородских фразеологизмов. Великий Новгород, 2004.
- Серейский 1933 – *Серейский Б.* Литовско-русский словарь. Каунас, 1933.
- Сержпутоўскі 1930 – *Сержпутоўскі А.* Прымхі і забабоны беларусаў-паляшукі. Менск, 1930.
- Симоновић 1959 – *Симоновић Д.* Ботанички речник: Имена бильака. Београд, 1959.
- Синица 2010 – *Синица Н. А.* Лексика народной демонологии Павинского района // Живая старина. 2010. № 3. С. 43–46.
- СКГК – Словарь собственно-карельских говоров Карелии / Сост. В. П. Федотова, Т. П. Бойко. Петрозаводск, 2009.
- СКЯ-Пунжина – Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.
- СлРС – Словацко-русский словарь. М.; Братислава, 1976.
- СлРЯ – Словарь русского языка. М., 1981–1984. Т. 1–4.
- СлРЯ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–. Вып. 1–.
- СлРЯ XVIII – Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984–. Вып. 1–.
- СМА – *Елистратов В. С.* Словарь московского арго: Материалы. 1980–1994 гг. М., 1994.
- Смолицкая 1976 – *Смолицкая Г. П.* Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976.
- Смолицкая 2002 – *Смолицкая Г. П.* Топонимический словарь Центральной России. М., 2002.
- СМЭС – Смоленский музыкально-этнографический сборник. М., 2003. Т. 1: Календарные обряды и песни.
- СМЯ – Словарь марийского языка. Йошкар-Ола, 1990–2005. Т. 1–10.
- Снегирев 1995 – Русские народные пословицы и притчи / Сост. И. М. Снегирев. М., 1995.
- СНЗ – Српске народне загонетки са Косова и Метохије. Приштина, 1979.
- Соболев 1913 – *Соболев А. Н.* Загробный мир по древнерусским представлениям: Литературно-исторический опыт изслѣдованія древнерусскаго народнаго міро-созерцанія. Сергіев Посадъ, 1913.
- Соболевский 1–7 – *Соболевский А. И.* Великорусские народные песни. СПб., 1895–1902. Т. 1–7.
- СОГ – Словарь орловских говоров. Ярославль, 1989–1991. Вып. 1–4; Орел, 1992–. Вып. 5–.
- Соколов 2012 – *Соколов И. А.* Чай и чайная торговля в России: 1790–1919 гг. М., 2012.
- СОС – Смоленский областной словарь / Сост. В. Н. Добровольский. Смоленск, 1914.
- Софийски край 1993 – Софийски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1993.
- СПГ – Словарь пермских говоров. Пермь, 2000–2002. Вып. 1–2.
- СПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1978–1986. Т. 1–5.
- СПЛСР – Словарь промышленной лексики Северной Руси XV–XVII вв. СПб., 2003–. Вып. 1–.
- СППП – Словарь псковских пословиц и поговорок. СПб., 2001.

- СРГА – Словарь русских говоров Алтая / Под ред. И. А. Воробьевой, А. И. Ивановой. Барнаул, 1993–1998. Т. 1–4.
- СРГБаш – Словарь русских говоров Башкирии: А–Я / Под ред. З. П. Здобновой. Уфа, 2008.
- СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994–2005. Вып. 1–6.
- СРГКПО – Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. Пермь, 2006.
- СРГМ – Словарь русских говоров на территории Республики Мордовия. СПб., 2013. Ч. 1–2.
- СРГНО – Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
- СРГНП – Словарь русских говоров Низовой Печоры. СПб., 2003–2005. Т. 1–2.
- СРГО – Словарь русских говоров Одесщины. Одесса, 2000. Т. 1–2.
- СРГП – Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.
- СРГС – Словарь русских говоров Сибири / Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1999–2006. Т. 1–5.
- СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964–1988. Т. 1–7.
- СРГЮК – Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. Красноярск, 1988.
- СРГЮП – Словарь русских говоров Южного Прикамья / И. А. Подюков (науч. ред.), Е. Н. Свалова, С. В. Хоробрых и др. Пермь, 2010–2012. Вып. 1–3.
- СРДГ – Словарь русских донских говоров. Ростов н/Д, 1975–1976. Т. 1–3.
- Срезневский 1–3 – *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903. Т. 1–3.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965–. Вып. 1–.
- СРСГСП – Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Томск, 1992–1996. Т. 1–3.
- СРСГСП-Д2 – Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Омск, 2003. Дополнения. Вып. 2: А–Я.
- ССГ – Словарь смоленских говоров / Отв. ред.: Л. З. Бояринова, А. И. Иванова. Смоленск, 1974–2005. Вып. 1–11.
- ССКЗД – Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961.
- ССРГ – Словарь современного русского города. М., 2003.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1948–1965. Т. 1–17.
- Стихи духовные – Стихи духовные / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. Ф. М. Селиванова. М., 1991.
- Стойкова 1984 – *Стойкова Ст.* Български народни гатанки. София, 1984.
- Страхов 2003 – *Страхов А. Б.* Ночь перед Рождеством: народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Cambridge; Massachusetts, 2003. [Palaeoslavica. 11. Supplementum 1].
- Стрельников 1981 – *Стрельников С. М.* Этимологии некоторых жгонских слов // Этимологические исследования. Свердловск, 1981. Вып. 2. С. 69–72.
- СТРИ – Словарь-тезаурус современной русской идиоматики / Под ред. А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского. М., 2007.
- СТСВ – Список тобольских слов и выражений, записанных в Тобольском, Тюменском, Курганском и Сургутском округах, в двух первых д. чл. Паткановым, в трех последних чл. сотр. Зобниным, и приведенных в алфавитный порядок студ. И. Спб. Унив. Николаевым // Живая старина. 1899. № 4. С. 487–518.
- СУМ – Словник української мови. Київ, 1970–1980. Т. 1–11.

- СУМ XVI–XVII – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Львів, 1994–. Вип. 1–.
- СФСРЯ – *Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И.* Словарь фразеологических синонимов русского языка. Ростов н/Д, 1996.
- СЦРБ – Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі. Т. 1. А–П. Мінск, 1990.
- Сыщиков 2006 – *Сыщиков А. Д.* Лексика крестьянского деревянного строительства. СПб., 2006.
- Тадина 2007 – *Тадина Н. А.* Река как образ родины у алтайцев // Реки и народы Сибири. СПб., 2007. С. 151–159.
- Тихомирова 2009 – *Тихомирова А. В.* «Ржаные песни» и «ржаная невеста» // Живая старина. 2009. № 1. С. 26–28.
- Тихомирова 2013 – *Тихомирова А. В.* Ассоциативно-деривационная и фразеологическая семантика наименований одежды в русской языковой традиции: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013.
- Тищенко 2007 – *Тищенко О. В.* Мовно-культурний образ «своїх і чужих» в етнонімаціях: семантика й прагматика (на матеріалі західно- та східнослов'янських мов і фольклору) // Слов'янський вісник. Рівне, 2007. Вип. 7. С. 3–14.
- Ткаченко 1998 – *Ткаченко П.* Кубанский говор: Опыт авторского словаря. М., 1998.
- ТКТЭ – Топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- Толстая 1995 – *Толстая С. М.* Магия обмана и чуда в народной культуре // Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995. С. 109–115.
- Толстая 2003 – *Толстая С. М.* Семантическая реконструкция и проблема синонимии в праславянской лексике // Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд славистов. Любляна, 2003 г. Докл. рос. делегации. М., 2003. С. 549–563.
- Толстая 2008 – *Толстая С. М.* Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.
- Толстая 2010а – *Толстая С. М.* К семантической истории слав. **mirъ* и **svěť* // Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија. Београд, 2010. Књ. 4. С. 199–213.
- Толстая 2010б – *Толстая С. М.* Семантические категории языка культуры: Очерки по славянской этнолингвистике. М., 2010.
- Толстая 2010в – *Толстая С. М.* Чистая правда: к семантической реконструкции слав. **čist-* // Forma formans. Studi in onore di Boris Uspenskij. Napoli, 2010. Т. 2. Р. 187–195.
- Толстая 2012 – *Толстая С. М.* [Рец. на:] *M. Jakubowicz.* Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odiedziczonych z prasłowiańszczyzny. Warszawa, 2010. 375 s. // Этимология. 2009–2011. М., 2012. С. 335–346.
- Толстая 2013 – *Толстая С. М.* Семантическая реконструкция и лексическая типология // Славянское языкознание. XV Междунар. съезд славистов. Минск, 21–27 августа 2013 г. Докл. рос. делегации. М., 2013. С. 141–163.
- Толстой 1963 – *Толстой Н. И.* Из опытов типологического исследования славянского словарного состава [I] // Вопр. языкознания. 1963. № 1. С. 29–45.
- Толстой 1966 – *Толстой Н. И.* Из опытов типологического исследования славянского словарного состава [II] // Вопр. языкознания. 1966. № 5. С. 16–36.
- Толстой 1994 – *Толстой Н. И.* Vita herbae et vita rei в славянской народной традиции // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. М., 1994. С. 139–168.

- Топорков 1990 – *Топорков А. Л.* [Из истории науки] // *Вопр. языкознания.* 1990. № 1. С. 133–134.
- Топоров 2004 – *Топоров В. Н.* Исследования по этимологии и семантике. М., 2004. Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения.
- Топоров, Трубачев 1962 – *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
- Торопов 1976 – *Торопов С. А.* По голубым дорогам Прикамья. Пермь, 1976.
- Трефилова 2012 – *Трефилова О. В.* Телега // *Славянские древности. Этнолингвистический словарь.* М., 2012. Т. 5. С. 243–247.
- Трубачев 2002 – *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 2002.
- Трубачев 2004/1–2 – *Трубачев О. Н.* Труды по этимологии: Слово – История – Культура. М., 2004. Т. 1–2.
- Трубачев 2006 – *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. 2-е изд., испр. и доп. М., 2006.
- ТС – Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982–1987. Т. 1–5.
- ТСБМ – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1977–1984. Т. 1–5.
- ТСлРЯ 1992 – *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1992.
- ТСлРЯ 2007 – Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2007.
- ТТС – Тематический словарь говоров Тверской области / Гл. ред. Т. В. Кириллова. Тверь, 2003–2006. Вып. 1–5.
- Туркин 1986 – *Туркин А. И.* Топонимический словарь Коми АССР. Сыктывкар, 1986.
- Тырпа 2012 – *Тырпа А.* Этнические стереотипы в разных языках: национальные? международные? универсальные? // *Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы II Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 8–10 сентября 2012 г. Екатеринбург, 2012. Ч. 1. С. 56–57.*
- ТЭ (ТЭ УрФУ) – топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- Удр – *Подюков И. А., Белавин А. М., Крыласова Н. Б.* и др. Усольские древности. Традиционная культура русских конца XIX–XX вв. Усолье, 2004.
- Ужченко, Авксентьев 1990 – *Ужченко В. Д., Авксентьев Л. Г.* Українська фразеологія. Харків, 1990.
- УС XII–XIII – Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот.: О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон; под ред. С. И. Коткова. М., 1971.
- Усачева 2008 – *Усачева В. В.* Из истории культурных растений: картофель (*Solanum tuberosum* L.) // *Усачева В. В.* Магия слова и действия в народной культуре славян. М., 2008. С. 235–248.
- Успенский 1982 – *Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
- Утехин 1999 – *Утехин И. В.* Представления русских о коже // *Кодови словенских култура.* 1999. № 4. С. 98–110.
- Уфимцева 2011 – *Уфимцева Н. В.* Русские: свои или чужие // *Бытие в языке. Сб. науч. тр. к 80-летию В. И. Жельвиса.* Ярославль, 2011. С. 234–238.
- Ушаков 1–4 — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940. Т. 1–4.

- Фасмер 1–4 — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. 1–4.
- Федосюк 2010 — *Федосюк М. Ю.* Концепт русского обыденного сознания «русские» по данным Национального корпуса русского языка // *Лингвистическая герменевтика*. М., 2010. Вып. 2. С. 93–99.
- Феоктистова 2003 — *Феоктистова Л. А.* Номинативное воплощение абстрактной идеи (на материале русской лексики со значением ‘пропасть, исчезнуть’): Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.
- Феоктистова 2009 — *Феоктистова Л. А.* «Карьера» и «карьеризм» в истории русского и польского языков // *Etnolingwistyka*. 2009. № 21. S. 153–169.
- Филлмор 1983 — *Филлмор Ч.* Об организации семантической информации в словаре // *Новое в зарубежной лингвистике*. М., 1983. Вып. 14. С. 23–60.
- ФРБЕ — *Ничева К., Спасова-Михайлова С., Чолакова К.* Фразеологичен речник на българския език. София, 1974–1975. Т. 1–2.
- Фролова 2008 — *Фролова О. Е.* *Пафосно и пафосный* в современной речи // Тез. докл. междунар. конф. Восьмые Шмелевские чтения. М., 2008. С. 155–158.
- Фролова 2010 — *Фролова О. Е.* Между покоем и удобством (*комфортно и комфортабельно*) // Проблемы лексической семантики. Тез. докл. междунар. конф. Девятые Шмелевские чтения. М., 2010. С. 145–148.
- ФРР — *Мелерович А. М., Мокиенко В. М.* Фразеологизмы в русской речи. Словарь. М., 1997.
- ФРС — Финско-русский словарь. Таллин, 1998.
- ФСК — *Кобелева И. А.* Фразеологический словарь русских говоров Республики Коми. Сыктывкар, 2004.
- ФСКЯ — *Федотова В. П.* Фразеологический словарь карельского языка. Петрозаводск, 2000.
- ФСЛГ — *Вархол Н., Івченко А.* Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини. Братіслава, 1990.
- ФСЛРЛЯ — Фразеологический словарь русского литературного языка / Сост. А. И. Федоров. М., 2001.
- ФСЛРЯ — Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. 4-е изд., стер. М., 1986.
- ФСНП — Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры / Сост. Н. А. Ставшина. СПб., 2008. Т. 1–2.
- ФСПГ — *Прокошева К. Н.* Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь, 2002.
- ФСРГС — Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1983.
- ФСУМ — Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993. Кн. 1–2.
- Хейзинга 1988 — *Хейзинга Й.* Осень Средневековья / Пер. с нидерл. М., 1988.
- Хелемендик 2007 — *Хелемендик А. В.* Генетическая характеристика лексико-семантического поля ‘ругать(ся)’ в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2007.
- Хобзей 2002 — *Хобзей Н. В.* Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.
- Ховрина 1998 — *Ховрина Т. К.* О семантической структуре слова *ад* и его производных в ярославских говорах // *Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования)*. 1996. СПб., 1998.
- Цыхун 2000 — *Цыхун Г. А.* Из блокнота участника полесских экспедиций (1. *куміна вода*; 2. *Чагошчы и Чугайка*; 3. *крычаць як боўгары*) // *Etnolingwistyka*. 2000. № 12. S. 181–188.

- Чабаненко 1–4 — *Чабаненко В. А.* Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя, 1992. Т. 1–4.
- Чайко 1974 — *Чайко Т. Н.* Названия частей тела как источник метафоры в апеллятивной и ономастической лексике // *Вопр. ономастики.* Свердловск, 1974. Вып. 8–9. С. 98–106.
- ЧДФ — *Алексеев М. А., Белоусова Т. П., Литвинникова О. И.* Человек в русской диалектной фразеологии: Словарь. М., 2004.
- Черепанова 2005 — *Черепанова О. А.* Культурная память в древнем и новом слове: Исследования и очерки. СПб., 2005.
- Черных 1–2 — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 2002. Т. 1–2.
- Черных 2009 — *Черных А. В.* Русский народный календарь в Прикамье. Ч. 3. Словарь хрононимов. Пермь, 2009.
- ЧТС — Чалавек: Тэматычны слоўнік. Мінск, 2006.
- Чубинский 1872 — Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом: Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. Т. 1, вып. 1: Вера и суеверия. СПб., 1872.
- Шабалина 2011 — *Шабалина Е. В.* Семантико-мотивационное своеобразие русской лексики с числовым компонентом: этнолингвистический аспект: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2011.
- Шайкевич 2005 — *Шайкевич А. Я.* Русская языковая картина мира в ряду других картинок // *Моск. лингв. журн.* 2005. № 8/2. С. 5–21.
- Шеваренкова 2004 — *Шеваренкова Ю. М.* Исследования в области русской фольклорной легенды. Нижний Новгород, 2004.
- Шмелев 1977 — *Шмелев Д. Н.* Современный русский язык. Лексика: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по специальности «Рус. яз. и лит.». М., 1977.
- Шмелева 1998 — *Шмелева Т. В.* Текст сквозь призму метафоры ткань // *Вопр. стилистики.* Саратов, 1998. С. 68–74.
- Шмелева 2011 — *Шмелева Е. Я.* Изменения в оценке и самооценке человека в русском языке XXI в. (*яркие индивидуалисты, позитивные эгоисты и успешные карьеристы*) // *Вопр. культуры речи.* М., 2011. Вып. 10. С. 95–101.
- ЭМТЭ — картотека фольклорных и этнографических материалов Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).
- Элиасов 1980 — *Элиасов Л. Е.* Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
- ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1978–. Т. 1–.
- ЭСРЯ — Этимологический словарь русского языка / Под ред. и рук. Н. М. Шанского. М., 1963–. Т. 1–.
- ЭССП — *Подюков И. А., Хоробрых С. В., Антипов Д. А.* Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья. Пермь, 2004.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Отв. ред. акад. О. Н. Трубачев. М., 1974–. Вып. 1–.
- Юдин 2007 — *Юдин А. В.* Ономастикон восточнославянских загадок. М., 2007.
- Юрчанка 1977 — *Юрчанка Г. Ф.* Слова за слова. Устойливыя словазлучэнні ў гаворках Мсціслаўшчыны. Мінск, 1977.

- Юрчанка 2002 — *Юрчанка Г. Ф.* Народнае мудраслоўе: Слоўнік. Мінск, 2002.
- Юрьева 2009 — *Юрьева И. А.* Концепт «Россия» как фрагмент русской национальной картины мира периода XX — начала XXI в.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Челябинск, 2008.
- Яворская 1992 — *Яворская Г. М.* Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии. Киев, 1992.
- Языковая репрезентация 2009 — Языковая репрезентация образа России в публицистическом дискурсе стран Запада и Востока / Отв. ред. Э. Г. Меграбова. Владивосток, 2009.
- Якубович 2003 — *Якубович М.* Физиологические мотивации в названиях эмоций // Этимология. 2000—2002. М., 2003. С. 187–193.
- Якубович 2012 — *Якубович М.* Практика и идеи семантической реконструкции // *Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics*. Praha, 2012. S. 173–179. [*Studia Etymologica Brunensia*. 15].
- Якушкина 2003 — *Якушкина Е. И.* Сербохорватская этическая лексика в этнолингвистическом освещении: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2003.
- ЯОС — Ярославский областной словарь / Отв. ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991. Вып. 1–10.
- ЯСМ — *Елистратов В. С.* Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический словарь. М., 2004.
- ABVY Lingvo x 5 — *ABVY Lingvo x 5*: двадцать языков [Электронный словарь]. URL: www.lingvo.ru.
- Adalberg 1889 — *Adalberg S.* Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa, 1889.
- AE UMCS — Archiwum Etnolingwistyczne UMCS. Lublin, Polska (Этнолингвистический архив Университета им. Марии Кюри-Склодовой, Люблин, Польша).
- AGM — *Kowalska A., Strzyżewska-Zaremba A.* Atlas gwar mazowieckich. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1985. Т. 7, cz. 2.
- AQUAMOTION 2007 — *AQUAMOTION*. Глаголы движения в воде: лексическая типология / Ред. Т. А. Майсак, Е. В. Рахилина. М., 2007.
- Bartmiński, Lappo, Majer-Baranowska 2002 — *Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U.* Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie // *Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury*. 2002. № 14. S. 105–152.
- Bartoš 1–2 — *Bartoš F.* Dialektický slovník moravský. Praha, 1905–1906. D. 1–2.
- Battaglia 1–21 — *Battaglia S.* Grande dizionario della lingua italiana. Torino, 1961–2002. Vol. 1–21.
- Bezlaj 1–4 — *Etimološki slovar slovenskega jezika*. Ljubljana, 1976–2005. Т. 1–4.
- Birken-Silverman 1993 — *Birken-Silverman G.* Bedeutungsentwicklungen ethnischer Appellativa in den romanischen Sprachen // *Sprache — Kommunikation — Informatik. Akten des 26. Linguistischen Kolloquiums*. Poznań, 1991. Tübingen, 1993. Bd. 2. S. 447–454.
- Boryś 2005 — *Boryś W.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.
- Brown 2001 — *Brown C.* Lexical Typology from an Anthropological Point of View // *Language Typology and Language Universals: An International Handbook*. Berlin; New York, 2001. Vol. 2. P. 1178–1189.
- Brzeziński 1–5 — *Brzeziński W.* Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podrózna w Złotowskiem. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Łódź, 1982–2009. Т. 1–5.

- Buck 1949 — *Buck C. D.* A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago, 1949.
- CDO — Cambridge Dictionaries online [Электронный ресурс]. URL: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british>.
- Ciszewski 1887 — *Ciszewski S.* Lud rolniczo-górnicy z okolic Sławkowa w powiecie Olkuskim // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1887. T. 11. S. 1–130.
- CNRTL — Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cnrtl.fr/definition>.
- Czarnecki 2007 — *Czarnecki T.* Rozważania nad etymologią chrześcijańskiego terminu *piekło* // Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata. Gdańsk, 2007. S. 290–296.
- ČRFS — *Mokienko V., Wurm A.* Česko-ruský frazeologický slovník. Olomouc, 2002.
- ČRS — Česko-ruský slovník. Praha, 1958.
- DAFF — Le dictionnaire d'argotet du français familier [Электронный ресурс]. URL: <http://www.languefrancaise.net/glossaire/>.
- Daničić 1877 — *Daničić Gj.* Korijeni s riječima od njih postalijem u hrvatskom ili srpskom jeziku. Zagreb, 1877.
- Dąbrowska 2005 — *Dąbrowska A.* Słownik eufemizmów polskich. Warszawa, 2005.
- DCVB — *Alcover A.* Diccionari català-valencià balear. Palma de Mallorca, 1954. T. 6.
- DG — Diccionario general (esp — rus) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.diccionario.ru>.
- DHMLE — *Alonso M.* Enciclopedia del idioma diccionario histórico y moderno de la lengua española (siglos XII al XX). Madrid, 1968. T. 1–3.
- Dial-Bрно — Archiv lidového jazyka dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, Brno (архив отдела диалектологии Института чешского языка Академии наук Чешской Республики, Брно).
- DLE — Diccionario de la lengua española / Real academia española. Madrid, 1970.
- DUDEN-8 — Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 8 bänden. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1995.
- Doberstein 1968 — *Doberstein E.* Zu den Lehnbildungen und Lehnbedeutungen nach dem Deutschen in der polnischen Sprache in der Gegenwart // Zeitschrift für Slawistik. 1968. № 13. S. 277–285.
- EDD — The English Dialect Dictionary. Oxford, 1981. Vol. 1–6.
- Eren 1999 — *Eren H.* Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara, 1999.
- Ferianc 1958 — *Ferianc O.* Slovenské názvoslovie vtákov. Bratislava, 1958.
- Freire 1954 — *Freire L.* Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 1954. Vol. 8.
- Goldfrank 1995 — *Goldfrank D. M.* Who Put the Snake on the Icon and the Tollbooths on the Snake? A Problem of Last Judgment Iconography // Harvard Ukrainian Studies. 1995. Vol. 19: Камень краєзгльень. Rhetoric of the Medieval Slavic World. P. 180–199.
- GŚ — *Ramult St.* Gwara Ślemeńska. Poznań, 1930. Cz. 1: Słownik.
- Handke 1989 — *Handke K.* Perspektywa paraleli, czyli sposób badania zjawisk językowych // Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich. Warszawa, 1989. S. 7–18.
- Havlová 1965 — *Havlová E.* O potřebě slovníku semantických změn // Jazykovědné aktuality. 1965. № 4. S. 3–4.
- Hladká 2000 — *Hladká Z.* Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Brno, 2000.

- HNFR — Hrvatsko-njemački frazeološki rječnik / Ured. J. Matešić. Zagreb; München, 1988.
- HSSJ — Historický slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1991—. T. 1–.
- ISJP — Inny słownik języka polskiego. Warszawa, 2000. T. 1–2.
- Jakubowicz 2010 — *Jakubowicz M.* Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przysłówków słowiańskich odiedzionych z prasłowiańszczyzny. Warszawa, 2010.
- Janko 1939 — *Janko J.* Několik poznámek k výkladům slov // *Naše řeč*. 1939. № 23. S. 1–2.
- Janyšková 2006 — *Janyšková I.* Názvy pro poslední dítě v rodině // *Studia etymologica Brunensia*. 3. Praha, 2006. S. 127–136.
- Karlíková 2008 — *Karlíková H.* Úloha principu sémantických paralel v etymologickém výzkumu // *Slavia*. 2008. R. 77. Zeš. 1–3. S. 85–92.
- Karłowicz 1–6 — *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1900–1911. T. 1–6.
- Kazmír 2001 — *Kazmír S.* Slovník valašského nářečí / Sest. S. Kazmír. Vsetín, 2001.
- Kazmír 2007 — *Kazmír S.* Slovník valašského nářečí: rozšířené vydání zpracované pouze na CD [Электронный ресурс] / Sest. S. Kazmír. 2007. 1 CD-ROM.
- Keber 2011 — *Keber J.* Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana, 2011.
- Klein 1–2 — *Klein E.* A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Amsterdam; London; New York, 1966–1967. Vol. 1–2.
- Kluge₁₉ — *Kluge Fr.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 19. Aufl. Berlin, 1963.
- Kluge₂₀ — *Kluge Fr.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Berlin, 1967.
- Kluge₂₄ — *Kluge Fr.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / Bearb. von E. Seebold. 24. Aufl. Berlin; New York, 2002.
- Koch 2001 — *Koch P.* Lexical Typology from a Cognitive and Linguistic Point of View // *Language Typology and Language Universals: An International Handbook*. Berlin; New York, 2001. Vol. 2. P. 1143–1175.
- Kogan, Militarev 2003 — *Kogan L. E., Militarev A. Ju.* Non-trivial Semantic Shifts in Semitic // *Semitic and Assyriological Studies Presented to Pelio Fronzaroli*. Wiesbaden, 2003. P. 286–300.
- Kolberg 1962 — *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. Wrocław; Poznań, 1962. T. 32. Obrazy etnograficzne. Pokucie. Cz. 4.
- Komenda 2003 — *Komenda B.* Holendrować z angielskim humorem: Słownik znaczeń sekundarnych nazw narodowości i krajów w języku niemieckim i polskim. Szczecin, 2003.
- Kopaliński 1985–2001 — *Kopaliński W.* Słownik mitów i tadjycji kultury. Warszawa, 1985–2001.
- Kopernicki 1887 — *Kopernicki I.* Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu // *ZWAK*. 1887. T. 11, cz. 3. S. 130–228.
- Koptjevskaja-Tamm 2008 — *Koptjevskaja-Tamm M.* Approaching Lexical Typology // *From Polysemy to Semantic Change: Towards a Typology of Lexical Semantic Associations*. Amsterdam; Philadelphia, 2008. P. 3–52.
- Kosiński 1883 — *Kosiński W.* Materiały do etnografii Górali Bieskidowych // *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*. Kraków, 1883. T. 7. S. 3–106.
- Kott (př. 1) — *Kott F.* Příspěvky k česko-německému slovníku. Praha, 1896. Sv. 8.
- Králik 2007 — *Králik L.* Überlegungen zum Zusammenhang zwischen dem übertragenen Gebrauch von Ethnika im Slowakischen und der Existenz ethnischer Stereotype // *Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung*. Sonderdruck, 2007. S. 25–38.
- KSGP — kartoteka Słownika gwar polskich (картотека Словаря польских говоров), Институт польского языка ПАН, Краков.

- Kucharzyk 2010 — *Kucharzyk R.* Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich. Kraków, 2010.
- Kaś 2003 — *Kaś J.* Słownik gwary Orawskiej. Kraków, 2003.
- Liberman 2009 — *Liberman A.* Grass Widows and Straw Men: Oxford Etymologist [Электронный ресурс]. URL: <http://blog.oup.com/2009/02/grasswidows>.
- Lutterer 1968 — *Lutterer I.* *Ráj a peklo* v toponymii Čech // *Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki.* Wrocław; Warszawa; Kraków, 1968. S. 209–217.
- Machek 1954 — *Machek V.* Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954.
- Machek 1968 — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opr. a dop. vyd. Praha, 1968 (1971).
- Maćkiewicz 1999 — *Maćkiewicz J.* Słowo o słowie: Potoczna wiedza o języku. Gdańsk, 1999.
- Majewski 1–2 — *Majewski E.* Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich. Warszawa, 1889–1894. T. 1–2.
- Majtán 2001 — *Majtán M.* Sitno (Etselberg) — sitno // *Slovenská reč.* Bratislava, 2001. Roč. 66. Č. 2.
- Malec 2000 — *Malec M.* *Raj i piekło* w toponimii Polski // *Onomastické práce.* Sv. 4: Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. Praha, 2000. S. 280–285.
- Malkiel 1954 — *Malkiel J.* Etymology and Structure of Word Families // *Word: Linguistics Today: Published on the Occasion of the Columbia University Bicentennial.* 1954. Vol. 10. № 2–3. P. 265–274.
- Malkiel 1962 — *Malkiel J.* Etymology and General Linguistics // *Word: Linguistic Essays: On the Occasion of the Ninth International Congress of Linguists.* 1962. Vol. 1–2. P. 198–219.
- Matešić 1982 — *Matešić J.* Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1982
- Miklosich 1886 — *Miklosich Fr.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
- Miłosz 2004 — *Miłosz Cz.* W dworach i zaściankach // *Mickiewicz A.* Ballady i romanse: Lekcja literatury z Ciesławem Miłoszem. Kraków, 2004. S. 5–8.
- Moliner 1–2 — *Moliner M.* Diccionario de uso del Español. Madrid, 1991. 1–2.
- Müller 1973 — *Müller K.-L.* Übertragener Gebrauch von Ethnika in der Romania. Eine vergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung der englischen und der deutschen Sprache. Meisenheim am Glan, 1973.
- Němec, Horálek 1986 — *Němec I., Horálek J.* et al. Dědictví řeči. Praha, 1986.
- NKJP — Narodowy Korpus Języka Polskiego [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nkjp.pl/>.
- NKPP — Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga / Red. J. Krzyżanowski, S. Świrko. Warszawa, 1969–1978. T. 1–4.
- NLI — Nouveau Larousse illustré. Paris, s. d.
- OED-1933 — The Oxford English Dictionary. Oxford, 1933. Vol. 1–13.
- OED-1989 — The Oxford English Dictionary. Oxford, 1989. 2 ed. Vol. 1–20.
- Ondrusz 1960 — *Ondrusz J.* Przysłowia i przemówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego. Wrocław, 1960.
- Partridge 1988 — *Partridge E.* A Dictionary of Slang and Unconventional English: Colloquialisms, Catch-phrases, Solecisms and Catachreses, Nicknames and Vulgarisms. New York, 1988.
- Petit Robert — Le Nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris, 2003.

- Pfeifer 1–2 — *Pfeifer W.* Etymologisches Wörterbuch des Deutschen / Unter der Leitung von W. Pfeifer. Berlin, 1989. Bd. 1–2.
- Pietkiewicz 1938 — *Pietkiewicz Cz.* Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Warszawa, 1938.
- PKS — *Bachmannová J.* Podkrkonošský slovník. Praha, 1998.
- Pleteršnik 1–2 — *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894–1895. D. 1–2.
- Pluta 1973 — *Pluta F.* Słownictwo Dzierzysławic w Powiecie Prudnickim. Wrocław, 1973.
- Pokorny 1–2 — *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959. Bd. 1–2.
- Popowska-Taborska 1989 — *Popowska-Taborska H.* O potrzebie słownika semantycznych paralelizmów // Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich. Warszawa, 1989. S. 19–26.
- Poszukiwania — Poszukiwania // *Wiśła*. T. 7. 1893. 11. S. 165–185.
- PSJČ — Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957. D. 1–8.
- Pukanec 2005 — *Pukanec M.* Perún na sitne? // *Kultúra slova*. Bratislava, 2005. Roč. 39. Č. 5.
- PZL — *Polskie zagadki ludowe / Wybr. i oprac. S. Folfasiński*. Warszawa, 1975.
- RD — Reverso dictionnaire [Электронный ресурс]. URL: <http://dictionnaire.reverso.net/francais-definitions/>.
- RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika / JAZU. Zagreb, 1880–1976. D. 1–23.
- Robert 1–9 — *Le Grand Robert de la langue française: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de P. Robert*. Paris, 1990. T. 1–9.
- Rystonová 2007 — *Rystonová I.* Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů. Praha, 2007.
- Röhrich 1–3 — *Röhrich L.* Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg; Basel; Wien, 1991–1992. Bd. 1–3.
- Schröpher 1956 — *Schröpher J.* Wozu ein vergleichendes Wörterbuch des Sinnwandels? // *Proceedings of the Seventh International Congress of Linguists (London, 1952)*. London, 1956. P. 366–371.
- SEJP — *Sawski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952–1982. T. 1–5.
- SEK — *Boryś W., Popowska-Taborska H.* Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Warszawa, 1994–2006. T. 1–5.
- SFWP — *Bąba S., Liberek Jar.* Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Warszawa, 2002.
- SGP — Słownik gwar polskich. Kraków, 1979–. T. 1, z. 1–.
- SGŚ — Słownik gwar śląskich. Opole, 2000–. T. 1–.
- SGŚC — *Krop J., Twardzik J., Pilch J., Wronicz J.* Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. Wiśła; Ustroń, 1995.
- Simonides 1977 — *Simonides D.* Kumotry diobła. Opowieści ludowe Śląska Opolskiego. Warszawa, 1977.
- SJPD — Słownik języka polskiego / Red. W. Doroszewski. Warszawa, 1958–1969. T. 1–11.
- SJS — Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1966–1997. T. 1–4.
- SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1955–1981. T. 1–7.
- Skok 1–4 — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1974. Knj. 1–4.
- Skorupka 1–2 — *Skorupka S.* Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa, 1967–1968. T. 1–2.
- Smoczyński 2007 — *Smoczyński W.* Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wilno, 2007.
- Snoj 2003 — *Snoj M.* Slovenski etimološki slovar. 2 izd. Ljubljana, 2003.

- Sõukand 2013 — *Sõukand R.* Plants Used for Making Recreational Tea in Europe: a Review Based on Specific Research Sites [Электронный ресурс] // Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2013. Vol. 9 (58). URL: <http://www.ethnobiomed.com/content/pdf/1746-4269-9-58.pdf>.
- SP — Słownik prasłowiański. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974–. T. 1–.
- SSJ — Slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1959–1968. D. 1–6.
- SSJČ — Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1960–1971. T. 1–4.
- SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970–1991. Knj. 1–5.
- SSN — Slovník slovenských nářečí. Bratislava, 1994–. T. 1–.
- SSSJ — Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava, 2006.
- SSSL — Słownik stereotypów i symboli ludowych / Red. J. Bartmiński. Lublin, 1996–. T. 1, cz. 1–.
- SŚ — Słownik Śląski: System słownikowy [Электронный ресурс]. URL: <http://język.ślask.info/zymla.html>.
- Steffen 1984 — *Steffen W.* Słownik warmiński. Wrocław etc., 1984.
- Stepniak 1993 — *Stepniak K.* Słownik tajemniczych gwar przestępczych. Londyn, 1993.
- SW — *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900–1927. T. 1–8.
- Sychta 1–7 — *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976. T. 1–7.
- Šimunović 2006 — *Šimunović P.* Rječnik bračkih čakavskih govora. Supetar, 2006.
- Šmilauer 1938 — *Šmilauer V.* Výklady slov // Naše řeč. 1938. № 22. S. 270–275.
- Theodorides 1974 — *Theodorides D.* Türkeitürkische *tarator* // Folia Orientalia. 1974. № 15. S. 69–76.
- Todorov 1999–2000 — *Todorov T.* Zur Etymologie des bulg. *mapamop* ‘eine Art kalte Suppe’ // Балканско езикознание. 40 (1999–2000). № 2. С. 185–187.
- Trávníček 1952 — *Trávníček Fr.* Slovník jazyka českeho. Praha, 1952.
- Treder 1989 — *Treder J.* Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym). Wejherowo, 1989.
- Trésor 1–16 — *Trésor de la Langue Française des XIXe et XXe siècles en 16 volumes et 1 supplément (1789–1960) / Sous la dir. de Bernard Quemada.* Paris, 1971–1994. Vol. 1–16.
- Turunen 1979 — *Turunen A.* Kalevalan sanat ja niiden taustat. Lappeenranta, 1979.
- Tyrpa 2005 — *Tyrpa A.* Frazeologia somatyczna: związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich. Łask, 2005.
- Tyrpa 2011 — *Tyrpa A.* Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich. Kraków, 2011.
- Van Dale NE — *Van Dale.* Groot woordenboek Nederlands-Engels. Utrecht; Antwerpen, 1991.
- Vaňková 2007 — *Vaňková I.* Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět). Praha, 2007.
- VČRS — Velký česko-ruský slovník. Praha, 2005.
- Wilkins 1996 — *Wilkins D.* Natural Tendencies of Semantic Change and the Search for Cognates // The Comparative Method Reviewed. Regularity and Irregularity in Language Change. New York; Oxford, 1996. P. 265–305.
- Winkler 1994 — *Winkler A.* Etnische Schimpfwörter und übertragener Gebrauch von Ethnika // Muttersprache. 1994. № 4. S. 320–337.
- WTNID — Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Encyclopedia Britannica. 1993. Vol. 1–3.
- Zalizniak Anna A., Ganenkov 2008 — *Zalizniak Anna A., Ganenkov D. S.* A Catalogue of Semantic Shifts in the Languages of the World: A Contribution to Slavic Cognitive Linguistics //

-
- Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages. Tartu, 2008. P. 189–191.
- Zalizniak Anna A. et al 2012 — *Zalizniak A., Bulakh M., Ganenkov D., Gruntov I., Maisak T., Russo M.* The Catalogue of Semantic Shifts as a Database for Lexical Semantic Typology // *Linguistics*. 2012. № 3. P. 633–669.
- Zaorálek 1963 — *Zaorálek J.* Lidová rčení. Praha, 1963.
- Záturecký 2005 — *Záturecký A. P.* Slovenské přísloví, porekadlá, úsloví a hádanky. Bratislava, 2005.
- Zeman 1967 — *Zeman H.* Słownik górnołużycko-polski. Warszawa, 1967.

Сокращения

а) в названиях областей и районов

Бабуш	—	Бабушкинский район Вологодской области
Бел	—	Белозерский район Вологодской области
Ваш	—	Вашкинский район Вологодской области
В-Важ	—	Верховажский район Вологодской области
Вель	—	Вельский район Архангельской области
Вил	—	Вилегодский район Архангельской области
Вин	—	Виноградовский район Архангельской области
Влгд	—	Вологодский район Вологодской области
Вох	—	Вохомский район Костромской области
В-Т	—	Верхнетоемский район Архангельской области
В-Уст	—	Великоустюгский район Вологодской области
Выг	—	Вытегорский район Вологодской области
Кад	—	Кадуйский район Вологодской области
Кадый	—	Кадыйский район Костромской области
Карг	—	Каргопольский район Архангельской области
К-Б	—	Красноборский район Архангельской области
К-Г	—	Кичменгско-Городецкий район Вологодской области
Кир	—	Кирилловский район Вологодской области
Кон	—	Коношский район Архангельской области
Костр	—	Костромской район Костромской области
Котл	—	Котласский район Архангельской области
Кр-Уф	—	Красноуфимский район Свердловской области
Лен	—	Ленский район Архангельской области
Леш	—	Лешуконский район Архангельской области
Меж	—	Межевской район Костромской области
Мез	—	Мезенский район Архангельской области
М-Реч	—	Междуреченский район Вологодской области
Мурман	—	Мурманская область
Ней	—	Нейский район Костромской области
Ник	—	Никольский район Вологодской области
Нюкс	—	Нюксенский район Вологодской области
Нянд	—	Няндомский район Архангельской области

Окт	— Октябрьский район Костромской области
Омск	— Омская область
Он	— Онежский район Архангельской области
Пав	— Павинский район Костромской области
Парф	— Парфеньевский район Костромской области
Пин	— Пинежский район Архангельской области
Плес	— Плесецкий район Архангельской области
Пош	— Пошехонский район Ярославской области
Приг	— Пригородный район Свердловской области
Прим	— Приморский район Архангельской области
Ревд	— Ревдинский район Свердловской области
Сверд	— Свердловская область
С-Гал	— Солигаличский район Костромской области
Сок	— Сокольский район Вологодской области
С-Двин	— г. Северодвинск Архангельской области
Ср. Урал	— Средний Урал
Терск.	— Терская область
Тобол	— Тобольский район Тюменской области
Тот	— Тотемский район Вологодской области
У-Иш	— Усть-Ишимский район Омской области
У-Куб	— Усть-Кубенский район Вологодской области
Уст	— Устьянский район Архангельской области
Устюж	— Устюженский район Вологодской области
Хар	— Харовский район Вологодской области
Холм	— Холмогорский район Архангельской области
Чаг	— Чагодощенский район Вологодской области
Челяб	— Челябинская область
Чухл	— Чухломский район Костромской области
Шар	— Шарьинский район Костромской области
Шенк	— Шенкурский район Архангельской области

б) в обозначениях географических терминов

бол.	— болото	пок.	— покос
г.	— гора	прк.	— перекат
д.	— деревня	р.	— река
дор.	— дорога	руч.	— ручей
о-в	— остров	с.	— село
овр.	— овраг	ск.	— скала
оз.	— озеро	ур.	— урочище
паш.	— пашня	уч-к	— участок
пастб.	— пастбище	хут.	— хутор

Научное издание

Березович Елена Львовна

РУССКАЯ ЛЕКСИКА
НА ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ФОНЕ:
СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Редакторы: *А. А. Макарова* и *А. В. Усачева*

Корректор: *А. А. Макарова*

Дизайн макета и верстка: *Л. А. Хухарева*

Дизайн обложки: *Л. А. Горева*

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке,
Университет Дмитрия Пожарского
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1
www.s-and-e.ru

Подписано в печать 11.10.14 Формат 70 × 100 1/16

Уч.-изд. л. 38,35. Усл. печ. л. 39,65.

Бумага офсетная, 80 гр. Печать офсетная.

Гарнитура Times New Roman.

Тираж 1000 экз. Первый завод: 500 экз. Заказ №

Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., д. 6